Исмаиль Кадаре

Суровая зима

НАШИ ЦЕЛИ ЯСНЫ,
ЗАДАЧИ
ОПРЕДЕЛЕНЫ.

ЗА РА ТОВАРИЩИ,

НАШИ

ЗАДАЧИ
ОПРЕДЕ

ОТУ ТОВАРИЩ

ПОЛИТИЧЕСКИЙ

РОМАН



Исмаиль Кадаре

Суровая зима

Роман

Перевод с албанского
И. Ворониной
и В. Модестова



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1992

ББК 84.4Ал
К 13

Ismail Kadare
Dimri i Madh

Послесловие
доктора исторических наук
Н. Д. Смирновой

Оформление художника
А. А. Семенова

К $\frac{4703010100-224}{028(01)-92}$ КБ-20-83-1992

ISBN 5-280-01963-1

Часть первая
Реквием по ушедшему лету

Глава I

В последние дни сентября внезапно подул сильный ветер. Двое суток бесновался он без устали, круша деревья и телевизионные антенны, а когда немного поутих, на крышах домов и террас появились люди в дождевиках с капюшонами, надвинутыми на самые глаза. Они суетились возле искореженных антенн, издали напоминая космических пришельцев, двигавшихся на фоне серого неба.

Наступил октябрь. Радио- и телевыпуски новостей становились длиннее. Наверное, потому, что разного рода совещания и войны, прерванные на период летних отпусков, возобновились. Военные действия шли на окраинах континентов, а в столицах метрополий, в роскошных старинных особняках и замках, велись нескончаемые переговоры. Всего в мире около ста правительств, хотя некоторые страны, подобно мифическим существам о двух головах, имеют по два правительства. Слушая последние известия, люди испытывали примерно те же чувства, что испытывает каждый из нас, сидя в непогоду в уютном кресле у себя дома. Да и метеосводки в конце теле- и радиопередач не утешали: «...в Европе, как обычно, туман, пол-Азии покрыто снегом, а температура воздуха и атмосферное давление благоприятствуют перемещению циклонов из центральных районов пустынь...»

Сводки погоды дикторы заканчивали традиционными словами: «Спокойной ночи!» или «Приятных сновидений!» — и в их голосах слышалась легкая ирония, впрочем вполне уместная.

Около половины восьмого вечера Бесник вышел на улицу. Погода стояла скверная — беспрестанно моросил дождь. Прохожие кутались в плащи, что сперва изумило Бесника: за работой он не заметил, как пришла осень. На главном бульваре становилось многолюднее. Постепенно центральная часть города заполнялась служащими, шумными толпами вываливавшими из огромных дверей министерских зданий.

Подхваченный людским потоком, Бесник какое-то время шел вместе со всеми, но, вспомнив, что у него кончились сигареты, насилу выбрался из толпы и заскочил в ближайший бар. У стойки, как всегда в эту пору, было полно народа. Ожидая своей очереди, он разглядывал себя в никелированной поверхности кофеварки «Эспрессо».

Купив сигареты, Бесник вышел на улицу. Мучительно хотелось курить. Он пошарил в кармане, ища спички, рука наткнулась на что-то гладкое и холодное. «Кассета с пленкой»,— огорчился Бесник. Еще в прошлую субботу он вынул ее из фотоаппарата, чтобы отдать в проявку, но закрутился и забыл. Он много снимал на пляже в Дурресе[1] во время недавнего отпуска. «Первое лето, проведенное с Заной»,— подумал Бесник, держа на ладони металлический цилиндрик. Когда они вернулись в Тирану, Зана не раз напоминала ему о фотографиях и ждала их с нетерпением. А неделю назад выяснилось, что не только фото не печатаются, но даже пленка еще не проявлена, и Зана не на шутку обиделась. Он умолял ее не сердиться и, желая загладить вину, тут же у нее на глазах извлек пленку из аппарата.

— Осторожнее, прошу тебя! Засветишь!— Она порывисто вскинула руки, словно пыталась уберечь то, что было на пленке, от возможной опасности.

«Вспышка света — и все пропало,— подумал он тогда.— Мгновенно исчезают лица, волосы, линия мор-

---

[1] Крупнейший в Албании порт на побережье Адриатики, морские ворота страны. Здесь расположена зона отдыха с великолепными песчаными пляжами, домами отдыха и туристскими базами. (*Здесь и далее примеч. перев.*)

ского побережья, как при ослепляющем взрыве атомной бомбы, о которой в последнее время любят писать молодые поэты».

Вспомнив, что совсем недавно видел какое-то фотоателье на улице Баррикад, Бесник пересек площадь Скандербега[1] и вышел на улицу Дибры. Напротив аптеки он приметил группу подростков — и среди них Бэна. Он и раньше встречал младшего брата в компании сверстников, которые часами могли торчать здесь, прислонившись к стене облюбованного ими дома, и покуривать сигареты. Бесник порой упрекал Бэна за то, что он слишком много бездельничает, вместо того чтобы заняться чем-нибудь полезным. А вообще-то, роль наставника ему претила. Вот и сейчас, ускорив шаг и сделав вид, что не заметил брата, он прошел мимо.

Улица Дибры в этот вечер тоже была запружена народом. По проезжей части медленно, поминутно притормаживая, ползли автобусы. В их стеклах причудливыми узорами отражались пешеходы и расцвеченные огнями витрины магазинов. Бесник протиснулся сквозь толпу и свернул на улицу Баррикад. Задрав голову вверх и беспрестанно натыкаясь на прохожих, он внимательно читал вывески: МЕБЕЛЬ, ХОЗТОВАРЫ, КАФЕ, ГОТОВОЕ ПЛАТЬЕ, КОНДИТЕРСКАЯ, БАР... а вот и ФОТОАТЕЛЬЕ.

И здесь была длинная очередь. Одни в ожидании сидели в старых, изрядно потертых креслах вдоль стен маленького зала, другие толпились у окошка приемщицы.

Бесник занял очередь за светловолосым крепкого сложения парнем. Чуть впереди стоял солдат, а за ним — две девушки, скорее всего — гимназистки. Они тихо перешептывались, едва удерживаясь от смеха. Солдат уныло поглядывал в их сторону.

«Наверное, хочет послать карточку родителям в дальний сельхозкооператив,— подумал Бесник.— То-то будет радости. Старики вставят фотографию сына в деревянную рамочку и повесят на самом видном месте. Деревенские девушки будут забегать в дом и с любопытством рассматривать лицо бравого солдата, такое знако-

---

[1] Скандербег (ок. 1405—1468) — национальный герой Албании, настоящее имя — Георг Кастриоти. Возглавил национально-освободительную борьбу албанского народа против османских завоевателей.

мое и в то же время по-городскому загадочное. И почему люди любят фотографироваться?» — недоумевал Бесник, вспомнив о Зане. Сам он терпеть не мог сниматься. «Это потому,— подсмеивалась над ним Зана,— что ты вырос в мусульманской семье».

— Слушаю вас, товарищ.— Приемщица, не поднимая головы от регистрационного журнала, обратилась к молодому человеку, стоявшему перед Бесником.

— Мне нужна фотография для карточки кандидата в члены партии,— многозначительно произнес он.

— Фамилия?

Солдат и девушки-гимназистки с квитанциями в руках ждали очереди в студию фотографа. Оформив заказ, к ним пристроился и светловолосый крепыш.

— Ваша очередь,— сказала приемщица Беснику.

Бесник молча протянул ей кассету.

— Проявить и напечатать?

Он кивнул. Приемщица спросила фамилию.

«У тебя красивая фамилия,— заметила Зана, когда они отдыхали на море.— Мне нравится, что скоро я стану Заной Струга. Правда красиво звучит?»

«Теперь и там, наверное, льет дождь»,— с тоской подумал Бесник.

— Два с половиной лека[1],— сказала приемщица, протягивая квитанцию.— В пятницу будет готово.

Бесник взял квитанцию и вышел на улицу. По-прежнему моросил дождь. Прячась под навесами витрин, Бесник направился к центру, машинально читая вывески на другой стороне улицы: ХИМЧИСТКА, КАФЕ-БАР, АПТЕКА... Тут он вспомнил, что отец просил купить валиум. Последнее время он все чаще стал жаловаться на здоровье.

Перейдя на противоположную сторону, Бесник вошел в аптеку. За стойкой миловидная девушка-фармацевт отпускала лекарства. Она терпеливо объясняла пожилому крестьянину, как их принимать. Тот растерянно слушал и, видимо, мало что понимал. Заметив это, девушка принялась объяснять еще раз. Чуть наклонив голову, она медленно выговаривала каждое слово, сопровождая его вопросом: «Поняли?» На мгновение она подняла глаза, словно ища поддержки у дожидавшихся своей очереди посетителей, и взгляд ее встретился со взглядом Бесника. Девушка пожала пле-

[1] Денежная единица Албании.

чами и виновато улыбнулась. Наконец, не говоря ни слова, крестьянин забрал пузырьки и вышел из аптеки. Облегченно вздохнув, девушка скрылась в провизорской.

«А вот и змея!— Бесник с омерзением рассматривал на огромном стекле витрины символ фармации — змею, обвивавшую чашу с ядом.— Кто придумал этот отвратительный символ? Не иначе какой-нибудь психопат».

«Хоть я сама ужасно боюсь змей, но твое отвращение к этим тварям меня поражает»,— сказала Зана, когда они прогуливались возле пляжа и увидели на шоссе раздавленную колесами автомобиля змею. Помнится, тогда Бесник и поведал ей историю о змеях, что произошла в Бутринте и свидетелем которой он был. Но дослушать ее до конца Зана не смогла. «Хватит! Прекрати!» — замахала она руками, и лицо ее исказилось от ужаса. Бесник и сам старался забыть об этой жуткой истории, но всякий раз, когда на глаза попадались почтовые марки или открытки с видами древнего амфитеатра, она вновь всплывала в его памяти.

Случилось это во время редакционной командировки в Бутринт. Там впервые в жизни он увидел столько змей сразу, что этим вряд ли мог похвастать любой другой журналист, даже побывавший в джунглях. Командировка была срочной, поэтому выехать пришлось поздно вечером. По шоссе нескончаемым потоком двигались моторизованные подразделения дорожной полиции. Города и населенные пункты, расположенные вдоль пути, полыхали кумачом транспарантов с приветствиями и здравицами в честь советского премьера, который уже несколько дней находился в Албании с официальным визитом. Предполагалось, что именно с Бутринта высокий гость начнет ознакомительную поездку по стране. И Беснику надо было попасть туда до полуночи. Он впервые ехал в этот всемирно известный город-музей. Несмотря на усталость от длинной и тяжелой дороги, проснулся он рано и, быстро собравшись, вышел на улицу. Стояла необычная для города тишина. Взору Бесника предстали древние городские стены, колоннада, статуи, амфитеатр, где когда-то игрались знаменитые греческие трагедии «Царь Эдип» и «Электра». Теперь эти памятники старины выглядели уныло и безжизненно. Откуда-то издалека доносились

удары молотка — приколачивали очередной транспарант с надписью на албанском и русском языках: «АЛБАНИЯ СТАНЕТ ЦВЕТУЩИМ САДОМ ЕВРОПЫ» (фраза из последней речи Хрущева в Тиране). Бесник спустился в старую часть города: ему хотелось поближе рассмотреть статуи и ступени амфитеатра, наполовину затопленные водой. Похоже, где-то прорвало дамбу, и вода с глухим клокотанием все прибывала и прибывала. Древние статуи, хранившие на своих телах безжалостные меты вековой истории, равнодушно взирали на стихию. И тут он увидел змей. Много змей. Медленно, с грациозностью, вселяющей почти мистический ужас, плыли они по коричневато-ржавой поверхности воды. От неожиданности Бесник вздрогнул и отпрянул. «Не бойся, они дохлые». За его спиной раздался приглушенный смех. Бесник обернулся. Рядом стоял Зэф из АТА[1]. «Дохлые они,— повторил он.— Вон еще одна у колонны. Видишь?» — «Вижу»,— поморщился Бесник. «Их отравили несколько дней назад,— пояснил Зэф.— Местность здесь болотистая, кишмя кишит змеями. Говорят, Хрущев любит ходить пешком. Всякое может случиться. Вот и засыпали топкие места ядохимикатами».— «Вон еще,— заметил Бесник.— Какое отвратительное зрелище!»

— Что для вас?— Голос девушки-фармацевта вывел Бесника из задумчивости.

— Таблетки валиума, пожалуйста.

— Рецепт у вас есть?

Бесник отрицательно покачал головой. Девушка с упреком посмотрела на него, но чек в кассу все-таки выписала.

«Сегодня еще ничего,— продолжал Зэф.— А вчера и особенно позавчера зрелище было и впрямь жуткое. Змеи плыли сплошным потоком, цепляясь за колонны и ноги статуй. Видишь, вон там стоят Оратор, Философ, еще один Оратор?— Он показал на ряд статуй.— А там скульптурная группа. С отбитыми руками. Это древний хор, видишь?»— «Да, вижу».— «Позавчера змеи свисали с их плеч».— «Замолчи, прошу тебя!» — взмолился

[1] Албанское телеграфное агентство, образованное в 1944 г.

Бесник, продолжая будто в забытьи смотреть на змей, то тут, то там всплывавших на поверхность мутной воды. Некоторые из них застревали на ступенях амфитеатра: единственные зрители трагедий Эсхила и «Царя Эдипа».

— Платите в кассу, пожалуйста,— напомнила девушка-фармацевт.

На улицах уже не было прежней толчеи. Дождь почти прекратился. Редкие прохожие рассматривали афиши кинотеатров. Бесник давно заметил, что с наступлением сумерек на улицах появляются праздношатающиеся: одни подолгу стоят перед афишами, хотя не собираются идти в кино, вечерние сеансы уже давно начались; другие часами изучают вывески и объявления, вовсе для них бесполезные.

Сегодня он и сам был не прочь постоять у какой-нибудь афиши, если бы не договорился о встрече с Заной. Ему предстояло пройти пешком в обратном направлении до площади Скандербега. Рассчитывать в это время на автобус было бессмысленно, и он прибавил шагу. Позади остались громады министерских зданий с черными провалами окон, еще час назад ярко освещенных. Было слышно, как где-то на втором этаже надрывался телефон. Неожиданно Бесник развеселился. Свернув направо, он через парк направился к Почтовой улице. Откуда-то доносилась танцевальная музыка. В полусвете веранд, походивших на огромные аквариумы, точно в сказочном подводном царстве, медленно двигались, будто желатиновые, фантастические фигуры. Повсюду — на предприятиях, в школах и парках — проводились вечера начавшегося месячника албано-советской дружбы. Музыка будоражила и бередила душу. «Надо было предупредить приемщицу в ателье, что пленка сверхчувствительная,— подумал Бесник с тревогой.— Хотя стоит ли волноваться, ведь, по правде говоря, я и сам точно не знаю, какая она. Тогда в Бутринте Зэф потратил больше двадцати кадров, чтобы отснять змей. Жуткое зрелище! А солдат, наверное, уже сфотографировался.— Он попытался отвлечься от неприятных воспоминаний.— Небось с четверть часа просидел под юпитерами, выслушивая советы фотографа. И девчонки-гимназистки тоже сфотографировались». Бесник вспомнил, как два года назад сам снимался для кандидатской карточки.

Тогда молоденькая приемщица сказала ему: «Поздравляю вас, товарищ!»

Вот и дом, в котором живет Зана. Двухэтажный особняк, каких немало в этом районе города. Внизу приютились бывшие хозяева дома, которым после войны пришлось потесниться. Бесник поднялся на второй этаж и позвонил. Дверь открыла мать Заны.

— О, Бесник!— обрадовалась Лирия.— Как хорошо, что ты пришел!

На этот раз у нее была та же прическа, что и прошлой зимой, на их с Заной помолвке. Беснику нравилось, что мать Заны постоянно следит за собой и хорошо выглядит. Если бы еще поменьше говорила! «Мама всегда в хорошем настроении,— снисходительно улыбалась Зана.— Мне бы такой характер. Боюсь, с годами я стану мрачной и сварливой. А ты как думаешь?» Конечно, Зана попросту кокетничала и на ответ не рассчитывала, абсолютно уверенная в том, что недостатки, которые она себе приписывает, Бесник расценит как достоинства.

В доме Бесника разговоры были не приняты. По натуре отец, тетя и он сам были молчаливы, да и Бэн в последние дни все больше помалкивал: может, на улице Дибры в компании друзей отводил душу. И только Мира составляла исключение. Она щебетала без умолку. И это не удивительно — старшеклассницы во все времена восторженны и говорливы.

— Дождь идет? Ты, наверное, промок?— заботливо осведомилась Лирия.

— Нет, не успел. Он только начался,— улыбнулся Бесник.— У вас гости?

— Моя сестра со Скендером.

Бесник удивленно поднял брови.

— Скендер ее муж,— понизила голос Лирия.— Разве вы с ним не знакомы?

— Скендер Бермема? Писатель?

— Ну конечно,— тихо засмеялась Лирия.— Какой ты странный, право. Разве не знаешь, что моя сестра замужем за Скендером?

— Да-да,— неуверенно пробормотал Бесник.— Но... просто мы давно не виделись. С тех пор как...

На самом деле он видел его всего один раз, на собственной помолвке. Скендер Бермема не баловал родственников вниманием, поэтому Бесник и решил, что ослышался, когда Лирия сказала, кто у них в гостях.

«Вон оно что. И ты, значит, как все смертные, ходишь в гости, навещаешь родню!» — усмехнулся Бесник, приглаживая ладонью волосы.

— Ох уж эти современные зятья! — рассмеялась Лирия, а Бесник подумал: вряд ли ему кто-нибудь поверит, скажи он, что известный писатель Скендер Бермема — Занин дядя и что скоро они породнятся.

— Добрый вечер, — поклонился он, входя в гостиную.

Человек, лицо которого Бесник не раз видел на страницах газет и журналов, на экране телевизора, изобразил в ответ вежливую улыбку-маску, никак не связанную с его появлением. Напротив писателя на диване сидела его жена, высокая стройная женщина, чем-то неуловимо похожая на Лирию. Она внимательно следила за беседой, но участия в ней не принимала.

— Как дела, Бесник? — спросил отец Заны.

Бесник кивнул, что при известной доле фантазии могло означать: «Спасибо, хорошо», — и молча опустился в кресло. Однако этого было явно недостаточно. Правила хорошего тона обязывали его проявить больше внимания к будущему тестю и задать хотя бы традиционные вопросы вежливости. Но тут-то и была собака зарыта. Бесник не знал, как ему обращаться к отцу Заны. В самом начале их знакомства он вместе со всеми называл его «товарищ Кристач». Потом это стало выглядеть нелепо и даже, по утверждению Заны, смешно. Перейти на обычное «Кристач» Бесник никак не мог, это было выше его сил. И не только потому, что отец Заны был вдвое старше его и занимал пост заместителя министра. Причина крылась совсем в другом, что трудно объяснить словами, но что проявляется буквально во всем: в манере держаться, говорить, ходить и даже одеваться. Поэтому на обычное приветствие: «Как дела?» — Бесник стал отвечать: «Хорошо, а как у вас?» Так выработалась приемлемая формула обращения на «вы», без имени. Конечно, порой возникали трудности. К примеру, когда он звонил Зане, а к телефону подходил ее отец. Тогда волей-неволей приходилось обращаться по имени. И Бесник называл будущего тестя по-прежнему «товарищем Кристачем», но как бы проглатывая «товарищ», чему помогали и помехи на линии.

«Все дело в том, что социализм еще не проник в каждую клеточку нашего существа, — сказал однажды Илир, когда Бесник завел разговор на эту тему. — Мы

до сих пор испытываем неловкость, говоря «товарищ такой-то», обращаясь к человеку, который старше нас по возрасту или положению, только потому что в нашем подсознании доживает свой век «господин».

«Точно так же, как в доме Заны доживают свой век прежние его хозяева»,— подумал Бесник.

— Вот и осень пришла,— задумчиво обронил Кристач и посмотрел на Бесника так, словно это он принес в дом ее первые приметы.

— Да-а, погода испортилась,— подтвердил Бесник, приглаживая все еще влажные от дождя волосы.

— Позавчера отбыл из Албании последний наш посол из тех, которые проводили отпуск на море,— продолжал Кристач.— Одним словом, осень пришла.

— Пора уже,— вздохнула Лирия.— Октябрь на дворе.

— Вторая осень,— многозначительно заметил Скендер Бермема, не вынимая сигареты изо рта.— Недаром так в народе называют месяц октябрь.

— Теперь уже не называют,— улыбнулся Кристач.— Разве что в романах.

— Вот и плохо, что не называют,— возразил писатель.— Для меня такие слова, как «сентябрь», «октябрь», «ноябрь», звучат скучно и невыразительно. Другое дело: «первая осень», «вторая осень», «третья осень». Жизнь чувствуется.

— Интересно. Никогда не думал об этом,— признался Кристач.

— Драма наступления холодов развивается ритмично по восходящей, от акта к акту, словно в театре,— продолжал писатель.

Он так увлекся новой темой разговора, что не заметил (или сделал вид, что не заметил), как пепел от сигареты, с которой он не расставался ни на минуту, упал на колено. Но его супруга была начеку: легким движением руки она устранила эту оплошность.

Разговор о погоде оборвался так же внезапно, как и начался.

— Что-то тебя давно не было видно. Где пропадал?— с напускной суровостью поинтересовался Кристач, обращаясь к будущему зятю.

— Работаю,— улыбнулся Бесник.— Готовил большой материал.

— Слушай, так это твоя статья о ближневосточном кризисе опубликована сегодня?

— Отчасти. Мы написали ее вместе с одним нашим журналистом.

— Хорошо получилось,— похвалил Кристач.— А вот вчерашняя статья о проблемах импорта мне совсем не понравилась.

Разглядывая знакомый интерьер гостиной, Бесник отметил, что тяжелые шторы кофейного цвета гармонируют с темной мебелью и книжными шкафами для Полного собрания сочинений В. И. Ленина. Он обратил внимание на телевизор с вывороченными внутренностями: в его раскрытом чреве виднелись лампы и пучки проводов,— одним словом, самоубийца после харакири.

— Нет-нет, он работает,— поспешно объяснил Кристач, перехватив недоуменный взгляд Бесника.— Собирался лампу заменить. Кстати, дело не в том, что в статье критикуется отдел, к которому я имею некоторое отношение,— вернулся он к прерванному разговору.— Она довольно поверхностная и безответственная. С операциями по импорту возникает масса трудностей, порой неожиданных.

Бесник статьи не читал и смущенно посмотрел на собеседника, не зная, что сказать, затем перевел взгляд на Скендера Бермему, который, судя по отрешенно-вежливой улыбке, был далек от проблем импорта.

— Да-да, неожиданные трудности,— повторил Кристач.— Предположим, к примеру, Советский Союз задержал поставку зерна, и мы вынуждены обратиться за помощью к одной из французских фирм. Что ты на это скажешь? Между нами,— понизил голос Кристач,— это факт, а не предположение. Тем не менее есть вещи, о которых вслух не говорят. Надеюсь, понимаешь? Итак, мы поставлены перед фактом. Спрашивается, что делать, следуя логике автора статьи, в этой ситуации? Устроить скандал, что срываются поставки зерна? Посеять недоверие в народе? А объясняется все очень просто: у Советского Союза — трудности с зерном. Погода есть погода, черт возьми, и с этим не поспоришь!— выкрикнул он сердито, стараясь не смотреть Беснику в глаза.

«Погода погодой, но зачем так волноваться?»— удивился Бесник. Про себя, конечно.

В комнату вошла Зана в простеньком летнем платье, которое ей очень шло, и на этом разговор оборвался. Беснику нравилась ее манера одеваться, он мог по-

долгу любоваться ее темными блестящими волосами, нежным загаром, навевавшим приятные воспоминания о лете. И снова, уже в который раз, от мысли, что эта красавица скоро станет его женой, сердце радостно встрепенулось.

Будто догадавшись о его мыслях, Зана улыбнулась и положила свою маленькую теплую ладонь на его руку. Сделала она это просто, естественно, не смущаясь присутствием родителей. И это тоже понравилось Беснику.

— Устал?— спросила она.

— Немного,— сказал Бесник.

Из соседней комнаты слышался легкий шум, очевидно, хозяйка накрывала стол к ужину.

Лирия, как всегда приветливая и жизнерадостная, войдя в гостиную, предложила:

— Не выпить ли нам перед ужином ракии?

— Я бы не отказался,— промолвил Кристач и, повернувшись к Зане, добавил: — Включи-ка телевизор, дочка. Сейчас новости будут передавать.

Как ни странно, но, несмотря на растерзанный вид, телевизор заработал.

— Разумеется, все дело в погодных условиях,— продолжая беседу, обронил Бесник.— Других причин нет и быть не может.

— Именно в погодных,— согласился Кристач.— И в записке на самый верх, которую мы с министром вчера составили, так и сказано: «погодные условия».

— Вот тебе и твой Средний Восток,— усмехнулась Зана.

Бесник и Кристач рассмеялись.

На экране появилась группа солдат. В касках и с полной боевой выкладкой они шли через пустыню. Беснику представилось вдруг лицо солдата из фотоателье: «Наверное, сейчас под проливным дождем он добирается до своей части».

— Нашу пленку скоро проявят и отпечатают,— наклонившись, шепнул он Зане.

— Это замечательно,— обрадовалась она, но взгляда от телевизора не отвела.

Теперь показывали аэродром, где только что приземлился пассажирский лайнер. По трапу самолета, придерживая шляпы, чтобы их не унесло ветром, спускались несколько солидных мужчин. Фотокорреспонденты, окружившие трап, делали первые снимки.

— Как мне нравятся аэропорты!— восхищенно прошептала Зана.

Появилась Лирия с подносом в руках.

— Возобновились парижские переговоры?— спросила она, расставляя рюмки с аперитивом на маленьком столике.— Может, принести маслин?

— Спасибо,— ответил Кристач.— В Брюссель прибыли министры иностранных дел.

— Каждый день переговоры,— сочувственно отозвалась Лирия.— Как это, должно быть, утомительно!

— Все так красиво обставлено!— мечтательно вздохнула Зана, наблюдая за группой государственных деятелей, следовавших к зданию аэропорта.

Она подвинулась к Беснику и нежно прильнула к нему плечом. Он уловил аромат ее прекрасных волос.

— Зана, выпьешь рюмочку?— предложила Лирия дочери.

Зана пожала плечами.

— Гзуар![1]— поднял рюмку Кристач.

Отпив маленький глоток, Лирия отставила рюмку.

— Кто-нибудь слышал, что произошло в Министерстве сельского хозяйства?— как бы между прочим бросила она.

Все удивленно переглянулись.

— Говорят, вчера вечером,— продолжала Лирия,— видели их министра. Он шел по улице под проливным дождем. Один, без сопровождения. Наверняка что-то случилось!

— Лирия!— остановил жену Кристач.— Тебе никак не пристало заниматься политическими сплетнями. Это для тех, что живут под нами.— И он указал пальцем на пол.

— Но...

— Никаких «но»! Нечего разносить всякие байки об уважаемом человеке, занимающем столь высокий пост.

— Но он, если занимает столь высокий пост, должен заботиться о своем авторитете, а не бродить под дождем...

— Дался тебе этот дождь, черт возьми!— вспылил Кристач.— Любой может оказаться под дождем и промокнуть до нитки. Что в этом особенного?— Последние

[1] Очень емкое слово-тост, обозначающее пожелание счастья, удачи, всего наилучшего.

слова были адресованы не столько жене, сколько собравшимся.

— Конечно,— поддержал его Скендер Бермема.— Тем более что погода, как мы успели выяснить, имеет обыкновение капризничать.

— Погода капризничать, а вторая осень приходить,— расхохотался Кристач, удовлетворенно покачивая головой.

Теперь смеялись все: потому что было весело, потому что шутка удалась, потому что время близилось к ужину.

Супруги Бермема обменялись многозначительными взглядами, явно собираясь откланяться.

— Куда же вы?— забеспокоился Кристач.— Разве не отужинаете с нами?

— Мы бы с удовольствием,— сказал писатель, внимательно глядя на Бесника,— но зван в гости. Неудобно. Я обещал не опаздывать.

Они поднялись, и при ярком свете люстры Бесник с удивлением заметил, что каштановые волосы Скендера так же отливают редкой рыжиной, как и волосы Дьаны, близкой подруги Заны. «Да они же родственники!» — сообразил он и чуть было не сказал об этом вслух.

— Таковы все писатели,— авторитетно заметила Лирия.— Когда к ним приходит вдохновение...

Зана умоляюще взглянула на Бесника: «Мама часто говорит банальности, не обращай внимания. Зато сердце у нее доброе».

Зазвонил телефон. Лирия поднялась и поспешила в прихожую. Двигалась она легко и изящно, несмотря на полноту, которая особенно бросалась в глаза, если она оказывалась рядом с худощавым мужем. Разглядывая как-то старые фотографии из семейного альбома, Бесник обратил внимание, что сегодняшний Кристач мало чем отличается от бравого партизана Кристача, стройного и подтянутого.

— Бери маслины,— угощал Кристач.— Очень хорошие.

Из приоткрытой двери доносился голос Лирии, которая говорила по телефону.

— Смотрите, государственный переворот!— воскликнула Зана, показывая рукой на телеэкран.

Мужчины равнодушно взглянули на полупустую городскую площадь с огромным памятником в центре и вернулись к прерванному разговору.

— Перевороты теперь не редкость,— бросил Кристач, и они стали обсуждать проблемы экспорта маслин и табака.

Как журналист Бесник работал в экономическом отделе, хотя писал и на внешнеполитические темы, чаще всего по вопросам общеевропейского рынка и нефти.

— Кстати, где произошел этот переворот?— что-то вспомнив, спросил Кристач.

— Понятия не имею,— пожала плечами Зана.

— Какое легкомыслие!— упрекнул ее Кристач.

Бесник улыбнулся.

Лирия закончила говорить по телефону и заглянула в комнату.

— Ужин готов. Можно подавать?

Столовая со светлыми стенами, кактусом возле окна и натюрмортом, висящим на одной из стен, находилась рядом с кухней и выглядела очень уютно.

— Я приготовила твои любимые тальетеле,— сказала Лирия, подавая Беснику полную тарелку домашней лапши с мясом.

Кристач был явно в ударе, много шутил. «Причиной тому, вероятно, погода,— подумал Бесник,— иначе откуда взяться неистощимому юмору. Историю со змеями тоже можно оправдать погодными условиями — обильные осадки, наводнение. Впрочем, когда Зэф из АТА показывал свои фотографии начальнику отдела кадров, тот долго рассматривал их, а потом изрек: «Что это за страсть такая снимать дохлых змей?»

Кристач наполнил бокалы вином. Есть Беснику не хотелось, однако он постарался управиться с лапшой до того, как Лирия произнесла свою любимую фразу: «Аппетит приходит во время еды!», которая его весьма раздражала. Бесник ел и одновременно пытался разобрать надпись на бутылке с минеральной водой: «Рекомендуется для профилактики почечнокаменной болезни, при нарушении функции печени, желудочных инфекциях, а также при острых отравлениях...»

После тальетеле Лирия принесла бифштекс с жареным картофелем и салат по-русски.

«Не рекомендуется при тяжелых заболеваниях почек, нефрите и...»

— А теперь отведайте десерта, его стряпала Зана,— потчевала хозяйка дома, доставая из холодильника розетки с фруктовым желе.

«Десерт, который готовила Зана...» — мысленно повторил Бесник. Ему доставляло необычайное удовольствие все, что касалось Заны, и было приятно осознавать, что совсем скоро они будут жить вместе. И вечера, и ночи будут принадлежать только им одним.

— Что ж, поздравляю!— похвалил Кристач стряпню дочери.— Только ты почему-то начала со сладкого?

— Не все сразу, дорогой,— заступилась за дочь Лирия.— До свадьбы научится.

— Вряд ли успею,— улыбнулась Зана.

— Почему так? Когда у вас свадьба?— насторожилась Лирия.

— Пожалуй, в начале января,— промолвила Зана, взглянув на Бесника и убедившись в его согласии.

Лирия внимательно посмотрела на молодых, пытаясь по их лицам угадать причину излишней, по ее мнению, поспешности. Конечно, двадцать дней, проведенные на море, наводили на размышления... Но даже ее проницательное материнское око не уловило повода для беспокойства.

— Может, стоит повременить?— осторожно спросила Лирия.— К чему такая спешка?

— При чем здесь спешка, мама?— возразила Зана, и ее нежное лицо залилось румянцем.

«Она мечтает о том же, о чем и я,— радостно подумал Бесник.— И вечера, и ночи будут принадлежать только нам... Как там, на море, где мы отдыхали?» — Он прикрыл глаза, представив опустевшие пляжи, намокший от ливней песок, и лето показалось ему столь же далеким, как палеозойская эра.

Кристач закурил.

— Что ты вмешиваешься?— упрекнул он жену.— Пусть делают, как считают нужным. Они достаточно взрослые. Кофе подай в гостиную,— добавил он, поднимаясь из-за стола.

Бесник тоже встал и пошел вслед за хозяином. Зана и Лирия присоединились к ним чуть позже. Зана села на диван рядом с Бесником. Она успела собрать волосы в пучок и перевязать их голубой лентой. «Почему бы нам не пожениться в декабре?» — подумал Бесник.

— Посмотрим, что на сей раз показывает наш телевизор.— Лирия щелкнула выключателем, и экран засветился. Сперва по нему побежали какие-то полосы, потом, как из тумана, выплыли силуэты двух странных

существ. Наконец изображение стало четче, и бестелесные существа превратились в людей, которые исступленно колошматили друг друга.

— Это чемпионат по боксу,— первым догадался Бесник.

— Терпеть не могу этого вида спорта,— поморщилась Лирия.

Судя по изможденным лицам боксеров и по их вялым неточным ударам, шел последний раунд боя.

— Ой!— вскрикнула Зана, заметив, как один из них рухнул на ринг.

Широко расставив ноги, рефери склонился над боксером и начал отсчет. Тот с трудом приподнялся на одно колено и, судорожно ухватившись за канат и следя мутными глазами за рукой арбитра, сделал отчаянную попытку встать на ноги, но не смог и снова рухнул на помост, потеряв сознание.

— Отвратительное зрелище!— воскликнула Зана.— Но мне его жаль.

Тем временем другой боксер выскочил на середину ринга и стал махать руками, приветствуя ревущую от восторга толпу болельщиков.

— Какой бесчеловечный вид спорта,— заметил Кристач.

Лирия разливала кофе. По телевизору начали передавать последний выпуск вечерних новостей. Показали те же кадры с солдатами, идущими по пустыне. «Твой Средний Восток»,— вспомнил он слова Заны.

Взглянув на часы, Бесник заторопился домой. Близилась полночь.

— Опять пошел дождь,— забеспокоилась Лирия.— Возьми зонт Кристача. Может, дать и плащ?

— Спасибо, возьму зонт,— сказал Бесник и, поблагодарив хозяев за гостеприимство, попрощался: — Спокойной ночи!

— Спокойной ночи!— удерживая отрыжку, сдавленно промолвил Кристач.

— Спокойной ночи, Бесник,— помахала рукой Лирия.— Не пропадай!

Зана вышла вместе с Бесником. Взявшись за руки, они медленно спускались по лестнице. «Оказывается, спускаться такое же счастье, как и подниматься, если рядом любимая»,— подумал Бесник.

Одно из окон первого этажа слабо светилось.

— Как думаешь, получатся те фото с пляжа, которые ты снимал при ярком солнце?— спросила Зана сонным голосом.

Вместо ответа Бесник нежно обнял ее и поцеловал. Зана застенчиво прильнула к нему, уткнувшись лицом в его грудь. Вернувшись в город, они виделись редко. Бесник с тоской вспоминал три недели, проведенные с Заной на море,— время счастья и безрассудной любви. Они стояли на лестнице и целовались, испытывая скорее муку, чем наслаждение. Зана первой пришла в себя и ласково отстранила его.

— Почему бы нам не пожениться в декабре?— прошептал он глухим от волнения голосом.

— Спокойной ночи, милый,— одними губами ответила она и нежно провела рукой по его волосам.

— Спокойной ночи...

Раскрыв зонт, Бесник шел по улице и, вспомнив рассказ Лирии о министре, бродившем под дождем, рассмеялся.

— Вечно топчутся на лестнице. И что им дома не сидится в такую погоду? Целуются, прощаются, опять целуются... — ворчала старая Нурихан, наливая отвар ромашки. Минуту она прислушивалась к удаляющимся шагам, но вот они смолкли. И опять — мертвая тишина.

«Что-то сон нейдет,— подумала старуха.— Да еще этот гул: то ли в ушах шумит, то ли снова зарядил дождь. Страшно умирать в такую ночь». Она представила, как могилу заливает мутная желтоватая, словно ромашковый отвар, жижа. Ложечка дрожала в ее руке, постукивая о края чашки.

«И что за чушь они вечно несут!— распалялась старуха.— Только и знают, что стращать. Двадцать лет сплошных угроз. Еще бы... Свергнутый класс должен ютиться внизу, под ними, и постоянно испытывать унижение, чтоб не забывался».

Трясущейся рукой старуха помешивала ромашковый отвар, пытаясь успокоиться, но всколыхнувшаяся обида не покидала ее. «Мы внизу, они наверху. Мы ютимся на первых этажах и в подвалах, будто сброшенные в преисподнюю, а они в верхних блаженствуют. У них совсем другая жизнь: нажрутся за день от пуза и провожаются, а то часами торчат у тебя под дверью и целуются — ни стыда, ни совести...» Еще долго растрав-

ляла себе душу Нурихан. Сон в эту ночь так и не пришел к ней.

«Не терзайся, мама,— успокаивал ее Марк.— Прошлого не воротишь!» Разумом она понимала, что сын прав, но сердцем принять этого не могла. «Прошлого не вернуть!» И она гнала от себя любые воспоминания, пока какая-нибудь мелочь не возвращала ее к прежней жизни, и едва затянувшаяся рана вновь начинала кровоточить. Вот и сейчас на глаза ей попалась голубая кофта, которую она вязала. Эмилия забыла убрать ее с обшарпанного канапе. Эта кофта — первый заказ к предстоящей зиме — напомнила старой Нурихан жуткое предсказание гадалки Ханче Хайдии из Большой Пезы в ноябре 1944 года, за несколько дней до переворота[1]. «Тебе, моя госпожа, горе мыкать на роду написано,— сказала тогда вещунья.— Как пауки плетут свою бесконечную паутину, так и ты будешь весь век прясть свою пряжу, чтобы заработать на кусок хлеба».

— Проклятая ведьма, из всех мук выбрала самую страшную — век не отмучаешься,— пробормотала старуха.

Всю зиму они приходили заказывать кофты, джемперы, пуловеры — потеплее и покрасивее, и в глазах каждого заказчика она видела презрение и оскорбительную усмешку. «Вы, буржуи, только и годитесь на то, чтобы вязать нам кофты зимой да купальники летом», В их присутствии Эмилия делалась робкой и заискивающей, как, впрочем, и все остальные. Даже Марк, ее сын, самый младший в семье, угодливо улыбался.

«В моем доме все давно смирились со своей судьбой,— подумала старуха, потягивая ромашковый отвар.— Настоящие пауки, без нервов и крови. Скользим, как тени бестелесные. Вяжи, Эмилия, пока можешь, плети свою бесконечную паутину».

Выпив полчашки отвара, старуха разбавила остаток водой: ей показалось, что отвар чуть горчит.

«Откуда взялась эта сила, сметающая на своем пути все живое?— Старая Нурихан едва сдержала вопль отчаяния.— Из Сибири? Из пустыни Гоби? Кто знает,

---

[1] В ноябре 1944 г. Народно-освободительная армия Албании освободила страну от фашистских захватчиков (в 1939 г. Албанию оккупировала Италия, а в 1943 г.— Германия). Ежегодно 29 ноября отмечался национальный праздник — День освобождения Албании от фашистских оккупантов.

какие огромные и ядовитые пауки там водятся?.. Видать, призовет меня Аллах в эту зиму,— подумала она.— Правая рука уже онемела. Умереть бы поскорее, чтобы не мучиться, не видеть и не слышать ничего вокруг. Уйти в другой мир. Другой мир... Заснуть и не проснуться. Не слышать шагов на этой лестнице, всей этой чуши, которую они несут с утра до ночи».

— Отверженные, выброшенные...— снова запричитала старуха.— Все мы на первых этажах и в подвалах. Но есть место и пониже... Под землей.

По привычке она стала мысленно перебирать умерших родственников и знакомых, а потом в ее усталом мозгу зашевелились мысли о смерти вообще. «Миллиарды людей похоронены, как того требует обряд их веры: лежат на спине, на боку, лицом вниз, с распростертыми руками. Невидимым плотным панцирем из скелетов покрывают они землю. Мертвые наверняка правили бы миром, если бы не были разобщены меж собой еще больше, чем живые».

Она долго что-то бормотала, потом допила оставшийся отвар и пошла спать. Откуда-то слышалась веселая музыка. Старуха попыталась представить себе, как горьковатый ромашковый отвар теплом растекается по телу, приближаясь к голове. «Поднимайся, поднимайся, желтая ромашка»,— шептала она. Мысли ее путались: «Повсюду льет дождь... Мы томимся под этим ливнем... и под властью диктатуры пролетариата... Бешеный ветер пробирает до костей...— Дрожа от холода, она с головой накрылась одеялом.— Сибирь... Пустыня Гоби... Пустыня старой Нурихан...»

Глава II

Длинный коридор, приоткрытые двери, доносящиеся из них обрывки бесед, споров, смех, беспрерывный стрекот машинок, нарочито громкие разговоры по телефону (довольно бестолковые, надо сказать) — вот традиционный набор сведений, из которых складывается представление обывателя о жизни редакций, об атмосфере, царящей в них. Они столь же достоверны, сколь разрозненные, быстроменяющиеся кадры рекламного ролика точно отражают содержание фильма, выходящего в прокат.

Двери отделов внутренней жизни, культуры и писем трудящихся были плотно закрыты. Это означало, что главный редактор по-прежнему недоволен их работой и там все без исключения трудятся, пытаясь снискать его благорасположение. Тем, кто знает работу редакций не понаслышке, известно, что состояние дверей редакционных кабинетов второго этажа (приотворены, распахнуты настежь, плотно закрыты) — дело временное. В любую минуту двери, которые сейчас закрыты так плотно, что через них не просочится ни звука, могут распахнуться настежь или чуть приотвориться, а другие, например сельскохозяйственного или международного отделов, которые сегодня вообще не закрываются, что свидетельствует о несомненных успехах их сотрудников, напротив, могут закрыться, и довольно надолго.

В течение дня для журналиста непременно наступает момент, когда материал готов и он может позволить себе расслабиться, выкурить за рабочим столом или у открытого окна сигарету и подумать о чашечке ароматного кофе, который отменно варят в ближайшей кофейне.

В коридоре стояла привычная суета. В холле, в мягких креслах, расположилась группа девушек. И каждый проходящий мимо непременно интересовался: «Кто такие? Откуда?» — и слышал в ответ, что это молодые работницы, участницы республиканской встречи передовиков труда, у которых Никола собирается брать интервью.

Появился администратор с блюдом фруктов и бутылками коньяка.

— Никак, решил накачаться в рабочее время? — не упустил случая позубоскалить один из газетчиков.

— Албановед Шнайдер,— мимоходом бросил он.— Будем интервьюировать.

— Послушайте, говорят, имя Зевс происходит от албанского слова «зэ»[1]? — сказал Илир.

— Смотрите, какая машина подкатила! — воскликнул журналист, стоявший у окна.

Несколько человек подошли к окну посмотреть, что за гости пожаловали в редакцию.

— О-го-го! Кажется, министр сельского хозяйства собственной персоной,— заметил кто-то.— Никак, по твою душу, Илир.

---

[1] Голос, звук (*алб.* zë).

Илир помрачнел. Вот уже два дня его донимали беспрерывными телефонными звонками: Министерство сельского хозяйства возмущалось его последней статьей.

— Бесника не видели?— спросила высунувшаяся из кабинета голова.— Ему невеста звонит.

— Он на заводе Фридриха Энгельса,— ответил Илир.— Кстати, не знаешь, кто это приехал?— спросил он с надеждой в голосе.

— Точно не знаю, но, по-моему, министр сельского хозяйства.

Стоявшие у окна журналисты дружно расхохотались.

— Вот сейчас и узнаешь, откуда происходит слово «гром»,— пошутил один из них.

Собратья по перу еще долго разводили бы этот треп, но в коридоре появился начальник отдела кадров.

— Илир, тебя главный ищет,— сказал он строго.

— Да, дело принимает серьезный оборот.— Шутники враз попритихли.

— Пойду-ка, может, разузнаю что-нибудь,— сказал один из журналистов и направился к кабинету главного редактора.

А в коридоре была обычная суета. Молодых шумливых работниц Никола вел в малый конференц-зал. Из полураскрытых дверей кабинетов доносились трезвон телефонов и громкие «Алё!». Куда-то торопились ответственный секретарь и редактор отдела партийной жизни. Последний был явно не в духе.

— Не понимаю, в чем тут дело?— негодовал он.— В прошлом году передовицу об албано-советской дружбе писал я. И в этом снова я. Где справедливость? Почему бы не поручить ее кому-нибудь из международников? В конце концов, я не хочу есть чужой хлеб.

— Албано-советская дружба никакого отношения не имеет к внешней политике,— рассмеялся секретарь.— И ты это не хуже меня знаешь.

— Да уж... — не то согласился, не то смирился мастер по передовицам и, махнув рукой, пошел в бухгалтерию.

Особое оживление царило около кабинета главного редактора. Несколько человек крутились возле двери, пытаясь расслышать, что говорит напористый, глуховатый голос. Наконец дверь распахнулась, и появились сначала багровый от возмущения министр сельского хо-

зяйства, а потом низкорослый, чуть полноватый Илир. Он был бледен и зол.

— И все же, товарищ министр, вы не правы,— процедил он сквозь зубы.

Главный редактор вышел следом за ними и, стоя в полшаге от министра, толкнул Илира: уймись, мол, и помолчи.

— Это мы еще посмотрим!— бросил министр и, не видя никого вокруг, направился к лестнице.

За ним потянулись остальные. Прощаясь, министр подал руку только главному редактору и стал быстро спускаться вниз в окружении молодых работниц, которые с шумом и смехом высыпали из конференц-зала.

— Братцы, зарплату дают!— раздался радостный вопль из бухгалтерии.

В конце коридора снова показался администратор. На этот раз он нес одну бутылку коньяка.

— Простите, вы не могли бы нам объяснить происхождение слова «пьяница»? — поинтересовался чей-то ехидный голос.

— Где заведующий фотолабораторией?— крикнул кто-то в конце коридора.— Его главный ищет.

— Не приведи Аллах, что творится! Оглохнуть можно,— ворчала старая уборщица Бедрия, спускаясь по лестнице и пересчитывая на всякий случай полученные в кассе деньги.

Наконец-то пришло время подумать о чашке кофе. Те, кто спешил, шли в ближайшую кофейню. Другие же предпочитали ходить в центральное кафе «Ривьера». Говорят, туда частенько заглядывает и главный редактор.

Сегодня главному редактору было не до кофе. Сдавался в набор очередной номер газеты, а он никак не мог подобрать нужные фотографии. Они кипой лежали на его рабочем столе. Съемку делали на республиканской встрече молодых работниц, в которой принял участие Энвер Ходжа. Главный редактор брал одну фотографию за другой, внимательно рассматривал и откладывал в сторону. Ни одна из них ему не нравилась. Он не мог понять, в чем дело: то ли съемка не удалась, то ли техника подкачала, хотя фоторепортеры АТА работали с первоклассной западногерманской аппаратурой. Но это, как говорится, еще не все. Главное — в чьих она

руках. «Человек — превыше всего! — вспомнил он избитый лозунг, постоянно провозглашаемый с трибун совещаний и конференций.— Пора, видимо, подумать об обновлении кадров, хотя... снимали асы, на счету которых тысячи прекрасных фотографий».

Он стал просматривать гранки статей, подготовленных для ближайших номеров. В глаза бросились заголовки передовиц: «НОВЫЕ УСПЕХИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА», «НОВАЯ ЖИЗНЬ В СЕЛАХ МЮЗЕТЕ[1]».

Национальному фольклорному фестивалю была посвящена рубрика «НАРОД ПОЕТ». На этой же полосе помещалась подборка материалов на темы: «ОКТЯБРЬ — ТРАДИЦИОННЫЙ МЕСЯЧНИК АЛБАНО-СОВЕТСКОЙ ДРУЖБЫ» и «ТОРЖЕСТВА ПО СЛУЧАЮ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ИМ. КАРЛА МАРКСА».

«Приближаются большие торжества, и прессе необходимо полно и всесторонне отражать праздничную атмосферу. Общий тон материалов должен быть приподнятым и оптимистическим». Главный редактор задумчиво оглядел горы бумаг на столе. Его внимание привлекла стопка приглашений и телеграмм — звали на закладку четырех новых фабрик и на два праздника районного масштаба. Кроме того, пришло приглашение из посольства ГДР. Посол давал прием по случаю очередной годовщины провозглашения республики. Главный любил бывать на приемах в представительствах социалистических стран. Там он позволял себе расслабиться и пропустить рюмку-другую, после чего предавался мечтам, навеянным давним-предавним сном, который он никогда никому не рассказывал. Там он испытывал душевный подъем, который вызывало столь представительное собрание послов-коммунистов и, конечно же, нынешняя мощь социалистического лагеря. В такие минуты он уединялся от всех, закуривал сигарету и размышлял о возможности дальнейшего расширения его границ. Он мечтал о новой победе коммунистов во французском парламенте, о коммунистической Индии, горько сожалел, что в 1937 году Испания не стала коммунистической, и закипал от злости, завидев посла Югославии. В его грандиозных планах наивные грезы сме-

---

[1] Плодородная равнина албанского Приморья. В прошлом многие ее районы были сильно заболочены.

шивались с потенциальными возможностями и упущенными шансами.

Отложив приглашения, главный редактор стал еще раз перебирать фотографии. «Да-а, явно не то. Нужно больше энтузиазма, больше воодушевления, больше приподнятости, а здесь... Хотя, может, я не прав и зря придираюсь?— опять засомневался он, но тут же спохватился: — Нет и еще раз нет! Съемка не удалась, и в этом можно не сомневаться. А искать виноватого — не моя забота. Главное сейчас — побыстрее связаться с АТА и получить новые фото».

Приняв решение, он энергично нажал на кнопку селектора.

Бесник стоял у огромных стеклянных окон технологического бюро завода имени Фридриха Энгельса и ждал окончательного подведения итогов инициативного движения рабочих ряда цехов за выпуск продукции только мирового качества. Бюро находилось на третьем этаже административного здания, и отсюда хорошо просматривались просторный заводской двор, блестевший после дождя, основные корпуса, бойлерная и часть плавильного цеха. Перед большими железными воротами стоял грузовик с прицепом и громко сигналил. Из будки вышел вахтер. Накинув на голову капюшон, он открыл ворота, что-то быстро сказал шоферу и стремглав кинулся обратно в будку. Похоже, там зазвонил телефон. Две девушки пробежали мимо стендов. На одном были развешаны афиши и объявления, на другом — фотографии передовиков производства. Между ними висел огромный кумачовый транспарант с лозунгом «ДА ЗДРАВСТВУЕТ АЛБАНО-СОВЕТСКАЯ ДРУЖБА!». К воротам подъехал еще один грузовик с прицепом и тоже бешено засигналил. Вахтер, натянув на глаза капюшон, опять вышел из будки и направился к воротам. Бесник безучастно наблюдал за ним из окна.

Наконец экономисты принесли Беснику несколько аккуратно отпечатанных на машинке страниц. На них для сравнения в два столбца были проставлены контрольные цифры: показатели ведущих зарубежных фирм и достижения рабочих завода. Бесник поблагодарил экономистов за помощь и направился к выходу. Во дворе он встретил девушек, которых видел из окна,—

они приклеивали на стенд написанное от руки объявление об очередной репетиции хора.

Городской автобус останавливался у завода, шагах в пятидесяти от проходной. Минут через пятнадцать он подошел и, подобрав скопившуюся на остановке толпу, на большой скорости помчался по сырому от дождя асфальту.

Пологие склоны гор, обступивших столичный пригород, необычайно красивые в ясную погоду, в преддверии зимних холодов выглядели уныло и по-осеннему хмуро. Клочья тумана, поднимавшиеся над землей, искажали представление о рельефе местности. Очертания мелькавших за окном предметов разобрать было трудно, но в этом не было ничего отталкивающего, напротив, ощущалась некая гармония между реальностью и мнимостью их присутствия. Телеграфные столбы, пожелтевшие виноградники, хозяйственные постройки, разбросанные повсюду, вертолет, зависший на горизонте, удивительным образом были связаны между собой и казались близкими и живыми, хотя ни одной живой души вокруг не было.

Приближаясь к центру города, автобус все чаще останавливался и все более заполнялся пассажирами.

— Проходите вперед, пожалуйста!— то и дело напоминала кондуктор.

Бесник, вспомнив, что с утра ему так и не удалось выпить кофе, вышел на одной из центральных улиц и заглянул в бар самообслуживания. Взяв чашечку дымящегося кофе, он устроился за высокой стойкой у окна. Ему хорошо была видна вся улица, и он с интересом наблюдал через запотевшее стекло за прохожими, фигуры которых казались снимками, сделанными с плохо отретушированных негативов.

Потягивая ароматный напиток, Бесник думал о том, что надо бы проверить полученные на заводе данные, чтобы не попасть впросак. Два дня назад у его друга и коллеги Илира возникли неприятности из-за публикации о проблемах интенсификации производства на селе. Министру сельского хозяйства она явно пришлась не по вкусу. Говорят, он был попросту взбешен. Вообще-то, журналисты редакции старались не иметь дела с этим министром: его жена заведовала сектором пропаганды и они в какой-то степени зависели от нее. Илир предвидел неприятности. За день до выхода статьи он сказал Беснику, что, если министр вздумает давить на

него, он обратится в первичную парторганизацию или напишет письмо в Центральный Комитет.

«Да, непременно надо самому проверить каждую цифру,— решил Бесник и тут же подумал:— Что бы ни говорили, а журналистом быть чертовски интересно!»

Бесник очень любил свою профессию. Он навсегда запомнил тот сентябрьский день, когда впервые переступил порог редакции и окунулся в захватывающую работу. Тогда он понял, что ни за что на свете не променяет ее ни на какую другую. Он любил утренние, самые плодотворные, часы работы редакции и ее неповторимую суету, в которой только и можно ощутить истинный ритм жизни страны, уловить ее пульс. Даже назойливые телефонные звонки, заполонявшие по утрам кабинеты, он воспринимал как бодрящие звуки настоящей жизни. А бесчисленные поездки по стране?.. Бесник частенько повторял, что за время самой первой своей командировки он узнал о классовой борьбе в деревне больше, чем за все годы учебы в школе и университете. В течение двух недель он посетил несколько сельскохозяйственных кооперативов, недавно созданных на землях бывших местных беев. Тогда он впервые понял, что на самом деле означают понятия «собственность», «ненависть», «классовая вражда». Понял не сразу и не по разрозненным фактам, событиям, шумным криминальным историям. Бесник впервые столкнулся с неведомой силой, огромной и мощной. И ощущал ее в каждом клочке многострадальной земли, в каждом листочке зеленеющих тополей. Минутами ему казалось, что по арыкам на поля течет не вода, а живая человеческая кровь.

Беснику с детства запомнился один случай. У торговца экспроприировали нажитое им добро: золоченую мебель, венские зеркала и много других ценностей. Крики домочадцев и душераздирающие вопли жены хозяина навсегда врезались в сознание ребенка. Но этот случай по сравнению с раскулачиванием и национализацией земли, о которых ему поведали в кооперативе, выглядел детской забавой.

Домой Бесник возвращался поездом и размышлял об увиденном и пережитом.

— Зана, как фамилия тех, что живут под вами?—

был его первый вопрос, когда они встретились на перроне.

— Крюэкурт,— удивившись, ответила она.— А почему ты спрашиваешь?

— Так оно и есть!— возбужденно воскликнул Бесник.— Я был в их бывших владениях. Это сейчас они попритихли, а там мне такое о них нарассказали, что волосы дыбом становятся.

Прерывающимся от волнения голосом он перечислял страшные факты, и лица стариков крестьян всплывали в его памяти. Бесник торопливо перелистывал блокнот с записями свидетельств очевидцев — бывших батраков бея. Зана слушала и не верила его словам.

— Неужели все так и было?

— А ты думала, что они кроткие ягнята? Кофточки вяжут, заказы выполняют... — усмехнулся Бесник.

— Ты прав, наверное,— сказала Зана.— Но с трудом в это верится. Марк со своей виолончелью... такой до смехотворности робкий молодой человек. Выжившая из ума старая Нурихан; она, пожалуй, и забыла, что когда-то они были беями.

— Все не так просто, как кажется,— покачал головой Бесник, вспоминая бескрайние поля, разбросанные по холмам селения, зеленые кроны тополей, мельницы.— Можно забыть о персидском ковре, который у тебя отобрали, но забыть о своей земле... Никогда!

— Но ведь столько лет прошло с той поры,— несмело возразила Зана.— С годами воспоминания улетучиваются.

«Ты не виновата в своем заблужденье»,— снисходительно оправдал ее Бесник, а вслух сказал:

— Если бы ты собственными глазами видела, с чем пришлось столкнуться на этой земле кооперативам, ты бы думала иначе.

— Может быть,— согласилась Зана и, обняв его за шею, ласково прошептала: — Давай забудем о них — такая красота вокруг.

Они молча шли по бульвару Марселя Кашена[1]. Светила луна. В ее бледном, холодном отблеске еще не опавшие листья пирамидальных тополей сверкали и отливали никелем. Зана приклонила голову к его плечу, и Бchampionship Беснику показалось, что она о чем-то задумалась.

[1] Один из основателей (1920 г.) Французской компартии.

Бесник допил кофе, вышел на улицу и заторопился в редакцию.

— Ты где пропадал?— встретила его Бедрия, убиравшая лестницу.— Невеста твоя обзвонилась.

— На заводе был. А что вообще у нас делается?

— Что может делаться?— проворчала старуха.— Столпотворение. Вот молодые работницы только что ушли. Целая толпа.— Она перестала мести и, понизив голос, таинственно зашептала: — Был тут один немец...

Бесник достал пачку сигарет и угостил старуху. Она благодарно кивнула и продолжила:

— Немец, а по-нашему говорит. Чудно...

Бесник пошел к себе. Среди привычного редакционного шума он различил голос стенографиста, принимавшего репортаж из района. В коридоре прямо на него выскочил заведующий фотолабораторией.

— Куда несешься?— удивился Бесник.

— Послушай,— обрадовался он,— ты можешь мне помочь? Ты же неплохо разбираешься в фотографии. У меня серьезный конфликт с главным.

Видя, что Бесник ничего не понимает, он вытащил из портфеля пачку фотографий.

— Скажи, пожалуйста, чем плохи эти снимки? Свет, фокус, композиция — все в полном порядке. Или я не прав? С точки зрения содержания — сам видишь.— И он стал показывать фотографии.— Товарищ Энвер среди участниц республиканской встречи молодых работниц. Президиум встречи. Молодые работницы в перерыве. Снова товарищ Энвер среди работниц... Скажи, что здесь не так, что ему не нравится?

Внимательно рассмотрев каждую фотографию, Бесник недоуменно пожал плечами.

— А что сказал главный? Он сделал какие-нибудь замечания?

— Никаких конкретных замечаний. Сказал только, что фотографии не годятся, и велел идти в АТА за другими.

— Может, выбрать фотоснимки, на которых товарищ Энвер выглядит повеселее?

— Точно! — обрадовался заведующий лабораторией.— Как это мне самому не пришло в голову? Нет ничего проще. У них наверняка уйма разных снимков. Давай сходим вместе, поможешь мне отобрать.

Бесник согласился. Агентство было рядом, и, пока

они шли, заведующий фотолабораторией не умолкал ни на минуту:

— Представляешь, ни одного конкретного замечания. Не нравится — и все. Попробуй пойми, в чем дело. Прямо ребус какой-то! Легче узнать, о чем думает египетский сфинкс! Повезло еще, что тебя встретил. Кстати, ты снимал в последнее время? Может, пленки проявить или напечатать?

— Летом на море снимал, но уже отдал пленку в фотоателье.

— Почему ко мне не пришел? Разве они умеют по-настоящему работать? Им пеленки стирать, а не пленки проявлять.

Фотолаборатория АТА находилась на первом этаже здания.

— Работа Дзана,— сказала молоденькая лаборантка, едва взглянув на фотографии, и указала в конец коридора.

Дзан был одним из старейших и самых опытных фотомастеров агентства. Он встретил гостей у дверей студии, будто ждал их. Молча выслушав просьбу, он пригласил их в проявочную, где в сушильных камерах над длинными узкими столами висели сотни фотографий.

— Вот, пожалуйста, смотрите и отбирайте.— Дзан показал им камеру и отошел в сторону.

— Вот этот, пожалуй... — нерешительно сказал заведующий, рассматривая ближайший снимок.— А может, тот? Он контрастнее... Нет, все-таки этот, здесь освещение лучше... Или тот?..

Бесник не знал, что сказать. Старый мастер тоже молчал. Был, правда, момент, когда он, похоже, хотел вмешаться, но передумал. Не решился при постороннем: Бесника он видел впервые.

За шестнадцать лет работы в АТА через его руки прошли тысячи пленок, отснятых разными репортерами и разными камерами. Были среди них, конечно, и пленки, запечатлевшие для истории Энвера Ходжу: на митингах, в президиумах торжественных собраний, среди рабочих на закладке новых предприятий, с детьми, у микрофона, поднимающимся или спускающимся по трапу самолета с поднятой в приветствии рукой... Дзану казалось, что он знает лицо товарища Энвера лучше, чем свое собственное. Он видел его и улыбающимся, и серьезным, и сердитым, а порой и раздраженным. За шестнадцать лет работы в лаборатории у Дзана была воз-

можность наблюдать, как с годами менялись черты лица Энвера Ходжи, тускнели глаза, как морщинки бороздили лоб, собирались в уголках его пухлых губ, паутиной стелились под глазами. Он знал, где и как нужно наложить легкую ретушь, хотя ретушировать эти негативы и фотографии, вообще-то, не рекомендовалось. Дзан никогда не видел Энвера Ходжу вблизи, хотя не было в стране другого человека, который бы так хорошо знал его лицо. И вот вчера, поздно вечером, выполняя срочный и ответственный заказ, Дзан вдруг приметил едва уловимую глазом перемену в обычном портрете. На бумаге, погруженной в проявитель, сперва появились смутные очертания, потом более четкие контуры знакомого лица и наконец само лицо. Дзан не сразу понял, что, собственно, случилось. Но выражение лица товарища Энвера было иным. Оно не выказывало недовольства никудышной работой производственного сектора или несоблюдением законов. Не было в нем и досады на вероломство людей, на которых, казалось, можно было положиться. Дзан разглядел нечто более серьезное и важное и на мгновение растерялся. Он вытащил из кюветы фотографию и, прищурившись, откинув назад голову, чтобы не заслонять красного света фонаря, стал внимательно ее рассматривать. Так и не поняв, в чем причина внезапной перемены в выражении лица Энвера Ходжи, Дзан на всякий случай, словно бы надеясь на чудо, вновь погрузил снимок в проявитель. В фарфоровой кювете шла невидимая глазу, походившая на разбушевавшуюся морскую стихию химическая реакция. Немного погодя Дзан осторожно приподнял за уголок фотографию, кончиками пальцев, как отирают со лба холодный пот, стряхнул остатки раствора и стал ее рассматривать. Он не ошибся. Вторичное проявление сделало свое дело: изображение стало более четким, детали проработались. Теперь мастер был уверен, что профессионализм и опыт не подвели его. Перемену, которую он приметил в выражении лица Энвера Ходжи, вряд ли кто обнаружит, столь незначительной она была для постороннего глаза. В ней сосредоточились озабоченность, тревога и чувство одиночества. Эти глубоко скрываемые чувства словно бы застыли в складке на переносице, скользнули тенью на щеках и опустились к нижней губе. Счастливые лица молодых работниц, окружавших Энвера Ходжу, лишь подчеркивали его внутреннее состояние.

Дзан опускал в проявитель один за другим двенадцать снимков, но результат был тот же.

«Товарищ Энвер чем-то серьезно озабочен!» — догадка осенила старого мастера, однако сперва показалась неправдоподобной. Но подумав, Дзан убедился, что он прав. Это произошло вчера, поздно вечером, а сегодня с утра главные редакторы центральных газет названивали в АТА и просили подобрать другие фото. Им казалось, что те плохо отпечатаны. Дзан, конечно, обо всем догадывался. Более того, идя на работу, он это предвидел. Один главный редактор уже дважды возвращал фотографии, требуя новые, наконец намекнул о ретуши. Как объяснить им, что ретушь здесь ни при чем? Теперь другой главный редактор хочет, чтобы его сотрудники сами отобрали фотографии. Дзан сочувственно наблюдал, как они ходят от одной сушильной камеры к другой и не могут ничего подобрать. Кто-кто, а он хорошо знал, что нужных им фотографий здесь нет и быть не может. Перед глазами, будто наваждение, стояла странная картина: безбрежное фантастическое море с проявителем вместо воды, из глубин которого, как из растревоженного сознания, всплывают тревога и беспокойство. Дзан хотел что-то сказать, но не отважился — останавливала настороженность на лицах гостей, к тому же молодого журналиста он видел впервые. В конце концов, почему он должен им что-то объяснять? Дело щекотливое. Да и люди бывают разные — кто знает, как эти двое истолкуют его слова? Он всего лишь фотолаборант, обыкновенный служащий. К тому же скоро на пенсию...

Журналисты о чем-то тихо переговаривались, не обращая внимания на стоявшего в стороне Дзана. А ему вдруг — неизвестно почему — вспомнился декабрь 1944 года, когда он, Дзан Тоска, доблестный партизан Первой бригады, впервые переступил порог фотомастерской. Он был молод, энергичен и напорист. «Теперь твой фронт здесь,— сказали ему тогда.— Будешь отвечать за работу лаборатории». Дзан оглядел столпившихся сотрудников. В глаза бросились испуганные лица спецов, работавших при старом режиме, а также фарфоровые ванночки, которые вызывали в нем брезгливое отвращение, впрочем, как все, что было связано с прежними временами. Он нахмурился. «Что это за вонючая жидкость в белых посудинах?— подумал он с ненавистью.—

И вообще, разве о такой работе мечтал я под пулями в горах?»

Оскорбленный до глубины души, Дзан бросился в городской штаб, но там его встретили без восторга. «Кто же, по-твоему, должен выполнять эту работу? — спросили его строго.— Может, доверить буржуям? Пусть сами проявляют и печатают наши революционные фотографии. Ты этого хочешь? Всю жизнь они измывались над нами, а теперь будут уродовать наши фотографии... Но раз пришел, мы подыщем тебе другую работу».

Представитель штаба достал из кармана листок бумаги и, заглянув в него, предложил на выбор две должности: заместителя управляющего банком или командира отряда по ликвидации коллаборационистов. «Хотя, дорогой товарищ,— вздохнул он тяжело,— самое главное для нас теперь — это АТА. Пропаганда, сам понимаешь». Дзан развернулся и, не говоря ни слова, стремительно вышел из штаба. Когда он появился в лаборатории, сотрудники были на своих местах, будто ждали его.

— Приступайте к работе!— распорядился новый заведующий.— Но помните, что вы печатаете революционные фотографии, а не голых красоток. Надеюсь, все ясно? Тут вам не дадут шутки шутить!

Он с удовлетворением отметил, что первый его приказ, несмотря на краткость, произвел должное впечатление: руки у спецов задрожали. Главное внимание Дзан сосредоточил на кювете, сочтя ее началом и источником всех зол.

Сперва он приглядывался к работе лаборантов. Видел, как белый лист фотобумаги, опущенный в раствор, некоторое время оставался чистым, потом на нем проступали едва заметные очертания фигур и предметов и с каждой минутой становились все четче, словно пробивались сквозь туман раствора, как весенняя трава в горах. Вот лаборант вытащил фотографию из кюветы и осмотрел. На ней была заснята группа партизан, но изображение еще не проявилось, и лица героев были бледными и безжизненными, точно у покойников. Дзан буквально взбесился.

— Проявляй как следует!— набросился он на лаборанта.— Кому говорят?!

— Это только начало, мой господин. Процесс еще не закончился.— И он снова погрузил фото в проявитель.

Дзан недоверчиво следил за каждым его движением и, когда тот попытался вынуть фото из ванночки, схватил его за руку.

— Куда торопишься? Может, раствора жалко? — Лаборант сделал робкую попытку что-то объяснить, но Дзан прервал его: — Хватит болтать! Делай, что говорят!

Когда он наконец позволил достать фотографию, она оказалась безнадежно испорченной: на темном фоне черные, будто обугленные, лица партизан. Глаза Дзана загорелись недобрым огнем.

— Передержали,— дрогнувшим голосом промолвил лаборант.

— Сукин сын! Буржуй недобитый!— Дзан в бешенстве выхватил пистолет и направил на побелевшего от страха лаборанта.— Ты что, издеваться вздумал?! Это не партизаны, а негры какие-то. Всю жизнь над нами измывались, а теперь фотографиями вредить решили?! Я выпущу твои буржуйские мозги прямо в эту посудину!

Дзан усмехнулся, вспомнив первые дни работы в лаборатории. Но постепенно он привыкал к новому делу и даже увлекся им. Он стал спокойнее, сдержаннее, все реже хватался за пистолет, а потом и вовсе забыл о нем. И вот пришло время, когда Дзан понял, что всей душой прикипел к новой профессии. Он упорно постигал ее тайны и очень скоро сделался признанным мастером. Не раз потом ему предлагали более престижные должности, но он остался верен своему выбору. Фарфоровая ванночка с волшебным раствором словно околдовала его. Только в сказках и легендах рассказывается о чудовищах, выходящих из водной пучины, и о прекрасных занах[1], которые живут на дне озер. Этим сказочным миром стала для Дзана кювета, где тоже совершались чудеса. В ней рождались радости и беды страны. В ней он впервые увидел ликующие толпы народа в день провозглашения Народной Республики[2], митинги в поддержку аграрной реформы[3], вереницы гробов с те-

---

[1] Фантастические существа женского пола, сказочные девы-воительницы, хозяйки природы.

[2] Первая сессия Народного собрания 11 января 1946 г. провозгласила Албанию Народной Республикой.

[3] Закон об аграрной реформе был принят 29 августа 1945 г. В его основу был положен принцип: «Земля принадлежит тем, кто ее обрабатывает».

лами солдат, убитых на южной границе (они плыли в растворе словно на крыльях смерти), сотни других событий, больших и малых. Одни радовали, другие вселяли надежду, третьи тревожили, но ни одно из чувств не могло сравниться с тем, которое он испытал вчера поздно вечером. Всю ночь Дзан не сомкнул глаз.

— И что тебе не спится?— спросонок ворчала Сания.— Ворочаешься, ворочаешься... Скоро утро. Спи.

Даже ей, верной жене и подруге, Дзан не решился рассказать о своей догадке, а уж этим двум красавцам, которые с полчаса толкутся возле сушилок, надеясь найти снимок повеселей, он и подавно ничего не скажет.

Нет-нет, он никому ничего не скажет. Лишь нечто сверхъестественное заставило бы его поделиться этими мыслями с собственной женой. «Слушай, Сания,— сказал бы он ей шепотом.— По-моему, Энвер (он так называл его, потому что они были ровесники) чем-то встревожен». Она разволновалась бы, конечно, запричитала: «Ой-ой-ой, уж не война ли?», а потом непременно спросила бы: «Откуда ты знаешь?» — или одернула: «Не твоего ума дело. У больших людей — большие заботы. Спи-ка лучше». А он долго еще лежал бы в темноте и размышлял. Постепенно его сознание начало бы погружаться в вязкий раствор неясных видений, пока черная бездна сна не проглотила бы его окончательно.

Глава III

Зана стояла в прихожей перед зеркалом и, что-то вполголоса напевая, причесывалась.

— Мама, посмотри, как там на улице?

— Похоже, будет дождь,— отозвалась из кухни Лирия.— Возьми-ка на всякий случай зонтик.

Зана хотела распустить волосы, что ей было к лицу, но, решив, что на улице ветрено, заколола их шпилькой.

— Если позвонит Бесник, скажи, что я у Дьаны. Ты меня слышишь, мама?

— А телефон он знает?— спросила Лирия.

— Конечно!— Зана с сомнением, как бы со стороны взглянула еще раз на прическу, но волосы все же не распустила. «Кто не знает телефона семьи Бермемов?»— подумала она.

— Мама, я ушла! Пока!— крикнула она с порога.

Убогие лестничные перила, ставни на окнах нижнего этажа, давно не крашенные, ржавели под дождем.

Погода стояла хорошая, на улице было много людей. Смеркалось. Пропустив два битком набитых автобуса, Зана еле-еле втиснулась в третий. Пассажиры обсуждали результаты только что закончившегося чемпионата страны по футболу. «Чем только не интересуются люди!»— снисходительно отметила Зана.

Дом, в котором семья Бермемов занимала роскошную квартиру, стоял в стороне от шумных улиц,— громоздкое мрачноватое здание, как, впрочем, многие дома старой постройки. На тяжелых дверях мореного дуба сверкали бронзовые таблички с фамилиями жильцов. Зана нажала кнопку «Семья Бермемов». Дверь открыл Макс, брат Дьаны. Как у всех в этой семье, у него были вьющиеся каштановые волосы, отливающие редкой рыжиной. Войдя в прихожую, Зана сразу почувствовала беду. «Что-то случилось»,— решила она, снимая плащ. Она любила бывать в этом доме, ей нравился уклад его семейного быта больше, чем свой собственный. Здесь было просторно и уютно, всегда звучала тихая музыка, записанная Максом,— и пахло вкусной едой.

Сегодня музыки не было, а из кухни тянуло чадом подгорелой пищи. Зана вспомнила, что и в голосе Дьаны, когда они говорили по телефону, прозвучала растерянность, а открывший дверь Макс был непривычно серьезен.

— Что-нибудь случилось?— спросила она подругу.

Дьана молча кивнула. Зана видела, что она расстроена и пытается не показывать виду. Они прошли в гостиную, и Зана повторила вопрос.

— Да, случилось,— тихо отозвалась Дьана.— Ты догадалась?

— Что произошло? Рассказывай,— встревожилась Зана.

— Дядина дочка — ты ее знаешь, она заканчивает медицинский факультет — выходит замуж.

— А-а, понимаю, предсвадебные заботы...— облегченно вздохнула Зана.— Как ты меня напугала!

— Нет, дело совсем в другом,— возразила Дьана.— Она связалась с сыном человека, исключенного из партии.

— Вот как?!— удивилась Зана.

— Да-да, его отец был одним из участников Тиранской партконференции[1]. Помнишь, тогда, после событий в Венгрии, многих исключили из партии.

Зана кивнула, хотя в суть этих событий никогда не вникала. В памяти всплывали бессвязные, отрывочные сведения, слышанные то ли дома, то ли на лекциях по марксизму.

— Вся родня страшно обеспокоена,— продолжала Дьана, кивнув в сторону прихожей, где беспрерывно звонил телефон.

Зана не знала, как вести себя в подобных случаях. Ей казалось, что никакой трагедии не произошло, ведь девушка сама сделала выбор, пускай даже не очень удачный, и вряд ли стоит убиваться из-за этого.

— Но она же любит его, наверное,— наконец нашла она веский, по ее мнению, аргумент.

Дьана недоуменно посмотрела на подругу.

— О чем ты говоришь?!— всплеснула она руками.— Ты же знаешь, что значит быть исключенным из партии?.. В нашем доме этому придают большое значение. У вас ведь тоже? Не так ли?

— Да, особенно отец,— кивнула Зана.— А она хорошенькая?

По Дьаниной улыбке она поняла, что дядина дочка очень хороша собой. Род Бермемов славился красотой: густые каштановые волосы с медным отливом, мягкий овал лица, светлые с поволокой глаза. Зана украдкой сбоку взглянула на Дьану и залюбовалась ею. Дьана была из тех женщин, которых беременность украшает, придавая приветливость взгляду, ласковость голосу, плавность движениям.

В прихожей опять зазвонил телефон.

— Да, нежданная беда свалилась на нас,— вздохнула Дьана.

Оставшись одна, Зана с удовольствием начала разглядывать давно знакомую и любимую ею комнату с камином, у которого приятно было посидеть в ненастную погоду. Огромный ковер кофейных тонов как нельзя лучше гармонировал с дубовым паркетом, кожаной обивкой мягкой мебели и блеском бронзовых ручек

---

[1] Состоялась в апреле 1956 г. и была посвящена положению в Албанской партии труда в свете решений XX съезда КПСС о преодолении «культа личности» Сталина. Попытки некоторых делегатов критиковать аналогичные проявления в АПТ закончились для них репрессиями.

книжного шкафа. В 1945 году мать Дьаны в составе делегации албанских женщин была в Италии и привезла подарок от итальянских арбрешей[1] — красивые часы с дарственной надписью. На их циферблате была выгравирована статуя Скандербега, сидящего на вздыбленном коне; одно из копыт коня было занесено над цифрой «9» (по преданию, в этот час 28 ноября 1444 года Скандербег появился у крепостных ворот Круи[2]). «Пришел день Арберии»,— подойдя к шкафу, Зана прочитала слова, написанные по-староалбански.

А Дьана меж тем не возвращалась, и Зана увлеклась развешанными на одной из стен семейными фотографиями, хотя многие из них уже видела. В центре первого ряда в металлической рамке висела фотография отца Дьаны с Энвером Ходжей: они стояли на ступенях широкой лестницы. Чуть ниже в ряд висели портреты членов славного рода Бермемов: все приветливо улыбались; все занимали ответственные посты. Еще одно фото отца Дьаны, посмертное: он лежит в утопающем в море цветов гробу, установленном на лафете орудия. Член Центрального Комитета партии, министр первого коммунистического правительства, он скоропостижно скончался от инфаркта шесть лет тому назад. Сейчас в принадлежавшей ему огромной квартире живут вдова с сыном, дочерью и зятем, врачом-психиатром.

Неожиданно Зане пришло на ум, что она не хотела бы жить вместе с родителями. Она плохо помнила квартиру Бесника, но мысль о том, что первое время, пока они не получат собственное жилье, придется тесниться там, вовсе не пугала ее. Обычную государственную квартиру, какие теперь строят, проще оборудовать и обставить мебелью, чем квартиры в старых домах с высоченными потолками, длинными коридорами и огромными прихожими. Придется, конечно, постараться, проявить вкус и фантазию. Нужны, разумеется, и деньги. Когда Зана начала работать в проектном институте и стала получать зарплату, родители разрешили ей самостоятельно тратить деньги: так принято в семьях, где девушки собираются замуж.

---

[1] Древнее этническое самоназвание, сохраняемое албанцами Италии (их предки бежали от турецких завоевателей в XV—XVI вв.).

[2] Город в Албании. В середине XV в.— столица княжества Скандербега; неприступная крепость.

«Не бросай денег на ветер и не трать много на наряды,— советовал ей отец.— Откладывай часть зарплаты на сберкнижку. Потом пригодится». Лирия, не отличавшаяся бережливостью, придерживалась иного мнения. Она считала, что забота о доме — дело мужское и думать об этом должен Бесник. «Ни в чем себе не отказывай, доченька,— нашептывала она Зане.— Молодость бывает один раз и быстро проходит».

— Прости, Зана, что оставила тебя одну,— сказала Дьана, входя в гостиную.— Но ты же понимаешь...

— Конечно, конечно, не беспокойся.

— Мама просит прощения, что не выйдет к нам. Мало ей забот в эти дни, так еще прислали приглашение на прием в посольство Восточной Германии. Она как раз собирается.

— Я все понимаю,— успокоила подругу Зана.— Не волнуйся. Я зашла на минутку и сейчас уйду. У вас столько хлопот!

— Нет-нет, не уходи! — запротестовала Дьана.— Есть кому и без меня защитить интересы семьи. У нас много родни и со стороны покойного отца, и со стороны мамы. Посиди со мной.

В прихожей снова зазвонил телефон.

— Я все-таки пойду,— сказала Зана, поднимаясь.— Говорят, в антикварной лавке продается чудесный ночник старинной работы. Я думала, мы вместе посмотрим, но тебе, вижу, не до этого.

— Очень даже до этого,— возразила Дьана.— Давай сходим. Да и врачи советуют больше бывать на воздухе. В моем положении это полезно. Я сейчас переоденусь. Подожди.

Немного погодя Дьана появилась и, проходя мимо телефона, который опять трезвонил, показала ему язык.

У подъезда они столкнулись со Скендером Бермемой.

— Что происходит?— спросил он мрачно.— Я как раз иду к вам.

Зана хотела намекнуть, что там, наверху, его ждет сюжет для новой пьесы, но не отважилась. Несмотря на родство, их отношения не были столь близкими, чтобы позволить себе подобные насмешки. Да и выражение лица писателя — чрезмерно серьезное и неприветливое — к шуткам не располагало.

Он холодно кивнул им на прощание и скрылся в подъезде. Зана вспомнила, что совсем недавно прошел слух о его связи с некой Аной Краснити.

— По-моему, он страшно расстроен,— заметила Зана, беря Дьану под руку.

— Еще бы,— согласилась Дьана.— Я же говорила, что в нашей семье таким вещам придают большое значение.

«Наверное, это правильно»,— подумала Зана.

Всю дорогу до магазина подруги болтали о всякой всячине.

— Хочу сделать Беснику сюрприз,— сказала Зана, когда они остановились перед витриной антикварной лавки.— Вот он, смотри! Правда прелесть?

— Да, очень красивый.

— Триста пятьдесят лек новыми — не так уж и дорого. Как ты считаешь?

— Не знаю,— повела плечами Дьана.— Я плохо разбираюсь в ценах.

Зана с интересом рассматривала витрину.

— Обрати внимание на хозяина,— сказала Дьана, кивнув на человека, которого хорошо было видно за окном витрины.— Более печальных глаз в жизни не видела.

Подруги вошли в магазин.

«Кажется, пронесло»,— подумал Бэн, провожая взглядом Зану и ее подругу. Вот уже более часа он с закадычным другом Салей толкался на их условном месте между дежурной аптекой и комиссионкой. Бэн вовремя заметил невесту брата и, чтобы она не узнала его, буквально врос в стену. Саля о чем-то рассказывал, но Бэн не слушал его. Он презрительно сплюнул в сторону магазина: его раздражали и удивляли люди, которые любили разглядывать и покупать всякое старье. Бэн не хотел попадаться Зане на глаза; он считал, что она непременно расскажет о его времяпрепровождении Беснику, а тот, как всегда, начнет его воспитывать. Бэн старался избегать подобных разговоров со старшим братом. И не потому, что Бесник был слишком строг или придирчив, скорее наоборот. Его злило, что брат чаще всего оказывался прав.

Прислонившись к холодному мрамору стены, Бэн внимательно следил за дверью магазина. Ребята облюбовали этот угол, потому что он походил на маленький тихий островок, затерявшийся в бурлящем людском потоке. Улица здесь круто поворачивала, а люди, как пра-

вило, шли в универмаг, что стоял напротив. В его застекленных витринах было видно всех, кто переходил улицу. Для Бэна этот островок был, пожалуй, единственным местом, где он чувствовал себя защищенным от жестокого и несправедливого окружающего мира. Здесь он спокойно общался с приятелями, курил, а то просто молча подпирал стенку, как любил говорить Бесник. Здесь никто не упрекал его в том, что, когда весь трудовой народ Албании мобилизует силы на строительство социализма, он, Арбэн Струга, сын участника войны, живет как тунеядец, бессмысленно прожигает жизнь, в надежде, что в сентябре будущего года он все-таки поступит на актерское отделение. Вообще-то, он поступил бы и в этом году, если бы не послушал одну дуреху, которая посоветовала ему читать на вступительных экзаменах монолог безумной Офелии. Другие-то ведь поступили. Приняли всех, кто читал «Купите угля, господа!» Мидьени[1] и отрывки из поэмы Наима Фрашери[2] «Стада и пашни». И даже того, что читал монолог Дон Кихота перед разбойниками. И только Бэн с треском провалился. «Поделом тебе!— сказал тогда Саля, ходивший с ним на экзамены.— Кто тебя просил вылезать с монологом этой идиотки?»

Бэн продолжал наблюдение. Зана еще не появлялась.

— Ну, а дальше что было?— спросил он невпопад.

— Дальше?!— возмутился Саля, размахивая своими короткими руками.— Я уже раз двадцать сказал, что было дальше. Тор проводил ее до дома, и они часа два-три простояли у дверей, а он ей: «сю-сю-сю» да «сю-сю-сю».

— А она?

— Она слушала его, опустив голову, и вертела ножкой. Я не хочу досадить тебе, но, по-моему, она увлеклась Тором.

Бэн со злостью выплюнул почти изжеванный фильтр сигареты.

— Подлец! Я бы никогда так не поступил с товарищем.

---

[1] Мидьени (псевдоним Милоша Дьердя Николы; 1911—1938) — албанский поэт, прозаик, публицист.

[2] Братья Наим Фрашери (1846—1900) и Сами Фрашери (1850—1904) — видные деятели национального возрождения, просветители, писатели и ученые, оставившие большое литературное наследие на арабском, турецком и албанском языках.

— Тор это может,— уверенно заявил Саля.— Ему не впервой. Я был знаком с одной девушкой из общежития...

— Я набью ему морду. Вот увидишь,— процедил сквозь зубы Бэн и резким движением смахнул табачную крошку с губы.— Хотя Ирисия того не стоит.

— Правильно!— поддержал друга Саля.— Я тоже так думаю.

— Вообще-то, у меня с ней ничего не было,— проронил Бэн, взглянув на чашу со змеей, изображенную на толстом оконном стекле аптеки.— Прошлись как-то в субботу по парку, и все.

— Вацлав идет!— обрадовался Саля.

Улыбающегося Члирима, которого друзья прозвали Вацлавом, они увидели издалека. Один год он учился в Праге на геолога, но был отчислен за неуспеваемость и вернулся домой. Это он предложил собираться здесь, на улице Дибры, каждый день и в установленное время. Члирим сказал, что в Праге они с друзьями встречались на Вацлавской площади. «И вообще,— говорил он,— во всех столицах социалистических стран есть свой «бродвей». В Москве это улица Горького, в Варшаве — своя улица, даже в Улан-Баторе наверняка есть свой «бродвей», который называется улица Юрт или улица Чингисхана».

— А вот и Дистрофия,— воскликнул Саля, увидев направлявшуюся к ним высокую и довольно нескладную гимназистку, с которой он познакомился на последней спартакиаде и которую все называли Дистрофией или Общим кризисом капитализма — за ее немыслимую худобу.

Девушка приветливо помахала им рукой, и ее узкие костлявые плечи затерялись в толпе.

Последним пришел Тор. Он поздоровался со всеми, но Бэн даже не взглянул на него. Тор подмигнул приятелям, как бы спрашивая: «Что это с ним?»

— Ты встречался вчера с Ирисией?— неожиданно в лоб спросил Бэн.

Тор, казалось, поперхнулся.

— А если и так?! Ну и что?

— А то,— холодно сказал Бэн,— что я бы на твоем месте этого не делал. Но...

В это время Бэн увидал Зану, выходившую из антикварной лавки. В руках у нее был огромный пакет, который она бережно прижимала к груди. Он снова врос

в стену, но подруги, увлеченные разговором о покупке, прошли мимо, не обратив внимания на подростков.

Взгляд Бэна не предвещал ничего хорошего, и Тор испытующе посмотрел на Салю, стараясь понять, как будут развиваться события.

— Я не знал, что у тебя с ней...— оправдывался Тор.— Если бы я знал, то...

— Хватит!— оборвал его Бэн.— Ничего у меня с ней не было.— Примирительный тон соперника несколько успокоил его.

— Бэн, кажется, ты сердишься?

— С чего ты взял!— Он достал сигареты и нервно закурил.— Я же сказал, что у меня с ней ничего не было.

— Дай сигарету,— попросил Тор.

— Жаль, что ты сам не рассказал мне об этом,— сказал Бэн, помолчав.

— Да как-то неловко было. Клянусь!

— Ладно уж,— небрежно отмахнулся Бэн.— Чего там!

На самом деле все было не так просто. Теперь он опасался, как бы Тор не начал, по обыкновению, описывать подробности вчерашнего свидания. Ему было бы досадно их выслушивать.

«Что поделаешь? Бывает...— рассуждал про себя Бэн.— В конце концов, у меня с Ирисией действительно ничего не было. Одна-единственная прогулка по Тиране. И только. Всего один день. Да и что за день?» В его памяти он ассоциировался с выбивающейся из сил птицей по имени «Суббота», которая падала, теряя перья — одно за другим. Птица была обречена на гибель, но умирать не хотела... Однажды Бэн видел охотника, который... Городские часы пробили шесть раз.

Самолет компании «Интерфлюг», совершая обычный рейс по маршруту «Берлин — Будапешт — Тирана», пролетел территорию Венгрии и взял курс на юго-восточную часть континента. Корреспондент АФП[1], прильнув к иллюминатору, разглядывал сквозь вечерний полумрак медленно проплывающую под крылом самолета землю. «Социалистический лагерь»,— мысленно произ-

---

[1] Агентство Франс Пресс — французское информационное агентство.

нес он и отчего-то вздохнул. Так вздыхает человек, потрясенный отупляющей бесконечностью пространства и всем существом ощущающий, что соприкосновение с ним освобождает его от значительной части телесного веса и мыслей, оставляя при этом некоторое количество килограммов мяса и костей да несколько десятков слов, связанных примитивным синтаксисом. Внизу слабо замигали, словно только что возникли в безжизненном пространстве Вселенной, едва заметные огоньки. Журналист оторвался от иллюминатора и, чтобы обрести ощущение реальности, попросил стюардессу принести кофе.

«Итак, вот он — социалистический лагерь. Внушительная часть мира. Внизу лишь окраинные его районы. Дальше — столицы, а там, в таинственной дали,— центр». Он снова приник к иллюминатору и, увидев мерцающие огни, подумал: «Что там сейчас происходит? Как живут люди — красивые женщины, например, артисты, правители?» Задавая себе эти вопросы, он испытывал и страх, и жалость. Мысль о том, что внизу живут такие же, как на всей планете, люди и что отличаются они от других лишь тем, что не имеют частной собственности, потрясала его. Драма людей без собственности, подумал он. Эта фраза может стать неплохим подзаголовком будущего репортажа.

Он впервые летел в страны коммунистического мира. Несомненно, это самая ответственная поездка из всех, которые ему предлагались до сих пор. От ее результатов во многом будет зависеть его будущая карьера. Он прижался лбом к холодному стеклу иллюминатора. Внизу расстилалось бескрайнее пространство с редкими разбросанными в беспорядке огоньками. Они словно бы вопрошали его: «Чего ищешь? Что хочешь узнать, чужеземец?»

Корреспондент тяжело вздохнул. Ощущение тревоги не покидало его. «Коммунистический мир,— подумал он снова,— чуждый, ни на что не похожий, кичащийся своим единством. От этого мороз по коже подирает! Этот мир распростерся во все стороны, скрывая от любопытных взоров свои великие тайны и потрясения. Сила его — в единстве». Взгляд журналиста скользнул поверх неподвижно склоненной головы представителя фирмы «Champs de France», который сидел в кресле перед ним. «Единство... — повторил он задумчиво.— Сколько лет это слово витает над Западом, внушая паниче-

ский страх? Единство стран коммунистического блока... И вот теперь в этом монолите наконец-то появилась трещина. Но где? В каком месте?»

Цель его поездки — отыскать эту пока еще не видимую глазом трещинку, в каком бы месте необъятного пространства она ни находилась, с какой бы сферой деятельности ни была связана. Эта трещинка была той маленькой ранкой, тем невидимым глазу нарывчиком, с нагноением которого он связывал свои планы и надежды. «Наверное, не только я, но многие другие журналисты мчатся сейчас в разные концы мира с той же миссией,— подумал корреспондент.— Они не сомкнут глаз ни днем ни ночью (как когда-то матросы Колумба, высматривавшие новую землю), чтобы первыми заметить начало раскола и оповестить мир громкими криками: «Трещина! Трещина! Монолит дал трещину!»

Подобная затея казалась ему бессмысленной. Можно ли надеяться отыскать трещину (даже если она в самом деле где-то образовалась) на необозримых просторах, в хаосе и мраке? Он снова прильнул к иллюминатору, всматриваясь в сумрачную даль земли, будто там вот-вот зазмеится зигзагообразная трещина и он должен первым уловить этот миг.

— Венгерский самолет,— сказал Саля, глядя на красные и голубые огни пролетавшего над городом пассажирского лайнера.

— Думаю, ты ошибаешься,— возразил Тор.— Скорее всего, немецкий «Интерфлюг».

Ребята не успели еще разойтись и теперь, завидев самолет, заспорили. Каждому хотелось похвастать своей осведомленностью о графике полетов самолетов. Бэн в споре не участвовал. «К черту все эти авиакомпании с их самолетами и расписаниями, да и с самим небом в придачу!» Мыслями он был далеко. Бэн вспоминал тот субботний вечер, когда познакомился с Ирисией. Произошло это совершенно случайно в коридоре факультета у прошлогодней стенной газеты. Вокруг было полно народа и разговоров: «На каком ты отделении?» — «А ты?» — «Я попытаюсь перейти на другое».— «Как это сделать?» — «Через министерство, конечно...» Потом вмиг все куда-то исчезли, точно дикая орда кочевников, сметающая на своем пути всех и вся; остались лишь затихающий гвалт да клубы словесной пыли. И тут он

увидел ее. Ирисия стояла в стороне и, чуть склонив голову набок, грустным взглядом провожала шумливую ораву абитуриентов. Из-за ее прелестной головки виднелась часть передовицы: «ВСЕ УСИЛИЯ — НА ВЫПОЛНЕНИЕ...» Бэн подумал, что с девушкой, которая умеет так держать голову, нетрудно познакомиться. Спустя минуту они разговаривали как давние знакомые. Потом вместе вышли из здания, прошлись по тихой улочке с двумя рядами посольских домов, которая связывала Эльбасанскую улицу с центральным бульваром столицы, и пошли в парк. Они погуляли немного, посидели на лавочке, где кто-то забыл свежую газету, потом он дал ей свой телефон, а она пообещала позвонить ему. И все это время Бэн курил одну сигарету за другой. Когда они возвращались домой, то на Почтовой улице случайно встретили Тора и Салю, и Бэн, как водится, познакомил друзей с Ирисией. Все следующие дни он тщетно ждал звонка. Она не позвонила ни назавтра, ни послезавтра, ни через неделю, ни через две...

— Послушай, Бэн, если ты так переживаешь, я могу... — начал было Тор.

— Не надо,— сказал Бэн с деланным равнодушием. А перед глазами стояла она, с туго перевязанными синей лентой волосами и смущенной улыбкой на лице.

— Ты, вроде, не проявлял к ней особого интереса,— продолжал Тор,— и я подумал, что она тебе не понравилась. Однажды мы случайно встретились на улице и...

— Прекратим этот разговор!

— А что ты заводишься?— удивился Члирим.— Там, на Вацлавской площади, мы спокойно относились к таким...

— Надоел ты со своей площадью!— оборвал его Бэн.— О чем-нибудь другом можешь рассказать?

Члирим надулся, но смолчал.

Начал накрапывать дождь, и улица сразу же опустела. Казалось, что из всех улиц Тираны только на улице Дибры так ощутимы перемены погоды. Заслышав отдаленные раскаты грома, пешеходы убыстряли шаг, продавцы фруктов тотчас скрывались под тентами. Поминутно звучали свистки полицейских, предупреждающих об опасности перехода улицы в неположенных местах. Дождь припустил хорошенько, его крупные капли устремились в погоню за девушками. Прохожие прятались в магазинах и под навесами домов. При этом они

укоризненно покачивали головами, будто на самом деле происходило что-то немыслимое.

— Мариана идет,— нарочито громко возвестил Саля и толкнул Бэна в бок.

Мимо пробежала Дистрофия с подругой. Тор попытался подозвать их, но они не удостоили его вниманием.

Прохожих на улице почти не было. Хозяин комиссионного магазина вышел из дверей, огляделся по сторонам тусклыми глазами, которые, неизвестно почему, вызывали у Бэна сострадание, и лениво опустил металлические жалюзи.

— Давайте дождемся конца киносеанса,— предложил Члирим.— А потом можно и по домам.

Бэн не спеша поднимался по лестнице. На втором этаже перед их дверью снова появилась на стене знакомая надпись: «М — КРАСИВАЯ!» Таинственная «М» — это, конечно, Мира. Ее голос слышно было даже на лестнице: опять, наверное, задачи по алгебре решает по телефону. Бэн нажал кнопку звонка. Мира открыла дверь. Она кивнула брату и, не выпуская из рук трубки, продолжала увлеченно болтать:

— Послушай вот еще что... Передовые идеи Сервантеса... Что?! Вам дали другую тему — мастерство Наима?..[1] Да нет. Это мы уже проходили...

Бэн ласково щелкнул сестру по носу и вошел в гостиную. Отец и тетя пили кофе. Бесник, по-видимому, еще не пришел с работы. Бэн буркнул что-то похожее на приветствие и подошел к столу. В ответ на его вопросительный взгляд тетя молча указала на буфет. Это означало, что они давно отужинали, а его порция, как всегда,— на верхней полке. Кроме того, можно взять что-нибудь из холодильника.

Доставая тарелки с едой, Бэн заметил на холодильнике книгу воспоминаний о войне, с которой отец не расставался уже целую неделю. Он воевал в Первой партизанской бригаде и теперь с интересом читал все военные мемуары. Порой ему что-то не нравилось и даже раздражало. Тогда отец подзывал тетю Рабо, и она, нацепив на нос старенькие очки и поудобнее устроившись в кресле, внимательно слушала его. Спустя минуту начинался спор.

[1] Наим Фрашери.

— Ах, чтоб ему пусто было!— негодовала тетя.— Почему про Аламана опять ничего не написали?

— Да уймись ты, сестра!— говорил в таких случаях отец.— Не было твоего Аламана на стане[1] в Забзуне.

— Был! Был!— настаивала тетя.— Я, как сейчас, вижу.

Всю войну она была связана с партизанами. Партизаном погиб ее муж. Тетушка и сама ушла бы в горы, если бы не остались у нее на руках трое племянников-сирот. Их мать умерла во время родов Миры. Всех троих она воспитала, подняла на ноги.

Мира закончила наконец болтать по телефону. Бэн вяло, без аппетита ел остывший ужин и украдкой поглядывал на отца. В последнее время отец сильно сдал. Те два месяца, что он сидел дома на больничном, плохо сказались на его нервах и настроении. Отец привык работать, и вынужденное безделье угнетало его. Бэн спал в одной комнате с ним и слышал, как он подолгу не может заснуть — ворочается, кряхтит, вздыхает. Порой Бэну хотелось подойти к отцу, расспросить о здоровье, предложить помощь, но он не отваживался. С лета, после его провала на экзамене в училище искусств, их отношения утратили былую теплоту и сердечность. Втайне Бэн гордился отцом. Когда в школе спрашивали о родителях и кто-нибудь, потупившись, невнятно бормотал: «Служащий... мелкий торговец...», Бэн с особой гордостью чеканил: «Мой папа — партизан Первой бригады...»

Старший Струга в 1944 году был участником всех боев и походов легендарной бригады. Но особую известность он приобрел, когда в конце войны с двумя партизанами взорвал мавзолей королевы-матери, возвышавшийся на горе над Тираной. Эта история казалась Бэну прекрасной и героической. Он тогда был еще ребенком и запомнил ее по рассказам взрослых. «Да, в молодости и мы взрывали королевства!» — подшучивали над отцом товарищи.

О взрыве мавзолея писали не только в Албании. Эмигрантские монархические газеты на первых полосах дали подробную информацию, не забыв упомянуть имени отца. «Бандит Джемаль Струга,— сообщала одна из газет,— взорвавший священную могилу матери

---

[1] Временное летнее жилище чабанов. В годы войны использовалось как место стоянки партизанского лагеря.

нации, особым указом короля приговаривается к смертной казни». Далее шел текст указа.

Кто-то подарил отцу экземпляр той газеты, и теперь она хранилась в шкафу вместе с книгами о войне и фотографиями военных лет. Бэн не раз перечитывал написанный на староалбанском языке королевский указ. Глядя на пожелтевшую от времени газету, он обычно едва удерживал смех. Но сегодня ему было не до веселья: с отцом что-то происходило, он с каждым днем выглядел все хуже и хуже. «Чем же все-таки он болен?» — терялся в догадках Бэн.

Ветер, по-видимому, усиливался: дождь крупными каплями забарабанил в окна.

— Вот и зима настает,— промолвил отец, посмотрев на окно.

— Да, скоро зима...— вздохнула Рабо.— Надо запасаться дровами.— И она с тревогой глянула на топку, прикрытую листом картона.

С новым порывом ветра дождь еще сильнее ударил по стеклу.

Было десять часов вечера.

А в это время на приеме, даваемом послом ГДР, корреспондент Франс Пресс, прилетевший в Тирану два часа назад и успевший за несколько минут перезнакомиться с доброй половиной гостей, вел беседу с представителем румынского торгпредства на сугубо гастрономические темы. Он, например, считал, что французской кухне, несмотря на ее всемирную славу, после второй мировой войны нанесен значительный урон. Свидетельство тому — чрезмерное увлечение французов всевозможными соусами. По его мнению, соусы придуманы лишь для того, чтобы искусно скрывать упадок национальной кулинарии.

Румын вежливо улыбнулся и хотел было деликатно возразить, но журналист не дал ему и рта раскрыть.

— Я убежден,— продолжал он напористо,— что сегодня единственная кухня заслуживает внимания — это скандинавская.

Они чокнулись, и торгпред заговорил о влиянии на Балканах турецкой кухни, скудость которой, на его взгляд, придала ей несколько драматический характер. Он ждал, что француз поинтересуется, что, собственно, он имеет в виду, говоря о драматическом характере

кухни, но тот, пристально посмотрев собеседнику в глаза, внезапно спросил:

— Как вы объясните, что две недели назад Албания, имеющая с Советским Союзом договор о поставках зерна, обратилась за помощью к Франции?

Брови у румына задвигались так быстро, что казалось, вот-вот сорвутся со лба.

— Что тут сказать?.. Всякое, конечно, бывает...— Он попытался уйти от прямого ответа, но француз не сводил с него испытующего взгляда.— Вы же знаете... земледелие... еще со времен Ноя... штука капризная.

— Погодные условия? — живо отреагировал корреспондент.

Румын облегченно вздохнул.

— Вот вы сами и ответили на этот вопрос,— обрадованно зачастил он, энергично кивая головой,— погодные условия... конечно, погодные условия...

«Погодные условия...» — повторил про себя француз. Уже третий раз за сегодняшний вечер он слышал эту странную фразу.

Мимо прошел какой-то подвыпивший гость, тихо напевая:

Москва, Тирана, Лос-Анджелос
Объединились в один колхоз...[1]

— Дурацкие слова,— поморщился румын.

Он уже слышал ставшие модными в этом сезоне куплеты о «колхозе». Их распевали все пьяницы, бывавшие в посольствах социалистических стран.

«Где я видел этого человека? — пытался вспомнить румын.— Наверняка слово «Тирана» поляки заменяют словом «Варшава», а чехи — словом «Прага», и так все остальные. Идиотская песенка!»

Корреспондент, как ни странно, интереса к этому эпизоду не проявил.

— Значит, погодные условия...— повторил он уже вслух и озабоченно посмотрел по сторонам, отметив, что на приеме присутствуют два албанских министра и много других официальных лиц, которые, беседуя друг с другом, разбрелись по залу.

Журналист узнал албановеда Шнайдера, оживленно разговаривающего (и кто бы мог подумать) с корей-

---

[1] Здесь и далее стихотворные тексты — в переводе Г. Иванова.

ским послом. Пауза затягивалась, а он никак не мог придумать, о чем бы еще поговорить с румынским торгпредом.

Погодные условия... Впервые эту фразу журналист услышал от директора «Албимпорта», который не поверил ему, что Албания собирается закупать зерно на Западе. Когда же корреспондент сослался на разговор в самолете с представителем фирмы «Champs de France», он с плохо скрываемым раздражением заметил, что такая просьба, если она и имела место, носит разовый характер. «Она вызвана...— Директор лихорадочно подыскивал достаточно веские, на его взгляд, аргументы.— Она вызвана неурожайным годом в Советском Союзе. Одним словом... одним словом, погодными условиями»,— закончил он резко, давая понять, что не намерен далее обсуждать эту проблему.

Корреспондент пытался заговорить с чешским торгпредом, но безуспешно: сославшись на плохое знание французского языка, тот извинился и исчез.

«Семья братских народов хранит свои тайны»,— подумал француз. Он заметил, как к профессору Шнайдеру подошли албанский министр иностранных дел, советский посол и две сотрудницы из посольства Польши. Женщины весело смеялись.

Корреспондент хотел было продолжить обсуждение кулинарной темы с румыном, но тот, воспользовавшись паузой, отошел в угол и беседовал с послом одной из арабских стран.

Журналист прошелся по залу, не зная, чем заняться и что предпринять: прием продолжался, и грех было бы не воспользоваться этой возможностью в полной мере. «Старайся, старайся, аргонавт, добывай свое золотое руно!» — подбадривал он себя.

И тут корреспондент увидел чуть полноватую, с красивыми светлыми волосами женщину, на которую обратил внимание еще во время официального представления гостей. Она стояла в стороне и с трогательным вниманием наблюдала за группой молодых албанских дипломатов, которые, судя по всему, впервые присутствовали на дипломатическом приеме. Ему сказали тогда, что эта женщина — вдова крупного партийного и государственного деятеля, что сама долгое время занимала пост заместителя министра, а теперь состоит в руководстве какой-то общественной организации и что она прилично говорит по-французски.

«Женщины обычно искренни и непосредственны,— подумал он с надеждой,— тем более если они взволнованны».

Немного погодя журналист представился ей. Женщина носила звучную фамилию Бермема, была мила, приветлива и слегка рассеянна. Тема для беседы нашлась сразу же: она много раз в первые годы после Освобождения в составе различных официальных делегаций бывала на Западе, в частности в Риме и Лондоне. Он также бывал в этих городах. Они вспоминали знакомые улицы, площади, какие-то маленькие кафе, в которые оба, как оказалось, любили захаживать. Он задавал ей много вопросов, проявляя особый интерес к ее первой зарубежной поездке в Италию в 1945 году, расспрашивал, какое впечатление произвел на нее, бывшую партизанку, Вечный город.

Бермема отвечала иностранцу спокойно, с достоинством, любезно улыбаясь, как того требовал дипломатический этикет. «Я и без твоих вопросов часто вспоминаю свою первую поездку на Запад,— подумала она.— Прежде всего, когда бываю на официальных приемах, где молодые дипломаты, подчеркнуто торжественные, в белых накрахмаленных рубашках и темных костюмах, на практике постигают азы нелегкой профессии».

«Эта женщина — истинный подарок судьбы,— подумал журналист.— Надо быть весьма внимательным и осторожным. Такой шанс упустить нельзя».

— Впечатления о Риме?..— откликнулась она с задумчивой улыбкой.— Для меня Рим — побежденный город.

Они разговаривали, почти не слушая друг друга: каждый думал о своем. Бермема рассказывала о конгрессе итальянских женщин, а в памяти всплывало кафе «Рим», куда они с подругой, тоже членом делегации, бегали в перерыве между заседаниями пить кофе. Прослышав об этом, туда стали наведываться бежавшие из Албании жены, дочери и свояченицы беев, дамочки и барышни из бывших хозяев и артистки. «Вы отняли у нас землю, засадили в тюрьмы наших родных! — вопила Люлю Врioни, воздев к потолку руки, увешанные браслетами и золотыми кольцами.— Вы заплатите нам за это! Заплатите!» — «Да-да, за все сполна заплатите!» — вторила ей Нермин Преза.

Подруги отвечали вежливо, но с твердостью недавних партизанок: «Вы променяли Родину на свои побрякушки! О чем же говорить?»

И так каждый день. После фильмов, дискуссий, встреч они спешили в кафе «Рим», как на службу, чтобы продолжить спор с соотечественницами, сбежавшими на Запад. И всегда рядом с ними за одним из столиков сидел верный Сулё.

«О нет, я тебе ничего не расскажу,— подумала Бермема.— Ты все равно никогда не поймешь Сулё».

Сулё Гьони, бывший партизан, был их охранник. Он прошел войну, был ранен в голову (порой с ним случались припадки, похожие на эпилептические). Сулё выбирал место и садился в двух шагах от их столика и всегда был начеку — в кармане у него лежала ручная граната.

«Если бы вслед за женщинами, угрожавшими нам криками да звоном побрякушек, в кафе ворвались балысты[1] и зогисты[2], Сулё, не раздумывая, выхватил бы гранату и метнул в них.— Бермема не раз в мелких подробностях представляла себе эту сцену.— Вот Сулё резко вскидывает руку (из-за осколка у него слегка нарушена координация, и движения кажутся несуразными), опускает задеревеневшие от напряжения пальцы в карман, странным рывком выхватывает гранату, подносит ее ко рту, чтобы зубами вырвать чеку, и наконец, неестественно выбросив вперед руку, швыряет гранату в толпу врагов».

Однажды ей это приснилось. Во сне лицо Сулё, испещренное шрамами от ожогов, напоминало нечто похожее на часы — часы смерти, которые отстукивали последние секунды уходящей жизни: «Тик-так, тик-так, тик-так...»

— А площадь Испании? — спросил корреспондент.

Вопрос собеседника вернул ее из прошлого.

---

[1] Сторонники «Балы комбэтар» («Национальный фронт») — организации, созданной в ноябре 1942 г. в противовес прокоммунистическому Национально-освободительному фронту (НОФ), образованному на конференции в Пезе в сентябре того же года. Руководство «Балы комбэтар» с лета 1943 г. пошло на сотрудничество с итальянскими, а потом и немецкими оккупантами, стремясь использовать их в борьбе против коммунистов. После Освобождения балысты избрали путь эмиграции.

[2] Монархисты, выступившие за реставрацию режима короля Зогу.

— Да-да, конечно,— вежливо улыбнулась Бермема,— я много раз ходила по ней.

«Сейчас, по-моему, самое время спросить о зерне,— мысленно приготовился корреспондент.— Мы достаточно долго разговариваем».

Тогда на площади Испании она впервые столкнулась с балыстами. «Держи коммунистическую суку!» — этот мерзкий голос и сейчас еще звучит у нее в ушах. Несколько человек из делегации несли папки с материалами для небольшой выставки: фотографии павших героев, фотопортреты членов Временного демократического правительства. Балысты выхватили у них папки и швырнули на землю. Один из них начал топтать их ногами, а другой, дико хохоча, приговаривал: «Так им, министрам-коммунистам! Так! Умрешь со смеху смотреть на них!» Эту вакханалию прервал истошный женский крик: «Бегите! Спасайтесь! У него бомба!» Балысты обернулись и остолбенели, увидев, как Сулё достает из кармана гранату. Два первых движения он уже сделал и теперь подносил гранату ко рту... Зрелище — не позавидуешь: рот приоткрыт, зубы обнажены в зловещем оскале, обожженное лицо напряжено: «Тик-так, тик-так, тик...» Балысты с завидной скоростью бросились врассыпную, а Сулё застывшим взглядом смотрел им вслед. «Сулё, не бросай! Они убегают!» — кричали ему товарищи. А он стоял посреди площади Испании с гранатой у рта, готовый в любую секунду вырвать чеку. Сулё был смертельно бледен, крупные капли пота выступили на лбу, скользили по щекам. И тогда она с ужасом подумала: «А что, если сейчас во враждебной Италии, прямо тут, на площади, с их товарищем, героическим партизаном Первой бригады, случится припадок и он рухнет на землю с гранатой в скрюченной руке?!» Сулё будто прочитал ее мысли: огромным усилием воли он отвел руку от лица, медленно разжал закостеневшие пальцы и положил гранату в карман.

— Простите, вы, кажется, что-то сказали? — обратилась Бермема к иностранцу.

Он повторил вопрос: что-то о зерне, которое Албания намерена закупать во Франции.

Она печально улыбнулась. «Еще тогда, еще в ту пору всех их интересовал именно этот вопрос. «Где вы возьмете зерно?» — спрашивала Люлю Вриони в кафе «Рим». «У какой страны вы собираетесь закупать зер-

но?» — спрашивали иностранные журналисты в перерывах между заседаниями. Еще тогда, еще тогда...» — с горечью отметила Бермема.

Корреспондент смотрел на нее и ничего не понимал. «Что с ней? Что вдруг случилось?» — ломал он голову.

«Сколько лет прошло,— думала она,— но ничего не изменилось, и они не изменились. Прибавилось улыбок, разных хитроумных слов, изысканней стал политес, а суть осталась прежней, как и пятнадцать лет назад. В их глазах читается все тот же вопрос: независимость вы обрели, а хлеб где возьмете?»

«Она наверняка что-то знает,— решил про себя журналист, но тут же спохватился: — А не поторопился ли я с вопросом?»

«Вы этого никогда не поймете, как никогда не сможете понять Сулё»,— мысленно заключила она.

Несколько часов назад, когда дома собрались родственники, крайне встревоженные судьбой младшей из рода Бермема, ей опять почему-то вспомнился Сулё. Их бессменный страж Сулё с гранатой в руке. Она часто думала о нем, хотя Сулё уже давно не было в живых. Он умер, кажется, тогда же, в сорок пятом, от маленького осколка, засевшего в голове. В чужих городах, среди сияния витрин и рекламных огней, она с гнетущим чувством вспоминала о нем. Это была не просто тоска по рано ушедшему боевому товарищу, а нечто большее, выходящее за пределы привычных ощущений. Подобные чувства испытывают, пожалуй, мерцающие в бескрайней дали звезды-слезинки.

Ей никогда не забыть того страшного дня, когда у Сулё случился приступ на вилле Боргезе. Вокруг собрались зеваки: какие-то дамочки в шляпках с перьями, разодетые господа. А они вдвоем с подругой стояли возле него на коленях и бережно поддерживали его голову, чтобы в припадке он не разбил ее об асфальт. «Бывший партизан Сулё бьется в судорогах на глазах буржуев посреди виллы Боргезе...— подумала она, и сердце охватила жалость, смешанная с тревогой.— Я должна, я обязана написать об этом. А заголовок будет самым простым — «Поездка в Италию».

— Прошу прощения.— Бермема вежливо улыбнулась французу и направилась к министру иностранных дел.

Корреспондент прохаживался по залу, не зная, что предпринять. Неожиданно он столкнулся с изрядно под-

выпившим человеком, который продолжал напевать полюбившуюся ему песенку о Москве, Тиране и Лос-Анджелесе. Их взгляды встретились.

— Хорошая песня,— попытался завязать беседу журналист.— Вы говорите по-французски?

— О-о, франсе... мадам Помпадур... ви, ви...

«Наверное, ему кажется, что он говорит по-французски»,— усмехнулся журналист и попытался перейти на русский.

Это немного помогло: кое-как они стали понимать друг друга.

— Ну как единство? — француз решил брать быка за рога.— Как всегда, полное и неколебимое?

— Как водится,— мотнул головой собеседник, презрительно скривив губы.— Единство полное и до изнеможения.

Корреспондент сделал последнюю попытку прояснить ситуацию: он кинулся к китайскому атташе по культуре. Но китаец, вежливо улыбаясь и непрерывно кланяясь, не сказал ничего, кроме дежурной фразы: «Французы — прекрасный народ».

«Все старания псу под хвост,— огорчился журналист.— Семья умеет хранить свои тайны».

Он стоял в стороне, у окна, и смотрел на скопище людей, окутанных голубой завесой табачного дыма. Они ходили, разговаривали, смеялись, пили кофе.

«Скорее всего, представитель «Champs de France» сидит уже в отеле «Дайти»,— не без ехидства подумал он.— Сидит один, никому не нужный. Нелепый гость в этом мире абсурда. А если на самом деле погодные условия? — Сомнение снова подкралось к нему.— Если наши оракулы, как бывало не раз, ошибаются? В конце концов, порой возникают всякие домыслы, слухи».

Француз попытался воскресить в памяти ощущения, которые пережил в самолете два часа назад: «Что я? Крохотная песчинка в холодном необъятном небе». Ему показалось, что найти трещину в необозримом мире, расстилавшемся под крылом самолета, не легче, чем лягушку в раскаленных песках Сахары.

«Искать призрачную трещину... маленькую волшебную лягушку из детских сказок... Существует ли она? — спрашивал он себя и не находил ответа.— А может, все это грезы, пустые надежды, мираж, возникший в утомленном мозгу, мечты сказочной лягушки?»

В поздние ночные часы, примерно с двух до трех, улица Дибры наконец замирала, обретая покой под неусыпным взором холодного неонового света витрин, вывесок, рекламных объявлений, которые в это время суток теряли изначальный смысл, превращаясь в подобие древних наскальных надписей, не поддающихся дешифровке. Единственным живым существом, медленно передвигающимся по пустынной улице и держащим в руке нечто вроде длинного копья, был дворник Рэм Хута. Осторожно, словно боясь потревожить улицу, он водил метлой по ее натруженной спине. В голубоватом свете неоновых ламп и клубах пыли дворник казался фантастическим существом, уличным богом. Метла, легко касаясь мостовой, издавала размеренные шелестящие звуки. Она будто вздыхала или сонно нашептывала что-то: «Фшик-шик, шик-фшик...» Светящиеся по обеим сторонам улицы вывески гостиниц, магазинов, баров с холодным изумлением взирали на уличного бога. Замерла «змея» на стекле аптеки. А перед метлой в панике метались обрывки газет, апельсиновые корки, оберточная бумага, автобусные билеты, выброшенные за ненадобностью неизвестными людьми — мужчинами, женщинами, стариками.

«Здесь, на тротуаре, опять груда окурков. Кто постоянно курит на этом месте?! — каждую ночь не переставал возмущаться Рэм, подметая участок улицы напротив антикварного магазина и аптеки.— Странно...»

Одним взмахом метлы он сгреб мусор в совок и остановился, почувствовав чей-то пристальный взгляд. Обернувшись, он увидел человека, освещенного холодным мерцанием неона, который внимательно следил за его работой. Дворник терпеть не мог, когда кто-то стоял у него за спиной. «И что уставился, будто метлы сроду не видал?! Чтоб глаза у тебя повылазили, бездельник!» Он размахнулся во всю ширь богатырского плеча, и клубы пыли взметнулись до самых крыш. Но и после этого незнакомец продолжал стоять как вкопанный. Терпение Рэма лопнуло.

— Эй, чего уставился — или делать нечего? — обернулся он к незнакомцу.— Шел бы своей дорогой!

Но человек не уходил — стоял и улыбался. «Да он не в себе, видать»,— забеспокоился дворник. Незнакомец что-то сказал, и тут Рэм догадался, что перед ним обыкновенный иностранец. «Зря я его так»,— растерянно подумал он и, чтобы как-то загладить невольную

промашку, приветливо улыбнулся. Незнакомец залопотал что-то по-своему: «Кес-кес-кес». Рэма это «кес-кес» рассмешило. Иностранец тоже заулыбался, а спустя минуту они оба хохотали, похлопывая друг друга по плечу.

Вдруг Рэм осекся.

«Смех смехом, а ведь он меня подловил»,— дворник подозрительно поглядел на незнакомца. Он вспомнил, что на последнем собрании коллектива дворников их предупреждали об усилении бдительности, рассказывали об иностранцах, которые под предлогом бессонницы слоняются по улицам ночной Тираны.

Заметив перемену в его настроении, иностранец тоже перестал смеяться и опять заладил свое «кес-кес-кес». Но Рэм был теперь начеку. «Со мной у тебя эти штучки не пройдут»,— решил он и, повернувшись к незнакомцу спиной, начал с остервенением размахивать метлой. Немного погодя Рэм украдкой оглянулся: иностранец медленно удалялся в сторону площади Скандербега,— и он вдруг пожалел его. «Кто знает, что за заботы у человека?» — подумал Рэм, заметив, что иностранец остановился перед огромным рекламным плакатом месячника албано-советской дружбы.

Однако вскоре Рэм забыл об этой встрече. Он медленно двигался к площади. Еще шагов сто, и его участок будет блестеть чистотой. Он решил немного передохнуть, выкурить сигарету. На перекрестке появилось несколько человек — скорее всего, выпускающие центральных газет.

Изрядно натерпевшаяся за день улица — истоптанная, изъезженная, заплеванная, залитая бензином, оглушенная неумолчным шумом — простиралась теперь чистой лентой под строгими взглядами вывесок и витрин. Осторожно, словно боясь потревожить ночной покой своей любимицы (даже к собственной жене он не был столь внимательным), Рэм ласково водил метлой по натруженной спине улицы.

Глава IV

Отражаясь в стеклах окон, он струится радостным сияющим потоком, мириадами солнечных брызг разлетается по комнате. От него не скроешься. Он заглядывает под ресницы, солнечным зайчиком прыгает по сте-

нам. Мира пытается спрятать голову под подушку, но напрасно. Утренний свет властвует всюду. Последние остатки сна, напуганного светом, медленно рассеиваются, тают очертания ночных грез, блекнут краски, смолкают звуки. Вместо них, словно на стертой пленке, возникает новая запись, но уже из другого — реального мира.

— Затворница, придет день, и ты раскаешься! Я тебя люблю...

— Что? Что ты сказал? — Мира проснулась от собственного голоса.

Она не успела разобрать, что говорил ей Мартин, парень из 12-го «Б», с которым они вместе занимались в школьном драмкружке. Он что-то сказал, а она хотела ответить, но слов таких в пьесе, которую они репетировали, не было. Тут яркий луч света упал на плечо Мартина, и он сделался прозрачным, а потом стал быстро у нее на глазах исчезать.

— Что это? — воскликнула Мира, окончательно проснувшись и широко открыв глаза.

После череды ненастных дней наступило наконец солнечное утро. Из кухни доносилось негромкое позвякивание посуды. Тетушкина кровать была, как всегда, аккуратно заправлена. Мира сладко потянулась, наблюдая за игрой солнечных зайчиков на потолке, и замерла, вспомнив предутренний сон: «Затворница, придет день, и ты раскаешься. Я тебя...»

«Такое могло случиться только в прошлом веке», — вздохнула Мира.

Мартин и вправду отступал иногда от текста пьесы и произносил какие-то странные слова, похожие на признание, но она делала вид, что не понимает его, а может быть, волнение мешало ей расслышать и понять их.

Мира повернулась на бок и, подперев щеку рукой, задумчиво уставилась в окно, словно там были ответы на все вопросы. Стекла сегодня по-праздничному сверкали в лучах солнечного света. «Интересно, что отвечают девушки, когда им говорят: «Я тебя люблю»?» Из-за двери слышались привычные для раннего утра звуки: осторожное позвякивание посуды, шарканье отцовских туфель, жужжание электробритвы Бесника.

Мира глубоко вздохнула, села на кровати, опустив ноги на пол, и хотела уже вставать, но передумала. Обхватив руками колени, она снова уставилась в окно.

Немного погодя Мира приспустила с плеча сорочку, потом чуть больше, еще чуть-чуть и посмотрела на обнаженное плечо: «Красивое!» Сорочка была длинной, и Мира приподняла подол, чтобы поглядеть на ноги: «Толстеть нельзя, ни в коем случае!»

Вдруг она вскочила — бодрая, радостная, счастливая — и, пританцовывая, подошла к ванной.

— Подожди секунду,— сказал Бесник, не поворачивая головы.

— Мог бы бриться у себя в комнате,— буркнула Мира недовольно.

— Уже заканчиваю.

В зеркале рядом с неестественно сосредоточенным лицом Бесника (так выглядят мужчины во время бритья) появились два карих глаза — слегка раскосых и необыкновенно живых. В них искрился едва сдерживаемый смех и прыгали лукавые бесенята. Мира показала брату язык и принялась колотить его руками по спине.

— Ну вот и все,— сказал он, выключая бритву.

Из ванной Бесник направился к телефону. Найдя по справочнику нужный номер, позвонил.

— Алё, онкологическая клиника? Соедините, пожалуйста, со вторым отделением.

Когда Мира вошла в кухню, отец и тетя молча сидели на диванчике. Отец выглядел сегодня особенно изможденным: наверное, ночью ему опять было плохо. Бесник разговаривал по телефону с врачом. «Похоже, отцу снова надо показаться доктору»,— с тревогой подумала Мира. На столе стояла тарелка Бесника с остывшим омлетом.

— Тебе сделать омлет? — спросила Рабо, думая о чем-то своем.

— Сделай.

Хорошего настроения как не бывало. Есть совсем не хотелось.

— Через час нам надо быть там,— сказал Бесник, входя в кухню.

Отец испытующе посмотрел на него, но не проронил ни слова. Бесник сел за стол и машинально стал есть давно остывший омлет. Мысли его были где-то далеко. Мира, сидевшая напротив брата, сбоку поглядывала на отца: за последнее время он сильно похудел, как бы усох, стал вялым и раздражительным. Оттого, что она старалась есть бесшумно, легкое касание тарелки вил-

кой казалось ей оглушительным скрежетом. Позавтракав, Мира вымыла тарелку и стакан из-под молока, убрала посуду в шкаф и стала складывать тетради в портфель.

В коридоре послышались торопливые шаги Бэна. Затем хлопнула дверь ванной, и забулькала вода. По утрам у Бэна всегда были чуть припухшие веки, и лишь часам к девяти он выглядел нормально.

— Всего доброго! — сказала Мира, направляясь к двери и оставив без ответа взгляд Бэна, вопрошающий о причине царившей на кухне тишины.

Бэн пошел в комнату, где спал с отцом. «Ситуация непонятная,— подумал он.— Лучше пережду здесь».

Минут через двадцать отец с Бесником ушли, и Бэн решился наконец выйти на кухню.

— Почему не спрашиваешь, куда они пошли? — сердито упрекнула его тетушка Рабо.

Бэн не знал, что сказать. На счастье, зазвонил телефон. Это был Тор.

— Алё! Бэн, это ты?.. Слышь, старик, тут дело наклевывается. В воскресенье у меня хата свободна. Предки отчаливают в Фиер на свадьбу. Не собраться ли нам в тесном кругу? Что скажешь? Члирим берется уговорить Мариану, чтобы она прихватила с собой подругу. Ну, а с Дистрофией не вопрос — сама прибежит, только позови!.. Алё, ты как?..

— Заметано! — хмуро бросил Бэн и подумал: «Мозги пудрит: Мариана... Дистрофия... а про Ирисию — ни слова. Тут у него свои соображения... Кавалер получает удовольствие молча,— вспомнил он фразу, услышанную однажды в театре.— Как, впрочем, и кобель...» — добавил Бэн уже от себя.

— Алё, Бэн! — Голос становился все более настойчивым.— Слышь, надо бы собрать немного монет. Думаю, лек по десять с носа хватит. Конечно, новыми... Ты как?

— Угу.

— Кроме того, нужен маг. У тебя, вроде бы, ты говорил, есть приятель с магом... Макс, кажется?

— Да, Макс Бермема.

— Точно, Бермема. Пусть и он приходит, если захочет.

— Ладно, скажу.— Бэн положил трубку и пошел в кухню.

— Тетя, ты слышала? Звонил мой приятель. В вос-

кресенье у одного нашего парня день рождения. Надо купить подарок. Так ведь? Решили скинуться по десять лек новыми. Ты как на это смотришь?

— Ну что ж, раз на подарок, то дам.

— На подарок, конечно, на подарок...— пробормотал Бэн, стараясь не смотреть тетке в глаза.

— Может, поешь? Я вот яйца сварила.

Бэн ел и чувствовал на себе ее пристальный взгляд. Не поднимая глаз от тарелки, он быстро управился с завтраком и залпом выпил стакан молока.

— Почему не спрашиваешь, куда они пошли? — повторила вопрос тетушка Рабо.— Неужели тебе совсем не жалко отца?

«Ну как они не понимают,— с горечью подумал Бэн,— что чем больше они попрекают и стыдят меня за якобы бессердечное отношение к отцу, тем труднее мне на людях проявлять заботу о нем». В сущности же, беспокойство ни на минуту не покидало Бэна. Он постоянно думал о его болезни, и сердце сжималось от собственного бессилия.

Бэн еще немного послонялся по дому, а потом надел куртку и вышел на улицу.

«Ушли. Все ушли»,— вздохнула Рабо, устраиваясь в кресле, в котором любил сидеть брат. В тишине опустевшей квартиры монотонно гудел холодильник. На нем лежала книга воспоминаний о минувшей войне. Вот уже несколько дней подряд, оставаясь по утрам одна, Рабо нацепляла на нос старенькие очки, брала в руки книгу и, читая страницу за страницей, вспоминала свою жизнь. Читала она медленно: глаза быстро уставали, многие слова она разбирала с трудом. Принимаясь за чтение, Рабо настраивала себя на встречу с самыми разными, порой невероятными событиями и людьми. Она вспоминала прожитые дни и эпизоды боев, трудные дороги в непогоду, голоса людей, живых и давно ушедших из жизни. Подчас Рабо поражалась, что одними и теми же словами, состоявшими из одних и тех же букв, можно сказать так много. Порой она увлекалась чтением и забывала обо всем на свете. Книжные строчки напоминали ей нити шерстяной пряжи (сколько она напряла ее за свою жизнь!). Шерсть, перед тем как прясть, расчесывают, чтобы она сделалась мягкой и пушистой, и только потом вытягивают маленькую пряд-

ку, сучат ее, уплотняя, скручивают, пока она не превратится в тонкую прочную нить. Готовая для пряжи шерсть будто живая. С ней долгими вечерами можно вести бесконечные безмолвные разговоры. В ней заключены ее думы, горести, заботы, в ней — ее душа. А готовая пряжа лишена жизни, как эти строчки в книге, похожие на бездушные нити, в которых сплелись воедино прожитые дни, деревни, зимы.

Напряженно вглядываясь в каждую строчку, следя за их ровным бегом, Рабо утомлялась. Но желание отыскать имена знакомых людей придавало ей силы, и она продолжала чтение. Возникали они неожиданно: нет-нет — и вдруг всплывут двумя строчками ниже. Рабо не удивлялась, что они столь долго не давали о себе знать: многих уже нет в живых. «Но буквы для всех — и живых, и мертвых — одинаковы»,— с тоской думала она.

С тех пор как две недели назад брат принес домой эту книгу, Рабо каждое утро словно бы погружалась в прошлое. Очертания знакомых имен, гладкие фразы вызывали у нее смешанные чувства: с одной стороны, она радовалась, что ее старые друзья подают весточку, с другой — переживала, что ровные строчки букв делают их чужими, далекими, возникшими как бы из небытия. «Ты ли это, Мучо Абази? — обращалась она к невидимому собеседнику, словно он стоял рядом.— Где ты выучился таким мудреным словам? В сырой земле?»

Рабо положила книгу на холодильник и прикрыла глаза: «Нет-нет, это не ты. Я помню тебя совсем другим. Зной, раскаленное добела солнце, крутой горный спуск, грохот орудий, стрельба, и ты падаешь, пронзенный вражеским штыком». Эти события еще свежи в ее памяти, будто произошли вчера.

Каменистый горный склон заволокло тучами, задул ветер, полил дождь. Иногда Рабо казалось, что все самое значительное в ее жизни связано с этим склоном горы. Мысленно она вновь проделала весь путь в горы: спину ломило от люльки, в которой спала маленькая Мира, Бэна она несла на руках, а Бесник плелся сам, едва передвигая уставшие ножки и крепко уцепившись за ее читьан[1]. Начиналась вьюга. Люди, напуганные

[1] Широкие женские шаровары с мелкими складками, собранными в щиколотках.

зимним наступлением немцев, спешно уходили в горы. Бесконечными потоками, заполнившими горные тропы и перевалы, шли крестьяне с навьюченными мулами, местные партизаны, разрозненные группы крупных партизанских соединений, с боями прорвавшиеся сквозь вражеское окружение, женщины с люльками за спиной да древние старики. Все устремились вверх, в горы, и только неразумные горные речки беззаботно неслись вниз, навстречу оккупантам.

«Почему именно сегодня вспомнилась мне эта зимняя дорога? — спрашивала себя Рабо.— Не потому ли, что он пошел в больницу?» Она очень тревожилась за брата, точно так же, как тогда.

«Куда тебе идти? — Помнится, она, узнав, что он собирается в горы, к партизанам, всплеснула руками.— У тебя же трое ребятишек на руках — мал мала меньше. Жена недавно умерла. Я что-то никогда не слышала о партизанах-вдовцах».— «Услышишь еще,— сказал он тогда.— Услышишь и о партизанках-вдовах, и о древних стариках партизанах». Потом она и вправду услышала о них, но он был все-таки первым. Струга оставил детей на ее попечение, и Рабо казалось, что всю войну она прошла с маленькой Мирой в люльке за спиной, с Бэном и Бесником, цеплявшимися ручонками за ее читьан. Погода в ту памятную зиму стояла жуткая: дождь лил как из ведра, липкая грязь по щиколотки засасывала ноги, стаскивая опинги[1] и отрывая подошвы. Стоило вытащить одну ногу, как в цепкие лапы грязи попадала другая. Казалось, что эта мерзкая жижа не может насытиться старой крестьянской обувкой — ей подавай и самих хозяев. Но и это еще не все: откуда ни возьмись, в небе появились самолеты. Рабо запомнился один: с бреющего полета он расстреливал толпу обезумевших от страха женщин и детей. Люди падали прямо в грязь, заползали в любые ямы и щели, укрывались в кустарнике, прижимались к скалам. Пули визжали над головами, как стаи взбесившихся псов. Когда Рабо поднялась наконец с земли, то увидела, что вокруг — ни души и только далеко впереди маячат несколько сгорбленных спин. Небольшое пустынное плато, поросшее низким кустарником, таило зло. Ей хотелось побыстрее перейти это злосчастное голое место с чах-

[1] Национальная обувь; шьется, как правило, из цельного куска сыромятной кожи.

лым кустарником, сиротливо мокнувшим под проливными дождями. Но посреди плато она остановилась, прислушиваясь, так как Мира не подавала признаков жизни. Рабо вздрогнула и, быстро опустившись на колени, сняла клеенку, которой прикрывала люльку от дождя, и попросила Бесника посмотреть, что с девочкой.

— Спит она,— сказал Бесник.

— Точно спит,— подтвердил Бэн.

Рабо поднялась на ноги и опять зашагала по этому проклятому Аллахом плато. И вдруг ее пронзила страшная мысль: а что, если пуля угодила в люльку и она несет на спине мертвого ребенка? Сердце оборвалось, и Рабо вся похолодела. Она вспомнила, как в первую мировую во время греческой оккупации женщины точно так же уходили в горы, неся за спиной люльки, а вражеские снайперы стреляли по ним из засад. Причем целились так, чтобы пуля, попав в люльку, не задела женщину. Для них это было чем-то вроде развлечения. Несчастные матери шли, преодолевая бездорожье и опасности, и не ведали, что несут на своих плечах вместо люлек гробики, а когда узнавали об этом — лишались рассудка.

С тех пор живет в народе песня-плач, которая начинается словами:

Куда бредешь в ночи ненастной
С печальной ношей на спине...

Дальше Рабо шла будто во сне, ничего не видя и не слыша.

— В чем провинились мы перед Тобой, Господи? — шептала она посиневшими от холода губами.— Чем прогневали Тебя, что всю жизнь снимаемся с насиженных мест и с люлькой за плечами бредем неведомо куда?

Спина гудела от усталости, глаза застилала густая пелена тумана.

— Тетенька, что ты бормочешь? Нам страшно,— проговорил сквозь слезы Бесник.

Она ничего не ответила, только плотнее сжала губы и продолжала идти вперед. В ее омраченном сознании возникли обуглившиеся стены домов родной деревни, когда в четвертый раз армии поработителей спалили ее. Не потому ли старики в разговорах между собой давно заменили слово «дом» на «пепелище»? Так и го-

ворят: «Спокойной ночи, Сали, пойду-ка я на свое пепелище». «О Господи,— бормотала про себя Рабо.— У домов тоже свой век, как у всего в этой жизни, но зачем раньше времени называть их «пепелищем»? Ведь обращаясь к человеку, как бы плох он ни был, никто не говорит: «Послушай, нежилец!»

Рабо встала, подошла к плите и передвинула кастрюлю на самый край, подальше от огня. «Надо начистить картошки, потом загрузить белье в стиральную машину. Хорошо, что купили эту машину,— уже в который раз с благодарностью подумала Рабо.— Все легче управляться с хозяйством». Год назад, когда решали, на что потратить сбережения — на телевизор или стиральную машину,— все, кроме Бесника, были за телевизор, и он настоял на том, чтобы купили машину. Для нее. «Какой же ты молодец,— частенько говаривала она племяннику,— что не забываешь о старой тетке».

Она чистила картошку и готовила еду, доставая из буфета соль, перец, оливковое масло, лавровый лист,— чтобы обед получился и вкусным, и ароматным. «Да, сегодня жизнь совсем другая,— рассуждала Рабо.— Взять хотя бы пластиковые полки в буфете или разноцветную пластмассовую посуду. Об электрической кофемолке и говорить нечего. Все яркое, красивое, как детские игрушки. Никак и не привыкнешь!»

А в памяти всплывали картины прошлого: старые закопченные кастрюли с вековой сажей на днище, которых хватало на всю жизнь, гора медных противней, огромный тепси[1] для баклавы[2], которыми пользовались в особых случаях, когда справляли свадьбы, старинная кофемолка с сохранившейся надписью-клеймом турецкого мастера. Всего этого уже нет и в помине. «Что уцелело от пожарищ войны,— вздохнула Рабо,— не пощадила ржавчина». К городской квартире она привыкала с большим трудом. Порой ноги сами искали ступеньки, чтобы подняться на второй этаж или спуститься в подвал. Иногда они вели ее к колодцу, о котором в городе и думать забыли. Вместо колодца здесь маленький краник над раковиной, из которого как сумасшедшая хлещет вода. «Чтоб тебя! — ворчала Рабо.— С ума сведешь!»

---

[1] Противень с высокими краями.

[2] Сладкий пирог с грецкими орехами или миндалем, пропитанный сиропом или медом.

С недавних пор она стала примечать, что Зана, бывая у них в гостях, с интересом и как бы примериваясь осматривает квартиру. Подолгу изучает то одну стену, то другую. «В Мапо[1] завезли премиленькие занавески,— сказала она однажды Беснику.— Светло-оранжевые. Сейчас этот цвет в моде. А вот на этой стене лучше всего повесить какую-нибудь яркую картину». Бесник не возражал. «Через два-три месяца они поженятся, и все здесь изменится,— подумала Рабо.— А впрочем, пускай переворачивают все вверх дном!» Ей никогда не нравился этот несуразный, неудобный для жилья дом, который называют «квартирой» (и слово-то придумали, чтобы старухам не выговорить), где нет ни крыши, ни очага, ни лестниц — ничегошеньки, как волос у лысого на голове. За годы, прожитые в городе, она так и не смогла приспособиться к этому, в сущности, казенному дому.

Почистив картошку, Рабо открыла дверцу плиты и посмотрела, хорош ли огонь, чтобы поджарить кофейные зерна. В это мгновение с улицы донесся душераздирающий вой пожарной сирены. Забыв о кофе, Рабо прислушалась: машина удалялась в сторону железнодорожного вокзала, а вместе с ней затихал и вой сирены, точно так же как когда-то затихал вой голодной волчицы, уходившей по зимнему насту в лес. Нет, видно, никогда не забыть ей этой волчицы! Бэну и Беснику тоже. Прошло шестнадцать лет, а они и сейчас замирают от страха, когда слышат вой пожарной машины или «скорой помощи». Только Мира ничего не помнит.

Никакие другие звуки не вселяли в нее столько ужаса, не заставляли дрожать от страха, как те, что напоминали волчий вой. И все потому, что воскрешали в памяти страшный день, когда переплелись между собой реальность и вымысел. Случилось это на каменистом плоскогорье, через которое, спасаясь от врагов, уходили в горы жители ее деревни. Сколько раз видела она это плоскогорье во сне! Проснувшись в холодном поту от дикого воя,— ночью сирены пожарных машин слышатся особенно ясно,— Рабо подолгу не могла понять, где она, а когда приходила в себя, удивлялась, что она дома, а не в холодной пещере. «Никуда не спрятаться

[1] Универмаг. По-албански Mapo — сокращение от Magazinë popullore (народный магазин).

тебе от этой волчицы,— с содроганием думала Рабо.— Везде отыщет и настигнет, затаись хоть на четвертом, хоть на седьмом этаже в самом центре города».

Рабо стояла у плиты и медленно помешивала кофейные зерна. Нахлынувшие воспоминания опять унесли ее в один из холодных декабрьских дней военного лихолетья. Крутые уступчатые склоны плато таили опасность. «Скорей! Скорей! — торопила она себя.— Только бы не погибнуть на этом плато!» Порой ей казалось, что даже кусты помышляют лишь о том, чтобы она поскользнулась и упала. Люлька безжалостно колотила по спине. В довершение несчастья повалил мокрый снег. Погода — жуть, а кругом — ни души. Откуда-то сверху послышались шипение и свист. Рабо подняла голову: не самолет ли? Но свист неожиданно прекратился, и где-то впереди разорвался снаряд. «Немцы начали обстрел, потом пустят собак»,— подумала она, убыстряя шаг. Бежать не было сил. И тут между скал Рабо заметила небольшую расщелину, похожую на лаз в пещеру. Мальчишки пролезли первыми. Она попыталась протиснуться вслед за ними, но мешала люлька. Пришлось развязать веревку и затолкнуть люльку боком. В пещере было тепло. Ребята молча осматривались. Мира спала. Рабо достала из-за пазухи огниво, которое не забыла прихватить в суматохе сборов. «Надо поискать сухих веток, разжечь огонь и высушиться».

В глубине пещеры послышался шорох.

— Змея! — испуганно вскрикнул Бесник.

— Не бойся, глупенький. Змеи зимой спят,— успокоила его Рабо.

Шорох повторился. Рабо инстинктивно накрыла руками люльку. Спустя минуту снова послышалась возня и какое-то странное повизгивание.

— Собака! — обрадовался Бесник.— Щенок!

Глаза уже привыкли к темноте, и Рабо увидела в углу пещеры двух щенят, испуганно таращившихся на нежданных гостей.

— Маленькие собачки! — радостно закричал Бэн и хотел было протянуть к ним руку.

Лицо Рабо вытянулось и замерло от ужаса. «Это же волчата!» Она посмотрела на лаз, потом на люльку с Мирой. «Надо уходить, и как можно быстрее. Но там снег, слякоть, тьма непроглядная...» Светящейся кометой пролетел снаряд и разорвался где-то совсем рядом.

«Нет, выходить нельзя! — Рабо придвинулась к лазу и прислушалась.— Пока тихо, но волчица может вернуться в любую минуту. Надо что-то делать».

Снаружи у самого лаза валялись камни и несколько отломившихся кусков скалы. Рабо пролезла к одному из них, потрогала, прикидывая что-то в уме, и начала подталкивать его к пещере. Мальчики придвинулись к выходу и с интересом наблюдали за ней. Затея удалась — камень почти полностью прикрывал лаз. Рабо перевела дыхание, потом снова отодвинула камень и вылезла наружу, чтобы найти хоть немного валежника. Собирая ветки, она прислушивалась к каждому подозрительному шороху, но пока вокруг было спокойно. Наконец с небольшой охапкой веток она пролезла в пещеру, плотно задвинув за собой камень и оставив узкую щель для воздуха.

— Тетя, ты зачем закрыла пещеру? Чтобы нас немец не нашел, да?

Рабо что-то пробормотала в ответ. «Надо бы огонь развести... И волчицу отпугнет, да и пообсушиться самое время... Нет, ночью опасно. Заметят.— Она напряженно вслушивалась в ночную тишину.— Может, волчица не вернется до утра? Хорошо бы...»

От тепла и усталости мальчиков быстро сморил сон. Они уснули, свернувшись калачиком у ног Рабо и уткнувшись в ее мокрый читьан. Глаза Рабо начали слипаться. «Наверное, волчица не придет... Снег... падает снег... какой удивительный снег... Мягкими хлопьями он медленно опускается на землю, укрывая ее белым пушистым одеялом... А на нем серые волчьи следы... Как в той старой сказке... В маленькой избушке на краю леса жила Коза рогатая со своими козлятами. Однажды стучится к ним в дверь Серый волк.

— Открывай дверь, Коза рогатая!

— Нет, не открою! — поворачивается рогами к двери Коза-Рабо.— Не впущу тебя, Серый волк. Не отдам тебе малых детушек...»

Голова медленно клонится на грудь, и Рабо погружается в тревожную дрему.

Неожиданно она вздрагивает — сна как не бывало. Рабо прислушалась. Ей показалось, что поблизости кто-то бродит. И вдруг горы огласились жутким воем. Сперва он звучит глухо, словно из-под земли, а потом все громче и громче. Услышав материнский призыв, волчата забеспокоились, заскулили, поползли к выходу.

— Что?! Что это?! — испуганно таращились спросонок малыши.

Рабо хотела успокоить ребят, но не успела: страшный, леденящий душу вопль обезумевшей от горя и ярости волчицы раздался у лаза в пещеру.

— Тетя! Тетя! — вцепились в читьан напуганные мальчики.

— Не бойтесь! Это к волчатам пришла их мама,— сказала Рабо как можно спокойнее.

В голове мелькнула ясная и на удивление простая мысль: «Надо было сразу же вытащить волчат из пещеры. А теперь уже поздно».

Взбешенная волчица металась у входа. В бессильной ярости она навалилась телом на камень, пытаясь проникнуть в пещеру. Дети, дрожа от страха, плотнее прижались к Рабо. Волчата, жалобно повизгивая, рвались к выходу. Рабо оцепенела от ужаса, мысли в голове расползались и путались, будто обрывки нитей, из которых ничего не свяжешь. На мгновение Рабо показалось, что волчица воет не столь разъяренно, видимо, горе и отчаяние вытесняли бешенство и злобу. Но вот вопль волчицы, казалось, достиг поднебесья и печальной радугой застыл над горным плато. Не было сил слушать этот безутешный материнский плач, но сдвинуться с места Рабо тоже не могла. Она словно приросла к земле. Тупо уставившись на камень-спаситель, преграждавший лаз, она беззвучно шевелила губами. Мысли не слушались ее, никчемными обрывками плавали в тумане парализовавшего душу страха: «К этому лазу... судьба... спасительный камень... волчица... волчата в пещере... снаружи она... как всякая мать... но... но... но... наступит утро...» Невероятным усилием воли Рабо попыталась вырваться из лап сковавшего ее страха и собраться с мыслями: «Волчица снаружи. Она рвется к детенышам. Их разделяет камень, который ей не сдвинуть. Если камень убрать, волчица ворвется в пещеру. Но волчица — зверь и сама без посторонней помощи ничего не сделает...» Наконец Рабо пришла в себя, мозг лихорадочно заработал. Теперь она знала, что делать: подошла к камню, на минуту задумалась, потом вернулась, взяла люльку и перенесла ее в глубь пещеры. Туда же отослала и ребят.

— Тетя, не выходи! — захныкал Бесник, увидев, что Рабо снова направилась к лазу.

Осторожно, чтобы раньше времени не привлекать

внимание зверя, Рабо тихо отодвинула камень. Но волчица вмиг учуяла человека, забеспокоилась, заметалась и... снова завыла. Когда вой, достигнув наивысшей точки отчаяния, замер, Рабо быстро отодвинула камень и в образовавшуюся щель просунула одного волчонка. Рычание волчицы смешалось с писком и повизгиванием детеныша, потом раздался неясный шорох, и на минуту все смолкло. Рабо прислушалась.

— Убежала? — спросил Бесник.

— Нет, по-моему.

Волчица унесла детеныша подальше от странной, непонятной скалы, которая сперва захватила ее малыша, а потом выбросила из своего темного холодного чрева. Но вот она снова завыла, глухо, надсадно, жалобно. Это был даже не вой, а плач, стон. Несчастная мать молила, чтобы ей вернули дитя. Рабо снова отодвинула камень и просунула второго волчонка. Опять послышалось рычание, радостное повизгивание, шорох, и наконец все стихло.

В глухой холодной ночи бежала обезумевшая от горя и радости волчица, унося в зубах своих детенышей. Она, как и сама Рабо несколько часов назад, бежала с детьми подальше от опасности, не обращая внимания на дождь, снег и ветер.

Издав беззвучный вопль тоски и отчаяния, Волчица-Рабо пустилась во весь дух через пустынное горное плато, оставив в темной пещере свое измученное бренное тело, охваченное внезапным обессиливающим сном.

Бесник, нервно меряя шагами вестибюль онкологической клиники, пытался таким образом скоротать время и отвлечься от тревожных мыслей. Порой он останавливался у стенной газеты «Здоровье народа», которая висела на когда-то красном, а теперь сильно порыжевшем от времени стенде. В глаза бросались заголовки: *«Выполним решения Пленума ЦК по здравоохранению», «Повышение идейно-профессионального уровня наших онкологов», «Распространение онкологических заболеваний в мире».*

Визит отца к доктору явно затягивался. Рядом со стендом, на котором висела стенгазета, находился другой, с броской надписью «Гордость коллектива» и фотографиями лучших медицинских работников больницы.

Отец не появлялся. Бесник снова подошел к газете и стал изучать рубрику *«Распространение онкологических заболеваний в мире»*. Из нее он узнал, что ежегодно регистрируется шесть миллионов раковых заболеваний. «Приятное известие, ничего не скажешь! Особенно для больных»,— подумал Бесник. И еще: «В народе эту болезнь называют «черный еж». Бесник нервно закурил. «Можно было бы обойтись и без подобной информации. А впрочем, это их дело. Пускай себе пишут!»

Он не думал, что отец серьезно болен. И все-таки, почему его нет так долго? Наконец дверь открылась, и появились сперва отец, а за ним — врач: он выглядел усталым и озабоченным. Доктор выдержал вопросительно-встревоженный взгляд Бесника: «Черный еж?»

— Ничего страшного,— заговорил он наконец.— На всякий случай сделаем три-четыре сеанса облучения. Думаю, этого будет достаточно.

Отец молча слушал.

— Послезавтра мы установим новый аппарат — «кобальтовая пушка» называется. Это современное и весьма эффективное средство. На воскресенье можно назначить первый сеанс,— обратился он к старшему Струге.— На какое время вам удобно?

— Теперь у меня много свободного времени,— криво усмехнулся Струга.

— Тогда я запишу вас на четыре часа. Подходит?

Отец молча кивнул, и они с Бесником вышли на улицу.

Стоя у окна, врач проводил их взглядом. Послезавтра «пушка» примет первых пациентов. В специально подготовленных кабинетах за свинцовыми дверьми инженеры проводят последние испытания ее работы в автоматическом режиме. Доктор улыбнулся. Он вспомнил, как два месяца назад аппарат появился в клинике. Привезли его ночью, поэтому утром мало кто знал о доставке долгожданного груза. Огромные ящики, ничем не отличавшиеся от обычных, стояли в дальнем углу больничного двора и дожидались своего часа. Ночью шел дождь, и они порядком намокли. Первыми о содержимом ящиков узнали врачи, потом медсестры, санитарки, а там и больные. К обеду новость перестала быть новостью. Все знали, что, несмотря на специальную упаковку, аппаратура испускает какие-то лучи, и на всякий случай обходили эту часть двора стороной. Пока

инженеры заканчивали оборудование помещений, обшитых свинцовыми пластинами,— будущего жилища для «пушки» на долгие годы,— ящики покрывались опавшими листьями, которые приносил ветер из больничного сада. «Вот она лежит во дворе, пока разобранная и упакованная,— подумал тогда доктор.— Никто толком не знает, каков этот аппарат в работе, и в то же время многие связывают с ним свои надежды, сомнения, тревоги. Уже сейчас список больных, которым назначены сеансы облучения, довольно большой».

Врач привычным жестом провел рукой по лбу, будто отирал пот. После встречи со старым партизаном он окончательно решил написать повесть. Эта идея возникла у него недавно, но целиком захватила его. О ней он пока никому не рассказывал, да и зачем: коллеги начнут подшучивать, а жена уж точно рассердится. Название будущей повести он тоже придумал: «Хроника кобальтовой пушки». Сложность заключалась в том, что он не знал, как изобразить подлинные типические характеры. Легко описать пораженные болезнью органы, но как передать на бумаге выражение глаз пациента, состояние его души. Основную мысль повести доктор сформулировал для себя примерно так: проверка человека нового общества на прочность в экстремальных условиях.

Послезавтра первый больной ляжет на специальную пластмассовую кушетку под девятитонный свинцовый купол аппарата, готового начать лучевую атаку. В центре купола помещен маленький кусочек кобальта, заключенный в толстую свинцовую капсулу. Купол выкрашен в серый цвет, чем отдаленно напоминает атомную бомбу, с той лишь разницей, что под ним не Хиросима, а один-единственный человек. Все выйдут из комнаты, свинцовые двери плотно закроются, и больной останется один на один с аппаратом. Сначала он услышит легкое жужжание, потом в центре сферической поверхности купола медленно раскроются свинцовые лепестки-пластины, оттуда выползет стержень и нацелится на пораженный болезнью орган. В течение нескольких секунд радиоактивные лучи будут обстреливать опухоль, затем стержень возвратится в свое гнездо, а свинцовые лепестки закроются. Сеанс окончен.

Тысячи раз кусочек кобальта на конце стержня проделает этот путь. В первые годы его излучение будет мощным, как горячее дыхание молодого зверя, мечуще-

гося по клетке в поисках выхода. Но время укротит его, дыхание ослабеет, и зверь, состарившись, умрет, как все в этом мире. Сам аппарат будет жить вечно (что сделается железу?), отомрет только его «душа» — маленький кусочек радиоактивного вещества. И когда «душа» покинет «тело», аппарат разберут и снова упакуют в большие ящики. Во вступлении к «Хронике кобальтовой пушки» он опишет во всех деталях доставку этих ящиков, а в эпилоге — их возврат изготовителю. Ящики с мертвым «телом» аппарата поедут в страну, где он был создан, чтобы специалисты вдохнули в него новую «душу». И потом все повторится сначала.

В редакции Бесник узнал, что его разыскивал ответственный секретарь.

— Ну, братец, ты счастливчик,— встретил он Бесника, вытирая платком вспотевший лоб. Как большинство полных людей, секретарь плохо переносил жару и поэтому сидел без пиджака, что не мешало ему, однако, первым в редакции включать электрокамин, когда на улице чуть холодало.— По правде говоря, я не хотел тебя отпускать. Сам знаешь, сколько сейчас работы. Но они настаивали, и я сдался. Поэтому не обижайся, спокойно поезжай, и — успехов тебе.

— Не понимаю, о какой поездке идет речь? — озадаченно переспросил Бесник.

— Что тут непонятного? Ты едешь в зарубежную командировку. Я тебя отпускаю. Да ты ничего не знаешь? — в свою очередь удивился секретарь.— Разве с тобой еще не говорили?

— Нет.

— Прошу прощения, я думал, ты в курсе. Тогда все по порядку. Срочно иди в Международный отдел Центрального Комитета. Через несколько дней в составе делегации, правда, я не понял, какой именно, ты поедешь за границу. Остальное выяснишь сам. Договорились?

— Да,— растерянно подтвердил Бесник.

— А ты, Рати, срочно подготовь и отправь туда все необходимые документы.

Бесник только теперь заметил, что, кроме ответственного секретаря, в кабинете находился еще один человек — начальник отдела кадров, который мрачно на-

блюдал за происходящим и тотчас преобразился, встретившись взглядом с Бесником. Он одарил молодого журналиста самой приветливой улыбкой, за которой угадывалось нечто весьма похожее на зависть. Когда они выходили из кабинета, Бесник мельком взглянул на шефа отдела кадров, и ему показалось, что зависть, застывшая в его глазах, выплеснувшись наружу, растеклась по лицу, и на нем проступили контуры буквы «Z»[1].

Проходя по коридору, Рати опять обратил внимание на громкие голоса и смех в отделе внешних сношений. Как обычно, международники вспоминали забавные случаи из своих зарубежных поездок. Стоило кому-нибудь съездить в командировку, как в течение нескольких дней весь отдел предавался воспоминаниям. Особым успехом пользовались смешные истории, и рассказывались они бессчетное число раз. Вот и сейчас Илир (Рати узнал его голос), услышав, что Бесник собирается в загранкомандировку, рассказывал коллегам, как они с Зэфом из АТА, отправляясь в Китай, прихватили с собой бутылку ракии.

— В полночь, пролетая над Саудовской Аравией, Зэф вспомнил о ракии, достал ее из сумки, и мы приняли по глоточку, потом повторили. Каково же было наше удивление, когда мы заметили, что у нас — ни в одном глазу, а бутылка почти пуста. И тут мы сообразили...— Илир, польщенный вниманием слушателей, оглядел комнату.— Мы сообразили, что на большой высоте ракия испаряется...

— И что же вы? — прозвучал голос новичка, слушавшего эту историю впервые.

— Мы?.. Мы приняли срочные меры, чтобы не допустить дальнейшего испарения драгоценной влаги,— закончил Илир под дружный хохот собравшихся.

— Пить ракию в полночь, да еще над Саудовской Аравией — дело нешуточное,— заметил кто-то, едва удерживаясь от смеха.

Раздался новый взрыв хохота.

Начальник отдела кадров вошел в свой кабинет, плотно затворил дверь, открыл ключом сейф и вынул оттуда документы Бесника. Положив «личное дело» на стол, Рати стал пристально изучать фотографию чело-

---

[1] Первая буква слова «zili» — зависть (*алб.*).

века, направлявшегося за рубеж. Сам он никогда за границей не был и поэтому страшно завидовал всем, кто туда ездил.

«Вот так всегда и бывает,— распалялся Рати.— Я — преданнейший государству человек, мне доверены ключи от сейфа, в котором хранятся кадровые документы, а жизнью наслаждаются другие. Не меня, а их включают в разные делегации, не я, а они летают воздушными лайнерами, прибывают в аэропорты... и рассказывают потом, как испаряется ракия над Саудовской Аравией. А мой удел — сейф с секретным замком и документы, документы, документы...» Сперва, прикасаясь к ним, он испытывал какой-то необъяснимый трепет. Закрывшись в кабинете, Рати часами перебирал бумаги, и ему казалось, что он получил доступ к самым сокровенным и тщательно оберегаемым от постороннего глаза тайнам людей. В этом было что-то мистическое, роковое, дарованное ему высшей властью. «Они могут, конечно, смеяться, громко разговаривать в коридоре, но «дела» на них здесь, в моем железном сейфе».

И все-таки порой Рати одолевала тоска. Ведь бумаги, с которыми он так носился, не содержали, в сущности, великих тайн — обычные служебные характеристики, выданные руководителями предприятий и университетских кафедр. Чаще всего в них мелькали такие фразы, как «вспыльчив», «не имеет постоянной общественной нагрузки», «не уважает начальство», «недисциплинирован». В «личном деле» Бесника было, например, записано: «Трудно сходится с людьми, болезненно переносит критику, редко выступает на собраниях...» Но можно не сомневаться, что это не помешает ему выехать за рубеж,— как бы тщательно ни готовил Рати копии с характеристики для представления в выездную комиссию парткома. На памяти начальника отдела кадров не было случая, когда подобные сведения помешали бы оформить человека для поездки за границу. Что касается автобиографий, то они вообще не содержали какихлибо секретов,— на то они и АВТОбиографии. Иное дело, если бы Рати дополнил «личные дела» своей собственной информацией из небольшой тетради в черной обложке, которую хранил в нижнем отделении сейфа. С тех пор как он понял, что устные сигналы результатов не дают, а подчас и неправильно воспринимаются окружающими, как это было на дне рождения у его друга,

Рати решил больше не сигнализировать «куда следует», а записывать свои наблюдения в особую тетрадь — на всякий случай.

Его друг Аранит Чорра работал тогда в Министерстве внутренних дел. Однажды в день своего сорокапятилетия он устроил товарищеский ужин. Среди приглашенных был и его шеф. И вот, слегка перебрав и потеряв над собой контроль, Аранит вдруг понес: «Куда смотрит партия? Будь моя воля, я бы этих писателей в бараний рог согнул».

Писателями он называл врачей, инженеров, учителей и даже студентов. Кто-то стал его урезонивать, но это лишь подхлестнуло Аранита. Он бил себя в грудь, клялся кровью павших героев, что устроил бы ИМ такое, если бы ему только позволили. Аранит и раньше допускал грубые выходки, но не столь откровенные. Друзья и коллеги спорили с ним, считали его невоздержанным на язык и вовсе не соотносили его высказывания с его жизненной позицией. «Ну что вы, Аранит, разве так можно?» — журили они его, снисходительно улыбаясь: бывают, мол, у людей разные странности. Но шеф, услышавший речи Аранита впервые, отреагировал иначе: он печально и с сожалением взглянул на него, а потом, наклонившись, шепнул ему на ухо:

— По-моему, ты слишком озлоблен.

— Я не озлоблен, товарищ начальник,— вспыхнул Аранит, бледнея.— Просто я болею за революционные преобразования.— И он снова ударил себя в грудь.

В комнате воцарилась мертвая тишина. Первым ее нарушил шеф Аранита, который высказал ему немало суровых слов.

— Революция пробуждает и активизирует не только народные массы, но и те силы, которые примазались к ней, подобно морю во время шторма, поднимающему на поверхность пену и песок,— сказал он строго.— Однако революция способна немедленно освобождаться от мешающих ее поступательному движению попутчиков, а если необходимо, то и самым безжалостным образом подавлять их.

Слова шефа прозвучали плакатно и митингово, почти как на собрании, и отнюдь не соответствовали праздничной атмосфере дня рождения, но для Аранита они оказались роковыми.

Два дня бурлило партсобрание управления, где Аранит работал. Кем его только не называли: и уклонистом,

и левым авантюристом, и кочидзодзевцем[1]. В конце концов его исключили из партии и выгнали из МВД. Теперь он заведовал складом на одном небольшом предприятии.

После того памятного ужина насмерть перепуганный Рати, которого раньше тоже обвиняли в симпатии к кочидзодзевцам, прекратил сигнализировать «куда надо» и залег на дно, но не успокоился. Он купил тетрадь в черной обложке и стал записывать свои наблюдения. Рати хранил ее в казенном сейфе: кто знает, как будут развиваться события? Может, в трудное для государства и партии время, когда людей начнут оценивать по другим меркам, эти записи и пригодятся? Аранит, работая завскладом, тоже не изменил своих взглядов. «Эх, грянула бы война! — говорил он самым близким друзьям.— Посмотрел бы я на этих писателей». Теперь писателями он называл не только тех, кто имел отношение к культуре, но вообще всех штатских.

Рати не спеша просматривал свою тетрадь: даты, имена, записи подслушанных разговоров, анекдотов, шуток, обрывков диалогов. В скобках он кратко комментировал: «антисоветизм», «против участия в субботниках и воскресниках», «против коллективизма», «двусмысленность», «неуважение к «Анти-Дюрингу» Энгельса», «насмешки над соцреализмом». На одной из страничек он прочитал:

Антисоветизм: спор, какой писатель значительнее — Шолохов или Хемингуэй (америк.). За последнего: Н. Ф. и Никол. Х.

А вот и о Беснике:

3.IX. Б. Струга рассказывал о дохлых змеях в Бутринте во время визита советской правительственной делегации. (Не кроется ли здесь иной смысл?) Именно змей фотографировал Зэф Т.

[1] Сторонник Кочи Дзодзе, одного из основателей Албанской компартии, совмещавшего после Освобождения посты члена Политбюро, секретаря ЦК по оргвопросам, заместителя Председателя Совета Министров, министра внутренних дел. После разрыва отношений с Югославией в 1948 г. был отстранен от всех партийных и государственных постов, осужден как «враг партии и народа» и «агент Югославии» и расстрелян.

Запись, сделанная Рати неделю назад:

Выступление советского премьер-министра в ООН. Рассказывал Дж. Ч. по возвращении из Нью-Йорка. 1) Товарищ Хр. пил боржоми (минеральная вода) во время всего выступления. В заключение он сказал: «Закончился боржоми, и я закончил свое выступление». 2) Советская печать писала: «Картина была впечатляющая, когда в ООН товарищ Хрущев снял свой башмак. Даже если это шокировало всех дипломатических дам Запада» (в обоих случаях реакцией слушателей — Бесника С., руководителя Р., Л. К. и Илира И.— был смех).

Перечитывая страницу за страницей, Рати наслаждался возможностью следить за жизнью людей как бы со стороны; сам он при этом оставался в тени, ибо мало кого интересовал.

Самыми дорогими и незабываемыми днями его собственной жизни были те, когда он болел тяжелейшим гриппом и жена не отходила от него ни на шаг. Она часами сидела у изголовья постели, проявляя заботу и особую нежность. С этими днями он связывал самые светлые, самые возвышенные и самые несбыточные мечты. Именно тогда он впервые прикоснулся к искусству, литературе, кино, книгам, которых никогда не любил, а теперь возненавидел лютой ненавистью. Запас его фантазии был ничтожен по сравнению с великим бескрайним миром слов и звуков, и он исчерпал его за несколько дней болезни. Возникшую пустоту заполнила озлобленность на весь белый свет. Рати, например, не понимал, почему влюбленные, будучи абсолютно здоровыми людьми, бродят по улицам как безумные, держась друг за дружку, словно вот-вот упадут. И это тоже он ставил в вину Беснику, которого видел недавно прогуливавшимся со своей невестой по бульвару Павших героев. Ему было стыдно за них.

Сам не зная почему, Бесник оказался перед зданием проектного института, где Зана осваивала новую работу. Вахтер подозрительно посмотрел на него, потом нехотя снял телефонную трубку:

— Зану какую-то спрашивают... Алё, Зану, говорю, вызывают на проходную... Как?.. Ждут ее, говорю.

Бесник нервно закурил. По дороге от Центрального Комитета до института он выкурил полпачки сигарет. Сквозь стекло проходной на него по-прежнему неприязненно смотрели глаза вахтера. Наконец появилась Зана.

— Это ты?! — Она была в брюках и свитере, и Бесник подумал, что только в такой одежде и может появиться в проходной девушка, которую ждут.

— Случилось что-нибудь? — спросила она, с тревогой глядя на Бесника, который никогда раньше не приходил к ней на работу.

— Ничего не случилось. Просто во вторник...— Он сделал короткую паузу, показывая рукой куда-то вдаль, словно вторник находился именно там.— В этот вторник я улетаю за границу...

— За границу?! Правда? — всплеснула руками Зана.

— Я только что был в Центральном Комитете.

— Замечательно! — Глаза Заны радостно блестели.— А куда, если не секрет?

— В Москву, с делегацией. Честно говоря, я не понял, что за делегация: то ли я был не слишком внимателен, то ли товарищ, который со мной беседовал, плохо объяснял.

— Какое это имеет значение? Скорее всего, с делегацией на празднование Седьмого ноября.

— Ну конечно! — обрадовался Бесник.— Как это я сам не догадался?!

— Очень, очень рада за тебя.

— Послушай, сейчас около часу. Ты можешь отпроситься? Погода прекрасная — так хочется пройтись с кем-нибудь.

— С кем-нибудь?! — Удивленная Зана подняла брови.

— С тобой, конечно,— рассмеялся Бесник.

Зана молча погрозила пальчиком: не ошибайся, мол, в следующий раз.

— Подожди меня здесь,— сказала она и исчезла за стеклянной дверью вестибюля.

Немного погодя Зана снова появилась в дверях, но уже с сумочкой через плечо. Вахтер, неодобрительно покачав головой, что-то пробурчал ей вслед. «Теперь он долго не успокоится»,— подумала Зана, беря Бесника под руку. И точно, они уже скрылись из вида, а вахтер все еще ворчал: «Чего ждать от женщин? Какие дома и здания можно построить с такими работниками?! Горе министру, который полагается на них!»

Зана крепко держалась за Бесника, ей нравилось идти, опираясь на сильную руку жениха. После затяжных дождей на улице и правда было хорошо. В витринах, которые еще вчера выглядели слепыми от стекавших капель дождя, теперь отражались головы и ноги прохожих, медленно двигавшиеся по улице автобусы. Вот и отражение молодых людей проплыло среди диванов, двуспальных кроватей и платяных шкафов, выставленных в витрине мебельного магазина. Все здесь предназначалось для семейной жизни и вряд ли могло радовать глаз холостяка. На лакированной поверхности шкафов просматривались причудливые сплетения древесных волокон, в которых при наличии фантазии можно увидеть все: от легкокрылых бабочек до улыбающихся гиппопотамов, симпатичных и совсем не страшных.

— Может, заглянем на минутку? — предложила Зана, питавшая слабость к магазинам.

Бесник улыбнулся: он успел заметить, что в последнее время этот ее интерес особенно усилился.

Они осмотрели новое канапе, недавно поступившее в продажу, и Зана едва удержалась, чтобы не рассказать Беснику про ночник, который купила в антикварной лавке. «Пусть будет сюрприз»,— решила она.

— Мне нравится это канапе. А тебе?

Бесник не возражал.

— Правда, приятно было бы, устроившись на этом диванчике, выпить чашечку послеобеденного кофе? — Зана повернулась к нему и в недоумении спросила: — Что с тобой? Вместо того чтобы радоваться поездке за рубеж, ты киснешь. Что-то случилось?

Бесник улыбнулся и нежно сжал ее пальцы.

— Сколько пробудете в Москве? — спросила Зана, когда они вышли на улицу.

Бесник молча пожал плечами.

— Сегодня я был с отцом в онкологической клинике,— заговорил он наконец.— Боюсь, что у него опухоль.

— Опухоль?! — встревожилась Зана.— Не может быть!

Витрины перестали ее занимать.

— Почему не может быть? На воскресенье после обеда отцу назначили первый сеанс облучения. У них установлен новый импортный аппарат. «Кобальтовая пушка», кажется...

— Почему сразу не сказал? — упрекнула его Зана...

— Я все-таки надеюсь, что опухоль не злокачественная. Теперь ведь по любому поводу назначают облучение.

— Да-да, верно,— начала успокаиваться Зана.— В прошлом году у моей сокурсницы тоже подозревали что-то вроде рака молочной железы, но все обошлось.

Зана пыталась говорить спокойно и уверенно, чтобы не выдавать волнения. «Все обойдется, должно обойтись,— повторяла она про себя.— Невозможно, чтобы смерть стояла на пороге их нового дома. Да и особых признаков пока нет». Успокаивая Бесника, она снова и снова рассказывала ему про свою подругу.

Они молча шли мимо Национального банка, когда Зану окликнул знакомый голос. Это была Дьана Бермема. Подруги радостно бросились друг к дружке. «Есть люди,— подумал Бесник,— встреча с которыми всегда доставляет удовольствие. Дьана — одна из них». Он вспомнил их первое знакомство, когда Зана подвела его к миловидной девушке и сказала: «Это Дьана Бермема, моя самая близкая подруга... и самая красивая».

С тех пор ничего не изменилось, она выглядела так же привлекательно, как и в первый день их знакомства, хотя... Беснику показалось, что какие-то перемены в ней все же произошли: появились округлость линий, осторожность и замедленность в движениях. И дело было не только в свободном покрое платья. На лице, прежде всего возле пухлых губ, были заметны мелкие, как песчинки, бурые пятнышки. «Да она беременна!» — сообразил наконец он.

Зана что-то сказала подруге на ухо, и ее глаза по-детски радостно заблестели, поминутно меняя цвет, как морская вода в разное время года.

— Когда свадьба? — спросила Дьана, продолжая улыбаться.

— В январе,— ответила Зана тихо и, как показалось Беснику, с некоторым значением: тогда, мол, и я стану такой же.

Подруги еще какое-то время весело болтали, а он стоял в стороне и невольно улыбался. Ему понравилось, что на вопрос о муже, враче-психиатре, который с бригадой медиков проводил осмотры в отдаленных горных районах, Дьана ответила: «Я очень скучаю по нему!» — и грустно вздохнула. «Так оно и должно быть,— подумал Бесник радостно.— Любящие люди всегда тоскуют при расставании. И Зана будет скучать».

— Ты знаешь,— обратилась Дьана к Беснику,— наш Макс подружился с твоим младшим братом, не помню, как его зовут.

— Бэн.

— Да-да, Бэн. Они целыми днями вместе крутят магнитофон.

— Вот как? — удивился Бесник.

— Она такая счастливая,— прошептала Зана, нежно прижимаясь к Беснику, когда они остались вдвоем.

— И мы будем счастливы,— тихо ответил Бесник.

Именно эти слова хотела услышать от него Зана.

Медленно, стараясь попасть в ногу, шли они по тротуару. Бесник остановился у дверей какого-то кафе и предложил зайти.

— Я здесь никогда не была,— благодарно сказала Зана.

Народу в кафе было немного. Из радиоприемника лилась легкая музыка. Когда они устроились за столиком, Зана снова заговорила об отце.

— Может, и в самом деле ничего страшного,— с надеждой промолвил Бесник.— Может, одни подозрения.

Зана молча погладила его руку и сочувственно улыбнулась. Ей нравилась семья Бесника, но предпочтение она отдавала Струге старшему. Бесник не раз замечал, что порой она называла его «отцом». «Да, конечно, отец», «Спокойной ночи, отец». Струга отвечал ей тем же и ласково называл «дочкой», хотя от природы был человеком суровым и скупым на ласковые слова.

— Что будем заказывать?— приветливо улыбнулся официант.

— Мне зупу[1] с мороженым, если есть.

— А мне кофе «эспрессо»,— попросил Бесник.

Окно, у которого они устроились, выходило на перекресток, и они с интересом наблюдали за потоками спешащих куда-то пешеходов. У входа в кинотеатр толпился народ: заканчивался один сеанс — начинался другой. Со стороны эта толчея напоминала гигантский муравейник. Более неудачного времени для похода в кино трудно было найти.

Они сидели и говорили о предстоящей поездке Бесника за границу. Из кафе вышли в половине третьего — только что закончился очередной сеанс, и двери

[1] Крем с вареньем и орехами.

кинозала были широко распахнуты. Слово, которое оба боялись произнести в этот день вслух, крупными буквами значилось на афише: «СМЕРТЬ ВЕЛОСИПЕДИСТА».

Зана отвернулась и прижалась к Беснику. Они направились к ее дому.

— Папа приехал!— обрадовалась Зана, увидев у подъезда серый автомобиль.— Надеюсь, ты пообедаешь с нами?

— Сегодня не могу, надо домой.

Около лестницы сидела сгорбленная старуха и грелась в слабых лучах осеннего солнца.

— Кто эта женщина?— вполголоса спросил Бесник.— Всякий раз, когда мы встречаемся, она смотрит на меня каким-то странным неподвижным взглядом.

— Это старая Нурихан. Из тех, что живут под нами.

Бесник пристально посмотрел на старуху, но она не отвела взгляда.

— Нурихан... Где-то я уже слышал это имя?

— Я тебе рассказывала о ней,— напомнила Зана.— Ты был в ее бывших владениях. Помнишь?

Уходя, он затылком чувствовал тяжелый взгляд старухи и прибавил шагу. Он шел через парк и вспомнил, что этой дорогой он возвращался домой после первого свидания с Заной. Был зимний вечер, и тополя стояли совершенно голые. Свет проходившего по шоссе автомобиля выхватил из темноты часть парка, в ярких лучах фар стволы тополей казались сделанными из платины. «По-моему, это папина машина»,— засмущалась тогда Зана и заспешила домой.

«Тополья, тополья...» — пронеслись в голове у Бесника начальные слова советской песни, ставшей очень модной в последнее время.

«Как называются по-русски эти деревья?— спросил его в Бутринте один из сопровождавших Хрущева переводчиков, показывая на тополя.— Из-за них мне пришлось здорово попотеть сегодня».— «Тополья,— ответил Бесник по-русски.— А что?» — «Товарищ Хрущев предложил вырубить все тополя и посадить вместо них фруктовые деревья,— фыркнул переводчик.— А я перепутал русские слова «тополь» и «липа». Очень трудно работать — голова кругом идет. Для меня сложнее всего переводить названия деревьев и пословицы. Он любит употреблять пословицы, а теперь вот и названия деревьев».

Скамейки в парке желтели опавшими листьями. Бесник закурил последнюю сигарету и выбросил пустую пачку.

Вдруг он вспомнил слова доктора о «кобальтовой пушке» и заспешил домой.

Глава V

Он лежал неподвижно, будто тяжело раненный на поле боя. Спина взмокла, а ладони рук стали влажными от пота. Круглая тяжелая махина из стали и бетона, на которой сверху было написано что-то по-иностранному, угрожающе нависла над ним. «Все как на войне: с минуты на минуту придут, чтобы вынести с поля боя мое бездыханное тело». Струга еле-еле приоткрыл глаза и словно в тумане увидел знакомую надпись: «Gott mit uns»[1].

Дзот молчал, сверля его своим единственным глазом-отверстием. «Почему не стреляет? Жарко». Вот уже несколько дней стояла невыносимая жара. Раскаленное добела солнце нещадно палило вздыбленную и дымящуюся местами землю. Приподняв отяжелевшие веки, Струга скорее почувствовал, чем услышал какое-то движение внутри дзота. Он устало закрыл глаза и стал ждать. Сначала послышался механический скрежет. Скорее всего, подтаскивают пулемет поближе к амбразуре и сейчас начнут стрелять. Да, точно, это он, пулемет системы «Shars»,— его старый знакомый. Пулеметная очередь была длинной и монотонной. Пули летели где-то над ним. «Почему они не делают пауз? — подумал он равнодушно.— Обычно стреляют короткими очередями. Да, «Shars», нигде нет от тебя спасенья». Пулеметная очередь прекратилась так же внезапно, как и началась, раздался тихий металлический скрежет, точно от амбразуры дзота отодвигали боевое орудие, и все стихло. Послышались чьи-то осторожные шаги. «Это они, боевые товарищи, пришли, чтобы вынести меня с поля боя. Один из них подошел совсем близко. Не вижу, кто ты? Мучо Абази?..» Он приоткрыл глаза и с удивлением увидел человека в белом халате. «С каких это пор Мучо Абази стал разгуливать в медицинском халате? И почему он не остерегается дзота?» Серая

---

[1] С нами Бог *(нем.)*.

сфера купола, с надписью на корпусе «Jupiter Cobalt. IR II W.H.O.», угрожающе нависла над ним.

— Товарищ Струга, можете вставать и одеваться,— раздался спокойный голос доктора.— Сеанс закончен.

Старый партизан под впечатлением оживших воспоминаний медленно вышел в коридор. Следом за ним появились врач и молоденькая медсестра. Во взгляде врача не было беспокойства или тревоги. Напротив, он смотрел ободряюще и даже, казалось, с любопытством. Глаза у него были необыкновенно добрые и по-детски наивные: они, казалось, спрашивали позволения, прежде чем взглянуть на тот или иной предмет.

— Теперь вы придете в четверг в то же время,— сказал доктор, прощаясь.— Через пару недель будут ясны результаты. Возможно, другого лечения и не потребуется. Сестра,— повернулся он к сопровождавшей его девушке,— запишите товарища на следующий сеанс.

Медсестра открыла журнал и с видом мученицы, которая даже в воскресенье вынуждена просиживать сверхурочные часы, начала писать. Ее круглое некрасивое лицо, кое-где отмеченное рябинами, напоминало подсолнух.

— В четверг в четыре часа,— бросила она сухо, не глядя на пациента.— Прошу не опаздывать.

Девушка поминутно поглядывала на часы — наверное, торопилась куда-то.

Джемаль Струга вышел из клиники. Чувствовал он себя хорошо, хотя и устал немного. Улицы постепенно оживали. На автобусной остановке толпился народ: из центра города автобусы шли пустыми, а к центру столь переполненными, что казалось, царапают днищем асфальт.

Он решил пройтись до дома пешком. Небо хмурилось,— того и гляди, пойдет дождь, и, как обычно в такие преддождевые часы, движение транспорта усиливалось. Люди стремились побыстрее попасть домой. Струга шел в плотном людском потоке. Вдруг ему в голову пришла странная мысль, что теперь, после сеанса, он сам является источником излучения. Месяц назад он прочитал об этом в одном научно-популярном журнале. «Вокруг меня, наверное, свечение,— подумал Струга.— Забавно... Похож на Христа, бредущего среди огромных праздничных плакатов и транспарантов.— Спокойное лицо врача рассеяло его подозрения, хотелось шутить, смеяться и радоваться жизни.— Если бы Бесник завтра

не уезжал за границу, можно было бы пойти в кафе, встретиться со старыми боевыми товарищами и за чашкой кофе рассказывать им во всех подробностях о новом аппарате и сеансе облучения. Но Бесник завтра рано утром улетает».

На одном из перекрестков Струга увидел младшего сына с приятелем. Они куда-то спешили. В руках у них были бутылки и магнитофон. «Помнится, Бэн говорил что-то о дне рождения друга. Наверное, туда и торопятся»,— решил Струга.

Всю вторую половину воскресного дня они готовились к вечеринке, и каждого занимал один вопрос: придут девушки или нет?

За окном моросил дождь. Время от времени кто-нибудь из ребят словно бы случайно подходил к окну посмотреть, не идут ли девушки. Всех разбирало любопытство: как выглядит подруга Марианы? Со слов самой Марианы о ней было известно лишь то, что она блондинка, хорошенькая и всем парням непременно вскружит голову.

Наконец они все приготовили: накрыли стол, расставили бутылки и закуски. Для большей интимности Тор прикрыл абажур лампы листом бумаги. Макс Бермема, которого привел Бэн, налаживал магнитофон. Бэну почему-то казалось, что если девушки не придут, то виной тому будут старые пленки, которые беспрестанно рвались, и Максу приходилось их склеивать, обжигая пальцы ацетоном.

— А если не придут?— не выдержал Саля.

Все промолчали, хотя поняли, о ком идет речь.

Бэн всегда с недоверием относился к дружеским танцевальным вечеринкам, прекрасно зная еще по школе, чем они заканчиваются. Он помнил, с каким нетерпением они ждали суббот, чтобы пойти на танцы в актовый зал, по случаю прибранный и украшенный. Сколько с этими вечерами связывалось надежд! А что толку? То девчонки не явятся черт знает почему, то придут не те, кого ждали, то неожиданно заболевает мать у той, которая нравится, то оркестранты переругаются с организаторами из молодежного комитета из-за какой-нибудь ерунды. Ну, к примеру, провели без билета своего приятеля! Что за дело?! Одним словом, всегда что-нибудь случалось. Ну, а если девушки все

же приходили и появлялась надежда, что вечер удастся, становилось почему-то скучно и совсем неинтересно. Гостьи, вместо того чтобы танцевать, жались по углам, перешептывались, хихикали, бегали в полутемный коридор. С кислыми и недовольными лицами, они вечно вели какие-то идиотские разговоры. «Смотри, эта не пришла, сидит в общежитии. А мы, выходит, хуже ее, раз притащились сюда». И пошло-поехало. Глядишь, уйдут первые три-четыре, а за ними потянутся другие, и половины гостей как не бывало. А там и танцам конец.

Макс взглянул на часы.

Бэн равнодушно смотрел на струйки дождя, растекавшиеся по стеклу. Приглашая Макса на вечеринку, он говорил, что придут отличные девчонки, к тому же и пунктуальные — надо же было хоть как-то уговорить Макса,— ведь сам он в это почти не верил.

— Завидная точность!— радостно воскликнул Макс, расслышав за приоткрытой дверью стук каблучков.

От неожиданности Бэн не знал, что сказать, однако каблучки простучали мимо и смолкли этажом выше.

В половине седьмого в дверь постучали.

— Мариана! Наконец-то!— обрадовался Саля.

На сей раз это была Мариана с подругой. Радости, охватившей ребят, однако, как не бывало: обещанная блондинка оказалась жалким подобием портрета, который расписала Мариана. Перед ними, в растерянности и глупо улыбаясь, стояла белобрысая дурнушка с маленькими глазками и изрытым оспинами лицом. Делать нечего, пришлось знакомиться.

— Где вы работаете?

— Медсестрой в онкологической больнице.

— Что такое онкология?— спросил Саля.

— Рак,— крикнул Тор, откупоривая бутылку.

Все поняли, что Мариана нарочно привела с собой эту «красотку», чтобы выгодно подать себя. Внешность, однако, была не единственным недостатком гостьи. Услыхав фамилию Бэна, она со свойственным ей простодушием поинтересовалась:

— А вы знакомы с Джемалем Стругой? Он облучается в нашей клинике. В отделении...

— Это отец Бэна,— прервал ее Макс.

В наступившей тишине она смотрела на них, словно бы ничего не понимая. А может, и вправду не понимала. По ее круглому изрытому оспинами лицу невозможно

было понять, что это: наивность и глупость либо душевная черствость...

Тор пригласил всех к столу.

— А где остальные?— спросил Макс.

Дистрофия притащилась через полчаса. Она перепутала этажи и долго стучалась в чужую дверь. Войдя в комнату, она тотчас обратилась к девушкам:

— Кто из вас Мариана?

— Я.

— Внизу вас ждет какой-то молодой человек.

Девушки переглянулись.

— Может, нам выйти?— откликнулись Тор и Члирим.

— Нет, я сама.

После ее ухода стало еще тоскливее. Бэн подошел к окну и выглянул на улицу: возле дома в самом деле стоял под дождем незнакомый парень.

Тор разлил коньяк. Они с Члиримом из кожи вон лезли, чтобы спасти безнадежно испорченный вечер. Члирим, оседлав любимого конька, что-то рассказывал о Вацлавской площади и о своих пражских похождениях.

Макс не выдержал и тоже подошел к окну.

— Все еще стоят,— сказал Бэн.

В слабом свете уличных фонарей едва различались две темные фигурки — Марианы и ее парня.

— Что получится, если еж и змея поженятся?— продолжал развлекать гостей Тор. И, не дожидаясь ответа, рассмеялся: — Два метра колючей проволоки.

Мариана, по-видимому, возвращаться не собиралась. Ее подруга, склонив голову, застыла над тарелкой с нетронутой закуской: ни дать ни взять — подсолнух.

— Пойду посмотрю, что там,— небрежно бросил Бэн, направляясь к двери.— Макс, пойдем со мной.

Надев куртки, Бэн и Макс отправились в разведку. Дождь, казалось, зарядил надолго. На тротуаре у перекрестка топтался полицейский в синей накидке. Марианы нигде не было. Редкие прохожие спешили где-нибудь укрыться от дождя. У гастронома, покачиваясь, стоял подвыпивший человек и желал всем проходившим мимо спокойной ночи. Бэну с Максом, когда они спросили, не видел ли он здесь парня с девушкой в голубом плаще, он тоже пожелал спокойной ночи.

— Давай вернемся,— предложил Макс.— Боюсь, промокнем до нитки.

— Пожалуй,— согласился Бэн.— Да и остальные девчонки, наверное, уже подошли.

Когда, вымокшие и злые, они вернулись в дом, то застали своих друзей в полном одиночестве: не только никто больше не пришел, но и подруга Марианы ушла.

— Все разбежались,— грустно заметил Саля.

Правда, оставалась еще Дистрофия, но она была своим парнем и в расчет не принималась. Никому из ребят и в голову не приходило, что такое отношение к ней обижает ее и что она от этого страдает.

Макс занялся магнитофоном.

— Да оставь ты его!— в сердцах бросил Бэн.— Все равно он теперь не нужен!

— Чего носы повесили?— оживился вдруг Члирим.— У нас на Вацлавской такие вечеринки не раз прогорали... Подумаешь, какое дело!

Тор предложил выпить по рюмке коньяку, но Бэн отказался и заторопился домой.

— Куда ты? Посиди, еще рано.

— Не могу,— решительно сказал Бэн.— Завтра брат улетает за границу.

— Я с тобой!— крикнул Макс, выключая магнитофон.— Спокойной ночи, ребята.

Они оделись и вышли на улицу. Дождь лил как из ведра. Возле тротуара остановилось такси, из которого вывалилась развеселая компания. Посыпались шутки, смех. Машина развернулась и, мигнув на прощание красным глазом, умчалась в ночь. Бэн проводил ее взглядом. На соседней улице чей-то голос игриво выводил:

Не водись с брюнетками,
Жуткими кокетками...

Из дверей вечерних кафе неслась музыка, а через запотевшие стекла окон видны были силуэты танцующих пар. Бэн вспомнил, что в городе проходят заключительные вечера месячника албано-советской дружбы.

Они подошли к двери ближайшего кафе и заглянули внутрь. Казалось, что столы, танцующие пары и даже транспарант «АЛБАНО-СОВЕТСКАЯ ДРУЖБА БУДЕТ ЖИТЬ ВЕЧНО!» плывут, покачиваясь в густых клубах синеватого табачного дыма.

Ребята двинулись дальше. Перед одним из ресторанчиков стоял прохожий и тоже с любопытством смотрел в окно. Заслышав их шаги, он обернулся. По внешнему

виду незнакомец походил на иностранца. Ребята решили, что он хочет о чем-то спросить их, и приостановились. Незнакомец указал рукой на окно ресторанчика и что-то сказал, как показалось Бэну, по-французски. Ребята пожали плечами и пошли дальше.

— Если не ошибаюсь,— задумчиво произнес Макс, когда они прошли уже приличное расстояние,— он сказал: «Я французский журналист».

— Кто его знает,— благоразумно заметил Бэн.— Все шпионы так знакомятся.

Макс переложил магнитофон в другую руку и проговорил:

— Не обижайся, но твоя компания мне не понравилась.

— Я это понял.

— Что-то в них неестественное, буржуйское,— прибавил Макс, когда они дошли почти до центра.— Особенно тот, которого все почему-то называют... Вацлавом.

— Будто мне они очень нравятся!— пробурчал Бэн и, помолчав, добавил: — Кроме того, один из них, Тор, увел у меня девчонку.

Макс даже присвистнул от удивления.

— И ты не набил ему морду?!

Бэн отрицательно покрутил головой.

— Это всегда успеется. Зато нашей дружбе, кажется, пришел конец.

— Выпьем кофе?— предложил Макс.

Несмотря на позднее время, Бэн с радостью согласился. Макс ему нравился. К тому же сегодня как никогда ему хотелось выговориться и отвести душу.

В баре «Крым» было полно народа. Табачный дым сизым облаком висел под потолком. Из динамика, установленного рядом со стойкой, лилась музыка. Ребята заказали коньяк и кофе.

— С той девушкой, о которой я только что сказал, мы познакомились в сентябре,— начал Бэн, водя пальцем по пластмассовой крышке стола.

— Смотри, опять тот же иностранец... — прервал его Макс, показывая на окно.

Незнакомец стоял перед кафе и с любопытством наблюдал за происходящим в зале.

— Когда капитализм будет свергнут, мне хотелось бы поехать на Запад и увидеть там все собственными

глазами,— задумчиво произнес Макс.— Мама бывала там.

Бэн не знал, что сказать. С непривычки коньяк ударил ему в голову. Глаза Макса тоже пьяно блестели.

— Вот хорошо-то, а?— продолжал рассуждать Макс.— Рабочие захватят Лондон, Париж... Повсюду зазвучат победные марши.

— Но теперь, по-моему, так не делается,— робко заметил Бэн.— Говорят, социализм можно установить и мирным путем.

— Мне это вовсе не нравится,— презрительно скривил губы Макс.— Представляешь, все поднимают руки и считают голоса: кто «за», товарищи, кто «против»? Воздержавшихся нет. Социализм победил. Примите поздравления.

— Конечно, это совсем не то,— согласился Бэн.

— Или так еще может быть,— продолжал фантазировать Макс.— Встает, например, Капитализм и выступает с самокритикой. Уважаемый Социализм, говорит он, я совершил несколько незначительных ошибок, как-то: угнетение рабочего класса и так далее, поэтому я уступаю тебе свое место.

— Ну и ну,— восхищенно выдохнул Бэн.

Впервые за весь вечер друзья расхохотались. Они еще долго о чем-то говорили, а Бэн все порывался рассказать Максу о той сентябрьской субботе, когда встретился с Ирисией.

— Да-а,— усмехнулся тот,— женитьба ежа на змее... Что за гнусности говорил твой приятель!— Мягкие волосы Макса с характерным медным отливом беспорядочно прилипли ко лбу, влажному от дождя.

— Нашел что вспомнить,— пожал плечами Бэн.

Музыка стихла. Вместо нее из радиоприемника раздался голос диктора:

— Говорит Тирана! Передаем последние известия...

— Надо идти,— сказал Бэн,— уже поздно.

Макс удивленно посмотрел на друга, будто хотел спросить: «Чего это ты так торопишься?» Диктор начал рассказывать о трудовом коллективе какого-то завода, который взял обязательства досрочно выполнить намеченный план.

— Поздно уже,— снова засобирался Бэн.— Завтра брат улетает в Москву.

— Посиди еще немного,— уговаривал его Макс.

«...досрочное выполнение плана... у-у-у-у... Бр-р... кхрау-у-у... ах, мон амур, мон амур, мон амур... кхр-р... Завод имени Фридриха Энгельса... врем... старый рабочий, коммунист... сталевар... фиу-у-у... вдз-з-з...»

— Оглохнуть можно,— отпрянула от приемника Нурихан.

В голове стоял неумолчный гул. Целый час она, прильнув ухом к мембране, слушала эту адскую смесь шумов, треска, разноязыких голосов десятков радиостанций, но так ничего и не поймала.

«Наверное, я уже и радио разучилась слушать»,— тоскливо подумала она.

Она давно ничего не слушала. Столицы государств, чьи названия светились на приемнике, перестали для нее существовать. Как, впрочем, и большинство прежних друзей. «Париж, Вена, Люксембург, Мадрид — все это из далекого прошлого». Она старалась не вспоминать эти названия, как избегают упоминать имена близких людей, которых уже нет в живых.

Но два дня назад как снег нá голову явился старый друг семьи почтенный Мусабелы и дрожащим от волнения голосом сообщил потрясающую новость. Пытаясь ночью поймать какую-нибудь зарубежную радиостанцию, он шарил по эфиру, пока в этой куче словесного мусора случайно, совершенно случайно, не наткнулся на «алмаз». Сообщение было коротким и, на первый взгляд, малозначительным: «Албания, самое маленькое государство коммунистического блока, закупила партию зерна во Франции».

Новость в самом деле была потрясающей. Нурихан жадно вслушивалась в каждое слово Мусабелы, пристально вглядываясь в его удлиненное лицо, в маленькие синие жилки, пульсирующие на висках. А он во всех подробностях рассказывал, чего стоило ему не потерять в безбрежном океане шумов голос незнакомого диктора, читавшего столь важную новость. Пожалуй, ни одному искателю драгоценных камней не приходилось преодолевать столько помех и препятствий. Теперь осталось выяснить, настоящий ли это алмаз или ловкая подделка.

— Насколько я смог разобрать, в этом сообщении скрыто нечто большее,— продолжал рассуждать Мусабелы, размахивая руками, будто хотел устранить эфирные помехи.— Речь идет либо о чем-то очень важном, способном многое изменить, либо на самом деле о не-

урожае из-за погодных условий, как это и объясняют «голоса» из коммунистических стран. Я хорошо расслышал фразу «question de climat»[1].

Нурихан слушала молча, не перебивая гостя. Она не задала ему ни одного вопроса, только в самом конце его рассказа судорожно глотнула воздух.

Две ночи подряд просидела она, точно пригвожденная, возле радиоприемника, но тщетно. Дикторы будто помешались на футболе, сплетнях из жизни кинозвезд и другой ерунде, забыв о самом важном событии. В общем хоре эфирных голосов попадалось и «Радио Тираны». Его отличало обилие терминов и малознакомых слов: «переходящие знамена соцсоревнования в честь съезда профсоюзов», «социалистическая собственность», «энтузиазм», «Пленум Центрального Комитета», «встреча молодых работниц промышленных предприятий и сельхозкооперативов».

Всякий раз, слыша эти странные слова, Нурихан вспоминала бульвар Муссолини в ноябре 1944 года. Прежняя власть была свергнута. В столице, захваченной коммунистами, творилось что-то невообразимое. К ним в дом прибежала взбудораженная Хава Фортузи.

— Нурихан,— едва переводя дыхание, затараторила Хава,— выйди поскорее, посмотри. Весь бульвар Муссолини...

— Затоплен кровью? — прервала ее Нурихан.— Этого следовало ожидать.

— Нет-нет! Ой-ой-ой,— голосила Хава,— совсем другое. Еще ужаснее, еще страшнее...

И они выбежали на улицу. Бульвар Муссолини не алел кровью, а, наоборот, был белым от листков бумаги, сыпавшихся откуда-то сверху. Из разбитых окон здания государственной радиостанции партизаны выбрасывали связки архивных материалов, текстов новостей, репортажей, передач. Тысячи, десятки тысяч старых новостей кружились в воздухе и, подхваченные ветром, разлетались по тротуару, застревали в ветвях осенних оголенных деревьев. Несколько случайных зевак с любопытством глазели на бумажный снегопад. Кто-то радостно смеялся.

— Выбрасывай, выбрасывай буржуйские новости!— слышались возбужденные голоса.— Туда им и дорога!

[1] Погодные условия *(фр.)*.

Нурихан и Хава смотрели на происходящее широко раскрытыми от ужаса глазами: в новостях по разделу «Светская хроника» наверняка упоминались и их имена. Хава Фортузи подняла листок, упавший рядом с ней, но прочитать не смогла — глаза застилали слезы. Кругом было бело. «Бульвар покрылся белым саваном»,— подумала Нурихан.

— Эй, браток, швыряй их сюда, не стесняйся!— кричал какой-то человек, стоявший на тротуаре неподалеку от них.

«Белым саваном...— твердила Нурихан.— Эти слова умерли в те ноябрьские дни. Коммунисты принесли с собой другие: «коллектив», «соцсоревнование»... О-хо-хо, грехи наши тяжкие!» И она снова принялась крутить ручку приемника.

«Погода... климатические условия... — повторяла про себя старуха.— Все так. Но совсем не обязательно, чтобы речь шла только о погоде. И сообщение-то было как снег на голову.

Проходят годы с веснами —
Стремителен их бег.
Не вспоминай о юности:
Она как вешний снег,—

всплыли из небытия строчки, автора которых она давно забыла.— Question de climat... Что-то меняется в лике земли. Приходит зима, падает снег и покрывает землю белым одеялом. Выбрасывают из окон государственной радиостанции архивы, и разлетаются повсюду листки со старыми привычными словами, а вместо них появляются новые: «коллектив трудящихся», «революция», «завод имени Фридриха Энгельса»... Снова приходит зима, а с ней воспоминания, надежды... Нет-нет, я этого еще раз не переживу! Слишком стара стала, чтобы мечтать об этом»,— застонала Нурихан и выключила приемник.

— Пора идти,— встрепенулся Бэн.— Уже последние известия заканчиваются.

— Пойдем,— согласился Макс.— И в самом деле уже поздно.

Ребята расплатились и вышли на улицу.

Подойдя к дому, Бэн увидел, что во всех комнатах их квартиры горит свет. «Сборы идут полным ходом»,— подумал он. Поднимаясь по темной лестнице, Бэн невольно вспоминал имена жильцов, выгравированные на

маленьких бронзовых табличках на дверях. Остановившись перед своей дверью, он немного подождал и только потом нажал кнопку звонка. «Сейчас начнется обычная канитель: где пропадал? где умудрился вымокнуть? Брат уезжает, а ты болтаешься неизвестно где».

Дверь открыла Мира, как всегда с телефонной трубкой у уха.

— Алё, какой последний вопрос?.. Какой-какой?.. Основные признаки социалистического реализма?

Бэн тронул ее за руку.

— Послушай, кто у нас?

— Полно народа. Ты где пропадал?

— Отдохни и дай полотенце вытереться.

— А где ты умудрился вымокнуть?

— Найди полотенце, я сказал.

— Сейчас.

Из гостиной доносились голоса. Кто-то открыл дверь. Бэн прошмыгнул в комнату тетки и сестры. Мира достала из шкафа полотенце и подала брату.

Пока Бэн вытирался, она пристально разглядывала его, пытаясь узнать больше, чем скажет он.

— Где ты был?— наконец не вытерпела Мира.— На свидании?

В уголках ее миндалевидных глаз светилось любопытство и участие.

Бэн буркнул что-то в ответ, бросил полотенце на кровать и вышел в коридор. «Чем скорее предстану пред их ясные очи, тем лучше»,— решил он и, сделав глубокий вдох, как перед прыжком в воду, толкнул дверь. Ему почудилось, что в комнате одно-единственное существо, многоликое и громогласное. Окутанное табачным дымом, оно восседало в ожидании ужина на канапе, старых креслах и стульях. Перед ним стояли рюмки с ракией, ликером и разные сладости — шоколад, локум, конфеты. Казалось, что оно только и ждало его появления.

Воздев руки к потолку, все наперебой заговорили:

— Что случилось? Где ты так промок? Что? Как? День рождения? Какой может быть день рождения, когда старший брат собирается в дальнюю дорогу?! Проходи сюда. Садись. Вот сюда. Здесь есть место.

Когда страсти поулеглись и Бэн пришел в себя от столь бурной встречи, он пристроился на уголке канапе и даже пригнулся, чтобы не слишком привлекать внимание.

— Как дела, Бэн?— раздался над ухом тихий ласковый голос.

Только сейчас он заметил, что сидит рядом с Заной, и приветливо улыбнулся: ничего, все, мол, в полном порядке. Теперь Бэн мог рассмотреть всех, кто пришел проводить брата. Кроме Заны, Кристача и Лирии, за столом сидели родственники из Влёры[1] — двоюродная сестра Зэлька с маленьким сынишкой и мужем, морским офицером, который всегда приезжал к ним в дни важных семейных событий. На полу были разбросаны морские ракушки Зэлькиного малыша, вертевшегося у всех под ногами.

Струга и Кристач потягивали ракию, сидя за маленьким столиком. Бесник суетился между гостиной и своей комнатой, где были разложены вещи, приготовленные в дорогу, которые он еще не упаковал. За занавеской, отделявшей кухню от гостиной, Рабо и Мира звенели посудой. Музыка из радиоприемника, звон посуды, лепет Зэлькиного сынишки — все сливалось в монотонный гул. Бэн облегченно вздохнул: он мог не опасаться, что кто-то в этой суете вспомнит о нем.

Телефон не умолкал ни на минуту. Звонили в основном Беснику и желали ему успешной поездки. И лишь два раза Мире позвонили одноклассницы, чтобы узнать главную типическую черту образа леди Макбет.

Ужин подавали поздно. Зэлька и Зана помогали Рабо накрывать стол: расставляли тарелки, бутылки с вином и пивом, раскладывали ложки, вилки, бумажные салфетки. Наконец все было готово. Первый, традиционный тост произнес, как обычно, глава семьи:

— Гзуар! Спасибо, дорогие, что пришли разделить с нами семейную радость.

— Спасибо за приглашение!— учтиво благодарили гости, следуя древнему обычаю гостеприимства.— Мы рады за Бесника. Счастливого ему пути и скорейшего возвращения в добром здравии, на радость нам всем.

— Спасибо! Спасибо!

Все дружно чокнулись.

— Гзуар, Лирия! Гзуар, товарищ Кристач! Гзуар, папа! Выпей и ты, Бэн! А ты, Зэлька? Не пьешь? Ну, чисто символически, один глоток за благополучную по-

---

[1] Залив Адриатического моря у берегов Албании. Здесь же находится одноименный город-порт.

ездку Бесника. Давай-ка, Рабо, и мы пожелаем успешного возвращения нашему мальчику. Спасибо! Спасибо за добрые слова и пожелания! Гзуар, Бесник, доброго тебе пути! И за предстоящую твою свадьбу! Гзуар, Зана, за твою свадьбу! Спасибо!

Мелодичный звон рюмок и бокалов сменился энергичным скрежетом ножей и вилок. Ужин протекал то степенно и размеренно, то вдруг вздыбливался, подобно своенравному коню с развевающейся по ветру гривой. Звенели бокалы, говорились искрометные тосты, звучал дружный смех.

Не один раз выпили за Бесника и Зану, за их свадьбу, за их счастье и счастье их будущих детей, а глаза гостей, слегка затуманенные ракией, выискивали новые «жертвы». Товарищу Кристачу пожелали успехов в труде на благо процветания Родины, Струге — крепкого здоровья и скорого избавления от всех тревог и забот, Мире — успехов в учебе, Зэльке — здоровья, а ее мужу, что служит на военной базе во Влёре и охраняет неприкосновенность морских границ,— богатырского здоровья. И вот наконец очередь дошла до Бэна.

— Выпьем за Бэна!— предложил Кристач.— За нашу молодежь, которая примет от нас трудовую эстафету. До дна, друзья!

— Пей до дна, Бэн! До дна!— подхватили гости.

— Верно сказано, передадим эстафету,— живо отозвался Струга.— Но...

— Никаких «но»! — возразил Кристач.— Им, и только им, принимать от нас эстафету. Правда, Бэн?

— Вот и я говорю,— продолжал Струга,— если не они, то кто? Не Рабо же, в самом деле, принимать нашу эстафету. Но мне кажется, что они об этом и думать забыли. На уме одни вечеринки да танцульки.

«Началось»,— подумал Бэн. Ракия, выпитая по настоянию старших «до дна», давала себя знать — мысли путались. «Началось,— повторил он.— Уже и вечеринками попрекают...»

— Да-а, раньше в их годы мы уходили в партизаны, воевали,— задумчиво произнесла Лирия.— Сколько тебе было, Кристач, когда тебя назначили заместителем комиссара? Как Бэну теперь...

Кровь бросилась Бэну в голову: не раз уже слышал он эти сравнения. «Что они пристают? Чем я виноват, что мне только двадцать лет, а не сорок?»

— Ушли, ушли те времена,— грустно добавила Лирия.— Нашу эстафету...

У Бэна перехватило дыхание. А Лирия, ничего не замечая, продолжала развивать свою излюбленную тему об эстафете поколений.

— Эстафета, говорите?! Какая эстафета?!— не сдержался Бэн.— И вообще, что вы хотите этим сказать?

Его взгляд, как бы ища поддержки, заметался по лицам сидящих за столом. Он точно с цепи сорвался, забыв, что Лирия, желая поддеть его, специально завела этот разговор. Это ее метод воспитания.

— Кому нужна ваша эстафета? Что вы с ней носитесь?— теперь уже кричал Бэн.— Держите вы ее при себе, если она вам дорога!

— Бэн, остановись,— тихо сказал Бесник.— Не делай глупостей.

— Уймись!— строго сказал отец.

— Что вам от меня надо?— кричал Бэн, задыхаясь. На мгновение он пожалел, что не сдержался и высказал будущей родственнице все, что думал, однако, как говорится, слово не воробей... Бэн чувствовал, что окончательно теряет над собой контроль, и хотел выйти из-за стола, но Зана, сидевшая рядом, удержала его.

— Не обижайся,— сказала она мягко.— Мама порой не ведает, что говорит.

Спокойный голос Заны — пожалуй, единственной в этом доме, кто не вызывал у него раздражения,— утихомирил подростка.

— Что вы ополчились на мальчика?!— вступилась Рабо за племянника.— Откуда вам знать, как они поведут себя на войне? Может, лучше любого из нас.

— Рабо права,— примирительно сказал Кристач.

— Случись война, кто защитит нас?— продолжала Рабо.— На их плечи ляжет вся ее тяжесть.

— Рабо права,— повторил Кристач и, чтобы перевести разговор на другую тему, обратился к Беснику: — Наверное, делегация задержится в Москве и после праздников?

— Я не знаю, возможно,— ответил Бесник.— Мне кажется, сразу после праздников состоится международная встреча.

— Да, я тоже слышал об этом,— задумчиво сказал Кристач.

Рабо с Зэлькой и Мирой убрали со стола закуски, поставили блюдо с жареным картофелем и стали пода-

вать горячее. Общая беседа прервалась, соседи за столом разговаривали друг с другом. Объединяло же всех позвякивание приборов да лепетание малыша, успевшего уже дважды опрокинуть свою тарелку.

Струга пил в меру. Для него этот день был особым, разные, порой противоречивые мысли лезли в голову. Он с гордостью и восхищением наблюдал за Бесником, обсуждавшим с Кристачем вопросы большой политики. «Старший сын не зря носит славную фамилию — Струга»,— с гордостью думал он. Прикрыв глаза, он прислушивался к беседе: вот уже в третий раз прозвучали слова «международная встреча», «интернациональная»... Струга одобрительно посмотрел на сына, который запросто мог беседовать с заместителем министра.

«Декларации международной встречи», «интернациональной»... — знакомые слова, а в памяти всплывали другие: «Ты предал Интернационал!» Вместе с этими грозными, прогремевшими орудийным залпом словами вспомнилось вдруг опаленное зноем плоскогорье, на котором тень человека укорачивалась с быстротой человеческой жизни.

— Атанас Люлё, ты предал Интернационал!

Он стоял перед ними с мертвенно-бледным лицом, покрывшимся легкой испариной, с вмиг потухшими глазами и переводил взгляд с одного на другого. Партизанский суд...

— Остановитесь, люди добрые, подождите! Не торопитесь. Откуда вам знать, что значит это диковинное слово «интернационал»?! Не спешите, позовите кого-нибудь, кто понимает его смысл. Давайте обсудим его со всей принципиальностью, может, с товарищем из центра, который лучше подкован в теории...

С минуту партизаны вслушивались в его молящий голос, произносивший одно иностранное слово за другим. Странно было слышать эти звучные и непонятные слова на раскаленном от солнца горном плато.

— Вот тебе товарищ из центра, который знает любую теорию,— оборвал его командир отряда, указывая на молодого белобрысого партизана с приплюснутым носом из деревни Братай.

Тот опустил глаза.

— Иди, Чочоль, и разобъясни ему этот вопрос в плане теории,— продолжал командир.— А ты, Мютерэм, помоги товарищу.

У человека, обвиненного в предательстве, округли-

лись глаза, исказилось лицо, и вместо звучных иностранных слов он беспорядочно залепетал:

— Нет! Нет! Нет!

Его отвели в сторону на пятьдесят шагов и расстреляли.

Струга вновь наполнил рюмку. Кто-то предложил тост за его здоровье. Не чокаясь, он выпил. На столе среди тарелок появились вдруг морские ракушки, которые маленький непоседа разбросал по всей комнате. Ухо ласкал монотонный гул семейного застолья: Зэлька что-то тихо рассказывала, Зана и Лирия с интересом слушали. По отдельным словам, долетавшим до него, Струга догадывался, что речь идет о военной базе во Влёре.

— ...он же целыми днями дома не бывает... у них это называется ночной тревогой... готовность номер два... пусть бы только орудия проверяли... кругом темень...— слышалось с другого конца стола,— каждую ночь... етволы длинные, жуть берет... военная база, одним словом, о-о-х!.. Что там... постоянная тревога...

Слушая их, Струга мысленно усмехнулся: «Нет, не так быстро расстается человек с войной».

Кристач и Бесник продолжали обсуждать предстоящее международное совещание. В женской компании наметилась пауза — Зэлька выговорилась и замолчала. Инициативу тотчас перехватила Лирия, начавшая рассказывать про одного своего знакомого, который не ладил с тещей.

— Кстати, а чем закончилась история с обручением у Бермемов? — вспомнила вдруг Зэлька.

— Помолвка расстроилась!— со знанием дела сообщила Лирия, сделав рукой жест, исключавший всякие сомнения.

Зана по этому поводу добавила что-то от себя.

«Вот такие дела»,— непонятно в связи с чем подумал Струга. На мгновение он перехватил взгляд Миры, в котором затаилась несвойственная ей печаль.

— Доченька моя любимая,— с нежностью промолвил он.— О чем загрустила? О чем задумалась?

Он попытался подбодрить ее улыбкой, но Мира опустила глаза и отвернулась, не понимая, что душевные переживания написаны у нее на лице.

Было уже поздно. Кто-то вспомнил наконец о времени: «Кажется, уже полночь...», кто-то о предстоящей командировке Бесника: «Скоро самолет...»

Один за другим гости поднялись из-за стола и вышли в прихожую одеваться. Потом, стоя на лестничной площадке, они долго прощались, желая Беснику счастливого пути.

— Доброй ночи, Бесник.

— Всем спокойной ночи.

— До завтра,— сказала Зана, чмокнув его в щеку.

Когда стихли шаги последнего гостя, Бесник вошел в квартиру и запер за собой дверь.

— Со стола завтра уберете,— сказал Струга женщинам.— Надо спать ложиться, утром рано вставать.

Зэльку с малышом уложили в комнате Миры и Рабо.

Бесник, войдя в столовую, увидел на столе гору грязной посуды и рассеянно огляделся, вспоминая, зачем пришел: в одной из грязных тарелок дымилась не погашенная кем-то сигарета.

Постепенно квартира затихала. Бесник прикрыл дверь своей комнаты и подошел к окну. Дождь не утихал. Уличные фонари едва мерцали в ночи. Начинался новый день. Укладываясь спать, Бесник слышал за окном чей-то одинокий голос, который, несмотря на поздний час, распевал фривольную песенку:

Не водись с блондинками,
Жуткими кретинками...

Голос удалялся в сторону почты. Бесник подумал о прекрасных каштановых волосах Заны и улыбнулся.

Часть вторая Гости в твердыне

Глава VI

До аэропорта, расположенного в долине, было довольно далеко, однако из окна автомашины, бегущей по горному склону, уже видны были верхушки антенн, сигнальные огни, сонно мерцающие среди дышащих холодом полей, блестящие стекла башни диспетчерской службы и даже часть взлетно-посадочной полосы, на которой, как показалось Зане, сверкнуло крыло самолета, идущего на посадку. Наверное, именно здесь земля и небо нашли наконец согласие, соединив свободу птичьего полета с дерзким творением рук человека. Зана вздохнула. Взлетная полоса, длинная и мокрая от дождя, метеорологическая вышка, антенны и мигающие сигнальные огни, одинаково серые на фоне осеннего неба, таили в себе что-то неотвратимое. Продолжая смотреть в окно, Зана нежно обвила рукой шею жениха, ощущая радость оттого, что он рядом. «Бывают ли на свете аэропорты, где люди только встречаются и никогда не расстаются?» — подумала она, но тотчас же отбросила абсурдную мысль, как, впрочем, и сотни других, которые сегодня лезли ей в голову. Люди, по обыкновению, любят фантазировать. Зана не была исключением. Ей нравилось представлять себя владычицей мира, которой по своему хотению дано повелевать им, как в годы беззаботного детства. Вот и сейчас мерцающие огни аэропорта казались ей живыми существами, кото-

рые дрожат от холода, проклиная и самолеты, и пассажиров. Деревья и зелень вокруг, похолодев от ужаса, словно бы наблюдали за безрассудными действиями стальных птиц, и лишь взлетная полоса хранила спокойствие и деловитость, желая одного — чтобы все самолеты исправно взлетали и садились. Что греха таить, были среди них и совсем тупые, которые с трудом приземлялись в положенном месте.

Подъехав к зданию аэропорта, Зана с Бесником вышли из машины, шофер достал вещи из багажника, и они под проливным дождем заспешили к таможне. Вслед за ними подошли еще две машины. В таможенном зале было пусто. Бесник предъявил паспорт и билет, и ему быстро зарегистрировали отлет и оформили багаж.

Шофер ушел к машине, а Бесник с Заной прошли в зал ожидания, стеклянные двери которого без устали впускали и выпускали каких-то людей.

— Что тебе заказать?— спросил Бесник, когда они сели за один из свободных столиков.

Она смотрела на него так, будто не понимала, на каком языке он говорит. Бесник приметил темные круги у нее под глазами — следы последней бурной ночи, их ночи,— и вдруг ему пришла в голову мысль, что эти круги под глазами любимой — единственное свидетельство их близости, хроника дней, проведенных вместе, отражение опьянения радостными муками и сладостным страданием. Жизнь для женщины начинается с боли и мук и разрешается болью и муками, в которых рождается новая жизнь. И вообще в мире ничто значительное не происходит без страданий.

— Что ты сказал?— безотчетно спросила Зана.

— Мы закажем что-нибудь?

— Все равно.

— Кофе?

Зана согласно кивнула. Она смотрела в окно на огромный самолет, стоявший под дождем, растопырив крылья и приподняв хвост. Издали он походил на птицу, которую мать когда-то ощипывала на кухне.

Бесник заказал кофе. В зале было многолюдно и оживленно. Он узнал двух министров и члена Центрального Комитета. Они тоже заказали кофе.

— Мерзкая погода,— довольно громко сказал кто-то за соседним столиком.

— Для такого самолета погода не имеет значения,—

проронил его собеседник.— Вообще для всех современных машин.

— Неужели?!

Зана не могла оторвать взгляда от стального воздушного лайнера. Этот цвет напомнил ей пасмурные дни октября. «У расставания не может быть другого цвета,— подумала Зана.— Рядом со мной сидит молодой человек, которого зовут Бесник. Мы оба находимся в некоей точке земного шара, а вокруг — ни зала, ни стен с картинами, ни дверей, ни расписания полетов, а только бескрайняя равнина, открытая зимним холодам. Спустя минуту он отправится на северо-восток, чтобы вернуться потом в ту же точку голой земли».

— Пей свой кофе, остынет,— услышала она голос Бесника и улыбнулась.— О чем задумалась?— Бесник с беспокойством поглядел на нее.

Зана снова улыбнулась, но ничего не сказала. Стеклянные двери открывались и закрывались: в зале сильно сквозило. Среди вновь прибывших пассажиров Бесник узнал албановеда Шнайдера. Несколько бородатых геологов, скорее всего из Чехословакии, пили коньяк. Бесник взглянул на часы. И тут из невидимых глазу динамиков раздался сначала, как обычно, хрипловатый, а потом четкий голос:

— Самолет, выполняющий рейс «Тирана — Москва», вылетает через пятнадцать минут. Просим пассажиров пройти на посадку.

Зал мгновенно ожил: задвигались стулья, руки потянулись за дорожными сумками, брошенными под столы, кто-то заторопился к выходу, кто-то вздыхал и суетливо прощался. У стеклянных дверей создалась толчея — все хотели пройти первыми. Стоявшие сзади поднимались на цыпочки, вытягивая шеи и пытаясь узнать, отчего их не пропускают, но, не получив ответа, снова ставили сумки на пол и доставали сигареты: неизвестно, сколько еще придется ждать.

Дождь лил не переставая. Зана стояла у окна и рассеянно смотрела на огромный бензовоз, отъезжавший от самолета, когда до ее слуха донесся взволнованный шепот: «Товарищ Энвер, товарищ Энвер...» — и она почувствовала, что все ринулись к окнам. Энвер Ходжа в длинном черном пальто, в широкополой шляпе шел под дождем к трапу в сопровождении небольшой группы людей.

— Товарищ Энвер тоже летит или приехал проводить делегацию?— спросил кто-то у самого уха Бесника.

— Не знаю,— пожал плечами Бесник.

— По-моему, он идет к трапу...— не успокаивался сосед.

На верхней ступеньке Энвер Ходжа приостановился и, обернувшись к провожающим, знакомым жестом помахал рукой, а затем, наклонив голову, быстро вошел в самолет. Следом за ним поднялись сопровождавшие его лица.

Какое-то время опустевший трап мок под дождем в одиночестве, но вскоре на поле появились люди. У стеклянных дверей дежурные аэропорта привычно просматривали паспорта, а пассажиры, попрощавшись с родными и близкими, спешили по мокрому асфальту к самолету.

Бесник обнял Зану.

— Счастливого пути, дорогой,— прошептала она и нежно поцеловала его в щеку.

Бесник шел по полю, пригнувшись от дождя и ветра. Он хотел обернуться, но не успел — внезапно перед ним вырос трап, и он стал подниматься, чувствуя, как скользкие ступеньки подрагивают под ногами. Бесник поднимался и думал, что вот сейчас он обернется, помашет Зане рукой, но... черный овальный проем двери, словно раскрытая пасть, завораживал и манил, и он шагнул внутрь.

В салоне самолета было довольно тихо: негромкие голоса пассажиров сливались с монотонным гудением двигателей. Бесник занял место у окна справа, но, увидев в иллюминатор, что здание аэропорта с другой стороны, пересел в соседний ряд. Через запотевшее стекло он наблюдал, как люди задерживались у трапа, чтобы еще раз помахать рукой близким, и это напомнило ему кадры немого кино.

Рядом с Бесником сели два чешских геолога, но их коллеги заняли места в другом салоне, и они ушли к ним. Появился албановед Шнайдер, а за ним — три русские женщины с детьми, которые крепко держались за руки. Кто-то грузно опустился в одно из свободных кресел рядом с Бесником. Бесник повернулся. Приветливо улыбаясь, на него смотрел широкоплечий коротко стриженный мужчина с огромным портфелем в руках, который он пытался пристроить на полу у ног.

— Замечательно!— обронил незнакомец, ни к кому не обращаясь.

Он хотел было о чем-то спросить Бесника, но не успел: двигатели взревели, и огромный воздушный корабль нервно вздрогнул. Провожавшие еще энергичнее замахали руками, а пассажиры прильнули к иллюминаторам. Самолет качнулся и стал медленно выруливать к взлетной полосе. Здание аэропорта, башня диспетчерской службы, антенны — все исчезло из поля зрения. Но когда лайнер приостановился перед стартом, очертания аэровокзала и маленькие фигурки провожавших вновь стали различимы в тусклом свете непогожего дня.

Двигатели загудели, словно у них открылось второе дыхание. Самолет задрожал. Гул моторов сменился ревом, который все усиливался и усиливался, пока из металлических легких корабля не вырвался дикий вой, сопровождаемый свистом, свирепым и устрашающим. Казалось, огромная летающая машина не сможет подняться в небо, не испытав мучительной боли. И верно, стоило самолету оторваться от земли, как мощный рев двигателей утих, а тело его словно бы почувствовало облегчение. Пропасть между самолетом и землей увеличивалась с невероятной скоростью. Корабль вошел в зону облачности. Гул моторов постепенно затихал. Минуту спустя облака оказались внизу, и двигатели затихли, будто погрузились в дрему.

Бесник смотрел на раскинувшуюся под ним белую пустыню, и его охватило чувство неземного покоя; он начал засыпать.

— Вы, вероятно, в составе делегации?— Голос соседа заставил его очнуться.

— Да,— машинально ответил Бесник.

— Работаете в каком-нибудь центральном ведомстве?

— Нет. Я журналист.

— Вот как?!— почему-то удивился сосед.

— Наверное, буду переводить.

Сосед понимающе кивнул. У него были светлые лучистые глаза и живой взгляд.

— А вы откуда?— в свою очередь поинтересовался Бесник.

— Я тоже в составе делегации. Работаю в Экономическом совете стран Варшавского Договора.

Теперь Бесник бросил на соседа недоуменный взгляд:

ничто в его облике не указывало на принадлежность к славной когорте экономистов-международников. И чтобы рассеять сомнения, Бесник задал ему вопрос, на который при других обстоятельствах вряд ли решился бы.

— А как обстоят дела с советским зерном?— спросил он прямо в лоб.

— С советским зерном?!— изумился экономист.

Вопрос был для него неожиданным. Он нахмурился, поерзал в кресле, испытующе глядя на Бесника, потом посмотрел в иллюминатор, словно бы желая убедиться, что земля далеко, и, по-видимому решившись на что-то, сказал:

— Мы закупаем зерно во Франции.

— Я кое-что слышал об этом,— успокоил его Бесник.

Он и вправду слышал кое-что. Осведомленность Бесника несколько успокоила экономиста, и он добавил:

— За золото.

Собеседники обменялись многозначительными взглядами.

— Может, за этой пшеницей скрывается нечто иное?— предположил Бесник, не сводя глаз с соседа.

Но он опоздал с вопросом. Сосед, вероятно, вспомнил о долге, о бдительности, и его лицо опять сделалось непроницаемым.

— Бывает, бывает,— бросил он.— На полях растут и сорняки, и злаки. Вам не приходилось бывать на полях в июне?

— Перестаньте, я серьезно,— перебил его Бесник.— Вы знаете, что он сказал о мышах?

— О мышах? Каких мышах?— опешил экономист. Его ресницы, плечи, брови, минуту назад выражавшие полную растерянность, демонстрировали крайнее изумление.— Что вы сказали о мышах? Я ничего не знаю. Хотя, простите, кое-что, конечно, слышал. Знаю, например, что огромные полчища мышей появляются во время эпидемий чумы. Вы это имеете в виду? Но я ничего не слышал о вспышке такой эпидемии у нас, хотя всякое может случиться. Мой приятель, врач Санитарно-эпидемиологического центра страны, говорил, что...

— Вы все шутите,— с обидой прервал его Бесник.

— Что вы, и не думал,— замахал руками экономист.— Вы спросили о мышах, и я ответил. Может, вы чего-то недоговариваете?

— Говорю о том, что знаю наверняка,— возразил Бесник и, помолчав, добавил: — Кстати, при этом не трясусь от страха.

Собеседник не опустил глаз, но и объясниться не захотел.

— Я просто спросил, сколько зерна мы вынуждены закупить во Франции, и в этой связи вспомнил слова товарища Хрущева о мышах,— продолжал Бесник.— Я слышал их собственными ушами, когда товарищ Хрущев был в Албании. Он сказал тогда, что Албания импортирует в год столько зерна, сколько его съедают мыши в амбарах и на складах Советского Союза.

— Странно-странно,— только и вымолвил экономист.— Очень странно,— повторил он без особого удивления.

На какое-то время собеседники замолчали. Бесник смотрел в окно.

— Ну, вот и обед! — воскликнул экономист, радостно потирая руки.

Стюардессы и в самом деле начали разносить подносы с едой. Сосед ни к чему не притронулся и непрестанно повторял:

— Замечательно! Замечательно!.. Где мы сейчас?— внезапно спросил он.

Бесник пожал плечами. В просветах меж облаками можно было рассмотреть неясные очертания земли.

— Где-то между Россией и Украиной, наверное,— предположил он.

— Огромное бескрайнее пространство,— заметил экономист.

Он еще долго всматривался в далекую землю, потом, глубоко вздохнув, откинулся на спинку кресла.

Бесника снова охватила дремота.

— Вы вот недавно говорили о чуме,— вновь оживился сосед.

Бесник очнулся — сна как не бывало.

— Я и словом не обмолвился о чуме,— возразил он.— Я говорил о мышах.

— Мыши, чума — это одно и то же,— продолжал экономист.— Какая разница... Может, я первым заговорил, но это не важно. Недавно я прочитал книжку, к сожалению, не помню ее автора и название. Собственно, это даже не книжка, а всего несколько вырванных из нее страниц, в которые крестьянин завернул мне черешню. Съев ягоды, я хотел было выбросить и кулек,

но случайно прочитал несколько строк и заинтерссовался: там шла речь об эпидемии чумы.

— О чуме написано много книг,— осторожно заметил Бесник.

— Да, конечно, но эта книга иного рода. В ней рассказывалось о чуме, поражающей лошадей.— Сосед придвинулся к Беснику, тяжело навалившись на него плечом, и показал пальцем на иллюминатор.— Там, внизу, где-то на границе Европы и Азии, однажды вспыхнула эпидемия конской чумы.

Не поворачивая головы, Бесник взглянул вниз.

— Бесчисленные орды монгольских завоевателей готовились к захвату западных территорий,— продолжал экономист.— Ужас охватил народы Европы. Нависла угроза полного их опустошения и порабощения. И вдруг вспыхнула эпидемия чумы, которая безжалостно косила табуны лошадей. Монгольские военачальники, выходя из юрт, с тоской взирали на скрытые в тумане горизонты Европы, куда путь им был теперь заказан...

Бесник смотрел в окно, за которым простиралась бескрайняя белая пустыня. Вдруг что-то щелкнуло, и динамики ожили.

— Через несколько минут наш самолет совершит посадку в аэропорту «Внуково» города Москвы,— раздался приятный женский голос.— Просим пассажиров оставаться на своих местах до полной остановки двигателей.

Посадка продолжалась довольно долго. Самолет сотрясало все чаще и все сильнее. На крыльях засверкали дождевые капли. Мимо стремительно проносились облака. Казалось, какое-то гигантское существо дышит на стекла иллюминаторов. Сквозь перистые облака мелькнула наконец взлетная полоса, расчерченная пунктирами зеленых сигнальных огней, и спустя минуту могучее тело воздушного лайнера коснулось земли. Ощущалось, как где-то внизу, прямо под ногами, затихает яростный рев моторов. Самолет медленно подрулил к зданию аэровокзала.

— Наконец-то прилетели,— проронил, ни к кому не обращаясь, сосед.— Сколько раз мне приходилось проделывать этот путь,— добавил он не то с гордостью, не то с грустью.

Бесник хотел ответить ему, но передумал: голова плохо соображала, и он занялся дорожной сумкой. К самолету подали трап. Бесник взглянул в иллюминатор

и увидел, что по трапу спускается Энвер Ходжа в сопровождении трех членов делегации и небольшой группы советников.

Салон самолета быстро пустел. Бесник тоже пошел к выходу. На ступеньках трапа его сразу же пронзил холодный порывистый ветер. Он приподнял воротник пальто и, держась за поручень, быстро сбежал вниз. По сторонам стояли огромные воздушные лайнеры: «Air France», «Air of India», «KLM». Бесник подумал, что международные авиакомпании даже небо поделили между собой. Мысль эта была столь же абсурдна, сколь и забавна: вряд ли бескрайнее, внушающее трепет всему живому небо, которое он только что видел, примирится с названиями компаний, похожими на вывески в торговых рядах.

Бесник ускорил шаг и догнал товарищей. Они шли к зданию аэровокзала с поднятыми от холода воротниками и с дорожными сумками в руках, которые издали казались слишком большими, тяжелыми и черными,— одним словом, траурная процессия под порывами пронизывающего ветра. И вдруг ему пришло в голову: «Что за странное прибытие в столицу Великой дружбы?.. Ни фотографов, ни кинооператоров, ни транспарантов с лозунгами, ни пионеров с букетами цветов. Только черные сумки и тихое шарканье ног».

Вереница легковых автомашин, оставив в стороне город, устремилась в один из районов Подмосковья. День клонился к вечеру, и белизна снежных сугробов вдоль шоссе безуспешно пыталась продлить его угасание. Все кругом становилось серым и неприветливым: ели, пригородные железнодорожные станции, замерзшие пруды и придорожные канавы. Когда машины въехали во двор двухэтажного особняка, предназначенного для части делегации, первое, что поразило Бесника,— это безмолвие снежной равнины, расстилавшейся до самого горизонта. Редкие деревья, одиноко торчавшие среди белых сугробов, видимо, давно смирились со своей участью.

Двери комнат на обоих этажах, деревянные ступени лестниц, коридорные двери — все нещадно скрипело. Гости побросали портфели и дорожные сумки на прикроватные тумбочки и подоконники, решив сперва осмотреться, а уж потом устраиваться как следует. Технический персонал делегации отправился в гостиницу «Москва».

Со второго этажа, где поселились члены правительственной делегации, спустился один из представителей МИДа. Он подошел к окну, посмотрел сквозь скованные льдом стекла на улицу и направился в малый зал.

— Есть необходимость собраться,— сказал он проходившему мимо коллеге.

Спустя некоторое время все были в сборе. Одни сели за длинный стол посреди комнаты, другие стояли, опершись на подоконники. Воцарилась напряженная тишина.

— Итак,— начал мидовец неестественно бодрым голосом и улыбнулся. Собравшиеся никак не отреагировали на это, в зале по-прежнему стояла тревожная тишина. На вмиг посуровевших лицах застыли внимание и сосредоточенность.— Итак, товарищи,— продолжал мидовец, тяжело вздохнув,— сегодня вы сами видели... могли убедиться...— Он замолчал, нервно барабаня пальцами по столу, будто ждал, что вот-вот появятся нужные слова.— Вы видели, как нас встретили. Мы с советскими...— Пальцы говорившего еще быстрее забарабанили по столу. Он поднял руку и решительно произнес: — Итак, товарищи, мы видели, что наши отношения с СССР осложнились.

Представитель МИДа обвел взглядом присутствующих: ни одно лицо не дрогнуло, все со вниманием слушали. «Может, они уже разобрались в ситуации,— подумал он,— что вполне естественно, ведь охлаждение ощущается прежде всего». Он понимал: люди ждут от него разъяснений. Но что сказать, где найти нужные слова? Трудно. Очень трудно. Возникшая атмосфера враждебности была столь абсурдна и ирреальна, что мозг отказывался воспринимать ее, а любые слова звучали тускло и малоубедительно. «Хорошо бы говорить на каком-нибудь иностранном языке»,— подумал он и так, наверное, поступил бы, если бы не боялся выглядеть смешным.

Глубоко вздохнув, точно перед прыжком в воду, он сказал:

— Вы должны знать одно, товарищи! Сегодня мы находимся отнюдь не в кругу друзей. Но совесть наша абсолютно чиста перед историей. Начали они.— Мидовец указал рукой на окно, будто «они» были где-то там, за окном.

Близилась ночь. В пустынном сумраке казалось, что деревья сошли с мест и двинулись к даче. Всех не по-

кидало ощущение неопределенности. Бесник припомнил, что уже видел однажды такие деревья: они росли у шоссе в одной из деревень на севере Албании. Он тогда участвовал в экспедиции и от своего товарища впервые услышал о целебных свойствах их листьев. Указав из окна машины на зеленые кроны, приятель сказал: «Видишь зелень? Ее используют как лекарство от помешательства».

— Вы все устали,— поднялся из-за стола член официальной делегации.— Ужинайте и отдыхайте. Завтра у нас много работы. Спокойной ночи, товарищи.

— Спокойной ночи.

Гости ужинали в столовой, находившейся в цокольном этаже особняка, их обслуживали два пожилых официанта.

После ужина все стали расходиться по комнатам. Деревянные полы заскрипели.

— Спокойной ночи! Спокойной ночи! — доносилось со всех сторон.

Один из охранников Энвера Ходжи с озабоченным лицом спустился по лестнице вниз, но сейчас же поднялся наверх.

Бесник вошел в свою комнату. Его сосед занял кровать у стены и готовился ко сну. Им оказался тот самый экономист, с которым они вместе летели в самолете. Бесник стал раздеваться.

— Спокойной ночи,— сказал он, выключая ночник.

— Спокойной ночи, товарищ,— тихо ответил экономист.

Внешне он выглядел спокойным, но дрожь в руках и суетливые движения, когда он поправлял одеяло, выдавали внутреннее волнение. Наконец он выключил верхний свет и улегся.

Беснику не спалось: слышались чьи-то осторожные шаги, жалобное поскрипывание лестничных ступеней, треск рассохшегося дерева. Неизвестно отчего ему вдруг вспомнился человек с раскосыми глазами, которого он однажды встретил на почте какого-то заштатного городка: склонясь над стойкой, он надписывал конверт. От неловкой позы и горестного выражения лица глаза его косили еще сильнее.

Сосед вскоре затих, но спал плохо: ворочался, вздыхал, что-то бормотал во сне. Бесник попытался отвлечься размышлениями о чем-нибудь приятном, но не получилось.

Сосед снова заворочался и тяжело вздохнул.

— Откуда здесь сова? — жалобно спросил он сквозь сон.— Почему она никак не уймется?

— Это не сова, а телефон,— прошептал Бесник.— Там, внизу, или на кухне.

— Ах, телефон...

Внизу действительно без умолку звонил телефон.

Бесник повернулся на другой бок и накрылся с головой одеялом. Телефонные звонки стали глуше, но все-таки мешали спать. «Что же это такое, в самом деле? Что же это?» — твердил он. А звонки-призывы, звонки, напоминающие крики совы, не умолкали.

«Всю ночь телефон тревожно звал нас к себе».

Бесник потряс отяжелевшей головой: «Кому об этом расскажешь? Кому?»

Глава VII

Демонстрация на Красной площади длилась больше часа. Было очень холодно. Порой Беснику казалось, что от нескончаемого потока людей, колоннами проходивших мимо трибун, ликующих возгласов, колышущихся знамен, лозунгов, транспарантов, множества портретов, которые несли демонстранты, звуков бравурной музыки становилось теплее. Но это только казалось. На самом деле ощущение зимней стужи усиливалось, особенно мерзли ноги. Вековой гранит площади под шагами сотен тысяч людей источал невообразимый холод.

Бесник стоял на гостевой трибуне справа от Мавзолея Ленина. От знамен и транспарантов, медленно проплывавших перед трибунами, он перевел взгляд на храм Василия Блаженного. Купола его церквей были видны и со стороны площади, и со стороны Кремля. Стоя на трибуне, Бесник не мог видеть кремлевские соборы, но мысленно представлял их золоченые маковки, и ему казалось, что их тусклый свет, точно ироничная улыбка, струится над площадью.

Под звуки музыки, в атмосфере всеобщего ликования то тут, то там взмывали в небо разноцветные шары,

удивительно похожие на церковные купола. «Да здравствует нерушимое единство социалистического лагеря!» Где-то у Исторического музея появился огромный портрет Хрущева. Застыв над людским потоком, он медленно поплыл в сторону трибун. Звуки маршей не смолкали ни на минуту.

Мысль о том, что он находится в самом центре социалистического лагеря, мелькала порой в сознании Бесника.

«Центр целого мира»,— с горечью подумал он.

На Красную площадь входила колонна с портретами членов Президиума ЦК КПСС. «Третий Рим...— вспомнилась ему известная формула.— Во всех советских школах учащихся знакомят со средневековой теорией инока Филофея «Москва — Третий Рим», которая утверждает, что два Рима пали, третий стоит, а четвертому Риму не бывать. Под Третьим Римом монах подразумевал Москву».

С непривычки у Бесника разболелась голова. Церковные купола словно покачивались в медленном танце. «Третий Рим...— снова подумал он.— Москворим... Римомосква... И место, где с незапамятных времен отсекали непокорные головы, было там, в центре площади, надо только отодвинуть в сторону бронзовый памятник Минину и Пожарскому...»

Бесник чувствовал, как ноги у него деревенеют, а колоннам демонстрантов не было конца. Он приподнялся на цыпочки, пытаясь увидеть хвост людского потока, и понял, что стоять придется еще не меньше часа. Над толпой среди флагов и транспарантов пролетали разноцветные воздушные шары. От нечего делать Бесник стал наблюдать за ними: «Вот желтый шар резвится перед портретом Хрущева. Другой шар, голубой, легко кружит сбоку от него». Многие шары лопались от холода, но в праздничном гуле на это никто не обращал внимания. «А вот и оранжевый шар! Модный цвет, сказала бы Зана... Что это я?!» — едва не вскрикнул Бесник. Ему вдруг почудилось, что он и думать забыл о Зане. По крайней мере, за время пребывания в Москве он ни разу о ней не вспомнил.

«Невозможно себе представить этот безбрежный океан людей,— он мысленно пытался пересказать ей увиденное.— А этот холод... У-у-х! Как же здесь холодно!» Он посмотрел по сторонам, чтобы как следует запомнить все, о чем потом расскажет дома, и вдруг понял:

и в веселом кружении над площадью воздушных шаров, и в плавном движении портретов, и особенно в позолоте соборных куполов есть нечто такое, что невозможно передать словами.

После военного парада и демонстрации трудящихся они вернулись на подмосковную дачу. Это был уже четвертый день их пребывания здесь. Вокруг все тот же начинавший надоедать пейзаж: до самого горизонта заснеженная холмистая равнина и двухэтажные правительственные особняки, одинаково отстоящие друг от друга.

День клонился к вечеру. Смеркалось. В эти часы работалось плохо. Бесник наблюдал, как сумерки постепенно окутывают землю, и успел заметить, что обычно в это время в город возвращаются лыжники. Вероятно, поблизости была пригородная железнодорожная станция. Фигурки лыжников на горизонте казались ему существами, забредшими сюда из другого мира.

— Видишь автомобили?

Бесник обернулся. Рядом стоял Йордан, сосед по комнате.

— «Чайки» и «ЗИМы»,— продолжал Йордан.— На этих дачах живут руководители партии и правительства.

Бесник понимающе кивнул.

— Они ходят в гости друг к другу. Попивают чаи. Беседуют.

Бесник удивленно взглянул на соседа, не понимая, куда он клонит.

— Беседуют...— повторил Йордан.— Теперь это уже не секрет.

— Конечно, для некоторых это перестало быть секретом,— согласился Бесник.

— А для некоторых никогда секретом и не было,— заметил Йордан.

Бесник улыбнулся.

— Однажды на приеме, устроенном монголами, их посол завел речь о смерти Чингисхана,— продолжал Йордан.— Он умер где-то на границе с Китаем. Военачальники великого хана решили сохранить в тайне это событие и не сообщать о его смерти до тех пор, пока тело не доставят в центр империи для погребения. Тысяча стражников днем и ночью охраняла караван на всем пути его следования в Монголию. И чтобы никто

не догадался о смерти Чингисхана, стражники убивали на месте всякого, кто встречался, пусть даже случайно, на их пути. И не только людей. Уничтожалось все живое: птицы, звери и даже змеи. Однако тайну сохранить все же не удалось. Караван был еще далеко от Монгольской пустыни, когда весть о кончине Чингисхана достигла самых отдаленных уголков империи.

Бесник не знал, что сказать.

— У вас усталый вид,— посочувствовал ему Йордан.— Много работы?

— Да. Приходится переводить разные материалы.

— Когда начнется совещание[1], работы прибавится. У всех.

— Конечно.

Свет фар подъехавшей к дому автомашины мягко скользнул по заснеженной глади двора. Следом подкатила другая машина. Ее фары выхватили из темноты задремавшее дерево.

— Приехали наши товарищи из гостиницы «Москва»,— обрадовался Йордан.— Во сколько прием?

— В восемь.

— Значит, поедем вместе.

Гости входили в дом, снимая на ходу пальто и шапки. В холле, казалось, потеплело. Обитатели особняка сейчас же собрались здесь, точно не виделись целую вечность.

— Хорошо, что приехали! Правильно сделали! — то и дело повторял стенографист, угощая всех сигаретами.

Говорили все сразу, перебивая друг друга.

— Друзья, потише, пожалуйста,— спохватился кто-то.— Наверху работает товарищ Энвер.

19 час. 20 мин. Колонна автомашин направилась к Москве. В свете фар хорошо были видны сугробы по обеим сторонам шоссе. Вдали мерцали бледные огоньки вечерней столицы.

Москва была окутана искристым снежным покрывалом. Гирлянды огней над Историческим музеем, зданием ГУМа и чуть дальше — за куполами храма Василия Блаженного создавали на вечернем небе неповторимую световую диаграмму. Машины въехали на территорию Кремля со стороны Александровского сада.

---

[1] Речь идет о Международном совещании представителей коммунистических и рабочих партий в Москве (ноябрь 1960 г.).

Правительственный прием шел своим чередом: уже была произнесена краткая приветственная речь, провозглашены первые официальные тосты. За длинными столами, освещенными ярким светом гигантских люстр, сидели министры, генералы, послы, партийные секретари, маршалы, премьер-министры, депутаты, известные писатели, балерины, представители различных народностей, Герои Социалистического Труда, главы зарубежных партийных делегаций, ответственные работники разных уровней, адмиралы, контр-адмиралы, акыны из Средней Азии, кинематографисты, служители культа, академики, руководители общественных организаций, какие-то старики, о заслугах которых все давно забыли, а приглашения им посылались по привычке; руководители республик, министры без портфеля, сказители из южных пустынь, эскимосы, герои, потерявшие во время войны зрение, ученые-атомщики, дипломаты, теоретики марксизма.

Бутылки с напитками, бокалы и рюмки, женские наряды и украшения, вилки, ордена и медали, ложки, блюда, военные мундиры — все это великолепие, преломляясь в свете люстр, превращалось в мириады искр и сверкающим фейерверком золотой пыли рассыпалось вокруг.

— Мы ценим и уважаем вас, товарищ Энвер. Лично вас,— подчеркнул Косыгин, обращаясь к высокому албанскому гостю, сидевшему за главным столом.

Они внимательно посмотрели друг другу в глаза, и Энверу Ходже показалось, что Косыгин не без сочувствия сказал: «Держитесь!»

Косыгин сдержанно улыбнулся, рассчитывая, вероятно, на ответную улыбку, но на лице гостя не дрогнул ни один мускул. «В ваших глазах лютый холод. Отчего так?» — спросил две недели назад Хрущев одного из албанцев.

Энвер Ходжа сидел рядом с Косыгиным. В последнее время из всех членов Президиума ЦК ему приходилось чаще всего общаться именно с ним. Сбоку, насколько позволяло заслонявшее вид справа плечо Косыгина, Ходжа равнодушно наблюдал за тем, что происходит за столом. Хрущев чокался с Вальтером Ульбрихтом. Чуть дальше виднелись головы Хо Ши Мина и Долорес Ибаррури, еще дальше — Брежнева. Молча, с непроницаемыми лицами сидели за столом китайцы.

— Мы ценим вас,— снова повторил Косыгин и лени-

вым движением руки обвел зал. Этим странным жестом он как бы говорил: «Это великолепие зала есть не что иное, как наше выражение любви и надежды».

Ходжа проследовал взглядом за движением руки Косыгина. Зал, окутанный голубоватой дымкой, сиял. Кругом было полно народа, но своих он здесь не приметил.

Соседом Бесника по столу оказался, судя по выправке, бывший военный. Его грудь украшала Звезда Героя Советского Союза. Наполнив рюмку, он что-то пробормотал, а потом вдруг бесцеремонно уставился на Бесника. По лицу героя, по его серым слегка затуманенным глазам Бесник догадался, что он уже изрядно выпил.

— Вы, конечно, летчик? — по-свойски обратился он к нему.

Бесник улыбнулся, но возразить не успел,— сосед прервал его.

— Я так и думал,— быстро заговорил он.— Летчика сразу видно, хотя вы и не в форме. Такой цвет глаз бывает только у летчиков, это от неба. Я двадцать лет отдал авиации, а два года назад вышел в отставку.— Собеседник тяжело вздохнул, потом, вспомнив о чем-то, резко повернулся к Беснику: — Что вы замышляете против нас?

— С чего вы взяли? — нахмурился Бесник.

— Прошу прощения, если ошибаюсь. Просто я краем уха кое-что слышал. Не обижайтесь.— Летчик налил Беснику водки.— Давайте выпьем, и не сердитесь, если я сказал что-то не так.

Бесник поднял рюмку.

— Слышь,— после минутного молчания, но уже по-приятельски развязно снова заговорил летчик.— Мы с тобой летчики, и мы понимаем друг друга как никто. Не обижайся. Идет? Может, я ошибаюсь, но мне кажется, что в этом мире, как в театре, заранее расписаны все роли: одним летать, а другим — пешком ходить.

— Что вы имеете в виду? — решил уточнить Бесник.

— Да не смотрите вы на меня так сурово. Меньше всего я хотел вас обидеть. Я уважаю малые народы. Летчики любят небольшие страны, любят наблюдать, как они появляются под крылом самолета — такие маленькие и трогательные, как дети. И все же существует некое разделение труда. Существует само по себе. Фатально, так сказать.

— Фатально? Что это значит?

Летчик глубоко вздохнул, точно перед прыжком в холодную воду.

— Знаю, что объясняюсь довольно сумбурно. Не мастер я говорить, но попробую еще раз. Возьмем, к примеру, полеты. За этим столом нас, летчиков, только двое, и только мы можем летать. Все остальные — люди сухопутные. Не так ли?

Бесник пожал плечами.

— Я не хотел вас обидеть,— продолжал летчик.— Более того, я люблю вашу страну. На ее флаге изображен орел, не так ли? В этом символе заключено нечто величественное, возвышенное. Серп и молот — прекрасные символы, но для меня, летчика, изображение орла предпочтительнее, в нем — стремление к полету. Но для того, чтобы летать, надо иметь много хлеба и металла. Поэтому, хоть серп и молот кажутся вам недостаточно выразительными...

— Я этого не говорил! — прервал летчика Бесник.

— Не говорили, но наверняка подумали. Летчик не может рассуждать иначе. Прошу прощения, мне неловко напоминать, но я с вами абсолютно искренен. Поверьте. И говорю я только потому, что сочувствую вам.

— А мы в жалости не нуждаемся! — отрезал Бесник.

— Не обижайтесь. Честное слово, я вам симпатизирую. Поговорим откровенно. Надо быть реалистами. Вы за коммунизм, как и я. Верно? Но за коммунизм надо бороться, не так ли? Борьба требует организованности, порядка. Вы человек военный и не хуже меня все понимаете. Когда в воздух взлетает эскадрилья, каждый должен знать свое место. Иначе будет кавардак. И так везде! Да, я, кажется, говорил о социалистическом лагере... Наш лагерь велик и могуществен, он внушает страх империалистам. Но и здесь нужен порядок, чтобы не было хаоса. А враг только того и ждет. Вот что я имел в виду, когда говорил, что одним суждено ходить пешком, а другим летать.

— А может быть, кто-то должен и ползать?

— О, нет-нет! Тысячу раз нет! — запротестовал летчик.— Я ненавижу пресмыкающихся. Я летчик. Хотя... какой я теперь летчик?! Вот уже два года я не летаю. Не ле-та-ю! Я отлучен от неба. Зато теперь меня приглашают на приемы и банкеты. Вы летчик, и вы знаете, что значит тоска по небу. В этих залах среди напитков, кушаний и бюрократов она ощущается особенно остро,

занозой сидит в сердце. Меня отлучили от неба, как Сатану. Может, тебя тоже списали? Да-да, вижу по глазам — тоже! Наградили, оказали почести и отняли небо? Знакомая картина. Пей, брат мой Сатана! Пей! Мы конченые люди.

Он торопливо опрокинул очередную рюмку, покрутил головой и закрыл глаза. Спустя минуту очнулся и продолжил:

— Я против пресмыкания, но в нашем лагере должны быть порядок и...— летчик взял ломтик сыра и произнес по слогам: — е-дин-ство.

Бесник пристально поглядел на него, но ничего не сказал.

— Почему вы смотрите на меня с такой неприязнью? — озадачился летчик.— Я что-нибудь не так сказал?

— Вы оставили нас без хлеба! — тихо, но достаточно внятно произнес Бесник.

— Что?! Как без хлеба?! — удивился он.

— Лишь раз мы с вами не согласились, и тут же нам пригрозили голодом. И это вы называете единством?

— Не верю и никогда не поверю,— отмахнулся летчик, неодобрительно качая головой.

— Но это сущая правда. В Бухаресте[1] у нас возникли разногласия, и вы тотчас прекратили поставку зерна в Албанию.

— Не может быть! Мы поставляем зерно в Индию. Как мы могли не дать его вам? Тут какая-то ошибка.

— Никакой ошибки нет, все так, как я сказал.— В эти дни Беснику пришлось много переводить разных материалов, поэтому он знал ситуацию с зерном не понаслышке.— Но дело не только в зерне. Зерно — один лишь пример, за которым кроется...— начал пояснять Бесник.

— Но, дорогой коллега, вы меня удивляете,— перебил его летчик.

При этом он задел вилкой, которую держал в руке, плечо невысокого лысеющего мужчины, сидевшего рядом, и тот недовольно проворчал что-то в адрес не в меру суетливого соседа.

---

[1] Речь идет о встрече делегаций коммунистических и рабочих партий социалистических стран в Бухаресте (24—26 июня 1960 г.), когда впервые открыто обнаружились разногласия между АПТ и КПСС.

Бесник подумал, что, наверное, он зря сказал о Бухаресте, но потом успокоился. В памяти всплыл рассказ Йордана о тысяче стражников, которые сопровождали тело умершего Чингисхана.

— Послушай,— произнес наконец летчик, взяв Бесника за локоть,— я правда ничего не знаю о зерне. Если все так, как вы сказали, то это подлость. Слишком много чинуш и бюрократов занимают ответственные посты в государстве.— Он криво усмехнулся.— Мирное время вообще время технократов, но не о них сейчас речь. Мы говорим о всеобщем благе, о коммунизме. В интересах социалистического лагеря вы не должны обострять отношения с нами. Или я не прав?

— Конечно, не правы,— возразил Бесник.— Зря вы вообще об этом заговорили.

— Вы меня обижаете,— страдальчески улыбнулся летчик, и его рука безжизненно опустилась на стол.

— Прошу прощения.

— С этого начинается падение человека,— произнес летчик, рассеянно уставившись в стол.— Сначала приглашают на прием, а потом оскорбляют.

— Извините,— повторил Бесник.— Я не хотел вас обидеть.

Летчик наполнил до краев рюмку и опрокинул ее.

— Сатана, брат мой Сатана,— пробормотал он.— За что ты меня обижаешь?

Между тем люди за столами продолжали есть и пить под монотонное журчание слов, звон бокалов и негромкую музыку.

— Вы мне нравитесь,— после недолгого молчания вновь заговорил летчик.— И я не хочу, чтобы с вами что-нибудь случилось. Вы живете среди империалистических хищников. Они только и ждут, чтобы вы, как заблудшие ягнята, отстали от стада. Но опасность не только от империалистов... Вы понимаете меня?

— Вы имеете в виду опасность, которая исходит от вас? — напрямую спросил Бесник, глядя в глаза собеседнику.

— Зачем же так грубо?! Давайте поговорим откровенно. Плохо, что внутри лагеря создалась напряженная, прямо скажем, драматическая ситуация. Когда нарушен порядок, случаются трагедии. Как вам это получше объяснить?.. Мы только что говорили о полетах.— Летчик придвинулся к Беснику почти вплотную, глаза его округлились и налились кровью.— Вы мо-

жете поверить, что я убил человека? — внезапно спросил он.

— Почему нет? — пожал плечами Бесник.— Вы были военным летчиком. Не только человека, но и целые города могли уничтожить.

— Нет-нет! Это было не на войне,— торопливо замахал руками летчик.— Я убил человека в мирное время. Два года назад. Да-да, я, летчик Сергей Романчевский, Герой Советского Союза, приглашенный сегодня на торжественный прием по случаю годовщины Великого Октября, я, старый член партии, два года назад, а точнее — семнадцатого октября в шестнадцать часов двадцать минут отдал приказ убить человека.

Он схватил Бесника за плечи и привлек к себе, словно боялся, что тот не поверит ему и не станет его слушать.

— Замечательный был человек,— продолжал летчик.— Один из самых удивительных людей, которых я когда-либо знал. Его вина состояла лишь в том, что он страстно хотел летать. Да, летать! Я убил его именно за то, что он хотел летать.

Пораженный Бесник внимательно слушал странные откровения соседа.

— Вы, я вижу, не верите мне. И тем не менее все это чистая правда. К сожалению. Такого не придумаешь, История эта из ума нейдет. Неотвязно крутится вот здесь и крутится...— И летчик весьма выразительно покрутил пальцем возле виска, так что его тучный сосед с недоумением и опаской посмотрел на него.— Крутится всюду,— бормотал он, словно в бреду,— над столом, над ярким залом, над бутылками, над перекрестками... Хочет сесть, но не может, никак не может.

Бесник ничего не понимал.

— Не думайте, что я пьян,— продолжал летчик охрипшим голосом,— и нервы у меня в порядке. Я бомбил большие города. Руины этих городов и сейчас стоят перед глазами. Я лечу, а они машут мне оттуда, снизу, черными платками дыма, словно говорят: «Что же ты сделал с нами, Сергей?» А я летел дальше и бомбил следующие города. Ты молод, и ты не бомбил городов, К счастью, ты не знаешь, как выглядят скорбные платки из черного дыма. И все же, поверь, я не терзаюсь угрызениями совести. Я воевал за коммунизм. Но он... он совсем другое дело. Никогда не забуду, как он кру-

жился над аэродромом. Казалось, что это его душа летает.

— Ваш товарищ потерпел аварию? — Бесник попытался помочь летчику дорассказать историю, которая не давала ему покоя.

— Нет, аварии не было.— По лицу летчика скользнула печальная улыбка.— Я был тогда начальником аэродрома, а он талантливейшим техником. Он знал самолеты лучше, чем их конструкторы. Мы любили и уважали его. Он был молод, и перед ним открывались блестящие перспективы. Об этом говорили многие. Но вдруг с ним что-то произошло, человека будто подменили: он замкнулся, затосковал, стал сторониться людей. Мы не могли понять, в чем дело. Поначалу решили, что это сугубо личное: у него была невеста, а он ходил мрачнее тучи. Все выяснилось позже, когда нашли его записную книжку. Оказывается, им завладела безумная страсть к полетам. Он был блестящим техником, но не летчиком, а ему хотелось летать, хотелось хотя бы раз самому подняться в небо. Он знал авиационную технику лучше любого из нас, но летать не летал, не имел права. А летать страшно хотелось — взлететь хотя бы раз, один только раз. И вот семнадцатого октября после обеда, после профилактического осмотра самолета, он влез в кабину и, оседлав коня смерти, взмыл в небо. День выдался пасмурный, безветренный. Небо затянули серые неподвижные облака. По сигналу тревоги все высыпали на летное поле и, затаив дыхание, следили за стремительно уходящим ввысь самолетом. Это был удивительный полет: исключительно правильный по технике исполнения и в то же время... как бы вам сказать... какой-то неживой, что ли... Так бывает, наверное, когда читают на каком-нибудь мертвом языке, например латинском... Не знаю, как вам это объяснить... Короче, я связался с ним по рации. Нет, я не упрекал его и даже ничему как будто не удивлялся. А он, опьяненный полетом, буквально захлебывался от счастья: слова восторга мешались с извинениями. Казалось, все идет хорошо. И на самом деле полет проходил нормально, пока он не сообщил, что идет на посадку. «Ну что же, будем садиться»,— сказал я как можно спокойнее. Он сделал широкий круг над аэродромом, но снизиться для посадки не сумел и пошел на второй круг. Я понял, что он волнуется, и попытался успокоить его. Он сделал еще один заход, самолет стремительно пронесся у нас

над головами. Это повторилось несколько раз и похоже было на танец смерти в воздухе. Стало ясно, что он не контролирует свои действия. Речь его была вялой и бессвязной. Стоявшие на земле люди старались не смотреть друг на друга, холодный пот катился у меня по спине. Все происходившее напоминало страшный сон. На аэродроме были другие самолеты, цистерны с горючим, радарные установки. В любую минуту взбесившаяся машина могла рухнуть на них, и тогда произошла бы катастрофа. А он тем временем носился над аэродромом, словно оторвавшийся воздушный змей. Надо было что-то предпринимать, причем быстро, решительно, поступить, может быть, жестоко. И это решение обязан был принять я, начальник аэродрома. Только я, и никто другой. По рации я связался со службой противовоздушной обороны и отдал тот единственно возможный в создавшейся ситуации приказ. А он в это время снова пронесся у нас над головами. Сделал последний, прощальный круг. Все опустили головы, чтобы не видеть того, что случится дальше. А я видел все. Его сбили, едва он удалился на достаточно безопасное от аэродрома и других объектов расстояние. Самолет вспыхнул как свеча и, окутанный черным саваном дыма, рухнул на землю. А вместе с ним и он. Все было кончено.

Бесник мрачно уставился в какую-то, лишь ему ведомую, точку стола. Со всех сторон волнами накатывался гул продолжавшегося торжества. Порой чей-то голос или громкий смех прорывался сквозь равномерный шум зала, но тут же исчезал, словно пена, поднимающаяся и исчезающая на гребне волны.

Бывший летчик сидел неподвижно, покачивая головой.

— Вот и вся история,— медленно произнес он.— И моя тоже. Ему было хорошо на земле, но он хотел летать. Он любил небо, и небо убило его. Его могила там, недалеко от аэродрома...

Бесник с неприязнью посмотрел на соседа.

— Это угроза? — спросил он холодно.— Вы хотите сказать, что нас ждет та же участь и вы уничтожите нас огнем? — Бесник пристально и дерзко глядел в затуманенные глаза летчика.

— С тяжелым сердцем, брат мой, с тяжелым сердцем,— сказал тот, приблизив к Беснику побледневшее от выпитого вина лицо. Голос у него сел окончательно.

Бесник, с ненавистью сжав зубы, взглянул на бывшего аса.

— Не я, конечно,— прибавил летчик.— Второй раз я этого сделать не смогу...

Он был совершенно пьян.

За главным столом Никита Сергеевич Хрущев поднял тост за здоровье присутствующих первых секретарей коммунистических и рабочих партий социалистических стран. Оркестр, разместившийся на балконе, исполнил фрагмент какого-то марша. Все чокнулись с советским лидером, и он сел на свое место. Они были возле него, а он был среди них. Испытанная гвардия: Гомулка, Георгиу-Деж, Ульбрихт, Новотный... Чуть поодаль стояли люди из привычного его окружения, всегда бывавшие на торжественных приемах.

Хрущев почти не пил, и сегодняшние несколько рюмок привели его в состояние легкости и благодушия, когда хочется любить весь белый свет, когда можно думать и говорить на любые темы. Это застолье напомнило ему тайную вечерю Христа с апостолами.

«Интересно, кто первым предаст меня завтра на совещании?» — подумал Хрущев, и взгляд его скользнул по правой стороне стола, по тарелкам и бутылкам; на мгновение он задержался на руках Косыгина, а затем остановился на лице Энвера Ходжи. Из всех сидевших за столом Ходжа был единственным, кому было не до веселья. «Тридцать сребреников...— подумал Хрущев.— Интересно, сколько это будет в рублях? Кстати, неплохая и весьма эффектная фраза может получиться: «И они продались империализму за тридцать сребреников».

Краем глаза он наблюдал за Энвером Ходжей, с лица которого весь вечер не сходило выражение смертельной скуки. От него она растекалась по столу и, достигнув Хрущева, портила ему праздничное настроение.

«Как с ним быть? — ломал голову Хрущев.— Весь вечер молчит, словно воды в рот набрал. Правда, время от времени перекидывается короткими фразами с Морисом Торезом, да и то лишь потому, что тот говорит по-французски. Кстати, Ходжа — единственный из первых секретарей социалистических стран, кто не знает русского языка, объясняя это тем, что якобы не может привыкнуть к кириллице. «Будьте особенно внимательны к тем партийным лидерам, которых не вы привели

к власти,— сказал год назад один цейлонский философ-коммунист.— К ним нужен особый подход». Что же делать? Что? — уже в который раз спрашивал себя Хрущев и не находил ответа.— Что сделать, чтобы он не выступил послезавтра против линии нашей партии? — На секунду взгляд Хрущева остановился на лишенных ногтей пальцах Яноша Кадара.— И они продались империализму за тридцать сребреников... Но нужно что-то делать, пока не поздно»,— подумал он с тревогой.

Прием продолжался. Теперь гости вышли из-за столов и прохаживались по залам, угощались фруктами, пили кофе, беседовали, собираясь в небольшие группы, которые то расходились, то сходились, как цветы сказочных растений, сами собирающиеся в букеты. Звучала музыка.

Беснику удалось наконец избавиться от летчика, и он бросился искать своих товарищей. Но ему не повезло — летчик снова возник на его пути. На этот раз он шел под руку с каким-то генералом.

— Ты куда пропал, брат мой? Я тебя повсюду ищу! — обрадовался он.— Позволь представить тебе моего друга, прославленного командира Железнова.

Генерал вежливо наклонил голову. У него было типично русское лицо с проступившим на щеках ярким румянцем. Это не был тот кирпично-красный цвет, который заливает лицо от стыда или сильного гнева. Это был торжественный пурпур, осеняющий лица лишь в особых случаях, например на официальных обедах.

— Он такой же, как мы. У нас схожие судьбы,— сообщил, слегка покачиваясь, бывший летчик.— Слава его осталась на полях сражений в Германии. Ты слыхал о Зеловских высотах? Он прошел через этот ад. Нынче его приглашают на приемы.

— А где же вы теперь, Зеловские высоты? — тихонько пропел летчик.

Генерал улыбнулся. В уголках его серых глаз затаился уже знакомый блеск торжественного пурпура. Его узкая грудь дыбилась сверкающим иконостасом орденов, медалей и колодок. Венчала это великолепие Золотая Звезда Героя Советского Союза.

Закрыв глаза, бывший летчик продолжал напевать понравившуюся ему мелодию. Грех было не воспользоваться этим, и Бесник, распрощавшись с генералом,

растворился в толпе гостей. На сей раз он быстро нашел своих. Один член делегации, стенографист, Йордан и двое сотрудников Центрального Комитета стояли в стороне и беседовали. Бесник присоединился к ним.

— А где остальные? — тихо спросил он стенографиста.

— Где-то здесь,— так же тихо ответил тот.

Стороннему наблюдателю могло показаться, что группа иностранцев только что обсудила какую-то проблему и теперь молча обдумывает, как ее решить.

— Опять они здесь крутятся! — раздался за их спинами чей-то нарочито громкий голос.

— Не обращайте внимания,— еле слышно произнес член делегации. Он сунул в рот сигарету и достал зажигалку.

Справа от албанцев образовалась кучка людей во главе с маршалом Чуйковым. Он что-то сказал обступившим его генералам, и те громко засмеялись, посматривая в сторону албанцев. Чуйков, окликнув проходившего мимо маршала, дружески поприветствовал его.

— Слышал, наверное? Появилась еще одна супердержава! — весело сказал Чуйков, кивая на албанцев.

Календарю — Беснику послышалось, что слово «супердержава» маршал произнес со значением, словно обволакивая его слоем жира, возможно, потому, что в этом слове были звуки «ж» и «р».

Один из членов албанской делегации с презрением посмотрел на кучку хохочущих военачальников и что-то процедил сквозь зубы. Увидев в другом конце зала своих товарищей, албанцы не спеша направились к ним. Бесник с Йорданом чуть поотстали и теперь могли обменяться впечатлениями.

— Похоже, на нас оказывают психическое давление,— заметил Йордан.

— Именно давление,— согласился Бесник,— причем со всех сторон. Особенно стараются военные.

— Это естественно. Ты расстроен?

— Немного.

— Я тебя понимаю,— улыбнулся Йордан.— Такого еще не бывало.

Они шли сквозь плотную толпу. На них со всех сторон, словно струйки фонтанов, обрушивались обрывки разговоров: «Корея весной особенно красива. Приезжайте, будем ждать... Всю осень мне нездоровилось, у меня хроническая язва... Нет, нет, нет! Тысячу раз

«нет»!.. (Разговор, кажется, на хинди...) Естественно... вы можете приехать и летом, но весной там красивее... (Разговор по-испански...) Советские люди очень рады вашим успехам... СЭВа, да-да, на заседании СЭВа... Так что вы можете снова обследоваться в кремлевской клинике... (Моносиллабический язык...) Лучше, как говорится, страшный конец, чем бесконечный страх, не так ли? Ха-ха-ха!..»

— Ворошилов,— шепнул Йордан, кивнув в сторону низкорослого седого человека с ничем не примечательным лицом.

Потом они увидели писателя Эренбурга, который, не вынимая изо рта трубки, беседовал с пожилой дамой.

— Кстати, очень легко угадать тех, кто впервые пришел на прием,— сказал Йордан.— Вот взгляни хотя бы на этих весельчаков.

— Я тоже впервые,— заметил Бесник.

— Мы не в счет, мы иностранцы,— возразил Йордан.

Взглянув на мужчин, на которых указал Йордан, Бесник сразу выделил двоих, которые явно были не в своей тарелке, но скрывали это за внешней раскованностью.

— Точно так же можно узнать и тех, кто пришел сюда в последний раз,— продолжал Йордан.

— И я тоже здесь в последний раз,— сказал Бесник.

— Я уже говорил, что мы иностранцы и к нам это не относится. Кстати, я видел здесь Фадеева незадолго до его самоубийства.

Бесник внимательно слушал Йордана. Они возвращались в зал, где сидели за столом. Бравурной музыкой оркестр известил собравшихся, что провозглашен очередной тост.

— Тост под фанфары,— заметил Йордан.— Все как в средневековой твердыне. Правда похоже?

Бесник не знал, что сказать.

— Твердыня...— пробормотал он.— Несмотря на это, десятки тысяч людей мечтают попасть на этот прием.

Ему пришли на ум слова старца Филофея.

— Ибо тот, кто вошел сюда, не выйдет отсюда никогда,— продолжал Йордан.— Все как в твердыне.

«Два убо Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не быти»,— вспомнил Бесник фразу из послания старца Филофея. Он наклонился к Йордану и произнес ее вслух.

— Ты знаешь древнерусский? — изумился Йордан.

Бесник утвердительно кивнул.

— Потому что те, кто вошел сюда, не выйдут отсюда никогда,— повторил Йордан.— Все как в твердыне...

Разговоры в зале не стихали ни на минуту. Волны смутного сенсуализма проникали даже в Кремль.

Мимо них прошли среднеазиатские акыны в национальных костюмах.

— Вы были когда-нибудь в театре абсурда? — спросил толстый коротышка у блондинки.

— Не ожидала от вас такого странного вопроса,— отрезала она, поджав губы.

— Любой мой вопрос кажется вам странным,— с укором заметил он.

Беснику показалось, что кто-то тронул его за плечо, и он резко обернулся. Возле стоял все тот же летчик, бледный как мел и растерянный.

— Куда вы пропали? — накинулся он на Бесника.— Я повсюду вас разыскиваю.

Бесник что-то невнятно процедил сквозь зубы, а Йордан пристально оглядел внезапно появившегося авиатора.

— Я забыл сказать вам, где он похоронен,— торопливо заговорил летчик.

— Почему же? Вы сказали, что его похоронили рядом с аэродромом.

— А о невесте? О его невесте я не успел ничего сказать. У него ведь была невеста. Дважды в год она приносит цветы на его могилу. Два раза в год. Какая женщина!

Бесник попытался отделаться от назойливого собеседника и прошел чуть вперед, чтобы затеряться в толпе, но летчик не отставал.

— Могилы, цветы... Все как в опере,— бормотал он.

Бесник и Йордан в поисках товарищей медленно прохаживались по залу. Играла музыка. Гости постарше и женщины расположились в креслах и на диванах вдоль стен. Наконец они увидели своих. Албанцы стояли кучкой, образуя один из человеческих островков, то и дело возникавших в огромном пространстве зала. Среди них были два члена правительственной делегации и эксперты.

— Товарищи, как вы себя здесь чувствуете? — спросил один из них.

Йордан лишь криво усмехнулся.

— Вас провоцируют? — уточнил он вопрос.

— Да! — твердо ответил Бесник.

Они тихо заговорили, а мимо, словно только что поднявшись из глубин, проплывали головы, затылки, погоны, женские украшения, плечи, глаза...

Бесник почувствовал на себе пристальный взгляд и обернулся. На него не мигая смотрели холодные глаза генерала Железнова. Но тусклый взгляд его был прикован не к нему лично, а ко всей группе албанцев.

«Что это? Своеобразная пристрелка?» Когда Бесник обернулся еще раз, то увидел, что к генералу присоединились еще четверо военных. Они тоже смотрели в их сторону. Среди военных были теперь генералы армии Татаров и Краснопольский, командующий воздушно-десантными войсками Старороссийский и маршал Якубовский. А их полку все прибывало и прибывало. Они переглядывались, тихо переговаривались, улыбались, о чем-то переспрашивали друг друга, то и дело посматривая на албанцев. Подошли маршалы Терехов, Гречко и Старозимний, а потом один за другим — контр-адмирал Калмуков, командующий артиллерией Иванов, командующий ракетными войсками Королевский, адмирал Курганов, маршалы Орлов, Трояновский, Святославов и Кучум.

Вскоре, однако, им стало ясно, что стоять огромной толпой на глазах у всех попросту неприлично, и часть военачальников отошла в сторону, образовав свой островок. А к ним уже спешили адмиралы Черноморского флота Бенедиктов и Славский, командир 53-го танкового корпуса Атаманов, генерал армии Крестоносцев, контр-адмирал Северного флота Знаменский; а минуту спустя стремительно, точно из водоворота, появились генералы Победоносцев, Пыльный и Тер-Шелумян, маршалы Царский, Коршун, Конев и Подмогильный.

— Империя показывает зубы,— прошептал кто-то из албанцев.

Бесник приподнялся на носки, чтобы увидеть ту часть зала, где, по словам одного из товарищей, находился Энвер Ходжа. Но взгляд его так и не смог пробиться сквозь плотный заслон голов.

Меж тем круговерть в среде военных усиливалась. Они мелькали там и сям; одним словом, крутились возле албанцев, словно бы напоминая о себе. А в их глазах светились алчные огоньки, и громкие фамилии,

оканчивавшиеся на «ов» или «ский», так и топорщились, точно рыбьи кости.

Вновь появились акыны из Средней Азии и направились к оркестру.

— Шахнаме! Шахнаме! — пропел чей-то захмелевший голос.

Беснику показалось, что за спиной у него говорят на древнерусском языке. Он обернулся, но никого не увидел. Ему в самом деле давно хотелось поговорить по-древнерусски, и он искал случая пообщаться с кем-нибудь на этом языке.

Бесник невзначай задел локтем какого-то коротышку, тянувшего, словно жвачку, мелодию «Интернационала».

Рядом шел разговор на непонятном ему языке.

— А эти-то куда бредут? — сказал кто-то почти с ужасом, указывая на певцов южных пустынь, акынов, которые с побелевшими от выпитого вина лицами протискивались сквозь толпу.

Бесник спал беспокойно. Прием в Кремле утомил его, и всю ночь ему снился в разных вариантах один и тот же сон. Он видел мышей, поедавших зерно на свежескошенном поле. Поле было пыльным, но местами застеленным паркетом, из щелей которого вылезали мыши. Тут же, на поле, находились военные, в основном — маршалы и генералы. Они смотрели на танки и черные цистерны, длинной вереницей стоявшие на краю поля. Танки, цистерны и даже лафеты орудий были деформированы поразившей их эпидемией чумы. В глазах военных застыла печаль.

Наступившее утро окрасило странный сон Бесника мутной краской цвета извести.

Глава VIII

День выдался морозный. На горизонте появились лыжники и, точно метеориты, вмиг исчезли. На даче было тихо. Только что поступила копия документа, который вчера поздно вечером советский представитель вручил китайской делегации. Ожидалась встреча Энвера Ходжи с Хрущевым. Сотрудники миссии разбрелись по даче и

работали в полной тишине. Техническому персоналу дел тоже хватало.

Тусклое солнце, хмуро поглядывая вниз, слабо освещало землю косыми лучами.

Погруженный в работу, Бесник не заметил, как к даче подъехала большая черная машина. Он оторвался от бумаг лишь тогда, когда в приемную буквально влетел один из секретарей.

— У подъезда машина,— доложил он,— «ЗИМ».

Бесник взглянул в окно. Из автомобиля вышел человек в зимнем пальто. Спустя минуту гость, тяжело ступая по полу, появился в приемной.

— Добрый день,— поздоровался он по-русски.

— Добрый день.— Бесник вспомнил, что видел этого человека на приеме в Кремле; он сидел за главным столом.

— Я — Андропов и хотел бы встретиться с товарищем Ходжей,— сказал он, словно бы подчеркивая собственную значимость.

Бесник растерялся. Фамилия «Андропов» показалась ему знакомой, но не настолько, чтобы разделить ту значимость, с которой произнес ее посетитель.

— Я сообщу о вашем приходе,— сухо сказал Бесник, но тут же спохватился, что недостаточно любезно принял гостя, и, указав на диван в углу приемной, вежливо добавил: — Присядьте, пожалуйста.

Но посетитель продолжал стоять. Бесник поднялся на второй этаж.

— Там, внизу, Андропов,— сообщил Бесник одному из членов официальной делегации, встретившемуся ему в коридоре.

— Знаю,— сказал он.— Передайте, что товарищ Энвер примет его. Попросите подождать в кабинете.

Бесник молча кивнул и направился вниз. Андропов стоял перед репродукцией картины Рембрандта «Возвращение блудного сына».

— Товарищ Энвер примет вас,— обратился к нему Бесник неожиданно для себя тихим голосом.— Вы можете подождать его в кабинете.

— Благодарю вас. Я подожду здесь,— сказал Андропов, продолжая рассматривать репродукцию.

Скрипнула деревянная лестница, и он тотчас обернулся. Энвер Ходжа был один. Андропов улыбнулся и пошел ему навстречу. Лицо Ходжи было непроницаемым.

— Прошу прощения, что приехал без предупреждения,— начал Андропов, но Энвер Ходжа не дал ему договорить.

— Сегодня утром мне сообщили, что Хрущев выразил желание встретиться со мной в одиннадцать часов,— сказал он, остановившись на последней ступеньке лестницы. Пока Бесник переводил, исчезнувшая было улыбка вновь осветила лицо гостя, а Энвер Ходжа помрачнел еще больше. По резко обозначившимся складкам в углах губ было видно, что он раздосадован не на шутку.— Я согласился на эту встречу,— продолжал Ходжа,— но, ознакомившись с вашим материалом, содержащим клевету на Албанию... в нем Албания даже не упоминается в ряду социалистических стран...

На минуту Андропов будто оцепенел, а потом в недоумении развел руками.

— О каком материале вы говорите? — невозмутимо спросил он.

— К чему делать вид, что вы ничего не знаете? — усмехнулся Энвер Ходжа.— Я говорю о материале Коммунистической партии Советского Союза, содержащем выпады в адрес Компартии Китая.

— Ваше заявление слишком серьезно,— сказал Андропов потухшим голосом.

— Да, слишком серьезно,— подтвердил Энвер Ходжа.— Поэтому прошу вас передать товарищу Хрущеву от моего имени, что вопрос о том, является Албания социалистической страной или нет, решает не он.— Глаза Ходжи сузились.— Свой выбор албанский народ оплатил собственной кровью! — сказал он в заключение и повернулся, чтобы уйти.

Андропов шагнул вслед за Ходжей, вытянув вперед руку, будто хотел что-то схватить.

— Товарищ Энвер!

Ходжа обернулся. Андропову показалось, что в его глазах сверкнул недобрый огонек.

— Послезавтра на Совещании коммунистических и рабочих партий,— сказал Ходжа, медленно поднимаясь по лестнице,— наша партия выскажет свое мнение. А пока до свидания.

Андропов остался наедине со своими мыслями и деревянной лестницей, где только что стоял Энвер Ходжа.

— Что же делать? — не сдержавшись, тихо проговорил он, однако, заметив Бесника, спохватился и, развернувшись, направился к выходу.

Бесник, все еще находясь под впечатлением состоявшегося разговора, подошел к окну. Гость был уже возле машины, и шофер услужливо распахнул перед ним дверцу. Спустя секунду огромный черный «ЗИМ», выпустив облако газа, плавно выкатил за ворота и на большой скорости помчался к Москве, на глазах превращаясь в маленькую точку и как бы исчезая из реального мира. Расписанные морозом стекла двойных рам, через которые смотрел Бесник, напоминали ему изображение на киноэкране с отключенным звуком.

Дача снова погрузилась в безмолвие, и лишь скрип дверей изредка нарушал его, что позволяло лучше почувствовать атмосферу напряженного труда. Откуда-то со второго этажа доносилась однообразная трескотня пишущей машинки. Красный цвет многочисленных ковров, устилавших полы, навевал сон. Так продолжалось до полудня. Потом дом начинал постепенно оживать...

На территорию дачи одна за другой въехали четыре большие черные машины. Бесник обедал в столовой, когда появился дежурный и сообщил, что его срочно вызывают наверх. В холле приехавшие Микоян, Суслов, Козлов и Андропов уже снимали пальто. К ним спускались два члена делегации.

— Просим прощения, что приехали без предварительной договоренности,— сказал Микоян, здороваясь со всеми за руку.— Товарищ Энвер у себя?

— Да.

— Мы хотели бы поговорить с ним,— добавил Козлов и улыбнулся.

— Проходите, пожалуйста,— пригласил гостей один из членов делегации.

Гости вошли в кабинет. Секретарь, работавший там, быстро собрал бумаги и удалился.

Все молча расселись за столом. Спустя какое-то время подошел еще один член делегации. Длина стола как бы подчеркивала затянувшуюся паузу и томительность ожидания. Гости с преувеличенным вниманием рассматривали собственные руки и те немногие предметы, которые были на столе. Наконец в комнату вошел Энвер Ходжа. Завидев его, все встали.

— Простите, что без предупреждения,— начал Микоян.

Энвер Ходжа кивнул головой и сел. Он тоже стал рассматривать свои руки. Взгляд Бесника задержался на одной из его запонок: за столом переговоров она

показалась ему столь же неуместной, как и лицо Заны, которое всплыло вдруг в его памяти и тотчас исчезло.

Ходжа наконец поднял глаза.

— Слушаю вас,— произнес он, повернувшись к Беснику. Его взгляд столкнулся с сосредоточенным взглядом Микояна и толстыми стеклами очков Суслова, придававшими лицу их хозяина выражение некоторого замешательства и даже растерянности.

Микоян, заговоривший первым, сказал, что еще год назад сама мысль о разногласиях между Албанией и Советским Союзом показалась бы кощунственной и абсурдной. Он выждал, пока Бесник переведет, и продолжил:

— Мы, то есть я и другие товарищи из советского руководства, мечтали, чтобы Албания стала цветущей страной, примером для других государств Средиземноморья. Для них это могло иметь огромное значение, ибо показало бы, как отсталая в прошлом страна с помощью Советского Союза добилась определенных успехов. Одним словом, этот опыт мог стать значительным вкладом в теорию и практику строительства социализма.

Энвер Ходжа нахмурился.

— И в самом деле, еще год назад мы удивились бы...— начал пояснять Микоян, но Энвер Ходжа не дал ему договорить.

— Все это так,— возразил он,— но сейчас не время вспоминать, чему бы мы удивлялись год назад.

Ходжа помолчал, пока Бесник переводил, а потом сухо добавил, что, по его мнению, не следует предаваться пустым мечтаниям, а надо сразу переходить к делу. Козлов напыжился и покраснел, а в старческих глазах Микояна промелькнула обида.

— Хорошо,— согласился Микоян,— давайте говорить по существу.— Он разъединил сжатые в замок пальцы и, взглянув Ходже в глаза, напрямую спросил: — Мы не понимаем, почему изменилось ваше отношение к Советскому Союзу?

— А мы не понимаем, почему изменилось ваше отношение к Албании? — вопросом на вопрос ответил Энвер Ходжа и в точности повторил жест Микояна.

Микоян бросил тревожный взгляд на Суслова и Козлова.

— Ваши люди стали проявлять неуважение к советским людям в Албании,— включился в разговор Козлов.

— На нашей общей военной базе во Влёре албанские военнослужащие стали плохо относиться к советским,— снова заговорил Микоян.— Обе стороны вооружены. Тут недалеко и до беды.

— Если уж вы упомянули военную базу во Влёре, то должен заметить, что ваш контр-адмирал там может называться кем угодно, но только не контр-адмиралом.

Энвер Ходжа не ожидал, что именно сейчас зайдет речь о контр-адмирале из Влёры, хотя по опыту знал, что в подобных случаях главные вопросы чаще всего прикрываются скорлупой из второстепенных и малозначительных проблем.

— Как известно, по условиям двустороннего договора между нашими странами приблизился срок передачи советских подлодок, базирующихся во Влёре, нашим военным,— напомнил один из членов албанской делегации.— Однако ваш контр-адмирал отказывается это сделать, ссылаясь на то, что сейчас глубокая осень и сильно штормит.

Энвер Ходжа усмехнулся.

— К чему все это? — возмутился Суслов.— Мы приехали для серьезного партийного разговора!

— Если серьезного, то давайте и говорить серьезно,— нахмурился Энвер Ходжа.— Вы угрожаете исключить нас из Варшавского Договора.

— Кто угрожает? — удивился Микоян.

— Гречко.

Все четверо переглянулись и недоуменно пожали плечами.

— Мы ничего об этом не знаем,— сказал Микоян.

— В последнее время вы постоянно пожимаете плечами,— заметил Энвер Ходжа.— Надеюсь, вы не полагаете, что это самый легкий путь к взаимопониманию?

— Мы и в самом деле ничего не знаем,— повторил Микоян.

— После Бухареста ваше отношение к нам в корне изменилось,— продолжал Ходжа.

Скорлупа дала трещину.

— В Бухаресте албанский представитель неожиданно для нас выступил с нападками на КПСС,— пояснил Козлов.

Суслов уставился линзами очков на человека, которого только что называли «албанским представителем в Бухаресте», словно не верил собственным глазам, что

этот человек может быть здесь как полномочный член партийно-правительственной делегации.

— Единственный раз в Бухаресте мы позволили себе не согласиться с вами по ряду вопросов,— сказал Ходжа,— и вы точно озверели.

— Нам следовало бы разговаривать несколько в ином тоне,— упрекнул его Суслов.

— Прежде всего, мы должны говорить откровенно,— заметил один из членов делегации.

— После Бухареста все вмиг изменилось,— продолжал Ходжа.— Ваш посол в Тиране...

— Посла мы отзываем,— поспешил вмешаться Микоян.

— Ваш посол в Тиране несколько дней тому назад спросил наших генералов, «с кем будет армия»,— закончил начатую Ходжей фразу один из членов делегации.

— Он болван! — в один голос вскричали Микоян и Козлов.

— Посол — болван, Гречко заявляет все, что ему вздумается... Право, я не понимаю, что происходит в вашей стране? — задумчиво произнес Энвер Ходжа.

Микоян вновь сцепил пальцы в замок.

— Может, мы и никудышные люди,— проговорил он,— но мы не настолько глупы, чтобы желать осложнения советско-албанских отношений. К чему нам это?

Энвер Ходжа согласно кивнул. Он верил, что на сей раз Микоян говорил более или менее искренне. Наступил тот момент нелегких переговоров, когда кажется, что партнер, убирая с пути преграды, как бы сам подставляет себя под удар. На предварительных встречах, состоявшихся в октябре, вопрос — кому выгоден разрыв отношений между Албанией и Советским Союзом — поднимался не раз. Советская сторона давала понять, что албанцы, похоже, заинтересованы в этом и лишь подыскивают удобный предлог. Упоминалось тогда и о происках империализма, который стремится расколоть социалистический лагерь.

— Охотно верю, что вы не заинтересованы в осложнении наших отношений,— продолжал Ходжа.— Но согласитесь, что это еще не аргумент в пользу того, что вы всегда и во всем правы. Кроме того, мне совершенно непонятно, почему в межпартийных дискуссиях применяется торгашеская лексика?

— Мы стремились использовать любые доводы,— вмешался Козлов.

— Я никогда и впредь не соглашусь обсуждать партийные вопросы на языке торгашей! — отрезал Ходжа.

Микоян взглянул на Козлова. Суслов тоже. Его худое аскетическое лицо с толстыми стеклами очков на носу, за которыми, как в ловушке из бесконечных диоптрий, метались маленькие глазки, было неприступно-холодным.

— Мы не раз предлагали вам встретиться и обговорить возникшие проблемы,— напомнил Микоян, пристально глядя в глаза Энверу Ходже,— но вы отказывались.

Ходжа словно бы ждал этой фразы. Он знал, что рано или поздно она будет произнесена. И снова Ходжа отметил, что у Микояна необычные глаза — неподвижные, умело скрывающие мысли и чувства. Впервые он обратил на это внимание четыре года назад, когда приезжал в Москву на празднование очередной годовщины Великого Октября. Уже тогда ему показалось, что во взгляде Микояна мирно уживаются нечеловеческая усталость, презрение и вековая скорбь армянского народа. Помнится, они что-то пили в буфете возле Георгиевского зала, и Микоян, ни к кому не обращаясь, вдруг сказал: «Через несколько дней я уезжаю в Австрию».— «Давай-давай, отправляйся поскорее,— громко рассмеялся Молотов.— Может, и там заваришь какую-нибудь кашу, как в Венгрии».— «А что, разве в Венгрии заварил кашу товарищ Микоян?» — как бы в шутку спросил Энвер Ходжа. «Он. Конечно, он,— ответил Молотов.— Чтобы каша удалась, всегда нужен тот, кто будет ее постоянно помешивать».

— Мы не раз приглашали вас,— повторил Микоян,— но вы...

— У нас не было хлеба,— задумчиво произнес Ходжа, словно продолжая прерванную беседу.— У нас оставалось хлеба всего на пятнадцать дней. Мы просили вас продать пятьдесят тысяч тонн зерна. Ответа ждали сорок пять дней, но так и не дождались. Пришлось купить зерно во Франции. Французский торговый представитель прибыл не мешкая, чтобы на месте разобраться в сложившейся ситуации. Первое, что он спросил, сойдя с трапа самолета, почему Советский Союз, который кормит хлебом полмира, не продал его Албании? И мы, дабы не уронить вашего авторитета, не сказали ему

правды. Вот так вы поступаете на самом деле. Вы посмели угрожать нам голодом, а это куда хуже угрозы оружием.

— В Министерстве торговли полно бюрократов, ничего не смыслящих в политике,— оправдывался Микоян.

— И тогда мне вспомнились слова товарища Хрущева, сказанные им в Албании,— прервал его Энвер Ходжа.— Он советовал нам не сеять пшеницы, а выращивать виноград и овощи. «Зерно мы вам и так дадим»,— пообещал товарищ Хрущев, а потом спросил: «Сколько зерна требуется Албании ежегодно?» Когда я назвал цифру, он рассмеялся: «Столько зерна каждый год съедают мыши в наших амбарах».— Лицо Ходжи оставалось непроницаемым. Волнение выдавали лишь глаза и желваки на скулах.— И вот, когда дошло до дела, когда мы попросили только часть того зерна, которое съедают у вас мыши...

— Я думаю, что товарищ Хрущев попросту пошутил,— прервал его Микоян.

— Конечно, пошутил,— согласился Ходжа.— Но, когда мы обратились к вам с просьбой о поставке зерна, его шутка обернулась для нас неприкрытым цинизмом.

— Давайте все-таки оставим этот тон,— предложил Суслов.

— Но цинизм остается цинизмом, как его ни называй,— заметил один из членов делегации.

— Было бы неверно усматривать в этом цинизм,— возразил Микоян.— Если товарищ Хрущев сказал, что в Советском Союзе мыши съедают столько зерна, сколько Албании требуется на год, то понимать это надо в прямом смысле, без какого-либо подтекста. СССР — огромная страна. И конечно же, у нас много как достижений, так и недостатков: есть зерно, но есть и мыши.

— И генералов хватает,— прибавил Энвер Ходжа.— Мы поняли это на приеме в Кремле.

— О чем это вы? — поинтересовался Козлов.

— Да о том, что на приеме по случаю Седьмого ноября мы видели много генералов,— спокойно пояснил Ходжа.

— Может, мы все-таки сменим тон нашей беседы? — еще раз предложил Суслов.

Микоян тяжело вздохнул.

— Давайте не будем обращать внимания на всякие мелочи,— примирительно сказал он.— Недоразумения чреваты серьезными последствиями. Шутка о зерне,

шутка о тополях... Если я не ошибаюсь, товарищ Хрущев пошутил ведь и насчет тополей...

Энвер Ходжа плохо помнил этот эпизод. «Хрущев на самом деле что-то говорил о тополях,— подумал он, почувствовав вдруг невероятную усталость.— Но что именно? Сейчас, осенью, тополя стоят, по обыкновению, голые. Может, все в этом мире начинается просто и понятно: летом — густые кроны тополей, колосящаяся нива; осенью — зерно в закромах, голые тополя. Эти переговоры напоминают осенний листопад: листья тополей, пожелтев, слетают с веток и падают на землю. Все падает, все рушится, кругом становится голо и пусто. Чувствуется приближение зимних холодов. Может, и охлаждение отношений между двумя странами тоже напоминает смену времен года, а этот стол с разбросанными по нему деловыми бумагами — границу между летом и зимой? И все же возможный разрыв следует рассматривать не как что-то фатальное; за историей с зерном стоят серьезные вопросы революции вообще».

Микоян положил руку на стол и опять тяжело вздохнул.

— Мы помогали вам.— Он попытался еще раз изложить свою концепцию.— Мы хотели, чтобы Албания стала примером и для арабских стран Средиземноморья. Для нас, как я уже сказал, это имеет огромное практическое значение, и, помимо всего прочего, это важно для развития теории коммунизма.

— Я не возразил вам в прошлый раз, но теперь, когда вы опять повторяете этот тезис, скажу.— Лицо Ходжи посуровело.— Я не могу согласиться с подобной аргументацией, ибо речь идет о суверенном государстве, а не о павильоне международной выставки. И вообще, я не понимаю, как можно в судьбах целых стран и народов видеть лишь иллюстрации к своим теориям.

— Мне кажется, вы неверно меня поняли,— произнеся эту фразу, Микоян взглянул на Бесника.

— О-о-о, я очень хорошо вас понял. Надеюсь, вы знаете не хуже меня, что судьбы некоторых малых народов, складываясь драматично, стали их многострадальной и величественной историей, а ее не так-то просто превратить в страницы иллюстрированного альбома. Думаю, что вы, товарищ Микоян, это особенно хорошо понимаете,— заключил Ходжа.

Армянские глаза Микояна, полные скорбной тоски, уставились в одну точку. Козлов явно нервничал.

— Давайте не будем философствовать,— заметил он.

— Это в плане теории,— подчеркнул Энвер Ходжа, не глядя на Козлова.— Мы говорили о том, что страны и народы не витрины универмагов. А шутки товарища Хрущева о зерне и об албанских тополях похожи на рассуждения латифундиста о своем поместье, которое он навещает раз в год.

— Товарищ Хрущев не латифундист, а Первый секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза,— отчеканил Козлов.

Энвер Ходжа усмехнулся.

— Что касается философии,— отрезал он,— то я ее знаю не хуже вас.

Лицо Козлова пошло красными пятнами.

Взгляды Энвера Ходжи и Андропова встретились.

— На совещании послов вы откровенно заявили, что достаточно одной маленькой бомбы, и Албании не будет,— продолжал Ходжа и пристально посмотрел в глаза Андропову, вспомнив случайно, но весьма кстати, этот факт.

— А все потому, что вы выразили недовольство решением берлинского вопроса,— ответил ему Андропов.

— Недовольства по этому поводу я не выражал, а на вопрос вашего посла, что я думаю о берлинской проблеме, высказал свое личное мнение.

— Один из албанских генералов задел честь наших военных, заявив, что они якобы струсили в Берлине,— вновь вступил в беседу Микоян.

Энвер Ходжа закурил, предоставив Микояну возможность продолжить дискуссию с одним из членов делегации. Он посмотрел в окно и с удивлением обнаружил, что на улице идет снег. Плавно кружась, он падал и падал. Казалось, что там, в заоблачной бездне, ему не дали выспаться и полусонным отправили на скованную холодом землю. Снег был необыкновенно красив.

А собеседники тем временем обменивались репликами, порой колкими и нелицеприятными. Поток слов, отблески очков Суслова, голос переводчика — все это Ходжа воспринимал как бы со стороны.

— Товарищ Хрущев заявил китайцам буквально следующее: «Мы потеряли Албанию, а вы ее получили!» — послышался голос одного из членов делегации.

Андропов попытался объяснить, что разговор этот состоялся при нем и что Никита Сергеевич не имел в

виду ничего плохого. Энвер Ходжа продолжал смотреть на медленно падающий за окном снег. «Кто-то потерял Албанию, кто-то приобрел ее...— усмехнулся он словам, долетавшим до него. И при других обстоятельствах эти слова могли бы показаться абсурдными, но сейчас, когда за окном идет этот пушистый снег, они прозвучали в тысячу раз абсурднее.— Любая страна может оказаться во власти внезапной зимней стужи с сильным снегопадом, в любой стране может вспыхнуть эпидемия чумы или начаться война, но как могут овладеть ею или потерять ее две другие страны, находящиеся на значительном расстоянии и вовсе не граничащие с нею? — думал Энвер Ходжа.— И вот теперь этот стол — граница, разделяющая различные, как времена года, позиции, эти звучащие словно издалека голоса...»

Бабочками кружатся хлопья снега, сбиваясь в причудливые фигурки, похожие на трефовые трилистники. Ходжа был уже готов включиться в прерванную размышлениями беседу, но вдруг один из членов делегации опередил его.

— Кто дал вам право в таком тоне говорить о нашей стране? — возразил он Андропову.— Проиграть Албанию, выиграть Албанию... точно в карточной игре.

Андропов сослался на свое личное присутствие, на то, что он сам...

Снег продолжал идти. Столь же снежными были и те дни 1944 года во время зимней операции немцев в Черменикских горах в Центральной Албании. Оккупанты пытались найти и захватить Генеральный штаб Освободительной армии. Под громкий лай овчарок они медленной цепью продвигались по склонам гор. Балыстский барабан грохотал точно безумный, не умолкая ни на минуту, будто сзывал духов. И все это — снег, собачий лай, барабанная дробь — двигалось через охваченную боями крахину[1] от деревни к деревне под охраной местных предателей. Тогда Ходжа впервые услышал вопрос: «С кем будет Албания?» Его задал там, в горах, английский военный советник Генерального штаба, который, морщась от боли и едва сдерживая стоны, сидел за таким же длинным столом в крестьянской лачуге. Англичанин был ранен в ногу — рана гноилась, начиналась гангрена.

---

[1] Край *(алб.)* — единица административного деления в Албании.

«И англичане, и советские говорят на одном языке,— подумал Энвер Ходжа.— И вопрос один и тот же. Точно проклятьем пропитан им воздух».

Ему вспомнился горный ландшафт Албании, над которым они пролетали несколько дней тому назад. Пробившие облака горные вершины будто спрашивали: «Куда путь держишь в такую стужу?»

После небольшой пикировки тон разговора смягчился: стороны с чем-то соглашались или делали вид, что соглашаются, что-то предлагали обсудить. Даже разобидевшийся Козлов, который какое-то время не принимал участия в разговоре, вновь оживился.

— Может, наша помощь была недостаточной, а некоторые вопросы следует обговорить еще раз? — спросил он.

— Да-да, давайте обсудим. Надо обязательно все обсудить,— хором поддержали его коллеги.

Какое волшебное слово «обсудить»! Все за него ухватились, как утопающий за спасительную соломинку, и с радостью произносили, словно заклинание. Андропов повторил еще раз, что все сказанное в его присутствии истолковано превратно, ибо имеет иной смысл. Кроме того, надо выяснить, достаточно ли точным был перевод.

— Да-да,— согласно закивали гости.— Роль переводчика в таких вопросах весьма серьезна, ведь переводчик... Кстати, на переводчика не всегда можно положиться. Недаром, кажется, испанцы или индусы утверждают, что переводчик первым предает говорящего.

Это был новый и совершенно неожиданный ход. Впервые за время переговоров на лицах собравшихся мелькнула улыбка. Робкая и скупая, она, как зимнее солнце, слегка смягчила и согрела сосредоточенные лица государственных мужей, заискрилась в глазах, мелькнула в ледяных линзах сусловских очков. Она явилась неожиданно, как старая добрая знакомая, и тихо спросила: «Ну, как вы тут? Что поделываете?» В былые времена она была полноправным участником всех переговоров, без нее не обходилась ни одна встреча, ни одно совещание, ею заканчивались подписания договоров. На этой встрече она оказалась ненужной, и потому за длинным столом переговоров было холодно и неуютно. И вдруг она блеснула, такая неуверенная и робкая, что все сразу поняли: надо проявить нечеловеческие

усилия, чтобы удержать ее. Удержать в глазах, на губах, в морщинках лица. Удержать во что бы то ни стало. Если она исчезнет, то уже навсегда. И они пытались спасти этот слабый, чуть теплившийся огонек. Мышцы лиц напряглись до боли, но каждый из присутствующих был готов и на более тяжкие испытания, чтобы потом рассказывать о муках, перенесенных во имя высокой цели.

Но мир иллюзий недолговечен: стоило кому-то неосторожно произнести одно лишь слово «Бухарест» — и улыбка исчезла, будто ее здесь вовсе не было. Вновь стало холодно и неуютно. Сразу же были упомянуты Югославия, Берия, Кочи Дзодзе. Реплики, порой довольно резкие, упреки, обвинения сыпались с обеих сторон. Как ни странно, но Микоян все реже вступал в разговор. Кто-то из албанцев весьма нелестно отозвался о Козлове, но Микоян и на этот раз промолчал. Только Суслов, по обыкновению, пробурчал что-то о недопустимом тоне беседы. Было видно, что все устали.

— У вас есть еще вопросы? — спросил Энвер Ходжа, давая понять, что встреча окончена.

— Нет,— ответил за всех Микоян.— На сегодня вполне достаточно. Надеюсь, в самое ближайшее время мы встретимся.

— Возможно,— сказал Ходжа, а про себя подумал: «Весьма вероятно, вы ведь не касались пока основных вопросов теории».

Все поднялись и гуськом, друг за другом, вышли из кабинета. Один из членов делегации сделал Беснику знак, чтобы он помог Микояну надеть пальто.

— Спасибо,— поблагодарил его Микоян, просовывая руку в рукав, и, не глядя ни на кого, добавил: — Сталин очень не любил, когда ему подавали пальто.

— Из скромности?

— Нет,— улыбнулся Микоян,— просто не хотел казаться немощным.— Он надел меховую шапку и застегнулся.— А я спокойно отношусь к старости,— добавил он.

Гости направились к выходу.

На мгновение Микоян приотстал и, взяв Энвера Ходжу за локоть, что-то тихо ему сказал. Ходжа взглядом подозвал Бесника.

— Мне кажется, что вам было бы полезно увидеться с товарищем Хрущевым еще раз. Он просил меня передать вам лично это его пожелание.

Их взгляды встретились: Ходжа был спокоен, в глазах Микояна светилась почтительная готовность быть полезным.

— Завтра на совещании, в перерыве между заседаниями, я дам ответ,— кивнул Ходжа.

— Благодарю вас,— сказал Микоян и, уже стоя в дверях, еще раз помахал рукой.— До свидания, товарищи!

Дверь закрылась, и тотчас послышался шум отъезжавших машин. Одна за другой они растворились в снежной круговерти.

Смеркалось. После отъезда русских никто не расходился. Сидели в креслах и на диване под репродукцией картины Рембрандта. Кроме стенографиста и Бесника, у которых после переговоров был очень утомленный вид, здесь находились также Йордан, секретарь, один из охранников Энвера Ходжи и двое экспертов из группы, размещенной в гостинице «Москва». Они подъехали, пока шли переговоры.

Метель не утихала. Откуда-то издалека, со стороны заснеженных полей, раскинувшихся до самого горизонта, доносились негромкие жалобные звуки. Мириады снежинок, метавшихся в сумеречной мгле, лишали предметы привычных очертаний. На землю опустилась тишина. Обитатели дачи чувствовали себя как в батискафе. Слабое дуновение ветра жалобным завыванием вновь нарушило тишину. Бесник с тревогой всматривался в расстилавшееся за окном пространство. Вой ветра разбудил воспоминания детства о волчице, пробиравшейся сквозь серо-голубую снежную мглу.

И в ту же минуту Бесник почувствовал у себя за спиной какое-то движение. Он оглянулся и невольно выпрямился: по ступенькам лестницы, держась за перила, медленно спускался Энвер Ходжа. На последней ступеньке он на секунду задержался. Все поднялись со своих мест.

— Сидите, сидите, товарищи! — махнул он рукой и направился к свободному креслу.

Кто-то пододвинул пепельницу, и Ходжа аккуратно стряхнул пепел с сигареты, которую продолжал держать в руке.

— Как вы себя чувствуете, товарищи? — спросил он, обводя глазами присутствующих.— Вас я знаю,— ска-

зал он, указывая на Бесника.— И вас тоже.— Стенографист, которому он кивнул, расплылся от удовольствия в улыбке.— А с остальными, прошу прощения, кажется, раньше не приходилось работать. Не так ли?

— Именно так, товарищ Энвер,— ответил один из экспертов.

— Ну что же, познакомимся,— улыбнулся Ходжа.— В эти дни нам предстоит большая и ответственная работа, и мы сможем лучше узнать друг друга. Кстати, не выпить ли нам по чашке кофе? Как вы думаете?

— С удовольствием, товарищ Энвер.

— Попросите принести нам кофе,— сказал Ходжа одному из охранников и еще раз обвел всех приветливым взглядом. Казалось, что улыбка, искрившаяся в уголках его глаз, идет от самого сердца.

— Ты выглядишь очень усталым,— обратился он к Беснику.

— Нет, что вы, товарищ Ходжа!

— Не спорь! Пожалуй, сегодня тебе действительно досталось больше всех.

— Ну почему? Совсем не больше,— смутился Бесник.

— Нелегко переводить диалоги в этом спектакле,— продолжал Энвер Ходжа задумчиво,— потруднее, наверное, чем в трагедиях Эсхила.

Лицо Ходжи посерьезнело, и Беснику показалось, что он произнес: «Не подумайте, что мне было легко».

Воцарилась минутная тишина. Невидящим взглядом Ходжа смотрел на пепельницу, в которую стряхивал пепел. А за окном ветер пробовал свой голос, пытаясь запугать окрестности протяжным воем.

— Завтра открывается совещание,— начал Энвер Ходжа, ни к кому не обращаясь.

Все молчали, ожидая, что он скажет дальше.

— Помню, когда я учился в Гьирокастре[1],— продолжал Ходжа,— зимой там всегда дул сильный ветер. Вот как здесь сейчас. А мы с товарищем, прижавшись к какой-нибудь стене, чтобы ветром не унесло, мечтали о коммунизме.— Ходжа опять замолчал, закуривая новую сигарету.— Товарища моего давно нет в живых, а

[1] Город на юге Албании. Старая его часть и сегодня состоит главным образом из средневековых домов-крепостей, расположенных ярусами на крутых склонах гор. В этом городе в 1908 г. родился Э. Ходжа.

я цел и невредим и даже принимаю участие в спектакле о коммунизме. Никогда не думал, что подобное может случиться.

— Вы, товарищ Энвер... вы... под вашим руководством...— запинаясь начал один из экспертов.

— К чему громкие слова,— прервал его Ходжа.— Давайте-ка лучше спокойно попьем кофе.

Русская женщина, обслуживавшая дачу, принесла кофе.

— Я не случайно упомянул Эсхила,— снова заговорил Энвер Ходжа, беря чашку.— Мой товарищ из Гьирокастры, о котором я упомянул, очень увлекался Эсхилом. Всякий раз, когда наш учитель древнегреческой литературы рассказывал о не дошедших до нас трагедиях Эсхила, он сокрушенно вздыхал. Должен сказать, что он мечтал их отыскать. Все знали об этом и порой дружески подшучивали над ним. «Сдались тебе эти трагедии,— говорили одни.— Мало в мире настоящих трагедий?» «Наверное, не случайно они затерялись в веках,— посмеивались другие.— Такова, значит, их судьба». Сколько лет прошло, а я помню эти слова,— в раздумье промолвил Ходжа.— В мире на самом деле много трагедий, и мы мечтали, что при коммунизме их не будет. По-видимому, мы ошибались.

Ходжа допил кофе и достал сигареты. Спичка вспыхнула и погасла. В комнате воцарилась мертвая тишина.

— Видимо, мы ошибались...— повторил он.

Где-то совсем рядом завыл, застонал ветер. Бесник невольно взглянул в окно. Там, в густой снежной мгле, он увидел тень волчицы, бесшумно подбиравшейся к дому. Ее горящие глаза скользнули по забору, одиноким деревьям и уперлись в ворота.

— «ЗИМ» подъехал,— доложил появившийся в дверях охранник.

Один из экспертов вышел и тут же вернулся.

— Кто?— спросил Ходжа, не поворачивая головы.

— Морис Торез. Один.

Спустя некоторое время гость вошел в комнату. Он и вправду был один. Поздоровавшись с Ходжей за руку, Торез внимательно посмотрел на него, будто надеялся увидеть нечто особенное. По всему было видно, что он нервничает.

— Я хотел бы поговорить с вами,— начал он наконец.— Извините, что не предупредил о своем приезде.

Энвер Ходжа молча указал на приоткрытую дверь кабинета, который он покинул час назад. Морис Торез поспешно направился в кабинет, Ходжа последовал за ним и плотно прикрыл за собой дверь.

Эта ночь была ночью черных «ЗИМов». Яркий свет их фар метался по двору, взбирался по стволам деревьев, тревожа и ослепляя их. Он явно что-то искал, но что именно? Забор? Решетчатую ограду? Ворота? Найдя наконец то, что искал, он угасал. После Мориса Тореза приезжали поочередно Хо Ши Мин, какой-то африканец, кто-то из скандинавов. Поздно ночью появился Косыгин. И уже совсем за полночь прибыл еще один гость, но Энвер Ходжа не принял его. Последний «ЗИМ» с неизвестным пассажиром метался между деревьями, словно зверь, и, выбравшись на улицу, на большой скорости умчался прочь по безлюдному черному шоссе.

Глава IX

Участники совещания, оставив в гардеробе длинные пальто, группами входили в Георгиевский зал. Почти у каждого был в руке толстый портфель, как правило, черного цвета. Рассаживаясь за невероятно длинным столом переговоров, они клали черные портфели в ряд перед собой, и тогда они грустно контрастировали с убеленными сединой и совсем лысыми головами большинства участников совещания. Некоторые тотчас же открывали свои портфели, доставали какие-то бумаги и снова засовывали их обратно, чтобы спустя некоторое время достать. Их суетливость словно бы превращала портфели в живые существа, которые находятся в постоянном движении и никак не могут успокоиться. Едва какой-нибудь из них обретал покой, как безжалостные руки хозяина грозно нависали над ним: треск раздираемой молнии — и руки торопливо копошатся в разверстом чреве портфеля, отыскивая бумагу или документ (подчас безуспешно). Но и лежа на столе, руки эти (порой кажется, что они обагрены кровью) не находят покоя и, похоже, только ждут случая, чтобы совершить новое злодеяние.

Собрались почти все. Микрофоны, кабины для переводчиков, барельефы на стенах, мраморные доски с

именами георгиевских кавалеров и названиями особо отличившихся воинских подразделений, двери, ведущие в буфет, зашторенные белыми маркизами окна — все это служило лишь обрамлением стола переговоров, раскинувшегося посреди зала. Ждали появления советской делегации.

Некоторые из участников надели наушники и настраивали их, отчего их лица выглядели довольно странно.

Наконец советская делегация показалась в дверях. Хрущев первым бодро просеменил по залу и занял место в центре стола. Многие встали и приветствовали его аплодисментами. Кое-кто хлопал сидя. Другие встали с мест, но не аплодировали. Одни радостно улыбались, другие вовсе не улыбались, однако и не хмурились. Один из делегатов, аплодировавший сидя, хотел было встать, но сосед резко дернул его за пиджак, и он остался сидеть на месте. Бросалась в глаза небольшая группа делегатов, которая никак не прореагировала на появление советской делегации.

Эта сцена длилась не более полминуты. Наконец все — рукоплескавшие стоя и сидя, и те, что встали, но не аплодировали; и радостно улыбавшиеся и хмурые, с лицами вежливо-официальными, с наушниками и без них,— заняли свои места и в ожидании объявления об открытии совещания откинулись на спинки кресел. Перед каждым делегатом по-прежнему темнели портфели, словно некое диковинное угощение на абсурдном и вечном пиру.

Совещание восьмидесяти одной коммунистической и рабочей партии мира начало свою работу.

Старый гардеробщик сидел на невысокой банкетке перед рядами висящих пальто. Это был один из старейших работников кремлевских гардеробов — сорок лет на одном месте. Тысячи раз его пальцы касались металлических крючков, на которые он вешал пальто Ленина, Свердлова, Троцкого, многих народных комиссаров. Большинства из них уже не было в живых.

За долгие годы службы он привык смотреть не на людей, а на их пальто, порой он с ними даже мысленно разговаривал. Висевшие рядами вдали от своих владельцев, они производили странное впечатление. В обвисших плечах, застывших складках, неподвижных, слов-

но окоченевших, рукавах, через которые улетучилось тепло человеческих тел, не чувствовалось жизни.

В Георгиевском зале, где заседали хозяева пальто, стояла мертвая тишина — ни аплодисментов, ни одобрительного гула, ни восторженных возгласов. «Что там происходит?» — Старик вопросительно взглянул на безжизненно повисшие рукава, словно они могли знать, почему там, в зале, руки замерли и не хлопают больше в ладоши.

«И все-таки что-то случилось»,— подумал гардеробщик, всматриваясь в растерянные лица выходивших на перерыв участников совещания. Но воротники, шарфы, зимние пальто, обвисшие карманы и особенно пуговицы хранили таинственное молчание.

Какие только мероприятия не проходили здесь: конгрессы, пленумы, торжественные заседания, международные встречи и совещания, но такой тишины в зале заседаний никогда не было. Напротив. Старый гардеробщик помнил случаи, когда зал гремел от нескончаемых оваций, а делегаты выходили на перерыв с красными от безустанного хлопанья ладонями и охрипшими от скандирования здравиц голосами.

Но сегодня было непривычно тихо.

Краем уха старик слышал кое-что от других гардеробщиков, уловивших обрывки фраз своих клиентов. Сам же он не стремился узнать более того, что ему положено. Он был главным среди гардеробщиков — обслуживал членов Президиума ЦК и секретарей коммунистических партий, приезжавших в Кремль,— и потому считал ниже своего достоинства выспрашивать что-либо или участвовать в пустых пересудах. Так вели себя лишь те, кто обслуживал членов ЦК, да те, у которых обычно раздевались послы. Они обсуждали все.

Изредка, особенно во время международных совещаний, таких, как сегодняшнее, старик позволял себе помечтать. Глядя на ряды тесно прижавшихся друг к дружке пальто, ветеран партии и старый революционер, за плечами которого две войны, шесть ранений только в гражданскую, мечтал о мировой революции. Ему грезилось, что совсем скоро над этими покойно висевшими в гардеробе пальто задуют ветры сражений и засвистят пули. Но вокруг было тихо. Очень тихо. С годами пальто, как и люди, ветшали. Все реже появлялись здесь те, что сохранили следы пуль бандитских налетов (в последние годы о подобных делах и думать забыли),

не видно было и следов пожара мировой революции. Порой гардеробщику становилось невмоготу, и он с горечью спрашивал себя: «Разве так завершают свой срок пальто прославленных комиссаров? Стареют, ветшают, пока на какой-нибудь конгресс или очередной пленум член Президиума ЦК не заявится в новом пальто». Руки гардеробщика принимают новое пальто с недоверием: не тот вес, другая ткань, не те пуговицы и карманы, к каким он за долгие годы успел попривыкнуть. Старик вешал пальто среди других, испытывая к нему явную неприязнь.

Он давно приметил, что члены Президиума ЦК весьма редко меняли верхнюю одежду. Для них моды как бы не существовало. Члены Центрального Комитета меняли пальто чаще. О послах, других высокопоставленных чиновниках всех рангов и говорить нечего: казалось, не было у них иной заботы, как щеголять обновами. Старик презирал их за это и, проходя мимо гардероба, где они раздевались, старался не смотреть на их вешалки. Для него это было все равно что заглядываться на полуголых девиц.

Из зала заседаний не доносилось ни звука. «Только бы не поссорились»,— подумал старик. Никогда прежде тусклый блеск пуговиц не казался ему столь загадочным и далеким. Он взглянул на старинные часы, висевшие на стене: до второго перерыва оставалось десять минут. «Лишь бы не стать свидетелем охлаждения отношений между ними,— подумал он.— Тогда уж лучше смерть».

Зал с низкими потолками и пробковой звукоизоляцией, находившийся в задней части огромного здания Центрального телеграфа на улице Горького, был заполнен иностранными репортерами. В ожидании новостей они курили — кто стоя, кто сидя на низких откидных стульях, похожих на сиденья в автомобиле. Было уже четверть второго, а никаких известий из Кремля еще не поступало. Скорее всего, там объявили второй перерыв. От холодного неонового света дневных ламп лица людей казались мертвенно-бледными. Здесь собрались корреспонденты всех крупнейших агентств мира: Ассошиэйтед Пресс, Франс Пресс, Юнайтед Пресс Интернэшонал, Рейтер, ТАНЮГ, АНСА, Дойче Прессеаген-

тур, а также журналисты Японии, стран Латинской Америки, Среднего Востока.

Телефонные кабины в ожидании клиентов стояли пустыми. Только в одной из них какой-то арабский корреспондент, не передавший вовремя информацию, комментировал обстановку в Москве в день открытия всемирного форума коммунистов.

Корреспондент Франс Пресс устроился возле невысокой стойки в конце зала. Он чувствовал безмерную усталость. В памяти неспешно всплывали и исчезали какие-то слова: «Охлаждение... Разрыв... Раскол... Трагический разрыв, которого ждали... Невозможно поверить... Первые заморозки... Трещина... Схватка титанов... Отход... Трещит по швам... Кризис... Стужа... Реквием по единству...» Но это не страшило его. Журналист знал, что стоит появиться информации, заслуживающей внимания, как все эти, казалось бы, разрозненные слова устремятся друг к дружке, выстраиваясь в короткие, четкие фразы. «Нужно всего одно сообщение, но конкретное»,— подумал он устало. Французу повезло: после поездки в Тирану его сразу же направили в Москву, где развивались весьма важные события. Он с нетерпением ждал, когда сможет войти в кабину, поднять трубку и сказать: «Охлаждение... Разрыв... Ссора титанов...» Слова эти, помимо его воли, вновь возникли в утомленном мозгу. Корреспондент знал, что в Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Берлине, Токио, Тель-Авиве сотни людей часами сидят у телетайпов и телефонов, ожидая слов: «Разрыв... Охлаждение...» Их ждут в кабинетах главных редакторов, в редакциях, на радиостанциях, в телекомпаниях. «Охлаждение... Охлаждение...» Мир словно бы раскалился до предела, точно какой-нибудь прибор, который вот-вот вспыхнет; его спасение лишь в одном — в скором охлаждении. «Никогда, пожалуй, мир не взывал с такой мольбой ни к ледникам, ни к Северному полюсу, ни к нулевой температуре,— подумал он.— Только бы подтвердились слухи о возникшем между ними охлаждении. Только бы подтвердились...» Забыв о дымящейся на краю пепельницы сигарете, француз поспешно закурил другую и опять погрузился в размышления.

Несколько недель назад во время пребывания в Тиране, куда он был срочно направлен агентством Франс Пресс, ему казалось, что раскол коммунистического единства — лишь плод фантазии западных кремленоло-

гов. Корреспонденту вспомнилась ночь накануне отъезда из Албании, когда он долго бродил под дождем по пустынным улицам Тираны. Отовсюду лилась музыка — проходили заключительные вечера традиционного месячника албано-советской дружбы. Помнится, он останавливался перед запотевшими окнами кафе, ресторанов, танцзалов и везде видел одно и то же: веселившихся людей, оркестрантов, яркие огни, портреты улыбающихся Энвера Ходжи и Никиты Хрущева, висевшие рядом. За стеклами окон сверкал и искрился мир, далекий и неведомый, как Млечный Путь. «Нет и не будет никакого раскола,— сказал он тогда себе.— Вечно будет звучать эта музыка за запотевшими стеклами, за зашторенными окнами, за завесой тайны, окутывающей коммунистическое единство».

Так думал корреспондент тогда в Тиране, потому что собственными глазами видел толпы веселых людей, выходивших на улицу после танцев, видел, как они укрывались от дождя, слышал звонкий девичий смех. У него тогда были все основания пойти, несмотря на дождь, на почту и передать по телефону свежую информацию с места событий. Слышимость была отвратительной. Помнится, он несколько раз просил телефонистку что-то сделать. «Ничем не могу помочь,— отвечала девушка, передвигая тумблеры.— В Италии плохая погода. Подождите, я попытаюсь соединиться с Парижем через Югославию». Но на югославской линии слышимость была еще хуже. Он прижимал трубку плотно к уху и твердил, как в бреду: «Алло, алло... Ничего нового по проблеме, которую я назвал «погодные условия», последние два слова в кавычках, пожалуйста. Вы меня слышите?.. Погодные условия, погодные условия... но обязательно в кавычках. А?.. Что?.. В кавычках, говорю. Погодные условия... в кавычках». Он несколько раз повторил слово «кавычки», словно боялся, что значки, похожие на крохотных птичек, которые непременно должны сопровождать слова «погодные условия», могут погибнуть в этой кромешной мгле.

«Погодные условия». Теперь этот термин употребляют многие. А придумал его он,— точнее, помог его распространению. Корреспондент хорошо помнил прием в немецком посольстве в Тиране, где он впервые услышал эти слова. Прием не оправдал его надежд. Потом была ночная прогулка по пустынным улицам, встреча с дворником — помнится, они тогда, стоя друг против

друга, смеялись, точно два безумца в какой-нибудь пьесе абсурда. Правда, длилось это недолго: дворник неожиданно нахмурился и, повернувшись к нему спиной, ушел.

А теперь все вдруг переменилось, и появилась надежда, основанная не на догадках и предположениях, а на чем-то вполне реальном.

Он вышел на улицу и осмотрелся. Его взгляд остановился на девушке с модной прической, стоявшей шагах в пятидесяти от него в толпе, неизвестно зачем собравшейся у ступенек Центрального телеграфа, возле газетного киоска, где продавались «Правда» и «Известия».

Девушка то и дело поглядывала на часы. Они показывали четверть второго, а его все не было. Опять он опаздывал. На мгновение улица, машины, прохожие, а с ними весь белый свет перестали для нее существовать. «Наверное, заболел»,— подумала девушка. Этот лучик надежды, сверкнувший вдали на стеклах автомашин, нескончаемым потоком проносившихся мимо, не слишком обнадежил ее. Девушке казалось, что она знает, почему он опаздывает, а может, и вовсе не придет: тривиальный прием молодого человека, который хочет ускорить события и добиться большего. «Может, он и прав, что не хочет ждать?» Девушка вспомнила, как он с особой не похожей ни на кого интонацией говорит: «Алё, это номер Д-1-22-29? Так? Это ест Лида, пожалста?» Акцент выдавал в нем иностранца.

К киоску поминутно подходили люди и покупали газеты. Девушка решила последовать их примеру, но внезапно остановилась: ее взгляд невольно задержался на газете, которую киоскер прикрепил к стеклу. Название передовицы было набрано такими огромными буквами, что не заметить его мог только слепой. Она прочитала: «БЛЕСТЯЩЕЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЧНОГО ЕДИНСТВА КОММУНИСТИЧЕСКИХ И РАБОЧИХ ПАРТИЙ»... Внизу была помещена большая фотография, на которой величественно возвышались знакомые башни Кремля.

Подвыпивший мужчина, уткнувшись в газету, старательно таращил глаза, словно пытался разобрать трудный текст.

— Про-чно-го е-дин-ства,— бормотал он, читая по слогам заголовок.— Есть, значит, единство. О-ч-чень хорошо! До свидания.— И он пошел, пошатываясь, так что девушке пришлось уступить ему дорогу.

«В последние дни все только и говорят о единстве. О нем пишут газеты, вещает радио,— подумала она.— Наверное, потому, что в Кремле проходит совещание». Еще совсем недавно разговоры на подобные темы показались бы ей скучными. Девушка любила музыку, но больше всего ей нравилось слушать: «Алё, это номер Д-1-22-29? Так? Это ест Лида, пожалста?» Она понимала, что пришло время принять какое-то решение. Она сделает так, как он хочет. Именно так, как хочет он! Она не может, не должна потерять его. Ни за что на свете!

Девушка смотрела на автобусы, на «шашечки» такси, на потоки машин, двигавшихся по улице Горького: одни — в сторону Красной площади, другие — к площади Пушкина, к строившемуся кинотеатру «Россия», туда, где пересекались улица Горького и Тверской бульвар, самый любимый ее бульвар. На глазах выступили слезы, а в них, как в фокусе линз, преломлялась улица с ее машинами и пешеходами. Девушка поняла, что свое решение, пока робкое и неокончательное, она может доверить лишь сверкающим стеклам проносящихся мимо машин, а те бережно передадут его отражение витринам магазинов, стеклянным дверям кафе, встречным автомобилям, а они уж разнесут эту весть по всему свету.

Во время второго перерыва первого дня работы Московского совещания, примерно в 13 час. 15 мин. по московскому времени, была достигнута договоренность о встрече Никиты Сергеевича Хрущева с Энвером Ходжей. Встреча должна была состояться в рабочем кабинете Хрущева.

Полдень. Небо свинцовой массой нависло над Москвой — нигде ни облачка. Автомашины албанской делегации остановились на Старой площади перед зданием Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза.

В огромном кабинете помимо Хрущева находились Микоян, Козлов и Андропов. Хрущев был хмурым и сосредоточенным. Он знал, что эти качества не красят его, но ничего не мог с собой поделать, и это особенно раздражало его.

— Можете начинать,— сказал он отрывисто.— Мы вас слушаем. Внимательно слушаем.

Ходжа недоуменно пожал плечами.

— Вы нас пригласили,— сказал он, не глядя на Хрущева,— вам первым и начинать. Народная албанская мудрость гласит, что, пока хозяин дома не съест сорок хлебов, гость может сидеть за столом.

— Ну что же, тогда начнем,— согласился Хрущев. Несколько секунд он молча рассматривал середину стола, будто видел ее впервые, и только потом поднял голову.— Я не понимаю, что произошло после моей поездки в Албанию минувшей весной? Может, я настолько глуп или наивен, что не заметил чего-то? Помнится, тогда между нами не было разногласий, если не считать, конечно, шуток о зерне и тополях.

— Если ваши слова являются прологом к дальнейшему разговору,— сказал Энвер Ходжа,— то у меня нет особых возражений. Хотя тема тополей вряд ли может быть главной в нашей беседе. Не за этим мы сюда прибыли.

Хрущев хотел было ответить на пословицу о сорока хлебах, которая показалась ему неуместной, но передумал.

— Итак, почему же ваше отношение к нам резко изменилось?— переспросил он.

— Мы хотели задать этот вопрос вам,— заметил Ходжа.

— В таком тоне мы и будем продолжать беседу?— вмешался Козлов.

— Каков вопрос — таков и ответ,— парировал один из членов делегации.

Хрущев не обратил внимания на пикировку.

— Если не хотите поддерживать с нами дружеских отношений, то так и скажите,— обратился он к Энверу Ходже.— Мы стремимся сохранить дружбу, но, как говорят у нас в народе, насильно мил не будешь.

— У каждого народа найдется немало пословиц о дружбе,— заметил Ходжа.— Это свидетельствует лишь о том, что люди всегда ценили и ценят ее. Но если, говоря о дружбе, вы подразумеваете подчинение, диктат, то нам такая «дружба» не подходит.

— Мы за дружбу без подчинения,— сказал Хрущев.— Горе нам, если бы мы этого не понимали.

— По вашей вине после известных событий в Бухаресте наметилось охлаждение в советско-албанских отношениях,— продолжал Энвер Ходжа.— Позавчера на встрече с вашими товарищами мы привели множество аргументов и фактов, подтверждающих это.

— Ох уж этот Бухарест!— воскликнул Хрущев.— Вы обвиняете нас, мы обвиняем вас. Давайте разберемся наконец, кто прав, а кто виноват?

— Давайте,— согласился Ходжа.

Взгляды собеседников скрестились. Казалось, что они вновь, уже в который раз, возвращаются к исходной точке. Воистину сизифов труд.

— В Бухаресте... Там, кажется, все и началось...— медленно и не без сожаления проговорил Хрущев.

— Могло начаться и в Праге,— подметил Ходжа.

— Да, конечно, могло начаться в Праге, в Тиране...

— Могло.

Хрущев внимательно посмотрел на человека, которого албанцы не раз за время переговоров называли «представителем в Бухаресте». Сам же «представитель» внутренне изумлялся, что это обращение, напоминавшее старый княжеский титул, адресовано ему.

Хрущев запомнил знойный вечер в Бухаресте, когда албанский представитель публично выразил несогласие с ним: «От имени Центрального Комитета Албанской партии труда я заявляю, товарищ Хрущев, что мы не согласны...» «И как только посмел?!— подумал Хрущев.— Да и кто мог предугадать, что такое случится?» Тот поздний вечер, окутанный непроглядной тьмой, надолго запомнился ему. В резиденцию Хрущев вернулся взвинченный до предела и долго не мог заснуть. Стоя у окна, он смотрел на огни ночного города и думал, думал, думал... Ему никогда не нравился Бухарест, но в ту ночь в беспорядочном мерцании огней города он уловил некую нарастающую тревожность.

— В Бухаресте вы первыми пошли на обострение наших отношений,— тихо промолвил он, не удержав охватившего его волнения.

— Ошибаетесь, мы ни с кем не хотели ссориться,— возразил Ходжа.— Напротив, это нас прокляли, точно еретиков, лишь за то, что мы не пошли у вас на поводу и выступили в защиту братской партии. Это вовсе не единственный пример расхождений наших позиций. По ряду вопросов — и вы знаете об этом — мы давно имеем собственное мнение, отличное от вашего. Мы, к примеру, не одобряем вашего патернализма и выступаем против вмешательства в венгерские события без каких-либо консультаций с нами, и мы не согласны с тем, как подается и освещается вами тема культа личности Сталина. Кроме того, у нас противные взгляды на Югославию, и

нам не нравится ваше низкопоклонство перед Западом (он хотел сказать «холопство», но вовремя сдержался). Мы расходимся и по ряду других принципиальных вопросов. Например, мы не столь оптимистичны, как вы, и не возлагаем больших надежд на парламентский путь мировой победы коммунизма.

— Вы не согласны с марксистско-ленинским учением?— удивился Хрущев.

— С вами, а не с учением. И самое главное — мы никогда не примем тактику выкручивания рук под вывеской заботы о сохранении единства. Ни-ког-да!— отрезал Ходжа, сопроводив свои слова весьма энергичным жестом.

На мгновение наступила звенящая тишина. Произнесенное по слогам «никогда» заметалось в ней, точно зимняя птица в жарком помещении. Внезапно взгляд Энвера Ходжи остановился на маленькой статуэтке, стоявшей на рабочем столе Хрущева. Это был скульптурный портрет Мохандаса Ганди, похожий на бедняка, тайком приблизившегося к спорящим людям.

— Нет!— невпопад воскликнул Хрущев.

Его странное «нет», вовсе не связанное с отрицанием какого-либо суждения Ходжи, прозвучало резко и неожиданно для него самого, как интуитивная самозащита. Но Хрущев не обратил на это никакого внимания и, глубоко вздохнув, неспешно заговорил. Энвер Ходжа и все присутствующие сосредоточенно слушали его. Сперва Хрущев говорил о Венгрии, потом о Тито и Китае и наконец о Сталине. В его словах не было ничего нового, и он понимал это, а потому говорил без присущего ему воодушевления, вяло и невыразительно. Голос Хрущева звучал все глуше и глуше, как шаги человека, спускающегося в подвал. «Вот так, наверное, слышались шаги тех, кто однажды ночью спускался по ступеням Мавзолея вниз, в усыпальницу,— подумал Энвер Ходжа.— Там они открыли крышку саркофага, вынули окоченевшее тело покойного (интересно, как несли его: на плечах, в мешке, в ящике?) и крадучись неслышно удалились». Ходже вспомнилась его первая встреча со Сталиным. Была зима. Он, тогда еще сравнительно молодой руководитель, целый день летел в Москву на военном самолете. Это была его первая встреча с Россией. В иллюминатор он разглядывал необозримые ее просторы, занесенные снегом, разбросанные повсюду деревеньки. Со Сталиным они встречались вече-

ром; уже смеркалось. Беседа была короткой. «Я знаю, что вам сейчас очень трудно,— сказал тогда в конце встречи Ходжа,— но нам еще хуже. У нас нет хлеба». Сталин внимательно выслушал гостя и пригласил его на ужин. Ужинали они вдвоем. На деревянном столе стояло несколько судков с едой, плотно накрытых крышками. «Прошу вас!» — пригласил Сталин и первым сел за стол. Судки с крышками походили на сосуды, хранившие некие тайны. Сталин вскрыл один из них. «Ешьте, прошу вас!» — повторил он. Ходже есть не хотелось, но он последовал совету Сталина и вскрыл второй таинственный сосуд. Остальные пока хранили свои тайны. «Мы за все вам заплатим,— снова заговорил Энвер Ходжа,— но сейчас...» — «Когда сможете»,— прервал его Сталин и пристально посмотрел Ходже в глаза.

Хрущев тем временем говорил о советской экономической помощи Албании.

— Если наша помощь недостаточна,— обратился он к Ходже,— мы рассмотрим этот вопрос заново. Взять, к примеру, поставку зерна. Товарищи докладывали мне о трудностях...

— Дело не в трудностях,— вмешался Ходжа.— Мы хотели бы знать политические мотивы, которыми вы руководствовались, отказывая Албании в поставке зерна. Это первоочередной вопрос нашей встречи.

— Давайте разберемся,— согласно кивнул Хрущев,— разберемся, откуда повеяло холодом. Но спокойно, без эмоций. Может быть, вы, албанцы, поставили свои узконациональные интересы выше интересов коммунизма?

Пристально глядя в глаза Хрущеву, Энвер Ходжа отрицательно покачал головой.

— Нет, товарищ Хрущев,— сказал он твердо,— мы без принуждения стали друзьями Советского Союза. У нас ведь не было «обстоятельств», как-то: общих границ, вашей армии на нашей территории и прочих внешних факторов. В нашей дружбе мы руководствовались заветами Ленина, истинной верой в идеалы коммунизма. Порой мы, бесспорно, были фантазерами, мечтателями, а порой страдали наивностью. Это следует признать. Впрочем, почему бы и нет? Ведь мы были молоды, и нам недоставало опыта, но мы были искренни и честны. Вы, судя по всему, не очень-то цените подобную дружбу и преданность. Вам предпочтительнее верность

стран с общими границами, оружием и деньгами. Это вы, а не мы обрядили душу революции в погребальный саван, сотканный государственной машиной насилия. Вот почему мы не можем понять друг друга.

— Что правда, то правда, мы на самом деле не понимаем друг друга,— вздохнул Хрущев.

Взгляд Энвера Ходжи невольно остановился на статуэтке Ганди: он словно бы удивлялся, что Ганди все еще присутствует здесь.

— Вы утверждаете также, что в Советском Союзе к власти пришли новые и якобы неопытные люди,— продолжал Хрущев.— Один из ваших товарищей прилюдно заявил, что Хрущев вывел из Президиума ЦК Маленкова, Молотова, Булганина, Кагановича и других по возрасту. Но вы же знаете, что они мои ровесники. Кстати, вот письмо, которое прислал мне Булганин три дня тому назад. Если хотите, я вам его прочитаю.

— В этом нет необходимости, это ваш внутренний вопрос,— запротестовали в голос два члена албанской делегации.

Энвер Ходжа никак не отреагировал на слова Хрущева. Ему вспомнилось смуглое, побагровевшее лицо Маленкова. За давностью событий он забыл, что вогнало его в краску. Он еще удивился тогда, что краска заливает и смуглые лица. Ходжа помнил, что спустя несколько месяцев после смерти Сталина он прибыл в Москву, чтобы проинформировать советских товарищей о своем решении уйти с поста премьер-министра, оставив за собой пост Первого секретаря партии. «Да, точно!» — наконец вспомнил он, почему тогда покраснел Маленков. Обсуждая сообщение Ходжи, советские руководители заспорили, какой пост более важный: премьер-министра или Первого секретаря партии. Хрущев расхваливал пост Первого секретаря (вот тут-то Маленков и покраснел), а Ворошилов, напротив, превозносил до небес пост премьер-министра. Заметив, как покраснел Маленков, Энвер Ходжа впервые понял, что отношения советских лидеров не столь просты, и расстроился...

Между тем Андропов стал читать письмо Булганина: «...по случаю праздника Великой Октябрьской социалистической революции... — долетали до Ходжи отрывочные фразы,— огромных успехов, достигнутых... под руководством ЦК КПСС во главе с Вами. Желаю здоровья Вам и Вашим близким. Булганин. Москва».

— Это для нас не представляет никакого интереса,— спокойно произнес Ходжа.

— Не понимаю, что вообще представляет для вас интерес?!— не сдержался Хрущев, багровея на глазах.— Если вы приехали лишь для того, чтобы разорвать узы дружбы, связывающие наши народы, то так и скажите.

— Не возомнили ли вы себя Зевсом, товарищ Хрущев, коли позволяете себе разговаривать с нами в таком тоне?— вновь посуровел Ходжа.

— Какой уж там Зевс,— вздохнул Хрущев, погладив рукой лысину.— По крайней мере внешне.

Хрущев на самом деле вовсе не походил на Зевса. Тут Ходжа вспомнил об их посещении развалин античного города-музея Бутринта. Проходя мимо статуй греческих богов, Хрущев наклонился к Маленкову и еле слышно шепнул: «Если построить здесь, около Бутринта, базу подводных лодок, Греция будет наша». Ходжа опешил: Албания и Греция с сорокового года находились в состоянии войны — и все же от этих слов Хрущева у него мурашки поползли по спине. Древние боги равнодушно взирали на коренастых весельчаков.

Энвер Ходжа почувствовал, как на лбу выступила испарина.

— Вы говорите «товарищ Первый секретарь», а подразумеваете «товарищ первый вассал»,— продолжал он, взглянув на Хрущева.— Мой вам совет: выбросьте из головы эту мечту!

— Вы, четверо, только и делаете, что перебиваете меня,— опять не сдержался Хрущев.— В 1957 году я слушал вас не перебивая целых два часа, а вы прервали меня на первой же фразе. Кстати, народная мудрость гласит, что...

Бесник растерялся: он не мог перевести эту «мудрость». Может, попросту устал. Обе стороны, к его удивлению, частенько сыпали пословицами и поговорками. Раньше ему и в голову не приходило, что они столь часто используются в официальных переговорах. Поэтому, как только кто-нибудь произносил: «Народная мудрость гласит, что...», Бесник покрывался холодным потом.

Пока он в замешательстве подыскивал адекватный вариант перевода очередной пословицы, кто-то упомянул об инциденте на военной базе во Влёре.

— Если база является местом раздора, мы ее уберем,— решительно предложил Хрущев.

— Как хотите, но в случае войны наличие Паша-Лимана означает, что первой пострадает Влёра, а уже потом Севастополь,— заметил Энвер Ходжа.

— Кто это Паша Лиман?— удивленно спросил Хрущев.

— Так называется эта база,— полушепотом пояснил ему Микоян.

Хрущев неопределенно хмыкнул.

— Какое нелепое название!— сказал он, поморщившись.— Кстати, если хотите, мы можем убрать с базы наши подводные лодки.— При этом он особо подчеркнул слово «наши».

— База общая,— напомнил Энвер Ходжа.

— Мысль о создании базы во Влёре принадлежит товарищу Хрущеву,— уточнил Микоян.

— Это не имеет никакого значения!— вызывающе резко возразил один из членов делегации и уставился холодным немигающим взглядом на Хрущева.

Хрущев пристально посмотрел на него, но не произнес ни слова: как правило, он не реагировал на реплики людей, сопровождающих Энвера Ходжу. Впрочем, Ходжа придерживался того же правила. Хрущев отвел было от него взгляд, но вовремя спохватился, ведь это не просто один из членов делегации, а Председатель Совета Министров Албании[1], то есть человек, занимающий столь же высокий пост, как и он (с недавних пор Хрущев совмещал посты Первого секретаря ЦК КПСС и Председателя Совета Министров).

— А что же тогда имеет значение?— спросил он уже более мирно.

— База!— односложно и, казалось, еще резче ответил албанский премьер.

«Вот, значит, куда он клонит!— Мысль о том, что собеседник разговаривает с ним на равных, как премьер-министр с премьер-министром, возмутила его.— Ты не учитываешь, голубчик, что пост премьера — это лишь часть моей власти, причем не самая главная».

Хрущев усмехнулся, и губы его сложились в кислую гримасу, но он проглотил пилюлю и обвел взглядом присутствующих. Готовясь к встрече, он запросил справки на трех членов албанской делегации: кто знает, вдруг пригодятся во время переговоров. Человек, с которым они только что обменялись репликами, оказывается,

[1] В то время премьер-министром Албании был Мехмет Шеху.

воевал в Испании. «Да, Испания...— подумал Хрущев. Этот факт биографии собеседника вынудил его воздержаться от очередной резкости.— В то время я строил в Москве метро...»

Участники встречи еще долго обсуждали вопрос о военной базе во Влёре и при этом не произнесли ни одной пословицы. «По-видимому, не было подходящих. Не придумали. О базах народ предпочитает молчать»,— подумал Бесник.

— Если мы не можем договориться сразу по всем вопросам, то давайте решим хотя бы некоторые,— предложил наконец Хрущев, устало махнув рукой.— И давайте не будем афишировать на совещании наших разногласий.

— Но вы уже предали их огласке,— упрекнул его Ходжа.— Об этом свидетельствует документ, направленный вами китайской делегации. В нем есть чудовищные слова в наш адрес!

— Вы как-то странно выражаетесь! — вмешался Козлов.

— Если вы на совещании расскажете о возникших между нами разногласиях,— предупредил Хрущев,— то, боюсь, останетесь в одиночестве. Вас просто никто не поймет.

Ходжа отрицательно покачал головой.

— Причем не только на совещании,— продолжил Хрущев.— Вы вообще останетесь в одиночестве.

Говоря это, он буквально впился глазами в собеседника.

Энвер Ходжа еще раз отрицательно покачал головой. «Неужели этот маленький толстяк с добродушным лицом, сидящий напротив, который совсем недавно грозил нам голодом, теперь способен запугать нас изоляцией?— подумал Ходжа.— Может быть, он и есть тот сказочный штриган[1], злой и коварный, мечтающий обречь на одиночество целый народ? Неужели он этого хочет?!» — мысленно ужаснулся он, едва сдерживая гнев, и в третий раз покачал головой.

— Останетесь совершенно одни,— повторил Хрущев, не сводя цепкого взгляда с Ходжи.— Социалистические государства отвернутся от вас. Все договоры, соглашения, кредиты будут аннулированы.— Его глаза продолжали следить за выражением лица собеседника.— Все

---

[1] Колдун *(алб.)*.

будет ан-ну-ли-ро-ва-но.— Последнее слово Хрущев произнес по слогам, подчеркнуто ласково, даже нежно.— До тех пор, пока...

— Не дождетесь!— воскликнул Энвер Ходжа.— Я не вернусь к вам как блудный сын! В этом можете не сомневаться!

— Вы слишком горячитесь. С вами трудно разговаривать,— поморщился Хрущев.

— Зато вы все безмолвны как рыбы. Чего вам волноваться?

— Вы меня оскорбляете. Всякому терпению приходит конец!

— Теперь горячитесь вы.

— Нисколько!

— Что, простите?— не расслышал Ходжа.

— ...рыбы.

— А теперь кто из нас горячится?

— Вы искажаете мои слова,— возмутился Хрущев.— Кстати, хорошо ли переводчик знает русский язык?

Наступила звенящая тишина. Все в один миг повернули головы к Беснику. На его изможденном лице застыла нечеловеческая усталость. Присутствующие не сводили с него глаз. Бесник действительно допустил в переводе некоторую неточность, когда собеседники упрекали друг друга в излишней горячности. Но не по своей вине — реплики были столь стремительными, что он едва успевал переводить. Все смотрели теперь только на него. «Что означают их взгляды?— с ужасом подумал Бесник.— Еще решат, что я стал причиной разрыва отношений.— От этой мысли все поплыло у него перед глазами.— Они сами могут открыть словари, ларуссы, энциклопедии, могут, изучив историческую грамматику и древние рукописи, дойти до истины и воскликнуть: «Ошибка! Ошибка! Наконец-то мы нашли ее, установили причину! Этот человек втянул нас в конфликт. Он плохо перевел Эсхила. Этот переводчик — предатель! Убейте его!»

Бесник прижал руку тыльной стороной ко лбу.

— Перевод правильный,— сказал Ходжа по-французски, но никто не перевел его слов.

— Это не серьезно,— на всякий случай вымолвил Хрущев, подумав, наверное, что Ходжа на непонятном ему языке сказал что-то обидное в его адрес и поэтому никто не перевел этой фразы. С минуту все говорили на родных языках. Бесник приготовился было перево-

дить, но осекся, заметив, как Андропов наклонился к Хрущеву и прошептал ему что-то на ухо. Хрущев сокрушенно вздохнул и покачал головой, словно хотел сказать: «И на это пошли».

— Ваш сотрудник в ходе беседы,— заявил Хрущев, обращаясь к Энверу Ходже,— перевел одну из фраз, сказанных вами, на древнерусский язык. Как это понимать?

— Что именно?

— Фразу эту...

— Простите, я виноват!— не сдержался Бесник.— Это произошло совершенно случайно.

И тут он сообразил, что сделал нечто непозволительное и труднообъяснимое: на официальных переговорах переводчик не имеет права вступать в беседу. Его дело — переводить. И только.

— Я извинился, что одну вашу фразу совершенно случайно сказал по-древнерусски,— тихо промолвил Бесник, повернувшись к Энверу Ходже.

Ходжа, казалось, не слышал его.

— Все у них здесь древнее,— процедил он сквозь зубы.— И в этом для них не может быть ничего обидного.

Бесник растерялся, не зная, переводить эти слова или нет.

— Мы будем продолжать переговоры?— прервал их Хрущев.— Заканчивайте эту... эту...

— Я не намерен вести переговоры в таком тоне,— отрезал Ходжа, стукнув кулаком по столу.— Я не ваш вассал, а вы не мой сюзерен.

Голова Ганди вздрогнула.

— Ну, это уж слишком!— не остался в долгу Хрущев.— Так со мной однажды пробовал разговаривать Макмиллан[1].

— Товарищ Энвер не Макмиллан,— возмутились два члена делегации.— Возьмите свои слова обратно!

Хрущев окинул их устрашающим взглядом — наступила неловкая пауза.

— Взять, конечно, можно, но куда их потом девать?— невесело пошутил он.

---

[1] Макмиллан Гарольд — в то время премьер-министр Великобритании; был министром обороны, иностранных дел и финансов.

— А вот сюда,— посоветовал один из членов албанской делегации, указывая на левую внутреннюю сторону пиджака.

Хрущев мельком взглянул на маленький карман. Произошло некоторое замешательство.

— Как вы можете утверждать, что товарищ Энвер говорит, как Макмиллан?— не успокаивался албанец.

— Хуже Макмиллана,— заметил Микоян.

Албанцы разом поднялись из-за стола.

— Мы протестуем против ведения переговоров в таком тоне!— хором заявили они.

Вслед за ними поднялись Микоян, Козлов и Андропов. Хрущев вопрошающе посмотрел на Ходжу, словно бы говоря: «Что они делают, эти ребята?» Встал из-за стола и Энвер Ходжа.

В полном молчании, ни с кем не попрощавшись, албанская делегация покинула кабинет Хрущева. Спустившись по лестнице, они вышли на улицу и, сев в машины, уехали.

Был полдень. Небо затянули свинцовые облака. Автомобили мчались по улице Горького не останавливаясь. Бесник глядел в окно. Слева у здания Центрального телеграфа люди покупали в киоске газеты. Чуть дальше толклись стайки подростков, которые от нечего делать глазели на проезжавшие мимо машины. «Совсем как Бэн со своими друзьями на улице Дибры»,— подумал Бесник. Справа осталась статуя всадника, который, казалось, собирался пересечь улицу. Миновали площадь Пушкина, потом площадь Маяковского. На уровне тринадцатого этажа огромного здания на краю площади светилась рекламная вывеска гостиницы «Пекин». Китайские иероглифы, напоминавшие зеленых муравьев, зловеще вырисовывались на пустынном небосклоне. А машины уже мчались к огромной статуе Максима Горького, который, опершись на трость, стоял перед скопищем такси у Белорусского вокзала (должно быть, это одна из самых больших стоянок такси в Москве). Памятник здесь был явно не к месту: великий пролетарский писатель, исходивший эту улицу вдоль и поперек, словно призывал: «Не пользуйтесь такси, а ходите пешком, как я когда-то».

Центральная часть города осталась позади: все реже встречались многоэтажные здания, исчезли широкие тротуары. Машины мчались по шоссе, над которым не было троллейбусных проводов и которое не пересекали

пешеходные «зебры». Нескончаемые снежные сугробы, выстроившиеся вдоль всей дороги, угнетали своим однообразием. Порой казалось, что мертвенно-белый снег лежит здесь вечно и никогда не тает.

Минуло два дня.

— Вроде бы смеркается,— в раздумье промолвил Йордан.

— Я почти закончил.— Бесник поднял голову от текста речи Энвера Ходжи, которую переводил.— Еще несколько вставок, и все. Он дописал их сегодня после обеда.

— Вчера он работал до полуночи.

— И нынче работает. Засел сразу после совещания.

— Уже решено, что именно завтра он будет выступать?— спросил Йордан.

— Да, решено.

— Завтра...— задумчиво произнес Йордан.

Бесник промолчал. Он был занят переводом.

— Еще он сказал,— продолжал Йордан,— что все должно быть по-бетховенски торжественно и значительно. Слово Албанской партии труда не должно прозвучать как ноктюрн.

— Да, именно так он сказал вчера вечером,— улыбнулся Бесник.

Сумерки за окном постепенно сгущались.

— Ты волнуешься?— спросил Йордан.

— Конечно.

Йордан сочувственно посмотрел на товарища.

— Тебе надо отдохнуть, расслабиться. Завтра трудный день.

— Да-да, но мне совсем немного осталось,— сказал Бесник, не отрывая глаз от фразы, перевод которой ему никак не давался.

В тексте рукой Энвера Ходжи было вписано: «Ju shoku Hrushov, u thatë shokëve kinezë se ne humbëm një Shqipëri, kurse ju e fituat një Shqipëri»[1].

Невозможно перевести на русский язык это «një Shqipëri». Ни один из вариантов, которые приходили Беснику в голову, не передавал точного смысла албан-

---

[1] Обращаясь к китайским товарищам, вы, товарищ Хрущев, сказали, что у вас одной Албанией стало меньше, а у них одной Албанией больше *(алб.)*.

ской фразы. «Нет-нет, все не то,— вздохнул он, потирая уставшие от напряжения глаза.— Все не то!» Бесник вновь сосредоточился на каверзной фразе, вписанной от руки сверху над машинописной строкой. Одна половина предложения уместилась в пробеле между строк, а другая из-за недостатка свободного места вынужденно свернула в сторону и, описав крутой поворот, ворвалась на чистое поле листа, словно могучая река, вышедшая из берегов и обретшая желанную свободу. В стремительном потоке букв, в торопливой манере письма, во всех этих «H», «S», «E» угадывалось, как показалось Беснику, раздражение хозяина руки, водившей карандашом по бумаге.

Он внимательно всматривался в каждую букву. «Нет, здесь скрыто не только раздражение, но и гнев, возмущение, боль — все вместе. Перед его любимой Албанией, единственной в целом свете, поставлено «një»: një Shqipëri... Одна Албания, какая-то Албания?»

«Хорошо ли владеет русским языком переводчик?» — слова эти опять прозвучали в ушах столь громко и отчетливо, будто их произнесли с церковного амвона. «Так уже было когда-то. История повторяется»,— подумал Бесник.

Бессонные ночи давали о себе знать. Тяжелая, словно налитая свинцом, голова клонилась на грудь, глаза слипались. Стены комнаты, шторы на окнах, сгущающиеся сумерки — все вдруг поплыло в густом обволакивающем тумане сна. «Хорошо ли владеет латинским языком переводчик?» Этот вопрос задают с незапамятных времен. Наверное, звучал он и в римском сенате в I веке перед самым началом войны. Тогда уже были переводчики — необходимая профессия для всех времен и народов. Они безустанно переводили, переводили и переводили чужие слова со всех языков. Не успел, например, Роберт Гвискар, предводитель норманнов, войти в XI веке в Дуррес, как тут же был задан вопрос: «Хорошо ли владеет кельтским языком переводчик?» То же повторялось и позже. Дым, гремят барабаны войны, Скандербег, султан Мурад II, султан Мехмед II — друг против друга, и снова тот же вопрос: «Хорошо ли толмач владеет турецким языком?»

Бесник протер глаза. Йордан подошел к окну, из него просматривалась вся прилегающая к особняку территория. Широкой спиной он заслонил слабый свет, проникавший с улицы в комнату. Стало совсем темно.

Бесник хотел включить верхний свет, но Йордан жестом остановил его.

— Что такое?— удивился Бесник.

— Иди скорей сюда,— прошептал Йордан.

Бесник подошел к окну.

— Смотри!

По двору неспешно прохаживался Энвер Ходжа. Длинное черное пальто контрастировало с белизной снега и делало его фигуру еще выше. Широкополая шляпа, артистично надвинутая на лоб, нависла над ним, словно бремя тяжких забот. Шагал он не быстро и не медленно, а как-то нетвердо, неуверенно, возможно, из-за неровного покрытия дорожек. Казалось, что это не прогулка, а некое движение в одном, только ему известном направлении.

Холодным угасающим блеском отсвечивали снежные сугробы. Застывшие в сумеречном мареве стволы деревьев походили на каменные обелиски с высеченными таинственными знаками, надписями, предначертаниями. На долю секунды Беснику показалось, что он догадывается о мыслях человека, прохаживающегося по заснеженному двору. Весь день он держал в руках отпечатанные страницы текста его завтрашнего выступления, испещренные пометами, добавлениями, вставками.

«Наше единственное преступление заключается в том, что мы — маленькая партия маленького и бедного народа. На нас оказывают экономическое давление. Не прекращаются военные угрозы. Против нас флот, десант, словно в безумии сбрасываемый с неба. Картина апокалипсическая: Болгария — с русской головой, Чехословакия говорит по-венгерски, недовольство, блокада, ложь, черная, как огромные муравьи, клевета, длинные очереди за хлебом...»

Эти и многие другие мысли роились в голове под большой черной шляпой. Наступила ночь, и фонари у ворот погасли.

Глава X

Почувствовав чье-то присутствие, Бесник мельком взглянул на стеклянную дверь переводческой кабины и вновь углубился в чтение лежавшего перед ним текста. Возле кабины, дожидаясь своей очереди, стоял второй переводчик. Беснику осталось прочитать несколько послед-

них фраз до отчеркнутого красным карандашом абзаца с пометкой «до». Голос Энвера Ходжи, который он слышал в наушниках, звучал четко и размеренно: «Наше единственное преступление заключается в том, что мы — маленькая партия маленького и бедного народа, который, по мнению товарища Хрущева, должен одобрительно рукоплескать ему, не смея при этом высказывать собственного суждения». Последние слова этой фразы Бесник дочитывал, привстав и приоткрыв дверь кабины,— спешил освободить место коллеге. Тот вмиг занял его кресло и, надев наушники, пригнулся к микрофону. Бесник вышел, его лоб покрывала легкая испарина. Оглядев соседние кабины, он заметил, что переводчики на другие языки обеспокоенно переглядываются,— видимо, потому,— подумал Бесник,— что русский текст, с которого они переводят, на секунду в их наушниках пропал.

Бесник, неслышно ступая, чтобы не мешать коллегам, направился к своему месту. Один из делегатов проводил его пристальным взглядом, в котором трудно было что-либо прочесть. В зале царила напряженная тишина. Черные портфели участников совещания, до той поры покойно лежавшие на столах, напоминали теперь затаившихся хищных зверьков. Лица большинства присутствующих напряглись и побагровели, глаза помутнели от злости, руки, спрятанные за портфелями, лихорадочно засуетились. Лица же других точно окаменели, а руки подпирали подбородки. Хрущев порой приподнимал голову и поглядывал по сторонам. Лица сидящих напротив китайцев хранили спокойствие. Хрущев опустил голову и, прикрыв лоб рукой, углубился в чтение бумаг, которые положил перед ним один из помощников. Спустя минуту он снова поднял голову и как-то неестественно повел шеей. Болгары следили за каждым его движением. Клинообразная бородка Вальтера Ульбрихта выражала крайнее недовольство. Перед Хрущевым положили новую папку. «Должно быть, с бухарестскими материалами»,— подумал Бесник. С лица Хо Ши Мина с длинной редкой бородкой и глазами, устремленными в неведомую даль, не сходило выражение крайней отрешенности. Какой-то негр сосредоточенно изучал барельефы на стенах зала. Лица китайцев попрежнему были непроницаемы. Хрущеву принесли еще одну папку. На этот раз Бесник даже не мог предположить, что в ней находится.

На лицах многих участников совещания все явственнее проявлялись следы беспокойства. У многих на лбу, лице, шее выступили красные пятна. Наушники с длинными черными шнурами по бокам походили на диковинных морских животных, сжимавших своими щупальцами их виски и причинявших мучительную боль. Время как будто остановилось. Наконец Энвер Ходжа произнес заключительную фразу своей речи и секунды две-три молча наблюдал за оцепеневшим залом, а потом сошел с трибуны. Уверенным шагом он направился к своему креслу, а тем временем сидевшие в зале срывали с ушей и висков черные щупальца, которые, казалось, оставляли там глубокие ссадины и тяжелые раны.

Воцарилась гнетущая тишина. Хрущев поднял голову и невидящим взглядом окинул зал. «Я — руководитель сильнейшего в мире государства»,— подумал он. Эта мысль, шевельнувшаяся в глубине его сознания, так и не завладела им. Хрущев еще раз посмотрел по сторонам, как бы ища поддержки. «Помогите же мне!» — взывал его взгляд. Пытаясь преодолеть внезапно охватившую его тревогу, Хрущев решил вспомнить что-нибудь приятное, но в памяти всплывали лишь бескрайние степи Казахстана. А зал по-прежнему молчал. «Я сбросил Сталина...— подумал Хрущев.— Но почему в зале мертвая тишина?» Она становилась невыносимой, и казалось, будет длиться вечно, хотя после речи Энвера Ходжи прошло не более пяти секунд. На шестой секунде наконец взметнулась чья-то рука.

— Прошу слова! Дайте мне слово!

Человек, первым поднявший руку, торопливо шел к микрофону. Приблизившись к нему, он широко раскрыл рот (гораздо шире, чем нужно было для произнесения речи) и торопливо заговорил:

— Я категорически не согласен с выступлением товарища Энвера Ходжи, и я решительно отвергаю какие бы то ни было клеветнические выпады в адрес нашей родной Коммунистической партии Советского Союза. Я глубоко возмущен...

Энергично взмахивая рукой, он произнес еще несколько подобных фраз, делая особое ударение на наречия, оканчивающиеся на «о».

Возмущением и гневом горели глаза большинства присутствующих, а их головы, словно заведенные, согласно кивали, одобряя каждое выступление. Гомулка что-то поспешно записывал на клочке бумаги. Кисти

огромной шали Долорес Ибаррури, ниспадавшие на чистые листы бумаги, лежавшие перед ней, походили на черные когти.

К микрофону подошел очередной оратор. В своем слове он обошелся без энергичных наречий, но настойчиво призывал всех предать анафеме все услышанное, упорно твердя: «навсегда», «на веки веков» и много еще разных слов с временны́м значением. Обличительную речь оратор завершил непреклонным: «Никогда!»

На трибуну поднялась Долорес Ибаррури.

— Сегодня я услышала, может быть, самое позорное со времен Троцкого выступление в истории международного коммунистического движения,— сказала она резко. Пряди седых волос выбивались из-под черной шали, которую Долорес так и не сняла с головы.— Вы чего добиваетесь, албанские товарищи? — непрестанно восклицала она.— На кого осмелились посягнуть?! — В голосе Долорес звучали обида и горечь.— Вы чего добиваетесь, господин Ходжа? — вопрошающе гремел ее голос.— Войны захотели?!

В эти минуты легендарная Пасионария олицетворяла собой скорбь всей Испании, всех иберийцев, чья судьба удивительно схожа с судьбой балканских народов: бесконечные страдания полуостровов, погруженных в море, словно в смерть,— свидетельство тому. Лицо старой революционерки, изборожденное морщинами, пряди седых волос, траурная шаль и некая скорбь души, свойственная только матерям да безутешным вдовам, усиливали впечатление от произносимых ею слов. Наконец она израсходовала весь арсенал доказательств. К концу речи Долорес Ибаррури, казалось, лишилась прежних седин, морщин, скорби.

— Несчастная старуха, доживающая свой век на чужбине,— горестно вздохнул Энвер Ходжа, снимая наушники.

Один из членов албанской делегации, сидевший напротив, воевал в Испании. Изумленный, он уставился на Ибаррури, словно встретился с призраком. Лоб его покрылся испариной, а в памяти всплыли события минувших лет: нещадно палящее солнце и громкоговоритель на фоне бесцветного, точно выгоревшего, неба. Из него разносился страстный голос Долорес Ибаррури. Там, в бесконечных окопах вдоль реки Эбро, он услышал его впервые и потом сотни раз, не задумываясь, готов был отдать за него жизнь. Сейчас же этот голос

звучал тускло и безжизненно. Он совсем не напоминал легендарную Пасионарию тех огненных лет.

Закончив выступление, Ибаррури направилась к своему месту. Слова попросил Гомулка. Тяжело ступая, он уверенно взошел на трибуну. Едва он, повернувшись лицом к залу, заговорил, стало ясно, что излюбленное слово этого оратора — «единство». Оно точно прилипло к его языку. «Было когда-то нерушимое единство», — подумал Бесник.

— Вы осмелились посягнуть на единство... пятая колонна... нож в спину... иуды...— Обвинения сыпались одно за другим.

Взгляды большинства сидящих в зале, перекрещиваясь и сливаясь в единый поток, взывали к возмездию и расправе. «Это совещание — одна лишь видимость,— отметил про себя Бесник.— Они все — само возмущение: нам, мол, и в голову не могло прийти, что так обернется, что кто-то осмелится посягнуть... на святая святых — на наше единство — наше главное достояние, нашу надежду, нашу гордость, нашу славу. Чего же мы ждем? Надо немедля принимать меры».

После выступления Гомулки объявили перерыв. Участники совещания, шумно отодвигая кресла, выходили из-за стола и шли в буфет или фойе. Многие обменивались впечатлениями, сокрушенно покачивая головами и пожимая плечами.

Бесник и второй переводчик шли следом за небольшой албанской делегацией.

— Трудновато приходится, когда вот так на тебя наседают,— сказал Энвер Ходжа, когда албанцы остановились возле буфетной стойки, глядя на разноцветные этикетки бутылок с прохладительными напитками. По всему было видно, что атмосфера вокруг них накаляется: косые взгляды, нарочито громкие реплики преследовали их.

Участники совещания небольшими группами собирались у столиков: переговаривались, что-то советовали и обещали друг другу, рассуждали, предсказывали дальнейшее развитие событий, заверяли, что ответные шаги поставят выскочек на место, как это всегда бывало при Ленине, Троцком, Ста... Бухарине, а еще раньше — при Марксе, Каутском, Бернштейне; а если заглянуть в историю поглубже, то можно вспомнить времена Четвертой энциклики папы, второго церковного раскола Римской империи и Византии, наконец матриархата...

В буфете появился Хрущев. Взгляды многих устремились на него, фиксируя каждый его жест, каждое движение, каждое слово. Его обступили со всех сторон, а он что-то недовольно буркнул, кивнув в сторону Энвера Ходжи, и пошел дальше.

— Что-что? — не расслышали стоявшие поодаль.

— Таварищ Хрущев сказаль, что таварищ Энвер Ходжа нас всех пачкаль грязь,— объяснил кто-то на ломаном русском языке.

— Грязь?! По-моему, он сказал иначе, он произнес слово «говно».

— Что значит «говно»? Я не знаю такой слово.

— Возможно, это просторечие...

Некоторые переводчики начали листать карманные словарики.

— Г... г... г...— бормотал один из них.— В моем словаре такого слова нет.

— Напрасно ищете,— усмехнулся кто-то за его спиной.— В словарях бранные слова не печатают.

Похоже, случилось то, чего он больше всего боялся. Двадцать минут назад, когда участники совещания с большим опозданием вышли на перерыв, по их изменившимся лицам он понял все. Их глаза и брови столь усердно двигались от возмущения и гнева, что лица утратили привычное выражение, и многие едва успели за время перерыва придать им прежний вид.

Фойе и коридор вновь опустели, захлопнулись двери зала, в котором разыгрывалась трагедия. Гардеробщик был не любопытен, да и чувство собственного достоинства не позволяло ему прислушиваться к сторонним разговорам. Но сегодня впервые в жизни он готов был отступить от своих правил. До сих пор он так ничего и не узнал. Глядя на пустой коридор, гардеробщик корил себя за неумелость. Пуговицы на пальто молча таращились остекленелыми зрачками. Старик сидел, подперев сжатыми кулаками подбородок, и размышлял: «Вон в глубине коридора собрались товарищи по работе. Они-то наверняка все знают». Раньше он с презрением поглядывал на их таинственно склоненные головы и неслышное перешептывание. Он гордился тем, что не имеет к их сборищам никакого отношения. Но сегодня ему было не до этого; как ни странно, он ощутил даже некоторую зависть. Минуту он еще колебался, а

потом сделал то, что прежде посчитал бы недостойным и унизительным: он медленно направился в конец коридора и попросил у них закурить. Гардеробщики весьма поразились такой перемене и наперебой стали протягивать пачки сигарет, а он, так и не закурив, тут же, словно боясь, что одумается и уйдет, без обиняков задал мучивший его вопрос. Сперва лица сослуживцев вытянулись от изумления, а потом, будто обрадовавшись, они заговорили все разом, перебивая друг друга:

— По всему видно, произошла стычка!

— Да еще какая!

— Трудно даже себе представить.

— Прекратите! — возмутился старик.— А ты чего скалишься?

— Да не скалюсь я. Не видишь разве, выпил я немного с горя. Хочешь, дыхну, если не веришь.

— Этого еще не хватало!

— Да, выпил! Пошел в буфет и выпил. Сергей Игнатьевич, сказал я себе, хоть ты и на службе, однако выпей с горя рюмку, авось полегчает. Единство развалилось? Развалилось! И что теперь? Пусть все летит к черту!

— Замолчи! — вспыхнул старик.— Воротит от твоих слов.

— Всю жизнь было единство. Привыкли как-никак,— вздохнул подвыпивший гардеробщик.— Хотя неизвестно еще, может, без этого единства заживем веселей. Как сказал Маркс, единство преходяще, а распри — вечны.

— Нету сил моих слушать все это. Жаль вас! — Старик развернулся и, тяжело ступая, побрел к своему отсеку.

«Это себя тебе жаль»,— с тоской подумал он.

А в зале один оратор сменял другого. Глубоко возмущенные и обиженные, энергично жестикулируя, они разоблачали и громили раскольников, фракционеров, оппортунистов, догматиков, националистов, шовинистов, провокаторов, агрессоров, поджигателей войны. Уже высказались Ульбрихт, Али Ята[1], Торез. В речи Живкова прозвучали слова «неблагодарность» и «цинизм». «Нам показалось,— заметил Георгиу-Деж,— что с этой

[1] Один из основателей (1943 г.) Марокканской компартии.

трибуны вещала «Свободная Европа». Выступления продолжались. Каждый хотел найти свой звучный эпитет и уколоть раскольников побольнее. Стремясь перещеголять друг друга, они говорили все громче и громче, трагически вскидывали руки, били себя в грудь, повторяя точно заклинания: «Нет!» и «Никогда!»

Европейцы и латиноамериканцы расцвечивали свои выступления цитатами из Библии, мусульмане и азиаты — восточными пословицами, африканцы ограничивались общими фразами (их родные языки не были рабочими на совещании, а переводить народную мудрость на европейские языки они не решались).

Но нашлись и такие, кто осмелился взять сторону албанцев.

— Мы, коммунисты, ничего не знали о сложившейся ситуации,— сказал один из делегатов. Зал замер.— В противном случае мы отдали бы наши партвзносы на закупку зерна для Албании.

Очередной оратор тоже попытался защитить албанцев. Хрущев настороженно вскинул голову. Зал негодующе загудел. Обоим выступившим немедля был дан отпор. Все с беспокойством ждали выступления представителя китайской делегации. Слова, однако, попросил Луиджи Лонго. Многосложные итальянские наречия, которыми изобиловала его речь, звучали резко, как удары хлыста.

«Первый Рим»,— неприязненно подумал Бесник.

После итальянца на трибуну поднялся человек, который говорил короткими, рублеными фразами. Потом были другие выступления. Из динамиков неслись то драматические возгласы, то всхлипывания, очень похожие на предсмертные вопли динозавров, о которых Бесник читал то ли в календаре, то ли в каком-то научном журнале, а может, слышал в школе на уроках зоологии. Речь, помнится, шла о последнем стаде — около тысячи голов — вымиравших динозавров, которые двигались через австралийскую пустыню. Тяжело дыша, они с трудом тащили свои обессиленные огромные тела на север, надеясь найти там спасение. Они шли и шли, едва передвигая ноги, и вовсе не заметили, как очутились среди болот. Выбиваясь из последних сил, они пытались выбраться, но тщетно — вязкая жижа засасывала их все глубже и глубже. Шел дождь. Вопли обезумевших животных были слышны даже за линией горизонта. На земле не осталось больше места для тех,

кто царствовал на ней столь долго. Динозавры оказались жертвами собственного веса. Дикие отчаянные вопли гигантских животных, казалось, достигали поднебесья. Много дней и ночей длилась предсмертная агония. Постепенно крики стали утихать и наконец смолкли совсем. На болоте воцарилась мертвая тишина.

— Как вы осмелились осквернить нападками великую партию-мать? Как вы осмелились поднять на нее руку? Одумайтесь, пока не поздно, албанские товарищи, опуститесь перед ней на колени, как блудные дети. Молите у нее прощения! — вещал очередной оратор дрожащим от негодования голосом.

На трибуну поднялся представитель компартии Чехословакии. Он молча развел руками сперва один раз, потом другой, затем осуждающе покачал головой и наконец произнес:

— Товарищи! Советский Союз — наш старший брат, отец наш, самое гуманное государство в мире, оберегающее нас от волчьей пасти империализма,— на наших глазах подвергся варварскому обвинению в великодержавном шовинизме, в колониализме и вмешательстве... товарищи, прошу прощения, не могу больше говорить. Не могу!

— Что же это происходит, товарищи?! — обратился к залу представитель одной из латиноамериканских стран.— Нападкам подвергается партия Ленина? И где? В ее цитадели, в древнем Кремле. Что же это происходит, товарищи, я вас спрашиваю? На наших глазах поливают грязью славную, всеми любимую партию. И это происходит здесь, рядом с Мавзолеем Ленина.— Оратор не смог сдержать слез и, прикрыв глаза платком, зарыдал.

После этих слов некоторые участники совещания, обхватив голову руками, твердили словно в забытьи:

— Надо что-то делать... Надо что-то срочно делать...

«Греческая трагедия в сопровождении хора эвменид[1]»,— подумал Бесник. Тошнота подступила к горлу, как тогда в Бутринте при виде дохлых змей, свисавших с плеч античных скульптур.

Ораторы вереницей шли к микрофону.

[1] Эвмениды (эринии) — в греческой мифологии богини мщения.

— *...товарищи, входите... Статуи классиков марксизма-ленинизма, вы слышите, как дрожит земля, видите, как сверкает молния...*

— *Гром гре-ми-и-т, земля дро-жи-и-т, молния свер-ка-а-е-т...* — вторил им ХОР первых секретарей.

Беснику почудилось, что у многих сидящих в зале свисают с плеч змеи, готовые в любую минуту выплюнуть свой смертоносный яд.

— *Поднять руку на прародительницу наших партий, посягнуть на святое единство... это значит... это...*

Энвер Ходжа снова надел наушники. В сущности, он не вникал в смысл звучавших из них слов, а слушал только мелодику речи, переключаясь тумблером с одного языка на другой. Даже на французском не стал слушать. «Вот они, языки мира! Соседствуют друг с другом. Стоит сдвинуть рычажок всего лишь на два миллиметра, и пожалуйста — слушай другой язык, хотя в жизни их разделяют океаны и столетия. Сегодня Албанию осуждают почти все языки».

Энвер Ходжа машинально переключал тумблер с одного канала на другой, а затем и вовсе отключил перевод. Наверное, наступил момент, когда нечеловеческая усталость взяла верх, и он погрузился в забытье: действительность отступила, окружающие предметы теряли свои очертания. Неизвестно почему вспомнились вдруг старухи плакальщицы из Гьирокастры. Одетые во все черное, они сидели на длинном миндере[1] и монотонно причитали, приложив, по обычаю, руку к правой брови. В ту зиму хоронили Таре Шерифи. Из окон дома он видел Зерзебильский мост и идущих по нему с поднятыми от холода воротниками людей. Помнится, он вошел тогда в просторную комнату, где женщины оплакивали усопшего, и замер на месте от неожиданности: он впервые наблюдал старинный похоронный обряд, когда оплакивают всем миром. Люди находились в состоянии сильного возбуждения, и со стороны казалось, что они пьяны.

Ритуал походил на спектакль. Вот женщина, стоявшая неподалеку от Ходжи, приблизилась к одной из своих товарок и положила ей на лоб смоченную холодной водой тряпку. В затуманенном взоре плакальщицы не было благодарности. «Зачем не даешь мне забыться?» — простонала она.

---

[1] Тюфяк, мягкая подстилка для сидения на полу; разбрасываются вдоль стен.

— ...кроме всего прочего, эти распри на руку империализму, хотим мы того или нет. Да, товарищи, империалисты спят и видят, чтобы нанести урон нашему движению...

Выступавший говорил не то на греческом, не то на турецком языке. «Второй Рим»,— снова подумал Бесник и снял наушники.

Он заметил, что многие в зале периодически снимают наушники. На миг Беснику показалось, что это и не наушники вовсе, а терновые венцы, которые они то снимают, то возлагают на свои несчастные головы.

«Теперь выступающий непременно должен упомянуть о тридцати сребрениках Иуды»,— подумал Хрущев. Он был в состоянии эйфории, мысли его перескакивали с одного предмета на другой. Крест, Иудейская земля, Пасха, припорошенные пылью веков, странным образом уживались в его сознании с первомайскими торжествами, партийными съездами, пленумами, на которых громили фракционеров. Хрущев искоса посмотрел в сторону албанцев. Энвер Ходжа сидел прямо, откинувшись на спинку кресла. «Ты еще приползешь к нам на коленях,— подумал Хрущев. Он плохо знал Библию и не помнил, чем закончилась история Иуды.— Придется пожалеть его,— усмехнулся он, вспомнив слова албанского лидера о нежелании возвращаться подобно блудному сыну.— Вернешься, непременно вернешься. Однажды зимним вечером ты постучишься в ворота Кремля и простоишь там в снегу до рассвета. А следом за тобой приползет и эта троица»,— решил Хрущев, взглянув на помощников Ходжи.

С одним из них он связывал неприятные воспоминания о совещании в Бухаресте, с другим успел перекинуться язвительно-ироничными репликами в Нью-Йорке на заседании премьер-министров в ООН. Тогда... тогда еще случилась эта нашумевшая история... с башмаком. Третий, самый молодой из них, участвовал в работе подготовительной комиссии Московского совещания. Он был из руководителей нового поколения (учился в Москве), но глаза у него оставались такими же чужими, как у всех албанцев[1]. Хрущев вдруг вспомнил, что во время последнего спора с ними его не покидало ощущение, что недалек тот день, когда придется схлестнуться

---

[1] Имеются в виду члены делегации: Хюсни Капо, Мехмет Шеху и Рамиз Алия.

с самим товарищем Энвером. До поры до времени схватка откладывалась, хотя и маячила где-то на горизонте. «А вот теперь она состоялась»,— почти удовлетворенно заключил Хрущев и взглянул на нарушителя спокойствия, отметив, что Ходжа сидит в прежней позе, откинувшись на спинку кресла, и передвигает тумблер из стороны в сторону. «Ты еще вернешься,— устало подумал Хрущев.— Зимой. Поздним вечером. Вот тогда и решим — отворить тебе двери или нет?»

На трибуну поднялся представитель скандинавских стран. «Ну, давай, всыпь им как следует!» — мысленно подбодрил его Хрущев. Но оратор заговорил совсем о другом. Хрущев попытался сосредоточиться. Наконец скандинав добрался до так называемой обвинительной части. Хрущев нетерпеливо заерзал в кресле, что делал всякий раз, когда чувствовал, что оратор подходит к интересующей его теме.

— Что касается выступления товарища Энвера Ходжи,— зачастил скандинав почти скороговоркой,— то оно нам кажется неуместным. Хотелось бы сегодня рассмотреть и другой вопрос...

«И это все?! — чуть было не вскрикнул Хрущев.— О, рыбья кровь! Никому не нужное выступление! Пресное, как улыбка скопца,— хмыкнул он, начиная раздражаться уже в который раз за эти полдня.— И венгры тоже хороши со своей сдержанностью. Это им так не пройдет. Знаю, чего они добиваются,— пробормотал он зло.— Голову Микояна им подавай. Ничего, он вам покажет, как двери у тюрем открываются. А китайцы? Ясно, в какой барабан они будут бить».

Когда представитель китайской делегации вышел на трибуну, в зале установилась мертвая тишина. Лишь на скандинава его появление не произвело никакого впечатления: он уже давно не слушал ничьих речей. «Земной шар и коммунизм...— размышлял скандинав, поворачивая тумблер то в одну, то в другую сторону.— Земной шар и коммунизм... Как, к примеру, объяснить инопланетянину, что такое коммунизм? — Вот уже несколько часов этот вопрос не давал ему покоя.— Как увязать атмосферу земли, океаны, континенты, пустыни, пашни, наконец, жизнь бесчисленных обитателей планеты с десятком довольно примитивных фраз, записанных на нескольких страницах кем-то придуманными значками? Материя первична, сознание вторично...

Частная собственность или коллективная собственность... Эти понятия наверняка рассмешили бы далекого гостя. Как ему втолкуешь, что простая перестановка слов в одной из этих формул (например, «сознание первично, а материя вторична») имела бы страшные последствия: запылают целые континенты, раскалится атмосфера, вздыбится Мировой океан. А может, все это глупость несусветная? Пустые слова — и ничего больше? Слова, чья власть над людьми призрачна и обманчива? Стоит людям опомниться, протереть глаза, и они воскликнут: «Какими же безумцами мы были!»

Впервые в жизни его вера в коммунизм пошатнулась. Он казался себе человеком, который долго не был на кладбище, а придя (вокруг — надгробия, надписи на них, кресты), потерял всякую веру в жизнь. Это совещание напоминало ему огромное кладбище.

Китайца сменил на трибуне какой-то негр.

— Отношение к славной прародительнице наших партий является пробным камнем для каждого коммуниста, в какой бы стране он ни жил.— Испанский язык выступавшего был похож на шуршание метлы по мостовой.

«Это для меня испытание,— подумал Бесник о чем-то своем.— Это испытание для меня». У него болела голова, но утомленный мозг продолжал лихорадочно работать, мысли наплывали одна на другую. Бесник даже не предполагал, что вопросы революционной теории могут так волновать его. Если бы кто-нибудь прилюдно сказал, что он, Бесник Струга, теснейшим образом связан с партией и с народной властью, он, пожалуй, сильно смутился бы, испытав странную неловкость и растерянность. Бесник не раз задавал себе вопрос: борец ли он? И всякий раз признавал, что активным борцом в полном смысле этого слова он никогда не был. Среда, в которой он воспитывался и рос, конечно, создавала для этого определенные предпосылки. Старшие члены семьи прошли войну, отец был коммунист со стажем. Бесник недавно сам стал кандидатом в члены партии, но пока ощущал себя как бы вне ее, а точнее — с краю. Время от времени он пытался разобраться, отчего так случилось, но ответа не находил. Никакого особого мнения о партии или тем более предубеждения к ней у Бесника не было. Порой ему даже казалось, что мучившие его сомнения вот-вот рассеются, но искра озарения угасала, а туман и сомнения оставались при нем. Тогда Бесник

убеждал себя, что он такой же коммунист, как все, но безуспешно. В глубине души он осознавал, что у него нет пламенной веры в коммунизм, что он не из числа тех, кто безоглядно верит в коммунистическую идею. «Зачем обманывать себя? — рассуждал он.— Они — другие. Они...— В памяти всплывали знакомые черты типического образа: орлиный нос с горбинкой, излом сдвинутых бровей, напоминавших букву «Z».— Взять хотя бы Рати, начальника отдела кадров редакции. Несомненно, он из их числа». В усталом мозгу молнией сверкнула одна мысль, потом другая, они скрестились, и Бесник вдруг понял, почему он не такой, как другие. Все сразу же встало на свои места. Эти другие считали себя самыми достойными, самыми верными членами партии, ее ядром. Остальные же, по их мнению, были не столь достойными, не столь верными. О себе они говорили: «мы», о других — «они». Рати относил себя к «мы», а Бесника причислял к «они».

«Откуда берет начало эта темная всеподчиняющая сила? — подумал Бесник, сжимая ладонью лоб.— «Мы» возникают повсюду, и даже там, где, казалось бы, их вовсе не ждешь: дома, на работе, в молодежной или партийной организациях, на собраниях и митингах, просто за обеденным столом или на дне рождения; встревают в самые различные жизненные ситуации; появляются и тотчас начинают возвеличивать и превозносить себя». Рати был одним из них. От его взгляда, в котором читалось надменное «мы», у Бесника портилось настроение, и он чувствовал, как у него внутри все восстает и негодует: «По какому праву этот надутый индюк относит себя к «мы»? Кто дал ему это право и где оно записано? В каком законе? В какой статье? Какая инстанция его утвердила?» Но праведный гнев он скоро сменял на милость — то ли от усталости, то ли от беспечности. «Черт с ним, пусть он будет «мы», если ему очень хочется»,— успокаивал себя Бесник.

В самом деле, такие, как Рати, действовали напористо, без колебаний, и многие, отнюдь не плохие, но слабые и бесхарактерные люди смирялись и отступали, против своей воли продолжая служить им.

«Как же это страшно! — мысленно содрогнулся Бесник.— А потом удивляемся, почему молодежь столь пассивна и равнодушна. Тысячи людей, сами того не замечая, превращаются в балласт общества. Хотя правиль-

нее сказать: не они превращаются, а их превращают в простых пешек, не подпуская к активной революционной деятельности».

Наверное, у каждого бывают минуты прозрения, и тогда он начинает видеть и понимать, что происходит вокруг, но не у всякого достает сил для борьбы. Утеряна вера, и человек свыкается с мыслью, что его уже не причисляют к так называемым «мы». Это — главное. Смириться с этим непросто, но считаться приходится. Время, однако, идет, человек о многом забывает, ко многому привыкает, и ему необходима сильнейшая духовная встряска, чтобы прийти в себя и прозреть окончательно. Такой встряской может стать любое событие или испытание. И это всегда индивидуально. Вряд ли есть нечто общее для всех, разве что война, но это слишком дорогая плата за бездействие.

«Московское совещание стало для меня таким испытанием,— подумал Бесник.— Это моя судьба. Я вновь принадлежу к «мы». Наконец-то я прозрел!» На глазах Бесника выступили слезы.

А тем временем у микрофона появился новый оратор.

— Мы, монгольские коммунисты,— начал он визгливым голосом,— со всей непримиримостью осуждаем... мы...

Бесник взглянул на часы: было двадцать минут второго.

«А почему, собственно, вы?» — подумал он рассеянно.

«Что же могло случиться? Почему он не пришел? Впрочем, теперь это не имеет значения».— Лида стояла у Центрального телеграфа и едва сдерживала себя, чтобы не смотреть на часы. Она знала — время встречи давно прошло, но верить этому не хотелось, да и часы, может быть, спешат. «Сейчас, наверное, минут двадцать второго,— подумала она.— Впрочем, это не важно, не важно, не важно... Он все равно не придет». Она словно бы оцепенела: внешне полное спокойствие, в лице ни кровинки, а внутри — буря. Хотелось схватиться за голову, повалиться на тротуар под ноги прохожим, покатиться под колеса проносившихся мимо машин. Такого с Лидой еще никогда не случалось. Любую физическую боль — тупую, резкую, острую, сверлящую — она перенесла бы легче, чем нынешнее свое состояние.

А жизнь вокруг шла своим чередом: у газетного киоска по-прежнему толпились люди. Какие же они нелепые и никчемные, как, впрочем, и газеты, которые они покупают!

«Ну, вот и все. Теперь и в самом деле конец»,— прошептала Лида с пугающим спокойствием. Все былые волнения и тревоги, которыми она терзалась, ожидая его, казались приятными воспоминаниями. Несколько дней назад они помирились. И вновь в телефонной трубке звучал до боли знакомый голос: «Алё, это номер Д-1-22-29? Так?..»

На свидание она летела, точно у нее крылья за спиной выросли. «Тогда отчего? Почему?..» — спрашивала она себя — и не находила ответа. В прошлый раз он не объяснил причины своего опоздания. Вид у него был очень утомленный, и говорил он туманными фразами.

— Прости, Лида, так получилось. Я не хотел... Пришлось задержаться... Это от меня не зависит...— Вот и все слова.

— Не заставляй меня мучиться и страдать. Ладно?—прошептала Лида, уткнувшись лицом ему в плечо.

— Нет, никогда-никогда,— пылко заверил он.

А потом, обнявшись, они шли по улице Горького, по Тверскому и Суворовскому бульварам, мимо пустых садовых скамеек, и вышли на Арбатскую площадь, где призывно сияла красная буква «М». Они спустились в метро и поехали к нему. Все дальнейшее происходило как во сне. Воспоминание об этом пугало ее и заставляло сердце тревожно сжиматься. Случилось то, что рано или поздно должно было случиться,— вполне естественное, завещанное женщинам прародительницей рода человеческого. Уходила Лида совершенно другой, в ее взгляде, в выражении лица появилось нечто новое — едва уловимое и загадочное. Никакая косметика не способна отразить на лице женщины ее внутреннее состояние — смущение, страх, восторг, надежду... Между ними была разрушена последняя преграда. И вот он опять не пришел. «После того, что произошло, как он мог не прийти? Не пришел! Но почему?» Стекла автомашин, еще несколько дней назад, когда она поведала им о своем решении, радостно светившиеся, теперь помутнели, словно ослепли. Не радовали глаз и веселые цифры на табличках, сообщающих посетителям о часах работы кафе. И только газетный киоск готов был торговать до скончания века.

«Теперь совещание может длиться сколько угодно,— подумал корреспондент Франс Пресс, выходя из здания Центрального телеграфа.— Это моя судьба, мое испытание».

Раскол. В эти дни повсюду — на фасадах зданий, на стеклах его автомобиля, на дверях, на тротуаре, на географических картах, на лицах прохожих — ему виделись наметившиеся трещины, сперва едва приметные, потом вполне различимые и наконец широкие и глубокие, как от землетрясения. Все факты подтвердились. Раскол произошел. Отношения между гигантами стали более чем прохладные. Социалистический лагерь потерял покой... сон... Конец единству. Корреспондент вспомнил свой первый полет в коммунистическом небе: бескрайние пространства, сумерки, беспросветная мгла. Сколько он потратил сил, чтобы отыскать хоть какую-нибудь трещинку, юркой ящеркой пробежавшую по пустыне, но тщетно. И вот теперь, когда он потерял всякую надежду на успех, когда свыкся с мыслью об очередной неудаче, долгожданная трещинка появилась. Игриво прочеркнув поверхность земли, разделив ее полуострова и континенты, она легко просматривалась и с полюсов, и с экватора. А переданная им новость уже летела в эфире. И не было на земле места, где в бесчисленных кабинетах различные специалисты — тайные советники, министры, послы, генералы и маршалы, премьер-министры, миллиардеры, президенты стран с многовековой историей и главы государств, недавно появившихся на политической карте мира,— все без исключения не следили бы за событиями, происходящими в Москве, столь же пристально, как астрономы наблюдают за движением кометы или за солнечным затмением, столь же сосредоточенно, как если бы ожидали небесного знамения.

Корреспондент, передав информацию для агентства, намеревался зайти в какое-нибудь кафе.

«Несмотря ни на что, жизнь прекрасна!» — весело подумал он, минуя киоск, возле которого выстроилась очередь за газетами. Неожиданно взгляд его выхватил из толпы заплаканное лицо девушки. «Прехорошенькая!» — мимоходом отметил француз и улыбнулся, словно увидел нечто исключительное. Он спустился по улице Горького до «Националя» и «Москвы», пересек площадь и оказался в толпе, спешащей в ГУМ. Решив на авось поискать кафе, он вышел на Красную площадь.

Мавзолей Ленина, закрытый для посещения в праздничные дни, был открыт. Корреспондент остановился у края брусчатки. «Где-то там, за Кремлевской стеной, у куполов и башен, они и схлестнулись,— подумал он, вспомнив о совещании.— Да это вовсе не башни и купола, а неприятельские шатры под стенами древней Трои... И сошлись они там... у стен окруженного Орхомена. «Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына...»

— Расскажи нам, Франс Пресс, о гневе Никиты, Сергеева сына...— продекламировал француз.

Мысль о том, что он соприкасается с Илиадой Коммунизма, поразила его. «И все же неплохо бы выпить чашку кофе,— вспомнил он о цели своего похода,— хотя и без кофе голова свежая как никогда». Входя в одну из дверей ГУМа, он обернулся и еще раз взглянул на Красную площадь: бесконечный людской поток к Мавзолею Ленина походил на длинный черный хвост кометы, летящей над объятым холодом коммунистическим сообществом.

Оратор вскинул руку в сторону албанской делегации.

— История заклеймит вас как раскольников! — произнес он с пафосом.

«Не я принес вам раскол, я нашел его здесь, среди вас»,— прошептал Бесник, мучительно борясь со сном, который незаметно подкрался к нему и увлек в свои мягкие теплые объятия. «Ты теперь мой, мой»,— прошелестел он над самым его ухом. «Кажется, конец... заканчивается...» — вяло сопротивлялся Бесник. А из динамиков, словно из Лапландии, неслись далекие и холодные слова:

— История... история...

— Заседание окончено! — объявил председательствующий.

Зал понемногу пустел: тут и там мелькали спины разбегающихся участников совещания (глаза — в начале заседания, спины — в конце). К главным дверям зала устремились спины чехов, поляков, французов, представителей племени аку-аку... «Сплошное спинство,— подумал Бесник.— В каком-нибудь говоре албанского языка наверняка есть такое слово».

На улице албанцев ждали машины с включенными двигателями. Резко, с визгом открываясь и закрываясь, хлопали двери. «Все будет аннулировано,— вспомнилась Беснику фраза, сказанная в кабинете на Старой площади.— Договоры. Кредиты».

Вереница черных автомобилей проследовала мимо Александровского сада. Позади остались башни Исторического музея. Беснику невольно лезли в голову обрывки фраз из последнего выступления, только теперь они были лишены всякого смысла: «История... вы... в...»

Когда машина выехала на Ленинградское шоссе, Бесник отметил, что других машин почему-то нет: за ними на большой скорости шла одна черная «Волга».

— А где же остальные? — удивленно спросил он.

— Поехали в посольство,— сказал Йордан.— Думаю, и мы будем встречать рассвет там.

— Почему?

Йордан улыбнулся, но ничего не ответил. Бесник продолжал смотреть на сугробы, мелькавшие за стеклом.

Железные ворота дачи были распахнуты. Во дворе, как всегда,— ни души. Зато в доме — предотъездная суета. Упакованные чемоданы рядком стояли в коридоре возле комнат. Тут же топтался комендант, которого они до этого видели лишь один раз.

— Обедать не будете? — спросил он.

— Нет! — коротко ответил за всех Йордан.

Появилась женщина, кажется повариха, и поинтересовалась, когда подавать обед.

— От обеда они отказались,— сказал комендант.

Женщина стояла и смотрела, как албанцы, ни на кого не глядя, выносят чемоданы к машинам.

Снизу поднялись уборщица и еще одна повариха.

— Уезжаете? — едва слышно спросила одна из них.

Ей никто не ответил. Взяв последние два чемодана, албанцы вышли во двор. Сборы закончились. Они сели в машины и, кивнув на прощание провожавшим их женщинам, тронулись в путь. В глазах приветливых толстушек застыли растерянность и недоумение.

В посольстве собралась вся албанская делегация. Было непривычно тихо. У многих лихорадочно блестели глаза, выдавая тревогу и волнение.

Бесник слышал, что рядом кто-то произнес «завтра» и «поезд». «Значит, отъезд завтра поездом»,— сообразил он.

Один из служащих посольства время от времени разносил чашки с кофе.

— Вчера я опять собирал студентов,— рассказывал кому-то посол,— просил их быть начеку: возможны провокации.

Собеседник одобрительно кивнул.

— Особенно с девушками...— прибавил посол.

— Лучше бы они вообще прекратили всякие знакомства и встречи.

— Пожалуй,— согласился посол.— Думаю, что они уже...

— Вот так, сразу?!

— Скорее всего, они уже распрощались,— заметил посол.

Собеседник тяжело вздохнул.

А все вокруг тихо разговаривали только об одном. Энвер Ходжа, сидевший на широком диване, молча смотрел на присутствующих. Он уже допил свой кофе и поставил чашку на маленький стол возле дивана. Бесник не сводил с нее глаз. «Сейчас любая старая албанка протянула бы к ней свою морщинистую руку, чтобы по кофейной гуще предсказать будущее Албании,— тоскливо подумал Бесник, но тут же спохватился: — Боже, о чем это я?»

— Да, я уверен, что они уже прекратили всякие встречи,— повторил посол.

Служащий посольства тем временем подавал кофе. Они брали чашки с дымящимся ароматным напитком, подносили к губам и, прежде чем сделать первый глоток, многозначительно поглядывали друг на друга, словно хотели высказать некое тайное пожелание.

На следующий день делегации, как обычно, одна за другой вошли в Георгиевский зал и заняли свои места. Тяжелые двери медленно закрылись, и совещание продолжило работу. Старый гардеробщик почувствовал смутную тревогу: «Может, мне только показалось?» Он медленно повернулся к вешалке — и все понял. Никакой ошибки не было: там, где еще вчера висело длинное черное пальто Энвера Ходжи, зияла пустота. «Улетел первый голубь,— невесело подумал гардеробщик.— Улетел.— Неожиданное открытие ошеломило его.— А что, если улетят вслед за ним остальные?» Старик отметил, как два гардеробщика из бригады, обслужи-

вающей послов, как бы ненароком прошли мимо, делая вид, что увлечены разговором, однако взглядами так и сверлили пустое место на вешалке. Старик чуть было не вскочил, чтобы своим телом прикрыть зиявшую пустоту, но вовремя опомнился: «Зачем? Все и так уже всё знают. Беда! Какая беда!» — Он не мог думать ни о чем другом.

— Да, разлетаются птицы,— прошептал старик.— Быть, видно, суровой и долгой зиме.

А в это время в одном из вагонов мчавшегося через заснеженные поля поезда «Москва — Варшава» Энвер Ходжа беседовал с членами делегации.

— Наконец-то мы возвращаемся домой.— Он долго смотрел на убегающую вдаль седую равнину, а потом добавил: — Задумывались ли вы, товарищи, у кого мы были в гостях?

«У Макбета,— мысленно ответил Бесник, прижавшись разгоряченным лбом к заиндевелому окну. Ему вспомнилась первая ночь, проведенная на правительственной даче под Москвой, и призывные крики телефона-совы.— У Макбета...»

Глава XI

При каждом ударе грома все как один поворачивали головы к окнам, словно ожидали оттуда вестей. Шел проливной дождь, громовые раскаты продолжали раздирать небо.

— В такую погоду самолет вряд ли приземлится,— ни к кому не обращаясь, твердил толстый коротышка, сидевший за столом напротив.

Зана оглядела зал ожидания: все оставались на своих местах и терпеливо ждали прибытия самолета, а чтобы скоротать время, пили кофе, прохладительные напитки, коньяк. Порой дождь затихал, обнадеживая, что погода может наладиться, но откуда-то издалека накатывались новые раскаты грома, словно по небесной мостовой проносились погребальные колесницы, и дождь опять усиливался. Отзвуки громовых раскатов испугом застывали в глазах Миры. «Как она похожа на Бесника! — подумала Зана.— Особенно когда сидит вот так, задумавшись».

— Мира, тебе заказать что-нибудь? — спросила она.

— Нет-нет. Ничего не хочется.

— Может, какао выпьешь?

— Нет, спасибо.

— Кажется, дождь перестает,— заметила Зана.

Мира взглянула на окно. Дождь действительно почти прекратился. Слышались отдаленные раскаты грома, на этот раз гроза обошла их стороной.

В зале было шумно и многолюдно. Какой-то странный тип неотрывно таращился на Зану, стараясь привлечь ее внимание. Она уже несколько раз отодвигалась вместе со стулом в сторону, чтобы не смотреть на него. Но горящие глаза незнакомца настигали ее повсюду. В них сосредоточились и страдание, и порочность. Он словно бы говорил: «Ну что, жениха ждешь? Истомилась небось, мечтая улечься с ним в теплую постельку?»

Незнакомец раздражал Зану. Но как ни пыталась она спрятаться от его бесцеремонного взгляда, ничего не получалось, он неотступно следовал за ней. «Мне ничего от тебя не надо,— умолял он,— лишь признайся, что я прав». «У-уф,— мысленно взмолилась Зана.— А вдруг и вправду этот настырный тип что-то знает? Судя по его назойливому взгляду, вполне возможно.— Зана почувствовала себя перед ним полунагой.— И зачем только таких наглецов пускают в общественные места?» Чтобы отвязаться от него, она предложила Мире пройтись до таможни и обратно. Снова пошел дождь, и они вернулись в зал. Лица встречающих выражали крайнюю озабоченность. «Что бы это значило? Отчего они помрачнели? — подумала Зана.— Конечно, радости мало, если самолет сегодня не прилетит, но зачем же так переживать, да еще злиться на весь белый свет?» Она отвернулась и попыталась сосредоточиться на приятных мыслях: «Поездка за рубеж в составе делегации столь высокого уровня — без сомнения, большая удача. Тем более если речь идет о правительственной делегации. К тому же их пригласили в Москву на празднование Великого Октября. Потом состоялось крупное международное совещание, открывшееся в торжественной обстановке. Сколько интересных впечатлений и рассказов привезет Бесник! И вообще жизнь этой зимой будет просто замечательная. Через пять, самое большее шесть недель — наша свадьба.— Зана боялась повернуть голову, чтобы не встретиться взглядом с тем маньяком.— Мы с Бесником поженимся и будем любить друг друга свободно, не таясь: в полночь под шум дождя, полусон-

ными на рассвете, вечерами.— Она приготовила к приезду Бесника несколько приятных сюрпризов.— Наверное, и он, вспоминая обо мне, подыскал какие-нибудь подарки. Хотя вряд ли у него было на это свободное время».

Дождь шел не переставая. Прильнув лбом к стеклу, Мира мечтательно смотрела в окно.

— У тебя есть кто-нибудь? — Зана ласково взглянула на будущую золовку и прижалась головой к ее плечу.

Мира покраснела; закусив губу и пряча глаза, отвернулась.

— Нет,— еле слышно прошептала она.

Зана обняла ее за плечи и поцеловала в шею, ощутив нежный девичий запах.

— Ты что краснеешь?

— А зачем ты спрашиваешь о таких вещах? — вопросом на вопрос ответила Мира, немного смягчаясь.

Она перестала смущаться и открыто взглянула на Зану. Ее глаза были влажными, точно после недолгой бури.

«Совсем еще девочка,— с нежностью подумала Зана.— И глаза еще по-девичьи чистые!»

— Внимание! Внимание! — ожил динамик у них над головами. Зана почувствовала, как сердце сперва замерло, а потом бешено забилось. Зал затих, словно в ожидании очередного раската грома или всполоха молнии.— Самолет, выполняющий рейс «Будапешт — Тирана», через десять минут совершит посадку... Внимание! Внимание! Самолет, выполняющий...

На Зану произвело впечатление не столько это сообщение, сколько то, что произошло в зале: лица встречающих, сумрачные и озабоченные, тотчас оживились и расцвели улыбками. «Они, наверное, подозревали, что с самолетом что-то случилось, и готовились к самому худшему»,— содрогнулась она.

Несмотря на дождь, люди ринулись к выходу. Лишь немногие остались в зале ожидания; прильнув к окнам, они старались не пропустить момента, когда самолет будет садиться.

— Как хорошо! — захлопала в ладоши Мира.— Он прилетел!

Этот искренний и непосредственный порыв заставил Зану очнуться. Ее захлестнула вдруг такая радость, что чувства неудержимо просились наружу.

— Летит! Летит!

— Вон он!

Из дверей аэровокзала, толкая друг друга, на летное поле вываливали люди и радостно махали вынырнувшему из облаков самолету.

Внезапно взгляд Заны скрестился с огненным взглядом настырного типа, по-прежнему пялящего на нее глаза. На этот раз она не отвела взгляда, а, напротив, задорно глянула на него, как бы подтверждая: «Да-да, все правильно! Я встречаю его, я страшно соскучилась, мне хочется обнять его и насладиться с ним любовью. Да, я надела самую красивую сорочку. Все так! Все правда!» Зана стала энергично протискиваться сквозь толпу к выходу. И тут она обнаружила, что доставивший ей столько неприятных минут человек сильно хромает, припадая на одну ногу. Зана пожалела его и сочувственно посмотрела в его сторону, словно прося прощения. Он ответил кротким и виноватым взглядом: «Ничего-ничего, это недоразумение. Всего лишь недоразумение».

Зана ощутила на лице капли дождя.

— Вот он! Вот! — ликовала Мира.

Огромный самолет, медленно снижаясь, заходил на посадку.

— Граждане! Проходите спокойно, не толпитесь,— без устали повторял полицейский.

А тем временем к приземлившемуся лайнеру с подрагивающими крыльями спешно подгоняли трап. Встречающие, пионеры с цветами и еще какие-то люди направлялись к нему.

— Товарищ Энвер! — пронеслось в толпе.

Он первым вышел из самолета и, спускаясь по трапу, приветственно помахал шляпой.

Было прохладно. Кто-то спешил к трапу, раскрывая на ходу зонт. Следом за Энвером Ходжей выходили другие пассажиры.

— Вон Бесник! — первой увидела брата Мира и радостно захлопала в ладоши.

Зана помахала ему рукой, хотя вряд ли он мог узнать ее с такого расстояния. Дождь шел беспрерывно. Первая группа пассажиров вошла в зал. Начались объятия, поцелуи... Зана вновь помахала рукой, но и на этот раз Бесник ее не заметил.

— Бесник! — окликнула его Зана.— Бесник!

Он удивленно повернул голову, словно не ожидал,

что его встречают. «Как он похудел!» — отметила Зана. Бесник улыбнулся и помахал рукой.

Зана обвила шею Бесника руками и поцеловала его в губы. Мира тоже расцеловала брата.

— Ты не болен? — встревожилась Зана.

— Нет-нет,— успокоил ее Бесник.— Просто устал с дороги.

Все трое были в явном замешательстве. Зана вытерла капли дождя, блестевшие у него на лбу, и смущенно улыбнулась. Лицо Бесника тоже изобразило улыбку, но какую-то скованную и даже вымученную; оно выглядело изможденным, точно неживым.

— Дорога была утомительной? — обеспокоенно спросила Зана.

Бесник внимательно посмотрел на нее, будто увидел впервые, и рассеянно переспросил:

— Дорога?! Нет... то есть да, конечно...

«Даже голос изменился»,— недоумевала Зана.

— Ты выглядишь очень усталым,— добавила в свою очередь Мира.

Зана и Мира озабоченно переглянулись: «Почему он ни о чем не спрашивает? Почему молчит?»

Только что пустовавший зал быстро заполнялся народом. Они едва отыскали свободный столик.

— Выпьешь кофе? — предложила Зана.

— Пожалуй.

Мира и Зана не сводили с Бесника глаз, не зная, как себя вести.

— Ну, как вы тут? — спросил он наконец.— Как наши?

— Все хорошо,— ответила Зана.— Как ты?

— Х-хор-ро-шо,— неуверенно пробормотал Бесник, помолчав.

Зана и Мира опять переглянулись: что же случилось?

— Как Москва? Красивая? — не выдержала Мира.

Бесник посмотрел на сестру долгим непонимающим взглядом, будто она сказала что-то неуместное.

— Москва? — повторил он.

Его прервал громкий женский голос, раздавшийся из динамика. Разобрать можно было лишь одно слово: «таможня». Несколько человек с чемоданами прошли мимо.

— Надо получить багаж,— сказал Бесник и направился в таможенный зал.

— Какой-то он странный,— пожала плечами Мира.

— Какой именно? — Зана в упор посмотрела на будущую золовку.

— Не знаю,— вздохнула Мира.— Так мне кажется. А тебе?

— Мне тоже. Но, может, он просто устал с дороги? — Зана отвернулась к окну. Там она увидела огромный самолет. Двигатели давно заглохли, и он мок под дождем.

Появился Бесник с чемоданом в руке.

— Можем идти? — спросила Зана.— Мы приехали на машине отца.

Они вышли на привокзальную площадь, где множество машин ждало пассажиров. Кое-кто из прибывших спешил занять места в автобусе.

— Вон наша машина! — крикнула Мира и, не обращая внимания на дождь, побежала к ней.

Шофер вышел из машины и взял у Бесника чемодан. Наконец они устроились, и автомобиль тронулся.

— Как поездка, товарищ Бесник? — поинтересовался водитель.

— Все хорошо.

— Э-э-х,— мечтательно произнес он.— Советский Союз, подумать только! Какая же это замечательная страна! Счастливый вы, товарищ Бесник, что побывали там.

Уже на въезде в столицу повсюду развевались флаги, плакаты, кумачовые транспаранты с лозунгами: «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 28—29 НОЯБРЯ!»[1], «СЛАВА АЛБАНСКОЙ ПАРТИИ ТРУДА!». Ближе к Тиране транспарантов и флагов было еще больше. Несмотря на дождь, улицы заполняли толпы гуляющих. Из репродукторов неслась веселая музыка. В городе царила праздничная атмосфера.

Когда машина подъехала к дому, Мира, никого не дожидаясь, выскочила из нее и стрелой взлетела вверх по лестнице, чтобы первой сообщить о прибытии брата. Шофер внес чемодан. Рабо без традиционных приветствий припала к груди племянника. Потом с Бесником, как положено, по очереди здоровались и поздравляли с благополучным возвращением отец, Лирия и, наконец, Бэн, который никогда не знал, как вести себя в подобной ситуации.

[1] 28 ноября 1912 г. провозглашена независимость Албании.

В жалостливом взгляде Рабо сквозила извечная женская тревога: уж не заболел ли? Но вслух она, как принято в таких случаях, говорила что-то радостное и веселое. Не выдержав, однако, Рабо вопросительно посмотрела на Зану, но та только пожала плечами. Рабо осуждающе покачала головой: может, хватит притворяться, что ничего не случилось?

— Ну, дорогой товарищ жених, как съездил? — весело спросила Лирия.

Зана сердито закусила губу: более неуместных слов найти было трудно. «Что за идиотская манера выражаться?!» — подумала она, с обидой глядя на мать.

В дверях появились две соседские девочки.

— С благополучным возвращением! — поздоровались они с Бесником.

— Проходите, проходите,— пригласила их Рабо.

— Нет-нет, мы потом,— засмущались девочки.

— Что он тебе привез? — спросила Миру та, что помладше, когда они вышли в коридор.

— Не знаю,— пожала плечами Мира.

Стол был накрыт. Смеркалось. Кто-то включил свет. Бесник смотрел на расставленные на столе тарелки так, словно в них была не еда, а Бог знает что.

— С благополучным возвращением, сын! — поприветствовал его Струга, приступая к еде.

— Я рад, что и вы, отец, в добром здравии,— ответил Бесник, как того требовал обычай.

Первые минуты любого застолья — всегда самые трудные: еще не наступил момент, когда звон бокалов, звяканье ножей и вилок заполняют паузы между тостами и приветствиями.

— Найди-ка нам какую-нибудь музыку, Бэн,— попросила Лирия.

Бэн, довольный, что может хоть чем-то заняться, кинулся к приемнику. Остальные сосредоточились на еде. Вилка и нож казались Зане сделанными из свинца. Есть не хотелось. Тарелки, ложки и даже красивая сорочка тончайшего батиста, которую она надела специально для него, были холодными как лед.

Бесник вяло жевал, уткнувшись в тарелку. Изредка, когда кто-нибудь начинал говорить, он машинально поднимал голову, делая вид, что слушает. Встретившись случайно с пристальным взглядом Заны, он улыбнулся, но какой-то странной, чужой улыбкой. Лицо Заны было грустным, но она и не стремилась выглядеть

иначе. В глубине души она надеялась, что Бесник почувствует ее настроение и непременно спросит: «Что с тобой, Зана?» Эта мысль увлекла ее, и ей безумно захотелось, чтобы он заметил, как она страдает, чтобы встревожился и спросил, почему она...

— Что с тобой, Зана? — послышался голос Лирии, вмиг разрушивший сладостные терзания и мечты о возлюбленном.

«И чего цепляется?» — тоскливо подумала Зана, вспомнив, что уже второй раз за вечер мать вмешивается в ее дела. И надо же было так случиться, что именно в это время Бесник посмотрел в ее сторону и опять улыбнулся той же странной, ничего не значащей улыбкой, которая больше походила на тик. «Что случилось? Что произошло?» — мучительно думала Зана и не находила вразумительного ответа. «А может, это от усталости?» — спешил утешить ее внутренний голос.

Зазвонил телефон, похоже,— друзья Миры. Немного погодя звонок повторился.

— Какой-то незнакомый голос просит позвать Бесника,— пожала плечами Мира.

— Я устал! — взмолился Бесник.— Скажи, что я чертовски устал и не хочу ни с кем разговаривать.

— Брат только что вернулся из-за границы. Он очень устал. Может, вы позвоните позже? — Насупившись, Мира слушала, что ей говорили, потом жестом подозвала Бесника.— Он настаивает, чтоб ты подошел,— зашептала она, прикрывая трубку рукой.— Говорит, что из Центрального Комитета.

Бесник взял трубку.

— Алло, Бесник Струга слушает.

Сказав несколько раз «да», он посмотрел на часы и положил трубку.

— Кто это? — спросила Рабо.

— Мне нужно быть во Дворце Бригад на правительственном приеме по случаю праздника.

— Ты приглашен?! — Лирия не могла скрыть радостного удивления.— Очень хорошо! Кристач тоже собирается.

Бесник снова посмотрел на часы.

— Скоро выходить. Мира, достань из чемодана белую рубашку.

Рабо засуетилась с утюгом. Зана растерянно огляделась, не зная, чем заняться.

Бесник впервые был приглашен на прием во Дворец Бригад. Он вышел из автобуса и направился к правительственному подъезду со стороны сада. У входа неподвижно стояли охранники, закутанные в мокрые от дождя плащи. Бесник невольно замедлил шаг. В холодном свете фонарей сад выглядел сказочно красивым. Два сотрудника Госбезопасности настороженно повернули головы.

— Добрый вечер! — сказал Бесник.

— Добрый вечер. Ваше приглашение?

— У меня нет приглашения. Мне позвонили по телефону.

— А-а, вы из делегации, которая была в Москве?

— Да.

— Фамилия?

Бесник назвал имя и фамилию. Один из них достал из кармана пачку пригласительных билетов.

— Бесник Струга... Бесник Струга...— бормотал он.— Вот ваше приглашение.

Бесник взял конверт, не зная, что делать дальше.

— Прием уже начался? — спросил он.

— Да,— сухо бросил сотрудник Госбезопасности, но заметив, что Бесник колеблется, идти или нет, добавил: — Почти все из вашей делегации опоздали. По-видимому, вам поздно сообщили.

— Да, наверное.

— Проходите, не задерживайтесь. Ваше место в зале «Д».

Бесник шел через большой сад. По обе стороны заасфальтированной дороги, ведущей к зданию, чернели служебные автомашины. Дорога поворачивала немного вправо, а потом плавно поднималась вверх, прямо к входу во Дворец. Там под металлическими фонарями топтались еще двое охранников. Изнутри сквозь толстые стекла дверей сочился наружу желтоватый свет, казалось, что слышны даже голоса гостей. Бесник достал пригласительный билет и хотел было объяснить, что он из группы, которая недавно прибыла из Москвы, но передумал.

— Проходите, пожалуйста,— сказал человек, проверявший приглашение.

За первой стеклянной дверью была вторая; из-за нее доносился приглушенный шум. Бесник сделал несколько шагов по толстому красному ковру и остановился.

— Гардероб внизу. С левой стороны.— Перед ним вырос один из распорядителей.

Бесник спустился вниз. Гардеробщики, собравшись в кружок, курили.

— Вы из группы, прибывшей из Москвы? — спросил один из них.

— Да, поэтому и опоздал.— Бесник взял номерок.— Теперь даже не знаю, идти или нет? Вроде бы неудобно...

— А в каком вы зале?

— В зале «Д».

— Ничего страшного,— успокоил его гардеробщик.— Если бы вам в Центральный зал, тогда совсем другое дело.

Бесник поднялся в просторное фойе, устланное красным ковром. Невесть откуда опять появился тот же распорядитель. Бесник показал ему пригласительный билет.

— Зал «Д» здесь,— указал он на одну из выходящих в фойе дверей.

За длинным столом сидели приглашенные. Бесник быстро освоился. Все оказалось проще, чем он предполагал: никто не обратил на него никакого внимания, ужин только начинался, и еще не все успели перезнакомиться. Занятый своими мыслями Бесник не спеша ковырял вилкой в тарелке. Немного погодя он сообразил, что перед ним закуска. Есть не хотелось. Бесник слушал, как его визави, обращаясь к соседу справа, с почтением произносит: «товарищ министр». Бесник попытался понять, кто из них министр. Один — плотный мужчина с серьезным неулыбчивым лицом, другой — худой, с заискивающей улыбкой. «Бывают же такие разные люди»,— подумал Бесник и тотчас осекся: министром оказался худой, а заискивал перед ним суровый крепыш.

— Попробуйте рыбу, товарищ, отлично приготовлена,— прервал его размышления сосед справа, желая, видимо, таким образом познакомиться и завязать беседу. Маленькие живые глазки незнакомца сверкали любопытством.— Неплохой зальчик, правда? — по-свойски подмигнул он.— Когда я впервые попал во Дворец Бригад, то место мое было не то в зале «Х», не то в «У», теперь и не припомню. Скажу прямо, мне это не понравилось, особенно когда я увидел одного из своих знакомых, направлявшегося в зал «Б». Представляешь?

Человек, отроду не знавший, с какого конца ружье заряжается, шел в зал «Б». Ума не приложу, как я тогда сдержался и не ушел! — Маленькие глазки соседа так и сверлили Бесника любопытными буравчиками. Заметив, что рассказ не произвел должного впечатления, он обиженно спросил: — А ты был на фронте?

— Нет,— ответил Бесник.

— Так я и думал,— удовлетворенно хмыкнул незнакомец.— Хотя ты и не мог быть. Небось в те годы под стол пешком ходил. А сюда как попал? Нефть нашел или раскопал залежи хрома?

— Нет.

— А-а, значит, ты директор,— обрадовался незнакомец.

— И не директор.

Маленькие глазки от любопытства готовы были выкатиться из орбит, они словно бы спрашивали: «Почему же тогда ты здесь, в этом зале?» Еще минута, и он спросил бы об этом напрямую. Но вдруг все зашикали, прислушиваясь к ожившему динамику в углу зала. Зазвучал голос, который показался Беснику знакомым. Зал понемногу угомонился, и можно было расслышать отдельные фразы: «...потому что Народная Республика Албания, родившаяся среди бурных морских волн Адриатики, продолжает жить и бороться в условиях, близких к морской стихии... история не раз подвергала наш народ суровым испытаниям, но он никогда не склонял головы... поднимал голову выше...» Шквалом продолжительных аплодисментов были встречены эти слова. Усиленные динамиками, они разнеслись по Дворцу Бригад.

— Премьер-министр. Это его голос,— сказал кто-то.

Речь премьера была краткой, но впечатляющей. В конце ее он провозгласил тост. Все подняли бокалы и дружно чокнулись. Но радужные краски искрившегося в хрустале вина не смогли, как показалось Беснику, скрыть сдержанность и напряжение, незримо витавшие в воздухе. «Неужели они всё знают?» — подумал Бесник.

— Скорее бы конец, скорее бы! — услышал Бесник чей-то тихий голос. Обернувшись, он увидел сухонькую сморщенную старушонку, одетую во все черное, с личиком точно печеное яблоко, потухшими глазами и беспрерывно шевелящимися губами. Рюмка с ракией дрожала в ее слабой руке. Не обращая ни на кого внима-

ния, она еле слышно причитала и беспрестанно качала головой.— Скорей бы конец! Ему бы надо быть здесь, а не мне, несчастной. Но он не придет. Никогда не придет. Вместо него я. Ох, горе мне, горе. И так каждый год. Почему не отсохнут ноги, которые приводят меня сюда?

Бесник хотел как-то утешить старушку, но не нашел нужных слов. Кисти ее черной шали скорбно нависали над столом. Ему вспомнилась шаль Долорес Ибаррури с огромными черными кистями, похожими на когти диковинной птицы.

Официанты разносили закуски и бутылки с напитками. Кое-кто из гостей требовал уже сифон с водой — было жарко, другие, насытившись, курили. Из динамика лилась музыка. Все вокруг перезнакомились и беседовали как добрые приятели. Незаметно зал пустел — гости один за другим выходили в фойе. Бесник встал из-за стола и тоже направился к выходу. В фойе было настоящее столпотворение, там собрались люди из всех залов. Лестница, ведущая на второй этаж, напоминала бурный людской поток: одни поднимались вверх, чтобы осмотреть дворец, другие, наоборот, спускались вниз, чтобы встретиться и поговорить со знакомыми. Казалось, что красные ковры испытывают радость от прикосновения тысяч шагавших по ним ног. Повсюду звучала музыка. Бесник освоился и чувствовал себя хорошо. Дворец был просто великолепен. «Дворец Бригад... Какое прекрасное название!» — с гордостью подумал он. Раньше это был королевский дворец, но в ноябре 1944 года в его залах несколько ночей подряд жили партизанские бригады, освобождавшие Тирану. С тех пор с легкой руки кого-то из партизан дом стали называть Дворец Бригад. «Хорошее название, очень хорошее»,— снова подумал Бесник. Правда, он не мог представить, как партизаны спали здесь, на блестящем паркете, в креслах, на диванах, коврах, на мраморных лестницах под расписными потолками, на которых парили ангелы и мифические божества, под огромными люстрами и барельефами, под символом королевской власти и Древнего Рима. А один партизан спал, говорят, на втором этаже на кровати самого Виктора Эммануила[1]. Потом об этом было много разговоров. Одни

[1] Виктор Эммануил III (1869—1947) — последний король Италии (1900—1946).

называли партизана Меке, другие — Мете, точно никто не помнил его настоящего имени. Он стал известен в одно ноябрьское утро не столько тем, что провел ночь в королевской постели, сколько по другой, в высшей степени странной причине. Партизан Меке (назовем его так) всю ночь не мог сомкнуть глаз. Люди спали везде, усталость брала свое. Спали те, кто улегся на коврах, паркете, и те, кто примостился на ступеньках мраморных лестниц. И только Меке, возлежавший на самом великолепном ложе Албании, Италии и Эфиопии, коими долгие годы правил король Виктор Эммануил III, никак не мог заснуть. Наутро, когда Меке вышел из королевской спальни, все с недоумением обнаружили, что он бледен, точно его всю ночь мучили кошмары. Одни посмеивались в усы, другие подшучивали над бедолагой, а третьи, как он сам, молчали, будто воды в рот набрали. О партизане Меке написаны воспоминания очевидцев и тех, кто встречался с очевидцами, сложены стихи и поэмы, но никто так и не докопался до истинной причины его странной бессонницы. Правда, в некоторых текстах встречались такие, например, выражения, как «королевские сны», «призраки», «старинные привидения», «тяжкие думы о прошлом», но они мало что объясняли. Высказывалось и более прозаическое предположение, что королевская кровать оказалась слишком короткой для Меке и ему некуда было положить ноги (известно, что Виктор Эммануил был маленького роста). Но и эта версия была отвергнута: для партизана Меке, который за три года войны научился спать в любых условиях — в окопах, канавах, траншеях, расщелинах на склонах гор,— вряд ли длина кровати имела значение. Так эта загадка и осталась неразгаданной. В прошлую зиму Илир, работавший в южных районах, вновь пытался отыскать затерявшийся след бывшего партизана, который провел бессонную ночь в королевской постели, но безуспешно.

Бесник с интересом смотрел на гостей, спускавшихся со второго этажа. «Любопытно, открыта ли та комната? — подумал он. Ему страшно захотелось спать: последнюю неделю он спал не более трех часов в сутки.— Лечь бы сейчас в королевскую кровать, свернуться калачиком и крепко заснуть...» Бесник медленно, точно лунатик, поднимался по лестнице. Прямо перед ним на мраморной стене была высечена легендарная римская волчица. Ему показалось, что она глухо зарычала. К ее

разбухшим сосцам прильнули братья Ромул и Рем. «Нет, это мы, Бесник и Бэн, припали к ее сосцам,— решил Бесник.— Вскармливай молоком, волчица! Вскармливай!»

— Бесник, это ты?! — Кто-то дружески приобнял его за плечо.

Бесник обернулся: перед ним стоял Кристач, отец Заны.

— О-о! — только и смог вымолвить Бесник.

— С возвращением тебя! Как съездил? Устал небось? — закидал его вопросами Кристач, не снимая руки с его плеча.

Бесник неопределенно повел головой и улыбнулся.

— Как у вас?

— Нормально. Все хорошо.

Кристач с восхищением смотрел на Бесника и не скрывал радости, что встретил его именно здесь, во Дворце Бригад. Они спустились вниз и какое-то время прохаживались вдвоем.

Кристач так и шел, по-отечески заботливо обняв Бесника. Он гордился будущим зятем: «Шутка ли, в таком возрасте — и уже Москва... Дворец Бригад...»

— Зана осталась у нас,— сказал Бесник. Он не знал, о чем еще говорить.

— Да-да, я знаю,— пробормотал Кристач.

Оба были в замешательстве: никогда еще они не оказывались вдвоем в обстановке, располагавшей к откровенности.

Бесник отметил, что Кристач постоянно с кем-нибудь раскланивается; казалось, он был здесь как дома. Неожиданно его окликнули, и Кристач хотел подойти вместе с Бесником, но тот отказался, решив осмотреть дворец — когда еще представится такой случай?

— Домой после приема поедем вместе,— махнул рукой Кристач.— Я на машине.

Бесник остался один. Обеденные залы почти опустели. Большинство гостей прогуливались по фойе и боковым холлам, где уже подавали кофе. Кое-кто направился в музыкальный салон, где продолжался праздничный концерт. Там, в стороне, в окружении премьер-министра и нескольких членов Политбюро, сидел на диване Энвер Ходжа и пил кофе. Бесник остановился у входа, разглядывая гостей. Одни прохаживались по двое или небольшими группами, другие предпочитали одиночество, третьи искали место, куда

бы поставить пустую чашку. Беснику показалось, что все куда-то торопятся и, похоже, ничего не знают о происшедшем в Москве. Среди гостей — министры, послы иностранных государств, члены ЦК, генералы, партийные секретари. Если кто-либо из них о чем-то и догадывался, то вряд ли знал столько, сколько Бесник. Указание для «москвичей» было строгим и однозначным: сохранять все в строжайшей тайне до тех пор, пока не будет проинформирована партия. «Наверное, в самое ближайшее время, может — завтра-послезавтра, соберется Центральный Комитет,— подумал он.— Потом проинформируют парторганизации, а там и весь народ. Но никто не узнает и половины того, что знаю я, рядовой журналист.— Мысль эта приятно ласкала его самолюбие, вызывала чувство удовлетворения.— Не такой, как все... Значит, я не на обочине... Что за глупости лезут мне в голову?!» — спохватился Бесник. В памяти мгновенно возник образ начальника отдела кадров, и удовлетворения как не бывало. К нему подошел главный редактор.

— Кого я вижу?! Как дела, Бесник? — обрадованно протянул он руку.— Надеюсь, поездка была по-настоящему интересной?

— Как вы? — спросил в свою очередь Бесник.

— Трудимся помаленьку. Работа и заботы — всегда рядом.

«Он-то уж наверняка многое знает,— подумал Бесник.— Член ЦК, состоит в отделе пропаганды».

— Совещание продолжается,— сказал, сам не зная почему, Бесник.

— Совещание?! Какое совещание? — удивленно переспросил главный.

— То, где мы были... Московское...

— А-а, это...— вяло протянул шеф, но тут же быстро вскинул голову.— Да-да, конечно. Как бы враги ни клеветали, единство наше неколебимо.

«Нашел перед кем выступать»,— неприязненно подумал Бесник.

— До свидания,— поспешил откланяться редактор, еще раз протягивая руку.

Бесник остался один. Мимо него, с кем-то разговаривая, прошел посол Франции. Чуть раньше Бесник видел югославского посла. «Уже что-то пронюхали и суетятся»,— поморщился он. Группа сельхозкооператоров, скорее всего передовиков производства, с изумлением

рассматривала убранство дворца. Прошел мимо подвыпивший гость, на которого к тому же напала икота. В этом людском водовороте Бесник приметил советского посла, он разговаривал с послом Чехословакии и с кем-то из африканцев. Бесник развеселился, он вспомнил разговор Хрущева с Энвером Ходжей («Если наш посол сказал именно так, то он попросту глуп»,— заметил тогда Хрущев. «Но это не просто глупость, а глупость политическая»,— прервал его Ходжа, сделав ударение на последнем слове. «Какая разница? — отмахнулся Хрущев.— Это всего лишь разновидность глупости вообще».— «Каждый может сморозить глупость, и его можно простить,— заметил Энвер Ходжа,— но если одна и та же глупость повторяется — это уже определенная линия, политическая тенденция. Вы не находите?»). Потом каждый из них припомнил к случаю несколько пословиц и поговорок о глупцах и глупости, но имя посла больше не упоминалось. «Он, бедолага, и не знает, что́ о нем тогда говорили,— усмехнулся Бесник.— И, наверное, не узнает никогда».

Мимо Бесника проследовала группа китайцев. Мелькнул в толпе и снова пропал из вида Йордан. Около зеркала Скендер Бермема оживленно беседовал с очень красивой женщиной. Многие поглядывали вокруг, видимо, искали знакомых. Мраморная лестница была запру́жена празднично одетыми людьми. Повсюду только и слышалось: «С праздником!», «Многих лет жизни и процветания!».

«Какие они радостные и счастливые! — огорчился Бесник.— Ни о чем не догадываются! Случилось нечто весьма серьезное, рушатся основы социалистического лагеря, но люди еще не знают об этом. Они беззаботно наслаждаются праздничной обстановкой, а между тем очень многое вокруг изменилось. Невидимая война уже началась. В эти внешне спокойные и мирные дни на заполненных машинами и пешеходами улицах спешно воздвигаются баррикады, роются траншеи. Улицы Дибры и Баррикад, центральный бульвар... что-то изменилось в витринах магазинов, в вывесках и табличках на их дверях, хотя часы работы остались прежними; что-то случилось с праздничными днями и планированием свадеб, с мебелью, с городскими автобусами, с каждым человеком в отдельности, со всеми вместе, со всеми... Грядет настоящая война. Верно сказал Энвер Ходжа, когда самолет пересек границу Албании, что теперь у

нас, албанских коммунистов, спокойная жизнь кончилась. Сейчас они веселятся и ни о чем не подозревают,— рассуждал Бесник.— Хотя в глазах гостей нет-нет да и промелькнет странный блеск, который едва ли можно объяснить только чувством радости. Пожалуй, он предвещает пока еще не осознанную беду. Похоже, что над этой массой людей, значительную часть которых составляют испытанные кадры партии и государства, грозно нависла опасность. Прощание с мирной жизнью неизбежно, и оно уже осязаемо»,— заключил Бесник.

— «Мама, прощай! Я иду в партизаны...» — Кто-то рядом с ним тихо напевал известную песенку военных лет.

«Нет, это не тот радостный блеск глаз, с которым встречают праздники,— подумал Бесник.— Наверное, они о чем-то догадываются. Это заметно и по вспышкам жертвенного огня на лицах. «Не спеши горевать, мама, если я не вернусь домой»,— закончил он начатую кем-то партизанскую песню.— Жаль, что про себя, так хорошо получилось»,— порадовался Бесник, и комок грусти подкатил к горлу.

У одного из входов в зал Бесник приметил группу людей, с молчаливым обожанием смотревших на Энвера Ходжу, который беседовал с пожилой женщиной в черном платье. «Наверное, мать погибшего героя»,— решил Бесник. Женщина сидела на диване напротив Энвера Ходжи и что-то говорила ему, а он внимательно слушал, наклонив голову. Поодаль стоял премьер-министр, он разговаривал с румынским послом и при этом, то ли в шутку, то ли всерьез, грозил ему пальцем. Румын улыбался и разводил руками. Бесник увидел посла Югославии. Скрестив руки на груди, он неотрывно смотрел на албанских руководителей.

Бесник медленно шел по фойе; ноги, утопая в мягком ворсе ковра, как бы отделялись от тела и двигались сами собой. На одной из стен висел огромный флаг: черный двуглавый орел на кроваво-красном полотнище сохранял спокойное безразличие. «Ты должен правильно понять,— сказал ему тогда, на приеме в Кремле, подвыпивший летчик, в очередной раз отыскав его в толпе гостей.— Я не настаиваю, чтобы вы эту гордую птицу на своем флаге заменили каким-нибудь пресмыкающимся. Нет, и тысячу раз нет! Только поосторожней с крыльями. Чтобы не выросли больше, чем следует».— «И что дальше? — не сдержался Бесник.—

Уж не хотите ли вы их укоротить?» Он вспомнил, что в старину в некоторых крахинах, особенно на севере, опозорившим себя женщинам остригали волосы. На миг он представил, что орлиные крылья подрезаны, и содрогнулся от гнева. «Горе мне, остриженной, горе! Не снести мне такого позора!» — безутешно рыдали несчастные женщины, если с ними случалась беда. «А как оплакивали бы себя обесчещенные флаги? — с ужасом представил Бесник. — «Горе нам, поруганным и преданным»?»

Увидев в одном из боковых холлов свободное кресло, Бесник направился к нему. Оглядевшись, он приметил, что в креслах напротив сидели в основном пожилые люди. Они пили кофе, слушали музыку, тихо беседовали, негромко смеялись. В зале снова промелькнул Йордан, но слишком далеко, чтобы перемолвиться с ним хотя бы парой слов. Прошли два писателя. С одним из них, автором пьесы «Безоблачное счастье», Бесник был знаком. «Видимо, и они ничего не знают, — решил он. — Как же они без «советских образцов»? Но, может, все не так плохо и полного разрыва не произойдет?» Он взглянул на советского военного атташе, и в памяти всплыли толпы генералов и маршалов на приеме в Кремле. «Месть сверхдержавы», — подумал Бесник, чувствуя, как слипаются глаза и его клонит в сон. Рядом прошел Кристач, но Беснику показалось, что он где-то очень далеко. Сонливость, одолевшая партизана Меке, заполонила все пространство, повисла над люстрами, пристроилась к барельефам и обволокла Бесника. Проковыляла, что-то бормоча под нос, старуха в черном, мать героя. Наверное, опять причитает, что зажилась на этом свете. Внезапно он увидел коренастого человечка, приближавшегося к нему. Коротышка неслышно ступал по ковру, точно ощущал исходящие от ворса флюиды сонливости. «Что вынюхивает здесь Черная Кость?» — Бесника передернуло от отвращения. Да, это был он, страшный карлик, каким он запомнил его по кинохроникам 1947 года. Он шел крадучись, вытягивая шею и ступая с носка, словно что-то высматривал и выискивал. Их взгляды скрестились в молчаливом диалоге.

«Мне все известно», — вызывающе бросил он. Бесник не хотел вступать в спор, но не сдержался: «Не может быть!» — «Своим переводом ты выступал против меня. Там... в Москве», — настаивал карлик, поднимаясь на цыпочки, чтобы казаться выше и значительнее. Бес-

ник молчал. «Ты переводил на румынский, английский и даже на древнегреческий».— «Я не владею этими языками,— возразил Бесник.— Речь о вас шла. Это правда, но...» — «Все-таки, значит, шла? Да, я все знаю. Ты назвал Кочи Дзодзе албанским Ежовым и рассказал, как меня расстреляли в 1948 году, а Ежова в 1938-м. Кроме того, ты сравнивал меня с Ранковичем[1], который по сей день живет и здравствует в Югославии». Бесник заметил следы пуль у него на пиджаке. Они располагались в определенном порядке, точно их оставил специально изобретенный для этого механизм. «Где мое место? Я был не только министром внутренних дел, но и членом Политбюро, оргсекретарем партии, вторым человеком в Албании.— Он приподнялся на цыпочки, высматривая достойное для себя место.— Вот здесь. Нет, лучше там, в Центральном зале. Можно в зале «Б» или В». Повернувшись к Беснику, он добавил: «Я совершал злодеяния, потому что этого требовало время». Бесник отрицательно покачал головой. «В жизни каждой страны есть периоды, отмеченные страшными злодеяниями,— гнул он свое.— И кто-то должен их совершать».— «1947 год мог стать для народа счастливым годом,— возразил Бесник,— а ты сделал его годом ужаса и страха».— «О-о, нет-нет! Как нехорошо ты говоришь! Но я не обижаюсь, хотя мог бы вызвать тебя в Административный комитет».— «Он давно упразднен».— «Это не важно. Можно восстановить. Наступили другие времена. Ты сам сказал, что началась невидимая война. Вы позвали меня, и я пришел».— «Мы позвали тебя?!— удивился Бесник.— Только что ты жаловался, что...» (Бесник хотел сказать «мы расстреляли тебя», но произнес: «мы называли тебя Черной Костью»).— «Не важно,— усмехнулся он, прикрывая рукой следы от пуль.— Если вы не позвали, то время призвало меня. И вот я явился. Трудные времена наступили. Если вы не примете меры, буря сметет всех вас. Вы будете осуществлять тот же террор, что и я. Вновь грядет 1947-й!» — «Нет, никогда!» — «Живы еще те, кто ждет меня, кто надеется на меня».— Он опять поднялся на цыпочки, будто высматривал кого-то. «Возможно, возможно. Но их немного... Например...» — «Кого ты имеешь в виду? Кого?» — нетерпеливо спрашивал он. «Не скажу».— «Повтори! Что ты сказал? Что?»

[1] Возглавлял в те годы Службу безопасности Югославии.

— Тут один товарищ слегка задремал,— прогремел над ухом Бесника чей-то голос.

Бесник очнулся.

— Наверное, хватил лишку,— посочувствовал кто-то.

— Праздник сегодня,— вмешался другой.— Вот человек и веселится.

— Ничего-ничего, товарищ. Бывает,— успокоил его мягкий голос.— Сегодня праздник.

Бесник встал — страшно болела голова. В фойе и холлах уже не было прежнего оживления. Многие держали в руках взятые из гардероба пальто. Прием, судя по всему, заканчивался. Бесник взглянул на часы: было на самом деле поздно.

Дома его ждали.

— Как там?— спросила Рабо.

— Нормально,— вяло отозвался Бесник, заподозрив в тишине дома скрытую напряженность.

Чемодан стоял раскрытым. Мерно гудела стиральная машина. Лирия уже ушла. Взгляды Бесника и Заны встретились. Она в одиночестве сидела на диване и была явно чем-то расстроена. Отец курил. Бэн возился с приемником, спасительным убежищем от чрезмерного внимания взрослых. Даже в глазах Миры затаилась тревога.

Зана засобиралась домой.

— Я пойду, пожалуй,— проговорила она нерешительно.— Бесник, ты проводишь меня?!

— Конечно.

— Спокойной ночи, отец!— попрощалась Зана.— Всем спокойной ночи!

— Спокойной ночи, дочка,— отозвался Струга.

Они спустились по лестнице и вышли на улицу. Было холодно. Зана, как обычно, взяла его под руку.

— Во Дворце я видел твоего отца,— сказал Бесник.

— Да?

Какое-то время они шли молча.

— Бесник!— первой заговорила Зана.— У тебя что-то случилось? Ты так изменился.

— Нет,— попытался он успокоить девушку.— Тебе показалось. У меня все в порядке.

— Но это показалось не только мне.

— Правда?
— Неужели тебя так утомил перелет?
— Есть немного.
Они вышли к центральному бульвару. Листья с деревьев облетели и, подгоняемые ветром, с шуршанием кружились по тротуару. «Она ни о чем не догадывается,— подумал Бесник.— А я не могу сказать ей правды. Что за пытка, право!» Бесник привлек к себе голову Заны и нежно поцеловал ее волосы.
— Девушки в Москве красивые?— не без лукавства спросила Зана.
— Девушки?— переспросил он удивленно. Вопрос застал его явно врасплох.— Честно говоря... Мне кажется, я их и не видел.
— Ах, какие мы скромные!— Зана выскользнула из его объятий, и они зашагали рядом.
Бульвар был пустынным. Только крупные скрюченные от холода и твердые, словно деревянные, листья неотвязно следовали за ними. Они то забегали вперед, то замирали, как бы поджидая, то бежали рядышком.
— Бесник, я хочу сказать тебе кое-что.— Зана замедлила шаг.— Только дай слово, что не рассердишься.
— Говори.
— Ты знаешь, я не мелочна. Ты сам не раз говорил об этом. Я не придаю значения многим вещам, которые для других подчас значат все или почти все. Ты хорошо знаешь об этом. Тем не менее я была несколько озадачена, когда... Понимаешь, мне неловко говорить... Но мне было стыдно перед твоими родными... Когда они распаковали вещи, там не нашлось никакого, даже самого маленького, сувенира для меня. Пускай пустякового... хотя бы показать, что ты помнил обо мне. Понимаешь, Бесник,— взволнованно продолжала Зана,— извини, что начала этот разговор, но несколько часов назад я оказалась в весьма двусмысленном положении. Такое невнимание... Как-то мы говорили с тобой об этом, и я, если помнишь, осуждала тех, кто, бывая за границей, только и думают, как бы набить чемоданы всякими тряпками. Поэтому я не просила тебя ни о чем. Ты знаешь... Но все же... хотя бы показать, что ты вспоминал обо мне. Мама обиделась за меня и ушла. Я не обиделась. Нет, клянусь тебе, это правда. Просто я оказалась в затруднительном положении. Как они смотрели на меня... Мы скоро поженимся. Не хочу ли-

цемерить, но мне было неприятно. В иной обстановке я не обратила бы на это никакого внимания — ты знаешь, что мамины выходки на меня не действуют, но, к сожалению, это совпало с твоим, мягко говоря, странным и непонятным отношением... Я не знаю, как его назвать... может быть, словом «холодное».

Они молча шли по бульвару, а потом направились к дому Заны. И шли довольно долго. По обеим сторонам улицы росли тополя. Без листьев они выглядели уныло. «Тополя...» — Бесник вспомнил беседы в Москве. А Зана ждала объяснений — любых, пускай самых неправдоподобных, самых примитивных, но объяснений. «Какая пытка! — сокрушался он.— Знаю, что должен что-то сказать, чем-то успокоить ее, и не могу. Так бывает, наверное, только во сне». Бесник понимал, что время идет, а молчание затягивается. Они уже подошли к дому Заны и остановились.

Бесник ожидал, что Зана рассердится, и на сей раз всерьез, но этого не произошло.

— Ты на самом деле устал?— обеспокоенно спросила она сдавленным голосом.

— Да, Зана, очень!— Его ответ походил на стон.

Она сжала его руку. «Зана верит мне»,— обрадовался Бесник и порывисто обнял ее и поцеловал. Зана стояла не шелохнувшись, будто замерла. Бесник ощутил легкий аромат заграничного дезодоранта (наверное, Кристач привез из-за рубежа), и внезапно, словно разбуженное первобытное чудовище, до сих пор дремавшее в глубинах вод, в нем проснулось желание обладать ею. Он заключил Зану в объятия и еще раз поцеловал, жадно и продолжительно, но она была холодна и неприступна. Осторожно, стараясь не обидеть Бесника, она выскользнула из его объятий и взбежала на крыльцо.

— Спокойной ночи!— Зана помахала рукой и исчезла за дверью.

Беснику ничего иного не оставалось, как вернуться домой. И он почувствовал, что безумно хочет спать. Была полночь. Кругом — ни души, одни тополя. «Мне не избавиться от этих тополей,— с горечью думал Бесник. Он шел, покачиваясь, словно пьяный.— Жалуйтесь, жалуйтесь, что я неправильно вас перевел».

На бульваре, там, где начиналась улица Дибры, показалась какая-то фигура, точнее — ее очертания, напоминавшие небрежно выполненный эскиз. Кто-то, похожий на всадника с копьем, стоял посреди дороги. Бес-

ник направился к нему. Копье дрогнуло в его руке. «Нападай, нападай»,— мысленно подбодрил его Бесник. Дома темными квадратами нависали с обеих сторон улицы. Послышался знакомый голос:

Не водись с блондинками,
Жуткими кретинками...

«Обязательно возьмешь в жены блондинку!— позлорадствовал Бесник.— Именно блондинку, непременно блондинку... А почему? Почему?»

Добравшись до дома, он поднялся по неосвещенной лестнице. Все давно спали. Не раздеваясь, Бесник рухнул на постель, точно провалился в черную бездну, и забылся тяжелым сном странника, одолевшего переход через бескрайнюю пустыню.

Часть третья
Суровая зима

Глава XII

Наступила зима. Холодные снежные ветры бушевали над многими странами, стремясь расширить ее владения. Зима устремлялась к окраинным районам территорий, покрытых когда-то ледниками, подобно тому как каждый новый завоеватель желает покорить земли, некогда захваченные его предшественниками. Почти во всех странах бытует выражение: «Пришла в движение земная ось» — так обычно говорят о наступлении настоящей зимы. Когда-то это древнее изречение широко употреблялось у разных народов и означало смену времен года, начало нового века или тысячелетия. Это его значение было спорным, но тем не менее оказалось весьма живучим, как, впрочем, и многие другие старинные присловья. Да это и понятно: людям хочется верить, что порядок на земле во многом зависит от них самих. Правда, он может подвергаться разного рода испытаниям, напоминающим порой грозовую бурю.

Перемены происходят чаще всего под необозримыми просторами холодного декабрьского неба, дышащего неодолимой тоской, которая на тысячи миль вокруг порождает величайшее безмолвие.

Во второй половине декабря, в канун Нового года, когда продавцы начинали украшать витрины магазинов хлопьями ваты, которые, по их разумению, должны изо-

бражать снег, улица Дибры заметно оживлялась. В эти дни непременно находился прохожий, который учтиво спрашивал:

— Где встречаете Новый год?

И хотя в этом вопросе не было ничего необычного и его бросали походя любому случайно встреченному приятелю, с некоторых пор на припорошенных снегом улицах его ждали все: сотни и тысячи людей неустанно задавали его друг другу.

А пока на ноги прохожих налипают опавшие листья, сырые и тяжелые от вязкой грязи,— последние знаки ушедшей осени, которые любят воспевать в стихах молодые поэты.

Особый колорит городу придают специально открывающиеся в конце декабря новогодние базары с лотками и палатками, сооруженными из пластиковых щитов; товары в них выглядят ярко и завлекательно. Ветер, к радости зевак, точно паруса, надувает разноцветные тенты; от груд апельсинов, красочных открыток, блестящих елочных игрушек ломятся предпраздничные прилавки.

Шел третий час пополудни.

— Позволь угостить тебя чашечкой кофе,— предложил архитектор столичного исполкома фоторепортеру литературной газеты.— Прошу тебя, не отказывайся. Сегодня у меня замечательный день.

День для него и вправду выдался замечательный: только что стало известно, что принят и утвержден представленный архитектором план реконструкции улицы Дибры. Фоторепортер решил проинтервьюировать счастливчика прямо на этой улице. Отыскав в архиве АТА несколько старых фотографий, он задумал фотомонтаж под броским заголовком: «Судьба одной улицы», в котором рядом со снимками развалюх тридцатилетней давности и фотографиями последних лет хотел дать план будущей улицы Дибры с эскизами новостроек.

— Сколько человеческих судеб связано с этой улицей!— воскликнул архитектор, показывая репортеру, какие вырастут здесь современные здания, новый отель и где будут проложены шоссе и тротуары.

Слушая его, репортер обдумывал подписи под фотографиями.

— Выпьем кофе?— снова предложил архитектор.

— С удовольствием,— согласился репортер, не отрываясь от видоискателя.— Пока светло, сделаю еще парочку снимков.

Во время съемки последнего кадра ему показалось, что среди прохожих, попавших в объектив камеры, мелькнуло лицо Бесника Струги. Репортер оторвался от фотоаппарата, но Бесника не увидел. «Наверное, показалось»,— подумал он, не догадываясь, что Бесник умышленно прибавил шагу, чтобы избежать встречи с ним. В течение последних дней ему не раз звонили из редакции литературной газеты и настойчиво предлагали поделиться впечатлениями о поездке в Советский Союз. Он под разными предлогами отказывался, но журналисты с присущим им упорством не оставляли его в покое, не догадываясь о том, что Бесник и рад был бы сделать для них материал, но не мог, не имел права.

Бесник приподнял воротник пальто, хотя на улице было довольно тепло. В конце декабря тиранцы, как обычно, ждали, что вот-вот выпадет снег, а его все не было и не было. Поначалу он припорошил городскую окраину и уже подбирался к западным кварталам города, но вдруг отступил, решив, видимо, сосредоточиться на горе Дайти — за ночь она стала белой-белой, и теперь ветер доносил оттуда запах талого снега.

Проходя возле забора, ограждающего строящийся Дворец культуры, Бесник заметил скульптора Муйо Габрани, с которым познакомился этим летом на море. Скульптор шел чуть впереди странной крадущейся походкой, словно боялся кого-то спугнуть.

— Как поживаешь, Муйо?— приветствовал скульптора Бесник, легонько тронув его за плечо.

От неожиданности Муйо вздрогнул и резко обернулся.

— Бесник?! Это ты?— облегченно вздохнул он.

Они поздоровались, и Бесник, поняв, что скульптору не до него, хотел было откланяться, но тот удержал его.

— Обрати внимание на горца,— зашептал он, не сбавляя шага.— Видишь? Вон там, впереди.

— Тот, с головой, обвязанной платком?

— Да-да,— возбужденно шептал скульптор.— Какая гордая посадка головы! Правда?

Бесник кивнул, но скульптор, не обращая на него внимания и продолжая держать за рукав, не спускал

восхищенных глаз с горца. Это был высокий, по-юношески стройный старик. Черный кант на тирте[1] придавал его походке атлетическую грациозность.

— Прекрасная натура!— восхищался скульптор.— Кстати, он только что спрашивал у одного прохожего, где находится ЦК партии. Как ты думаешь, зачем он туда идет?

— Кто знает, какие у него заботы?— пожал плечами Бесник.

— А я уверен, что старик идет с такими вопросами, с какими мы с тобой не пойдем: духу не хватит,— продолжал скульптор.— Он найдет управу и на грозу с громом, и на снежные обвалы в горах.

Бесник улыбнулся. На самом деле, в глазах старого горца застыла та недосягаемая отрешенность от мирской суеты, которая появляется у людей лишь на склоне прожитых лет. Видимо, годы труда и сосредоточенных раздумий вытеснили из жизни старика все мелочное и несущественное, подобно тому как мороз убивает слабые растения, сохраняя лишь сильные и хладостойкие.

— Он чудо!— не успокаивался Муйо.— Скорее всего, он с Бьешкэт-э-Нэмур, с тех высокогорных пастбищ, которые в народе называют проклятыми. Только там взрослые мужчины обвязывают голову, точно раненную, куском ткани.

— Удивительно!— только и вымолвил Бесник.

— Ученые считают,— продолжал скульптор, не сводя восторженных глаз со старого горца,— что такие повязки носили в горных районах Албании, где мужчин чаще всего ранили в голову, и для них они были куда привычнее, чем головные уборы. Со временем,— улыбнулся Муйо,— люди к этому привыкли, и мужчины уже не носят головных уборов, а обвязывают голову платком.

Бесник слушал его с интересом.

— Я иду за ним от бульвара,— вздохнул скульптор.— Все бы отдал за такую натуру! Готов заплатить хоть тысячу, хоть две тысячи лек, лишь бы пару часов попозировал мне, но горцы — народ гордый.— Скульптор достал из кармана трубку и стал на ходу набивать ее

---

[1] Брюки из домотканой шерстяной материи белого цвета, украшенные черным кантом; часть национального мужского костюма горцев.

табаком.— Слишком гордый,— повторил он.— Такие люди будто пришли к нам из старинных легенд.

А горец тем временем шел широким, размашистым шагом. Со спины казалось, что проймы его джоки[1] напоминают остатки некогда могучих крыльев.

— Ни на минуту не сомневаюсь, что он играет на ляху́те[2],— снова заговорил скульптор,— и поет героические песни, а может, и сам сочиняет их...

— Я с удовольствием пошел бы с тобой,— прервал скульптора Бесник,— но мне надо зайти в Министерство финансов. Извини.

— Ну, а я пойду следом за живой легендой,— улыбнулся Муйо.

Горец подошел к зданию Центрального Комитета, но не с северной стороны, где принимают посетителей, а со стороны колонн, возле которых ходили часовые в длинных плащах-накидках, влажных от утреннего дождя.

— Здесь находится Центральный Комитет?— строго спросил старик.

Он действительно спустился с дальних горных пастбищ. Было ему восемьдесят восемь лет, и звали его Ник Укцама.

Один из охранников оглядел старика с ног до головы и молча кивнул. Он хотел было вынуть руку из-под дождевика и показать, где вход для посетителей, но что-то остановило его — скорее всего, непривычно властный тон горца.

— А тебе зачем туда?— осведомился часовой, вступая, против обыкновения, в беседу с посетителем.

Старик испытующе посмотрел в глаза часовому и, также против обыкновения вступать в беседу с первым встречным, ответил:

— Хочу поговорить с Энвером Ходжей.

На лице охранника под высоким капюшоном не дрогнул ни один мускул. Старый Ник неотрывно смотрел на мокрую от дождя накидку часового, которая скрадывала его фигуру, превращая ее в темное овальной формы пятно с торчащим сбоку коротким автоматом. «Наверняка пришел жаловаться на маленькую пенсию»,— по-

---

[1] Безрукавка из белого домотканого сукна; часть национального костюма.

[2] Народный однострунный смычковый музыкальный инструмент; распространен на севере Албании.

думал охранник. Глядя на короткий ствол автомата, старик с горечью отметил, что стволы оружия, как и женские юбки, укорачиваются. «Говорят еще, что у этого нового оружия пули вылетают с таким же треском, как слова у деревенских тараторок,— по тридцать — сорок зараз. Мужчине пристало, выпустив из ружья пулю, прислушаться к ее свисту, подождать, как ответит противник, и только потом стрелять снова. А эти автоматы... О них и думать-то не стоит!» Старику показалось, что стоявший перед ним человек ждет объяснений: зачем он хочет встретиться с Энвером Ходжей. «Что ж, он — человек военный, хоть и с таким оружием, а значит, находится на службе»,— решил старый Ник и, помедлив, добавил:

— Хочу спросить у него,— будет ли война?

В глазах часового запрыгали веселые искорки.

— Откуда это ты взял?

— Говорят, будут распахивать Людьэт-э-Зэза,— сдавленным голосом произнес старик и впился взглядом в часового, похоже, полагая, что эта весть сразит его. Однако человек в дождевике был невозмутим. Старый Ник не поверил собственным глазам. Он хотел объяснить парню, что это значит. Сказать, например, что плуг на Людьэт-э-Зэза,— верная примета того, что война на пороге, что так было всегда — испокон веку и по сей день, что перед началом войны поля в его крахине пустели — люди уходили в горы, и тогда распахивали Людьэт-э-Зэза. Но разве в двух словах об этом расскажешь? А говорить много с первым встречным значило ронять собственное достоинство — так можно уподобиться женщине.

Подошел еще один охранник и вопросительно взглянул на товарища.

— Хочет пройти в ЦК,— объяснил тот.

Подошедший молча указал на вход для посетителей.

— Все молчат,— бормотал старик, обращаясь скорее к себе, чем к часовым.— А в Людьэт-э-Зэза едет молодежь.

Неделю назад, увидев в горах первые молодежные отряды, старый Ник вышел к ним. «Куда направляетесь?»— спросил он. «В Людьэт-э-Зэза»,— был ответ. Ник Укцама тотчас заспешил в районный центр узнать, с кем будет война. «Да нет, отец,— сказали ему там, улыбаясь,— никакой войны не намечается». Но старик упрямо стоял на своем. «Послушай радио, полистай га-

зёты, отец, нигде ни слова о войне»,— убеждали его. «Война идет, а вы тут ослепли все!— рассердился старый горец.— Для меня Людьэт-э-Зэза точнее ваших газёт и радио». И он ушел, бормоча под нос: «Ослепли все, оглохли совсем...» Старик твердо верил народной примете, которая передавалась из поколения в поколение: если увидишь плуг на Людьэт-э-Зэза, немедля бери ружье и выходи на битву с врагом — в той или другой стороне ты его обязательно встретишь. Старый Ник никогда не нарушал этой заповеди, а она никогда его не подводила. Последний раз это случилось в 1939 году[1], когда ему было под семьдесят. Примета работала безотказно. А сейчас все делают вид, что ничего не происходит. «Пойду в Тирану,— решил Ник Укцама,— спрошу у самого Энвера Ходжи».

С годами у старого Ника сложилось собственное представление о государстве и государственности, что, кстати сказать, дело обычное для стариков, живущих в горах. Для них функционирование государства, работа государственной машины были явлениями в значительной мере условными, так что о деятельности государства, о внешней и внутренней политике правительства они рассуждали по-житейски просто: «отправилось», «сказало», «запретило», «ждет, пока выпадет снег» и так далее. У Ника Укцамы не было внуков, и возиться было не с кем, поэтому мысль о встрече с Энвером Ходжей всецело завладела им. От него, и только от него, хотел старый Ник узнать о войне. Что тут особенного? Древним стариком Ник себя не считал — всего каких-нибудь восемьдесят восемь лет. Жили в крахине мужчины и постарше его — столетние, например, но даже им не казалась в диковинку поездка в Тирану к Энверу Ходже: вот так запросто побеседовать, выпить чашку кофе. Если бы не отяжелевшие за сто лет ноги да не расстояние от Бьешкэт-э-Нэмур до столицы, они бы тоже пошли.

Ник Укцама до Тираны добирался долго: сперва верхом на лошади, потом на кооператорском грузовике, затем на рейсовом автобусе и наконец на поезде, но нигде не отметил признаков войны. «Что это за война такая, если ее нельзя ни увидеть, ни услышать?» — думал старик. Попав в Тирану, он поначалу растерялся. Шумные улицы, витрины, украшенные к Новому году искус-

[1] Весной 1939 года Албания была оккупирована фашистской Италией.

ственными снежинками, толпы молодежи перед кинотеатрами и кафе удивили его. «Наверное, эта война не похожа на другие,— размышлял старик, но тут же усомнился: — Уж не ошибся ли я?— Но, отогнав недостойную мысль, он твердо сказал себе: — Нет! Людьэт-э-Зэза никогда не обманывал меня. Война идет, но это невидимая война».

— Вход с другой стороны, за углом,— пояснил второй охранник, махнув рукой в нужном направлении.

Ник Укцама сделал несколько шагов и остановился. «Они могли бы сказать, что за враг напал на нас»,— подумал он и, повернувшись к часовому, крикнул:

— Какой такой новый краль к нам пожаловал?

«Ка-ар-р... ка-ар-р...» — эхом пронеслось сквозь строй колонн.

«Чудо, да и только!»— мысленно восхищался старым горцем скульптор, наблюдая, как в приемной ЦК он заполняет, с помощью молодой сотрудницы, формуляр опросного листа для предстоящей встречи.

— Какой у вас вопрос к товарищу Энверу?— спросила девушка.— Вы хотите обратиться с жалобой?

— Нет у меня никакой жалобы,— возразил старик.— Хочу только спросить: будет ли война?

«Чудо! Какое чудо!— не переставал восхищаться скульптор.— Как бы вылепить его голову!» И он снова двинулся за старым горцем, когда тот, выйдя из приемной, направился к центральному бульвару. За ответом Нику Укцаме велели приходить завтра, и теперь он спрашивал у прохожих, где можно переночевать.

В это время года свободных мест в тиранских гостиницах практически не бывает, и у скульптора неожиданно возникла идея. Неотступно следуя за старым горцем, он ощутил сначала робкое, а потом все более явственное предчувствие: «А так ли уж случайна эта встреча?»

Старик шел в нескольких шагах от него, шел легкой, пружинистой походкою горца, которая неподвластна возрасту. Скульптор следовал за ним, точно привязанный к его джоке, мысленно повторяя: «Оживает эпос... Но почему?»

Пробираясь сквозь плотную толпу и цепляясь за сумки с апельсинами, которые несли запасливые хозяйки, Бэн торопливо шел по улице Дибры. Еще издали он заметил, что на их месте — только один Саля. За спи-

ной у него на стекле аптеки маячила их старая знакомая — змея, которой никак не удавалось заползти в чашу с ядом.

— Наконец-то!— обрадовался Саля.— Где пропадал?

Бэн в самом деле давно не появлялся здесь. После злополучной вечеринки у Тора он неожиданно для себя подружился с Максом Бермемой, который заразил его своей страстью к магнитофонам. Целые дни они просиживали дома то у одного, то у другого, пытаясь наладить магнитофон, который больше молчал, чем работал. Бэну нравился его новый друг, и он не скоро появился бы на улице Дибры, если бы не одно очень странное обстоятельство.

— Тебе звонила какая-то девушка,— как бы между прочим сообщила Мира, когда он забежал домой перекусить.

Если бы Бэн был чуточку повнимательнее, он сразу бы заметил лукавую улыбку сестры и нетерпение в голосе, с каким она передала эту новость. Но мысли Бэна были заняты другим, и на слова Миры он не обратил никакого внимания. Только Дистрофия знала его телефон, а она его, как известно, не интересовала.

— Ал-лё, это квартира семьи Струги?— подражая голосу незнакомки, пропела Мира.— Можно пригласить к телефону Арбэна Стругу?

— Замолчи!— прикрикнул на сестру Бэн, боясь, как бы отец не услышал ее болтовни.

Мира состроила обиженную рожицу.

Снова зазвонил телефон.

— Наверное, вас, Арбэн Струга,— съехидничала Мира, расставляя на столе тарелки.

— Ал-лё,— услышал Бэн девичий голос.— Это вы, Арбэн? Вы меня не узнали? Это Ирисия. Мы познакомились в сентябре, помните?

Бэн молчал, не зная, что сказать.

— Простите, что беспокою... ведь прошло столько времени...

— Ничего-ничего,— только и смог вымолвить Бэн.

— Я потеряла номер вашего телефона, поэтому не позвонила раньше.

«Где же ты взяла его теперь?»— хотел спросить Бэн, но промолчал.

— Я могу звонить вам?— спросила Ирисия.

«Да, конечно!»— чуть было не закричал Бэн, но, взяв себя в руки, ответил сухо:

— Звоните, буду рад.

Положив трубку, он почувствовал, как тесно ему в этом маленьком узком коридорчике. Бэн пошел в свою комнату и встал у окна. Вдали сквозь синеватую дымку виднелась заснеженная вершина Дайти. «Тебе звонила какая-то девушка...» — звучал в ушах голос Миры, а он не мог оторвать глаз от Дайти. Еще в детстве Рабо учила их: прежде чем рассказывать кому-то свои сны, поведайте их сперва горам. «Так мы и делали»,— вспомнил Бэн, прижавшись лбом к холодному стеклу. Потом ход его мыслей резко изменился, пока они не сосредоточились на одном-единственном имени — Тор.

«Я не такой, как Тор.— Бэн все еще находился под впечатлением недавнего звонка.— Я должен первым ему все рассказать». Решив так, Бэн сразу же после обеда отправился на улицу Дибры.

— Смотри, какой подсолнух!— Саля кивнул в сторону медсестры из онкологической клиники, которая, не здороваясь, продефилировала мимо.— У-у, чертовка конопатая!

Из толпы вынырнула Дистрофия.

— Привет, Бэн! Где Новый год думаешь встречать?— бросила она на ходу, и ее костлявые плечики затерялись в бурном людском потоке.

— А в самом деле, где будем встречать Новый год?— спросил Саля.— Или ты...

Бэн промолчал. Его внимание привлекла странная пара: высокий мужчина, смешно размахивая руками, что-то рассказывал своему спутнику, а тот фотографировал его на фоне улицы.

— Ненормальные!— пожал плечами Саля.— Кого только не встретишь на этой улице?! Да, чуть не забыл... Я слышал, что создаются бригады, которые возьмут под контроль молодежь.

— Зачем?— удивился Бэн.— Что они будут контролировать?

— Точно не знаю. Наверное, будут фотографировать тех, кто без дела целыми днями торчит на улице. Как мы, например...

Бэн нетерпеливо поглядывал то на улицу, то на черный мраморный фасад антикварной лавки, слегка потрескавшийся от времени и непогоды. Хозяин магазина часами неподвижно выстаивал за прилавком среди подсвечников и прочих старинных вещей.

Наконец появился Тор. Он шел вместе с Члиримом.

Заметив Бэна, они оба вытаращили глаза, будто увидели что-то сверхъестественное.

— Как поживаешь, Бэн?— первым пришел в себя Тор.— Я уж подумал, что ты никогда больше не придешь на нашу улицу.

— Мне нужно поговорить с тобой,— сказал Бэн, понизив голос. Он не хотел, чтобы кто-то слышал их разговор.

— Тогда отойдем.

Бэн подробно рассказал о внезапном звонке Ирисии. К его удивлению, Тор отнесся к этому известию спокойно.

— Видишь, я не такой, как ты!— Бэн в упор посмотрел на Тора.— Хотя мог бы и промолчать.

— Если она тебе позвонила, значит, ты ей нравишься больше,— печально произнес Тор.— Поздравляю!

Бэн не сводил с него пристального взгляда.

— Не в пример тебе, я не злюсь,— продолжал Тор.— Не злюсь и никого не проклинаю.

— Я тоже никого не проклинал. У меня и в мыслях такого не было.

— Ну да ладно! Замнем,— сказал Тор примирительно.

Внимательно оглядев обоих, Члирим важно заметил:

— Между прочим, у нас на Вацлавской...

— Надоел ты со своей Вацлавской!— Тор отмахнулся от него, как от назойливой мухи.

Повернувшись к Бэну, он еще раз поздравил его, будто речь шла не об Ирисии, а о покупке нового плаща или пуловера. «Не очень-то он и расстроился»,— разочарованно отметил про себя Бэн.

— Послушай, Тор, я, кажется, не говорил, что собираюсь дружить с ней, поэтому напрасно ты меня поздравляешь.

— Почему напрасно?

— А потому, что мне не нравятся девушки, которые сегодня звонят одному, а завтра другому.

— У меня с ней ничего не было,— потупился и слегка покраснел Тор.— В кино раз сходили да пару раз погуляли. И все.

Бэн вспомнил, что именно эти слова он раньше говорил Тору. «С каких это пор он стал таким благородным?»— подумал Бэн, не зная, как вести себя.

— А номер моего телефона у нее откуда?— вырвалось у Бэна.

— Я дал. Она много раз интересовалась тобой, вот я и решил дать ей номер твоего телефона. Может, не надо было?

Бэн снова не знал, что сказать, потому что чувствовал какой-то подвох.

— Послушай!— мрачно бросил он.— Если ты думаешь, что я могу довольствоваться объедками с бейского стола, то ошибаешься. Я не из таких.

Бэн повернулся, чтобы уйти, но Тор силой удержал его.

— Зачем ты так, Бэн? Послушай, пожалуйста.

Члирим тоже хотел что-то сказать, но Бэн опередил его:

— Может, ты нам расскажешь, как у вас там, на Вацлавской, передавали друг другу девушек? Давай, не стесняйся!

В этот момент из дверей антикварной лавки высунулась голова хозяина.

Бэн, уходя, сделал несколько шагов, но приостановился.

— Имей в виду, Тор,— процедил он сквозь зубы,— если в твоих словах есть хоть капля лжи...

Рок Симоньак, хозяин антикварного магазина, одного из редких частных предприятий, чудом уцелевших от повальной экспроприации, в отличие от продавцов соседних магазинов не имел привычки оставлять прилавок, чтобы успокоить не в меру расшумевшихся прохожих,— даже если назревал нешуточный скандал. И, уж конечно, он не стал бы вмешиваться в глупую ссору двух подростков, которые целыми днями торчат возле его лавки. Однако появление в магазине весьма необычного посетителя заставило его изменить сложившейся привычке. Высокий, элегантный, с холеным лицом, в хорошо сшитом и подогнанном по фигуре черном костюме, с таким же черным портфелем в руке, придававшим ему вид министерского служащего, он выглядел неотразимо. Бросив рассеянный взгляд на полки, заставленные антиквариатом, посетитель, как показалось Року, намеревался спросить о чем-то, чего не увидел, но хотел бы приобрести, однако так и не решился: что-то его останавливало, мешало заговорить. «Если ты думаешь, что я могу довольствоваться объедками с бейского стола, то ошибаешься»,— доносилось с улицы. «Ему мешают

эти несносные мальчишки, устроившие тусовку (так они называют между собой место ежедневных встреч) рядом с моим магазином»,— подумал Рок, вышел на улицу и не столько с упреком, сколько с мольбой посмотрел на ребят. Спустя минуту он вернулся за прилавок и, испытывая необъяснимое волнение и смутную надежду, взглянул на незнакомца. Глаза Рока Симоньака — узкие, будто растянутые в уголках пинцетом, и маслянистые, отчего одновременно вызывали жалость и брезгливость,— скрестились с живым, энергичным взглядом посетителя. И хотя Рок не произнес ни слова, его вид, излучавший покорную готовность, словно бы говорил: «Чего изволите?» Точно пригвожденный к месту пронзительным взглядом незнакомца, он стоял не шелохнувшись. Оцепенение длилось две-три минуты, после чего посетитель тихо, одними губами изрек:

— У вас найдется епитрахиль?

Рок остолбенел. Продавец и покупатель молча уставились друг на друга, как стволы вражеских орудий. Наконец Рок Симоньак пришел в себя.

— Вам нужна...— хриплым от волнения голосом попытался он уточнить просьбу незнакомца.

— Да-да, епитрахиль,— чуть громче повторил посетитель.

«Нет, не ослышался». Рок опустил глаза, внимательно посмотрел на руки, опиравшиеся на прилавок, и, не глядя на посетителя, будто разговаривал сам с собой, вымолвил:

— Должна быть одна, я поищу. Приходите послезавтра или, лучше,— на следующей неделе.

— Благодарю вас!— Незнакомец энергично кивнул и направился к выходу.— До свидания.

— До свидания,— еле слышно произнес Рок Симоньак.

Он стоял у окна и провожал взглядом странного посетителя, пока его спина не исчезла в людском потоке, мчавшемся мимо витрин, на которых весело сверкали хлопья искусственного снега.

— До свидания... мой господин,— прошептал Рок Симоньак и отошел от окна.

«Вот оно, начинается...— думал он.— Епитрахиль... значит, предположения свояка были не столь уж безосновательны. Ничего определенного, клялся он, сам, мол, краем уха слышал. Все туманно, никаких доказательств — одни лишь предположения».

Рок его тогда спокойно выслушал, а про себя решил: «Правда или нет — выяснится в моей лавке».

Более пятнадцати лет назад, в октябре незабываемого 1944 года, накануне переворота, ему, Року Симоньаку, простому служащему, составлявшему задачники по геометрии для городских школ королевства, показалось, что пришло его время. Оставив службу, он открыл собственный антикварный магазин. И с тех пор он служил ему надежным барометром, показывающим любые колебания в политическом климате страны. «Это выяснится там, в моей лавке»,— сказал Рок — и не ошибся. Три дня ожидания, четыре дня, и вот появляется человек в черном костюме, с портфелем министерского служащего, и говорит: «У вас найдется епитрахиль?»

У Рока была епитрахиль. Она дожидалась своего часа на третьей полке в кладовой, в глубине дома, рядом с другими покрытыми толстым слоем пыли предметами культа — ризой, чалмой дервиша, зеленоватыми камнями, какие носят на поясе настоятели дервишских обителей, рясой францисканского монаха, Евангелиями и Коранами в дорогих окладах. На книжной полке стояла огромная корзина, доверху наполненная форменной одеждой государственных служащих: фраками, смокингами и визитками дипломатов; мантиями и накидками, украшенными символами королевской власти и фамильными гербами пашей; одеждой регентов; камзолами членов прежнего парламента; расшитыми золотом парадными одеяниями...

В те октябрьские дни, в канун переворота, люди сдавали вещи на продажу — спешно, в огромных количествах, лишь бы взяли, полагая, что они никогда им уже не понадобятся. Они спешили избавиться от всего, без чего прежде не могли обойтись,— начиная с бальных платьев и кончая подсвечниками и дорогими фамильными сервизами, украшенными вензелями и монограммами именитых владельцев. «Мы их выкупим,— утешали они себя.— Придет время, и мы непременно их выкупим».

Но вот наступал тяжкий момент расставания с вещами, и лица бывших хозяев каменели, губы дрожали, голоса срывались, а пальцы начинали выбивать нервную дробь. В эти минуты они готовы были проклясть антиквара, словно он был виновником их бед и несчастий.

После переворота, когда установилась революционная диктатура, в лавку также сдавались ценные вещи,

ню все реже и тайком. А в глазах владельцев светилась та же безумная надежда: «Мы выкупим вас. Придет время, и вы нам понадобитесь».

И верно, как только появлялась надежда на реставрацию прежней власти, они приходили и выкупали свои вещи. Так было в 1947 году во время обострения отношений с Югославией, затем в 1953 — сразу после смерти Сталина. Иллюзии, однако, быстро рассеивались, и вещи снова возвращались на свои места, но за цену, вдвое меньшую предыдущей. Мало-помалу Рок начал распродавать кое-что из своей кладовой театрам, эстрадным коллективам, а также недавно открытой киностудии «Новая Албания»[1]. В октябре 1956 года, сразу после контрреволюционного переворота в Венгрии, у его прилавка опять стали появляться знакомые лица. Но это было в последний раз. Потом наступило долгое затишье.

Из окна лавки Рока Симоньака были видны празднично украшенные витрины магазинов на противоположной стороне улицы и спины стоявших возле них людей.

«Кому-то понадобилась епитрахиль,— размышлял он,— а там, за окном, никто ни о чем не догадывается». Предчувствие подсказывало, что случившееся вряд ли можно сравнить с 1947 годом и уж тем более с 1953 или 1956. Все гораздо серьезнее. Сигнал получен. Завтра-послезавтра они повалят сюда толпами отыскивать свои вещи. «Такого еще не бывало...» — подумал Рок, представив, как будут требовать: «Мою мантилью с розеткой... мою парадную трость...», потом недовольно морщиться и возмущенно шипеть: «Это не наши вещи... Они плохо сидят... Ты подменил их».— «Опомнитесь! О чем вы?— скажет он им.— Это ваши вещи. Просто вы слегка изменились. Со времени революции от вас лишь кожа да кости остались. Как может одежда людей быть впору их теням?»

Рок Симоньак все еще смотрел в окно: «Молодые люди, по-видимому, из-за какой-то девушки так и не нашли общего языка». Он понимающе улыбнулся, но тут поймал себя на мысли, что после ухода загадочного посетителя он так и стоит, словно в ожидании...

---

[1] Построена в 1952 г. при участии Советского Союза. На ней в 1954 г. был снят первый в стране цветной художественный фильм «Великий воин Албании — Скандербег» (реж. С. Юткевич), созданный албанскими и советскими кинематографистами.

— Если в твоих словах есть хоть капля лжи, я набью тебе морду!— повторил для верности Бэн и, повернувшись, стремительно зашагал прочь, будто боялся, что не сможет сдержаться, скажи Тор в ответ хоть одно слово.

Возле Национальной библиотеки его кто-то окликнул. Обернувшись, Бэн увидел Дьану Бермема, сестру Макса. Она выглядела необычно: казалось, мысли ее были сосредоточены на ней самой и окружающий мир мало занимал ее. Шла Дьана не спеша и осторожно, будто ступала по скользкому льду. Лицо молодой женщины порой озаряла едва уловимая улыбка.

— Бэн, как поживаешь?— спросила Дьана рассеянно.— А где Макс? — Было ясно, что мыслями она еще там, у витрин универмага, и вопросы задает по привычке. Бэну показалось, что Дьана беременна, но он не помнил, замужем она или нет.

«Что-то у него случилось»,— подумала Дьана, но тут же снова ушла в себя. Минут десять назад, рассматривая витрины универсального магазина, она почувствовала первый толчок зародившейся жизни. Ощущение было новым, непривычным, оно одновременно и пугало ее, и сладостно томило душу. Дьана прислонилась к толстому стеклу витрины и замерла, прислушиваясь, но толчки не повторились. Стекла витрин, украшенные ватными хлопьями, показались ей загадочным беспредельным пространством Вселенной с центром внутри нее самой. И этот слабый сигнал, пробившийся сквозь хаос, дошел до нее именно оттуда. Желание поведать миру об удивительном сигнале тотчас переросло в противоположность: захотелось сохранить новость в тайне. Городские часы пробили четыре часа пополудни. Потрясенная и растерянная, Дьана бродила по городу.

Расставшись с Бэном, она шла мимо Национальной библиотеки и вспомнила, что здесь работает одна из ее подруг. «Зайду, передохну, но рассказывать ничего не буду»,— решила Дьана, поднимаясь по лестнице. Подруга работала в зале для научных сотрудников Института истории. В помещении было тепло и тихо. Через застекленные окна летней веранды хорошо просматривались часть улицы и голова статуи, а чуть дальше, скорее всего на площади Содружества, виднелись горящие буквы неоновой рекламы: «СТРАХУЙТЕ ЖИЗНЬ В ИНСПЕКЦИЯХ ГОССТРАХА!» Некоторые читатели,

оставив на столах открытые книги и недописанные листы, ушли на третий этаж пить кофе. Бывая в библиотеке, Дьана любила смотреть на эти столы: они как бы сохраняли частичку отлучившихся в буфет читателей.

Подруги обрадовались встрече. «Ничего не буду рассказывать»,— решила про себя Дьана.

Внезапно затрещал телефон.

— Меня вызывают в дирекцию,— сказала подруга, кладя трубку.— Подожди меня. Ладно? И не скучай.

— Нет-нет,— успокоила ее Дьана.

Свет уходящего дня, необычайно теплого для этого времени года, мягкими волнами разливался по читальному залу. После затяжных дождей, которые изрядно поливали город, редкие облака, медленно проплывавшие в вышине, казались чудом.

Дьана подошла к окну и посмотрела на улицу. Огромные буквы рекламы, мерцавшие тут и там, напоминали странных неземных существ, в жилах которых текла белая кровь. Не зная, чем заняться, она подошла к массивному шкафу орехового дерева, доверху заполненному книгами, в основном солидными томами в тяжелых темно-коричневых переплетах. Скользнув взглядом по корешкам старинных книг, оформленных готическим шрифтом, Дьана испытала священный трепет перед собранной здесь мудростью веков. Большинство книг были на староалбанском языке, готическое начертание букв завораживало больше, чем фамильные гербы и средневековая настенная роспись. «Marin Barletius. De obsidione Scodrensi...»[1] — прочитала Дьана. Рядом стояла «Хроника эпидемии чумы в 1701—1705 годах». Несколько книг по истории дипломатии: «Государственные границы на Севере», «Битва за Влёру», «Карательная экспедиция римского консула Гая Фульвия», «Плачи женщин во время войн. Обряд оплакивания погибших воинов». (Подробная классификация плачей в зависимости от вида смерти: во время сражения, в атаке, при отступлении, от тяжелых ран, полученных в бою, смерть пленного, смерть дезертира.) «Что это?» — удивилась

---

[1] Барлети Марин (1460—1512) — историк и биограф, больше известный в средние века под именем Марина Скадрани (по месту рождения в г. Шкодра), в 1479 г. после захвата турками его родного города эмигрировал в Италию. Там он написал две книги: о завоевании турками Шкодры (о ней здесь речь) и биографию Скандербега.

Дьана, почувствовав, что полки с книгами захватывают ее в плен. Глаза Дьаны, попав в книжный капкан, не могли оторваться от полок. В ряд стояли книги из истории дипломатии: «Разрыв дипломатических отношений с Римом в I веке новой эры», «Ультиматумы», «Массовые избиения в Монастире[1]: свидетельства и факты палачей и их жертв»; «Врачевание народными средствами боевых ран» (Часть первая — раны, нанесенные холодным оружием, часть вторая — раны, нанесенные огнестрельным оружием.); «Разносчики чумы», 1304 г.; «Гипотезы», «Битва при Альбулене»; «Сорок лет голода: свидетельства и факты о случаях смерти вследствие психических расстройств и каннибализма в 1811—1871 годах», издание V. «Хватит!» — не выдержала Дьана. От полок веяло смертью, и она инстинктивно прикрыла живот руками. Вертикаль шкафа походила на дракона с полками-чешуей. Дьана хотела повернуться и уйти, но не могла. Более того, неожиданно для себя робко, со страхом она протянула руку и взяла с полки книгу-чешуйку. Дьана открыла первую страницу и начала читать: «Комментированное собрание ультиматумов, направленных албанскому государству с момента его возникновения и до настоящего времени. Первый ультиматум римского сената. Второй ультиматум Рима. Ультиматум Византии. Запрос о разрешении на высадку (в ультимативной форме) норманнского короля Роберта Гвискара. Первый ультиматум Турции. Ультиматум султана Мурада I. Ультиматум султана Мехмеда II. Ультиматум Высокой Порты, направленный Али-паше Тепелена[2]. Черногорский ультиматум 1913 года. Греческий ультиматум 1913 года. Запрос (в ультимативной форме) о коридоре для прохождения австрийских войск к Адриатике. Запрос о дислокации (в ультимативной форме) французских военных соединений в Корче. Ультиматум сербского короля 1915 года. Второй греческий ультиматум. Итальянский ультиматум 1920 года. Ультиматум Муссолини 1939 года. Запрос (в ультимативной форме) о вхождении английского флота в прибрежные воды Албании в 1944 году».

Дьана поставила книгу на прежнее место и попыта-

---

[1] Старое название г. Битола (Македония).

[2] Али-паша Тепеленский (Янинский) — албанский феодал; с 1787 г. независимый правитель Южной Албании с центром в г. Янине. Убит в войне с султаном Махмудом II в 1822 г.

лась отвести взгляд от книжного шкафа, но не смогла, глаза продолжали читать: «Карательная экспедиция Серт Акшам Дургут-паши», «Битва за Тирану: свидетельства и факты», «Восстание 1911 года», «О быстроте распространения сведений в военное время» (переработанное издание), «Земля в период войны» (исследование по обработке земли в горных районах в военное время, том IV), «Обработка полей на горных террасах на Севере и в Людьэт-э-Зэза». Из анналов дипломатии: «История создания военно-морских баз в Паша-Лимане и на острове Сазан с момента организации первой базы и до наших дней»; «Германская кампания зимой 1944 года»; «Ритуалы в военное время»; «Об упрощении и модификации традиционных обрядов в период войны: обрядов рождения и смерти, свадебного обряда» — с приложением описания общегосударственных церемоний, издание V; «Кровавые расправы немцев над жителями Боровы в 1943 году: свидетельства и факты»; «Дипломатические акты. Паша-Лиман (старая хроника)». Двадцать веков размолвок и разногласий.

У Дьаны закружилась голова. Книжные полки покачнулись и поплыли, словно в тумане. «Стена человеческих судеб...» Она опять инстинктивно прикрыла живот руками. Мелькнувшая в подсознании мысль о том, что маленькое существо, живущее в ней, станет частью этого народа и разделит его судьбу, начала приобретать зримые очертания.

Немного погодя вернулась подруга.

— Что с тобой, Дьана?! — испугалась она.— Тебе плохо?

— Нет-нет,— едва слышно отозвалась Дьана.— Голова что-то закружилась.

Подруга заботливо усадила ее на стул возле окна. После того, первого, толчка ребенок не давал о себе знать. Дьана где-то вычитала, что поначалу так и должно быть. Этой новостью она не стала делиться с подругой, удержалась. «Неужели эта стена, увешанная книжными полками, навалится своей тяжестью на него?!» — со страхом подумала Дьана, не отрывая взгляда от шкафа и стеллажей.

— Может, воды?— участливо спросила подруга.

— Нет-нет, спасибо. Мне лучше.

«Это его судьба. Стена останется в его душе, в его глазах, в его сердце, в линиях лба». Дьана поднялась.

— Пойду, пожалуй. До свидания.

Смеркалось. По дороге она вспомнила, что собиралась позвонить Зане и узнать, где она думает встречать Новый год. Да и Бесника она не видела после возвращения из Москвы. «Хорошо бы встретить Новый год вместе»,— подумала Дьана и от этой мысли повеселела.

Побродив по Дурреской улице, Бэн вернулся в центр. Еще издали он увидел Салю, одиноко торчавшего у аптеки. Бэн пересек улицу и неслышно подошел сзади.

— Поди-ка сюда,— прошипел он, схватив приятеля за плечо.

— Потише! Так и заикой можно сделать,— огрызнулся Саля.

— Послушай,— начал Бэн, когда они свернули в один из переулков,— ты должен это знать.

— Что знать?— удивился Саля.

— Скажи правду,— потребовал Бэн, держа его за локоть.— Почему Тор дал Ирисии мой телефон?

Саля растерянно захлопал глазами.

— Не знаю,— качнул он головой.

— Врешь! Знаешь!

— Не знаю.— Саля старался не смотреть Бэну в глаза.

— Я тебе морду набью!— Бэн схватил его за шиворот и стал трясти, как грушу.

— Убери руки! Я не предаю друзей. Понял?

— А меня почему предал?

— Тебя?!— Саля удивленно уставился на Бэна.

— Да, меня!

— Я тебя не предавал.

— Еще как предал! Поклянись здоровьем матери, что ничего не...

— Нет!

— Подлец ты, Саля!

— Нет.

С минуту оба молчали, слышалось только их прерывистое дыхание.

— Я сам хотел все рассказать,— первым нарушил молчание Саля,— но ты набросился, как сумасшедший. Дай сигарету.

Закурив, они отошли в сторону, к старым воротам.

— Тор боится,— продолжал Саля.

— Боится?!— опешил Бэн.— Чего боится?

— Ты будешь слушать?!— возмутился Саля.— С ума можно сойти! Тор боится ее дяди. Однажды старик увидел их с Ирисией вдвоем, и теперь покоя от него нет. Раздобыл адрес Тора, разузнал, кто он и что. В общем, не знаю, что там еще. Даст же Аллах такого родственничка!— не удержался от комментариев Саля.— Теперь Тор боится, что дядя пойдет жаловаться к его отцу на работу или двинет прямо к квартальному начальству[1]. Короче, он перепуган до смерти. Особенно сейчас, когда услышал, что создаются какие-то бригады, которые возьмут нас под контроль...

— Ага, теперь все ясно,— перебил его Бэн.— Значит, если я буду ходить с Ирисией, дядя переключится на меня?

— Конечно,— обрадовался его понятливости Саля.— И отстанет от Тора.

— Какие же вы подлые!

— Я-то тут при чем?— обиделся Саля.

Они стояли и молча курили. Бэн хотел спросить, было ли что-нибудь между Тором и Ирисией, но не смог.

— А ты, я вижу, перепугался,— радостно оскалился Саля.— Может, еще передумаешь?

— Вовсе нет. Плохо ты меня знаешь.

Они снова вышли на улицу Дибры. К этому времени там творилось что-то невообразимое. Казалось, людской поток готов был снести все на своем пути. От сверкающих витрин, окон и фонарей было светло как днем. Кругом на тротуарах шла предновогодняя торговля. Люди покупали апельсины, грейпфруты и прохладительные напитки. В толпе Бэн заметил Лирию и Зану, которые, очевидно, только что вышли из универмага. Лирия несла огромную сумку. Зана выглядела грустной, а может, просто усталой. «Что за улица, черт возьми!— мысленно выругался Бэн.— Раз пройдешь по ней — и встретишь пол-Тираны». При неоновом свете витрин лица людей выглядели неестественно бледными, точно припудренными каким-то таинственным порошком. Бэн давно заметил это, но с приближением Нового года ощу-

[1] В Албании до недавнего времени существовали общественные организации по месту жительства — уличные и квартальные комитеты.

щение таинственности усиливалось. Не случайно, встречаясь, люди задавали друг другу один и тот же вопрос: «Где встречаете Новый год?», будто хотели выведать столь радостную тайну. Все только и спрашивали: «Где? Где?», но не спешили первыми отвечать на вопрос, чтобы подольше сохранить собственную тайну.

Увидев хлопья ватного снега на витринах, Зана почувствовала легкое головокружение. Лирия шла сзади, ничего не замечая.

— У-у-х, сколько народу!— сказала она недовольно.

На центральном бульваре, куда они вышли, народу было меньше. На площади Скандербега электрики украшали живые ели гирляндами разноцветных лампочек и хлопьями искусственного снега.

— Он так и не обмолвился о свадьбе?— спросила Лирия.

— Нет, мама.

— И ты ничего не говори.

— Ты же знаешь мой характер. Первой я никогда не заговорю об этом.

— Успокойся, это всего лишь совет. Я не хотела тебя обидеть.

Зана промолчала.

— Синие давай! Синие!— кричал с верхушки ели один из электриков.— Не зеленые, а синие.

— И все же, как мать, я не могу оставаться безучастной. Что означает столь внезапное охлаждение?— опять спросила Лирия.

— Синих больше нет. Желтые подавать?

— Что означает охлаждение... — медленно повторила Зана.— Охлаждение — оно и есть охлаждение.

— Ты считаешь это нормальным?

— Нет, конечно.

— И что дальше?

— Мама, я тебя не понимаю. Ты говоришь так, будто я...

— Я знаю, ты не виновата,— перебила ее Лирия.— Но я не могу понять твоего спокойствия.

— А что я должна делать, по-твоему? Вопить? Рыдать?

— Посмотри получше. Может, есть синие?— не унимался электрик.

— По крайней мере, попытайся узнать причину...

— Я пыталась.

— Сказано тебе, синих нет.

— С тобой невозможно разговаривать.— В голосе Лирии прозвучала обида.— Когда я сказала, что история с сувениром — это не просто... Помнишь тот вечер, когда он вернулся из Москвы. Еще тогда я говорила, что его забывчивость имеет куда более глубокий смысл, но ты и слушать не захотела. Защищая его, ты готова была вцепиться в меня, будто я, твоя мать, хочу вас рассорить. И вот мои худшие опасения подтвердились. Через неделю — свадьба, а он ведет себя так, словно забыл о ней. Вчера он забыл привезти сувенир, сегодня забыл, что приближается день свадьбы, завтра он забудет, что ты его невеста. Может, для тебя это излишняя «мелочность»? Выучили два слова — «мелочность» и «мелкобуржуазность» — и повторяете их, как попугаи, к месту и не к месту.

— Мама, я прошу тебя... Перестань.

Лирия, как ни странно, сразу же замолчала. Теперь они шли по своей улице, тишину нарушал только шорох листьев под ногами.

— Давай зайдем в сберкассу,— сказала Лирия.— Хочу взять немного денег.

Потом она заговорила о новой мебели для гостиной. Кристач не касался этих вопросов, и ей приходилось все решать самой. Лирия обдумывала два варианта: либо купить кресла для гостиной, продав старые, которые давно вышли из моды; либо купить новый диван — и этим ограничиться.

— В последнее время столько всяких расходов,— вздохнула Лирия,— а тут еще Новый год на носу. Деньги так и тают.

Зана равнодушно слушала мать.

Дома Зана устроилась на диване в гостиной и закурила. Лирия хлопотала на кухне.

— Зана! — крикнула она в приоткрытую дверь.— Если хочешь, можешь принять ванну. Вода нагрелась.

— Хорошо, мама.

Наблюдая за струйками дыма, тени от которых, увеличенные во много раз электрическим светом, отражались на стене в виде гигантских дымящихся развалин, она думала о Беснике: «Чужой... совсем чужой. Просто не узнать».

Зазвонил телефон. Зана взяла трубку. Звонила Дьана Бермема.

— Где собираешься встречать Новый год? — поздоровавшись, спросила она.

«Да что ж это я?! — подумала Зана.— Все происходит у меня на глазах, а я сижу сложа руки и ничего не делаю, чтобы предотвратить катастрофу».

— Алло, Зана, ты слушаешь?

— Да-да, прости, пожалуйста. Новый год, говоришь?.. Как тебе сказать? В общем, мы пока не решили.

«Мы ведь и не ссорились даже,— вернулась к своим невеселым мыслям Зана.— Просто всю последнюю неделю я скверно себя чувствовала, какая-то апатия...»

— Мы собираемся встречать дома, если Андрэ не назначат дежурство в больнице. Макс сделал новые записи...

«И как славно все получается! — Зана чуть было не произнесла это вслух.— Мы, как и прежде, вместе появляемся на людях, встречаемся с друзьями. Послезавтра, например, пойдем в театр... Но я чувствую, как почва ускользает из-под ног...»

— Ну ладно, я, кажется, заболталась,— тихо рассмеялась Дьана.— Спокойной ночи.

— До свидания,— проронила Зана.

Она опустилась на диван и невольно прислушалась. Где-то вдалеке завыла сирена пожарной машины. Ей нравился этот тревожный сигнал, а Беснику нет. Ей нравились бешеная скорость мчащихся машин, беспорядочное мигание огней и в то же время совершенно спокойные будто слившиеся с касками лица пожарных. А он понять не мог,— почему спешить на помощь надо непременно с диким воем? («Неужели, если хочешь помочь кому-то, обязательно устраивать тарарам?!»)

Дверь в гостиную жалобно скрипнула, и на пороге появилась Лирия.

— Послушай,— присела она рядом с Заной.— Я не хотела тебе говорить, но у меня появились некоторые подозрения.

Прислонившись головой к спинке дивана, Зана не пошевелилась.

— Его странную забывчивость, растерянность,— продолжала Лирия,— я могу объяснить только одним. Боюсь, дорогая, что в Москве у него завелась девушка.— Лирия помолчала, ожидая, что Зана примется за свое: «Мама, не говори глупостей!», но дочь не произ-

несла ни слова.— Я слышала, русские девушки милы и приветливы. Жениться на иностранках теперь модно. Что ты на это скажешь?

— Не знаю, мама,— еле слышно ответила Зана.— Не верится как-то.

Лирия хотела спросить еще о чем-то, но не решалась. Она сперва покрутилась около книжного шкафа, потом собралась с духом и выпалила наконец вопрос, который давно ее мучил:

— А по вашим отношениям... близким, я имею в виду... ты не почувствовала чего-нибудь?..

— Мама, я прошу тебя... Я не могу обсуждать с тобой эти вещи.— Зана резко поднялась с дивана и вышла из комнаты.

Она шла по коридору, не зная, куда деться, и тут на глаза попалась спасительная дверь в ванную. Зана протянула руку к блестящим никелированным кранам, чтобы включить воду, и разрыдалась.

«Это не листья, а наланы[1] какие-то»,— недовольно ворчал дворник Рэм, подметая улицу ночного города. Тяжелые и уродливые от дождя и налипшей грязи, они ползли перед метлой, сердито хлюпая и шурша. И вот об этих листьях его внук беспрестанно учит стихи, которые задают в школе. «Будь моя воля,— бормотал Рэм,— я бы, не задумываясь, выбросил их вместе с листьями в мусорку, которая приезжает каждое утро. Опавшие осенние листья — первейший враг всех дворников. В октябре — ноябре, в период листопада, их еще можно как-то терпеть, но не сейчас, в конце года». Осенью эта работа считается дополнительной производственной нагрузкой, за что устанавливается соответствующая доплата. В этом году Рэм, к примеру, получил за нее, если считать по-старому, на четыре тысячи триста двадцать лек больше обычного. А сейчас за уборку листьев никто не платит — не сезон.

— Дерьмо! — смачно выругался Рэм, пнув ногой кучу слипшихся листьев.

А вот снег он готов был убирать даже бесплатно. Рэм любил снег: жаль только, что выпадал он редко.

[1] Род сандалий на толстых деревянных подошвах с широкими поперечными ремешками.

Снег украшал улицу, и Рэм, прежде чем начать уборку, подолгу любовался его загадочными переливами в свете неоновых ламп. «Не то что это дерьмо...» — Он косо взглянул на кучу листьев.

Рэм услышал какой-то шум и обернулся. В двадцати шагах от него под табличкой с расписанием движения автобусов стоял человек — стоял не шелохнувшись, будто замер. «Никакого шума, показалось, наверное»,— подумал Рэм, продолжая мести улицу. Шум, однако, повторился. Рэм снова обернулся. Ночной прохожий, вцепившись обеими руками в табличку с расписанием, пытался повернуть ее так, чтобы можно было рассмотреть, что на ней написано.

— Эй, приятель,— крикнул ему Рэм,— автобусы уже не ходят. Зря дожидаешься!

Человек тотчас опустил руки, вытянув их по швам, и замер, как истукан. Рэм привык к разным типам, болтающимся по ночам без дела, поэтому на странное поведение прохожего особого внимания не обратил. Продолжая мести улицу, он из любопытства еще раз посмотрел на упрямца, решившего дождаться первого автобуса, и... обомлел. Человек всеми силами пытался сорвать со столба табличку, буквально повиснув на ней. Забыв про метлу, Рэм бросился к остановке. Схватив хулигана за плечо, он хотел было оттащить его от столба, но тщетно: незнакомец намертво вцепился в табличку. Громко сопя, он отбивался от непрошеного блюстителя порядка, пытаясь лягнуть его ногой или поддать коленом. Противники сцепились в долгом, молчаливом объятии — слышались только их сопенье да негромкие стоны. Со стороны это могло показаться невероятным и смешным. Рэм даже подумал, что он спит и видит дурной сон.

В это время мимо проезжал на велосипеде какой-то человек.

— Эй, что вы тут делаете? — удивленно закричал он.— Нашли время для выяснения отношений.

— Слушай,— сказал, тяжело отдуваясь, Рэм,— я поймал саботажника. На втором повороте полицейский пост. Сообщи, а я его пока попридержу.

Велосипедист мгновенно исчез и через считанные минуты появился вновь. Все было по-прежнему, только теперь перед ним было не два человека, а одно странное существо о двух головах, которое тяжело дышало и громко пыхтело.

— Полицейский идет,— радостно сообщил он.

И в самом деле, спустя минуту из-за угла выбежал полицейский; стук его каблуков громким эхом отозвался в ночной тишине. Любитель табличек сделал последнюю отчаянную попытку вырваться, но Рэм вцепился в него мертвой хваткой. Полицейский бесстрашно бросился на двуглавое существо с четырьмя непрерывно двигающимися руками.

— Да не меня! Что ты за меня хватаешься?! — закричал Рэм.

— Не разберешься тут, кто где,— пробормотал полицейский.

В конце концов он оттащил хулигана от Рэма, крепко взял его за локоть и велел идти вперед. Любитель табличек покорно поплелся в указанном направлении, но вдруг остановился и в ужасе закричал:

— Табличку! Снимите табличку! Они идут!

Голос человека, визгливый и срывающийся на фальцет, звучал так, будто только что прорезался.

— Табличку, мать твою! — крепко выругался Рэм.

Группа из трех человек в сопровождении велосипедиста, который явно не спешил домой, направилась в районное отделение полиции № 3. По дороге Рэм обнаружил, что в пылу борьбы порвал рубашку. «Мечтал о дополнительной производственной нагрузке — вот и получил.— Он сокрушенно покачал головой.— Наслушаюсь теперь от своей старухи».

— Рэм, что случилось? — окликнул его знакомый дворник с соседней улицы Парижской Коммуны.

— Ведем вот друга в полицию,— сообщил Рэм.

— Разбил витрину?

— Нет, хуже.

— А что? — поинтересовался знакомый, и в голосе его прозвучали заговорщицкие нотки.

— Да табличку вот...— сказал Рэм, тоже понизив голос.— Хотел табличку сорвать на остановке. Понимаешь?

Соседский дворник даже присвистнул от удивления.

— Что-то политическое, не иначе? — покрутил он головой.

— А ты думал,— важно заметил Рэм.

Полицейский крепко держал нарушителя за рукав. Тот не сопротивлялся, шел, низко опустив голову и приволакивая ногу. Он был сутул, узкоплеч, а коротко стриженные волосы подчеркивали бледность его лица.

После темени ночных улиц в полицейском отделении было очень светло. Дежурный офицер, задав задержанному несколько вопросов, стал звонить в психиатрическую больницу:

— Алло, алло, дежурный? Это говорят из полицейского отделения № 3. Не сбежал ли у вас больной? Что?.. Да-да, проверьте.

Наклонив голову к трубке, офицер терпеливо ждал ответа и одновременно с интересом разглядывал порванную рубаху Рэма. В соседней комнате знакомый голос вяло выводил:

Не женись на рыжих, оченно бесстыжих,
Рыжие — оне очень раз-ны-е...

— Да-да... Особые приметы? — переспросил офицер. — Слушаю вас. Да-да, — повторял он, глядя на задержанного. — Точно. Все совпадает. Это он... Машину пришлете?.. Как?.. Не представляет опасности?! Ясно, — заключил он, бросив взгляд на порванную рубаху Рэма.

Офицер положил трубку. Рэм увидел безумные глаза задержанного, и ему стало жаль его.

Машина «скорой помощи» пришла минут через двадцать. Увидев медбрата, больной покорно пошел за ним. «Скорая» с включенными сигнальными огнями на большой скорости помчалась по пустынным улицам города. Было двадцать минут пятого.

Дежурный врач психиатрической больницы Андрэ Янура, человек крепкого телосложения, здорового образа жизни, дипломированный специалист (в 1958 году окончил институт), поклонник традиционного театра, с 1959 года состоящий в законном браке с Дьаной Бермема и в том же году обратившийся в жилищный отдел о предоставлении квартиры, взглянул на часы и подумал: «Должны вот-вот приехать». И точно, спустя минуту фары въезжавшего в больничный двор автомобиля осветили деревья, железные скамейки, мокрую от дождя заасфальтированную площадку перед входом в здание. Дежурный врач облегченно вздохнул. Под рукой у него лежал раскрытый на странице 374 журнал регистрации больных. В нем четким почерком медсестры было записано: *«Фан Колёня. Реактивный галлюциноз. Не агрессивен»*. Ниже излагался анамнез: «В 1943 году, в первый день немецкого вторжения, в приграничном селе Борова...» Врач вторично перечитал написанные

убористым почерком строчки. Потом выключил лампу и прилег на раскладушку. Мутный поток слабого зимнего света заполнил квадрат окна. Занималось утро нового дня. Андрэ Янура прикрыл глаза и попытался представить себе движение первой немецкой автоколонны, которая в конце лета 1943 года вошла в Албанию с юга. Колонна машин длинной пыльной змеей подползала к селу Борова. У околицы ее обстреляли партизаны. Немцы попрыгали с грузовиков и бронетранспортеров и залегли. Завязался бой. Спустя некоторое время автоколонна двинулась в глубь Албании. В последний момент кто-то из немцев торопливо нацарапал на дощечке черной краской: «Здесь нас обстреляли. Уничтожайте всех без пощады!» Доску он приколотил камнем к палке и воткнул ее вместо дорожного указателя. Колонна продолжала путь, а на обочине дороги осталась табличка с надписью на незнакомом языке. Когда перестрелка закончилась и последняя машина с немцами исчезла в клубах пыли, на дорогу вышел какой-то крестьянин. Он подошел к странному знаку с надписью на чужом языке и — так ему, наверное, подсказало сердце — сорвал табличку. Закинув ее в кусты, он скрылся. На беду, минут через десять мимо этого места проходил Фан Колёня. Заметив в кустах табличку, он поднял ее, подивившись умелой руке, которая вывела столь замысловатые буквы. Фан Колёня был обычный крестьянин: читать и писать не умел, но испытывал величайшее уважение к печатному слову — будь то таблички с надписями, объявления или призывы. Поэтому он выставил найденную табличку на самом видном месте на обочине дороги. Через полчаса к селу подошла новая немецкая колонна. Прочитав табличку, немцы окружили село и учинили жестокую расправу над мирными жителями. Трупы стариков, женщин, детей лежали повсюду, где их застала фашистская пуля,— на улицах, возле колодцев, на пороге домов. Затем колонна двинулась дальше на север. Это был первый день вступления германских войск в Албанию. Машины и бронетранспортеры нескончаемым потоком двигались в направлении Корчи. Обезумевшими от ужаса глазами смотрел Фан Колёня на безжизненные тела односельчан, на злосчастную табличку, и губы его беззвучно шептали: «Это я, я, я...» Два года спустя, летней ночью 1945 года, он впервые сорвал все таблички на базаре в Эрсэке. Подобные случаи стали повторяться. Сперва

его поместили в психиатрическую больницу во Влёре, а потом перевели в Тирану. Он был неизлечим, но и не опасен.

Врач получше укрылся одеялом. «Если не будет срочных вызовов, можно немного вздремнуть»,— решил он. Мутный квадрат света отступал все дальше и дальше. Участок дороги и табличка с надписью на немецком языке «Hier hat man uns überfallen! Tötet alle schohnungslos!»[1] медленно проплыли перед глазами. «Новая табличка — новая судьба... Страшная месть... Месть великой державы... Что-то такое я уже слышал»,— подумал Андрэ Янура. Светало. За окном простирался огромный город, окрашенный в серый цвет утренней дымкой хмурого зимнего утра; город, полный знаков, символов, предупреждений. Бесчисленные таблички с расписаниями движения городских автобусов, поездов, такси, с часами работы магазинов и учреждений, таблички, на которых значились инициалы, названия аэропортов, пляжей, военных баз, просьбы, предупреждения, приказы. «Проходите слева (справа)!», «Вперед!», «Назад!», «Стоп!». Весь мир утыкан такими табличками. Понять их невозможно. Загадочные сфинксы. Врач крутился на раскладушке, не в силах заснуть. «Надо будет завтра же, то есть уже сегодня, спросить тещу,— подумал он. О любом политическом событии в семье Бермемов знали задолго до того, как оно свершалось.— «Hier hat man uns überfallen!» — повторил он про себя.— Обязательно надо спросить».

Глава XIII

По длинному коридору редакции величественно шествовала уборщица Бедрия. В руках она держала портрет Хрущева. Илир, случайно оказавшийся у дверей в административные помещения, увидев ее, буквально остолбенел.

— Бедрия, где ты взяла этот портрет?— спросил он растерянно.

— В зале заседаний. Где же еще?— буркнула, не поворачивая головы, уборщица.

Илир мигом взлетел на четвертый этаж, где находился зал заседаний. Ряды стульев, длинный стол, по-

[1] Нас здесь обстреляли! Уничтожайте всех без пощады! *(нем.)*

крытый красным сукном, красные портьеры на окнах — все было на своих местах, все дремало в привычной красноватой тишине. Взглянув на стену, он увидел рядом с портретом Энвера Ходжи темный квадрат на фоне выцветших обоев. Слабый свет из окна падал прямо на него. Маленькие юркие глазки Илира блеснули любопытством. Он сбежал вниз по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки, и пулей влетел в один из кабинетов.

— Бедрия сняла портрет Хрущева в зале заседаний!— выпалил он с порога.— Сам видел!

Все с любопытством уставились на него.

— Ты это серьезно?— озабоченно спросил заведующий фотолабораторией.

В тишине кабинета слышалось частое прерывистое дыхание Илира.

— Собственными глазами видел!— повторил он, приходя в себя.

— Странно,— протянул кто-то.

После короткой паузы заговорили все одновременно.

— Надо сходить к международникам,— предложил кто-то.— Они наверняка что-нибудь да знают.

— Конечно, они же читают «желтый бюллетень».

— Говорят, скоро партию проинформируют о чем-то очень важном.

— Если и вправду что-то случилось...

— Похоже.

— Не верится.

В комнату вошел Бесник.

— Где Никола?— спросил он.

— Скоро появится.

— Этот знает больше, чем сто «желтых бюллетеней»,— заметил один из газетчиков, кивнув на Бесника.

— Знает, но не проболтается,— вздохнул Илир.— Я не раз пытался разговорить его, но не вышло.

— После поездки в Москву он очень изменился.

— Мне тоже так показалось. Какой-то мрачный стал...

— Может, дома что случилось?

— О поездке в Москву даже не заикается. О впечатлениях — ни слова. Будто и не был там вовсе.

— Если и произошло что-то серьезное, партию, я думаю, скоро проинформируют.

— Я тоже так думаю.

Вошел ответственный секретарь, и всё примолкли. Ему нужен был недельный план редакционной подготовки материалов. Следом за ним в дверях показался рыжеволосый администратор.

— Из Госконтроля звонят, спрашивают главного,— обратился он к ответственному секретарю.

— Главный редактор в ЦК,— сдержанно сообщил секретарь и, взяв копию плана, направился к двери.

— Пошли, ребята, к международникам!— предложил Илир и первым выскочил в коридор. Там было настоящее светопреставление.

Двери кабинетов открывались и закрывались: приближалось время короткого перерыва, когда во всех учреждениях столицы обычно пьют кофе. Возле машбюро, как всегда в это время, была толкотня. Каждый перед тем, как уйти на перерыв, старался закинуть материал на перепечатку или получить с машинки уже отпечатанный текст. Пальцы машинисток двигались в бешеном темпе — для них наступало самое напряженное время дня.

У кабинета с табличкой «Ответственный секретарь» стояла с мокрыми от слез глазами девушка-корректор, а из кабинета доносился баритон хозяина:

— Главный редактор в Центральном Комитете партии. Я уже в который раз вам говорю. Что? Когда вернется?.. Мы не знаем, дорогой товарищ. Ничего не знаем.

Рыжеволосый администратор летел по коридору, но кто-то успел все-таки задать ему традиционный вопрос:

— Где встречаешь Новый год?

Внеочередной Пленум ЦК АПТ с отчетом албанской делегации, участвовавшей в Совещании представителей восьмидесяти одной коммунистической и рабочей партии в Москве, начавшийся накануне поздно вечером и длившийся до полуночи, сегодня рано утром возобновил работу.

День выдался ненастный. Слабый свет зимнего утра едва освещал пространство зала до боковых колонн и терялся в ярком сиянии хрустальных люстр. Колонны отливали снежной белизной. Энвер Ходжа только сейчас заметил, что, пока он был в Москве, зал отремонтировали и покрасили.

— Товарищи! Сердцем мы были постоянно с вами, понимая, как трудно вам приходилось там, в обстановке сибирской стужи. Понимали, но до конца не представляли. То, что вы рассказали, не укладывается в голове,— подчеркнул выступавший в прениях одиннадцатый по счету оратор, член ЦК.

Все, выступившие до этого, единодушно одобрили линию поведения албанской делегации на совещании, но список записавшихся был далеко не исчерпан. Прения продолжались.

«ЦК вашей партии вряд ли обрадуется, узнав, что вы здесь, в Москве, делали и что говорили». Энвер Ходжа не помнил, кто именно сказал ему эти слова. Впервые они всплыли в памяти, когда самолет пересек границу Албании и под его крылом засверкали снежные шапки гор. Темные ущелья, неприступные скалы, обширные плоскогорья, запорошенные снегом, длинными грядами протянулись с севера на юг. Видневшиеся тут и там деревушки, казалось, отогревались под мышками у гор. В большинстве деревень Ходже довелось побывать во время войны. Чем ниже опускался самолет, готовясь к посадке, тем явственнее всплывали перед глазами картины военных лет. Еще немного, и он увидит там, внизу, своих боевых товарищей, многие из которых стали теперь членами ЦК. В длинных партизанских шинелях, раздуваемых ветром, с обескровленными от ран лицами, изможденные недосыпанием и голодом, они рассыпались по заснеженным склонам гор и затаились в ожидании врага. Вот и только что выступавшего помнит он с забинтованной головой. Таким увидел его впервые, и таким он запомнился ему на всю жизнь. В течение трех месяцев он приходил на заседания ЦК с бинтами на голове, сквозь которые проступали пятна крови. Когда же рана зажила и врачи разрешили снять повязку, Энвер Ходжа не узнал его: он, оказывается, был совсем молодым. Один за другим поднимались на трибуну ораторы, а Ходжа пытался вспомнить, кто из них и как выглядел в дни войны и в первые послевоенные годы. Никогда еще воспоминания военных лет не обрушивались на него с такой силой.

Все началось несколько месяцев назад, в тот летний полдень, когда он впервые почувствовал, что наметившееся похолодание усиливается. Энвер Ходжа, как обычно, работал в кабинете. Через открытое окно с центрального бульвара доносились веселые голоса и

смех студентов. Полуденное солнце цвета перезревшего апельсина двигалось к закату. Оркестранты из ближайших парков настраивали инструменты, готовясь к вечерним выступлениям. Энвер Ходжа закончил писать первую радиограмму, которую через час следовало направить в Бухарест представителю ЦК АПТ. Нажимая кнопку вызова секретаря, он заметил, что не расписался в конце телеграммы. Ходжа взял ручку, придвинул поближе листок с текстом и на минуту задумался. Потом медленнее, чем обычно, вывел подпись, но вместо привычного «Энвер» подписал «Шпати»[1]. Откинув голову, он то ли с удивлением, то ли с грустью посмотрел на свою подпольную партизанскую кличку, будто встретил старую знакомую. Вот уже пятнадцать лет Энвер Ходжа ею не пользовался.

Трудности часто встречались на его пути,— может быть, даже слишком часто. И никогда Ходжа не забывал о войне, о работе партии в условиях подполья, помнил он и о своей партизанской кличке. Но вот о том, что спустя пятнадцать лет он подпишет ею официальный документ, сказать по правде, не думал.

«Шпати! Долго же тебе пришлось ждать этого часа!»— так или почти так могло бы, наверное, воскликнуть это короткое слово, если бы умело говорить.

Радиограммы, направленные представителю партии на совещании в Бухаресте и премьер-министру, возглавлявшему албанскую делегацию в Нью-Йорке, Ходжа подписал своей партизанской кличкой. Ответные радиограммы его товарищи тоже подписали своими партизанскими и партийными кличками. Они поняли его.

Отправляя первую радиограмму в Бухарест, Ходжа подумал, что, когда цифры зашифрованного текста полетят над странами Восточной Европы в румынскую столицу, мощный аппарат КГБ и спецслужб стран-сателлитов постарается перехватить их, сбросить вниз на землю и любыми способами вырвать тайну.

Энвер Ходжа знал, что современная техника способна в целости и сохранности донести текст до адресата, но предпочел бы воспользоваться партизанским связным. Любая секретная и сверхсекретная система шифровки ничто по сравнению с парнями из партизанских отрядов, которые, заучив текст наизусть, отправлялись по указанным адресам. Случалось, их брали и даже

---

[1] Горный склон *(алб.)*.

убивали, но тайна всегда оставалась тайной, она умирала вместе с истекающими кровью связными.

Члены ЦК продолжали выступать.

В третьем ряду сидела женщина член Политбюро, секретарь ЦК АПТ. Готовясь к выступлению, она делала последние пометки в блокноте. Ожидалось, что она выступит с «особым мнением». Рядом с ней сидел член Ревизионной комиссии ЦК. (В середине дня, в перерыве между утренним и вечерним заседаниями, Политбюро потребует от нее пересмотреть свои позиции[1]. Вечером Пленум продолжит работу и примет окончательные решения по всем вопросам.)

После утренней суматохи в коридорах редакции наступило временное затишье, и только беспорядочный стрекот пишущих машинок, доносившийся из машбюро, подтверждал, что жизнь газеты идет своим чередом. Выглянул из своего кабинета Рати. В конце опустевшего коридора Бедрия протирала стекла дверей зала заседаний. Из отдела международной жизни вышли Илир и Зэф.

— Бедрия!— окликнул Рати уборщицу.— Зайди-ка на минутку.

Женщина, с тряпкой в руке, вошла в кабинет начальника отдела кадров. Рати плотно прикрыл за нею дверь.

— Бедрия,— начал он вкрадчиво,— тебе кто-нибудь велел снять портрет Хрущева в зале заседаний?

— Дак неужто бы я сама придумала?! Главный велел снять.

— Да-да, конечно...— пробормотал Рати.— Ну, а люди что говорили, то бишь товарищи? Они говорили что-нибудь, когда ты несла портрет по коридору?

— Не слышала я ничего.

— А ты вспомни, вспомни... — настаивал кадровик.

— Да не путай ты меня в эти дела, за-ради Аллаха!— взмолилась Бедрия.— У меня дети малые.

— Постой, Бедрия! Не спеши. Подумай получше.

---

[1] Речь идет о Лири Белишовой, выступившей против линии Э. Ходжи, за что она и ее сторонники были исключены из партии и репрессированы.

— А чего мне думать-то?! Чего думать?! Я ровнехонько ничего не знаю. Ты бы, милок, занимался своим делом и не лез ко мне с этим Кручевым, или как там его. Дети у меня. Понимаешь?

— Да ладно, чего раскудахталась?— рассмеялся Рати.— Я же пошутил.

— А ты бы шутил с теми, кто повыше сидит, а мы, милок, люди маленькие, темные. У больших людей одни заботы, у нас — другие. Скажут: «Повесь обратно!» — я повешу. Скажут: «Вытри тряпкой пыль!» — я вытру. Но не буду совать нос куда не следует. Ты понял?

«Ну и дела, черт бы их всех побрал!— сокрушенно покрутил головой начальник отдела кадров, когда Бедрия вышла из кабинета.— Что происходит? Что происходит?»

Он подошел к окну и посмотрел на улицу. По центральному бульвару торопливо шли редкие прохожие. Поднятые воротники длиннополых пальто отнюдь не спасали их от пронзительного декабрьского ветра. Особенно мерзли уши. Кое о чем Рати все же удалось пронюхать, но сведения были слишком неопределенными. Внезапно появилось чувство горькой обиды. С чего бы это? Хотя нет, причина имеется,— мысль о том, что Бесник знает больше, чем он, не давала покоя. «Как он изменился в последнее время,— не мог успокоиться Рати.— Замкнулся. Заважничал. Еще бы!» Его ведь пригласили на правительственный прием во Дворец Бригад, где он, Рати, не был уже много лет, с того самого дня... А когда он спросил Бесника о поездке в Москву, то ответ был на редкость сдержанный: нормально, мол, обычная поездка. «Обычная! Как вам это нравится? Конечно, теперь он среди тех, кто все определяет. Вот и отыгрывается»,— сокрушенно вздохнул Рати. От железнодорожного вокзала к центру города повалил народ. «Наверное, с одиннадцатичасового поезда»,— безотчетно отметил Рати.

Похоже, Аранит уже о чем-то прослышал. Рати встретил его вчера вечером мрачным как туча. «Там, в Москве... что-то произошло,— сказал Аранит угрюмо.— Говорят, Берия был хорошим, но его сожрали писатели».— «Но если Берия был хорошим, то...» — Рати не решился высказать вслух крамольную мысль. Аранита он побаивался. Однажды — это было в 1956 году, во время Тиранской партконференции — они заговорили о

Кочи Дзодзе (тогда ходили слухи о его реабилитации) и он заметил, как глаза Аранита потемнели. Перепугавшись, Рати перевел разговор на другую тему. Вчерашняя встреча с Аранитом напомнила ему 1947 год и работу в Административном комитете — министерстве, осуществлявшем контроль над всеми остальными министерствами и ведомствами страны. Это была лучшая пора его жизни.

Он помнил, что стояла холодная погода. Во всех барах и скверах Тираны до полуночи играли оркестры. Рати и еще несколько таких, как он, приходили в кафе, рассредоточивались по всему залу, сидели за столиками, потягивали пиво и наблюдали за теми, кого ночью должны были арестовать. Чем объяснить затаенную радость, которую испытывал каждый из них при одной лишь мысли, что жизнь человека, который пока не догадывается о нависшей над ним беде, зависит от них? Он спокойно пьет пиво, улыбается жене или подруге, он счастлив, а между тем он уже обречен. Они появлялись как гром среди ясного неба, как смерч, как землетрясение. Их власть — беспредел, и судьба каждого человека — в их руках. Чем более жалким, растерянным и беспомощным выглядел подлежащий аресту человек, тем сладостнее было ощущение их безграничной власти, власти сильного над слабым. Это чувство пьянило больше, чем вино, оно заменяло им то, чем обделила судьба. Оно походило разве что на предвкушение блаженства, которое сулят аромат волос, взгляд, голос, ямочки на коленях женщины или девушки сидящему напротив мужчине. А глубокой ночью (обязательно ночью!) — стук в дверь: «Отоприте! Госбезопасность!» И неприступные гордячки из баров-скверов предстают во всем своем естестве: растрепанные, в ночных сорочках, со следами любовных утех в каждом движении, в каждом изгибе тела. Они будут валяться у них в ногах и кричать: «Нет! Нет! Нет!..» Это — наивысшая точка палаческого экстаза, который сравним лишь с эротическим наслаждением. Зевс проник в медную башню к Данае в виде золотого дождя, а Рати с напарниками проникал в дома своих жертв в виде ночного стука.

Незабываемая осень... Многие товарищи Рати по совместной работе в органах неделями, а порой и месяцами колесили по стране, преследуя банды диверсантов. Возвращались они чудом уцелевшими, со страшными

ранами, с воспалением легких, с чахоткой... Один без руки, другой без глаза... А некоторые и вовсе не возвращались. Награда? Награда — «герой невидимого фронта», как пишут о таких людях в стихах или на могильных плитах. Навещая в больничных палатах раненых, склоняя голову перед павшими, Рати не переставал благодарить судьбу, уготовившую ему карьеру чиновника. Кабинетная власть внушала страх окружающим, да и ему самому, так что мало-помалу Рати уверовал в ее целесообразность, непогрешимость и главное — несокрушимость. Но, как порой случается, рухнула она в одночасье, когда он вовсе этого не ожидал. Первым сигналом надвигавшейся катастрофы стал роспуск комитета. А потом все покатилось, повалилось, посыпалось, словно во время землетрясения. Страшное безумие охватило всех: министра внутренних дел вывели из состава Политбюро и ЦК АПТ, ежедневно проводились нудные многочасовые собрания с критикой и самокритикой, потянулись тревожные часы ожидания в коридорах парткома, многих членов партии перевели в кандидаты. Наконец новый сигнал: арестовали бывшего министра внутренних дел. Жизнь Рати вмиг перевернулась: теперь он по ночам ждал стука в дверь, испытывая те же чувства, что и его недавние жертвы. Но он уцелел, сделав ставку на самокритику,— зубами уцепился за эту спасительную соломинку. И преуспел. Самокритика, самокритика и еще раз самокритика, а тем временем страсти поулеглись, поутихли ветры революционных перемен, и Рати волею благосклонной судьбы попал в совершенно незнакомую ему среду — в редакцию газеты.

«Что же происходит теперь?»— недоумевал начальник отдела кадров.

Он живо представил, как журналисты сидят сейчас в «Ривьере» или в баре напротив. Переговариваются, шутят. Кстати, ему никогда не нравились их бессмысленные шутки. Наверняка они пересказывают друг другу сообщения из «желтого бюллетеня», строят догадки, прогнозируют. «А мне никто ничего не рассказывает,— сокрушался Рати.— Я никому не нужен». Успокаивало одно: если случилось что-то серьезное, то парторганизации обязательно проинформируют. «Тогда и я все узнаю... Вместе со всеми... — Именно это его и бесило. Не будь Бесника, он, возможно, и не переживал бы так болезненно.— Бесник знает, а я, начальник отдела кад-

ров, буду проинформирован вместе со всеми. Я уже не в авангарде, я на обочине. Даже Бедрия и та не желает подчиняться мне...»

Он ощутил вдруг такую тоску, что впору было завыть. Нечто подобное он испытал несколько месяцев назад, когда сентябрьским вечером забрел в бар под открытым небом в одном из скверов на окраине Тираны. Играла музыка, за столиками сидели влюбленные парочки — все как тогда, в звездные дни его жизни. Желтоватые отблески луны наполняли равнинный пейзаж фантастическим светом, превращая его в бесконечную гладь озер. «Где-то здесь, на окраине Тираны, должно быть, расстрелян и погребен бывший министр внутренних дел»,— подумал Рати, наблюдая за потоками безжизненного лунного света, и вдруг на него напала смертельная тоска. «Мой министр, мой министр...»— беззвучно повторял он. Захотелось прибиться к стае волков, которые, устремив остроносые морды к небу, воют по давно ушедшим временам (наверняка великая драма в жизни диких собак разыгралась в одну из лунных ночей доисторического периода).

Коридор наполнился шумом. «Возвращаются»,— неприязненно поморщился Рати. Все ему было чуждо в этих людях: их бессмысленный юмор, манера говорить, смеяться и даже то, как они смотрят друг на друга. Прав был Аранит.

— Совещание в кабинете у главного!— раздался чей-то громкий голос.— Приглашаются заведующие и отдел экономической жизни.

— А главный вернулся из ЦК?

— Да, только что.

Сотрудники вереницей потянулись в начальнический отсек. Входя по очереди в кабинет главного, они рассаживались за длинным столом в виде букты «Т». Один из трех телефонов беспрестанно звонил. Наконец шеф не выдержал и взял трубку.

— У нас совещание,— сказал он негромко и положил трубку.— Все в сборе?— Главный редактор окинул взглядом собравшихся.— Тогда начнем.— Он придвинул блокнот с записями.— Я только что вернулся из Центрального Комитета, где, кроме всего прочего, состоялась короткая пресс-конференция.— Он перевернул несколько страниц блокнота. В комнате установилась напря-

женная тишина.— В эти дни, а точнее послезавтра, по всей стране будет объявлена массовая кампания за бережливость.

«Началось»,— подумал Бесник.

Несколько пар глаз буквально впились в него, надеясь получить подтверждение своим догадкам, но Бесник уклонился от них.

— Я пригласил вас,— продолжал главный редактор,— чтобы вместе обсудить, как нашей газете освещать ход столь важного для страны мероприятия.

«Когда-то это должно было начаться,— снова подумал Бесник.— Рано или поздно, но должно».

За три недели после возвращения он не раз пытался анализировать сложившуюся ситуацию. Порой ему казалось, что все останется как было, а то, что произошло в Москве, лишь дурной сон. И действительно, ничего не менялось: те же субботы, те же воскресенья (он удивлялся нерабочим праздничным дням, как удивляются поздней осенью редким цветам, пережившим холода). По воскресеньям, как и прежде,— коллективные поездки за город, к Дайти, организованные профсоюзами; переполненные автобусы маршрута «Банк — Киностудия» (старшеклассники, как обычно, препираются с кондукторами, которые не впускают их с лыжами); другие дела, которые накапливаются за неделю, особенно в канун Нового года. К концу третьей недели Бесник укрепился во мнении, что все идет по-старому. Но затишье было обманчивым и походило на болезнь в инкубационном периоде.

Главный редактор продолжал что-то говорить, изредка посматривая на записи. Бесник слушал невнимательно. «Война началась,— подумал он тоскливо.— Впереди экономическая блокада. Не сегодня завтра появятся первые ее предвестники: плакаты со словами «КАМПАНИЯ ЗА БЕРЕЖЛИВОСТЬ!». Их развесят на стенах и фасадах домов, на столбах у автобусных остановок и стоянок такси. Не всякий сразу поймет, что кроется за привычными словами: «СБЕРЕЖЕМ КАЖДУЮ КАПЛЮ ГОРЮЧЕГО!» или «БЕРЕГИТЕ ХЛЕБ!».

А главный редактор все говорил и говорил. Собравшиеся записывали что-то в тетрадках и блокнотах и не донимали больше Бесника вопрошающими взглядами. В комнате установилась необычная тишина, слышался только скрип перьев, напоминавший хруст зерна, пожираемого мышами...

«Вот она, их месть,— подумал Бесник.— Она не могла не проявиться. Должна была». В памяти всплыл разговор с летчиком: «С тяжелым сердцем, брат мой, с тяжелым сердцем...» — «Вы уничтожите нас?» — «С тяжелым сердцем, брат мой, с тяжелым...» — «Вы нас уничто...» — «С тяжелым серд...» И внезапно в его воображении возникла странная картина: безлюдный порт, огромный экскаватор, свирепо урча, поднимает и опускает пустой ковш, и тут же — ревущий локомотив и мокрый от дождя плакат.

Сунув руки в карманы, Бэн бродил по бульвару Марселя Кашена в ожидании Ирисии. Она звонила ему вчера вечером и на вопрос, где они встретятся, сказала, чтобы он ждал ее возле первого моста на бульваре Марселя Кашена: там она проходит, возвращаясь домой из школы.

Бэн не знал в Тиране более пустынной улицы, чем этот бульвар, протянувшийся от гостиницы «Дайти» до Эльбасанской улицы. Люди здесь почти не ходили, лишь изредка проезжали автофургоны с надписями «МЯСО» или «ОВОЩИ». Рядом находилась детская площадка для игр, но зимой она не работала. У билетной кассы за решетчатой оградой, на металлических качелях — всюду валялись полусгнившие листья.

К киоску на противоположной стороне бульвара кто-то приклеил афишу театральной Олимпиады. Бэн попытался прочитать названия спектаклей, но не смог.

Ирисию он увидел издали. «Какой же язык можно выучить, таская такую сумку?— изумленно подумал Бэн, вспомнив, что она ходит в школу с интенсивным изучением иностранных языков.— Разве что китайский!» Завидев его, Ирисия улыбнулась и приветливо помахала рукой. Она совсем не изменилась с той поры, когда они виделись в последний раз, только похудела немного.

— Добрый день!— сказала она, сдерживая прерывистое дыхание от быстрой ходьбы.— Как ваши дела, Арбэн?

Бэн растерялся: почему она обращается к нему на «вы»? Он протянул ей руку, и они пошли к центральному бульвару. Ирисия что-то сказала, снова обращаясь к нему на «вы». «Что это она?— озадачился Бэн.— Тогда, в сентябре, мы были вроде бы на «ты».

Бэн не знал, что бы интересное ей рассказать. «Хоть бы вспомнить что-нибудь из литературы»,— с тоской подумал он, но на память, как назло, ничего не приходило: ни из Гомера, ни про Анну Каренину, ни про то, что волновало писателей-реалистов тридцатых годов. И тогда он предложил зайти в парк, мимо которого они шли. Ирисия согласилась. Они облюбовали скамейку на берегу искусственного водоема. Коричневато-бурые стволы голых деревьев придавали парку унылый вид. Возле танцплощадки стояли штабеля ящиков из-под пива, забытых здесь с лета.

— Как быстро летит время,— мечтательно вымолвила Ирисия, и ему показалось, что ее голос потеплел.— Помнишь, как тогда, в сентябре, мы с тобой сидели в этом парке?

Бэн достал из кармана пачку сигарет. «Наконец-то она сказала мне «ты»,— обрадовался он, любуясь ее необыкновенными глазами.— Не у всякой девушки такие глаза, а лишь у «неприступных».

Такие девушки, по мнению Бэна, водили дружбу с молодыми людьми, работающими, например, на киностудии, на радио или уезжающими стажироваться за рубеж. Возможно, именно поэтому глаза у «неприступных» приобретали некую загадочность и походили на маленькие озерца, которыми можно любоваться бесконечно. Порой казалось, что из них вычерпано все до самого донышка, но проходило время, и выяснялось, что зачерпнуть если и удалось, то самую малость, да и то лишь с поверхности озерной глади, а в самую глубь заглянуть так и не довелось.

Подул холодный ветер. Ирисия подняла воротник пальто. Где-то далеко слышался монотонный призыв: «Колю дрова! Дрова колю!..» Городские часы пробили два раза.

— Мне пора,— поднялась Ирисия.

Бэн насупился.

— Меня ждут дома — время обеда,— сказала она, как бы прося прощения, и улыбнулась.— Какой вы странный, право!

«Опять проклятое «вы»!» Бэн вдруг понял, что они, в сущности, так ни о чем и не поговорили.

— Странно, мы ни разу даже случайно не встретились... Просто так... на улице...— сказала она, лишь бы не молчать.— А ваш товарищ...

— Что?

— Я его чуть ли не каждый день здесь видела.

— Вот как?!

Ирисия нагнулась, чтобы взять лежавшую на скамейке сумку. Она уже не казалась Бэну столь экстравагантной — сумка как сумка.

— Я несколько раз спрашивала о тебе,— едва слышно сказала Ирисия,— но он бормотал сквозь зубы что-то невразумительное. А на днях сам дал ваш телефон.

У Бэна перехватило дыхание.

— А ты с ним...

— Что?!— Глаза девушки посерьезнели.

— Я хотел сказать... Вы гуляли с ним? — хрипло выдавил из себя Бэн.

— Но не так, как ты думаешь!— бросила Ирисия и, схватив сумку, чуть не вывалила на Бэна все ее содержимое — разные там французские, русские, японские учебники.

«Этого еще не хватало!»— подумал Бэн.

Он хотел сказать, что нельзя расставаться вот так, на полуслове, но не знал, как это сделать.

В это время к воротам парка подъехала большая черная машина. Из нее вышла женщина. Проходя мимо молодых людей, она беспокойно взглянула на них и направилась к одной из пустующих скамеек.

— Лицо как будто знакомое...— неуверенно произнес Бэн.— Где-то я ее видел, но где? Кажется, в газетах или на развешанных по городу портретах...

— Она из высшего руководства,— сказала Ирисия.— Член Политбюро, товарищ...

— Тише!— остановил ее Бэн.— Она смотрит в нашу сторону.

Ирисия замолчала. Поправив приподнятый воротник пальто, она едва слышно прошептала:

— На первомайской демонстрации я несла ее портрет. Тогда еще пошел дождь. Помню, вымокла до нитки.

Бэн рассмеялся, хотя ничего подобного не помнил.

— А теперь я должна идти домой,— сказала Ирисия и протянула Бэну руку.

— Я провожу тебя,— смущенно буркнул он.

Где-то вдалеке слышался призывный голос: «Колю дрова! Дрова колю!»

«Неужели я так и не поговорю с ней?»— мучительно думал Бэн.

И тут на глаза ему попалась мраморная дощечка с надписью.

— Вот дерево албано-советской дружбы, посаженное Хрущевым.— Бэн обрадовался случаю завязать разговор.— Слышала о нем?

— Я читала об этом стихотворение, кажется, в газете. А это то самое дерево?

— Конечно,— заверил ее Бэн, будто только вчера сам посадил его здесь.

Ирисия и Бэн, присев, рассматривали надпись на мраморе.

— «Де-ре-во друж-бы»,— медленно читала Ирисия.— Интересно. Вот если бы...— И она засмеялась, не договорив до конца фразу.

— Что «если бы»?— переспросил Бэн.

— Вот если бы деревья сажали в знак дружбы между двумя людьми,— снова засмеялась Ирисия.— Видишь, какие глупости лезут мне в голову.

«Тогда я посадил бы для тебя целый лес»,— хотелось сказать Бэну, но вслух произнести эти слова он не посмел.

Они прошли почти через весь парк.

— До свидания, Арбэн,— Ирисия опять протянула руку.

Выходя из парка, Бэн обратил внимание, что женщина, подъехавшая на черной машине, тревожно смотрит в его сторону.

Она впервые сидела в парке одна. Заседание Политбюро закончилось в половине третьего, и, когда шофер привычно повел машину знакомым маршрутом к дому, она неожиданно для себя сказала: «Нет-нет, не домой! Поедем в парк».

Ей было ясно, что из Политбюро ее выведут, и очень скоро, может быть — даже сегодня на вечернем заседании ЦК или, в крайнем случае, через несколько дней, но обязательно до того, как члены партии будут проинформированы о разрыве с СССР. Она почувствовала пьянящее чувство гордости, представив на минуту десятки тысяч застывших от изумления лиц, услышавших, что она осмелилась осудить деятельность албанской партийной делегации в Москве. Она знала, что на нее обрушится град упреков, и тем не менее решилась на «особое мнение». По правде говоря, она бы с бóльшим удовольствием вынесла эти упреки, чем презрительный взгляд Энвера Ходжи и его оскорбительную реплику:

«Есть такие мотыль...» (видимо, он хотел сказать: «мотыльки», но передумал, посчитав это слово слишком мягким, и употребил другое — «насекомые»). «Есть такие насекомые,— язвительно заметил Энвер Ходжа,— которые живут не более часа, они появляются на свет в пять вечера и умирают около шести. Для них не существует ни утра, ни дня, ни вечера — ничего, кроме сумерек, когда они рождаются и умирают. Точно так и среди нас есть люди, для которых нет иного способа существования, кроме как под контролем какой-либо сверхдержавы». Она покраснела, попыталась протестовать, хотя Ходжа и не назвал вслух ее имени. Он прервал ее на словах: «...было бы абсурдным думать, что мы можем существовать без Советского Союза...»

В парке было голо и неуютно. По краям водоема скопился мусор. Где-то вдали слышалось: «Колю дрова! Дрова колю!»

«Скоро выяснится, кто прав: я или они,— размышляла она.— Очень скоро... Прекратятся кредиты, начнется экономическая блокада». При мысли о блокаде она злорадно усмехнулась: «Блок-ада... В этом слове есть что-то от железобетона и преисподней. Они еще попросят прощения у советских товарищей, а потом и у меня».

Монотонные призывы «Колю дрова!» раздавались все ближе и ближе. Она понимала, что скоро у нее не будет ни охраны, ни шофера, ни служебной машины; отовсюду поснимают ее портреты, а мужа, конечно же, сместят с поста министра... На многие месяцы жизнь станет сплошным адом. «Если только... если... Когда еще будет это «если»?» — жалобно прошептала она, почувствовав вдруг жгучий холод от скамейки, на которой сидела. Она встала и быстро направилась к машине.

— Поедем по городу,— сказала она шоферу, устраиваясь на заднем сиденье.

Из окна автомобиля она хорошо видела прохожих, которые скапливались на переходах и шли по тротуару, а также витрины магазинов, украшенные к Новому году. Все вокруг казалось ей далеким, будто появившимся из другого мира. Деревянный забор вокруг стройплощадки Дворца культуры был сплошь оклеен афишами: «ТЕАТРАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА». «ТЕАТРАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА». «ТЕАТРАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА». Она успела прочитать название одной из пьес — *«Кремлевские куранты»,* и сердце защемило от тоски.

На перекрестке, когда машина прижалась к тротуару, ожидая зеленого света, кто-то из прохожих случайно ткнулся в боковое стекло головой индюка, которого тащил с базара к праздничному столу. «И куда они так спешат? — поразилась она.— В сберкассу снять деньги для новогодних покупок? В магазины? На переосвидетельствование во ВТЭК? И при этом никто из них ни о чем не догадывается».

На улице было слякотно.

— Остановись-ка,— сказала она шоферу, завидев витрину парфюмерного магазина.

Прохожие сперва с любопытством смотрели на подъехавший правительственный автомобиль. Но затем, когда она вышла из машины и направилась в парфюмерный магазин, их любопытство сменилось изумлением.

Впервые за многие годы она отважилась на столь странный поступок. В магазине царили тишина и неповторимый аромат, которые присущи магазинам, торгующим предметами не первой необходимости. Продавщица, очевидно узнав ее, растерялась. Одна из покупательниц зашептала что-то на ухо своей спутнице.

— Что для вас? — спросила продавщица.

Она окинула взглядом выставленные для продажи товары. Флакончики духов, баночки и тюбики с кремами, шампуни, лаки для ногтей, губная помада — целый мир, способный удовлетворить причудливые вкусы самых требовательных покупательниц; мир, о котором она почти ничего не знала, но который вызывал у нее живой интерес и чувство плохо скрытой зависти, хрупкое и прозрачное, как все, что здесь находилось.

Мысль о том, что, лишившись своих постов, она сможет соприкасаться с этим хрупким и прозрачным миром, обдала ее холодом.

Муж встретил ее в коридоре: по-видимому, он услыхал шум подъехавшей машины.

— Ну как? — поинтересовался он.

Она только рукой махнула: чего уж там, все кончено. Муж смертельно побледнел.

— Я не думал, что так скоро.

— Лучше уж сразу.

— Когда же? — допытывался он, бестолково суетясь возле вешалки.

— Наверное, сегодня на вечернем заседании. У нас кто-то есть?

— Да,— кивнул он.

Придав лицу рассеянно-безразличное выражение, она вошла в гостиную. Один из членов Ревизионной комиссии ЦК, до этого спокойно сидевший на диване, кинулся ей навстречу. В его настороженном взгляде затаился все тот же вопрос: «Ну как?» Она поздоровалась, как обычно, со всеми за руку, делая вид, что ничего не случилось, и как бы не замечая напряженной тишины и встревоженных взглядов присутствующих. У них в гостях были родственники — супружеская пара и один военный, друг мужа. «Скоро, голубчики, вы будете шарахаться от меня как от чумы»,— мелькнуло у нее в голове.

Член Ревизионной комиссии, глядя на нее в упор, пытался угадать, что кроется за ее олимпийским спокойствием. Несколько дней назад советские заверили его, что все будет в порядке: в конце концов, Албания — член Варшавского Договора, и у нее есть определенные обязательства. Она хорошо помнила их последний разговор. Тогда он сказал: «Вы как хотите, а я буду выступать в поддержку Хрущева». «А теперь вот ловит мой взгляд, а в глазах затаился страх: что будет? как быть? — подумала она с неприязнью.— Нечего на меня таращиться! Откуда мне знать, что будет? Я ведь не прорицательница».

Батареи в квартире нещадно грели, и было невыносимо жарко.

— Прошу прощения, у меня дела,— сказала она, собираясь покинуть гостей.

Член Ревизионной комиссии по-прежнему не спускал с нее глаз.

— Ей надо подготовиться к вечернему заседанию,— как бы извиняясь, пояснил хозяин дома.

— Конечно-конечно.— Гости стали прощаться.

Проводив гостей, он пошел к жене. Дверь ее комнаты была приоткрыта, и он невольно заглянул вовнутрь. То, что он увидел, поразило его: на этот раз жена не сидела, склонившись над бумагами, папками или текстом очередного выступления; она стояла у камина, перед зеркалом, и рассматривала себя в бледном свете уходящего дня.

Простившись с Ирисией, Бэн бесцельно бродил по бульвару Марселя Кашена. Сквозь голые ветви деревьев серые семиэтажные здания казались особенно высо-

ками. Увидев человека с топором на плече, Бэн подумал, что тот днями ходит по городу и кричит свое «Колю дрова!» не столько для заработка, сколько ради интереса,— чтобы пощекотать людям нервы.

Бэн знал, что компания давно уже в сборе и ждет его на привычном месте, но не спешил, более того — старался идти как можно медленнее. И все же до улицы Дибры было рукой подать. Бэн не хотел ничего скрывать и поэтому сказал Тору, что сегодня встречается с Ирисией. Неизвестно отчего, у него вдруг разболелась голова, а воображение рисовало сцены придуманной истории о международной встрече по боксу: будто он, Арбэн Струга, выходит на ярко освещенный ринг и под пристальным глазом телекамеры ведет бой с известным негритянским боксером. Обычно он прерывал эту сцену на самом интересном месте, чтобы на следующий день, бродя в одиночестве по улицам, продолжить воображаемую схватку. Все могло выглядеть примерно так:

...Идет четвертый или пятый раунд. У Бэна подбит глаз, а у его противника рассечена губа. Под несмолкающий рев трибун они ведут жесточайший бой. У Бэна подламываются ноги, и он судорожно хватается за оградительный канат. Нокдаун. «Раз, два, три, четыре...» — отсчитывает рефери. Сквозь пелену кровавого тумана Бэн ловит испуганный и одновременно восхищенный взгляд Ирисии; она ладонью зажимает рот, чтобы не кричать. Бэн делает отчаянное усилие и встает. Бой продолжается. Противник яростно набрасывается на него, но Бэн увертывается и наносит в ответ сокрушительный удар левой. («Смертельным ударом» назовут его позже спортивные комментаторы.) Противник, лицом похожий на Тора, лежит без сознания. К рингу бегут врачи...

По мостовой с включенной сиреной пронеслась машина «скорой помощи». До улицы Дибры Бэн дошел быстрее, чем рассчитывал. Все были на своих местах и стояли в излюбленных позах — прислонившись к витрине аптеки, украшенной ватным снегом. Ватой была облеплена и табличка с часами работы аптеки, и даже змея, обвивающая чашу с ядом.

Прежде чем подойти к товарищам, Бэн остановился перед афишей театральной олимпиады, рассеянно глядя на названия спектаклей. На одной из фотографий он узнал Тора, который был снят в массовке. *«Безоблачное*

счастье»,— прочитал Бэн.— *Драма в четырех действиях».*

— Ну как, встретились? — спросил Тор, едва Бэн пересек улицу и подошел к ним.

— Угу.

— И как?

— Нормально.

— Мои поздравления.

Бэн попросил у Сали сигарету.

Улица была запружена народом. Люди несли сумки с апельсинами и напитками — готовились к Новому году.

— А все-таки как? — не унимался Тор.

Бэн отмахнулся: все, мол, нормально — и заговорил с Салей.

— Я слышал, что собираются распахивать целинные земли,— заметил Саля.

— Какие земли? — не понял Бэн.

— Пустующие участки плодородной земли в горах,— пояснил Саля.

— Зачем?

— Откуда я знаю? Наверное, не хватает обработанных.

Тор многозначительно взглянул на Бэна. Чувствовалось, что ему не терпится заговорить об Ирисии и он ждет не дождется, когда они прекратят этот нудный разговор о земле. Бэн давно приметил ревнивый блеск в глазах Тора,— пожалуй, с того самого дня, когда он «подарил» ему Ирисию.

«Ждет, что я начну расписывать нашу встречу,— подумал Бэн.— Пускай ждет!»

Тору действительно не терпелось узнать что-нибудь об Ирисии, но Бэн молчал, точно воды в рот набрал, как молчал и тогда, когда якобы уходил на свидание с ней. Он попросту мстил Тору. Бэн видел, как Тор переживает и злится: в его глазах появлялся странный блеск, и было непонятно, чего в нем больше: ревности, пылкой страсти, самодовольства или насмешки? Глядя на Тора, Бэн всякий раз думал, как мало надо людям, чтобы возненавидеть друг друга. А в том, что сейчас они смертельно ненавидели друг друга, Бэн нисколько не сомневался. Завтра, возможно, один из них не придет на улицу Дибры, и тогда неприязнь другого усилится вдвое. Бэн заметил, что, когда соперники подолгу не встречаются, ненависть их не только не ослабевает, но,

напротив, разгорается, точно репейник — его не трогаешь, а он разрастается.

Зажглись ближайшие витрины магазинов. Мимо, ни на кого не глядя, продефилировала Дистрофия с двумя подругами: рот до ушей, хоть завязочки пришей,— так они смеялись.

— Послушай! — Саля наклонился к самому уху Бэна.— Говорят, скоро мы опять станем капиталистической страной.

— Идиот! И где ты наслушался этих глупостей?! — возмутился Бэн.

— Одному старику сказал его товарищ.

— Наверняка какой-нибудь реакционер или провокатор.

— Ты думаешь, я обрадовался? Да? — разозлился Саля.

— Хватит! Наслушался! Я не думал, что ты такой идиот.

Через четверть часа, возвращаясь домой, Бэн вспомнил о разговоре с Салей и впервые в жизни попытался представить, что станет со страной, если она вдруг откатится назад, к капитализму, но не смог, не хватило фантазии. Разозлившись, Бэн мысленно перенесся на ту улицу, по которой должен был идти сейчас Саля, догнал его и, схватив за плечо, врезал по физиономии сперва один раз, потом другой, затем третий, приговаривая: «Идиот! Идиот! Идиот!» — и лишь после этого немного успокоился.

Чем ближе Бэн подходил к дому, тем меньше хотелось идти туда — пугало одиночество. Неподалеку, на соседней улице, находилась почта, и он решил позвонить Максу. Войдя в прокуренную кабину телефона-автомата, Бэн набрал знакомый номер. Макс сразу взял трубку, будто ждал его звонка.

— Конечно, приходи,— обрадовался он.

Рейсовый автобус, который останавливался у дома Макса, ходил по параллельной улице. Бэн за несколько минут преодолел темный переулок, соединявший обе улицы, и оказался на автобусной остановке.

Макс радостно встретил Бэна и провел в гостиную, где было тепло от натопленной печи. Ребята редко заходили в эту комнату, так как у Бермемов почти всегда были гости. Казалось, здесь ничего не меняется: кожаные кресла стояли на своих местах, по-прежнему отсчитывали время массивные бронзовые часы, украшенные

скульптурой Скандербега на вздыбленном коне, на стенах висели те же фотографии. На Бэна сильное впечатление производила фотография, запечатлевшая церемонию похорон отца Макса (на лафете орудия стоял утопающий в цветах гроб).

Макс пошел за магнитофоном. Чтобы чем-то заняться, Бэн раскрыл один из лежавших на диване альбомов в тяжелом кожаном переплете. В нем строго по годам располагались семейные фотографии. Даже на этих кусочках картона были заметны родовые черты Бермемов — редкий блеск густых пышных волос, отливающих медью. Макс вскоре вернулся, но его тут же позвали к телефону. Бэн продолжал рассматривать фотографии. Макс, конечно же, рассказывал ему о своих родственниках, особенно об отце, но только сейчас он понял, какая это большая и заслуженная семья коммунистов: активные бойцы партии, «старая гвардия», как любил говорить о таких людях отец. Многие из них погибли на войне и в фашистских застенках; некоторые занимали весьма ответственные посты в руководстве новой Албании (двое — заместители министров, один — посол, есть секретари партийных комитетов); наконец, гордость семьи — молодой летчик-испытатель, как две капли воды похожий на Макса, он летал на реактивных самолетах и полгода назад погиб при исполнении служебных обязанностей. Бэн был восхищен и поражен: столько известных людей в одной семье. «Наверное, такое же впечатление производит наша семья на моих одноклассников из бывших мелкобуржуазных семей, когда они приходят в гости и видят на стенах фотографии коммунистов и партизан из рода Струга,— подумал он радостно.— Масштабы, конечно, разные, но все же».

На одной из фотографий Бэн узнал писателя Скендера Бермему. Он обратил внимание, что на многих снимках лица некоторых людей были замазаны черной краской.

— Что это? — поинтересовался он, когда Макс вернулся.

— Ах, это? — Макс ничуть не смутился.— Это те... в общем, люди, которые совершили серьезные ошибки.— Он наклонился, чтобы получше рассмотреть снимок.— Один из двоюродных братьев, например, был кандидатом в члены ЦК, но после «венгерских событий» его исключили из партии.

— И вы с ним больше не общаетесь? — изумился Бэн.

— Естественно, нет,— снисходительно улыбнулся Макс, дивясь наивности приятеля.— Его ведь исключил Пленум Центрального Комитета партии,— отчетливо произнес он.— Понимаешь? Как же можно общаться с ним после этого?

— Да-да...— пробормотал Бэн, продолжая листать альбом.

— А вот этот,— Макс указал на черное пятно на другой фотографии,— осужден XI Пленумом ЦК АПТ. Он женился второй раз и пишет плохие пьесы, которые ставят иногда периферийные театры.

Из-под пятна виднелся только мундштук с дымящейся сигаретой — все, что осталось на снимке от бывшего партийного функционера. Немного поколебавшись, Бэн решил все же поговорить с другом о том, что его мучило.

— Послушай, Макс,— сказал он, отрываясь от альбома.— Знаешь, что брякнул сегодня этот дурень Саля? Я рассказывал тебе...

— А ты еще встречаешься с ним? — удивился Макс.

— Да так, случайно виделись.

— И что же он сказал?

— Невероятную чушь. Будто он от кого-то слышал, что мы опять станем капиталистической страной.

Бэн думал, что Макс покатится со смеху, но он был спокоен, лишь слегка нахмурился.

— То, что сказал Саля, глупость, конечно,— задумчиво проговорил Макс,— но не один он так думает. В последнее время у нас в семье все чем-то обеспокоены. Я вижу это, чувствую, хотя и не знаю, в чем дело.

— Ты думаешь?..

— Да, только никому ни слова.— Макс понизил голос.— Эти темы не следует обсуждать вслух.

— Конечно-конечно,— согласился Бэн, откладывая в сторону альбом.

С минуту Макс помолчал, глядя в одну точку, поверх бронзовых ручек серванта, затем решительно заявил:

— Но этому не бывать!

— Чему «этому»? — не понял Бэн.

— Да вот этому возвращению к капитализму.

— Ага.

— Опасность есть, но этому не бывать!

— Естественно! — горячо поддержал друга Бэн.

В дверь позвонили. «Кто-нибудь из родичей Макса,— подумал Бэн.— Знаменитый род Бермемов с волосами цвета начищенной меди».

Пришли гости — несколько мужчин в длинных пальто и в широкополых шляпах, с которых стекали капли дождя. Бэну показалось, что они чем-то серьезно озабочены. Пока гости раздевались и приводили себя в порядок, Макс с Бэном выскользнули из гостиной. Бэн хотел было уйти, но Макс не отпустил его, и они прошли в кухню. Там было уютно и тепло. У окна за вышивкой сидела Дьана.

— Добрый вечер, мальчики,— вымолвила она, не отрываясь от рукоделия.— Как поживаешь, Бэн?

В кухню беспрестанно входила хозяйка дома: то взять бокалы для напитков, то приготовить кофе. Позвякивали чашки, неповторимый аромат кофе приятно щекотал ноздри. Приветливая хозяйка успевала уделить внимание гостям и перекинуться парой слов с дочерью. Не забыла она и ребят — сварила им отличный кофе. Чтобы не мешать ей, Макс и Бэн взяли чашки и отошли к подоконнику. Следя за ловкими движениями матери Макса, Бэн подумал: «А что, если бы она была моей мамой?» От сладостной тоски защемило сердце. И, наверное впервые в жизни, он, сам того не осознавая, понял, что всю жизнь мечтал о том, чтобы любимая тетя Рабо, заменившая им с Мирой мать, была бы помоложе, посовременнее и не носила бы черных одежд.

Уходя через полчаса от Макса, Бэн столкнулся в дверях с новыми гостями Бермемов.

— Это наши родственники, Скендер Бермема с женой, тетей За́ны,— пояснил Макс, провожая его.— Ты должен их знать.

— Знаю, но они вряд ли меня помнят.

Возвращаясь домой, Бэн думал о семейном альбоме, который видел у Макса, и пятнах черной краски на фотографиях вместо лиц. По двум-трем книгам и нескольким фильмам о жизни Запада у Бэна сложилось некоторое представление о традициях семейных кланов, составляющих основу буржуазного общества. Сегодня он впервые обнаружил, что в коммунистическом мире тоже есть семьи, хранящие традиции,— правда, совершенно иные. Западные фильмы, по обыкновению, рассказывали о жизненных драмах, связанных с разделом имущества или наследства, бесконечными судами и внезапными банкротствами. В семье Макса благополу-

чие ее членов зависело от партийных съездов, Пленумов ЦК и политического курса внутри страны и за рубежом. Печально памятный VIII Пленум ЦК в 1948 году, незадолго до него самоубийство члена Политбюро[1], заявление Информбюро о югославском предательстве, смерть Сталина, Тиранская партийная конференция... И после каждого из этих событий на семейных фотографиях затушевывались лица.

«А теперь откуда ждать беды? — размышлял Бэн.— «Опасность есть, но этому не бывать!»— повторил он слова Макса.

Неизвестно почему, Бэн вспомнил о газете с королевским указом, которым его отец приговаривался к смерти. Может, потому, что газета была старой и указ был написан на староалбанском языке, Бэну казалось, что политэмигранты, которым поручалось привести приговор в исполнение, непременно должны были пользоваться старинным оружием из каких-нибудь музеев. Эти мысли пугали Бэна, и всякий раз, когда они донимали его, он гнал их прочь.

По дороге домой Бэн в каждом встречном видел рыжеволосых представителей рода Бермемов. «Гроза! Надвигается гроза,— повторил он про себя.— Но в ярости поднимутся навстречу ветрам контрреволюции сыны достославного рода, сольются в едином порыве с тысячами других коммунистов и обрушатся на врагов Отечества, сверкая разметавшимися волосами цвета меди, и будут биться до тех пор, пока не побелеет раскаленная медь».

Бэн почувствовал, как учащенно забилось сердце. Минуя антикварную лавку, он вспомнил слова Сали: «Скоро мы опять станем капиталистической страной».

«Чушь! — мысленно возразил он воображаемому противнику.— Никогда этого не будет! Ни-ког-да!» Бэн старался больше не думать об этом, но не получалось.

---

[1] Речь идет о члене Политбюро ЦК КПА с 1943 г., министре экономики и председателе Госплана Нако Спиру. Обвиненный в ноябре 1947 г. в антиюгославской деятельности, он покончил жизнь самоубийством. VIII Пленум ЦК КПА в феврале — марте 1948 г. завершил разгром «группы Нако Спиру»: была исключена из партии секретарь ЦК Союза коммунистической молодежи Албании Лири Белишова, выведены из числа кандидатов в члены ЦК КПА Мехмет Шеху и Фадиль Пачрами, а из Политбюро — Тук Якова и Бедри Спахиу. Энвер Ходжа выступил с самокритикой и остался Генеральным секретарем ЦК КПА. Главную роль в партии продолжал играть Кочи Дзодзе.

Заметив кислую физиономию брата, Мира не преминула подколоть его:

— Добрый вечер, рыцарь Печального Образа!

Заседание Центрального Комитета продолжалось. Стрелки больших настенных часов приближались к полуночи. Выступление члена Ревизионной комиссии — довольно путаное и невнятное — не раз прерывалось хлопками и неодобрительными выкриками: «Хватит русских слов! Говори по-албански!» (действительно, казалось, что текст ему написали советские, а он его только зачитывает). Ораторы, поднимавшиеся вслед за ним на трибуну, единодушно одобряли деятельность партийной делегации в Москве и осуждали эту речь, «плохо переведенную» на албанский язык.

— Хрущев явно просчитался,— заявил один из молодых членов Центрального Комитета.— Хрущев...

В ту памятную ночь, с легкой руки стенографистов прозванную «ночью черных «ЗИМов», один из визитеров, приезжавших на правительственную дачу в Подмосковье, чтобы примирить родственные партии («мать» и «дочь»), с грустью говорил: «Вы думаете, товарищ Энвер, что мы ничего не понимаем? Все понимаем, но смотрим на это сквозь пальцы. А что делать? И мы, и вы — представители малых народов. Какова, например, площадь Албании или моей страны? Наши государства слишком маленькие. Целина, которую они сейчас поднимают в Казахстане, по территории больше наших с вами стран, вместе взятых. Подумать только, речь идет о землях, освоенных всего лишь за год. Как все это грустно!»

Энвер Ходжа посмотрел тогда на визитера долгим внимательным взглядом и хотел сказать, что тракторами и бульдозерами можно поднять целину, но нельзя создать родину, однако сдержался, а про себя отметил: «Ее не создают с помощью химикатов и оросительных каналов, родина — это пролитая за нее кровь. Можно засеять землю, и на ней вырастет пшеница или кукуруза, но чем ее засевать, чтобы выросли свадебные песни, баллады, история, могильные камни, под которыми покоятся павшие за ее свободу сыны? И вряд ли тут помогут МТСы». Вслух же он вежливо произнес: «Спокойной ночи!»

Энвер Ходжа взглянул на большие настенные часы.

перевалило за полночь. Список записавшихся для выступлений был далеко не исчерпан, значилась в нем и фамилия члена Политбюро, секретаря ЦК, которая намеревалась обосновать свою «особую позицию». Перед ее выступлением Энвер Ходжа объявил небольшой перерыв. В соседнем зале участников Пленума ждали прохладительные напитки, ароматный кофе.

Сразу после перерыва ей первой предоставили слово. Говорила она громко, уверенно, стараясь скрыть охватившее ее волнение, что с трудом ей удавалось, особенно когда она упомянула о дружбе с Советским Союзом. От избытка чувств ее голос звучал звонко и молодо. Когда же она заговорила о мрачном будущем маленькой Албании после отлучения ее от щедрот лагеря социализма, именуемого «коммунистическим раем», в голосе ее проскользнули металлические нотки. Зал, однако, неодобрительно загудел, а когда она стала настоятельно советовать Центральному Комитету одуматься и попросить прощения у руководства КПСС, взорвался выкриками: «Хватит!», «Позор!», «Лишить слова!».

Все дальнейшие ораторы осуждали сторонницу «особой позиции», требовали исключения ее из состава ЦК и партии. Было около двух часов ночи. Именно в это время в ту историческую «ночь черных «ЗИМов» появился на даче в Подмосковье незнакомец, которого Энвер Ходжа отказался принять. Со второго этажа было хорошо видно, как мчавшийся по шоссе автомобиль высвечивает желтым светом фар бескрайние просторы снежной целины. «Кто ты? С какой вестью и зачем пожаловал?» — мысленно спрашивал незнакомца Энвер Ходжа.

Теперь выступавшие говорили предельно кратко: одобряли позицию албанской делегации в Москве и осуждали враждебную группировку, окопавшуюся внутри партии.

В два часа Энвер Ходжа произнес заключительную речь. «Прежде всего,— сказал он,— хочу подчеркнуть, что позиция делегации в Москве не является моей личной позицией или заслугой только нашей делегации, как тут говорили. Это ваша заслуга, товарищи, а значит, и всей партии. Мы всего лишь ее представители». Он рассказал о несбыточных грезах хрущевистов, которые до последней минуты надеялись, что ЦК АПТ не одобрит позиции делегации. «Но вы, товарищи,— продолжал Энвер Ходжа,— не только поддержали нас, но и вдох-

новили на дальнейшую борьбу. Ведь они там, в Москве, продолжают видеть сны. Им наверняка грезится, что партия не окажет поддержки своему Центральному Комитету». Снисходительно улыбнувшись, Ходжа добавил: «А когда они и в этом обманутся, то будут надеяться на то, что народ не пойдет за партией».

Далее Ходжа сказал, что партию необходимо проинформировать, и как можно скорее. «Партия должна быть в курсе случившегося,— подчеркнул он.— Хрущев и его сторонники никогда не забудут и не простят нам того, что произошло в Москве. Мы не ждем от них ни покоя, ни цветов.— Эти слова были встречены шквалом громких и продолжительных аплодисментов, переходящих в несмолкающую овацию.— От них можно ждать только мести».

Энвер Ходжа поднял руку, чтобы успокоить зал и попрощаться, но рука сама собой сжалась в кулак и застыла в партизанском приветствии. Члены Пленума мгновенно отреагировали на это, и в зале вырос лес рук, сжатых в кулак. Смысл этого партизанского жеста был предельно прост и ясен: «Враг не пройдет — победа будет за нами!»

И в ту же минуту где-то в середине зала взволнованный голос запел старую партизанскую песню, сначала тихо и неуверенно, а потом все громче и громче. Ее тотчас подхватили десятки сильных голосов, и вот уже пел весь зал. У многих на глаза навернулись слезы. Песню допели до конца и только после этого стали расходиться.

Глава XIV

Стоял зимний день. Старая Нурихан сидела на шильтэ[1] у окна и перебирала четки. Улицу застилал туман. Серое небо нависло над городом, предвещая дождь и снег. Казалось, что раскисшая от сырости земля с одинаковым равнодушием примет и то, и другое. Ветер разорвал плакат, вывешенный на перекрестке.

В дверь постучали.

— Иду-иду,— прошелестела старуха, тяжело поднимаясь с насиженного места, и заковыляла к двери.

[1] Тюфяк, мягкая подстилка для сидения на полу.

Пришла Хава, приятельница Нурихан.

— Хорошо, что зашла, Хава,— обрадовалась старуха.— А то я все одна да одна. Тоскливо очень. Как живешь, Хава?

Старая Нурихан привыкла разговаривать сама с собой и вовсе не обращала на это внимания. Для родственников ее привычка не была секретом, поэтому, когда она, беседуя с ними, вдруг замолкала, порой надолго, продолжая диалог сама с собой, они тотчас приходили на помощь — старались каким-нибудь пустяковым разговором заполнить паузу.

Сперва старые приятельницы поговорили о здоровье, о болезнях.

— А где Эмилия? Марк? — поинтересовалась Хава.

— Ушли куда-то. Наверное, за вином.

— Вот и этот год прошел,— вздохнула Хава.

— И этот тоже.

Хава беспокойно огляделась и, придвинувшись к Нурихан, впилась в нее пытливым взглядом.

— Ты ничего не слышала? — спросила она.

— О Господи! Значит, это правда? — Глаза старухи ожили.

— Что-то случилось там, далеко, в бескрайних снежных просторах,— сказала Хава и, понизив голос, добавила: — Говорят, видели гадалку Ханче Хайдию из Большой Пезы, она ехала в правительственном автомобиле.

— Не верится что-то,— покачала головой Нурихан.

— И я говорю, врут,— подхватила Хава,— но ведь что-то же происходит, происходит...

Уже несколько дней Нурихан ждала своего старого приятеля Мусабелы. Только он один знал все обо всем, только ему доверяла старуха, не терпевшая бабских сплетен. Но Мусабелы не появлялся: целую неделю он сидел дома из-за простуды.

— Наступающий год обещает добрые перемены,— снова зашептала Хава.— Говорят, у них там все разладилось. Ссора вышла, какой свет не видывал!

— Скорей бы уж перегрызли друг дружке глотки,— со злостью сказала старуха.

— Боже праведный! Пришел наконец долгожданный день,— запричитала Хава.— Ниспослал Ты на них свою кару, а мы уж и надеяться перестали.

— Устали ждать,— вздохнула старая Нурихан.— Ох, устали! Смерть у порога.

Они услышали, как к дому подъехала машина. Хава вопросительно взглянула на приятельницу.

— Это тот, что живет наверху,— пояснила Нурихан.— Его дочка что-то загрустила в последнее время.

— Их грусть только начинается,— хмыкнула Хава.

— Ее жених, говорят, был там... в Москве,— продолжала старуха.

— Неужели?! — В глазах Хавы сверкнуло любопытство.

— Да-да, был и даже присутствовал при этой ссоре. Вот она и ходит теперь как в воду опущенная.

— Ах, Нурихан, Нурихан, всю жизнь они нам отравили,— вздохнула Хава.

— Отравили и превратили в сплошной кошмар.

— Именно так говорил несчастный Хамди, пусть земля ему будет пухом, когда они обложили его первым чрезвычайным налогом,— припомнила Хава.

— Ох уж эти налоги! — тяжко вздохнула Нурихан.— Все наши преждевременные морщины и седины, мешки под глазами от этих длиннющих, как похоронные процессии, колонок цифр. Чрезвычайный налог в 200 000. Налог в 55 000. Налог в 120 000. Специальный налог в 90 000. Поборы! Поборы! Поборы! Одни за другими. Будет ли этому беспределу когда-нибудь положен конец?

Приятельницы смотрели друг на друга округлившимися, как нули, глазами: когда вопрос касается выбора между деньгами и жизнью, которую можно отдать вместо денег,— выбирают обычно жизнь. Вот и пошла полоса самоубийств — тоже своеобразный налог. Под завывание ветра (а может, шум стоял в ушах) люди сводили счеты с жизнью: кто вешался на ремне, кто умирал от угара или газа; один утопился, другой утонул в растительном масле на своем складе. Травились крысиным ядом, аспирином, выбрасывались с террас и балконов, вскрывали вены. «Отчего никто не застрелился? — подумала вдруг Нурихан.— Почему все уходят из жизни молча, словно тени?»

— О-хо-хо! — опять вздохнула Хава.

В дверь постучали.

— Иду-иду! — Нурихан засеменила к двери.— Кто там?.. Добро пожаловать, господин Экрем. Добро пожаловать, Хава! — Глаза старухи светились неподдельной радостью.

— Bonjour, chérie![1] — приветствовала хозяйку Хава Фортузи, прижимаясь щекой к ее щеке.

— Входите, прошу вас. У меня в гостях еще одна Хава,— улыбнулась Нурихан.— Как хорошо, что вы пришли! Я так рада!

Хава Фортузи была, как всегда, в форме. Все эти годы она не переставала следить за собой: со вкусом одевалась, подкрашивала волосы, носила тяжелые серьги. Про свои стройные длинные ноги она любила говорить, что сорок лет они подрумяниваются под солнечными лучами на морских пляжах. «Ты поднимаешь нам настроение»,— восхищалась Нурихан жизнестойкостью Хавы. И в самом деле, глаза Хавы Фортузи никогда не были похожи на бесконечные нули, стоявшие за цифрами непомерных налогов, которые приходилось платить ее мужу Экрему. Они, как два магических эллипса, были полны нерастраченных страстей и словно освещались изнутри лучами заходящего солнца, того самого, чьими закатами Хава Фортузи любовалась сорок лет подряд на морских пляжах.

Они поговорили о наступившей зиме, о приближающемся Новом годе, всеми силами стараясь удержаться от воспоминаний и житейских забот. Первой не выдержала Хава Фортузи.

— Вы слышали что-нибудь? — спросила она.

Нурихан и Хава молча переглянулись. Господин Экрем с отсутствующим видом смотрел в окно.

— У меня с ушами совсем плохо стало,— пожаловалась Нурихан.— Радио не могу слушать. А ты что-нибудь знаешь?

— Разлад! У них полный разлад! — радостно выпалила Хава Фортузи.— Лондон, Париж только об этом и говорят. Корреспондент Франс Пресс был там и написал огромный репортаж об этой их... Москве, где они расплевались вдрызг. Улицу их главную расписал, я забыла, как она называется... в самом центре. Одним словом, это их Champs-Élysées[2]. Очень хорошо написано! Люди покупают газеты, а там ни слова о главном. Никто ничего не знает о событии, которое произошло рядом, в тысяче шагов, за средневековой Кремлевской стеной. Именно там плетутся интриги, устраиваются

[1] Здравствуй, дорогая! *(фр.)*
[2] Елисейские поля *(фр.)* — главная магистраль Парижа.

банкеты, организуются заговоры и убийства... Прелесть как хорошо написано!

— Ты сказала «убийства»? — переспросила Хава.

— А то как же?! — удивилась ее вопросу Хава Фортузи.— При таком-то скандале!

— Что же теперь будет? — встревожилась Хава.— Что с нами будет?

— Да уж что-нибудь обязательно будет! — внезапно изрек Экрем.

— Повернемся к Западу? — В глазах Хавы засветилась надежда.

Старая Нурихан наморщила лоб, стараясь понять, о чем они говорят.

— Думаю, что так,— подтвердил Экрем.

— Твоими бы устами, дорогой...— с сомнением покачала головой Хава Фортузи.— Ах, где они, мои пляжные сезоны?

Ее глаза — совсем уже не те, что прежде,— умели, однако, бросать и ловить мимолетные взгляды, загораться радостным внутренним светом и гаснуть от тоски и печали, неожиданно вспыхивать, а потом медленно затухать.

«Сорок пляжных сезонов — ни один не пропустила»,— мечтательно подумала Хава Фортузи, рассматривая ковер на полу. Летом 1945 года все виллы на побережье, отобранные новой властью, стояли закрытыми. Красные сургучные печати на дверях и ставнях казались прежним хозяевам кровоточащими ранами.

— Неужели и вправду возможны какие-то перемены? — спросила Хава.

— В подобных случаях всегда что-нибудь да происходит,— авторитетно заметил Экрем.

— Может, и нам судьба улыбнется?

Нурихан прильнула к стеклу, рассматривая что-то за окном. Хава с любопытством проследила за ее взглядом. По двору шел мужчина в пальто с приподнятым воротником — на улице было прохладно.

— Жених той, что наверху? — спросила Хава.

Нурихан молча кивнула.

— Ты о чем? — заинтересовалась Хава Фортузи.

— Недавно вернулся из Москвы,— пояснила, ни к кому не обращаясь, Хава.— Теперь ходит чернее тучи.

Они хотели рассмотреть его получше, но не успели — он исчез из поля зрения.

— Переводчиком был там... во время разлада,— проскрипела Нурихан.

— Правда?! Как странно! — искренне удивилась Хава Фортузи.

— Странным будет, когда его пригласят переводить переговоры совсем иного рода... Хе-хе-хе...— задребезжал Экрем.

— Ты имеешь в виду с Западом?

— А почему бы и нет? Правительства, как люди, долго сидеть с закрытым ртом не могут. С кем-то им придется вести переговоры.

— Ах, скорей бы наступил этот день,— вздохнула Хава Фортузи.

— Считай, что он наступил. Ты же знаешь французский, вот и говори со мной только по-французски! — рассмеялся Экрем.

Все несколько оживились и повеселели.

Скрипнула входная дверь, и они настороженно замолкли.

— Это, наверное, Марк,— сказала Нурихан.

Марк не заглянул к ним. Оставив виолончель в коридоре, он прошел в кухню.

— Устает очень,— вздохнула Нурихан.— Каждый вечер концерты.

— Кто ходит сегодня на эти концерты?! — поджала губы Хава Фортузи.— Какая-нибудь шушера. Плакать хочется от одного их вида.

Марк равнодушно внимал долетавшим до него голосам гостей. Он привык к их тихим беседам и наперед знал, что услышит: вздохи о былом, едва уловимые слухом проклятья, французские и итальянские слова вперемежку с албанскими, жалобы на непомерные налоги, на «добровольный» труд во время субботников, на уличные и квартирные комитеты, насмешки над словом «товарищ» (особенно когда его произносили, обращаясь к женщине), всякие колкости и страх — вечный и всепоглощающий. В памяти всплывали обрывки таких бесед.

«Только не говори об этом нигде. Мне не забыть тюрьму в Бурреле. По шестьдесят третьей статье...» — «Знаю, знаю, я был в той тюрьме. Потом меня перевели в Гьирокастру».— «А ты помнишь, как в Люшне нас согнали всех, точно скот, в одно стадо?»— не мог успокоиться несчастный Терамудин. «Прошу вас, ни слова больше. Радуйтесь, что спаслись. Молчите — они вез-

де».— «Ты прав».— «Ты слышал вчера радиоголоса?» — «Да. Но говорите, пожалуйста, потише... Еще тише...» А потом: сдавленный шепот, вздохи. И так до бесконечности, пока разговор не переходил на другую тему: о спрятанных коврах, драгоценностях, дорогих тканях, каких-то подсвечниках, хрустале, серебряных ложках, кольцах, люстрах. Кто-нибудь непременно начинал рыдать, вспомнив, что отдал на хранение дорогой ковер и теперь не может получить его. Человек, которому он его отдал, либо нагло заявляет, что никакого ковра в глаза не видал, либо говорит, что подвергал себя такой опасности, что имеет полное право на этот ковер. «Куда идти жаловаться, кому да и как доказать свою правоту? О-хо-хо! До чего мы дошли. Прав был мудрец, утверждая, что Албания станет мачехой для албанцев».— «Тс-с, говорите тише».— «Хватит шептаться! Досыта нашептались уже, нет больше сил».— «Кричи громче, несчастный, кричи! Забыл семьдесят третью статью — «агитация и пропаганда против народной власти». А потом снова бесконечные разговоры о коврах, комиссионке, антикварной лавке Рока Симоньака, о гадании у Ханче Хайдии из Большой Пезы («дама пик рядом с черным тузом — жди двух неприятных известий, потом будут радость, проценты, падение цен на золото...»). Временами их охватывала зависть друг к другу (у кого-то дочь вышла замуж за коммуниста, кто-то нашел приличную работу), которую сменял поток домыслов и сплетен, а потом снова начинались вздохи, перемежаемые проблесками слабой надежды.

«Свергнутый класс,— подумал Марк,— и я принадлежу к этому классу. Длинный банкетный стол опрокинут. На полу — еда, закуски, тарелки, подсвечники, бокалы, а под ними залитый кровью и обсыпанный пеплом ковер. Руки раненых пытаются ухватиться за тяжелую бархатную пурпурную скатерть».

Сегодня голоса гостей, собравшихся в соседней комнате, звучали громче обычного. Наверняка кто-нибудь из них узнал что-нибудь интересное. Вчера Нурихан до поздней ночи не отходила от приемника: «Там... в Москве, что-то случилось». Марк не хотел участвовать в их бесконечных пересудах: «Спасибо! Сыт ими по горло!» Он устал, раздражен. Хотя происходящее могло повернуть и его судьбу.

Марк встал и вышел в коридор. Всякий раз, когда ему хотелось забыться, он брал виолончель и шел в са-

мый дальний угол квартиры. Виолончель была его прибежищем и его спасением, она связывала его с этой жизнью и давала постоянную работу в опере, а это — зарплата, социальная стабильность, будущая пенсия. Одним словом, виолончели он был обязан всем. Она же ограждала Марка и от людей бывшего «его круга», которые, покрутившись у комиссионок и примелькавшись там, рыскали теперь в поисках хотя бы временной работы в переводческих агентствах, машинописных бюро или, на худой конец, готовы были давать частные уроки. «Слава Богу, что Марк состоит на государственной службе! — не без зависти говорили многие из их постоянных гостей.— Повезло вам, хотя, впрочем, вам всегда везло». При этом они сожалели, что нежданный гость, принесший удачу в дом Крюэкуртов, не постучался в тот ноябрьский день в их дверь. Хотя на самом деле все было иначе. Марк хорошо помнил тот вечер. Незнакомец упал возле ворот их дома и с невероятным усилием дополз до окна подвала, где они прятались. На улицах города шли бои. Партизаны медленно продвигались к центру Тираны. Близилась развязка. Уже несколько дней семейство Марка скрывалось в подвале среди узлов с одеждой. Вздохи и молитвы прерывались причитаниями: они сожалели, что не уехали вовремя за границу, как это сделал муж Эмилии. Вечерело. Вдруг единственное окно подвала заслонила чья-то тень. Все с ужасом уставились на спину человека, привалившегося к окну. «Вот обернется сейчас, сунет дуло между прутьями решетки и перестреляет всех прямо в упор»,— пронеслось не в одной голове. Они сидели не шелохнувшись, вытаращив от страха глаза. Человек не двигался. «Наверное, мертв,— прошептала Эмилия.— И зачем он приполз к нашему окну? Еще подумают, что мы его убили». Они не знали, кто он, немец, партизан, балыст или какой-нибудь смельчак, рискнувший выйти на улицу в такое время. Человек застонал. «Товарищи, воды... пить...» — шевелил он пересохшими губами. «Это партизан»,— сказал кто-то. Они не знали, что делать. «Его надо занести сюда, вовнутрь,— сообразила наконец Эмилия.— Если они придут к власти, нам несдобровать. Партизан оправится, покажет наш дом и подтвердит, что здесь ему не дали воды, когда он истекал кровью. И за несколько глотков воды мы заплатим собственной жизнью. А если поможем...»

Когда стемнело, Эмилия с Марком втащили раненого в подвал. Им оказался молодой партизан, смертельно бледный, со слипшимися от крови и пыли волосами. Четыре дня они ухаживали за ним, но он так и не пришел в себя. На пятый день, 17 ноября, бои в Тиране закончились, и наступила тишина. Эмилия с Марком кинулись искать партизанский штаб. На улицах повсюду валялись трупы, от одного вида которых Марка тошнило. За раненым партизаном пришли товарищи и унесли его на носилках. Марк, Эмилия и еще один сосед проводили их до госпиталя. По дороге они рассказали, как все произошло, рассказывали об этом и в госпитале, и в штабе. Нурихан с тревогой ждала их возвращения. По сияющим глазам Эмилии она сразу обо всем догадалась. «Неужели дали?» — только и вымолвила старуха. «Да! Да! — ликовала Эмилия, размахивая клочком серой бумаги.— Вот оно!» На неровно оторванном листке корявым почерком со множеством ошибок карандашом было нацарапано всего несколько строк. Нурихан надела очки и медленно прочитала вслух: «Смерть фашизму! Свобода народу! Свидетельство. Удостоверяется, что буржуазная семья Крюэкуртов спрятала во время боев за Тирану раненого товарища, партизана третьего батальона первой роты Люлезима Шерона. Просим это учитывать. Долой международную буржуазию! Штаб первой роты третьего батальона Первой героической бригады». Нурихан поняла, что за всю свою жизнь не держала в руках документа более важного, чем этот. Старуха не отличалась, по ее собственным словам, излишней чувствительностью, но бумагу оценила мгновенно. Ежедневно Эмилия и Марк навещали своего подопечного, приносили ему еду и цветы, но раненый не поправлялся. «Мы так привязались к нему,— вещала Эмилия в больничном коридоре.— Только бы он поправился! Только бы выздоровел! Он теперь нам самый близкий человек. Хочется услышать его голос. Все ночи, проведенные в нашем подвале, он бредил. Он стал для нас родным». Партизан умер, не приходя в сознание. Тут они и вправду огорчились. Эмилия даже всплакнула: она мечтала, чтобы, выздоровев, он пришел к ним в дом и все увидели его, их последнюю надежду, одинокую звездочку, блеснувшую на мрачном небосклоне судьбы. Очень скоро, однако, они поняли, что его смерть им на́ руку. Она придала особую значимость свидетельству, написанному химическим каран-

дашом, и клочок бумаги героического содержания стал для них и поручительством, и охранной грамотой, и завещанием, и Бог знает чем еще. С его помощью семья Крюэкуртов отстояла первый этаж собственного дома, почти на треть упросила снизить налоги, пристроила Марка в музыкальную школу и училище, а потом на хорошую работу в оперу. Свидетельство позволяло писать в конце автобиографии, разного рода анкет и листков учета кадров спасительные слова: «Наша семья, принадлежавшая ранее к классу зажиточной буржуазии, эксплуатировавшей трудящихся, в период Национально-освободительной войны оказывала помощь партизанам».

Марк стоял у окна, опершись подбородком на виолончель. Он хорошо помнил перепачканные кровью и землей волосы раненого партизана. Порой, в минуты чрезмерной усталости, когда зрительный зал начинал медленно плыть перед глазами, теряя привычные очертания, красный бархат лож напоминал ему его окровавленные волосы. Образ партизана преследовал Марка, будя воспоминания, заставляя мучиться и страдать. Казалось, он вот-вот очнется, приподнимет голову и спросит: «Ну как, ты получил свою выгоду?»

Уже смеркалось. Марк прислонил виолончель к стене. В это время всегда шел снег. Из подъезда вышла Зана с женихом. Марк проводил взглядом их темневшие в сумерках спины. «Наверное, отправились в театр или кафе»,— уныло вздохнул он. Марк довольно часто видел их вместе спускающимися и поднимающимися по лестнице: его спину, широкую и уверенную, и ее — трепетную и покорную. Их спины являли собой нечто целое, похожее на квадрат: одна сторона его выглядела внушительно и солидно, а другая — робко и волнующе. Этот квадрат Марк видел всегда удаляющимся, что заставляло сердце тоскливо сжиматься,— весьма серьезное испытание для холостяка. Ему стукнуло двадцать восемь, а личная жизнь пока не сложилась — мешала идиотская застенчивость. Случай с раненым партизаном, конечно, придал ему уверенности, но ее хватило лишь на то, чтобы устроиться на работу. Марк чувствовал, что никогда не избавится от страха и не сумеет жить как другие. Бесспорно, его настроение было следствием многолетних приглушенных разговоров в сосед-

ней комнате, бесконечных жалоб и проклятий, создающих атмосферу извечного страха. Стоило какой-нибудь машине притормозить у поворота или, не дай Бог, остановиться возле дома,— он вздрагивал.

Марк вежливо раскланивался с Заной, если ненароком встречал ее у подъезда или на улице. Два-три раза в год, обычно весной, девушка заходила к Эмилии заказать новый пляжный костюм к предстоящему купальному сезону. Держалась она уверенно, с достоинством, отчего бедный Марк робел еще больше. Летом, когда Зана, загорелая и веселая, сидела на веранде в простеньком платьице, он испытывал двойственное чувство: с одной стороны, хотелось показать, что она ему безразлична, а с другой — он пытался привлечь ее внимание. Зана давно нравилась ему, более того, он пылал к ней тайной страстью, в чем боялся признаться даже самому себе.

Он заметил, что Зану в последнее время словно бы подменили — она погрустнела, ходила как в воду опущенная, что, однако, делало ее еще более привлекательной. Легкая бледность, круги под глазами — Марк приметил их сразу после ее обручения — ничуть не портили ее. Именно такой она ему понравилась. Случилось это весной. В тот день Зана несколько раз спускалась к Эмилии примерить новый пляжный костюм, который заказала для летнего отдыха. Каждая ее примерка становилась для Марка событием и настоящей пыткой; она будила воображение и горячила кровь. Однажды, когда в доме никого не было, Марк заглянул в комнату сестры, где стояла швейная машинка. Пляжный Занин костюм, почти готовый, лежал небрежно брошенный на столе. Поддавшись необъяснимому порыву и не отдавая себе отчета в том, что делает, Марк кинулся к столу, схватил костюм и прижал его к груди, ощутив, как ему показалось, тепло ее тела. Марк знал, что поступает скверно и недостойно мужчины, но не мог совладать с собой. Живя среди низости и подлости, он свыкся с ними. Порой ему казалось, что такая жизнь уготована ему судьбою.

Уже несколько недель Марк наблюдал за Заной — и видел, как сильно она переменилась после возвращения ее жениха из Москвы. «Наверное, порассказал о случившемся,— рассуждал Марк.— А случилось там нечто страшное для всех них».

В соседней комнате разговор шел все о том же. Гости с жаром обсуждали возможность государственного переворота. Марк и сам не раз задумывался об этом, но спокойно, без эмоций, что бушевали за стеной. Он даже представить не мог, как он с оружием в руках бежит по улицам Тираны, заглядывая в каждую подворотню, и вылавливает партийных секретарей, министров, активистов-общественников, членов уличных комитетов, офицеров, а потом арестовывает их и расстреливает на месте. «Нет, я для этого не гожусь. В лихое время лучше всего отсидеться в подвале, положась во всем на волю судьбы.— Марк чувствовал, что он потерял связь со своим классом, и единственное, что он может сделать в экстремальной ситуации,— это подняться этажом выше и отыскать Зану.— Я не принадлежу ни к одному классу»,— решил он.

Партер, ложи и ярусы были заполнены. Пробираясь между рядами красных бархатных кресел на свои места в партере, Зана заметила, что многие девушки и женщины очень красиво одеты, но сидят со скучающе-снисходительными лицами. Так в театрах обычно смотрят на зрителей, которые являются к самому началу представления. Чтобы хоть как-то защититься от осуждающих взглядов, опоздавшие беспрестанно поглядывают на билеты, будто не знают или забыли свои места. Если исключить этот малоприятный момент, то атмосфера театральных олимпиад Зане нравилась. Ей нравились расклеенные по всему городу афиши, толпы людей, заполнявшие театральную площадь до начала спектаклей, и слышавшиеся от автобусной остановки вопросы: «У вас нет лишнего билетика? Билетика нет?» Но более всего она любила бывать в фойе и зрительном зале перед спектаклем, где тон задавали отличавшиеся экстравагантностью манер и одежды студенты Высшей школы искусств, у которых были входные билеты на все спектакли. Присутствие жюри сообщало особый настрой залу.

Наконец они заняли свои места, и Зана могла спокойно оглядеться, обратив внимание на женские головки, возвышавшиеся над спинками кресел,— настоящий парад мыслимых и немыслимых причесок, заколок, шпилек, сережек и других украшений.

Занавес поднялся. Зана рассеянно следила за про-

исходящим на сцене, не вслушиваясь в текст. Пьеса была невероятно скучной, но это не смущало ее. Зана любила театр. Только здесь она по-настоящему раскрепощалась, здесь обострялись ее чувства, здесь формировались взгляды на окружающий мир и людей. Она даже не пыталась вникнуть в суть сценического действа, оно было лишь фоном бесконечного множества спектаклей и пьес, которые она мысленно сочиняла. В них она умирала, воскресала, становилась жертвой обмана, влюблялась и разочаровывалась; в них ее хоронили и увековечивали. В течение двух-трех часов, пока шел спектакль, она давала волю своей фантазии, неподвластной какой-либо логике. За эти минуты сладостного экстаза, который она испытывала только здесь и нигде больше, Зана боготворила театр.

В антракте они решили пойти в буфет. Люди медленно продвигались между рядами кресел к выходу. Впереди Заны и Бесника шли двое мужчин с весьма озабоченными лицами.

— Вы полагаете, тут есть идеологические просчеты? — спросил один из них, впиваясь взглядом в собеседника.

— Возможно, возможно,— уклончиво ответит тот.— Надо досмотреть до конца. Ничего определенного сказать не могу. Ты же знаешь, я член жюри.

— Что за идейные просчеты? — спросила шепотом Зана.— Такой нудный спектакль.

Бесник улыбнулся.

— Это критики,— тоже шепотом сообщил он.— Тот блондин постоянно ходит к нам в редакцию.

В фойе они встретили много знакомых.

— Когда свадьба?— поинтересовался кто-то из них.

Зана испытующе взглянула на Бесника.

— Как вам спектакль? — вместо ответа спросил Бесник.

— Так себе.

— Зана, тебе взять что-нибудь?— предложил Бесник.

— Спасибо, ничего.— Ей на самом деле ничего не хотелось.

Второе действие было еще более скучным. У Заны не выходил из головы вопрос о свадьбе, который Бесник как бы не расслышал. «Этого следовало ожидать,— рассуждала она.— Теперь, по крайней мере, ясно, почему он перестал говорить на эту тему и почему

мрачнел всякий раз, когда кто-нибудь заводил речь о предстоящей свадьбе». Зана поражалась, что Бесник, по-видимому, не только не собирается объясниться с ней, но даже рассчитывает, что она поможет ему пресечь досужие разговоры и давление родственников. Она не раз замечала это. Вот и сейчас в антракте, когда речь зашла о свадьбе, они обменялись короткими взглядами. Но самое удивительное состояло, пожалуй, в том, что Зана, сама не зная почему, начала входить в роль его союзницы, словно они о чем-то договорились. «Еще немного, и я научусь так же ловко увиливать от вопросов о свадьбе,— подумала Зана.— Но как только это случится — конец моим мечтам и планам». Этого допустить она не могла.

Скосив глаза, Зана разглядывала в сумраке зала профиль Бесника, и ей показалось, что в морщинках у глаз затаилась растерянность и что мыслями он далек от происходящего на сцене. «Совсем чужой»,— с горечью отметила она, но, как ни странно, эта мысль не слишком опечалила ее.

Наконец спектакль закончился. Зрители столпились у выхода. Перед Заной и Бесником опять оказались знакомые критики.

— Пока ничего не могу сказать,— заметил один из них.— Ты ведь знаешь, я член жюри.

Выходя из зала, люди обменивались впечатлениями о спектакле.

— Нет настоящего драматизма,— сказал один из зрителей.

Его собеседник весьма кстати вспомнил театр Брехта. «О каком драматизме говорят эти люди?!» — с раздражением подумал Бесник.

По стенам фойе были развешаны афиши, портреты актеров и запечатленные на фото сцены из спектаклей. «Драма в трех действиях... Утраченные трагедии Эсхила... Перевести диалоги театрального разъезда ничуть не легче, чем произведения Эсхила...» Эти и другие мысли вихрем проносились в голове Бесника. Он крепко взял Зану под руку.

— Они говорят о каком-то драматизме. Ты слышишь? — Он наклонился к ее уху.

— По-моему, жутко нудно и неинтересно,— поморщилась Зана.

— Есть столь великие драмы, что трудно даже представить,— продолжал Бесник тихо, для нее одной.—

Я хотел бы рассказать... Рассказать о... такой драме, перед которой меркнут...,

В ответ на его внезапный порыв она благодарно пожала ему руку: «Он хочет о чем-то рассказать. Он возвращается из своего далека. Раковина раскрывается». Зана чувствовала, как пальцы Бесника сжимают ее руку повыше локтя. Они пробирались сквозь толпу, которая почти не двигалась. Видимо, что-то случилось. На скандал было не похоже. Люди просто стояли у выхода, высоко закинув головы, и смотрели на небо.

— Снег! Снег! — раздался чей-то радостный голос.

Протиснувшись вперед, к выходу, Бесник и Зана залюбовались сказочной картиной зимнего снегопада.

Крупные белые хлопья, словно бы напуганные видом темной и сырой земли, кружились, оттягивая неприятную встречу. Они напоминали гостей, прибывших издалека, которые растерянно мечутся, внезапно застигнутые темнотой: хотели бы вернуться назад, да уже поздно. Люди радовались первому снегу, как дети.

— Ах, красота-то какая! — воскликнула Зана, забыв обо всем на свете.

А хлопья снега, причудливо искрящиеся, точно весточки с небес, кружились в дивном танце на фоне афиш в свете театральных фонарей.

Бесник с Заной прошлись по бульвару Независимости, а потом, почувствовав, что волосы намокли от снега, направились к ее дому.

Из подъезда им навстречу вывалила толпа незнакомых людей. Окинув пристальным взглядом Бесника, они заспешили к автобусной остановке, а до него долетело брошенное кем-то: «C'est lui»[1]. Бесник резко повернулся, словно его окликнули.

— Ты что? Что с тобой? — потянула его за рукав Зана.

— Кто эти люди? Почему они говорят обо мне? — В голосе Бесника послышалось едва скрываемое раздражение.

Зана поразилась его тону и внезапной нервозности. Таким она его, пожалуй, еще не видела.

— Это бывшие буржуа, гости тех, что живут под нами,— пояснила она, поднимаясь по лестнице.

Бесник молча следовал за ней.

---

[1] Это он *(фр.)*.

Он несколько раз пытался захватить этот дзот и каждый раз отступал. Сейчас он лежал в нескольких шагах от него на выжженной огнем и солнцем земле.

«Другие ходят в кафе, театры, а я на всю жизнь остался лежать у дзота, пришпиленный к нему войной, словно букашка в коллекции Миры,— с горечью подумал Струга.— Эти воспоминания и есть вся моя жизнь». На животе и боках он ощущал тяжесть свинцовых пластин, защищавших организм от избыточного облучения. Он видел себя то всадником, закованным в латы, то крокодилом, покрытым толстой чешуйчатой кожей. Из дзота беспрерывно стреляли, а он продолжал ползти, прижимаясь к земле и увиливая от пуль.

Здесь я остался, где пули — градом,
Здесь, возле дзота, я день и ночь,
И речь врага звучит уж рядом...

«Чей это голос? Где они, мои боевые товарищи? Захвачены и лежат в клиниках под неведомыми аппаратами, сдавшись на милость врачей и медсестер (их разукрашенные ранами тела напоминают древние гравюры), лежат, ожидая инъекций, облучений, скальпеля хирурга. Не раскисай!» — подбодрил себя Струга. «Постараюсь,— ответил он сам себе.— Если бы только не одна загвоздка...» Его беспокоил старший сын, Бесник. В мире что-то происходило. Об этом болтали люди и чужие радиоголоса. Болтали разное. А он, Струга-старший, ничего не знал. Он, чей сын был там, в Москве, когда что-то случилось, не знал ничегошеньки. Бесник точно воды в рот набрал. «Он не счел нужным поделиться своими тревогами со мной, своим отцом, старым коммунистом»,— с горечью подумал Струга, почувствовав, как внутри у него будто что-то оборвалось.

— Товарищ Струга, сеанс окончен.— Врач помог ему подняться с пластиковой кушетки.

Медсестра, чуть склонив набок голову, похожую на подсолнух, взглянула на часы. Струга был сегодня последним ее пациентом. Пока он надевал рубашку, сестра вынула из сумочки зеркальце и стала прихорашиваться. Струга вспомнил, что в эти дни проходят новогодние вечера и Мира отпрашивалась на один из них.

Выйдя из больницы, он заметил, что улица изменилась. «Да это же снег! — обрадовался он.— Наконец-то пошел снег!» С минуту Струга постоял у подъезда

клиники, глядя на хлопья снега, которые, кружась, ровными рядами, точно безымянные солдаты, выполнившие свой долг, падали на темную сырую землю.

— Ты еще покаешься, черница!

Мира сделала вид, что не слышит слов Мартина, который танцевал с какой-то девицей из 12-го «А» и, время от времени поглядывая на Миру, отпускал двусмысленные шуточки, которые заглушал грохот оркестра. Для острот он выбирал реплики из пьесы, которую они репетировали в драмкружке к новогоднему празднику. Сегодня у Мартина были все основания злиться: за весь вечер Мира ни разу не пригласила его на «белый танец». «И не подумаю даже,— мстительно решила она.— Пусть танцует и щебечет с этой дурищей из 12-го «А».

Вечер подходил к концу, объявили последний танец. Самые нетерпеливые бросились в гардероб, чтобы одеться первыми. Мелькавшие рукава пальто и руки придавали шумной толпе молодежи вид дикой орды. А с улицы доносились радостные вопли. Это одевшиеся первыми сообщали долгожданную весть: «Снег идет!» Он лежал на мостовой и тротуарах, на телеграфных столбах и на земле, но особенно ему полюбились крыши домов, газоны и капоты автомобилей. Робко мерцавший на свету снег скромно белел и тут и там, еще не ведая, как встретят его люди.

Первыми кинулись к пушистому снегу мальчишки. Весело гогоча и толкаясь, они пригоршнями хватали его с газонов, стекол машин, навесов торговых палаток и бежали к девчонкам, чтобы сунуть снежные комочки им за шиворот. Девочки, визжа, увертывались, но далеко не убегали. Их «нет-нет!» звучало так, как в известной старой шутке: «Я ухожу»,— сказала она, усаживаясь в кресло».

Мира, подняв воротник пальто, веселилась вместе со всеми.

— Мира Струга! Где Мира Струга? — услышала она чей-то голос.

Среди ребят она сразу отыскала Мартина, который сгребал снег с машины.

— Она воображает, что красивее всех,— не без зависти бросил кто-то.

— Мира Струга — самая красивая девушка в со-

циалистическом лагере! — возразил звонкий мальчишеский голос.

И тут раздался пронзительный свист.

Мартин с полными пригоршнями снега мчался к гурьбе девчат, где была и Мира. Смеясь и визжа, девочки бросились врассыпную. Мира слышала за спиной топот его ног. Остановившись у какого-то подъезда, она перевела дух. Спрятав лицо в воротник пальто и прищурив глаза, как это делали героини западных фильмов, когда хотели показать свое равнодушие к поклонникам, она решила дождаться Мартина. Но не успела Мира войти в роль, как тонкие мальчишеские руки, неловкие и холодные как лед, засыпали снегом ее волосы и забрались за воротник.

— Нет-нет! — вскрикнула Мира, готовая заплакать.

Ей почудилось, что его руки, того и гляди, окоченеют,— так они были холодны. Мира вскинула голову и посмотрела на Мартина — он был бледен. «ДОКТОР ФИЛИПП ТРЭСКА. ПАТОЛОГ»,— прочитала она табличку на двери соседнего дома. Руки Мартина словно примерзли к ее волосам. Мира дотронулась до них, хотела убрать, но решимость покинула ее. И тогда Мартин крепко обнял ее и поцеловал в губы. Мира не оттолкнула его. Он поцеловал еще раз, потом еще и еще... Наконец она пришла в себя, медленно отстранилась и сказала просто и спокойно:

— Подожди, перехватило дыхание.

Откуда-то издалека неслись крики:

— Мира Струга! Ми-и-ра! Где Мира? Ее ищут.

— Бэн! — Мира бросилась к ватаге гимназистов.

Брат стоял в стороне с сигаретой во рту. Одинокий, печальный, молчаливый, он походил на Чайльд Гарольда или лермонтовского Демона. Бэн взял ее за рукав и, не говоря ни слова, повел домой. А снег все сыпал и сыпал не переставая. Освещенная разноцветными огнями площадь Скандербега показалась Мире бесконечно широкой.

«Он меня поцеловал...— Воспоминания кружили голову.— Теперь обо мне не скажешь «нецелованная». Поцелуй... Какое сухое и невыразительное слово досталось нам в наследство! В нем лишь звук «ц», пожалуй, звучит и живет».

Мире показалось, что все вокруг было ненастоящее, будто сделанное из фарфора. Мир утерял привычное равновесие. Галилео Галилей. За этот раздел физики

она получила «тройку». «Разве трудно было установить, что Земля вращается? — подумала Мира.— Совсем нет. Довольно одного поцелуя. Наверное, Галилей сделал свое знаменитое открытие именно в тот момент, когда его впервые поцеловала женщина. Он был тогда молодым, как Мартин, может, чуть постарше. А в учебнике он совсем старик и с бородой».

Дома Мира сразу же закрылась в ванной комнате, чтобы получше разглядеть себя в зеркале. Всю дорогу ей казалось, что губы у нее стали другими. Она слегка оттопырила нижнюю губу — ничего особенного, губа как губа. «Странно! — подивилась Мира.— Вот здесь, на этих губах, был его поцелуй, и ничего от него не осталось. Весь мир закружился перед глазами, а губам — хоть бы что!»

От ужина Мира отказалась и пошла спать. Надевая ночную рубашку, она вспомнила странные слова «самая красивая девушка в социалистическом лагере» и невольно улыбнулась. «А что, если и вправду самая красивая? — подумала Мира, но тут же испугалась собственной смелости.— Нет-нет! Какая глупость! Социалистический лагерь... это же... Польша, часть Германии, Советский Союз, Сибирь, Китай, Прибалтика, Чехословакия, другие страны... даже Монголия... Кто знает, сколько там красивых девушек? — Мира приподняла подол ночной рубашки и посмотрела на ноги.— Ничего особенного»,— пожала она плечами. В голове теснились обрывки каких-то мыслей, но тепло и сон так разморили Миру, что веки смыкались сами собой. «Всего-навсего одно объятие, и столько ощущений»,— думала она, засыпая.

Девичье сердце впервые в жизни распахнулось навстречу счастью. Сквозь сон она слышала голоса людей, возвращавшихся с новогодних вечеров. Она чувствовала, как растворяется в бесконечном пространстве, становясь его частью. «Самая красивая... в соцлагере... Чехословакия, Венгрия — это где-то рядом... крылья пространства... дальше Польша, потом Украина с бескрайними пашнями... И ноги, и артерии, и вены... Дрин[1], Волга... равнина живота... В центре — средневековые стены Кремля, старого как мир...» — Мысли смешались в голове, как в калейдоскопе. Мира пошевелила губами и простонала во сне.

---

[1] Река в Албании.

С улицы все еще доносились голоса людей, смех, обрывки лениво выводимой мелодии. Старая Нурихан налила в стакан отвар ромашки и поставила джезве[1] на место.

— Веселятся, развлекаются, играют в снежки,— ворчала старуха.

Хлопья снега, словно бездомные души, молча кружились в воздухе. Отвар давно остыл, а старая Нурихан не могла успокоиться.

— Веселятся,— повторила она осуждающе.— Так было всегда. У стен Фив появился зловещий сфинкс, а людям хоть бы что: пляшут, поют, ходят в театры... Вечная история. Чем больше опасность, тем им веселее. Они отмечают Новый год, дни святых, годовщины со дня образования королевств и республик, и все это тогда, когда безвестные монахи несут им страшные вести: об эпидемии чумы, начале войны, осаде, голоде, появлении сфинксов. Господи! — взмолилась старуха.— Ты дал мне дожить до этого дня, дай прожить еще одну зиму, чтобы собственными глазами узреть их конец. Не оставь, прошу Тебя, Господи! Дом, превращенный в развалины, возродится, и люди вновь обретут благодать. Да будет благословенна эта ссора, весть о которой вдохнула в нас жизнь в этот сумрачный вечер. Далеко. Далеко. Пространство Сибири. Пустыня Гоби. Оазис Нурихан.

Все предновогодние вечера и ночи, а также вечера и ночи в первые дни Нового года они провели вместе — ходили друг к другу в гости, радовались и вздрагивали от каждого стука в дверь. Они сидели друг против друга и мысленно задавали один и тот же вопрос: «Слышали что-нибудь?» В эти минуты, забыв о личных ссорах и мелких обидах, они величали друг дружку по старинке: ваша светлость, бей, ваша милость, господин посол, господин регент, что походило на генеральную репетицию спектакля накануне премьеры. Вспоминали они и о старых завещаниях, золоте, купчих и закладных, кредитах, ценных бумагах. Кое-кто непременно заводил разговор о генеалогическом древе своего рода, многие ветви которого исчезли с лица земли в грозовые годы исторических перемен. Самые отчаянные, сжавшись от страха

[1] Специальный сосуд для приготовления кофе по-восточному.

в комок, склонялись над листом бумаги и с поразительной точностью воспроизводили границы своих бывших владений, а ныне — угодий сельхозкооперативов.

Несколько ночей кряду под переменчивым взором январской луны в городе хозяйничал лютый мороз. По утрам иней расписывал узорами окна домов, серебрил стекла городских автобусов, туманил очки спешивших на работу людей, отчего казалось, что все они страдают косоглазием.

Глава XV

3 января с 9.00 до 16.30 практически без перерыва шло заседание Политбюро. На улице моросил мелкий противный дождь. Два дня спустя продолжил работу Пленум ЦК. В тот же день состоялось экстренное заседание кабинета министров, которое длилось до полуночи. Около пяти утра самолетом, который из-за тумана с трудом совершил посадку, в Тирану возвратились два албанских представителя, принимавших участие в чрезвычайном заседании СЭВ в Варшаве. Сойдя с трапа, они потребовали немедленной встречи с премьер-министром, где бы он ни находился. На следующий день секретариат ЦК АПТ, правительство, Государственная плановая комиссия, Генеральный штаб Армии, Президиум Народного собрания провели совместное заседание. Государственная машина была запущена. Все ее части, узлы, подвижные и неподвижные механизмы, уравновешивающие друг друга силы противоположных зарядов, различные шестерни ожили, но до ритмичной работы без сбоев было еще далеко — маховик только раскручивался.

В 22.00, сразу после окончания заседания Президиума, радио Тираны сообщило о созыве чрезвычайной сессии Народного собрания. В столицу начали съезжаться послы Албании, аккредитованные в зарубежных странах. 9 января, когда на город обрушился холодный ливень, парторганизации тиранских заводов были проинформированы о совещании в Москве и об идеологических расхождениях между Албанией и Советским Союзом. 11 января все центральные газеты опубликовали тексты поздравительных телеграмм, поступивших в адрес руководства Албании по случаю Дня Республики от президентов, премьер-министров, монархов, парла-

ментов, правителей и регентов иностранных государств. Несмотря на стужу, люди, стоявшие на остановках, спешили до прихода автобуса раскрыть газеты, внимательно прочитать тексты телеграмм и обнаружить что-нибудь между строк. Над городом нависло серое зимнее небо. Правительство беспрерывно заседало, а поздно вечером, часов в десять с минутами, у стойки столичного кафе рабочий одного из окраинных заводов, заказывая рюмку фернэта[1], сказал бармену хриплым голосом:

— Говорят, соцлагерь лишил нас всех кредитов.

Дождевые капли, которые порывистый ветер пригоршнями швырял в окна домов, струйками стекали по стеклам, изменяя до неузнаваемости привычный уличный пейзаж (перекресток, раскидистая хурма на соседнем дворе, освещенная витрина магазина электротоваров). На диване беспорядочно валялись вчерашние газеты. Взгляд Заны машинально скользнул по выделенным жирным шрифтом словам поздравительных телеграмм: «Шарль де Голль... Ульбрихт... Владислав Гомулка... Король Густав Адольф... Хрущев...»

Зана с тоской посмотрела в окно: «Сегодня исполнилось бы ровно две недели со дня нашей свадьбы... Пришло бы множество телеграмм... Первыми поздравили бы, конечно, дядя Сандри и тетя Урания из Фиера. В этот зимний вечер мы с Бесником, усталые, сидели бы вдвоем на диване, пили кофе и читали телеграммы. «Это от дяди Сандри. Я же говорила, что он пришлет первым! — воскликнула бы я.— А эта от тети Урании». Потом другие телеграммы. Потом...» Но свадьба не состоялась. И это лишь полбеды. Самое ужасное для нее заключалось в том, что с некоторых пор Бесник перестал звонить. Зана возненавидела телефонный аппарат — эту черную кошку раздора, к которому еще совсем недавно относилась весьма нежно.

С улицы опять донесся одинокий монотонный голос: «Колю дрова! Дрова колю!» Ежегодно в эту пору в город приходили крестьяне из ближних деревень колоть заготовленные на зиму дрова, но никогда прежде никто из них не задерживался в их маленьком районе так долго и не был столь назойлив. «Неужели не понима-

---

[1] Алкогольный напиток, похожий на вермут. Подается обычно как аперитив.

ет,— подумала она, раздражаясь,— что те, кому надо было наколоть дров, уже давно это сделали».

Тогда, в театре, Бесник хотел что-то сказать, наверное, как-то объяснить, может, даже оправдать свое поведение. Но промолчал. Не решился. Только гордость не позволила Зане спросить его напрямик: «Бесник, что с тобой случилось? Ты ведь хотел рассказать мне... В конце концов, ты обязан объясниться... О чем ты думаешь? Что тебя тревожит, а может, и... мучит?» Но она тоже промолчала, ожидая, пока он соберется с духом и сам все расскажет. За время их знакомства Зана, вопреки наставлениям матери, не только не настаивала на помолвке, но даже в шутку не позволяла никому из близких вести разговоры на эту тему при Празнике. Она ни словом не обмолвилась об этом ни в пору их безрассудной любви (Бесник был первым мужчиной в ее жизни), ни потом, когда он сказал ей: «Зана, я люблю тебя и хочу, чтобы ты стала моей женой». Помнится, был очень холодный день и стаи туч бездумно бродили по небу, заливая землю дождем. «Да»,— едва слышно выдохнула Зана. Остальное досказали за нее радостный блеск глаз и легкий кивок.

Из кухни слышался шум воды и позвякивание посуды — Лирия, по-видимому, убиралась. Во дворе визгливо заскрипела дверь гаража. «Отец опять куда-то поехал,— отметила Зана.— Очередное совещание, наверное. Днем и ночью собрания, заседания, совещания. Никакого покоя». Среди обнаженных ветвей дерева на соседнем дворе желтели, будто нарисованные, два плода хурмы, два маленьких солнышка. Ей на глаза попались валявшиеся на диване газеты. «Самое время,— подумала она,— почитать поздравительные телеграммы».

«Поздравляем молодоженов. Желаем счастья и побольше наследников. Товарищи по факультету, проходящие практику на стройках севера... Благополучия албанскому народу и счастья лично вам. Тетя Урания и Шарль де Голль... Поздравляем со счастливым днем, долгой вам жизни и много детей. Император Хайле Селассие I... Колю дрова! Дрова колю!..»

«Что со мной?» — Зана поднялась с дивана и зябко поежилась. В комнате было прохладно. Ночью Зана не могла заснуть, и теперь ее клонило в сон. Она хотела пойти на кухню помочь матери, но передумала: опять заведет разговор о свадьбе.

На маленьком столике в гостиной лежал семейный альбом. Зана давно не держала его в руках: она не любила старых фотографий, как не любила смотреть старые фильмы. Сейчас, не зная, чем заняться, она взяла альбом и стала перелистывать страницу за страницей. В том, как были расклеены фотографии, чувствовалось что-то провинциальное, давно вышедшее из моды. Вот дедушка с двумя мужчинами в смешных широкополых шляпах. Отец, когда был партизаном. Отец с матерью в день их свадьбы. Зана, совсем маленькая хрупкая девочка с широко раскрытыми глазами, на руках у симпатичной блондинки, ее тети. Зана — ученица первого класса начальной школы. Кристач и Лирия с незнакомыми Зане людьми, на переднем плане — бутылки с пивом. Бабушка — уже старенькая. Зана в составе баскетбольной команды на соревнованиях: среди спортсменов — парень, с которым она поцеловалась впервые в жизни. Это произошло в гостинице с длинными коридорами и пятнами сырости на стенах, с постоянно хлопавшими дверьми. Зана брезгливо поморщилась. Кристач, Лирия, тетя и Скандер Бермема стоят возле бюста Де Рады[1]. Кристач и Лирия в доме отдыха. Зана-первокурсница с товарищами из университетской группы. Отец в каком-то президиуме. Фотографий дедушки и бабушки больше не было, они умерли в пятьдесят шестом году. Зана в купальнике на пляже. Бесник один. Бесник и Зана вместе — повсюду вдвоем.

В прихожей раздался звонок, а затем голос Дьаны Бермемы. Зана захлопнула альбом и поспешила навстречу подруге, которую не видела с того самого дня, когда они с Бесником встретили ее на улице. Дьана заметно округлилась, отчего показалась Зане еще красивее. Они поболтали о том о сем, но более всего о Дьанином ребенке.

— Какая же я эгоистка!— воскликнула наконец Дьана.— Все о себе да о себе. А как ты? Как Бесник? Я не видела его после возвращения из Москвы.

— Спасибо, все нормально.

— Зана, ты извини, что я редко захожу к вам, и Беснику передай, пускай не сердится. Хотела зайти вместе с Андрэ, но он днюет и ночует в больнице.

[1] Де Рада Иероним (1814—1903) — поэт, классик албанской литературы. Его поэма «Песни Милёсао, сына правителя Шкодры», вышедшая в 1836 г. на албанском и итальянском (в переводе) языках,— шедевр европейского романтизма.

Зана слушала ее с застывшей улыбкой.

— В эти дни у него было столько работы,— промолвила Дьана, переходя на шепот.— Говорят, уехали многие иностранные специалисты, и прежде всех — советские.

— Да что ты?!— удивилась Зана.

— Да-да, произошло что-то очень серьезное.

— Это Андрэ сказал?— спросила Зана.

— Что ты?!— замахала руками Дьана.— Из него слова лишнего не вытянешь, тем более если это касается больницы.

Зана задумчиво покачала головой.

— Это правда, они не очень-то разговорчивы,— тихо сказала она.

— Ну и пусть! Какая беда?!— рассмеялась Дьана.

— Вот и Бесник такой же,— продолжала Зана.— Повсюду только и слышишь: «В Москве что-то случилось!»— а невеста человека, который был непосредственным участником событий, не знает ничего, кроме того, что известно всем: у нас с Советским Союзом возникли разногласия. Он ни о чем мне не рассказывал. Представляешь?— В голосе Заны прозвучала обида.— Меня постоянно спрашивают, но что я могу сказать? Что сама ничего не знаю?

— Не расстраивайся, дорогая,— попыталась успокоить ее Дьана,— такие уж они чудаки, наши мужчины.

— По-видимому, они тоже считают нас чудачками?

Дьана решила сменить тему разговора.

— Когда свадьба?— спросила она весело.

Зана передернула плечами: получилась своего рода диаграмма плача души, который она, как ни старалась, не смогла скрыть. Не желая отвечать, Зана снова заговорила о будущем ребенке Дьаны, и та с радостью начала подробно рассказывать, как впервые ощутила в себе новую жизнь, как ребенок — вот шалун!— колотит в живот кулачками, а может, и ножками, когда ему вздумается. Глаза Дьаны сияли счастьем. Внезапно она замолкла на полуслове.

— Зана,— сказала она, беря подругу за руку,— если у вас с Бесником... вышла размолвка, я готова... как всегда... Ты же знаешь, у меня с ним добрые отношения.

— Нет-нет, не надо,— возразила Зана.— Спасибо тебе, но не надо.

Год назад у них с Бесником произошла бессмысленная ссора, и Дьане без особого труда удалось помирить их.

— Ну, как знаешь,— вздохнула Дьана.— А то смотри. Я всегда готова помочь тебе.

«Помочь мне...— задумалась Зана.— Остались считанные дни, когда ты действительно можешь что-то сделать. А потом... потом родится ребенок, и тебе будет не до меня».

Они еще немного поговорили о ребенке, и Дьана ушла.

Зана подошла к окну. Ей вспомнился один из летних дней отдыха на море. Кто-то вытащил на берег медузу, и она, сверкая в лучах солнца, лежала там, пока не растаяла, а вокруг толпились люди. Весь день Зану терзали предчувствия и тревожные мысли. Дождь кончился. Во дворе появились люди. «Опять у них гости»,— безотчетно отметила она. В течение последних двух недель к соседям ежедневно приходили гости: женщины в старомодных шляпках и меховых накидках, мужчины в широкополых шляпах из семейного альбома. «Может, новые родственники объявились,— подумала Зана.— А может, Марка собираются женить?» Изо дня в день она видела из окна одну и ту же картину: Марк с виолончелью за спиной, осторожно приоткрывая калитку, входит во двор. В зимних сумерках черный футляр виолончели напоминал прирученное животное, которое он несет на спине домой. Встречаясь с ней, сосед был безукоризненно вежлив, правда порой одновременно с предупредительностью и чрезмерной застенчивостью в его робком взгляде вспыхивали едва уловимые искры затаенного желания, но он гасил их, не давая разгораться. Зана делала вид, что ничего не замечает. Неделю назад она попросила Марка давать ей платные уроки французского языка (если, конечно, он найдет для этого время). Марк согласился. «Надо начать заниматься, и как можно скорее,— подумала Зана.— Это поможет хоть как-то отвлечься от тягостных дум».

Когда Лирия ушла в свою комнату, Зана неслышно проскользнула в кухню и, достав из буфета бутылку коньяка, налила себе полрюмки. Коньяк понравился, и она решила повторить, но в этот момент в дверях появилась мать.

— Ты пила?— воскликнула изумленная Лирия.

— Самую малость.— Зана попыталась изобразить на лице улыбку.

— Послушай, девочка. Послушай меня и не кривись. В конце концов, я твоя мать, и ты обязана меня выслушать.

— Конечно, ты — моя мать, а не «Мать» Максима Горького.

— Зана, как тебе не стыдно! Что за чепуху ты городишь?

Зана и сама поняла, что сморозила глупость.

— Прости, мама! Я не хотела.

Лирия вытерла руки салфеткой.

— Надо что-то делать,— заявила она решительно.— Я не могу видеть, как ты страдаешь.

— Я не страдаю.

— Меня не обманешь, дочка. Я все вижу,— вздохнула Лирия,— доверься мне. Ты всегда поступала как хотела. Послушай хотя бы раз в жизни. Я тебе только добра желаю.

— Я слушаю тебя.— Зана внимательно посмотрела на мать.

Лирия, как перед прыжком в воду, набрала в легкие побольше воздуха.

— Прежде всего, ты должна пойти в его парторганизацию,— сказала она твердо.— Пускай он там объяснит свои намерения.

— Никогда!— воскликнула Зана.

— Послушай, девочка,— перебила ее Лирия.

— Никогда! Никогда! Слышишь? Ни-ког-да!— почти кричала Зана, готовая расплакаться.— Я никогда не сделаю этого.

— Зана, одумайся!

— Знай, что я вообще не собираюсь выходить замуж.

— Хватит!— оборвала ее Лирия.— Послушай меня хотя бы сейчас.

— Я не желаю тебя слушать. То, что ты говоришь, подлость! Подлость! Подлость!— Зана захлебывалась от душивших ее рыданий.

— Браво!— воскликнула Лирия.— И это ты говоришь мне, своей матери?!

Зана стремительно бросилась к буфету, плеснула в рюмку коньяка и залпом выпила.

— Прости меня, мама, прости,— прошептала она.

Лирия села и обхватила голову руками.

— Я перестаю узнавать свою дочь,— горестно вздохнула она.

— Послушай, мама, почему ты во всем видишь трагедию?— спросила Зана, успокаиваясь.— В конце концов, надо иметь терпение и по-хорошему во всем разобраться. Может, он расстроен из-за болезни отца? Ты же знаешь, что у него подозревают рак. Ты же знаешь, что...

— Ты всегда была альтруисткой,— заметила Лирия, приходя в себя.

Зана обняла мать за плечи и привлекла к себе.

— Фу-у-у!— поморщилась Лирия.— От тебя несет коньяком, как от заправского пьяницы.

На минуту они замолчали, каждая думала о своем.

— Мама, я пройдусь, пожалуй,— нарушила молчание Зана.— Загляну в Салон мод. Говорят, туда завезли хорошую шерсть на пальто.

— Может, сходим вместе?— робко осведомилась Лирия.

— Нет, мама, я хочу побыть одна.

— Как знаешь.

Зана пошла в ванную смыть следы слез и привести себя в порядок. Немного погодя, веселая, улыбающаяся, она уже спускалась по лестнице. Пораженная Лирия с тревогой отметила столь быструю перемену в настроении дочери.

Дождь прекратился. Воздух был свеж, как после грозы. Небо, затянутое свинцовыми облаками, предвещало обильный снегопад. Казалось, что снежные хлопья уцепились мягкими белыми лапками за небесный свод и раздумывают: падать им на землю или подождать.

По улице навстречу ей шел Марк, по обыкновению с виолончелью за спиной. Огромный футляр, сливаясь с фигурой, делал его похожим на какое-то странное существо.

— Добрый день,— учтиво поклонился он.

— День добрый, Марк.

Зане показалось, что затаенное желание в его взгляде на сей раз слегка потеснило присущие ему робость и смущение. «Тем не менее французский надо учить,— решила она,— И начать занятия как можно скорее».

Зана бесцельно брела в сторону центра. Но уличная суета, которая была ей по душе, постепенно захватывала ее. Пешеходы, автобусы, мотоциклы жадно впитывали

остатки дневного света. Скоро ему на смену придет свет магазинных витрин, прожекторов, освещающих памятники, неоновых ламп, которые придают всему живому и неживому особую таинственность. А пока все замерло в ожидании снегопада.

— Душа моя!— раздался за спиной мурлыкающий голос, но Зана даже не обернулась.

Она медленно шла по улице, с которой была на «ты», получая огромное удовольствие и от этой прогулки, и от восторженных взглядов встречных мужчин. Зана заранее прощала улице мелкие обиды и огорчения, которые та могла преподнести, и улица была благосклонна к ней. Зана считала, что когда ее добрые отношения с улицей внезапно прекратятся, то этот день станет самым мрачным днем в ее жизни.

Мимо с оглушительным треском пронесся мотороллер. Вблизи центра рабочие убирали торговые палатки и киоски новогоднего базара.

«Я знаю, что тебе нравятся городские улицы,— сказал однажды Бесник.— Знаю, но не ревную. Надо быть идиотом, чтобы принимать это всерьез».

В последнее время Зана постоянно думала о Беснике. В памяти всплывали отдельные события, обрывки фраз, любимые его словечки и жесты. Она слышала, что так бывает перед разлукой, которая подбирается к людям незаметно, как вирус. Одни болеют гриппом, другие сифил... (слово «сифилис» мелькнуло и быстро юркнуло в норку, словно мышь), третьи раком, а она больна разлукой. Болезнь эту она ощущала каждой клеточкой своего организма. Глаза, руки, волосы, грудь, даже самые интимные части тела были поражены этой постыдной болезнью. Самое удивительное состояло в том, что если дома эта болезнь угнетала Зану, заставляла мучительно страдать, то здесь, на улице, все было иначе: она вселяла в нее томительную тоску. Зана не была уже той веселой и беззаботной Заной, которую все любили и которая купалась в счастье.

Теперь, после светлой полосы, в ее жизни настали ненастные дни. Она стала женщиной с «личной драмой».

Зана шла, забыв о Салоне мод,— улица зачаровала ее. Мимо с треском промчался очередной мотороллер. Плотники устанавливали деревянный щит для театральных афиш и большого плаката. Улица и в самом деле казалась волшебной, напоминающей дивный сон.

В отличие от дома, здесь можно встретить и даже поиграть со странными-престранными существами — крокодилом, дикими кошками или разлукой.

Коммунистов столичных заводов продолжали информировать о положении дел в партии и о международном положении. 14 января прошли партийные собрания в центральных районах Тираны, и в тот же день все секретари ЦК разъехались по стране, чтобы принять участие в собраниях на крупнейших заводах и фабриках.

Секретариат ЦК ежедневно получал сводки с мест о ходе кампании и о том, что говорят на собраниях тысячи коммунистов.

Газеты, радио, телевидение постоянно рассказывали о митингах рабочих в поддержку линии партии и их трудовых обязательствах. Инициаторами выступили шахтеры угольных шахт и хромовых рудников, рабочие комбината по переработке медной руды, железнодорожники.

В разделе новостей из-за рубежа газеты по-прежнему публиковали материалы о Советском Союзе. Сообщение о прибытии нового советского посла Шишкина было помещено, как всегда, на первой полосе всех центральных газет.

Особое место средства массовой информации отводили материалам о развернувшейся по всей стране кампании за бережливость. Открывая утром газеты, люди не без удивления отмечали, что спортивные новости, вести из мира науки и техники, метеосводки печатаются, как и раньше.

Правительство беспрестанно заседало. В один из перерывов между заседаниями помощник премьер-министра по указанию шефа направил на места короткую директиву следующего содержания:

«Срочно. Секретно. Всем руководителям центральных районов и директорам крупных предприятий. В сложившейся обстановке необходимо сохранять спокойствие и выдержку. Проявлять заботу обо всех без исключения иностранных специалистах, не допускать прово-

каций в их адрес. Несмотря ни на что, межгосударственные связи остаются нормальными. Премьер-министр».

Фельдъегери премьера, оседлав мотороллеры, мчались по Тиране и прилегающим к столице районам.

Бэн договорился с Ирисией о встрече в четыре часа у «их» скамейки в парке. Переходя улицу, он едва не попал под мчавшийся с бешеной скоростью мотороллер. Бэн успел отскочить в сторону, когда мотороллер резко вильнул.

— Где у тебя глаза?!— раздался у него за спиной сердитый голос.

«Откуда взялись эти мотороллеры?— подумал Бэн.— Уже третий за день».

Вместо радости от предстоящей встречи Бэн ощущал какую-то пустоту. В голове вертелась мелодия, которую исполнял оркестр на одном из новогодних вечеров. Бэн с огорчением вспомнил, что ему тогда хотелось потанцевать с одной девушкой, а она так и не пришла.

Мимо, не останавливаясь, проходили битком набитые автобусы. Сквозь окна видна была спрессованная, точно в консервной банке, масса из глаз, ушей, растрепанных причесок, рук. «И что они давятся в этих автобусах?»— подумал Бэн неприязненно.

Время будто остановилось, и, чтобы скоротать его, Бэн решил позвонить Максу. Они не виделись всю неделю.

— Алло, Макс?! Это Бэн. Чем занимаешься?

— Собираю вещи. Завтра рано утром молодежь предприятия, где я прохожу практику, отправляется на сельхозработы. На две-три недели. Будем осваивать целинные земли.

— Где?

— Где-то на севере. В самых отдаленных районах.

«Целинные земли...» — мысленно повторил Бэн, повесив трубку. Вот уже второй раз сегодня он слышит эти странные слова. Вокруг что-то происходит, а он ничего не знает. Салю спрашивать не хотелось: от его глупостей с души воротит. В последний раз он нес какую-то чушь об укреплении дружбы с Турцией. «Наверное, Салин дед принес эту небылицу из кофейни, где обычно собираются старики мусульмане»,— решил Бэн.

Часы показывали половину четвертого. Бэн не спеша направился к парку. Очень хотелось курить, но си-

гарет у него не было. Бэн сразу увидел «их» скамейку, которая одиноко мокла под струйками дождя, стекавшими с развесистых лап ели. На краю скамейки образовалась большая лужа. Бэн приподнял воротник. «Лучше бы она не пришла»,— неожиданно для себя подумал он. Стрелки часов показывали без четверти четыре. Бэн вряд ли смог бы объяснить, почему ему не хотелось встречаться с Ирисией. От Сали он узнал, что на улице Дибры над ним подсмеиваются. Тор не раз намекал на то, что Бэн водит дружбу с девчонками, которых бросил он. Конечно, Тор врал, но его ложь больно задевала Бэна. Он чувствовал, что между ним и Ирисией маячит тень Тора.

Мимо прошла пара пожилых людей,— наверное, муж и жена: они бережно поддерживали друг друга под руку.

Бэн боялся, что приятели могут заподозрить его в любви к Ирисии, а он ведь и сам толком не разобрался в своих чувствах. «Пускай болтают что хотят,— решил Бэн.— Лишь бы не вообразили, что я влюбился». В их компании было не принято говорить о любви: любовь, мол, для девчонок и маменькиных сынков, всяких недоумков и восторженных поэтов, а у них — совсем другие интересы. Между собой они не говорили «он ее любит», а «он ходит с ней», «он положил на нее глаз» или «он от нее тащится».

По бульвару с оглушительным ревом промчался еще один мотороллер.

«Когда люди говорят о любви,— подумал Бэн,— они чаще всего употребляют слова «стрела», «игла»...» Именно этими острыми орудиями пронзают, укалывают или ранят сердца влюбленных, будто любовь связана с янычарами или портняжным делом. Даже на грязном боку автобуса, в котором он ехал к парку, какой-то страдалец пальцем нарисовал сердце, пронзенное стрелой. В своих чувствах Бэн не находил ничего колющего или ранящего, они походили на что-то мягкое, ласковое и на редкость сумбурное. Казалось, что грудь, распираемая ими, вот-вот разорвется. Поразмыслив, Бэн решил: «Раз нет острых ощущений — значит, это не любовь». Но с той поры, как Бэн узнал от Сали, что́ Тор болтает про него за глаза, он совершенно потерял покой. «Вот они, стрелы, к тому же с ядовитыми наконечниками»,— подумал Бэн зло.

Время неумолимо близилось к четырем. «Хоть бы она не пришла»,— снова подумал Бэн и закурил припрятанный окурок. В начале пятого меж деревьев мелькнул знакомый свитер. Ирисия шла быстрым шагом, на ходу поправляя выбившиеся из-под шапочки волосы.

— Добрый день!— помахала она рукой.— Я опоздала?— Ирисия присела на скамейку рядом с Бэном.— У тебя неприятности?— с тревогой спросила она.— Ты какой-то мрачный?!

— Все нормально.

«Нет ничего хуже,— досадовал Бэн,— когда свидание с девушкой начинается с вопроса: «У тебя неприятности?» В этот момент кажется, что и в самом деле что-то произошло».

Не зная, что сказать, Бэн насупился и молчал.

— У вас неприятности?— сухо повторила Ирисия, переходя на свое проклятое «вы».

— Нет, все нормально.— Он почувствовал, что, если молчание продлится еще несколько секунд, она встанет и уйдет.— У меня тяжело болен отец,— наконец выдавил из себя Бэн.— Подозревают рак.

— О-о-о, прошу прощения.

— Да чего там.

— Он лечится?— участливо спросила Ирисия.

— Да, ему делают облучение.

Она ласково погладила руку Бэна, и он, забыв обо всем на свете, неловко прижался щекой к ее прохладной атласной щеке. «Даже болезнь отца припутал к своим похождениям»,— с горечью упрекнул себя Бэн.

От ее волос пахло свежестью, а воротничок кофточки, что виднелся из-под свитера, сиял ослепительной белизной. Она что-то спросила, он ответил, стараясь быть остроумным и интересным. Постепенно разговор наладился. Ирисия сперва рассказала об одноклассницах и каком-то конкурсе. Потом, когда услышала, что у Бэна есть сестра, стала расспрашивать, какая она, красивая или нет, какая у нее прическа? Ни одна из девушек, с которыми он встречался, не интересовалась его сестрой. От волнения у него пересохло в горле. И как нарочно в эту минуту вспомнился ему Тор с наглой усмешкой и пошлыми словечками. У Бэна потемнело в глазах. «Не надо было мне встречаться с ней»,— подумал он.

— Что с тобой?— испугалась Ирисия.— Твои глаза... такие злые...

«Ах, этого только не хватало!»— Бэн вскочил на ноги.
— Я пошел!— буркнул он.
— Что?!
Теперь в глазах Ирисии зажглись недобрые огоньки. Обида захлестнула ее. Бэн слышал, что девичья обида — самое страшное, что может быть, но не предполагал, что до такой степени (потом эта сцена будет вспоминаться ему как сон в жутко-сиреневых тонах). Губы девушки зашевелились, она пыталась что-то сказать, но... Не в силах сдержать душившие ее слезы, Ирисия бросилась к воротам парка.
Бэн, растерявшись, глядел ей вслед, и только когда она скрылась за деревьями, медленно побрел по дорожке, усыпанной полусгнившими листьями. Впереди него, насвистывая незатейливую мелодию, шел какой-то человек в кепке.
— Сигареты не будет?— спросил его Бэн.
Человек приостановился, вынул пачку сигарет и протянул Бэну.
— Что это с тобой, браток?— спросил он, заметив расстроенное лицо Бэна.
Бэн только рукой махнул и пошел прочь, забыв поблагодарить незнакомца за сигарету, которую так и не прикурил. Впрочем, спички лежали у него в кармане.
Смеркалось. Поскольку ненастные дни остались позади, ребята опять стали собираться на улице Дибры. Каждый приходивший, как правило, выяснял, какой он по счету, и задавал традиционный вопрос: «Кто следующий?» Тор наверняка ждал появления Бэна.
«Ни за что туда не пойду!»— не раз думал Бэн, но ноги сами вели его на эту улицу. И тут сопротивление было бесполезно. Единственное, что удалось Бэну,— это приходить последним. «Кафе «Ривьера», «Сигареты», «Ремонт электроприборов», «Пластинки», «Такси», гостиница «Республика», «Бар», «Мидии», «Раки»...» — читал он. Чтобы убить время, Бэн попытался читать вывески справа налево: «Икар», «Раб», «Ефак»... «Храните деньги в сберегательной кассе»...
А вот и они. Саля — в темных очках, остальные, как всегда, дымили.
— Привет, Бэн!
— Здрасьте!— буркнул он.
— Как дела?— осведомился Члирим.
Бэн, будто не расслышав вопроса, взглянул на Тора, глаза которого впились в него.

— Дай-ка сигарету,— обратился он к Сале и, небрежно закурив, прислонился спиной к стене.

— Что с тобой?— едва слышно спросил Саля.

Бэн промолчал, во рту ощущалась какая-то горечь.

— Наши друзья счастливы... — начал было Члирим.

Бэн пристально посмотрел на него, но опять смолчал.

— Ты чего уставился на меня?— обиделся Члирим.

— А тебе что? Хочу — и смотрю,— процедил Бэн.

Саля снял темные очки и в замешательстве смотрел то на одного, то на другого.

После нескольких дней затишья улица буквально бурлила. Маршрутный автобус «Банк — Киностудия», сверкая огнями, медленно свернул за угол. В голове Бэна вновь зазвучала прошлогодняя мелодия, которую исполнял оркестр на одном из новогодних вечеров. И Бэн вспомнил, как ему хотелось тогда потанцевать с девушкой, которая так и не пришла.

Тор и Члирим неслышно разговаривали друг с другом, а потом громко засмеялись — так они поступали всегда, когда хотели привлечь к себе внимание.

— Послушай-ка, друг!— сказал Тор, повернувшись к Бэну.— Если ты влюбился и всерьез решил заняться этим делом, то мы, с нашим опытом, готовы помочь. Не так ли, Члирим?

— Конечно, почему нет?— усмехнулся Члирим.

— Товарищество, дружбу надо ценить...— продолжал трепаться Тор.

— Нет!— взорвался Бэн.— Никогда!

Тор не успел увернуться от молниеносного удара, но ухитрился все-таки хорошенько врезать Бэну. Несколько секунд они молча колошматили друг дружку. Кто-то из них случайно двинул локтем в витрину. Звон разбитого стекла и голоса людей, обступивших драчунов, привлекли внимание полицейского.

А в голове Бэна гремел оркестр, что играл на том запомнившемся ему новогоднем вечере танцев. Одна сильная рука схватила его за плечо, другая — за руку. Неподалеку, сверкая огнями, медленно разворачивался маршрутный автобус. В сутолоке он слышал обрывки фраз, какие-то вопросы — глупые, бестолковые и легковесные, как перья птицы: «Что? Что случилось?» — «Неужто ножом?!» — «Конечно, а что им делать, когда все у них есть?» Скандал разгорался. «Вот и полиция! Наконец-то!»

Полицейский участок находился рядом.

— Имя?— строго спросил старшина, который, по-видимому, собирался составлять протокол.

— Арбэн.

— Какой Арбэн?

— Арбэн Струга.

— Профессия?

— Пока нет.

Старшина поднял глаза и, прищурившись, внимательно посмотрел на Арбэна.

— Слушай, парень, ты здесь не у маменьки, и с тобой цацкаться не станут, не рассчитывай! Понял?

В дверях появились Саля, Члирим и несколько незнакомых Бэну людей, в том числе и какая-то толстуха.

— Вот они!— закричала она с порога.— Это они! Какое безобразие!

— Граждане!— обратился к вошедшим старшина.— Присядьте и ждите своей очереди. Остальные тоже сядьте, пожалуйста!

Составление протокола заняло довольно много времени. Свидетельствовали по очереди — Саля, Члирим, толстуха и двое мужчин. Третий мужчина, назвавшийся Экремом Фортузи, сказал, что достоверных показаний дать не может, ибо не разглядел, кто именно разбил витрину: в последние годы со зрением у него стало плохо, и хотя, по совету врачей, он неоднократно менял очки, заметных улучшений не наблюдается.

— Так что, простите, но... — Он развел руками.

— Все ясно!— прервал его старшина.— Вы свободны. Можете идти.

Свидетели один за другим подписывали показания и исчезали за дверью. Бэна с Тором продержали в участке до девяти тридцати, пока не установили их домашние адреса.

На улице сильно похолодало, и людей заметно поубавилось. Бэн шел быстро, опустив голову, чтобы, не дай Бог, не встретиться с кем-нибудь из знакомых. Ссадины на лице горели, губа распухла.

Дверь открыла Мира.

— Ой!— испуганно вскрикнула она.

— Тс-с-с!— Бэн схватил сестру за руку.— Молчи!

— Кто это тебя так отделал?— со смехом в голосе спросила Мира.

— Молчи! Я упал.

Из гостиной слышались голоса.

— Кто у нас?— спросил Бэн.
— Зэлька с мужем приехали из Влёры.
Бэн проскользнул в ванную и посмотрел на себя в зеркало. Под правым глазом расплылся огромный синяк, рассеченная губа кровоточила.
— Ты подрался?— полюбопытствовала Мира, заглядывая в дверь.
— Мира, кто там?— раздался голос Зэльки.
— Бэн пришел.
Он посмотрел на нее одним глазом, потому что другой, заплывший, ничего не видел. «Наверное, подрался из-за какой-нибудь девушки»,— подумала Мира. Ей до слез стало жалко брата, и она, положив руку ему на плечо, ласково спросила:
— Больно?
Бэн промолчал.
Его затекший глаз казался Мире самым прекрасным на свете. «Если бы Мартин...— представила она не без зависти,— если бы он только...— Мысль смутно замаячила в сознании, но Мира даже себе боялась признаться в столь странном желании.— Если бы он... подрался вот так... из-за меня...»
— Бедный мой братик,— ласково сказала Мира.
Изумленный Бэн вытаращил на сестру единственный глаз: у них в семье не принято было говорить друг другу такие слова.
— Ну, что вы там застряли?— раздался из гостиной голос отца.
— Иду-иду, папа!— Мира заспешила в комнату.
— А он почему не идет?— спросил Струга.— Мало ему, что опоздал к ужину?
— Сейчас придет,— пожала плечами Мира.
Бесник и муж Зэльки о чем-то увлеченно беседовали. Струга курил сигарету. Рабо с Зэлькой убирали со стола посуду.
— Генерал Железнов, говоришь?— переспросил Бесник.— Не тот ли это военный с круглым, типично русским лицом?
— Он. Откуда ты его знаешь?
— Видел на приеме в Кремле.
Струга внимательно прислушивался к их разговору. «И этого знает,— отметил он одобрительно.— Говорит о нем так, будто он один из наших соседей». Однако к гордости за сына, который причастен к важным государственным делам, примешивалось и чувство обиды,

ибо ему, своему отцу, Бесник так и не рассказал, что же произошло там, в Москве. И Струга, встречаясь с друзьями (правда, в последние годы старые коммунисты, знавшие друг друга по подпольной работе, чаще перезванивались, чем встречались), испытывал некоторую неловкость, когда речь заходила о событиях этой зимы. Они ведь знали, что Бесник был в Москве, а он, его отец, ничего не может рассказать, чтобы прояснить ситуацию.

«Вот оно как получается. В наше время столько секретов не было»,— подумал Струга. Он часто вспоминал, как в конце 1944 года пришел с войны. Беснику тогда было девять лет, и о чем он только не расспрашивал отца. Струга обстоятельно рассказывал сыну и о Главном партизанском штабе, при котором довелось служить, и о таком совсем не простом вопросе, как граница с Югославией. «Нет, у нас столько секретов не было»,— повторил про себя старший Струга. Могло ли ему прийти в голову, что настанет день, когда его сын, его маленький тонконогий Бесник, будет перед ним таиться.

Из всего, что Струга рассказывал о войне Беснику, а потом и Бэну, им почему-то больше всего запомнилась история о взрыве усыпальницы матери короля Зогу. Они тысячи раз переспрашивали, как он заложил динамит, как поджег фитиль, как взлетели на воздух украшения и бриллианты старой королевы. И Струга снова и снова повторял рассказ.

Позже он заметил, что эта история производила впечатление не только на его сыновей. Его имя все чаще связывалось с взрывом усыпальницы. И если кто-нибудь упоминал о нем, все сразу говорили: «О, это тот Джемаль Струга, который поднял на воздух старую королеву?»

Порой это задевало Стругу: неужели он больше ничего не сделал в жизни? Ему всегда казалось, что взрыв усыпальницы — всего лишь эпизод, пускай и забавный, в длинной череде тяжелых военных лет. Однако у времени своя логика.

— Выходит, ты знаешь Железнова...— задумчиво повторил муж Зэльки.

— Как он тебе?— поинтересовался Бесник.

— Не знаю, что и сказать...— Собеседник пожал плечами.— Стычек и мелких провокаций с его приездом поубавилось, хотя...

— А тот инцидент?

Офицер молча кивнул.

— Ах, что там творится, что творится!— вмешалась Зэлька.— В любую минуту может случиться беда.

Струга помрачнел: «Все обо всем знают, даже Зэлька, и только я в стороне. Только мне не положено знать, что происходит в Албании». От обиды, возмущения и табачного дыма у него перехватило дыхание.

— Что это Бэн так долго возится?— сердито прикрикнул Струга.— Почему не идет поздороваться с гостями?

Бесник и муж Зэльки, прервав беседу, обернулись. Рабо выскользнула в коридор, за ней — Мира, но и та, и другая как в воду канули. В гостиной воцарилась тишина, и только из коридора доносились приглушенные голоса.

— Похоже, что-то случилось,— сказал Бесник, вставая.

Немного погодя он вернулся — туча тучей.

— Бэн с кем-то подрался,— сообщил Бесник.— Кажется, его привезла полиция.

Зэлька и ее муж разом ахнули. Вошла Мира.

— Э-э-х!— только и вымолвил старый Струга.

— Не надо беспокоиться. Я поговорю с ним и все выясню,— попытался успокоить отца Бесник и вышел в коридор.

Обняв Бэна за плечи, Бесник повел его в свою комнату, где Бэн бывал редко, особенно после помолвки старшего брата. Поначалу оба чувствовали некоторую скованность. Бесник не имел привычки поучать младшего брата, а в последнее время они вообще мало виделись. С минуту Бесник смотрел на синяк под заплывшим глазом Бэна, а потом тихо спросил:

— Из-за девушки подрался?

— Да, ну и что!— вызывающе буркнул Бэн.

— Ничего,— согласно кивнул Бесник.— Из-за девушки можно подраться. Это в порядке вещей. Это бывает. Но знаешь, Бэн, я хочу поговорить о другом.— Он помолчал, не зная, с чего начать и начинать ли вообще. Он уже пожалел, что затеял этот разговор, но, взглянув на рассеченную губу брата, продолжил:— Бывают дни, когда человеку следует от многого отказаться.

— Не понял?!— встрепенулся Бэн.

Бесник не знал, как объяснить брату то, что он имел в виду.

— Надеюсь, ты понимаешь, что такое жертвенность? Случаются в жизни моменты, когда надо забыть о себе. Понимаешь?

Бэн неопределенно передернул плечами.

— Что тут непонятного?! — вскипел Бесник.— Что?! Я хотел сказать, что в судьбе страны бывают такие периоды, когда жизнь, которую ведешь,— бесцельные шатания по улицам, музыка, драки из-за девиц... — Бесник замолк, подыскивая нужные слова.— Короче говоря, твой образ жизни абсолютно нетерпим... Вот.

Бэн слушал, слегка наклонив голову.

— Итак... сейчас для всех нас наступил час испытаний... Ты что, не понимаешь, черт побери?!

— А-а, теперь ясно. Ты о Советском Союзе?.. Знаю.

— Что ты знаешь?

— Слышал, что мы откололись от Советского Союза. Но, по правде говоря, большой беды в этом я не вижу.

— Вот как?! — удивился Бесник.

— Если честно, мне давно осточертели учебники по физике и химии, где все открытия сделаны русскими.

Бесник с любопытством смотрел на брата.

— Между собой мы часто посмеивались, что придет день, когда всем это надоест...

Бэн говорил и говорил, и Бесник понял, что он хочет уйти от обсуждения собственных проблем.

— Кроме того, зарплата советских спецов слишком высокая по сравнению с нашей,— продолжал Бэн.— Это знают все. Ну, а о русском языке и говорить нечего. Одни деепричастия всю душу вымотают.

В другое время Бесник только бы рассмеялся, слушая младшего брата.

— Послушай, Бэн,— прервал он его.— Дело вовсе не в этом. Хотя, если говорить о русских изобретателях и зарплате специалистов, возможно, ты и прав. Но это мелочи по сравнению...

— По сравнению с чем? — напрягся Бэн.

— Речь идет о серьезных разногласиях.— Бесник не хотел произносить слово «разрыв».

Они посмотрели друг другу в глаза (точнее, глаза Бесника встретились с единственным глазом Бэна, потому что второй окончательно заплыл и не открывался).

— Наша страна готовится взять на себя тяжелое бремя... непосильное,— медленно внушал брату Бесник.— От всех нас потребуются жертвы.

«Жертвы? Какие жертвы?— озадачился Бэн.— Несколько часов назад я потерял Ириспю. Может ли быть большая жертва?» Теперь ему было все равно, и он готов был бежать на собрания, участвовать в открытии новых месторождений, вспахивать целину...

— От всех нас!— торжественно произнес Бесник.— Так как это испытание и для каждого человека в отдельности.— Он едва перевел дух.— Ты, наверное, слышал о члене Политбюро?

— Да, конечно. Отовсюду снимают ее портреты.

Пораженный Бесник смотрел на брата, широко раскрыв глаза, словно бы говоря: «Не такой уж ты простофиля, оказывается!» Потом взглянул на свои руки, точно они держали концы прерванной мысли, и заговорил опять, с трудом подыскивая слова:

— Вот ты, к примеру, надеюсь, знаешь, что в начале января мы с Заной собирались пожениться. Но теперь... дни идут, и мне кажется... Не знаю, как тебе объяснить...

Бэн пристально смотрел на брата.

— Зана очень изменилась ко мне,— продолжал Бесник.— Ее семья тоже. Самое ужасное заключается в том, что я пока ничего не могу им объяснить. В наших отношениях наступил кризис...

«Общий кризис капитализма...» — пронеслось в голове Бэна.

Бесник развел руками, как бы прося прощения.

— Я знаю, что Зана тут ни при чем. Это я должен объясниться с ней, но свадьба... в такое время... Одна мысль об этом кажется мне абсурдом...

Бэн молчал. Однажды утром он краем уха слышал разговор отца с Рабо о том, что свадьба отложена, но, поскольку это его не касалось, не придал известию никакого значения.

— Сейчас затишье перед бурей,— вновь заговорил Бесник.— Тем, кто всего не знает, простительно, а мне — нет!— почти кричал он.— Я знаю все! Все! Понимаешь?

— Что ты знаешь?— спросил Бэн срывающимся голосом и впился в него единственным глазом.

Бесник кусал губы. Желание поделиться с кем-нибудь своими заботами давно мучило его.

— Ты — мой брат,— сказал он, скрипя зубами.— Тебе я расскажу, что произошло в Москве. Но ты...

— Даю слово! Никому! Никогда!

Возле дома № 141 Рэм всегда закуривал и отдыхал, оперишись на метлу. Основная работа была сделана, оставалось подмести два перекрестка. Одного из них он терпеть не мог, особенно летом, когда молоденькие девушки, поджидая своих кавалеров, едят мороженое и конфеты, а стаканчики и обертки бросают где попало на мостовую. Справа на тротуаре белели еще не затоптанные билеты, которые бросают, выходя с последнего сеанса, зрители зимнего кинотеатра. Рэм докурил сигарету и тоже швырнул окурок на мостовую, прибавив его к десяткам других, сметенных в кучу. Было холодно. Дворник поднял с тротуара билет и, повертев его, попытался разглядеть начало сеанса. На билете было проштамповано: 21.15.

— Две тысячи сто пятнадцать,— громко прочитал Рэм.— Тьфу! Никак не поймешь ихнее новое время.

Вчера он отругал дочь, которая поздно вернулась домой. Оправдываясь, она заявила, что была в кино, но Рэм, конечно, не поверил. «Меня не проведешь!— кричал он.— Я знаю началы всех кин и тиятров, хоть их и нет на моей улице!» На самом деле Рэм представления не имел о времени дневных и вечерних сеансов. И вообще, день казался ему тусклым и бесконечно скучным временем суток. О дне он знал столько же, сколько об обратной стороне Луны. Если ему и приходилось порой, что случалось крайне редко, выходить на улицу днем, он чувствовал себя на ней инопланетянином и впадал в такую апатию, что чуть ли не бегом возвращался домой. Рэм был убежден, что истинное лицо города по бесчисленным приметам дня, сохраняющимся в тиши улиц и площадей, можно понять только ночью.

Энергично размахивая метлой, дворник медленно приближался к левому тротуару. Еще издали он увидел осколки разбитой витрины, блестящие на асфальте возле аптеки. Рэм подошел и начал сметать стекла в совок.

— Наконец-то ты подохла!— радостно вскрикнул он, заметив на одном из осколков склоненную над чашей голову змеи.

Только «дневные люди» (так Рэм пренебрежительно называл этих безумцев) могли нарисовать на оконном стекле змею — дурной знак для улицы. «Представляю, какой хай подняли бы на собрании Хаджирья и Люм, будь на их улице такие змеи,— подумал Рэм.— Сколько они жаловались на эту... эту чертовку... Как ее зовут·

то?.. Лимпияду тиятральную... Ну и что? Лимпияда состоялась. Неделя сверхурочных, а шуму...» Рэм никогда не жаловался — ни на собрании коллектива, ни в дирекции. На его улице не было «лимпияд», но здесь встречали и провожали глав правительств, президентов, правительственные делегации. Цветы, обрывки приветственных транспарантов, бумажные флажки, валявшиеся на тротуаре после встречи высоких гостей,— вот что приходилось убирать Рэму, когда Албанию посещали Хо Ши Мин или тот негр, которого несколько месяцев назад отстранили от власти, да и сам Хрущев. В любое ненастье, ни на что не жалуясь, Рэм шел ночью на улицу, чтобы к утру она блестела, как новенькая.

Городские часы пробили пять раз. «Светает»,— подумал Рэм и приналег на метлу.

Не открывая глаз, Рабо считала удары городских часов. Она давно проснулась. «Пять утра,— мысленно отметила Рабо, когда смолк последний удар.— Скоро рассветет». Бесшумно встав с постели, она подошла к кровати Миры, поправила сползшее одеяло (рука невольно коснулась ее мягких разметавшихся по подушке волос) и пошла на кухню. Там было темно и прохладно. Рабо включила электроплитку и поставила джезве. Поразмыслив, она направилась к комнате, в которой спал Бэн с отцом, и осторожно приотворила дверь. Раздался легкий скрип. Кровать Бэна была пуста. Она закрыла дверь и задумалась. Комната Бесника была напротив. Рабо тихонько взялась за ручку, и дверь открылась. Сощурив близорукие глаза, Рабо вгляделась в полумрак комнаты. На большом диване, где по вечерам Бесник обычно читал, свернувшись калачиком и укрывшись курткой, спал Бэн. Бесник спал на своей кровати, подложив руку под голову. Прикрыв дверь, Рабо вернулась на кухню. Вода в джезве закипала. За окном посветлело. Над крышами домов, словно строй копий, рядами стояли антенны. «Сердце чует — быть войне»,— с горечью подумала Рабо. В последние годы железные прутья антенн вырастали, как грибы после дождя. Весь вечер Бесник и муж Зэльки вполголоса говорили о предстоящих невзгодах, а тут еще дурная примета — заплывший глаз Бэна. Как она оробела, увидев племянника! Многие вещи Рабо давно перестала понимать. Железки на крышах осложняли и без того непростую жизнь. А

тут еще Бэн с подбитым глазом. В памяти замаячило что-то очень далекое, похожее на спряденную временем тонкую паутину: такой же глаз... Свадьба... ее свадьба. Кларнетист... с затекшим глазом. Она — невеста, в белом платье, воздушная, бестелесная, дуновение прозрачного ветерка — в шумной толпе родственников, среди пота и башмаков, подбитых гвоздями, а в нескольких шагах от нее — этот кларнетист... Уставился на что-то своим единственным глазом. Странный взгляд у него был — затуманенный, неподвижный, как солнце на закате, взгляд неотвратимой судьбы, взгляд из небытия. Долгое время Рабо не могла без содрогания вспоминать этот застывший взгляд — всевидящее око мироздания.

Рабо налила кофе в чашку. За окном медленно проплывали клочья серых облаков. Светало. Строй копий на крышах домов выглядел еще более угрожающим. «Вот так и уйдешь из мира, не успев ничего понять,— подумала Рабо.— Останутся позади клочья облаков с затерявшимся среди них воем волчицы да холодное неприветливое солнце на небосклоне».

Глава XVI

В эти зимние дни они — друзья-товарищи по совместной борьбе, испытанные бойцы партии, бывшие партизаны, а ныне руководящие и рядовые деятели партии и государства — чаще навещали друг друга. Когда они перезванивались по телефону, их помолодевшие голоса выдавали волнение, задор и сожаление, что будни, заполненные повседневными трудами и заботами, разъединили их.

Собираясь вместе, они предавались воспоминаниям. Поговорив для затравки о последних событиях в стране и за рубежом (это было столь же злободневно, как и разговоры о нынешней туманной зиме), они переходили к главному: вспоминали войну, тюрьмы, погибших товарищей, партийные съезды, конференции, пленумы, на которых довелось быть либо делегатами, либо во внешней охране. И, словно на генеральной репетиции перед решающим сражением, они обращались друг к другу, как в былые времена, по воинским званиям или подпольным кличкам: комиссар, Молния, батальонный интендант, товарищ из Центра, представитель ЦК.

Зима, как и все происходящее в стране, была на переломе, и никто не знал, какой будет вторая ее половина — мягче или суровее.

Именно в середине зимы у подножий памятников, возле мемориальных досок, на могилах погибших в боях воинов и ветеранов, умерших после Освобождения, появилось много венков и ярких букетов цветов.

И странное дело, тогда же, в середине зимы, цветы появились и на заброшенных могилах известных в прошлом богачей. На одном из холмов, вблизи Тираны, в том самом месте, где находилась до памятного взрыва усыпальница королевы-матери, был найден оброненный кем-то (якобы случайно) венок. Казалось, что по обе стороны баррикады (так бывает перед решающей схваткой) по традиции люди ищут поддержки у дорогих сердцу могил: одни идут к павшим героям, другие — к умершим родственникам.

Бесник дважды прошел по широкому двору завода имени Фридриха Энгельса. Остановившись в нерешительности у входа в цех, он энергично зашагал в сторону столовой. Вот уже час он безуспешно разыскивал партийного секретаря завода или его заместителя, на худой конец — любого члена парткома. Беснику поручили сделать несколько очерков-портретов о рабочих и непременно включить в них беседы с рабочими-коммунистами. Главный редактор довольно невнятно сформулировал задачу. «Хотелось бы что-нибудь новенькое... Нечто вроде очерка с интервью,— начал он задумчиво и, не позволив Беснику уточнить детали, продолжил: — Нужен крепкий материал о мощном голосе рабочих в общем хоре протеста... Надеюсь, ты понимаешь, как это важно сегодня? Что бы ни происходило, рабочий класс и впредь готов к любым испытаниям. Понимаешь? Сегодня после обеда нашу парторганизацию официально проинформируют об идеологических разногласиях, выявившихся в Москве. Ты там был и все знаешь не понаслышке. Вот почему для этого сложного задания я выбрал именно тебя. В печати тему разногласий освещать не будут,— по крайней мере, пока. А может, и никогда! Твой материал должен иметь сильный подтекст. Понял?»

Из репродуктора на столбе звучала знакомая песня:

На битву встают миллионы,
Выходят из бедных лачуг
И строятся в батальоны,
Как братья,— плечом к плечу.

«Что бы ни происходило, рабочий класс и впредь готов к любым...» Толкнув дверь, Бесник вошел в заводскую столовую. Над столами из цветного пластика, за которыми обедали рабочие, стоял сплошной гул. Бесник остановился в растерянности, не зная, у кого спросить о товарищах из парткома. Через огромные окна столовой хорошо был виден заводской двор, главные корпуса завода и плавильный цех, из труб которого клубами валил черный дым. «Вот где надо брать интервью»,— решил Бесник и вышел из столовой. Из репродуктора слышалось:

На пролетарских баррикадах
Идет борьба за новый мир...

Заводская площадь после утреннего дождя блестела лужами. Бесник шел к плавильному цеху, когда его окликнули по имени. Обернувшись, он увидел Виктора Хиля, своего давнего приятеля. Высокий, светловолосый, в сапогах, доверху забрызганных грязью, он выглядел по-рабочему.

— Давно ты здесь?— удивился Бесник.

— Уже месяц,— ответил Виктор.— Неожиданно перевели. Ты слышал, наверное, завод расширяется.

— Слышал,— кивнул Бесник.— Я был здесь недавно.

— Советский инженер, что руководил монтажными работами на строительстве нового корпуса, после отпуска в Союзе на завод не вернулся,— сообщил Виктор.— Теперь я заменяю его.

На миг их взгляды встретились.

— Может, по коньячку?— предложил Виктор.— За встречу.

— С удовольствием,— согласился Бесник,— но сначала мне надо побывать в плавильном цехе и побеседовать с рабочими.

— Время есть, успеешь,— улыбнулся Виктор.— Не отказывайся, прошу тебя.

Они направились в столовую. Беснику пришла в голову мысль спросить о работе для Бэна.

— Нет ничего проще,— сказал Виктор.— Пусть завтра и приходит. На заводе кадры нужны.

Бесник поблагодарил.

— Смотри, вон советские,— кивнул Виктор на группу людей, выходивших из административного корпуса.— Некоторые уже уехали.

— Вот как?!

— Вчера из-за нехватки специалистов погиб рабочий.

Бесник сосредоточенно рассматривал лужи под ногами.

— Что там произошло?— спросил Виктор.

Бесник молчал.

— Вам сообщили подробности?

— Кажется, сегодня проинформируют,— ответил Бесник.

— Все это ужасно!— Виктор тяжело вздохнул.

Бесник снова промолчал. Судя по всему, Виктор не знал о его поездке в Москву.

— Хватит на других надеяться,— решительно заявил Виктор.— Самим надо думать. Самим.

— С нашей стороны нет никакой вины.

— Я знаю, но теперь нам и впрямь надо задуматься. И серьезно. Они поступили бесчестно, по-византийски вероломно. И нам нечего с ними цацкаться. Мерзко все это.

— Что ты имеешь в виду?— пожал плечами Бесник.

— Теперь я окончательно в них разуверился,— продолжал Виктор.— Великие державы — это всего лишь драконы. Мы верили им, как самим себе, и вот...

У Виктора, с которым Бесник учился в одном классе, был взрывной характер. После окончания школы их пути разошлись, виделись они редко, но добрые отношения сохранили.

— Если они отошли от коммунизма, то и нам не следует держаться за эти принципы,— горячился Виктор.— Нам надо исходить из своих собственных интерссов, и только. Не смотри на меня так, Бесник, я говорю то, что думаю. Мы маленький бедный народ — на ладони можем уместиться. Нас постоянно обманывали, а мы в этом мире бесчестия всегда оставались надежными и преданными партнерами, подчас до глупости. Всему, однако, приходит конец. Мы должны стать ловкими и хитрыми, как все. Хватит жертв во имя мировой революции... Я не верю больше в нее. Надоело. Устал.

Бесник рассматривал лужи, в которых отражалась бездонная гладь неба. «Когда-то это должно было слу-

читься»,— подумал он. Виктор заговорил о жертвах: нужны ли они и есть ли в них необходимость? Бесник невольно подумал о Зане: «во имя чего внезапное охлаждение в их отношениях и глупая игра в молчанку? Не лучше ли откровенно поговорить с ней обо всем? Даже о поездке в Москву толком ничего не рассказал, только туману напустил. Никак не объяснил, почему надо отложить свадьбу. Если бы Зана знала правду, она поняла бы, что сейчас не время для свадеб. Она должна была знать больше других, столько же, сколько знаю я, иначе мое поведение кажется ей позой этакого романтического героя. Хотя... хотя, честно говоря, непонятно, почему ей все нужно объяснять и разжевывать. О многом и сама могла бы догадаться. Вот Бэн, например, с виду легкомысленный балбес, а многое понял правильно... Чего, кстати, не скажешь о Зане. Какая-то непонятная глухота ко всему, что не касается лично ее или ее близких. В конце концов, это просто эгоцентризм». Бесник почувствовал, что закипает. Если бы не Зана, а кто-то другой проявлял безразличие к происходящему, он расценил бы это как легкомыслие. Но отношение Заны имело как бы два аспекта: с одной стороны, она демонстрировала полное равнодушие к жизненным проблемам общества, а с другой — невнимание лично к нему, Беснику, которому судьба уготовила быть участником исторических в жизни страны событий. «Ну, ладно,— подумал он примирительно.— Все постепенно образуется. Теперь можно открыто говорить на все темы. Сегодня же вечером, сразу после партсобрания, и объяснюсь».

— Взгляни-ка!— Виктор кивнул на рабочих, толпой выходивших из столовой.— На их плечи в первую очередь лягут все тяготы жизни. Вот в чем трагедия.

— И все-таки в каждой трагедии есть нечто возвышенное,— неожиданно для себя заметил Бесник. «Господи, что я плету?!»— тут же спохватился он.

— О-го-го!— Виктор приостановился.— Что за речи? В Москве Энвер Ходжа как-то сказал, что пока рано оплакивать коммунизм. Это нечто великое. И раны, которые ему наносят, и раны, которые наносит он, долго будут кровоточить. Но как объяснить это другу?

— Послушай, я понимаю и разделяю твое негодование,— промолвил Бесник,— но на деле все не так просто.

— А как же тогда?— почти прокричал Виктор.

Несколько рабочих, пересекавших заводской двор, удивленно обернулись.

— Я был там, когда все это произошло,— тихо сказал Бесник.

— Ты был в Москве?— не веря собственным ушам, переспросил Виктор.

— Да.

— С товарищем Энвером?

— Да.

— Это правда, Бесник?

— Конечно, правда.

— И что же там произошло? Как все было? Расскажи, прошу тебя.— Глаза Виктора округлились.

— Понимаешь, Виктор...— Бесник на минуту замялся.— Я не могу... не имею права рассказать больше, чем сказали вам в партийной организации. Мы друзья, но ты меня поймешь и простишь...

— Я понимаю, понимаю,— зачастил Виктор.— Очень даже понимаю. Но скажи, пожалуйста, только одно: мы поставили этих византийцев на место? Выглядело ли... не знаю, как сказать... достаточно решительно, что ли?

— Более чем решительно,— успокоил его Бесник.

— Значит, не зря,— пробормотал Виктор.— Знаешь?— Он схватил Бесника за руку.— Позавчера, после партсобрания, я так разволновался, чуть крыша не поехала. То, что я тут говорил,— пустяки по сравнению с теми глупостями, которые я нес дома Шпресе. К черту политику,— орал я,— будем, как Швеция, нейтральным государством. Бедная Шпреса, как она это вынесла?! Ох и стыдила меня.

«А он все такой же»,— отметил Бесник. Год назад Виктору был вынесен партийный выговор с предупреждением об исключении за непродуманное выступление на одном из собраний. Бесник вспомнил о партсобрании в редакции, которое состоится сегодня после обеда. «Возможно, на нем рассмотрят мое заявление о переходе из кандидатов в члены партии»,— подумал он с надеждой. Заявление это хотели рассмотреть два месяца тому назад, но тогда он был в зарубежной командировке.

Из заводского репродуктора приятный женский голос еще раз сообщил, что открытое партсобрание состоится в клубном зале. Стенд для афиш и объявлений

был пуст. «Что-то появится на нем в ближайшие дни?» — мелькнуло в голове Бесника. Рабочие группами выходили из столовой и расходились по цехам.

— Вон стоит агрегат, где вчера погиб рабочий,— сказал Виктор, указывая на один из входов в цех.

Они подошли ближе. У агрегата никого не было. Огромный, выше человеческого роста, выкрашенный яркой краской, он походил на кровожадного молоха.

— Плавильный цех там,— показал Виктор.— Это совсем рядом.

Бесник протянул руку, чтобы попрощаться, но Виктор вдруг предложил:

— А что, если и мне пойти? Интересно посмотреть, как ты берешь интервью. Надеюсь, не помешаю. А?

— Ничуть,— согласно кивнул Бесник.

Они вошли в огромные без створок ворота плавильного цеха. Там было темно и сильно сквозило. Поминутно черную утробу цеха озаряли ослепительные пунктиры огненных брызг, высвечивая беспорядок и горы нагроможденных форм и готовых деталей. Тут было царство огня и металла, тяжелое дыхание которого напоминало то львиный рык, то громовые раскаты. Около печей стояли, ожидая готовой плавки, сталевары. Ковши на длинных металлических стержнях в их руках походили на средневековые пики, а сами они — на стражников у ворот в преисподнюю. «Блокада пытается загасить эти печи...— пронеслось в голове Бесника.— Хотя огонь этот похищен у богов... Вы говорите, как Зевс... Кто вы такие? Вы хотите похитить огонь?.. Кругом стоит страшный грохот... Молнии над головой Прометея,— подумал он.— Блокада постарается все превратить в пепел, серый и холодный. Но... что бы ни случилось... в любой ситуации рабочий класс...» В глазах многих людей читался тревожный вопрос: «Не собираетесь ли вы загасить огонь?»

Бесник подошел ближе. За приоткрытыми заслонками огромных электропечей пенился расплавленный металл. Два электрода время от времени касались огненной жидкости, вызывая громовые раскаты.

Виктор что-то сказал одному из рабочих. Сталевар снял защитные очки и протянул их Беснику. Надев очки, он шагнул поближе к печи. Зрелище и в самом деле было захватывающее, из тех, что толкают человеческую мысль к вечному познанию, к выходу за пределы возможного — сравнимому, пожалуй, с прыжком

голодного тигра. Бесник не мог оторвать взгляда от этой кроваво-огненной лавы, будто взятой с поверхности земли в день сотворения мира. Она кипела и бурлила, как и миллиард лет назад. «Кто завоюет эту планету, буржуазия или рабочие?— невольно подумалось Беснику.— За это идет борьба, и это главное. Все остальное — мелочи.— Он нехотя отвел взгляд от огненного зева печи. Рабочие обступили его плотным кольцом.— Предстоящая борьба — это борьба не на жизнь, а на смерть. Она будет не менее ужасной и жестокой, чем когда-то борьба между водой и огнем, между ледниками и сушей, между человеком и обезьяной». Бесник снял защитные очки и, возвращая их сталевару, поинтересовался, коммунист ли он.

— Да, коммунист,— ответил рабочий,— с сорок третьего года.

Только теперь он разглядел своего собеседника. Судя по бесцветным волосам, местами изрядно поредевшим, он был уже в возрасте. «Надо приступать»,— решил про себя Бесник. Он еще ни разу никого не интервьюировал, но знал, что дело это сложное: кто знает, где проходит зыбкая граница между тем, что говорится, и тем, что подразумевается? Для начала он завел разговор о марках стали, которую они варят, а потом незаметно перешел к интересовавшей его теме: какова, по мнению рабочих, связь между тяжелой индустрией и независимостью страны. Однако ответа не последовало, все будто бы чего-то ждали. Пауза затягивалась. Наконец вперед вышел Виктор.

— Расскажи что-нибудь интересное, черт возьми!— выкрикнул он.— Я сказал им, что ты был в Москве.

Бесник осуждающе взглянул на друга. Виктор, как бы прося прощения, развел руками.

— Они все коммунисты,— начал он, оправдываясь.— Наша парторганизация уже в курсе событий, но ты, как участник, можешь вспомнить какие-нибудь детали.

Рабочие с интересом разглядывали гостя. Бесник ощутил, что у него пересыхает в горле. Ему никогда еще не приходилось бывать в подобных переделках: он не предполагал, что попадет на импровизированный митинг.

— Товарищ журналист,— обратился к нему пожилой сталевар.— В эти дни мы особенно остро ощущаем связь с партией. Если можешь, расскажи...

«Надо что-то говорить,— с ужасом подумал Бесник.— Просто необходимо». Лихорадочным усилием воли он пытался отделить от огромной глыбы воспоминаний хотя бы маленький кусочек, но тщетно. Бесник не готов был к разговору с рабочими. Минутами, мучимый желанием разделить с кем-нибудь груз накопившейся информации, он мысленно проговаривал целые куски текста, но все они были предназначены лишь для Заны. А для выступления перед рабочими нужны совсем другие слова: более официальные и торжественные. Сначала он хотел рассказать, как советские пытались поставить албанцев на колени, а потом надеть на них ярмо, но эта тема показалась ему слишком банальной. И тут Бесник вспомнил встречу с русским летчиком на приеме в Кремле. «Расскажу о нем,— решил он,— тем более что это касается только меня». Рабочие обступили его плотным кольцом. Бесник начал говорить медленно и неуверенно. Ему казалось, что голову стягивает металлический обруч. Впервые он рассказывал о событии, спрятанном в глубине его сознания, точно затонувший корабль на дне океана. Он пытался поднять его с помощью слов. Глаза слушателей лихорадочно горели. Плавильные печи за их спинами, словно раненые львы, жалобно стонали. Бесник почувствовал, как вздрогнул и стал медленно подниматься вверх корабль. Теперь он без труда находил нужные слова. Еще немного, и рабочие во всех подробностях узнают о случае, который поразил его самого. Пересказав историю бывшего советского летчика, Бесник медленно, стараясь ничего не пропустить, воспроизвел конец их беседы о сбитом авиатехнике и свой вопрос: «Вы думаете, что албанцев ждет та же участь и вы уничтожите нас огнем?»

— И знаете, что он мне ответил? «С тяжелым сердцем, брат мой, с тяжелым сердцем».

На мгновение Бесник умолк. Рабочие внимательно слушали его. Виктор нервно покусывал ногти.

Бесник пересказал сталеварам и разговор с подвыпившим летчиком об албанском знамени и изображенном на нем орле.

— Вот оно что!— воскликнул Виктор.— Они хотят, значит, чтобы мы не летали, а чтобы, значит, ползали.

— Ползали,— повторил Бесник.— Именно это слово скрывалось за их улыбками.

— Они забыли, наверное, что наша страна зовется Штиприа[1], страна орлов, а не страна черепах или червей,— заметил пожилой сталевар.

И тут наперебой заговорили все. Толпа вокруг Бесника росла, рабочие, подошедшие позже, расспрашивали о подробностях гибели авиатехника. Бесник засомневался было, правильно ли он сделал, что рассказал эту историю рабочим, но успокоился: он рассказал только то, что произошло с ним самим,— и ничего больше.

Выйдя из цеха, они пересекли заводской двор. Виктор, с восхищением следивший за Бесником во время встречи с рабочими, шел по правую руку, чуть приотстав, будто сопровождал министра, и не знал, как еще выказать другу детства свое уважение. «Значит, лягушка им видится на нашем знамени,— бормотал он про себя.— Хорошенькое дело! Чтобы ползали, значит...»

В автобусе Бесник почувствовал усталость и в то же время облегчение. Он снова подумал о Зане: «Вечером, сразу после партсобрания, я обязательно позвоню ей, и мы сходим в кафе. «Послушай, Зана,— скажу я,— мне надо сообщить тебе нечто очень важное...» Земля вдоль шоссе, блестевшая от изморози, казалось, забылась в зимнем сне. «Страна червей,— вспомнил он слова пожилого сталевара.— Возможно ли, чтобы какая-то страна называлась так?» Голые деревья, туман за окнами, изморозь — все говорило о приходе зимы. «Послушай, Зана...» — он уже в который раз пытался представить их разговор, но ничего не получалось.

Направляясь в редакцию, Лирия мысленно повторяла все, что скажет главному редактору. Чем убедительнее казались ей аргументы, тем торопливее становились шаги. Два часа назад она позвонила ему и попросила принять ее по личному вопросу. В голосе главного редактора, как ей послышалось, прозвучало удивление, но

---

[1] Албанцы называют свою страну Штиприа (Shqipēria), а себя — штиптарами (shqiptaret). Легенда гласит, что после одного из победоносных сражений Пирр, царь Эпира, в знак восхищения храбростью своих воинов, назвал их штиптарами — сынами орлов. По-албански орел — shqipja (штипьа) или shqiponja (штипонья). У лингвистов и историков есть другое, более прозаическое, но научно аргументированное объяснение этих названий, однако представление об Албании и ее народе настолько слилось с образом горных орлов, что легенда жива и поныне.

это ничуть не убавило ее решимости. Теперь Лирию беспокоило лишь одно — как бы случайно не встретиться с Бесником или с кем-нибудь из его товарищей.

Коридоры редакции показались ей слишком шумными. К тому же повсюду трезвонили беспрерывные телефонные звонки. Было похоже, что здесь никогда не берут трубки. «Какая невоспитанность!» — подумала Лирия, не зная, куда идти. Ей сказали, что кабинет главного редактора находится на третьем этаже. Когда Лирия поднималась по лестнице, навстречу ей бросился худощавый молодой человек.

— Вы директор макаронной фабрики? — обрадовался он. — Проходите. Вас ждут.

— Этого еще не хватало! — возмутилась Лирия.

— Извините, пожалуйста! — смешался молодой человек и тут же исчез.

«Неужели я похожа на директора макаронной фабрики?! — ужаснулась Лирия. Недаром Зана, не то в шутку, не то всерьез, говорила, что ей следовало бы посидеть на диете. — И все же я еще не такая, чтобы...» — попыталась утешить себя Лирия.

В раздражении она остановилась перед дверью с табличкой «Главный редактор», осторожно постучала и вошла. Сидевший за столом человек производил странное впечатление: он был захвачен в плен тремя телефонами (два — перед ним и один — на маленьком столике за спиной), которые беспрестанно звонили. Человек жестом указал ей на диван.

— Садитесь. Главный редактор занят. Вам придется немного подождать. Алло! Тропойя?[1] Не прерывайте меня, пожалуйста...

Лирия вдруг обнаружила, что напрочь забыла все приготовленные слова, и думала лишь о том, чтобы не появился Бесник. Она готова была вынести любые обиды: пусть называют директором макаронной фабрики или хлебопекарни, как угодно, лишь бы Бесник не застал ее здесь.

Минут через десять главный редактор освободился. Лирия, конечно, волновалась, но он встретил гостью приветливо, сказав, что знаком с товарищем Кристачем, — однажды они вместе ездили в северные районы страны в составе бригады Центрального Комитета. Лирия немного успокоилась и начала издалека. Мысленно

---

[1] Один из северных сельских районов Албании.

раскрывая скобки, она щедро пересыпала речь вводными словами («естественно», «я понимаю», «конечно», «в конце концов», «вместе с тем» и т. п.), но, поняв, что эти слова только отдаляют ее от цели, сделала резкий разворот и высказалась напрямик:

— Ваш сотрудник Бесник Струга собирается бросить мою дочь!

— Как бросить?! Это невозможно!— Казалось, удивлению главного редактора не было предела, похоже, он услышал невероятную весть.

Его реакция обнадежила Лирию: по всему видно, что он не одобряет поведения подчиненного.

— Это невозможно!— повторил он.

— Конечно, такого от него никто не ожидал,— покачала она головой и стала объяснять все с самого начала, раскрывая бесчисленные скобки, словно бесчисленные двери в длинном коридоре лабиринта.

— Мы можем поставить вопрос о его поступке в партийной организации,— сказал главный.— Парторганизации вовсе не безразличен моральный облик ее коммунистов.

Лирия с благодарностью посмотрела на собеседника.

— Вы пришли как нельзя кстати,— продолжил он, лениво перелистывая страницы настольного календаря.— Именно сегодня у нас партсобрание. Хотя...

— Очень хорошо,— сказала Лирия, облегченно вздохнув и не обращая внимания на это «хотя».

Спустя минуту после ее ухода (Лирия еще спускалась по лестнице) главный попросил зайти к нему кого-нибудь из членов партбюро. На месте оказался только Рати.

— Ко мне поступил сигнал об аморальном поведении Бесника Струги,— медленно произнес главный редактор, не глядя на начальника отдела кадров. Он что-то искал, перебирая материалы в папке с надписью: «Резерв».

— Это очень серьезно,— нахмурился Рати.

— Вот и обсудите его на партбюро.

— Это очень серьезно,— повторил начальник отдела кадров.— Я думаю, этот вопрос следует обсудить на партсобрании.

— Сегодня нам и так предстоит обсудить очень важные вопросы,— возразил главный.— К тому же подобные дела вы разбираете сперва на бюро.

— Так-то оно так,— сказал Рати,— но именно сегодня, если не ошибаюсь, вторым вопросом рассматривается заявление Струги о переводе его из кандидатов в члены партии. Вот тогда лучше всего и поговорить о его моральном облике.

— Ах, так? А мы разве не рассматривали его заявления?

— Нет. Он как раз уехал в Москву, и вопрос отложили.

— Да-да-да, припоминаю,— задумчиво проговорил главный редактор. По-видимому, он нашел наконец материал, который искал на протяжении всего разговора.— Тогда,— бросил он, уткнувшись в бумаги,— посоветуйтесь с другими членами партбюро.

— Хорошо,— сказал Рати и стремительно вышел из кабинета.

Нечасто выходил он от главного редактора в столь приподнятом настроении. «Наконец-то»,— неизвестно отчего подумал Рати. В памяти всплыла сцена: Бесник с невестой, обнявшись, идут по улице, усыпанной сухой листвой. И ему показалось, что идет одно существо, состоящее из объятий и поцелуев. Теперь этому видению, мучившему Рати с того самого дня, когда он впервые увидел их вместе, пришел конец. Яблоко оказалось с червоточиной, и это уже не призрак, а факт, который не исчезнет с первыми лучами утреннего солнца. Недосягаемое и непонятное существо, лишенное ореола таинственности, жалкое и раздавленное, само плывет к нему в руки. Именно ему Рати готовит вопрос: «Товарищ Бесник Струга, как складываются ваши отношения с невестой?» Именно после этого чары рухнут, и все опять встанет на свои места.

Рати взглянул на часы, было двадцать пять минут третьего. До начала собрания оставалось совсем немного времени. Домой идти смысла не имело, и он решил позвонить Араниту и позвать его на кружку пива.

Закусочная на улице Дибры, в которую они направились, была небольшая, шумная, насквозь пропахшая мясными биточками. Обычно там у стойки на скорую руку обедали случайные посетители — от шоферов такси до молодых литераторов, обмывавших первые гонорары за материалы, опубликованные в центральной прессе. В закусочной подавали душистое бочковое пиво, которое разливали в огромные толстого стекла кружки, брынзу, кусочки жареной телятины или стейки, поджа-

ренные на решетке на глазах у посетителей. Незатейливые мелодии, лившиеся из приемника, заполняли случайные паузы в гуле людских голосов и звоне пивных кружек.

— Гзуар!— поднял кружку Аранит.

— Гзуар!

Никто не знал, какого цвета было лицо Аранита раньше. Не знал этого и Рати. В любое время года, в любую погоду, при любом настроении лицо Аранита было багровым. «Его изменит только смерть»,— однажды подумал Рати.

— Какие новости?— спросил Аранит.

— Разлад!— коротко бросил Рати.— Куда ни глянь — везде разлад.

— Что значит «везде разлад»?

— Да то и значит,— улыбнулся Рати,— что разлад повсюду: и в государстве, и в семьях. У нас, например, один товарищ собирается бросить жену.

— Какое мне дело до этого?— отмахнулся Аранит.— Я спрашиваю о разладе между нашими странами.

— Сегодня у нас партсобрание,— сказал Рати.— Наверное, там все и расскажут.

— Хм,— мрачно выдохнул Аранит.— Дело принимает неважный оборот, а им хоть бы что,— процедил он сквозь зубы.

— Кому «им»?— спросил Рати.

— Разве не видишь?— Аранит кивнул на запотевшее окно.— Парни и девушки бесцельно болтаются по улицам, у девиц юбки выше колен, а в голове — сплошная любовь.

— Что поделаешь,— усмехнулся Рати.— Молодость.

— Молодость,— проворчал Аранит.— Носятся с ними... Натерпелись бы с наше, тогда...

— Новое поколение,— пожал плечами Рати.

— Новое поколение, новое поколение,— передразнил его Аранит, громко стукнув пивной кружкой по столу.— А мы какое поколение? Только портки застегивать годимся?

— Некоторые так и думают,— рассмеялся Рати.

Аранит лишь зубами заскрипел.

— Я-то знаю, чего некоторые из них хотят,— вполголоса процедил он.— Вот только руки у меня связаны.

Он допил пиво и заказал еще. Какое-то время они беседовали мирно. Аранит закурил.

— Зашевелились, писатели,— произнес он многозначительно.— Теперь ухо надо держать востро.

Рати тоже закурил.

— Да, ухо надо держать востро,— повторил Аранит.— Для страны наступила тяжелая пора. Потребуется настоящее мужество. Нас хоть и исключили из партии, но долг свой мы понимаем получше некоторых и партию защитим.

Начальнику отдела кадров не понравилось, что Аранит и его причислил к исключенным из партии, но возражать не стал.

— Партия сама разберется,— продолжал Аранит, и в голосе его прозвучало волнение.— Может, с опозданием, но не беда. Мы свой долг выполним. Ну, давай по последней. И до дна.

Рати внимательно смотрел на старого приятеля. Время не изменило его: то же длинное пальто, похожее, благодаря мастерству портного, на шинель; та же засевшая занозой в сердце обида. Он познакомился с Аранитом в 1953 году во время командировки в Тепелен. Более муторной поездки у него никогда не было. Беспрерывный дождь, слякоть, холодные столики в кафе да рюмка коньяка или чашка кофе. Часов около шести вечера через маленький городок проходил междугородный рейсовый автобус «Тирана — Гьирокастра», который останавливался здесь на несколько минут, чтобы передать почту. Редкие прохожие собирались поглазеть на чудо-аквариум на колесах, заполненный светом, теплом и множеством незнакомых лиц. Среди зевак всегда был и Аранит. Он хмуро таращился на диковинный аквариум. За его запотевшими стеклами, словно в сновидениях, появлялись и исчезали милые женские головки с красивыми прическами и слегка утомленными дальней дорогой лицами (время от времени женщины подносили к носу лимон и вдыхали его аромат); мужчины в модных пиджаках, министерские чиновники, киношники и разный служивый люд с поднятыми воротниками, хотя в этом не было никакой необходимости, в платках и шарфах, с насморком (последние столь демонстративно себя вели, что привлекали взоры всех к своим распухшим носам). Для Аранита этот мир был чужим и даже враждебным. Подозрительными казались ему не только пассажиры автобуса, но и сам автобус, его окна, красные и зеленые сигнальные огни, сделанные будто ему назло. «Сколько людей разъезжают туда-сюда в этих

автобусах!— недовольно ворчал он.— Как портит и развращает их столица! Будь моя воля, я бы знал, что с ними делать».

Слепая ненависть, клокотавшая в нем, копилась внутри и только изредка прорывалась наружу злобным бормотанием. Вот его-то и услышал Рати, стоявший в толпе местных зевак, провожавших завистливым взглядом очередной автобус, который, после короткой остановки в Тепелене, уходил в Гьирокастру. В тот вечер они познакомились.

Аранит допил вторую кружку пива. Рати взглянул на часы.

— Да, нынешнее время требует мужества,— глубокомысленно произнес Аранит.— Людей надо держать в узде. Сегодня — или никогда. У меня появились некоторые соображения.— Он важно потер рукой лоб.— Вот уже несколько дней я обмозговываю одну идею.

— Какую?— поинтересовался Рати.

Аранит впился в него своими колючими глазками. Во время беседы они почти не смотрели друг на друга.

— Хочу написать письмо Энверу Ходже,— сказал Аранит.— Что скажешь?

Рати неопределенно пожал плечами: чего, мол, приставать с такими вопросами, хозяин — барин.

— Эх вы, гражданские,— горько усмехнулся Аранит.

— Что такое?— удивленно поднял брови Рати.

— Да так, ничего особенного,— отмахнулся Аранит.

— Мне кажется, ты чуток захмелел.

— Я в полном порядке,— твердо сказал Аранит, уставившись на тарелку с остатками еды.— Аранита так просто не свалишь.

Рати не нравилось, что их встреча заканчивается не совсем мирно, а времени исправить положение уже не было: стрелки часов неумолимо приближались к четырем.

Аранит, заметив беспокойство приятеля, спросил:

— Ты не опоздаешь на собрание? Давай закругляться.

На улице они распрощались. Сделав несколько шагов, Рати обернулся и посмотрел на удалявшуюся фигуру Аранита в несуразно длинном пальто: он шел среди людей, которым давно не верил (он и сам не помнил, когда и как это началось).

По дороге в редакцию Рати не раз вспоминал о Беснике. Перед собранием ему удалось, правда на ходу,

переговорить о нем с другими членами партбюро, но безрезультатно. В зале заседаний он дважды встретился взглядом с Бесником, но тот отводил глаза. Они оба попытались сесть так, чтобы не видеть друг друга, но это не получилось, и их взгляды вновь, уже в третий раз, пересеклись.

За столом президиума, покрытым красным сукном, рядом с секретарем партбюро занял место человек, которого собравшиеся видели впервые. Он был лысый, с бледным лицом, невысокого роста. Никогда еще партийное собрание не начиналось в полной тишине. С каждой минутой она становилась все более тревожной. Бесник вспомнил день, когда албанская делегация вылетала на родину: размеренный гул моторов авиалайнера, готовившегося к взлету, сменился оглушительным ревом, возникшим как бы изнутри этого гула в тот самый момент, когда самолет побежал по взлетной полосе и оторвался от земли. Нечто подобное, только наоборот, происходило в этом зале: постепенно становилось все тише и тише, пока безмолвие звенящей пустотой не повисло над залом, а минуту спустя его сменила мертвая тишина.

Секретарь партбюро поднялся и негромким голосом сообщил, что присутствующий на собрании представитель Центрального Комитета имеет поручение проинформировать коммунистов (тут губы у него дрогнули) по очень важному вопросу.

Незнакомец поднялся. Говорил он медленно, но приятным голосом. Бесник слушал без особого интереса. Он думал о том, что события, способные потрясти мир, события, которые, подобно растерзанной живой плоти, источают кровь и боль, с течением времени помещаются в морг истории, где тлеют, усыхают, пока не попадают на страницы научных монографий, мемуаров, исторических хроник, превращаясь в бесстрастные цифры и факты. Взять, например, Московское совещание. Прошло всего-навсего полтора месяца, не успели поостыть страсти, а история уже вцепилась в него своими когтями. Труп остывает.

Представителя из ЦК слушали с большим вниманием. Теперь он говорил о первых недружественных актах со стороны социалистического лагеря: прошло несколько недель, и Албания это почувствовала. Приостановлены долгосрочные кредиты, уехали, а точнее сказать, не вернулись после очередных отпусков многие со-

ветские и чехословацкие специалисты, возобновились инциденты на военной базе во Влёре, делаются попытки отлучить Албанию от Варшавского Договора, заметными стали контуры экономической блокады, хотя в печати об этом по-прежнему не сказано ни слова.

— У Советского Союза и социалистического лагеря,— подчеркнул выступавший,— есть два пути. Первый — дальнейшая эскалация напряженности вплоть до полного разрыва отношений. Второй — стабилизация обстановки и сохранение на определенном уровне межгосударственных отношений — довольно прохладных, но более или менее нормальных. Мы со своей стороны не сделаем ни шагу в сторону разрыва. Мы готовы к худшему,— продолжал представитель ЦК,— поэтому, что бы ни случилось, какие бы бури и ураганы ни уготовила нам нынешняя зима, мы выстоим. Ответственность и позор тяжелым бременем лягут на плечи тех, кто затеял распри.

Закончив этими словами свою речь, он сел. Наступила долгая пауза, люди будто окаменели. Наконец секретарь партбюро, предприняв нечеловеческие усилия, чтобы сохранить внешнее спокойствие, обратился к залу:

— Кто хочет выступить?

Было пять часов вечера. Начинало темнеть. За окнами мерцали слабые огни города, которые едва пробивались сквозь туманную мглу.

— Кто хочет выступить?— повторил вопрос секретарь.

Взгляды многих присутствующих обратились к Беснику. «Я должен что-то сказать»,— решил он и поднял руку.

— Товарищи! Как вы знаете...— Бесник хотел сказать «мне посчастливилось», но передумал.— Как вы знаете, я был там, где состоялась эта знаменательная встреча-поединок, о которой нас подробно проинформировал представитель Центрального Комитета.

После работника ЦК выступать было легче: основные ориентиры он обозначил, и теперь Бесник мог не опасаться, что скажет лишнее. Как и во время встречи с рабочими, он видел перед собой те же сверкающие глаза, походившие на собранные со всего поднебесья звезды. День выдался совершенно необыкновенный.

Вслед за Бесником выступил Илир, потом другие. Все говорили о том, что полностью поддерживают линию Центрального Комитета и, как солдаты партии,

готовы по первому зову отдать свои жизни за родину, за...

Бесник очень соскучился по Зане. Он мысленно представил, как сегодня расскажет ей обо всем, обо всем. «Зана узнает больше других,— подумал он радостно.— Она имеет на это право». Конечно, он не скажет ей ничего лишнего, но зато поделится теми чувствами, которые пережил сам и которые не отражены в стенограммах и протоколах. Может, он расскажет и о «ночи черных «ЗИМов» или о ночи, проведенной в загородной даче, где, возможно, могло совершиться преступление, где часами надрывался телефон и где Бесник чувствовал себя столь чужим. «Если бы ты знала, дорогая, как ты была нужна мне тогда, там, в ту страшную ночь — ночь средневековья».

— Товарищ представитель! — обратился к гостю один из выступавших.— Передайте Центральному Комитету, что мы не только полностью поддерживаем его позицию, но готовы к любым трудностям.

— Кто следующий? — спросил секретарь.

Кто-то поднял руку. Прения продолжались.

Бесник подумал, что он непременно расскажет Зане, как Энвер Ходжа гулял по заснеженному двору правительственной дачи в ночь перед выступлением на совещании, о Белорусском вокзале в то утро, когда они уезжали из Москвы, о пословицах, которые доставили ему столько трудностей при переводе, и о замечании Хрущева («Хорошо ли переводчик знает русский язык?»), а потом снова о «ночи черных «ЗИМов» и о том, как угрожающе светились их фары — то совсем рядом, то где-то в заснеженной дали.

После окончания прений был объявлен небольшой перерыв. Зал и прилегающий к нему коридор наполнились табачным дымом — такого Бесник никогда здесь не видел. Люстры, красное сукно, портреты на стенах — все потеряло свои цвета и привычные очертания, будто перегорели пробки и горит только аварийный свет. Но никому в голову не приходило открыть окна и проветрить помещение.

Началась вторая часть собрания, показавшаяся многим ненужной. Представитель ЦК на ней не присутствовал. Теперь лампочки в зале накалились докрасна и готовы были расплавиться. Слова, усиленные эхом, зву-

чали как бы издалека. Рассматривалось заявление Бесника о переводе его из кандидатов в члены партии. Зачитали автобиографию, рекомендации коммунистов со стажем. «Я знаю товарища Бесника Стругу с... Партизанская семья... Я знаю товарища Стругу с...» Потом выступали члены партгруппы: «Я знаю товарища Бесника в течение двух лет... Я знаю...»

Все шло своим чередом — ни у кого никаких возражений не было. Прежде всего учитывалось то, что он, Бесник Струга, недавно был там, вернулся, можно сказать, с передовой, из пекла, из этого кошмарного ада (как он сам только что обозначил место событий)... Всем было ясно, что дальнейшее обсуждение вопроса выглядит излишней формальностью. И вдруг в установившейся тишине зала прозвучал вопрос:

— Товарищ Бесник Струга, а как складываются ваши отношения с невестой?

Вопрос сверкнул лезвием клинка. Собрание, походившее в тот момент на парализованное тело, вдруг ожило.

— Что?! — переспросил Бесник.

— Как ваши дела с невестой? — повторил вопрос начальник отдела кадров.

— Что это значит? — не понял Бесник.

— Что это значит? — эхом отозвался Илир.

— Это значит только то, о чем я спросил,— спокойно объяснил начальник отдела кадров.

— Не понимаю,— мотнул головой Бесник.

Потребовалась минута времени, пока все пришли в себя.

— Не понимаю,— снова повел головой Бесник.

Рати в третий раз задал вопрос. Бесник неотрывно смотрел на него, будто вспоминал, где он видел это лицо.

— Это неправда,— сказал он.

— Что неправда? — Брови начальника отдела кадров поползли вверх.— Я трижды задал вам вопрос и хотел бы теперь получить на него ответ.

— Это неправда,— стоял на своем Бесник.

— Вопрос поставлен правильно,— вмешался главный редактор.— Мы все его слышали.

Лицо Бесника потемнело. Тот факт, что от него требовали объяснений именно сегодня, он воспринял как незаслуженное оскорбление.

— Неправда то, что у меня якобы плохие отношения с невестой,— глухо сказал он.

— А я этого и не говорил,— возразил Рати.— Я просто спросил о ваших отношениях с невестой.

— Я не думаю, что кто-нибудь без достаточных на то оснований может задавать подобные вопросы, пусть даже на партсобрании,— заметил Илир.— Все это похоже на провокацию.

— Согласен,— поддержал его Никола.

— Попрошу тишины,— обратился секретарь партбюро к залу.

— Кто вам дал такое право? — спросил Бесник сдавленным голосом.

Начальник отдела кадров попросил слова.

— Хватит! — возмутился Илир.— Это подло!

— Успокойтесь, товарищи! — секретарь партбюро еще раз попытался утихомирить зал.

— Я задал этот вопрос не просто так,— сказал начальник отдела кадров.— Мне кое-что известно.

— Врешь! — вскочил Бесник.

— Товарищ Струга! — одернул его секретарь.

Начальник отдела кадров побледнел. Его взгляд встретился с взглядом главного редактора.

— Он говорит правду,— подтвердил главный редактор.— К нему поступил сигнал.

Зал притих.

— От кого? — спросил Бесник, не поднимая головы.

— От меня.

Над залом нависла напряженная тишина.

— А к вам от кого? — не унимался Бесник; его глаза застилали гнев и ярость.

— От вашей невесты,— пояснил главный редактор. Он хотел исправиться и сказать: «от семьи вашей невесты», но посчитал это излишним.

Бесник еще ниже опустил голову. «Этого не может быть. Не может быть»,— повторял он про себя. На скулах заходили желваки. Он хотел что-то возразить, но не смог, спазма сжала горло.

— Товарищ Бесник, не могли бы вы внести ясность в этот вопрос? — прервал его размышления секретарь.— Объясните парторганизации...

Бесник замотал головой.

— Ни-ког-да,— отчетливо произнес он и почувствовал, как зал загудел.— Ни-ког-да!

Илир дернул его за рукав, пытаясь остановить, но Бесник уже не владел собой. Удар, нанесенный ему, был слишком сильным и неожиданным. Мысли в голове путались, а со всех сторон слышалось:

— Что это за позиция... коммунист не должен ничего скрывать от партийной организации... хотя есть предел... нет предела... личный вопрос... коммунист не должен делить вопросы на личные и не личные... И все же... Ленин говорил... не могу поверить... и как раз в такое время, когда нужны единство и сплоченность...

— Тише, товарищи! — Секретарь постучал карандашом по столу, пытаясь установить тишину.— Значит, вы, товарищ Струга, отказываетесь объяснить собранию свои отношения с невестой?

— Отказываюсь,— скорее выдохнул, чем выговорил Бесник.

«Да, Зана,— подумал он с грустью,— этого я от тебя не ожидал».

В зале стоял гвалт. «Это абсурд какой-то,— снова подумал Бесник. Уж кто-кто, а парторганизация должна бы, кажется, понять его душевное состояние после возвращения из Москвы. Однако все наоборот.— Именно они хотят, чтобы я занялся свадьбой. В такое-то время! Почему же вы так ведете себя? Выступая, говорите о надвигающейся буре, клянетесь выстоять, а от меня требуете свадьбы. Почему? «Закрывайте окна, приближается буря! — требуете вы.— Прячься, как улитка в раковину!» Не могу я с этим согласиться. Не могу!»

— Откройте окна! — крикнул кто-то из зала.— Накурено, хоть топор вешай!

Несколько человек попросили слова. «Заканчивается,— подумал Бесник.— Пора бы уж». Действительно, собрание шло к концу. Некоторые коммунисты предложили перенести рассмотрение заявления Бесника на более поздний срок. Такое решение было бы для него самым благоприятным. Два человека, в том числе Рати, требовали исключить Бесника из кандидатов в члены партии. Другие призывали его выступить с серьезной самокритикой. Многие защищали. В конце концов приняли решение рассмотреть этот вопрос позже на специальном партсобрании.

Бесник первым спустился по лестнице и вышел на улицу. От волнения и усталости голова плохо работала, а ноги еле передвигались. Перед освещенными витрина-

ми шли люди с зонтами, тени от которых темными кругами следовали за ними. «Телефон! — осенило его.— Мне срочно нужен телефон». Бесник кипел гневом. Слева на крыше пятиэтажного дома на фоне серого неба он увидел три неоновые буквы — ПТТ[1] и направился туда. Первое, что ему бросилось в глаза,— это ряд стеклянных колпаков телефонов-автоматов. Под одним из них, крепко прижав трубку к уху, говорил солдат, под другим — две молоденькие толстушки. Разговаривая, солдат крутил носком ботинка и поглядывал на Бесника.

— Чего ты выкаешь, говори ему «ты»,— вмешалась в лепетанье подруги другая толстушка.

Бесник подошел к свободному телефону и снял трубку. Гудка не было.

— Аппарат сломан,— вежливо, как бы извиняясь, сказала одна из девушек. У нее были большие красивые глаза.

Плитки, устилавшие пол почты, были мокрыми от стекавших с зонтов капель дождя.

— Звоните по этому,— предложила девушка, уступая ему телефон.

Бесник поднял трубку, опустил монету и набрал нужный номер. Он еще не знал, что скажет. Монета с треском провалилась, и тут же послышался голос Лирии:

— Алё!

— Зану! — требовательно произнес Бесник.

С минуту трубка молчала, затем голос Лирии спросил:

— Бесник, это ты?

— Зану! — рыкнул он.

Девушки у соседнего автомата испуганно взглянули на него.

Было слышно, как Лирия положила трубку на столик рядом с аппаратом и потом из глубины квартиры крикнула:

— Зана, тебя!

— Алло, Бесник, это ты? — Голос Заны был на удивление теплым и нежным.— Я предчувствовала, что ты позвонишь.

— Послушай, детка!.. Ты думаешь таким способом заставить меня...— Он никак не мог подобрать нужного слова.

---

[1] Почта. Телефон. Телеграф.

— Заставить тебя? — удивленно спросила Зана.

— Ты думаешь, что твои уловки помогут... принудят меня...

— К чему принудят? Ничего не понимаю,— еще больше удивилась Зана.

— Слушай, не строй из себя наивную девочку. Ты прекрасно знаешь, о чем идет речь. Ты можешь сожалеть о несостоявшейся свадьбе... жаловаться на меня куда угодно, хоть в совет квартала...— В голосе Бесника звучали ирония и возмущение, и каждое слово он сопровождал презрительной усмешкой, которую так ненавидел.— Но знай, дорогая, это тебе не поможет.

В трубке послышались короткие гудки. Ненавистная ему ухмылка начала медленно сползать с лица. Только теперь Бесник заметил, что стоявшие невдалеке девушки с удивлением и растерянностью смотрят на него. Он швырнул трубку и быстрыми шагами направился к выходу. Мокрые плитки пола мутно отражали цвет и форму предметов. Девушки проводили взглядом незнакомца, который скрылся за стеклянной дверью почты, растворившись в ночи. На их глазах произошло нечто важное, разыгралась одна из житейских драм, о чем пишут в книгах, журналах, снимают фильмы, которые идут по субботам в единственном кинотеатре их маленького городка, откуда две недели назад они приехали в столицу на курсы. Раздвинулись границы недоступного, произнесены будоражащие воображение слова: «не строй из себя наивную девочку», «твои уловки», «несостоявшаяся свадьба». Тонкие пальцы незнакомца, нервно вращавшие телефонный диск, как бы приоткрыли перед молоденькими провинциалками завесу таинственности, обогатив их житейский опыт. Выйдя вслед за ним на улицу, они медленно шли мимо запотевших окон, за которыми люди, называвшие себя «жителями столицы» (к их числу принадлежал и незнакомец, только что разговаривавший по телефону), пили кофе или сидели в задумчивости, опершись локтями на пластиковые столики. Мокрая улица, отражавшая пестроту огней (казалось, что на ней остались следы разноцветных подков — синих, красных, зеленых — неких таинственных существ, которые только что промчались мимо), была широкой и до бесконечности длинной. Одна из девушек, прильнув к плечу подруги, неожиданно расплакалась. Другая ничуть этому не уди-

вилась и, словно бы успокаивая, погладила ее по голове. «Красота-то какая!— подумала она с замиранием сердца.— Поплачь, поплачь, это ничего...»

А между тем Бесник, повеселевший и вновь обретший утраченные силы, бодро шагал вперед (так обычно бывает, когда в дом приходит беда: сначала, теряя голову, люди забывают обо всем на свете, забрасывают все дела, а потом приходят в себя и принимаются за работу с удвоенной энергией). Невероятно быстро он миновал узенькую улочку Лорда Байрона и вышел на улицу 28 Ноября. Здесь, в баре «Крым», Бесник выпил немного коньяку и пошел дальше. Он пересек площадь Союза рабочего класса и крестьянства и очутился на улице Баррикад. Кафе и закусочные в это время были переполнены посетителями, и Бесник невольно оказался на улице Дибры, возле маленького кафе, где можно было на скорую руку выпить чашку кофе «эспрессо». У стойки одиноко стоял мужчина с непомерно длинными руками. Бесник заказал коньяк и кофе. Мужчина повернулся к нему лицом с острым подбородком и пробормотал:

— Пей, дорогой, пей.

Удлиненное лицо мужчины показалось Беснику знакомым, но вступать в разговор не хотелось. Он жадно проглотил коньяк, выпил кофе и ушел.

— Никому не нужны мои заботы,— тяжело вздохнул архитектор.

Бармен, стоявший за стойкой, сочувственно взглянул в его сторону.

— Какое сегодня число? — спросил архитектор.

— Четырнадцатое января.

— Сегодня для меня черный день. Запомните, четырнадцатое января... Эту улицу сегодня врар... вар... варварски уничтожили.

Бармен, а за ним и посетитель, пивший у края стойки кофе, весело рассмеялись.

— Смейтесь, смейтесь,— продолжал архитектор.— Но разве вы не видите развалин? Я вижу их, вижу.

Бармен и посетитель продолжали смеяться. Архитектор бросил деньги на стойку и вышел из кафе. У него кружилась голова. Сегодня его официально уведомили, что представленный им проект реконструкции улицы

Дибры отклонен. Мысленно он давно уже возвел новые здания, а теперь оплакивал их. «Я вижу их. Они похожи на развалины во Вьетнаме. Даже еще ужаснее».

Архитектор шел по улице, посматривая по сторонам и вверх, словно ища привидений. «Кредиты урезаны,— повторял он про себя причину отказа.— Ан-ну-ли-ро-ва-ны!»

Вот уже более двух часов бродил он в подпитии по улице Дибры, его улице. Он всматривался во влажный воздух и прикидывал, на каком уровне могли бы находиться квартиры девяти- и двенадцатиэтажных домов, которые так никогда и не будут построены. Ему нравилось представлять жизнь людей в доме, который собирался строить. Мысленно он поднимал и опускал полы и потолки, раздвигал стены, переносил перегородки и лестницы, а теперь убрал абсолютно все, и люди двигались по воздуху: поднимались и спускались по ступеням, сидели на стульях и в креслах, заходили в туалеты; они поглядывали друг на друга, устроившись возле оранжевых абажуров, спали, ворочаясь во сне. В мыслях он давно уже заселил все свободное пространство, а теперь люди вынуждены были в панике улетать, разбегаться, точно привидения.

— Несчастные, вы ничего не видите! Не видите! — громко произнес архитектор. Двое прохожих испуганно оглянулись. Он погрозил им пальцем, но, тут же забыв об угрозе, крикнул им вслед: — Счастливые вы! — и стал утешать себя тем, что, по крайней мере, ни одна девушка, которая могла бы жить в новом доме, не выбросится с седьмого этажа (он почему-то был уверен, что в каждом высотном доме непременно найдется человек, который только и думает, как бы ему выброситься с седьмого этажа); так вот, эта девушка будет жить. Слабое утешение, конечно...

Увидев человека, шедшего по улице Дибры нетвердой походкой, Скендер Бермема, разминувшись с ним, с изумлением узнал в нем городского архитектора. «Наверное, случилось что-то»,— подумал писатель. Сам он возвращался со дня рождения, который отмечался в квартире № 141 дома № 1 по улице Фридриха Энгельса. Вечер можно было бы считать удачным, если бы там не пели столько советских песен, не тосковали по Подмосковью да не вздыхали по России. Собственно, только поэтому Скендер Бермема и ушел раньше времени. «Мыслимо ли так оплакивать СССР, ведь

известно об охлаждении наших отношений с этой страной?» — с горечью подумал он.

«Архитектор — и вдруг пьяный. Этого прежде не водилось за ним,— вспомнил он о случайной встрече.— Подкосить такого человека могли только безмерное горе, творческая неудача, обвал построенного им здания, вздувшийся тротуар, путаница перекрестков, бунт колонн и площадей».

Становилось прохладно. «Середина января дает себя знать,— отметил Скендер Бермема, поднимая воротник пальто.— Наступила последняя осень албано-советской дружбы.— Эту фразу он придумал там, на дне рождения, когда услышал краем уха о замороженных кредитах.— Ей можно начать роман». Все увиденное и услышанное в последнее время он делил на то, что может пригодиться для нового романа, и то, что никогда ему не понадобится. В сущности, он и сам еще не знал, о чем будет писать роман. Были какие-то проблески мысли, туманные наброски, наметки, но не вырисовывался стержень произведения. В гостях под пение протяжных и грустных русских песен он размышлял о том, что СССР всегда было присуще стремление к порабощению народов. Но известно, что со временем любой угнетенный народ вынужден облечься плотью и кровью своего угнетателя и восстать против его деспотической власти. Поэтому в идеологии Советского Союза постоянно живет тревога за свою судьбу, вызываемая несгибаемым духом сопротивления порабощенных народов.

Эти мысли, походившие порой на вздувшуюся во время половодья и готовую выйти из берегов реку, ни днем, ни ночью не давали писателю покоя. Он стремился направить их беспорядочный поток в русло задуманного романа, где они разбежались бы десятками ручейков и заструились легко и свободно.

Никогда еще план нового произведения не давался Скендеру Бермеме с таким трудом. Причиной тому, по-видимому, была тема романа. Действие развивалось стремительно, буквально на глазах, его можно было видеть, чувствовать, даже пощупать. Но как соотнести его со временем и историческим опытом? Так он думал сначала. Однако, поразмыслив, Скендер Бермема пришел к иному выводу. Ему показалось, что главная причина трудностей заключалась во всеобъемлющем характере событий, которые он хотел описать. О них говорили все, хотя не знали толком, что произошло.

Поэтому, наверное, ничего и не получалось. Бермема чувствовал, что роман существует, он витает, как говорится, в воздухе, но рассеян, как пыльца, разбросан, как опавшие листья. Задача писателя — собрать его нити воедино.

«И дело не только в сути того или иного события, где бы оно ни происходило,— размышлял он.— О нем говорят, спорят, вокруг него возникают слухи, домыслы, догадки. Я как бы слышу голоса людей... Это своеобразный фон... он сопровождает события... приближает их к действительности... Наконец-то я нашел нужные слова. Весьма оригинально... так еще никто не писал. Это будет роман в традициях народного эпоса. Один запевает, ведет мелодию, а окружающие подпевают ему, создавая нужный фон и как бы помогая развитию основного сюжета. Так сообща раздувают огонь».

Скендер Бермема пошел быстрее; он всегда убыстрял шаг, когда в голову приходили интересные мысли. Перед ним шла парочка влюбленных. У девушки были длинные, как у Аны Краснити, волосы, но он тут же забыл о ней, вспомнив о замороженных кредитах. Бермема порылся в карманах, достал пачку сигарет, но закурить никак не мог — поминутно ломались спички.

Глава XVII

14 января. Прожит еще один день. Часы показывали без пятнадцати одиннадцать. Температура воздуха — около нуля. На улицах и площадях Тираны — ни души. На пятом этаже АТА фотомастер Дзан отпечатывал последние снимки: суровые лица рабочих на фоне фабрики, трибуна какого-то митинга, прохожие на перекрестке улиц — все это колыхалось в мутном растворе, как мертвая рыба у берега реки.

«Вот и проявилась наконец тревога»,— подумал Дзан. Опершись рукой на край фарфоровой кюветы и медленно помешивая раствор, он всматривался в образовавшуюся на поверхности мутной жидкости рябь. Его напряженный взгляд словно бы говорил раствору: «Что было, то ты и проявил».

С того октябрьского вечера, когда Дзан впервые заметил озабоченность на лице Энвера Ходжи, он ни разу не усомнился в возникшем тогда предчувствии. Привычным движением руки фотограф успокоил рябь, слов-

но раствор был живым существом. «Что-то проявишь ты сегодня, мой раствор?» — подумал он с надеждой и страхом. Тайну, которую Дзан одним из первых разглядел в фарфоровой кювете, он свято хранил все эти месяцы, хотя другие в это время веселились, бегали по свадьбам и собраниям энтузиастов. Шли дни. Порой Дзану казалось, что не было того октябрьского вечера, но засевшая в глубине сознания тревога ждала своего часа. Как снег, который собирается где-то там, высоко в облаках. Никто его не видит, пока в одно прекрасное утро он не покроет белым ковром землю.

Три часа назад, когда на партийном собрании представитель ЦК произнес первые слова о расколе в лагере социализма, Дзан уже все знал и готов был воскликнуть: «Вот она, тревога! Прорвалась наконец!»

— Что угодно, только не ограничения,— говорила в это время своим друзьям Ана Краснити. Вместе с мужем она была в гостях в квартире № 62 дома № 215 (IV подъезд) по улице Трех героев.— Больше всего на свете я не люблю и не умею экономить.

Хозяин квартиры Виктор Хиля улыбнулся: «Она говорит вполне искренне». Он взглянул на ее волосы, глаза, янтарную шею, точеную фигурку, отметил изящество манер и то, что она буквально светится от любви. «Ей нельзя не верить»,— решил он про себя. Виктор был одним из немногих, кто не верил сплетням об Ане.

Муж Аны, Фредерик, задумчиво рассматривал бокалы с рислингом. Грубоватыми чертами лица и короткой стрижкой он больше походил на спортсмена, чем на ассистента кафедры историко-филологического факультета. Между супругами временами вспыхивали ссоры, причиной которых чаще была ее беспечность, чем его ревность. Очередной скандал между ними разразился в канун Нового года, когда Фредерик нечаянно обнаружил в комоде среди ее белья последнюю книгу Скендера Бермемы с весьма многозначительной надписью автора. Эта ссора ничем не отличалась от предыдущих. Как водится, они наговорили друг другу много обидных слов («Как хочешь, Фредерик, но мое терпение не безгранично, твоя ревность убивает меня!» — «Ана, всему приходит конец!»), хотя оба хорошо знали, что ничего не кончилось и никогда не кончится. Во время ссор Ана будто увядала, теряя изящество и легкость. Казалось,

ее природа только и ждет подходящего момента, чтобы напомнить о себе и своей власти над ее внешностью. Вернув Ану с небес на грешную землю, она давала ей понять, что может доставить массу неприятностей, а потерять форму Ана боялась больше всего на свете, больше смерти. Она с ужасом смотрелась в зеркало, отмечая малейшие изменения в своей внешности. Однако не прошло и двух недель, как страсти поутихли, и Ана вновь стала прежней шаловливой феей, как назвал ее Скендер Бермема в первый день их знакомства.

Вообще-то, представление о ней как женщине, которая изменяет мужу, сложилось лишь в последнее время из-за ее общения со Скендером Бермемой. Об их отношениях никто ничего толком не знал, но поговаривали всякое.

— Бережливость, экономия... фи, какие противные слова! — брезгливо передернула плечиками Ана.

— Если начнется блокада, то будет и бережливость,— заметил Виктор.— Это неизбежно.

— Послезавтра открывается внеочередная сессия Народного собрания. Не по поводу ли нового бюджета? — предположил Фредерик.

— Скорее всего,— поддержал его Виктор.

— Говорят, что сняли министра сельского хозяйства,— обронила жена Виктора.

— Ничего не слышала,— повела красивой головкой Ана.

— У вас иностранные специалисты работают? — спросил Фредерик, обращаясь к Виктору.

— Да, конечно. Чехи и советские. Кстати, часть советских специалистов после отпуска не вернулась на завод.

— Вот как? — воскликнула Ана.— Значит, это правда, что иностранные специалисты уезжают?

— Пускай убираются к черту! — зло бросил Виктор.— Пусть уезжают побыстрее, пока не занялись саботажем.

— Ну, это ты хватил! — рассмеялся Фредерик.

— Чему ты удивляешься? — Виктор был настроен решительно.— От них можно всего ожидать. Один мой приятель, ездивший с нашей делегацией в Москву, страшные вещи рассказал.

— Был в Москве? Сейчас?! — удивилась Ана.— Боже, как интересно!

— Да, был,— кивнул Виктор.
— Кто это? Я его знаю? — спросила Ана.
— Не думаю. Его зовут Бесник Струга.
— Вот с кем бы я хотела познакомиться,— мечтательно произнесла Ана.
Фредерик насторожился. Его пальцы, сдиравшие корку с апельсина, нервно задрожали.
— Я слышал, что собираются урезать высокие зарплаты,— сообщил Фредерик, искоса взглянув на жену.
Ана сделала вид, что не слушает его.
— Мою наверняка урежут,— нарочито громко добавил Фредерик, и в его голосе прозвучали мстительные нотки.
Но Ана и на этот раз промолчала.
— Да, много будет всяких новшеств,— рассудительно заметил Виктор.— Для всех наступает время тяжелых испытаний.— Взглянув на часы, он поднялся и включил телевизор.— Скоро последние известия.
Послышался шум переполненного зала: на экране появился ринг и множество лиц за канатами.
— Бокс,— сказал Виктор.— Новости будут позже.
Ринг заслонили фоторепортеры. Боксеры в накинутых на плечи халатах протягивали руки, чтобы им надели перчатки.
— Ф-у-у! Что за спорт, право?! — воскликнула жена Виктора.
— Мне тоже не нравится,— поддержал ее Фредерик.
— Оказывается, это матч на первенство мира,— отметил Виктор.— Будут драться до последнего, как сумасшедшие.
Ринг между тем опустел. Боксеры, которых еще минуту назад окружали тренеры, фоторепортеры, гул толпы, вспышки фотокамер, остались вдвоем — друг против друга. Удар гонга, и они ринулись в бой.
— Берите апельсины,— потчевала гостей хозяйка.— Может, кофе хотите?
— Если не трудно, я бы не отказалась,— промолвила Ана.
— Виктор, выключи этот ящик,— попросила Шпреса.— С ним не поговоришь.
— Шпреса права,— опять поддержал ее Фредерик.
Виктор поднялся и, посмотрев еще две-три секунды на экран, выключил телевизор, а затем налил всем вина.
— Гзуар! — подняла бокал Ана.

— Неужели будет блокада? — проговорил Фредерик, рассматривая на свет бокал с вином.

— Думаю, что да,— кивнул Виктор.

— Черт возьми! — воскликнул Фредерик.— Не клеится что-то у нас с этими дружбами. С югославами такая же история... Может, нам надо быть сговорчивее? Хотя советские и...

— Как тебе не стыдно, Фредерик! — прервала его Ана.— Нельзя же быть такой тряпкой!

Фредерик с укоризной посмотрел на жену, но Ана не обратила на это никакого внимания.

— Ты всегда жаловался на советских,— продолжала она.— Сколько раз ты говорил, что советские злоупотребляют нашим радушием, что их специалисты получают бóльшую зарплату, что мы задыхаемся от их литературы, а теперь, когда узнал о расколе, пытаешься занять просоветскую позицию.

— Неправда! — возмутился Фредерик.— С чего ты взяла, что я за них?

— Это ты меня спрашиваешь? — ехидно заметила Ана.

— Как ты меня бесишь! — воскликнул Фредерик.

— Я человек прямой и не умею лицемерить, как некоторые,— парировала Ана.— Меня, например, советские совсем не раздражали, но, когда я узнала, что произошло, решила: пусть они катятся ко всем чертям!

— И ты вместе с ними! — добавил Фредерик.

— Очень остроумно! — скривила губки Ана.

— Как ты мне надоела! — не сдержался Фредерик.

— По крайней мере, я не распускаю нюни по всякому поводу. И тебе, мой милый, не пристало, как мужчине...

— Прекратите же наконец! — рассмеялся Виктор, доставая из холодильника еще бутылку белого вина.— Что вы, в самом деле!

А про себя подумал: «Наверное, поэтому она ему и изменяет».

Ночь того же дня. 23.05. Почти треть жителей Тираны спит. Температура понизилась на два градуса. Литературный критик Ц. В., тридцати одного года, женатый, блондин, страдающий хронической язвой желудка, автор двух поэтических сборников, довольно прохладно встреченных читателями и литературной братией,

опять включил электрообогреватель. Последние недели критик много работал, преимущественно ночами. Он задумал серию статей о новых тенденциях в современной литературе. Рабочий стол критика был завален книгами, вышедшими в последние два-три года. Книги были испещрены его пометками.

Потерпев неудачу на поэтическом поприще, Ц. В. ринулся искать счастья на бескрайних просторах критики. Но и здесь судьба не была к нему благосклонна. Его статьи сочли пересказами давно уже набивших оскомину советских трудов о социалистическом реализме. И вдруг после столь долгого творческого кризиса Ц. В. обрел второе дыхание. Оживили его поползшие — сперва только шепотом и самым близким друзьям — слухи о готовившемся в Москве совещании. Тогда же в печати появились и первые статьи, разоблачающие международный ревизионизм. Ц. В. понял, что пришло его время. Можно было поднять шум вокруг ошибочных тенденций в литературе. Критик терпеливо пролистывал сотни страниц поэзии и прозы, выискивая малейшие идеологические ошибки и просчеты, чтобы потом, в подходящее время, ударить во все колокола и заявить об истинном состоянии современной литературы. Ц. В. продумал все до мелочей. Чем больше возникнет подозрений на других писателей, тем крепче станут его собственные позиции как обнаружителя идеологических ошибок и активного борца с ними. Главное — найти побольше примеров. Дело это отнюдь не легкое, как может показаться сначала, но критик не терял надежды. Он раскопал два сборника статей о литературе, изданных за рубежом, и внимательно изучил их. Не составляло большого труда ударить по такому писателю, как автор пьесы «Безоблачное счастье», которого причисляли к апологетам советской драматургии. Но Ц. В. интересовали другие писатели, само существование которых отравляло ему жизнь. Критик тяжело вздохнул. Он почувствовал, как метастазы зависти подобно змеям расползаются по его организму. Порой они пульсировали, точно живые, а иногда затихали, будто погружались в сон — сон пригретых на груди змей. Любой торжественный зал, красное сукно президиумов, табачный дым, навсегда поселившийся в писательском клубе, плюшевый театральный занавес, аплодисменты, красивые женские прически, прочие маленькие радости жизни — все это заставляло змей просыпаться.

Ц. В. закурил. В этой неразберихе время работало на него. В короткие минуты отдыха он позволял себе расслабиться и помечтать. Тогда ему грезилось, что имя его все чаще и чаще упоминается в прессе, в творческих и научных дискуссиях, что его включают в делегации, отправляющиеся за рубеж, и возможно... (почему бы и нет?) на предстоящем партийном съезде его изберут кандидатом в члены Центрального Комитета...

В том же доме, только этажом ниже, в то же самое время сидел за рабочим столом другой человек. Подперев голову рукой, он о чем-то размышлял. В пепельнице дымились непогашенные окурки. Перед ним в беспорядке лежали листы бумаги, исписанные мелким неразборчивым почерком. Легко читались только два подчеркнутых слова, которые по нескольку раз повторялись почти на каждой странице: «хроника кобальта», «хроника кобальта»...

Врач был расстроен. Первая глава повести, как он ни старался, получилась слишком мрачной. Кроме того, она была перегружена множеством цифр, формул, дат, имен, записями бесед с больными перед сеансами облучения, во время сеансов и после них, фрагментами бесед с родственниками (включая их встревоженные вопросы по телефону), замечаниями по работе аппаратуры, выписками из эпикризов с подробным описанием летальных исходов. Последнее особенно беспокоило врача. «Допустимо ли, чтобы в литературном произведении умирало шестьдесят пять процентов персонажей?» — спрашивал он себя. «Это упадочничество,— уверяла его жена,— декаданс. Брось ты свое сочинительство!» Он на самом деле плохо разбирался в теории, но пессимистом или, еще того хуже, декадентом себя не считал. Поразмыслив, он решил вынести свое детище на суд читателей: пусть скажут, писать ему дальше или нет. Однако, прежде чем отнести рукопись в редакцию журнала «Нендори»[1], подумал, что хорошо бы показать ее сперва соседу по дому, профессиональному литературному критику Ц. В. Врач полагал, что

[1] «Нендори» («Ноябрь») — ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал, орган Союза деятелей литературы и искусства Албании.

критик, человек образованный и широких взглядов, будет снисходителен к новичку в литературе и не осудит его за мелкие идеологические просчеты.

— Какой раунд? — спросил кто-то из гостей, подходя к телевизору, который снова включили. Возле него уже собрались и другие любители бокса.

— Четвертый.

Все три комнаты, коридоры и кухню квартиры № 141 в доме № 1 по улице Фридриха Энгельса заполняли голоса, музыка и шорох танцующих пар. Мужчины сидели в мягких креслах, сдвинутых в угол, и тихо беседовали, а женщины, прикрыв глаза, печально выводили мелодию «Подмосковных вечеров». Несколько человек остались сидеть за столом. Один из них, вскинув голову, как это делают русские, обратился к Петриту.

— Давай, Петя! — сказал он по-русски.

Многие учились в Советском Союзе, некоторые привезли русских жен, усвоили русские обычаи — и всякий раз, когда по вечерам собирались вместе, с особой теплотой вспоминали Союз, как они называли между собой Россию.

— Неужели дело дойдет до полного разрыва? — спросил сидевший в кресле мужчина своего соседа, но тот был столь увлечен разглядыванием ногтей на пальцах, что не расслышал вопроса.

Все вечера они просиживали вместе, устроившись на диванах и стульях. «Неужели дойдет до полного разрыва?» — обязательно спрашивал кто-нибудь, и начинался, а точнее, продолжался один и тот же разговор. «Не думаю».— «Мы и дня не проживем без Советского Союза».— «Ни одного часа».

Потом шли бесконечные воспоминания о Москве, Ленинграде, Киеве, которые перемежались вздохами и разговорами на отвлеченные темы: о «русской душе», об Анне Карениной... Шли споры о том, могут ли восприниматься на другом языке такие восхитительные образы, как Наташа Ростова или Евгений Онегин. Пелись русские песни и романсы. Увлажнялись глаза. И вдруг, как глас из небытия, звучал вопрос: «А что, если не соглашаться?»

«Не соглашаться?» — «Нет, это невозможно».— «Они задушат нас блокадой».— «Блокадой?!» — «Нет, на блокаду советские не пойдут. Никогда!» — «Мне кажется,

ты путаешь их с англичанами».— «Хрущев — это тебе не Черчилль».— «А кредиты?» — «Что кредиты? Кредиты и зерно — не причина для разрыва межгосударственных отношений».— «С этим нельзя не согласиться, но, я думаю, дело не только в пшенице. Есть куда более серьезные причины. Пшеница лишь ускорила ход событий, разрыв произошел бы и без нее».

И вновь долгие разговоры о широте русской души, песни о бескрайних степях России, о Волге-матушке, о Байкале... И надежды, надежды, надежды...

«Может, и не случится ничего? В конце концов договоримся. Вот и газеты пока молчат. Появилось несколько теоретических статей на общие темы, и все. Не можем же мы разойтись из-за несогласия по ряду теоретических позиций?! Будьте уверены, все наладится, образуется...»

Вдруг кто-то вспомнил, что прошел слух о возвращении албанских студентов из Москвы и Праги.

«Отозваны студенты?» — «А чему ты удивляешься? Вернулось около двухсот человек. Остальные позже. Я их собственными глазами видел».— «Может, они приехали на зимние каникулы?» — «Что за каникулы? Такого никогда не было. И потом, кто уедет от русской зимы?» — «Ах, не напоминайте мне о русской зиме! Снег... тройка... бубенчики... Э-э-эх!» — «Говорят, мы расширяем связи с китайцами?» — «С китайцами?! Ха! Ха! Ха! Не смеши меня!» — «Что тут смешного?» — «Они же на краю света».— «Маленькие народы должны выбирать друзей подальше от своих границ».— «Что за странная теория? Впервые такую слышу».— «Это не теория, это практика».— «Ну, ладно, продолжай, пожалуйста. Ты меня повеселил».— «Вот я и говорю, что лучший друг тот, который далеко. Чем быстрее развивается техника, тем короче становятся расстояния. Поэтому и друзей следует выбирать из тех, что подальше...» — «Вздор! Чистейшей воды вздор! С Советским Союзом мы всегда будем вместе. Без него мы не проживем. Понимаешь? Ни дня, ни часа».

И снова надежды, и снова слова утешения, и снова согласное покачивание головой: конечно, иначе и быть не может.

«Говорят, некоторые студенты приехали домой без зимних вещей. Значит, они вернутся».— «Естественно, естественно...»

Так продолжалось до тех пор, пока кто-нибудь не

вспоминал, что работавший на возведении плотины инженер Лаптев вместе с тремя помощниками до сих пор из Москвы не вернулся.

«И то правда! Они давно должны были вернуться, но, видимо, что-то случилось...» — «Русская зима кого хочешь околдует. Наверное, им тоже трудно вырваться из ее объятий».

И снова, как по кругу: вздохи о зиме, о настоящих морозах, стихи Пушкина; опять волнения, пустые вопросы, сомнения, страх, паника и протяжные, тоскливые песни.

— Вот такое бы напряжение да в спектакле,— мечтательно сказал, обращаясь к автору пьесы «Безоблачное счастье», один из гостей, внимательно наблюдавший за ходом поединка боксеров.

Драматург ничего не ответил, он впервые в жизни смотрел подобный матч. Неожиданно изображение поплыло, и на экране, точно снег, замелькали белесые точки. Казалось, что боксеры продолжают бой в зимнюю пургу. У чемпиона мира была рассечена правая бровь, но, несмотря на это, он весь раунд провел в атаке.

— Бей в поддых, чтоб не оклемался! — не выдержал кто-то.

Противник и в самом деле тяжело дышал. Минутами он судорожно хватал воздух ртом, обнажая белую пластмассовую капу. «Какое жуткое напряжение сил»,— подумал автор «Безоблачного счастья». В последнее время его худое лицо еще больше вытянулось, черты лица заострились. Две недели назад в жесткой дискуссии в писательском клубе он отстаивал теорию бесконфликтности в литературе, о которой прослышал несколько лет назад во время одной из поездок в Советский Союз и которую активно пропагандировал в Албании. В случае разрыва отношений эта теория, а вместе с ней и часть его произведений уйдет в небытие,— возможно, навсегда.

— Он сбил его! Сбил! — пронзительно закричала единственная женщина, пожелавшая смотреть матч вместе с мужчинами.

Противник чемпиона отлетел к канатам. Он закрылся перчатками, чтобы избежать очередного удара, но чемпион, сделав неожиданный выпад, мастерски нанес удар снизу в скулу. У противника подкосились ноги, и он повис на канатах. Рефери поднял руку и начал отсчет.

— Какой ужас! — прошептала молодая женщина, едва не плача.

— Один... два... три.. четыре...— бесстрастно отсчитывал рефери.

«Период нокдауна,— произнес про себя Скендер Бермема, следивший за поединком боксеров.— Неплохое название для романа, если бы слово «нокдаун» было известно широким читательским массам».

— ...пять... шесть... семь...— продолжал считать рефери.

Поверженный боксер, ухватившись за канат, силился приподняться. Затуманенным взглядом он смотрел перед собой, не понимая, что происходит.

«Период нокдауна,— повторил про себя писатель.— Мир живет как на ринге: удар — контрудар, удар — контрудар, а между ними короткая передышка — «период нокдауна».

Короткая передышка закончилась. Рефери дал знак продолжать бой, и чемпион ринулся к сопернику, который приготовился к защите. На лице чемпиона появилась усмешка. Он ударил раз, потом другой, ударил лениво, едва скользнув по перчаткам противника, и вдруг, словно бы вспомнив, зачем он здесь, провел серию коротких энергичных ударов. «Сейчас он упадет»,— подумал Скендер Бермема. Боксер ушел в глубокую защиту, видны были только его перчатки, и не оказывал особого сопротивления. Он отпрыгивал то вправо, то влево, инстинктивно пытаясь увернуться хотя бы от части сыпавшихся на него ударов. На мгновение чемпион потерял бдительность: готовясь нанести последний, решающий удар, он перестал прикрываться, и противник воспользовался этим. Неожиданно сделав выпад, он нанес удар в правую бровь чемпиона, туда, где была рана, и лицо того исказилось от боли.

— Невероятно! — воскликнул спортивный телекомментатор, который до этой минуты почему-то молчал.

Оба боксера находились теперь в центре ринга. Сигнал гонга смолк одновременно с призывом рефери сходиться. В зале наступила напряженная тишина. Видны были только фигурки боксеров. Казалось, что они, всеми забытые, ведут поединок где-то далеко-далеко на пустынной равнине.

Период нокдауна. Следя за матчем, Скендер Бермема обдумывал свой роман: фон первой части эпического повествования, фон второй части, запев. «Вы, мастера, строители крепости Розафат[1], прервите свою работу, отложите в сторону тяжелые молотки. Ты, Костандин, славный герой народной баллады, вставший теперь из могилы, останови коня. Замрите, пляски, утихомирьтесь, родные и близкие, остановитесь, караваны, смолкните, шумные народные празднества. Помогите начать песнь мою». Потом фоном — припев. Припев для третьей и четвертой частей. Припев для всех частей.

Скендер Бермема встал и начал размеренным шагом ходить по кабинету. Над пепельницей, до краев наполненной окурками, вился синеватый дымок. Находка была в самом деле великолепной и, как всякая литературная удача, сопровождалась густыми клубами табачного дыма. Его охватила вполне понятная радость, и в то же время где-то в глубине души шевелилось неясное беспокойство. Да, он нашел необычную форму для нового произведения, но самого произведения пока нет. Как найти его? Где?

Внезапно его осенило: «Бесник Струга! Вот в чьих руках мой роман!» Писатель направился в коридор, он знал, что надо делать. Осторожно, стараясь не шуметь, он взял из шкафа пальто, оделся и вышел на улицу.

Было холодно. До дома, где жил молодой журналист, Скендер Бермема добрался очень быстро. Дверь открыл сам Бесник. Увидев писателя, он подумал, что

---

[1] Стоит и поныне на севере Албании вблизи г. Шкодра старинная крепость, а в народе живет легенда. Решили три брата построить крепость, но дело у них не ладилось: то, что строили днем, ночью разваливалось. Обратились они за помощью к святому, и тот, вздохнув, молвил:

— Поклянитесь именем Господним.
Дома обо всем промолчите,
Ничего не рассказывайте женам,
А назавтра, чуть заря забрезжит,
Как настанет новое утро,
Ту жену, что принесет сюда завтрак,
В стену крепости замуруйте.
Только так и укрепится крепость,
Не разрушится ее основанье!
(Перев. А. Адалис)

Старшие братья нарушили клятву и все своим женам рассказали. Пришла утром жена младшего брата, красавица Розафат. Ее-то в стену и замуровали. С тех пор крепость носит ее имя.

тот пришел мирить его с Заной. Меньше всего Беснику хотелось обсуждать эту тему именно с ним.

Вид у Скендера Бермемы был странный: мокрые от ночной сырости волосы тяжелыми прядями падали на лоб, придавая лицу свирепое выражение. «С какой стати он вмешивается в наши отношения?» — подумал Бесник с неприязнью, но виду не подал.

— Как дела? — спросил он сухо.

Писатель ничего не ответил. Даже не извинившись за столь поздний визит, он без приглашения направился в комнату Бесника и остановился посредине, засунув руки в карманы. Бесник никогда не видел его в таком состоянии. «Все они какие-то сумасшедшие», — подумал он о родственниках Заны, включив в их число и Скендера Бермему.

— Бесник Струга,— заговорил наконец писатель,— слушай меня внимательно.

Бесник почувствовал, как кровь прилила к голове: «Кто позволил ему разговаривать со мной в подобном тоне? По какому праву он вмешивается в мою личную жизнь?»

— Во-первых...— начал было Бесник.

— Не прерывай меня! — остановил его писатель. Глаза Скендера Бермемы лихорадочно блестели.— Отныне ты совсем не тот, что был до сего дня.

«Что он несет?» — промелькнуло в голове Бесника.

— Даже если бы ты и захотел, все равно не будешь тем, кем был,— продолжал витийствовать гость.

Бесник пристально посмотрел на него, но промолчал.

— Ты был там, в Москве, и потому, хочешь не хочешь, вынужден осмысливать пережитое, преодолевать сомнения, постигать суть событий. Не можешь совладать с собой — изменись. Превратись во что угодно, только не губи того, что доверило тебе время. Только ты можешь рассказать о битве, участником которой был ты, а не мы. Тебе выпал жребий гонца, летописца, рапсода[1], который поведает нам и о страшной чуме, и о долгожданном спасении.

Изумленный Бесник слушал писателя.

— Это событие станет поворотным в жизни Албании,— вдохновенно продолжал тот.— Оно перевернет

[1] Поэт-импровизатор, исполнитель своих и народных произведений эпического, лирического и бытового характера (у тюркоязычных народов Средней Азии это акын, у кавказских и соседних с ними народов — ашуг и др.).

всех нас, перевернет историю, коснется не только живых, но и мертвых. Кем ты был до сего дня? Я скажу тебе. Ты был женихом — и только! — Сказав это, он сделал малопонятный жест рукой.— А теперь... Хотя ладно, поговорим в другой раз. Спокойной ночи! — И он ушел так же внезапно, как и появился.

— Спокойной ночи,— только и успел произнести Бесник.

Какое-то время было слышно, как Скендер Бермема спускается по лестнице, потом скрипнула уличная дверь — и все смолкло.

«Был женихом — и только...» — повторил Бесник слова писателя и горько усмехнулся. Он делал все, чтобы быть не только женихом, но Зана не захотела его понять. «Не мне, а ей, родственнице твоей жены, скажи, что она осталась — только невестой»,— мысленно обратился он к ночному гостю.

Бесник выключил свет и лег в постель, хотя спать не хотелось. «Что же это за невеста, которая денно и нощно мечтает о браке и ничего не видит вокруг...»

В то время когда Скендер Бермема шагал по ночным улицам Тираны, с террасы посольства одной из социалистических стран летели диковинные слова и цифры очередной шифровки. Непосвященному они показались бы бессвязным бормотанием идиота. «...x 0028 biz krah 919 uhh 1031 krm uhh 33 qor shilamun X he he he...» Над континентом бушевала непогода с ураганом и порывистым ветром, но шифровка хорошо знала дорогу в этом хаосе.

Городские часы показывали полночь, когда Скендер Бермема добрался наконец до своего дома. Бо́льшая часть горожан мирно почивала в своих постелях.

Одному из тиранцев, проживавшему на первом этаже в доме № 4, что на площади Независимости, снился огромный киноконцертный зал, до отказа заполненный зрителями, а на сцене — ничего, пустота. Сам он сидел в зале рядом с какой-то девушкой. Их руки нежно переплелись, но они вовсе не испытывали наслаждения. «Ты же порвал мне платье!» — неожиданно вскрикнула она, и они, вскочив с мест, бросились прочь из зала. На площади, куда они выбежали, было темно и без-

людно. Разорванная одежда едва прикрывала тело девушки. Ее крик был слышен даже на краю площади, где появились прохожие. Кто-то проснулся. Нет, это был председатель Союза музыкантов, который возвращался домой с позднего концерта в старинном экипаже. Проезжая по площади, он зажег огни. «Поедем со мной,— пригласил он девушку.— Я увезу тебя далеко-далеко.— И вдруг крикнул: — Да погасите же огни!» — «Свет зажег товарищ Б.»,— сказал невесть откуда взявшийся незнакомец. На мгновение он замер. Площадь заполнялась еще не проснувшимися людьми. Они шли отовсюду, со всех сторон. Он смешался с толпой. «Знают ли они, что именно я причина крика девушки в разорванном платье?» Засветилось несколько окон в верхних этажах здания министерства, возвышавшегося над площадью; там он работал уже много лет. «Товарищ Б. не упустит возможности воспользоваться этим случаем»,— раздался чей-то голос. Он поднял голову. Окна и вправду были освещены. «Знают ли они, что я здесь работаю?» Толпа мерно двигалась из стороны в сторону. «Нашел время развлекаться,— сердито качали головами люди,— и блокада ему нипочем».

Боксеры продолжали схватку. На экране по-прежнему был густой туман со снегом, и казалось, холодный пронизывающий ветер время от времени доносит отголоски громового эха погруженного в темноту зала. В этом хаосе, то медленно, то быстро отступая и наступая, вели бой изнуренные спортсмены. Их лица распухли, глаза полузакрылись, губы и брови — в ссадинах и кровоподтеках.

— Какой жестокий поединок! — воскликнул один из гостей квартиры № 141 в доме № 1 по улице Фридриха Энгельса.

В гостиной женщины и несколько мужчин, вновь присоединившихся к ним, пели, наверное уже в десятый раз, «Подмосковные вечера». Пели самозабвенно, отрешенно. Казалось, их голоса, сердца, души слились в единое целое, образовали полноводную реку звуков, и она разливалась, как в весеннее половодье. По ее поверхности, точно масляные пятна, плыли обрывки воспоминаний, сердечная тоска, обломки разбитых в водоворотах жизни лодок любви, поднявшийся со дна сознания ил фраз и слов, коряги душевной боли — всего

этого хватило бы на сотни историй, довольно банальных и никому теперь не нужных.

«Возможно ли, чтобы история, начавшаяся с песни, ею и закончилась? — подумал гость, стоявший у балконной двери, и сам себе ответил: — Нет, невозможно». Он взглянул, уже в который раз, на одного из певцов, громче всех выводившего «Подмосковные вечера». «Знаешь, кто ты есть? — начал он безмолвный монолог, который давно приготовил, но никак не решался произнести вслух.— И вообще, знаете ли вы, кто вы такие на самом деле?»

Брюнет с усталыми глазами был его коллегой по кафедре филологического факультета. Три месяца назад он отверг его последнюю научную работу, сказав, что она хотя и стоящая, но в нынешних условиях неприемлема и напечатать ее невозможно. Так и сказал. Потом долго мялся, мямлил что-то, оправдываясь, а на вопрос: «Почему нельзя напечатать?» — только и проговорил: «Ах, мой дорогой!» На этом разговор и закончился. Увидев здесь коллегу распевающим русские песни, он почувствовал к нему глубокое презрение.

«Знаете ли вы, кто вы такие? — Он продолжал свой безмолвный монолог.— У вас рабская душа. Неужели вы не тяготитесь оковами, которые связывают вас, мешают дышать, говорить, слушать? Их скорбный звон оглушителен и слышен повсюду. В борьбе за свободу мы терпели лишения, гибли, но победили. Разве вы не видите этого? Не хотите видеть! «Где она, эта свобода?» — спрашиваете вы. Слепцы! Она везде, и чтобы увидеть ее, надо прозреть. Получив привилегии, вы больше всего на свете боитесь их потерять. Вы пожертвовали собственной свободой, а теперь готовы отдать свободу других. Вы не представляете жизни без покровительства великой державы... О ширь полей! О русская степь! Я твой... История о птице-тройке, которая несется по свету... Апологетика литературоведческих штудий Тимофеева с пятью признаками социалистического реализма и колхоз «Светлый путь». Светлая муть... Я люблю советских людей, люблю Пушкина и Маяковского, может быть, больше, чем вы, но бездумное преклонение перед русским мне противно. Мы — сыны древнего народа. Вы сплошь покрылись русскими суффиксами — «ов» и «ич». Вы — эмиссары духовных и военных оккупаций. Вы готовы оправдать не только завоеванное сверхдержавами, что кажется вам очевидным, но и ок-

купацию княжества Лихтенштейн, если такое вдруг случится. «В отношении нас это невозможно,— говорите вы.— Там да... а у нас... нет». А почему, собственно, нет? Почему нет, скажите на милость? Чем мы так уж отличаемся от остальных? Разве мы заслуживаем иного отношения? Но вы не верите в нашу свободу. Вы верите в ваше рабство. Слепцы! От революционной свободы слепнут глаза, но вы не в состоянии этого понять. Не дано,— как новое измерение, шестое чувство, непознанную необходимость... Это состояние тяготит, поэтому в глубине души вы его ненавидите. Рабы! Сегодня положение осложнилось. Каждый день можно ждать бури. А вы? Что делаете вы? Вы поете. Поете, чтобы не говорить. Вы боитесь. Страшитесь, что наступит день, когда вас во всеуслышание спросят: «Что вы делали во время разрыва отношений?» И вы ответите: «Мы ничего не знали. Мы пели».

Той же ночью на Сосновой улице в доме № 57 некий гражданин размышлял совсем о другом. Он зрительно восстанавливал в памяти перекресток улиц Почтовой и Лорда Байрона, площадь Неизвестного партизана, площадь Независимости, пешеходную часть улицы Фридриха Энгельса — безлюдные в эти ночные часы. «А сколько за день произносится всяких приветствий и пожеланий,— подумал человек, укладываясь на диване.— Доброе утро, добрый день, доброй ночи, добрый вечер, доброго вам дня...» Он подложил руки под голову, чтобы немного согреть их. В комнате, расположенной на первом этаже, было прохладно, если не сказать холодно. Рыжеватые пряди волос, веснушчатые скулы подчеркивали заостренность черт его худощавого лица. «Повторяя без устали слова приветствия, люди хорошо знают, что дни и ночи не будут для них добрыми, но на всякий случай стремятся хотя бы смягчить удары судьбы»,— подумал он с горечью.

На давно не беленном потолке во многих местах потрескалась штукатурка.

«Площадь Союза — наиболее подходящее место для начала массовых расправ,— решил он после некоторых раздумий.— Расположение домов вокруг площади, булыжное покрытие мостовой и каменный бортик у тротуара, на который будут натыкаться ползающие жертвы, витрины, которые от первых выстрелов превратятся

в груды битого стекла,— все это будто специально подготовлено для массовых расправ. Наверняка архитектор, проектировавший застройку площади, предвидел такое развитие событий. Он был, видимо, как и я, деклассированным элементом»,— криво усмехнулся лежавший на диване человек.

Уже давно он мысленно разработал план мести, не было только возможности его реализовать. Идея стала фантомом без конкретных имен и названий, без деталей и цифр; она преследовала его. Жажда мести порой доставляла ему удовольствие, близкое к эротическому. Но два месяца назад, когда он впервые услышал о расколе в социалистическом лагере, эта идея стала обретать реальные очертания. Он стал всерьез задумываться о воплощении своей мечты-призрака в жизнь, отрабатывать детали. Мысли роились, точно мухи над падалью.

Он представил, как будет волочить полуживые тела от площади Союза. Именно это было главным в его плане. Идея тащить тела волоком (обязательно волоком!) родилась у него в первые недели работы на столичном мясокомбинате. Он был выходец из богатой семьи потомственных торговцев, сын одного из самых богатых ее представителей. Сначала экспроприировали богатство отца, а потом, во время битвы за Тирану, отца расстреляли как коллаборациониста. С тех пор вся его жизнь пошла прахом. Перепробовав многие виды тяжелых работ, он два года назад устроился наконец шофером по доставке свежего мяса в магазины. Днем и ночью разъезжал он теперь на красном фургоне с номерным знаком «TR 17-55». Таская туши на спине или волоком, замаранный кровью, он мечтал о том дне, когда сможет точно так же протащить по земле тела своих мучителей. А после смены, прослушав последние известия, он уточнял и шлифовал каждую деталь будущего плана.

«Сперва резкий стук (сотни и сотни резких стуков) в двери работников партийных комитетов, активистов общественных организаций, министров, членов ЦК, журналистов, офицеров полиции и Министерства внутренних дел, Героев Социалистического Труда и т. д., и т. д., а потом — горы тел, расстрелянных, искалеченных, полуживых или живых, и я буду их перетаскивать волоком. И непременно по определенному маршруту, так сказать, в соответствии с занимаемым положением в партии, государстве или общественной жизни. И уж я

прослежу, чтобы не было сбоя, не позволю, чтобы тело рядового сотрудника, скажем, Союза женщин волочили по центральному бульвару, а труп важного государственного лица — по второстепенной улице Лорда Байрона. Все должно быть продумано до мелочей. Возмездие должно свершиться в строгом соответствии с выработанным порядком: старательно, но без излишнего усердия, безжалостно, но без зверств, мгновенно, но без суеты. Естественно, что маршруты перемещения тел могут меняться в зависимости от ситуации. Так, например, удлинится путь следования тел сотрудников полиции, Министерства внутренних дел и Верховного суда, то есть всех тех, кто поддерживал и оберегал ненавистную диктатуру пролетариата. Писателю Скендеру Бермеме, автору чудовищного рассказа о расстреле отца, следует приготовить особый маршрут. Сначала я протащу его за волосы по улице Лорда Байрона, улице, которая соответствует его положению в стране и по которой следует протащить вообще всех писателей и артистов независимо от их взглядов, и только потом тело писателя с прикрепленными к нему страницами из его произведений пробороздит центральный бульвар, где в это время будет играть на скрипке Марк Крюэкурт. (После свершившегося возмездия на всех улицах должны играть на скрипках специально отобранные для этого музыканты. Отказавшиеся должны быть расстреляны.) Марк будет играть две смены подряд. Он и его семейство каждый год 5 мая, в День памяти павших героев, лицемерно возлагают венки на могилу какого-то партизана. За эти цветочки можно будет назначить цену и повыше. Этот партизан вполне мог быть одним из убийц отца. На всякий случай надо раскопать все могилы, нанизать останки на проволоку и протащить их по бульвару». Был у него и другой вариант: связать вперемежку тела только что убитых с останками из могил и таким образом оправдать провозглашаемый ныне лозунг, что герои живут среди нас. Почему бы не доставить им такое удовольствие? Существовал и запасной вариант: связать вперемежку тела убитых, останки из могил и понаставленные на всех углах памятники. Так будет отдана дань традиции, о чем любят рассуждать на конференциях и собраниях. Правда, у этого варианта был один недостаток: из-за разного веса тел, статуй и останков его трудно осуществить на практике. Женские волосы, которые он предполагал использовать

вместо веревок, могли не выдержать напряжения. Однако совсем отказываться от него он не хотел и держал его про запас.

Человек вытащил из-под щеки занемевшую руку и посмотрел на часы. Новый день отсчитывал первые минуты. До начала смены на мясокомбинате оставалось около трех часов, но он не мог заснуть, не прослушав последних известий. Из обстановки в комнате, кроме дивана, был только телевизор. Человек перевернулся на другой бок, дотянулся до кнопки включения и, опершись на локоть, стал ждать, пока засветится экран. Все еще транслировался матч по боксу.

Он снова улегся, подложил руки под голову и стал ждать.

Nul 0137 frex eh 1752 qor bytin shnez shnez 31 × 8 zi повторяю: qor bytin shnez shnez 31 × 8 zi all har ah ah all nul

Шел первый час ночи. Город спал. На подходе к железнодорожному вокзалу стучал колесами товарный состав № 743 AZ 09. Локомотив издал протяжный звук, больше похожий на крик испуганной птицы, чем на паровозный гудок. «Вой-вой!» — пробурчал машинист, будто не он, а кто-то другой дернул за ручку паровозного гудка.

На его памяти это был первый случай, когда поезд из Дурреса возвращался порожняком. «Из Дурреса — и пустыми»,— ворчал машинист. «Поезд возвращается пустым. Поезд возвращается. Поезд возвращается пустым,— мерно отстукивали колеса.— Мертвый поезд. Пустой поезд. Мертвый поезд...»

«Возвращайся. Груза не будет». Этими словами встретили машиниста в порту, и теперь всю дорогу они не выходили у него из головы. Когда же машинист попытался вручить представителю порта накладную на получение грузов, тот не сдержался и закричал: «Назад! Поезжай обратно!» При этом суровое лицо портовика, освещенное ярким светом прожекторов, исказилось до неузнаваемости. Ясность внес железнодорожник с фонарем в руке, который шел по платформе, насквозь продуваемой ветром. «Поезжай, браток,— сказал он печально.— Говорят, все пароходы из социалистических стран вернулись обратно».

Состав медленно прибывал на станцию Тирана-товарная. Человек внимательно наблюдал за происходившим на путях из окна шестого этажа жилого дома, что стоял вблизи станции. Бесконечная вереница вагонов, красные сигнальные огни, походившие на воспаленные от бессонницы глаза, локомотивы, то двигавшиеся вперед, то пятившиеся, как раки, назад, беспорядочные гудки — во всем виделись симптомы надвигавшейся беды. «Почему-то это совсем не радует»,— подумал он, не отрывая глаз от картины за окном. Научный сотрудник Национальной библиотеки, интеллектуал старой школы, поздно женившийся на одной из своих коллег и потому бездетный, он всегда думал, что известие о свержении власти вызовет у него если не энтузиазм, то хотя бы удовлетворение. Давнее недовольство нынешним режимом было вызвано не столько его конкретными действиями против него, сколько его собственным равнодушием к жизни в стране. Истоки этого безучастия восходили к годам его юности, когда в среде молодых интеллектуалов были модны нигилистические и антикоммунистические взгляды, что считалось признаком хорошего тона. Позднее, в годы народной власти, его нигилизм подпитывался раздражающими мелочами повседневной действительности (субботники, воскресники, собрания и т. д.), чтением зарубежной прессы и регулярным слушанием «чужих голосов». Утратив с годами былой блеск, равнодушие стало частью его натуры. И он, составляя пассивную оппозицию власти, полагал, что любая причина падения режима привнесет освежающий ветер перемен в его однообразную жизнь. Однако события последних дней, к его великому удивлению, породили иные чувства. Наблюдая из окна за жизнью станции, он физически ощущал, как экономическая блокада железной рукой сдавливает горло страны, и это не только не радовало, а, напротив, огорчало его, и с каждым днем все больше и больше.

«Опять появятся монахини,— почему-то тоскливо подумал он.— Зазвучат церковые колокола. Вернутся епископы и торговцы». Эти мысли настораживали и пугали его. Так люди боятся привидений, являющихся им в образе дорогих, но давно умерших людей.

Он следил за каторжным трудом локомотивов, скользивших по черным рельсам, слушал их натужное пыхтение и старался понять, что стало с его душой, почему она радеет за то, к чему еще вчера была безу-

частна. Он был уверен, что никогда не примет режима и дел новой власти. Но настал час испытаний, и он понял, что многое из свершенного этой властью ему дорого и он не хотел бы его потерять. Звук паровозного гудка показался ему криком подстреленной птицы. «Вернутся монахини, торговцы...» — твердил он словно в оцепенении, прижавшись лбом к холодному оконному стеклу.

— Бр-р, как холодно! — зябко поежилась Ана Краснити.— Спокойной ночи, Виктор! Спокойной ночи, Шпреса!

— Спокойной ночи.

Ана подхватила мужа под руку, и они заспешили по безлюдной улице к дому.

— Не надо было засиживаться,— заметил Фредерик.

Ана промолчала. По обеим сторонам улицы темной массой нависали дома. Она подняла голову. На небе — ни луны, ни звезд. «Какой мрак,— подумала Ана.— И пустота». В этот поздний час она с удовольствием поговорила бы с кем-нибудь о небесной бездне или о чем-либо подобном.

Но небо отнюдь не было безлюдным, там шла своя жизнь. Антенна радиопередатчика продолжала посылать с террасы посольства свои странные знаки: hur 777 kra h 2 ah 2767 hx zi kra kra 15 конец.

15 января. Чуть брезжил рассвет. Казалось, он никак не просочится на землю. Между тем в чреве ночи, как в утробе беременной женщины, все настойчивее давала о себе знать жизнь: ощущалось движение, вот-вот должен был раздаться крик. Нарождающийся день, которому от роду не было и часа, походил на хилого младенца — бесформенную, глупую, орущую массу. В туманной полумгле то здесь, то там слышались шаги людей, похожих на лунатиков, неизвестно почему так поздно возвращавшихся домой или, наоборот, слишком рано вышедших из дома.

На перекрестке улиц Врана Конти[1] и Парижской коммуны состоялся странный диалог:

---

[1] Врана Конти (1389—1458) — военачальник, проявивший талант в борьбе с Османской империей в период войн Скандербега; верный соратник и друг великого албанского полководца.

— Наконец-то я остался один.

— Знаю, ты говоришь об этом в четвертый раз.

В четырехстах метрах от этого места, на левой стороне улицы Баррикад, перед домом № 38, фасад которого едва различался в полумраке, чей-то хриплый голос произнес:

— Мир погружается в ночную тьму.

— «Свет фонаря туман рассеет...» — пропел ему в ответ невидимый собеседник.

— Ну что же, опять пойдем в партизаны. Мы ведь старые коммунисты, не так ли? Как сказал сегодня Струга, мы вышли из войны, там наши корни.

— «До свиданья, мама, не грусти, ухожу опять я в партизаны...» — опять словами песни ответил собеседник.

— А вот и наши буржуи топают.

От площади Союза шла группа смеющихся мужчин и женщин в старомодных шляпках и меховых накидках на плечах, оставляя за собой давно забытый запах хороших сигарет и дорогих духов.

— Ожили,— заметил хриплый голос.

Его собеседник продолжал что-то напевать.

— Собираются...— не выдержал первый.— Как и мы,— добавил он, помолчав.

Второй перестал напевать.

— Все собираются, все чего-то ждут,— проговорил он рассудительно.

— Всякое может случиться, но они уже никогда не вернутся,— твердо сказал первый.

— Ты думаешь, что они мечтают о гражданской войне?

— Называй ее гражданской или атомной, мне все равно. Я коммунист и пойду на войну, не спрашивая, как она называется. Либо вернусь победителем, либо не вернусь вовсе.

— «Если погибну я, мама, плакать не надо по мне...» — печально пропел собеседник.

А справа от них, на расстоянии километра, в северо-западной части города какой-то человек пересекал площадь Республики. Он был словно во сне, поэтому площадь казалась ему то огромной амебой, которую он пытался пнуть ногой, то частью средневекового города, которая неизвестно почему сохранилась здесь с XV века.

В это же самое время по параллельной улице шла колонна грузовиков, накрытых клеенкой. Среди них замешался и красный фургон с забрызганным грязью номерным знаком. То ли из-за грязи, то ли из-за темноты, но различить номер было невозможно.

Глава XVIII

Четыре дня беспрестанно лил дождь. Хмурое небо свинцовым шатром нависло над землей. Порой казалось, что оно готово подмять под себя верхушки труб, антенны, купола, и они накренились, не выдерживая его тяжести.

Четвертые сутки лил дождь, обезумевший от невнимания к своей особе со стороны небесных сил, но тщетно — ни грома, ни молнии. И лишь на исходе четвертого дня, как одинокая красная ветвь можжевельника, затерявшаяся в безбрежном океане туч, блеснула наконец молния.

Партия продолжала информировать страну о расколе в международном коммунистическом и рабочем движении в целом и об албано-советском конфликте в частности. По специальному решению Секретариата ЦК протоколы всех партийных собраний направлялись в Центральный Комитет.

Со всех концов страны партийные комитеты ежедневно присылали спецсвязью десятки протоколов, в которых было зафиксировано все, что думали и говорили коммунисты о конфликте. Тысячи суждений и мнений, безоговорочная поддержка линии ЦК, одинокие голоса противников, готовность бороться и отдать жизнь за родину, крайне редкие сожаления о случившемся и растерянность — все это стекалось в южное крыло огромного здания Центрального Комитета на бульваре Павших героев, где на втором этаже размещался Партийный архив. Бесник шел по коридору, устланному красной ковровой дорожкой, мимо тяжелых дубовых дверей и думал о статье, которую ему заказали. Он должен был написать статью о коллективном разуме Партии, о грандиозности ее идей, способности давать единственно правильную оценку великим историческим событиям, но ни словом не упомянуть о расколе. «Иди в

Партархив,— посоветовал ему главный редактор,— ознакомься с протоколами партийных собраний. Это тебя вдохновит».

В архиве было тихо. Бесника провели в небольшой зал, стены которого от пола до потолка были сплошь заставлены стеллажами с архивными делами.

Сотрудник архива снял с полки несколько папок и положил перед Бесником. Его вытянутое красноватое лицо было ему знакомо. «Где мы встречались? — подумал он.— Скорее всего, у Скендера Бермемы». Получив папки, Бесник углубился в работу. Казалось, что каждая страница дела — несмолкаемый гул людских голосов. Минутами он отрывался от очередного листа и устало оглядывал бесконечные ряды полок. На каждой из них — живые вести с мест. Были здесь и довольно старые материалы, хранящиеся со времен освободительной борьбы: протоколы собраний первых подпольных коммунистических групп, на которых обсуждались детали операций против фашистских захватчиков. В соседних залах, где было так же тихо, хранились, по-видимому, партбилеты умерших коммунистов. Уложенные в специальные, похожие на саркофаги, ячейки, они, как любят повторять поэты, точно маленькие факелы, освещают путь в бессмертие.

Много времени провел Бесник в архиве, изучая тексты протоколов и делая необходимые выписки. В голову не раз приходила мысль о том, что где-то здесь, среди гула оживших голосов, звучит и его голос. Мысль эта переплеталась с внезапным осознанием того, что он находится в святая святых партии, где хранятся блоки пирамиды бессмертия коммунистов, которая в тысячу раз больше любой из древнеегипетских пирамид, сооруженных в честь фараонов.

Несколько часов напряженной работы дали свои результаты. Теперь статья не казалась Беснику столь трудным делом. Он поднялся из-за стола, попрощался с сотрудником архива и вышел из зала.

После теплого помещения на улице было особенно холодно. Бесник медленно шел по бульвару. Пятиэтажное здание ЦК постепенно исчезало из вида. Вдруг он представил, что когда-нибудь по этому бульвару пойдет его жена с его партбилетом в руках... От этой мысли Беснику стало не по себе. «Вот я уже и сказал «жена», а не «Зана», как раньше»,— усмехнулся он.

Всю дорогу до редакции Бесник старался не думать о Зане. Прежде чем подняться в отдел, он заглянул в типографию, которая располагалась на первом этаже здания.

Шум линотипов действовал на него успокаивающе. Верстались первая полоса и разворот. *«Внеочередная сессия Народного собрания», «Закон о вынужденных изменениях в бюджете страны», «Репортаж об освоении целинных земель в горных районах Севера», «Фоторепортаж с ведущих предприятий столицы»*... Он взял несколько готовых клише с фотографий и стал рассматривать: митинги, собрания рабочих, суровые сосредоточенные лица. Последние два дня на всех заводах Тираны рабочих информировали о вынужденном сокращении инвестиций, о необходимости максимально использовать внутренние резервы, а главное — продолжать не завершенные советскими специалистами работы.

«Кто бы мог еще три месяца назад даже подумать об этом? — горестно вздохнул Бесник. Он внимательно просмотрел верстку третьей полосы, которая была практически готова к печати. Свинец холодно блестел.— Да, времена наступили суровые».

Верстка напомнила мемориальную плиту. Казалось, каждое слово на ее блестящей поверхности отлито в бронзе. «Рабочий класс — это действительно сила,— подумал Бесник.— Только он в трудный для страны и истории момент может подставить свое могучее плечо. Интеллектуалы, которые раньше других разобрались в ситуации, больше говорили и спорили, были обеспокоены, потрясены, нервозны, строили всякие прогнозы: то оптимистические, то совсем наоборот. А рабочий класс, мощная стальная гвардия, был немногословен. Спокойный, но убежденный в правоте своего дела, он смело вступил на сцену истории, готовый принять на себя тяжесть лишений и ответственность».

Бесник почувствовал, что в комнату кто-то вошел. Он оглянулся. Это был Илир.

— Дежуришь? — спросил Бесник.

Илир молча кивнул, внимательно просматривая верстку первой полосы.

— Как дела?

— Неплохо,— медленно произнес Илир, не отрывая глаз от верстки.— Только что сообщили, что надо оставить место для сорока строк на первой полосе.

— Свободное место на первой полосе?! — Бесник недоуменно взглянул на товарища.

— Подробностей пока не знаю,— пожал плечами Илир.

«Сорок строк...— мысленно повторил Бесник.— О каком материале может идти речь? Новость? Важное сообщение?» Сначала ему показалось, что сорок строк — это слишком мало для серьезного материала, потом — вполне достаточно, и наконец — даже много: «Сорока строк хватит для объявления войны».

Илира позвали к телефону.

Бесник перешел в соседнее помещение, где в разделенных стеклянными перегородками кабинах работали девушки-корректоры. Он закурил. Одна из девушек подняла голову от текста, потерла уставшие глаза и улыбнулась ему.

Когда Бесник вернулся к наборному столу, рабочий высвобождал место в верстке первой полосы. Темный четырехугольник, выделявшийся на фоне ровных строчек свинца, завладел мыслями Бесника. «Что же там будет? — размышлял он.— Может быть, материал о четырехстах студентах, вернувшихся накануне из Советского Союза и Чехословакии? Хотя вряд ли. Это уже вторая группа студентов, но о первой не сообщалось в печати ни слова».

Возвратился Илир. Наборщик закончил высвобождать место для оперативного материала в сорок строк. Теперь оно напоминало провал на ровной поверхности земли. Бывая в командировках, Бесник не раз видел такие ямы-провалы. В них на дне скапливалась черная жижа.

— Пойду к себе, поработаю,— сказал он Илиру, прощаясь.

После типографии в кабинете было тихо и уютно. От батареи распространялось приятное тепло. Бесник разложил перед собой архивные выписки и задумался. Предстоящая работа опять показалась трудной, почти невыполнимой.

Но не успел он написать и строчки, как дверь распахнулась и в комнату влетел Илир.

— Место освобождалось для сообщения о наводнении,— выпалил он прямо с порога.

— Что?!

— В центральной части Албании, на одной из гид-

роэлектростанций, прорвало плотину. Правительственное сообщение.

Бесник отложил карандаш в сторону.

— Этого только нам не хватало! — в сердцах бросил Илир и направился к телефону.

— Алё, на первой полосе надо оставить не сорок строк, а шестьдесят. Поняли? Шестьдесят!

Бесник смотрел в окно. Город погружался в сумерки. Он представил, как наборщик склонился над версткой, высвобождая еще двадцать строк. Яма расширялась.

Домой Бесник возвращался за полночь. Он обратил внимание на ярко освещенные окна бара «Крым». На улице 28 Ноября это был единственный бар, который работал в столь поздний час. Бесник замедлил шаг, секунду поколебался и вошел внутрь. Народу было много: за столами и у стойки люди пили кофе, коньяк. Кофеварка «Эспрессо» то и дело фыркала, как разъяренная кошка, урча и шипя от каждого прикосновения к ней руки бармена. Бесник направился к маленькому стеклянному квадрату кассы, из которой мечтательно-задумчивая кассирша наблюдала за окружающим. Отделенная от всех стеклянной стеной, купаясь в синеватых бликах отраженного света, она на своем возвышении походила на хор или корифея в древнегреческих комедиях, которые не принимали непосредственного участия в той или иной сцене, но высказывали свои суждения по поводу происходящего у них на глазах действа. Уловив вопросительный взгляд кассирши, Бесник виновато потупился.

— Один коньяк, пожалуйста,— попросил он полушепотом.

Кассовый аппарат сухо щелкнул, и на табло выскочили любопытные мордочки цифр. «Напрасно я это затеял»,— вяло подумал Бесник. Пить совсем не хотелось. Он, скорее всего, выказывал уважение бару, повстречавшемуся ночью на его пути. Но не только поэтому. После ссоры с Заной у Бесника установились особые отношения со многими кафе и барами, в которых они не раз бывали вместе. Посещение этих заведений стало не только его внутренней потребностью, но и ритуалом, своего рода традицией. Он не мог поступать иначе. И не молоко же заказывать в них, в самом-то деле. Бесник перестал бы уважать себя.

Он вышел из бара. На душе было тихо и покойно. Влажный воздух приятно обдувал лицо. Бронзовая статуя Неизвестного Партизана блестела под дождем. Он вспомнил о наводнении.

Вернувшись домой, Бесник машинально открыл холодильник и подивился, как спокойно зимуют маленькие пакетики с молоком, яйца, лимоны, кусок свежего мяса в глубине камеры. Он закрыл холодильник и пошел в свою комнату. Заснул он мгновенно.

Проснулся Бесник оттого, что кто-то ласково тряс его за плечо.

— Бесник, вставай,— будила его Мира.— Да вставай же ты, соня!

На секунду повеяло ароматом зубной пасты, и он опять заснул, будто провалился в бездну.

— Бесник, тебе звонят из газеты,— услышал он наконец голос сестры.

— Оставьте меня в покое. У меня сегодня выходной.

— Но они говорят, что это очень срочно,— не унималась Мира.

— Нет, нет и нет,— твердил он, засыпая.

Мира взяла трубку.

— Вы слушаете? У него сегодня выходной и... — начала она робко.

На другом конце провода сказали, по-видимому, нечто такое, отчего брови у Миры полезли вверх. Она бросилась к Беснику и затрясла его с удвоенной силой.

— Вставай же, вставай скорее!— будила она брата, едва не плача.

Наконец Бесник приподнялся. Резко откинув одеяло, он уставился на Миру сонными и ничего не понимающими глазами.

— Ты что, с ума сошла?— наконец вымолвил он.

— Но они послали за тобой машину.

— Машину? Какую машину? Кто послал?

— Сказали про какую-то аварию, кажется, затопление.

Бесник ни о чем больше не спрашивал. Он вскочил с постели и выбежал в коридор, к телефону. «Предстоит ответственная командировка,— пронеслось в голове.— В район наводнения. Вместе с Илиром. Срочно».

В кухне Рабо и старый Струга второй раз пили утренний кофе. Бэн, вероятно, уже ушел на завод. В последнее время он сильно изменился: посерьезнел, остепенился. Каждый раз, когда он уходил на работу, Рабо украд-

кой смахивала набегавшую слезу. Она не одобряла его работы на заводе.

Струга допил кофе и поставил чашку на стол. Бесник с тревогой отмечал, что отец буквально тает на глазах,— так он похудел за несколько недель. «Может быть, от облучения — и скоро поправится?»— пытался успокоить себя Бесник.

— Тебе сварить кофе?— спросила Рабо.

Бесник молча кивнул. Иногда ему хотелось, чтобы старики спросили о Зане: почему не приходит, почему перестала звонить? Но они, вероятно из деликатности, не касались этой темы. Только Мира, ничего не подозревая, однажды спросила: «А где Зана?»

Мира этой зимой очень похорошела. Ее глаза, в которых еще недавно прыгали веселые бесенята, теперь лучились необыкновенно мягким внутренним светом, делая лицо еще более привлекательным. Встречаясь взглядом с Бесником, она краснела и отводила глаза. «Влюбилась, наверное»,— решил он.

Во дворе раздался сигнал подъехавшего «газика».

— Тебя подбросить до школы?

— Конечно,— обрадовалась Мира.

— Когда у вас спектакль?— спросил Бесник, чтобы не молчать.

— В марте,— ответила Мира и почему-то покраснела.

— Ты играешь, кажется, монахиню?

— Да,— едва слышно сказала она и еще больше покраснела.

Когда Мира вышла из машины, Бесник уехал не сразу: минуту смотрел ей вслед. По-спортивному стройная, в брюках, она, помахивая портфелем, легко перебежала улицу и направилась к школе. Глядя на сестру, Бесник испытывал странное чувство неизбежной потери: сестра выросла и незаметно отдалялась от всех. Он понимал, что это нормально, что иначе не бывает, но привыкнуть к этому не мог. «Влюбилась, наверное»,— снова подумал он.

Хмурое неподвижное небо выглядело сорокалетним. Вдалеке виднелись шестиугольные резервуары для сырой нефти, черные цистерны и кое-где участки подъездных железнодорожных путей, запорошенных каменноугольной пылью. И за всем неусыпно следили свирепо-красные глаза двух светофоров.

— В правительственном сообщении ни слова не говорится о причинах аварии,— сказал Илир.

— Ты подозреваешь их?— спросил Бесник, глядя в окно машины.

— Почему бы и нет? Насколько мне известно, на плотине Забзун работали их специалисты.

«Неужели до этого дошло,— подумал Бесник с горечью.— Так скоро».

— Возможно, непреднамеренно,— продолжал Илир,— но то, что иностранные специалисты вовремя не возвратились из своих стран после летних отпусков и все работы пришлось приостановить еще в декабре,— это факт.

Бесник вспомнил, что в ту незабываемую московскую ночь перед открытием совещания Косыгин, который одним из последних приезжал к ним на дачу, говоря о помощи Советского Союза Албании, упоминал и эту плотину, назвав ее не Забзун, а Сапсун. «Может быть, уже тогда в ней появилась трещина и она начала пропускать воду»,— подумал Бесник, продолжая смотреть в окно машины. Цистерны и резервуары с нефтью по мере приближения к ним, казалось, в каком-то фантастическом танце уплывали к линии горизонта.

На фоне равнинного пейзажа стали появляться зернохранилища и дома старой постройки со ставнями и мансардами, в которых размещались теперь конторы ферм.

Чем ближе они подъезжали к месту затопления, тем труднее было продвигаться вперед: повсюду пробки из грузовиков и фургонов. Залитая грязью, с ямами и рытвинами на месте размывов, провалов и оползней, дорога казалась искусанной каким-то огромным чудовищем. Повсюду брошенные прицепы. Какой-то фургон съехал в канаву.

— Совсем как на войне,— сказал Бесник.

Офицеры дорожной полиции на мотоциклах еле-еле пробирались сквозь скопище автомашин. По сторонам дороги расстилались поля, затопленные коричневато-бурой жижей и больше похожие теперь на болота. Длинноногие птицы неподвижно сидели на телеграфных столбах и макушках деревьев, наблюдая за происходящим внизу.

После многочисленных остановок и черепашьей езды они добрались наконец до маленького городка, печально глядевшего окнами домов на грязную жижу, раз-

лившуюся по его улицам. За городом начиналась зона затопления. Они зашли в кафе за сигаретами и неожиданно столкнулись с Виктором Хилей.

— Ну что, разбойники, прибыли наконец!— приветствовал он их, смеясь. Сам он приехал два часа назад с большой группой рабочих. Около двухсот человек.— Говорят, даже трупы всплыли,— начал рассказывать Виктор.

— Не болтай чепухи!— прервал его Илир.

— Да я серьезно. Вода затопила местное кладбище, и трупы вымыло из могил. А вообще ты прав, чепуха все это,— улыбнулся Виктор.— Вы куда направляетесь?

— Туда, ближе к центру событий,— сказал Илир.

— Тогда нам по пути.

Городок остался позади. Ехать становилось все труднее. Дорогу залило водой. Некогда красивый пейзаж был обезображен вырвавшейся из-под контроля стихией.

— Деревню совсем затопило,— сказал Бесник, показывая на домики, мимо которых они проезжали.

Накренившиеся телеграфные столбы в немыслимых позах, с обвисшими или оборванными проводами, казалось, испускали дух.

— И здесь они руку приложили!— воскликнул Виктор.— Подлецы! Мерзавцы!

— Они?— удивился Бесник.

— Конечно, они. Кто же еще?

— А я что тебе говорил?— воскликнул Илир.— Плотина Забзун.

«Плотина Сапсун»,— повторил про себя Бесник.

— Сукин сын этот Лаптев! Прихватил с собой чертежи плотины и не вернулся из отпуска,— возмущался Виктор.

— Плотина разрушена?— спросил Бесник.

— Прорвана в двух местах. Сейчас делается все, чтобы спасти ее. Наши работают там с самого рассвета.

— Смотрите! Еще одна затопленная деревня!— воскликнул Илир.

— Тысячи крестьян остались без крова,— сказал Виктор.— Чуть подальше, около костров, вы увидите их палатки.

Над поверхностью коричневато-бурой воды, неподвижной, будто решившей остаться здесь навсегда, торчали макушки кустов, косо поглядывавшие на незваную

гостью, которая затопила все вокруг. Нападение и схватка состоялись там, дальше, у плотины, перегородившей реку, а здесь все произошло тайно, воровски, бесшумно. За ночь вода с глухим урчанием залила все пространство, и равнина встретила рассвет уже полоненной.

Бесник, Илир и Виктор приближались к реке. Ее невозможно было узнать. Безмерно раздувшаяся, словно после обильного застолья, агрессивная, самодовольная и хмельная от легкой победы, распласталась она в объятиях льстивых вод, вконец потеряв и стыд, и достоинство.

Над поверхностью воды кружил вертолет.

«Так, наверное, начиналось сотворение мира»,— подумал Илир.

— А это что плывет?— вскрикнул Бесник.— Вон там, смотрите.

— Мертвая овца,— спокойно ответил Виктор.— Вы тут еще и не такое увидите. А вот и мост, по которому мы будем переправляться на другую сторону.

— Где? Где?

За машинами моста видно не было, казалось, что они плотной колонной плывут по воздуху над водой. Вертолет, на минуту исчезнув, вновь появился.

Переправа по мосту длилась не менее четверти часа. На поверхности бурлящего потока то и дело появлялись (так бывает при кипячении воды, когда температура достигает сорока градусов) различные предметы: мертвый скот, бревна, детские книжки, стулья, кладбищенские кресты, афиша, на которой можно было прочитать: «КРАЕВОЙ ФЕСТИВАЛЬ САМОДЕЯТЕЛЬНОГО», стебли кукурузы, телефонные провода, индюки, табличка с надписью «ПРАВЛЕНИЕ КООПЕРАТИВА. ЧАСЫ ПРИЕМА 12—14, КРОМЕ СРЕДЫ», детская обувь, зерно... «С болью, брат мой, с болью»,— вспомнил Бесник слова русского летчика.

Переправившись, журналисты еще целый час добирались до штаба по борьбе со стихийными бедствиями. Около только что натянутых палаток суетились люди. Сотни добровольцев приехали в район бедствия.

Штаб № 4, разместившийся в наспех сколоченном бараке, гудел от людских голосов и включенного на полную мощность радиоприемника. Несколько студентов инженерного факультета налаживали телефонную связь.

Журналисты вошли в штаб, когда высокий небритый мужчина, склонившись над столом, осипшим от крика голосом кого-то нещадно распекал:

— Зла на вас не хватает, нечестивцы!— грохнул он кулаком по столу.

— Начальник штаба проводит очередное совещание,— шепотом сказал Виктор.

В железной бочке, приспособленной под печку, глухо гудел огонь. Виктор насилу пробрался к начальнику штаба и что-то сказал ему на ухо. В ту же минуту наступила полная тишина.

— Что ж, нечестивцы, на этот раз вам повезло,— выдохнул он.— Убирайтесь! Глаза бы мои вас не видели!

Члены штаба один за другим бочком выбирались из барака, и только тут журналисты смогли рассмотреть лицо начальника: чрезмерно вытянутое, осунувшееся и неестественно красное. И на этом лице — мягкие, наивные, будто случайно оказавшиеся здесь глаза.

— Садитесь, пожалуйста, товарищи журналисты,— устало пригласил он.— Вы уж извините нас, и покричать приходится, а порой вообще хоть вой. Что поделаешь?

Он улыбнулся. Щетина давно не бритых щек и густые брови приобрели от отблесков огня красноватый оттенок, сравнявшись по цвету с лицом. Теперь голова его походила на красный шелковый абажур на лампеночнике.

«Все разошлись, разъехались»,— с тоской подумала Зана.

Три часа дня. В это время дома всегда кто-нибудь был, а сегодня — ни души. Лирия отправилась на партсобрание, Кристач уехал в район наводнения. Сейчас многие поехали туда. Пожалуй, и он там. Думая о Беснике, Зана все чаще заменяла его имя коротким «он». Тень вместо человека.

«Скоро придет Марк заниматься французским. По радио опять передают легкую музыку». Зана подошла к холодильнику, открыла дверцу и взяла бутылку с коньяком.

В комнате было тепло, а за окном — будний зимний день, серый и неприветливый. На хмуром небе — ни одного просвета. «Он ушел, и мир словно померк». Занятая своими мыслями, Зана машинально налила полную

рюмку коньяку и долго стояла с ней, устремив взгляд в окно. Наконец она очнулась, перевела взгляд на рюмку и даже удивилась, что держит в руке этот кусочек стекла.

Что она делала все это время? Где была? С того самого вечера, когда он обидел ее, Зана отключила телефон. Они ни разу не виделись, не разговаривали. «Надо поставить точку в этой затянувшейся истории,— убеждала ее Лирия.— Если он разлюбил, выбрось его из головы. Выбрось...» Зана несколько раз спрашивала мать, не побывала ли она у Бесника на работе и не наговорила ли там чего лишнего, но Лирия категорически все отрицала. «Тогда почему он так вел себя?— мучилась Зана — и не находила ответа.— По-видимому, он искал предлога для ссоры и окончательного разрыва. А может, он полюбил другую? Он ведь нравится девушкам». Зана не осознавала, что теряет контроль над собой. Рассудок, возвращаясь к одной и той же мысли, лихорадочно подыскивая тысячи самых невероятных объяснений, затуманивался, и, всегда рассудительная и благоразумная, она вдруг начинала верить самым нелепым слухам и домыслам.

Зана поднесла рюмку к губам. Коньяк показался горьковатым.

Недавно она видела его во сне. Точнее, не его: он даже во сне ей не являлся, просто слышала его голос по телефону. Ей приснился огромный бильярдный стол с невероятно толстыми ножками, вокруг которого толпились крошечные игроки. Они играли, а она без конца задавала ему по телефону один и тот же вопрос: «Бесник, за что ты так жестоко обидел меня?» Он пытался ей что-то объяснить, но делал это очень странно: все время твердил, что рассержен из-за четверга, второго четверга, а точнее — второго четверга прошедшей недели. Когда же она прервала его, сказав, что в его словах нет логики, он спокойно заметил: «Конечно, нет, и быть не может, ведь я больше не существую».— «Не существуешь?!» — поразилась Зана. «Меня нет, я звоню из небытия»,— сказал Бесник. Только тут она обратила внимание, что его голос звучал глухо, будто издалека. Ей даже показалось, что это и не голос вовсе, а только прах его голоса, развеянный над бескрайними просторами Вселенной. Зана проснулась, захлебываясь от рыданий. Черный квадрат окна немного успокоил ее: всматриваясь в него мокрыми от слез глазами, она уте-

шала себя тем, что оба они — и он, и она — живут на одной планете.

В дверь позвонили. Зана быстро допила коньяк и спрятала пустую рюмку в буфет.

— Добрый день,— сказал Марк.

— Добрый день, Марк. Проходите.

Марк робко вошел в комнату и присел на краешек дивана. Зана отметила несколько торжественный вид Марка, который придавала ему ослепительной белизны рубашка с накрахмаленным воротничком. Скользнув равнодушным взглядом по его лицу, Зана подумала: «Интересно, любил ли когда-нибудь этот человек?»

Она села рядом с ним и открыла книгу. Неожиданно Зана сделала для себя открытие: оказывается, когда двое людей, сидя на диване, читают одну книгу, их плечи почти соприкасаются, и в этом есть что-то интимное.

— Начнем?— предложила она почти весело.

Марк, видимо, почувствовал легкий запах коньяка и, улыбнувшись, опустил глаза.

— Может быть, хочешь выпить?— спросила Зана смущенно и, не дожидаясь ответа, встала.

Дрожащей рукой она наполнила две рюмки и вернулась в комнату. Они молча выпили. «Что я делаю?» — с ужасом подумала Зана.

— Начнем,— сказал Марк.— Il fait froid[1].

«Как живет этот человек совсем один?— снова подумала Зана.— Месяцами никого рядом. За несколько недель, проведенных без Бесника, я поняла, что такое жизнь в одиночестве».

— Il fait froid,— повторил он автоматически.

«Конечно, холодно. Зима. L'hiver[2]. Но какая холодная зима там, в Москве. Он, наверное, промерз до костей. Теперь он далеко. Чужой, недосягаемый. Незнакомые города, в которых он жил, улицы, по которым ходил, дома, в двери которых стучался. Совсем иная архитектура...»

— Пожалуйста, прочитайте текст еще раз,— попросил Марк.

Она прочитала. Что за язык, право? Зачем она его выучила? Il fait froid. Теперь он там, где наводнение, где катастрофа. «Но настоящая катастрофа здесь, у меня»,— едва не застонала Зана.

---

[1] Холодно *(фр.)*.

[2] Зима *(фр.)*.

По радио продолжали передавать музыку. Марк поднял голову от книги:

— ?

В глазах Заны стояли слезы. Ее самой словно бы не было. Одни глаза — огромные, точно окна заброшенного дома, в котором еще теплилось дыхание покинувших его людей.

— Что с вами?— испуганно спросил Марк.

— ...

Не зная, как поступить, он начал читать текст дальше, но смысла не понимал, словно перед ним были этрусские надписи. Внезапно плечи Заны задрожали, и из горла вырвалось долго сдерживаемое глухое рыдание. Марк отложил книгу в сторону. Несмело протянув руку к ее волосам, темной ночью окутавшим голову, он хотел погладить ее, чтобы успокоить, но вдруг почувствовал неведомую доныне нервную дрожь, которая пробежала по всему телу. Его било как в лихорадке. То, что произошло потом, походило на падение в черную бездну.

Постепенно комната снова наполнилась дыханием жизни. До их сознания стали долетать не только звуки, но и отдельные слова, сначала бессвязные и разрозненные, а потом все более осмысленные. По радио передавали последние известия. Зана смотрела на приемник, будто слушала его глазами. «Прорыв плотины»,— единственное, что она поняла отчетливо.

Марк с удивлением смотрел на ее обнаженное колено, не понимая, почему Зана не спешит привести себя в порядок. Слегка побледневший, в белой рубашке со сбитым набок галстуком, он выглядел несколько смущенным и растерянным.

— Ты думаешь, это конец?— спросила Зана весьма спокойно и, чуть помедлив, добавила: — Как у меня?

Марк отрицательно замотал головой.

— Нет,— выдавил он еле слышно.

Зана пристально посмотрела на Марка.

— Нет,— повторил он решительнее.— Клянусь тебе, Зана. Никогда.

Его лоб страдальчески наморщился. Зана опять испытующе посмотрела на Марка.

— Наверняка вы там, внизу, обсуждаете эту тему, на что-то надеетесь,— продолжала она, удивляясь, что может свободно высказать ему все прямо в лицо.

Марк взглянул на нее. В другой ситуации Зана за-

метила бы скорбную складку, которая глубокой бороздой пересекла его лоб, и пожалела бы о своих словах.

— Да,— сказал он едва слышно.— Возникали, конечно, и мечты, и безумные надежды.

— Безумные надежды,— эхом повторила Зана.

— Но я никогда так не думал,— тихо произнес он.

— Так уж и никогда?

— Никогда!

На минуту они замолчали. Зана поправила юбку, встала и открыла холодильник.

— Зана,— несмело позвал он.— Вы... вы, наверное..., я... все же...— Он смешался.

Зана со злостью захлопнула дверцу холодильника.

— Я не хочу вас больше слушать,— сказала она резко.— Уходите!

Уверенная, что он встал и идет следом за ней, Зана направилась к двери. «И все же... выгода, то есть он, Марк... из этого раскола... буржуазия... эта выгода... единственная выгода...» В голове вертелись обрывки фраз, но ей не хотелось собирать их в более или менее связный текст, чтобы вконец не обидеть Марка.

Закрыв дверь, Зана поспешила в ванную, быстро разделась и встала под горячий душ. «Какая мерзость!»— брезгливо подумала она, стараясь смыть даже воспоминание о случившемся.

Первое, что услышал Марк, возвратившись домой, это привычный гомон голосов в комнате матери. «Наверняка вы там, внизу, обсуждаете эту тему, на что-то надеетесь...» — вспомнились ему Занины слова. Марк бросился, не раздеваясь, на постель и попытался восстановить в памяти то, что произошло часом раньше. Ситуация казалась ему почти невероятной. Время будто сжалось до краткого мгновения. Ласковые слова, улыбки, безмолвный обмен красноречивыми взглядами, легкие, как бы случайные прикосновения, робкие поцелуи — привычный набор отработанного ритуала ухаживания заменил порыв, безумный и страстный. Сцена разыгралась столь бурно, что память не запечатлела точной последовательности действий. Марк понимал, что после этого между ними пролегла непреодолимая пропасть. Раньше он жил надеждами, теперь у него остались лишь воспоминания. Голова раскалывалась, мысли путались.

Дверь приоткрылась, и в комнату вошла Эмилия.

— Марк, у нас гости. Ты выйдешь?

— Нет, у меня страшно болит голова.

Марк знал почти дословно, что будут говорить в соседней комнате. Всю неделю они собирались компанией днем или вечером, и всякий раз в их глазах читались одни и те же вопросы: «Почему ничего не происходит? Почему все остается по-прежнему? Может, наша радость была преждевременной и все сведется к простому теоретическому спору?» Каждую неделю, каждый день они ждали перемен, не зная точно, какими они будут. Мечтали, чтобы кто-нибудь начал действовать первым. Только не они.

Марк встал, осторожно отворил дверь и вышел в коридор. Голос диктора, читавшего по радио новости, смолк, и сразу же в комнате матери стало шумно. Заговорили все сразу.

— Теперь непременно что-нибудь произойдет,— убежденно сказала Хава Фортузи.

— Скорей бы,— послышался голос Нурихан.— Только об одном молю Аллаха, чтобы помог мне дожить до того светлого дня. Думаю, до весны все решится. Только бы дожить. А иначе — как лечь в землю с таким грузом?

— Не говори так, мама,— прервала ее Эмилия.

— Затоплены все кооперативы. Хочешь не хочешь, а теперь придется пойти на поклон к Западу,— сказал Экрем Фортузи.— Свои-то с Востока хлеба больше не дадут.

— Ох, скорей бы уж открылись пути на Запад,— вздохнула Хава.

Марк заметил, что чем больше они мечтали, тем больше их сковывал страх. Порой казалось, что страхом пропитано все: пол, потолок, оконные стекла, окружающий мир. «Если бы они только знали, где я был и что делал полчаса назад,— подумал он и тут же содрогнулся: — Связаться с девушкой из тех, кого они презрительно называют «товарищи»? Нет, это невозможно! Особенно сейчас, когда все ожесточены. Если бы они узнали об этом, они бы прокляли меня, разорвали бы на части». «Подлец! Ничтожество! Ты опозорил нас»,— звучало у него в ушах. Марк прислушался.

— На базе во Влёре дела плохи,— вновь заговорил Экрем Фортузи.

— На военной базе?

— Именно. В Паша-Лимане.

— Паша-Лиман,— тихо повторила Хава.— Многие годы эти два слова вселяли в нас ужас. Когда по ночам я мечтала о высадке на побережье англичан или американцев, передо мной, как призрак, являлись эти два слова.

— Эта база точно сторожевой пес,— сказал Экрем Фортузи.— Но теперь старик Паша-Лиман потерял зубы. Говорят, базу демонтируют.

Марку хотелось заткнуть уши. Он ходил из угла в угол, но внезапно остановился и прислушался. Разговор от базы во Влёре снова вернулся к наводнению.

— Все затоплено,— сказала Нурихан.— Два дня я слушаю выпуски новостей. Под водой оказались земли Юмер-бея и Йахья-бея, поместья Катроша, Турханая, Рока, общины дервишей Беуна и Большой Митрополи. Погибли женщины и дети. Исполнилось проклятие несчастных, которые были ограблены и изгнаны со своих земель.

— Говорят, мертвецы встали из могил,— вставила Хава Фортузи.— Видели бея Юмера, настоятеля общины дервишей из Беуна. А один мертвец вскарабкался на дерево. Все они смотрели на затопленные земли и смеялись. Дико хохотали.

— Храни нас, Аллах!— прошептала Эмилия.

— Несчастные,— вздохнула Нурихан.— Земля не приняла их, вот и маются.

Потом заговорили о старых, давно умерших знакомых, вспоминали их привычки, отдельные слова, манеры. А затем, по обыкновению, разговоры перешли на болезни, ревматизм, который разыгрывается перед дождем, вспомнили о каких-то необыкновенных капюшонах, накидках и многом другом, что связано с дождем.

В штабе по борьбе со стихийными бедствиями гудела, полыхая жаром, бочка.

— Сукин сын! Троцкист паршивый!— обрушился на лохматого паренька начальник штаба.— Нашел время жениться! Тут беда всенародная, а он...

Парень растерянно моргал глазами, будто только что вернулся с другой планеты, где нет ни воды, ни наводнений. Он крепко держал за руку совсем молоденькую девушку, которая то ли от смущения, то ли от жары в бараке раскраснелась и боялась поднять глаза.

— Товарищ начальник, товарищ начальник...— лепетал парень.

— О чем говорить?! Глаза бы мои тебя не видели! Кругом люди тонут, гибнут, проявляют чудеса мужества, а ты... Воспользовался суматохой и умыкнул девушку. Троцкист! Не выводи меня из себя!

Парень еще сильнее заморгал глазами, хотел что-то сказать, но сдержался. Вчера в общей неразберихе он действительно выкрал девушку, которую родители целый год отказывались выдать за него замуж. Услышав последние слова начальника штаба, он резко развернулся, так что девушка, которую он держал за руку, едва не упала, и выскочил из барака.

Бесник задумчиво смотрел вслед молодой крестьянке. Вместе с Илиром они сидели на кровати с пружинным матрацем, покрытым легким одеялом, и наблюдали за тем, что происходит в штабе.

— Куда вы запропастились?— набросился начальник на торопливо вошедших в барак двух членов штаба.— Бросили меня. С ума можно сойти. Да я лучше бревна пойду разгружать.— Тут он взглянул на свои руки, не знавшие тяжелой работы, на тонкие длинные пальцы и несколько пообмяк.— Нечестно поступаете, ребята.

Один из членов штаба, видимо не выдержав обвинений, грохнул в отчаянии кулаком по столу.

— Хватит! С тобой умом тронешься, змей ненасытный! Ровно через два часа я вот этими самыми руками,— он покрутил у шефа перед носом огромными кулачищами,— доставлю тебе цемент, и бревна, и черепицу... Все-все доставлю.

— Правда? Не врешь?

— Конечно, правда. Сам пойду, в лепешку расшибусь, а все сделаю. Чтоб только ты, змеюка, был доволен.

Начальник штаба от удивления раскрыл рот.

— Да что ты? Постой!

Но члены штаба, хлопнув дверью, пулей вылетели из барака. Начальник тяжело дышал, не сводя глаз с двери, за которой скрылись его подчиненные. Илир протянул ему пачку сигарет.

Вошел шофер с воспаленными от недосыпания глазами и подал путевку.

— Подпишите. Вот здесь.

— Может, малость отдохнешь?— заботливо спросил начальник.

Но шофер только рукой махнул и скрылся за дверью.

Следующим появился человек, который тотчас направился к печке, чтобы обогреться с дороги. Его красный фургон с номерным знаком «TR 17-55» был хорошо виден из окна.

— Что привез?— спросил начальник штаба.

— Мясо,— улыбнулся шофер.— Прямо из Тираны.

Лицо его было усыпано веснушками, и когда он улыбался, они оживали и начинали прыгать, точно зернышки проса. Рыжеватые завитки волос придавали лицу особую приветливость.

— Ну что, рыжий, греешься?— спросил один из зашедших подписать путевку.

Шофер фургона, улыбнувшись, кивнул. Каждый, кто заходил, называл его рыжим, и каждому он улыбался. При этом веснушки на его лице оживали и начинали свой причудливый танец.

— Отдохни немного,— участливо и даже с нежностью сказал начальник штаба.— Прилег бы вон там, на постели.— Он указал еще на одну кровать, покрытую легким одеялом.

— Спасибо,— вежливо отозвался конопатый.

Он сперва сел на край постели, потом прилег, вытянув ноги, и спустя минуту спал, неловко сунув руки под голову. В тот же миг с лица его слетела улыбка, а желтые конопушки будто замерли.

— Посмотри, какое лицо,— тихо сказал Бесник, но Илир уже давно наблюдал за шофером.

— Эй, Мурат! Мурат!— позвал начальник, барабаня по стеклу.

Человек по имени Мурат вошел в барак.

— Ты что скрываешься от меня, точно разбойник?— набросился на него начальник штаба.

Мурат изобразил улыбку. Начальник вплотную подошел к нему. Они впились друг в друга глазами.

— Собака! Ты обманул меня!— истошно завопил он, будто все время только и делал, что искал этого Мурата. Потом он отшатнулся от него. Голос его хрипел от злости.

— Нет!— сказал Мурат.— Нет, нет и нет!— упрямо твердил он.

— Одеяла? Где одеяла?

Мурат затравленно озирался по сторонам.

— Троцкист!— взревел начальник.

Свидетели этой сцены едва сдерживали смех.

— Подлец!— не унимался начальник.

— Смотри!— Мурат закатал штанину. На правой ноге багровым пятном расплылся синяк.

Начальник подался вперед и с детским любопытством уставился на распухшую ногу Мурата. Неизвестно, чем бы закончился этот странный диалог, если бы в барак не вбежал худой коротко остриженный парень.

— Товарищ начальник!— закричал он с порога.— Там, около бараков, появился советский корреспондент «Правды». Только что вышел из автомобиля.

Начальник вмиг потерял всякий интерес к Мурату.

— Корреспондент «Правды»? — воскликнул он и от удивления даже присвистнул.— Значит, корреспондент «Правды»... Значит, он прибыл... смотрит, значит. Сдается мне, сегодня придется кое-кого кастрировать.

Вошел курьер. Он был небрит.

— Ну, а ты что мотаешься с такой бородищей, страх на людей наводишь?— набросился на него начальник.

Курьер не успел ответить. В барак ввалилась шумная группа людей. Они громко кричали, перебивая друг друга.

— Товарищ начальник!— обратился один из них.— Поймали вот сучонка, народ байками запугивал, панику сеял. Говорил, будто видел привидения и души умерших. А ну, расскажи, подлец, что ты видел?

Насмерть перепуганный человек поднял руки вверх. Он был темноволосый, с вытянутой, как у лиса, физиономией.

— Я говорю то, что видел,— начал он робко.— Хаджи никогда не врет. Хаджи говорит только то, что видел сам.

— Короче, что ты видел?— спросил начальник штаба.

— Я видел души. Они плыли над водой. Делали знаки руками и ногами. Смеялись.

— Да ты, наверное, видел скелеты из размытых водой могил?— догадался кто-то.

— Хаджи говорит то, что видел. Хаджи не видел размытых могил.

— Замолчи ты, декадент несчастный! Фаталист!— взвился начальник штаба.— Я запрещаю тебе рот открывать.

Паникер тотчас был выставлен за дверь, а начальник переключился на членов штаба. Он был взбешен. Казалось, на его лице не могут отражаться никакие другие чувства, кроме гнева и раздражения, а брови на-

всегда останутся насупленными. В момент, когда брань достигла предела, в бараке появился новый человек. Он подошел к начальнику штаба и сказал:

— Товарищ начальник, только что сюда привезли более ста жертв наводнения. Мы думаем, вам следует выступить с речью, чтобы поднять, так сказать, их моральный дух. Это совершенно необходимо.

Начальник молча опустил голову. Когда он оглядел присутствующих, лицо его изменилось до неузнаваемости: на нем была печать нечеловеческой усталости — результат бессонных ночей.

— Сейчас иду,— сказал он непривычно тихим голосом и, сняв с гвоздя пальто, вышел на улицу.

Все последовали за ним.

— Пойдем и мы,— сказал Илир, поднимаясь.

Они надели пальто. В натопленном бараке никого не было, кроме спавшего мертвым сном шофера фургона. Выходя, они оглянулись. Он спал с открытыми глазами. Безжизненные, словно у покойника, они остекленело уставились в потолок.

Маленький городок, выросший за несколько суток среди болот и топей, оживленно гудел. Из репродукторов лилась музыка. На бараке, находившемся напротив штаба, кто-то мелом в шутку написал: «Бар «Наводнение». Тут и там сновали студенты электротехнического и медицинского факультетов.

— Некоторые из них учились за рубежом,— сказал Илир.— Недавно вернулись.

Бесник с интересом разглядывал студентов.

— Вы учились в Москве?— обратился он к двум парням с толстыми шерстяными шарфами на шее.

— Да, в Москве.— Студенты готовы были продолжить беседу, но, заметив отсутствующий взгляд Бесника, промолчали.

Он хотел спросить, не были ли они на Белорусском вокзале, когда албанская партийно-правительственная делегация покидала Москву, но передумал, не желая давать повода для беседы на весьма щекотливую тему. Бесник хорошо помнил то последнее утро в Москве. Погода соответствовала времени года. Серое ноябрьское небо свинцовым куполом нависло над землей. Было около девяти утра, а казалось, еще не рассвело. В зале ожидания над грудой чемоданов тускло горели лампы днев-

ного света (при таком освещении громкие разговоры кажутся неуместными, а кофе — холодным). Они сидели на массивных кожаных креслах и пили кофе. Провожал албанскую делегацию Анастас Микоян. Все поглядывали на часы, по-видимому, проводы были в тягость обеим сторонам. На станционной платформе делегацию ожидал сюрприз — огромная толпа албанских юношей и девушек, учившихся в Москве. Люди в штатском, скорее всего из КГБ, озабоченно сновали по платформе. Студенты молчаливой стеной выстроились за кордоном милиции и станционных служащих. Завидев Энвера Ходжу, они разразились бурными аплодисментами, напоминавшими не столько приветственные рукоплескания, сколько оглушительную канонаду. «Что это?» — удивился Микоян. «Албанские студенты, живущие в Москве»,— пояснил кто-то из сопровождавших его лиц. Энвер Ходжа обернулся и приветственно помахал им рукой. Аплодисменты усилились. «Сильней! Еще сильней!» — мысленно подбодрил их Бесник. После стольких дней молчаливого негодования эти аплодисменты показались ему прекрасной очистительной музыкой, и он не променял бы ее ни на какую другую. «Эн-вер Ход-жа! Эн-вер Ход-жа!» — скандировали студенты. «И это тоже походит на орудийные раскаты»,— отметил Бесник. Энвер Ходжа снова помахал рукой. Лица студентов с большого расстояния разглядеть было невозможно, но чувствовалось, что настроены они серьезно. «Они не знают, что произошло, но, думаю, догадываются»,— услышал Бесник голос албанского посла, шедшего сзади, а про себя подумал: «Еще бы они не догадывались, когда делегация отбывает неожиданно и провожают ее без соблюдения протокола. Нет ни музыки, ни государственных флагов». «Приезжайте еще,— сказал Микоян, прощаясь за руку с Энвером Ходжей.— На отдых...» — поспешно добавил он, встретившись взглядом с товарищем Энвером. «На отдых»,— перевел Бесник. Усмешка скользнула по губам Ходжи и тотчас исчезла. Мыслями он уже был далеко. Члены делегации вошли в вагон. Микоян, албанский посол и сопровождающие их лица остались на перроне. Студенты продолжали громко аплодировать. Внезапно перрон, стоявшие на нем люди, вокзальные колонны — все медленно, как во сне, поплыло. Поезд тронулся. Вагон приближался к тому месту, где стояли студенты, и когда он поравнялся с ними, они, прорвав милицейский кордон, бросились к нему. Поезд шел пока очень мед-

ленно, и студенты некоторое время бежали рядом с вагоном. Их лица почти касались оконных стекол, и в глазах стоял один тревожный вопрос: «Что случилось?» Поезд постепенно набирал скорость, и студенты один за другим оставались на серой ленте платформы.

— Они приехали из Москвы сразу же вслед за нами,— сказал Бесник.

— По-видимому, они надеялись вернуться обратно, поэтому не взяли с собой зимней одежды,— предположил Илир.

Бесник хорошо запомнил бежавшего за вагоном высокого парня, резко выбрасывавшего вперед ноги; он последним исчез за окном. Покинув пригороды Москвы, поезд мчался через Россию на запад. За расписанными морозом окнами вагона в утомительном однообразии простиралась бескрайняя заснеженная равнина. Бесник время от времени клевал носом, но заснуть почему-то не мог. Сон походил на ветхую ткань, расползавшуюся от любого легкого прикосновения. За окном мелькали похожие друг на друга станции со странными названиями, оканчивающимися на «ово» или «ская». Смеркалось. «Что это? Россия или Белоруссия?» Бесник пытался разглядеть местность. За окном по-прежнему была все та же необозримая снежная равнина, и лишь изредка возникали и исчезали почерневшие избы. Отрывистые гудки локомотива словно бы поторапливали наступление ночи.

Всю ночь локомотив подавал гудки...

Проснувшись в очередной раз, Бесник увидел за окном над бескрайним пространством серпик луны, похожий на букву «С»,— древний символ луны, который и поныне украшает государственные флаги многих мусульманских стран. Говорят, название «Anadoll»[1] происходит от староалбанского «Hëna del»[2]. Бесник представил лица древних степных кочевников: луннообразно-плоские, с раскосыми глазами, с выступающими скулами и застывшим в глубине глаз извечным страхом. Они вышли из степей и расселились по разным сторонам. На приеме в Кремле Бесник видел чукчей — пример процветания всех наций и народностей в СССР,— которых не знали куда усадить и чем угостить. Наступила ночь. Колеса отстукивали километры: «А-на-дол. Хэ-на-дель.

---

[1] Название Малой Азии в период Османской империи.

[2] «Хэна дель» (Луна выходит) *(алб.)* по звучанию — «Анадол».

А-на-дол. Хэ-на-дель...» «И у нас они, наверное, когда-то были,— пробормотал сквозь сон Бесник.— Калмыки... Киргизы... Узбеки... Дети одной семьи тюрков. Перелетные птицы наследуют память предков о передвижении с севера на юг. Наверное, люди тоже помнят пути переселения своих предков. Чукчи...»

— Посмотри-ка,— толкнул его в бок Илир.

На сколоченной из досок уборной кто-то написал масляной краской: «WC Igor Laptev».

Бесник рассмеялся. Студенты продолжали прокладывать линию телефонной связи. Черные провода как бы определяли границу перемещения слоев холодного воздуха. Бесник неотрывно смотрел на них. Чуть поодаль стояла толпа пострадавших во время наводнения. Начальник штаба держал речь. Бесконечная колонна грузовиков черной змеей ползла по залитому водой шоссе.

— Ты с побережья?— долетел до Бесника вопрос, заданный кому-то у входа в барак.

Мимо шли девушки в спортивных брюках, почти все они, как школьницы, держались парами. Они переговаривались, перебрасывались на ходу шутками, а то вдруг приостанавливались, чтобы поделиться секретами, а потом весело бежали дальше, хохоча и дурачась.

— Гибнет земля,— вздохнул какой-то старик, с болью глядя на залитые водой поля.

По шоссе с включенными сиренами шли пять белых машин «скорой помощи». Их красные кресты тревожно мерцали над водой.

— От плотины идут,— сказал кто-то.— Там рабочие с заводов Тираны.

«Совсем как на войне»,— подумал Бесник.

Во временных бараках спешно размещали крестьян, оставшихся без крова. Закутанные в толстые шерстяные одеяла, некоторые с деревянными люльками на спинах, они толпились у входа. Где-то затрещали телефоны — наверное, наладили линию связи. «Как там Зана?»— вяло подумал Бесник.

Городок жил своей послеполуденной жизнью. За трое суток выработался определенный ритм. Наступило время, когда люди потянулись к баракам, а потом к бару «Наводнение».

По шоссе прошли еще две сопровождаемые воем сирен машины «скорой помощи».

— Гибнет земля,— опять вздохнул старый крестьянин, встретившись взглядом с журналистами. Он повторял эти слова всем, кто мог его услышать.— Пропадает земля, но вам-то, приезжим, что, вам дела нет до этого!

Журналисты с удивлением глядели на него. У старика на глазах выступили слезы.

— Машины, медпункт, провода,— продолжал бормотать старик,— а кормилица наша погибает. До этого никому нет дела. Не придумали для земли больниц, нет для нее лекарств.

Илир хотел возразить, напомнить о людях, но старик опередил его:

— Сперва земля, потом уж мы, люди.

Бесник посмотрел туда, где, по словам старого крестьянина, гибла земля.

На шоссе показалась еще одна машина «скорой помощи». Ее крест, отливая багрянцем, светился между затопленной землей и сумрачным небом.

Журналисты стояли около бара «Наводнение». Какая-то девушка в спортивном костюме, сидя на корточках, пыталась починить портативный магнитофон, стоявший на коробке из-под макарон.

— Не работает?— участливо спросил Илир.

Девушка обернулась.

— Вы не поможете?— попросила она, едва не плача.— Я корреспондент радио, а тут...

— С удовольствием,— расшаркался Илир.— Мы ведь тоже журналисты. Бесник, ты смыслишь в магнитофонах?

Бесник взял магнитофон и под пристальным взглядом девушки несколько раз поменял местами кассеты. Неожиданно для него самого магнитофон заработал.

— Ой, спасибо вам огромное!— обрадовалась девушка.

— И что же вы успели записать?— спросил Бесник.

Наклонив голову, девушка внимательно смотрела на него, не понимая, шутит он или интересуется всерьез.

— Интервью разные. Хотите послушать?— предложила она.

— Да.

— Если что не так, скажите. Это моя первая командировка.

Бесник надел наушники. Девушка не сводила с него глаз, пытаясь понять, нравится ему запись или нет. Черты ее миловидного скуластого личика, изгиб губ соот-

ветствовали форме и округлым линиям заколки в ее волосах.

«Не могли бы вы, товарищ начальник штаба, рассказать нам...» В наушниках голос девушки звучал мягко, певуче, а легкая картавость придавала ему особую прелесть. Интервью с начальником было записано на фоне работающего двигателя грузовика. Потом появился другой голос: «Я прямо с плотины. Мы, рабочие Тиранского завода имени Фридриха Энгельса, двое суток подряд...» Затем еще один: «Иностранные специалисты бросили нас, но мы...» Бесник внезапно вспомнил другие голоса — голоса выступавших в Москве. Они вновь зазвучали у него в голове, в общем хоре, перемежаясь с записанными на пленке. «Вы, товарищи албанцы, очень скоро раскаетесь в этом...», «За ночь плотина, прорванная в нескольких местах...», «Вы подняли знамя раскола...», «Мы призываем вас, пока не поздно...», «Еще немного, и плотина рухнет...», «Просите прощения у матери-партии... матери-партии... матери-партии...», «Там погибли два наших товарища...», «Одумайтесь, пока не поздно...», «С вами трудно разговаривать. Вы слишком нервничаете...» — «А вы?..», «...ваши нервы...», «...спокойнее...», «Хорошо ли переводчик знает русский язык?».

Бесник сорвал с головы наушники.

— Не понравилось? — убитым голосом спросила журналистка. Она с недоумением и беспокойством следила за выражением его лица, которое все больше мрачнело.

С минуту Бесник смотрел на нее в упор и не видел.

— Простите,— спохватился он наконец.— Страшно разболелась голова.

Девушка и Илир переглянулись. Илир неопределенно пожал плечами: не обращай, мол, внимания.

— Какое самомнение,— пробормотала журналистка, выключая магнитофон.

— Пойдемте в бар,— предложил Илир.

Среди машин, стоявших возле бара, бросался в глаза забрызганный грязью микроавтобус.

— Археологи приехали,— пояснил стоявший невдалеке парень, хотя его никто ни о чем не спрашивал.— Они сделали поразительное открытие.

— Что за открытие? — заинтересовался Илир.

— Вода вымыла из-под земли таблички с древними письменами. Они здесь, в машине.

Журналисты вошли в бар. Там было дымно, шумно, и со всех сторон раздавался смех. Стойку загораживал

частокол из голов и плеч. Длинный, точно жердь, человек о чем-то спорил с буфетчиком.

— Я уже сутки кручусь как белка в колесе,— недовольно гудел буфетчик.

Голоса завсегдатаев, окруживших спорщиков, заглушали шум в зале. Журналистам с большим трудом удалось взять по чашке кофе, и они искали место, где можно было бы пристроиться.

— Вы археолог?— обратился Илир к полному коренастому мужчине, который сидел у стены между столиками.

— Нет, братец, я не археолог, я врач-гинеколог.

— Это мы археологи,— поднялся долговязый парень.

Рядом с ним сидела молодая женщина. Парень был бледный, с потухшими глазами; казалось, он перенес тяжелую болезнь.

— А мы журналисты,— сказал Илир.— Говорят, вам удалось сделать сенсационное открытие.

Парень взглянул на женщину, которая до сих пор не проронила ни слова. Правильные черты ее спокойного лица, собранные в тяжелый узел волосы, гладкая открытая шея подчеркивали внутреннюю сосредоточенность.

— Два очень старых захоронения с хорошо сохранившимися надписями,— ответил молодой археолог, глядя на спутницу, словно бы ища ее одобрения и поддержки каждому своему слову.— В течение двух месяцев мы ведем раскопки в Паша-Лимане близ Влёры, но сегодня нас срочно вызвали сюда в связи с этими захоронениями.

— И что же это за могилы?— не выдержал Илир.

Археолог улыбнулся. Его спутница молча пила кофе и в разговоре не участвовала.

— Вы, вероятно, удивитесь, но в найденных могилах погребены турецкий генерал и его конь.

— Конь?!— удивился врач.

— Да, именно так,— продолжал археолог.— Судя по надписям, конь и всадник погибли во время осады одной из наших средневековых крепостей. Генерал руководил осадой, а его конь отыскал источник, который снабжал питьевой водой несчастных людей, окруженных кольцом блокады. Не так ли, Сильва?— обратился он к коллеге.

— О-о-ох!— тяжело вздохнул врач.— И когда только кончатся эти старые надписи?

— Не понял?!— настороржился археолог.

— Я говорю,— продолжал философствовать врач,— что от старых надписей все наши беды.

— С кем имею несчастье разговаривать?— В голосе археолога послышался металл.

Журналисты нашли наконец место, куда можно было пристроиться с чашками кофе. За одним из столиков они увидели корреспондента «Правды», с которым были знакомы, но, не сговариваясь, избегали смотреть в его сторону. В бар беспрестанно входили новые люди. Появился здесь и продавец газет.

— Слыхали?— кричал сидевший за соседним столиком мужчина.— В армии отменяются все звания. Не будет больше генералов.

— Что ты несешь?— попытался урезонить его сосед.

— Читай, в газете написано. Албания будет первой страной в Европе без генералов.

— О чем это он?— спросил Бесник.

— Опубликована статья о зарплатах.— Илир помахал свежей газетой.

— «Ленинский принцип оплаты труда при социализме»,— Бесник прочитал броский заголовок.— Мне казалось, что речь пойдет о высоких окладах работников партийно-государственного аппарата. А о воинских званиях... Хотя... Да, есть и о них.

— Интересно,— заметил Илир,— мы с тобой как-то говорили об этом. Помнишь?

Бесник молча кивнул.

В бар ввалилась шумная группа радио- и тележурналистов, среди них — знакомая девушка с портативным магнитофоном. На минуту взгляды Бесника и девушки встретились, но она тотчас отвела глаза. В зале стоял шум и неумолкаемый гомон.

— Наверное, будет концерт,— сказал кто-то за спиной Бесника.— Только что приехала большая группа артистов.

— Пусть души у людей немного отогреются...

— Слепцы,— послышался знакомый голос.— Земля гибнет, а вы...

— Кто это придумал?.. Не надо мешать естественному движению реки... К чему эти плотины, волнорезы? Река терпит их до поры до времени, а потом сносит...

— А где археологи? Нашли что-нибудь?

— Замолчи! Оглушил всех. Заладил свое: каменный

век, каменный век. Тоже мне Энгельс нашелся, все-то он знает...

— Тише, товарищи, тише...

— Я говорил уже и еще раз повторю: Албания — единственная в мире страна, где не было гонений на евреев...

— О-о-о, я тебе тоже скажу: Албания — единственная в мире страна без генералов... а у тебя на уме одни евреи..

— Факты, мой друг, упрямая вещь. Во время войны ни один еврей не попал в руки немцев.

— «Уберите агентуру, товарищ Хрущев»,— сказал Георгиу-Деж, когда московский гость приезжал в Бухарест. «Убрать агентуру?.. А как же я буду знать, что тут у вас в Румынии делается?..»

— Ни один еврей...

— Безумцы! Земля погибает. Земля поги...

Журналисты вышли на улицу. Сыпал мелкий снег. Смеркалось. Над головой темнели телефонные провода, на которые уже осел слой снега. А вокруг все тот же пейзаж: куда ни глянь — везде вода. Скоро пойдут машины, и замечутся по воде беспорядочные огненные блики — словно перед сотворением мира. Беснику вдруг смертельно захотелось домой, в тепло, в уют. Увидев, как слепые силы природы шутя могут перевернуть человеческую жизнь, он понял бессмысленность ссоры с Заной. Может, она ни в чем не виновата и он зря обидел ее в тот злополучный вечер. Бесник неприязненно взглянул на телефонные провода. Вчера, когда их протягивали, произошел несчастный случай. «Он пострадал ради меня»,— подумал Бесник о раненом связисте.

Из бара доносился шум. В штабе горел свет. Было слышно, как начальник в очередной раз с кем-то ругается.

— Куда вы все подевались?— кричал он.— Без ножа хотите зарезать?

— Илир, мне нужно позвонить,— сказал Бесник упавшим голосом.

— Конечно, позвони,— отозвался Илир, даже не поинтересовавшись, кому он хочет звонить.

Из всех слов Илир выбрал самые простые и сейчас Беснику самые необходимые. Их мог сказать только настоящий друг.

Они бродили по городку, припорошенному снегом. Все линии были заняты: по ним кричали, ругались, го-

ворили ласковые и сердитые слова, умоляли, обещали, вздыхали, вопили, предостерегали, рапортовали, угрожали, передавали сводки, сообщения, репортажи, приказы. Бесник и Илир гуськом, один за другим, шли по узкой, протоптанной в снегу дорожке. Лик земли, белый от снежного макияжа, казался загадочным, как японская маска. Они долго искали телефон, с которого можно позвонить, и наконец нашли. Новенький аппарат установили всего несколько минут назад, и по нему еще никто не разговаривал, да и номера его наверняка еще никто не знал. Бесник с замиранием сердца подошел к аппарату, внезапно ощутив непонятную внутреннюю пустоту. Номера телефонов всегда напоминали ему цифры на игральных картах, разложенных в причудливом пасьянсе. Бесник снял трубку и попросил соединить его с Тираной. На улице совсем стемнело. Услышав зуммер, он набрал номер телефона Заны и стал ждать. Ему показалось, что прошла целая вечность, пока в трубке раздались протяжные гудки вызова: первый... второй... Телефонные провода тянулись над заснеженной землей, над смертью. Прозвучал третий гудок. «Почему никто не подходит?— с тревогой подумал Бесник. Телефонные провода висели над мрачным безбрежьем воды, напуганной огнями бесконечного потока грузовиков.— Что могло случиться?» Четвертый гудок... пятый... Он готов был уже положить трубку, когда на другом конце провода, как из небытия, послышалось знакомое «алё». Этот голос он узнал бы из тысячи других.

— Это я,— вполголоса проговорил он.

Трубка молчала.

— Зана, это я, Бесник.

Молчание.

— Алло! Алло!— кричал он, нажимая на рычаг, будто хотел раздавить его — причину всех своих бед.— Алло! Ты меня слышишь?

— Да,— ответила Зана. Голос у нее был чужим и, как ему показалось, равнодушным.

— Я звоню тебе отсюда, с места аварии. Все кругом залито водой,— кричал Бесник, выходя из оцепенения.— Зана, я хочу, чтобы ты...

— Слишком поздно, Бесник,— сказала она потухшим голосом.

Он слышал ее дыхание.

— Что ты говоришь?— Он ничего не понимал. При других обстоятельствах он наверняка подумал бы, что

это реплика из какой-то сентиментальной пьесы, но сейчас все было иначе.

— Что ты сказала?— переспросил он.

И снова услышал ее дыхание и те же слова: «Слишком поздно, Бесник».

«Слишком поздно...» — повторил он про себя. В этой, может быть, слишком сентиментальной фразе звучала неподдельная человеческая боль.

Два года назад один драматический актер убил свою невесту. Он был человек неуравновешенный — манерный, напыщенный, с вихляющейся женской походкой,— и никто подумать не мог, что он способен на убийство. «Слишком поздно, Бесник... Актер, хотя и... Слишком поздно, Бесник»,— повторял он про себя, наверное, в десятый раз. Беснику показалось, что он понял причину внезапного волнения: «Конечно же, в слово «Бесник» она вложила всю свою боль и тоску». «Зану ты потерял... потерял...» — не давал ему покоя внутренний голос. «Слепцы, гибнет земля...» — он безотчетно повторил слова старого крестьянина, просто так, без всякой логики. А потом вышел на улицу, опустошенный и разбитый.

Глава XIX

10.00. Энвер Ходжа уже давно находился в своем кабинете на третьем этаже здания Центрального Комитета. На рабочем столе рядом со стопкой свежих газет лежала открытая папка с отчетом с места аварии на плотине. Взгляд его был прикован к колонкам цифр: число жертв, число погибших и раненых, нанесенный экономический ущерб, количество разрушенных домов, размеры затоплений. Ходжа сделал какую-то пометку на последней странице отчета и отложил его в сторону.

Второй материал содержал полный перечень приостановленных кредитов и замороженных контрактов со странами социалистического лагеря, а также сводку Национального банка о финансовом положении Албании. На минуту он отвлекся от чтения бумаг и задумчиво посмотрел в окно. Через огромные стекла в комнату лился сумрачный свет зимнего дня. Тусклое серое небо раскинулось над заснеженными горами. В этом пейзаже было что-то от вечности.

Ходжа вернулся к бумагам и стал медленно читать. Советский Союз. Чехословакия. Польша. Рубли. Форинты. Кроны. Злотые. И цифры, цифры, сплошные колонки цифр с бесконечным количеством нулей. Блокада началась две недели назад. Грузопоток в порту Дурреса катастрофически сокращается. Наметился спад производства на ста двенадцати основных предприятиях страны. Почти прекратилась работа на десятках строительных площадок, под угрозой зимнего паводка еще три плотины гидроэлектростанций. Болгария и Венгрия требуют уплаты старых долгов.

Он потер уставшие глаза и, облокотившись на стол, снова задумался. «Рубли... злотые...» — Воображение связывало их с сиянием золоченых куполов Кремля. Происходившее за его стенами, огромный зал заседаний — все это было где-то очень далеко. И все же он попытался мысленно вернуться туда. Он представил, как они сидят за огромным круглым столом и гневно размахивают кулаками, бумагами, портфелями, цитатами из Ленина и Маркса. «Хотя нет, сейчас у них в руках деньги и кредиты,— подумал он с отвращением.— Обычная картина обычного преступления. Это их совместное преступление. Пройдут годы, они поседеют, поуспокоятся; их слова и жесты обретут солидность и значительность, их речи украсят мысли сродни библейским — о сущем и вечном; они все чаще будут сидеть в президиумах, на юбилейных торжествах, появляться в кинохрониках, на экранах телевизоров; их имена замелькают на страницах мемуаров, в предисловиях к серьезным трудам; они с букетами в руках будут встречаться с пионерами, восхищенными их сединами, мудростью, культурой, чувством собственного достоинства, человеколюбием и великодушием, их немощными, полупрозрачными руками, напоминающими длани святых старцев, которые и мухи не обидят, руками, которые вскидывались вверх или разводились в стороны, осуждая несправедливость, эксплуатацию рабочего класса, жестокость, насилие, и которые теперь дрожат, принимая букеты цветов, хотя и это не смоет с них позорного пятна — ведь они в середине XX века оставили без хлеба маленький народ».

Ходжа знал, что снова и снова будет мысленно возвращаться в тот зал — зал мести за непослушание. С тех пор все залы, где выступал, Ходжа связывал с тем кремлевским залом, носившим имя некоего Геор-

гия. Вечером состоится торжественное заседание по случаю годовщины со дня смерти В. И. Ленина. Он будет выступать с докладом. Важно, чтобы в нем, как, впрочем, и в выступлениях других товарищей, никто не заметил и намека на раскол. Кое-что, правда, уже просочилось в народ, со временем этот ручеек наберет силу и превратится в бурный поток.

«Нынешняя зима,— раздумывал он,— время одиночества».

Ходжа взял следующий материал — сообщение об обстановке на военной базе Паша-Лиман во Влёре, которая начала обостряться. Он отчеркнул главное: «...существует реальная опасность вспышки вооруженных конфликтов...» — и на полях красными чернилами написал: «Изъять оружие у военнослужащих с обеих сторон, если они не несут караульной службы!»

За сообщением из Влёры следовала довольно толстая пачка писем, которые секретари посчитали необходимым показать ему. Это были отдельные и коллективные послания граждан страны и из-за рубежа. Писали рабочие завода по производству меди в Рубике, шахтеры Мэмалиайи, студенты, горцы Людьэт-э-Зэза, четверо старых коммунистов из Чехословакии, юноши из скандинавских стран, философ из Новой Зеландии («Вы останетесь в гордом одиночестве»,— пророчил тогда Хрущев), группа рабочих из Бельгии, коммунисты из Франции. Ходжа прочитал первые четыре письма. Они были похожи на сотни, тысячи других писем, приходивших в его адрес в последние годы, но теперь в них появился (где напрямик, а где в подтексте) совершенно новый мотив: «Что бы ни случилось, как бы ни развивались события, мы всегда с партией». При чтении пятого письма его пальцы нервно забарабанили по столу. Ходжа перевернул страницу и взглянул на подпись в конце письма: Аранит Чорра, кладовщик деревообрабатывающего комбината, бывший сотрудник МВД Албании. Почерк был крупный, слишком крупный, и оттого некоторые буквы, например «а» и «о», казались слепыми, как глаза у античных статуй. Он отодвинул в сторону пачку писем и стал читать это письмо. Пальцы продолжали нервно выбивать дробь.

«Тук-тук-тук...» — было это не то в Варшаве, не то в Софии. В дверь постучали. Ходжа возглавлял тогда албанскую делегацию. Днем шли переговоры, а вечерами делегаты посещали оперу или драму. Итак, в полночь

в дверь его комнаты постучали. Он еще подумал тогда: «Почему в полночь? Прямо как в средневековых балладах». Но именно так все и было: в полночь, как в балладах. Ходжа поднялся с дивана и открыл дверь. На пороге стоял человек маленького роста, явно чем-то раздраженный. Это был заместитель главы делегации Кочи Дзодзе. «Днем не удалось встретиться с вами,— сказал он, входя в комнату.— Мне необходимо кое-что обсудить». Разговор получился странный, тем более что состоялся он ночью и в чужой стране. Сперва говорили о Тито, потом об интеллигенции — излюбленные темы министра внутренних дел. В ту ночь он был чрезмерно взволнован. «Точно так же, как могильщиком капитализма является созданный им пролетариат, могильщиком социализма является взращенная им интеллигенция»,— утверждал Кочи Дзодзе. Они долго спорили и чуть было не рассорились. Всю желчь, все отбросы, все зло, скопившееся в Албании за столетия и поднявшиеся из глубин веков, вобрал в себя этот страшный карлик, в имени которого скрестились два ножа[1]. «Первый в истории социалистической Албании министр внутренних дел,— с горечью подумал Энвер Ходжа.— Теперь кости его дотлевают где-то в окрестностях Тираны — без могилы и без обелиска. Горсть праха вперемешку с грязью и пулями, выпущенными в него спецкомандой, которая привела приговор о расстреле в исполнение. Прошло столько лет, а его тень все еще бродит вокруг». Человек, написавший Ходже письмо, лишь слабое подобие своего бывшего хозяина, он как ящерица по сравнению с крокодилом. В 1956 году на Тиранской партконференции требовали реабилитации Кочи Дзодзе, в Белграде есть даже улица, названная его именем. «Никогда!— подумал Ходжа решительно, продолжая барабанить пальцами по столу.— Это никогда не должно повториться!»

Сотни раз вспоминался ему 1947 год: часы, дни, недели, обрывки сцен, как куски разрубленной на части змеи, извиваясь, стремились сползтись вновь. Это был страшный год. Карлик терроризировал всю страну. Джипы Министерства внутренних дел без устали утюжили обезлюдевшие дороги. Беспрестанно слышался вой их сирен. В комитете по контролю за деятельностью ми-

[1] Имеется в виду написание буквы «х» в имени Кочи Дзодзе — Koçi Xoxe (*алб.*).

министерств и ведомств до утра горел свет. Страну парализовал страх. Министерство внутренних дел, стремящееся встать над партией, точно огромный спрут, тайком повсюду расставило свои щупальца; они скользили по стенам домов, проникали во все ведомства, взбирались на крыши, хватали за плечи людей. Карлик раздувался и рос как на дрожжах. Везде ощущалось его сопение и тяжкое, смрадное дыхание. Мрачной была обстановка на заседаниях Политбюро, а на заседаниях правительства проблески света мелькали лишь от верхних люстр. Вся корреспонденция перлюстрировалась. На конвертах видны были следы пара, с помощью которого их вскрывали. Всюду чувствовалась рука страшного карлика, стремящегося подмять под себя всех и вся. Была зима. Дни становились короче. «Как и он сам»,— с неприязнью подумал тогда Ходжа. Чуть позже, следуя за траурным кортежем в день похорон одного из членов Политбюро, который, не выдержав травли, покончил с собой, он задал вопрос: «Доколе это безобразие будет продолжаться?» Звучала скорбная музыка. После того как гроб опустили в могилу, они склонились над ней, чтобы кинуть прощальную горсть земли. «Как мы пережили ту страшную зиму?»— Ходжа задумался. В день открытия I съезда партии, когда он, осунувшийся и бледный, словно после тяжелой болезни, поднялся на трибуну, по залу пронесся шепот: «Что происходит в Центральном Комитете?.. В Политбюро?.. В Совете Министров?.. Почему ничего не говорят?»

Позже, в период чистки в Министерстве внутренних дел, Ходжа не раз задавался вопросами: как допустили они это? Было ли случайным появление в Политбюро страшного карлика? Пожалуй, в этом есть определенная закономерность. «Рано или поздно беда должна была прийти,— размышлял Энвер Ходжа.— С прошлым покончено навсегда, но призраки его живут. Шекспировские тени. Ведьмы, с которыми советовался Макбет. Ликуй, Дзодзе, министр внутренних дел; ликуй, Кочи, член Политбюро; ликуй, Кочи Дзодзе, что завтра станешь Первым секретарем партии. Тени окружают нас. Как проклятие, как запоздалое возмездие, свергнутые полуистлевшие правители из глубин могил посылают на землю своих двойников, а с ними свои взгляды, привычки, пропитанные кровью плащи. Их призраки кружатся, вьются в воздухе, выискивая революционные кадры. Известно, что именно так поверженный Гераклом кентавр

отомстил победителю, подарив ему перед смертью свой окровавленный хитон[1]. Легенда, рассказывающая о мучительной смерти Геракла, которую он принял, надев хитон побежденного, воплощена в реальную жизнь. Не раз некоторые сыны революции, взлелеянные под пурпуровыми плащами, становились их жертвами, позволяя вражеской пропаганде твердить на все лады старую как мир истину: революция словно Сатурн, заживо пожирающий своих собственных детей, своих слишком самонадеянных сынов,— с грустью подумал Ходжа.— Даже свергнутая контрреволюция представляет опасность. Хотя остались лишь одни тени». Порой он не узнавал старых кадров. Они яростно набрасывались на революцию и государство, чтобы завладеть ими. «Народная Республика Албания есть государство рабочих и крестьян»,— гласит первая статья Конституции. Эти слова они не уставали повторять на собраниях и митингах, но сами думали иначе: «Говорим мы это исключительно для твоего утешения, уважаемый рабочий класс, а на деле мы, и только мы... самые верные бойцы государства и партии. Самые преданные... самые надежные...» Вот за это и идет неустанная борьба. Сначала они требовали монополии на преданность революции, а потом и права на самое революцию. Они добивались права собственности над тем, что родилось как протест против собственности.

Энвер Ходжа не мог оторвать глаз от крупного почерка, которым было написано лежавшее перед ним письмо, всколыхнувшее череду воспоминаний. Некоторые доброхоты, узнав в силу своих служебных обязанностей какие-либо тайны личной жизни коллег или знакомых, занимающих государственные и партийные посты, полагали, что имеют над ними власть и право требовать от государства компенсации за доносительство. Именно в этом кроются причины их просчетов, которые в результате приводят любителей доносов на склады или

[1] Античные авторы излагают эту легенду иначе. Кентавр Несс, перевозя на своей спине молодую жену Геракла Деяниру, влюбился в нее и захотел похитить. Разгневанный Геракл пронзил его стрелой, смазанной желчью лернейской гидры. Желая отомстить, Несс перед смертью сказал Деянире, чтобы она собрала его кровь, смешанную с ядом гидры, и сохранила: она поможет, если понадобится вернуть любовь мужа. Позже Деянира, чтобы вернуть любовь Геракла, послала ему хитон, пропитанный отравленной кровью кентавра Несса. Это и явилось причиной гибели героя.

в каменоломни. Так, вероятно, произошло и с... Аранитом, который писал, помимо прочего, и об этом. Но главное в его послании заключалось в другом, более страшном и опасном. Аранит предлагал вернуться к методам 1947 года. «Только так,— писал он,— можно преодолеть возникшие в стране трудности». Убежденный в своей правоте, он вовсе не скрывал, что тот злопамятный год был самым дорогим его сердцу. С той поры он жил под тяжким грузом воспоминаний, чтобы наконец-то в 1961 году сбросить его. «И все же этот кладовщик не столь опасен. Он хотя бы не скрывает своих настроений и чувств. Намного опаснее те, что прячутся за революционной фразой, за пламенными словами... о партии... об уроках товарища Энвера...— Ходжа отложил письмо в сторону.— Оживают темные силы, пробуждаются. Сколько лет таились, а теперь решили, что пришло в конце концов их время. Они способны к действиям в любую минуту и в любом месте: в министерствах, в Центральном Комитете...»

Он нажал кнопку звонка и попросил принести кофе. В окна лил все тот же тусклый свет зимнего дня. Небо походило на беспредельную серую бездну. «Зима... Как пережить ее в изоляции?— уже в который раз задумался Ходжа. Фарфор кофейной чашки, не успевший нагреться, приятно холодил руку.— Только бы продержаться эту зиму. Выйти из окружения».

Два дня назад он читал записку тиранского горкома партии о положении в столице. Население было крайне наэлектризовано: все бывшие (мелкая буржуазия, духовенство, землевладельцы) пребывали в состоянии эйфории, изображая притом полное равнодушие; ветераны партии, бывшие партизаны, молодые коммунисты собирались по вечерам и спорили до хрипоты, обсуждая сложившуюся ситуацию, призывали к бдительности и решительным мерам. Кроме того, были и такие, что выжидали, безучастно наблюдая за происходящим; это люди пассивные, чувствительные, склонные к панике и шараханьям из стороны в сторону. Они-то и представляют особую опасность: «правые» воспринимали разрыв с Советским Союзом как разрыв с коммунизмом, а «левые», вроде Аранита, повторяли извечную ошибку и искали врагов в собственном доме.

«Проблема состоит не столько в том, чтобы выйти из создавшегося положения,— размышлял, потягивая кофе, Ходжа.— Главное — выйти достойно, с наименьшими по-

терями. Большие беды обостряют ситуацию и ожесточают людей. Долгая борьба со злом убивает душу». Один инструктор партии по зоне северных районов как-то рассказывал ему о башнях уединения, в которых в былые времена укрывались те, кому грозила кровная месть. Проведя многие годы в одиночестве, в полумраке заточения, мужчины продолжали жить, но в их душах навечно поселялись мрак и зимняя стужа, они слепли и глохли, становились подавленными и злобными, не умели, как прежде, разговаривать и радоваться жизни. «Необходимо вырвать народ из кольца блокады... именно народ, а не кучку несчастных, озлобленных на весь белый свет партийцев... Спасти государство... революцию... Трудно, очень трудно». Ходжа погрузился в задумчивость.

«Кем вы хотите прослыть? Дон Кихотами революции?— спросил его ночью, накануне выступления в Кремле, один из «нейтралов».— Если они бросают на произвол судьбы революцию, то не нам, маленьким партиям, ее спасать». Помнится, он ответил тогда, что не в его правилах оставлять кого-либо в беде. «Да, конечно. Знаю. Слышал,— рассмеялся собеседник.— До сих пор, по законам предков, вы умирали в одиночку, теперь же, следуя законам марксизма, вы готовы погибнуть все вместе».— «Возможно,— согласился Энвер Ходжа,— но оставлять кого-либо в беде не в наших правилах». «Нейтрал» долго сочувственно покачивал головой, а на прощание сухо бросил: «Что ж, желаю успеха!»

Энвер Ходжа снова склонился над раскрытой папкой.

Следующий материал был подготовлен по его указанию и касался отмены воинских званий в армии и понижения должностных окладов работникам партийно-государственного аппарата. Его Ходжа запросил накануне. Прервав чтение, он встал из-за стола и прошелся по кабинету. «Этот вопрос уже несколько дней обсуждается в печати, но решение пока не принято.— Ходжа подошел к окну.— Его принятие станет первым шагом на пути серьезных перемен, направленных на борьбу с бюрократизмом, расцветшим в партийно-государственном аппарате».

В памяти вновь всплыли золоченые купола кремлевских соборов. «Коммунизм моложе самой молодости, поэтому ему тесно в рамках старого государства, которое, как проржавевшая кольчуга на молодом теле, душит и

ранит его. В общем-то это вполне естественно,— подумал Ходжа.— Тысячи лет отделяют человека от его обезьяноподобного предка, и все же в его характере проявляются порой атавистические черты. Что же говорить о социализме? Между ним и его предшественником — всего несколько десятилетий. Еще долго жестокость и слепая ярость, присущие старому обществу, будут мешать социализму в его поступательном движении вперед. Рабочему классу предстоит с этим бороться, как, впрочем, и с государственной бюрократией. Бороться долго и решительно, счищая с высшего эшелона государственных служащих накипь хозяйчиков, если таковая образуется, а при необходимости — снимая их с занимаемых постов». Там, в Москве, во время последней поездки он видел немало бывших бойцов революции, переродившихся в бесчувственных бюрократов. Картина устрашающая, но произошло это не сразу и не вдруг. Процесс морального падения шел медленно, мучительно, в борьбе с собственной совестью, через уступки, всевозможные ловушки в виде номенклатурных привилегий, непомерных запросов жен и детей, бесконечные завистливые разговоры о должностях, зарплатах, персональных автомобилях. («У них «ЗИМ», а ты опять остался с «Волгой»?..» — «Готовится к выпуску новая модель...» — «Для кого, к кому прикрепят и как будет называться?» — «Точно не знаю... а название птичье: чайка, ласточка или ворон...») «Почему бы не назвать машину вампиром?— усмехнулся Ходжа.— Автомобиль «Вампир». По-моему, вполне достойное название».

Эпидемия стяжательства, точно дурной запах, молниеносно расползлась по всему социалистическому лагерю. Революция обрастала жирком. Советский Союз, не так давно отметивший свое 40-летие, венчали имперские седины.

«Их давней мечтой было создание касты,— размышлял Ходжа.— Пренебрежение к рабочему классу перешло в презрение к нему, а потом и в открытую ненависть, вслед за которой нет иного выхода, как начать преследование трудящихся. Все объясняется очень просто. Они хотели получать от рабочего класса то, что веками выжимали из него угнетатели всех мастей,— прибавочную стоимость. Иными словами, вся их политика есть продолжение кровавой истории борьбы за прибавочную стоимость».

Ходжа продолжал расхаживать по кабинету. Из ок-

на был хорошо виден центральный бульвар. Мимозы стояли по-зимнему печальные. Горожане, ежась от холода, поднимали воротники. «На долю рабочего класса, прошедшего через сотни баррикад, выпало последнее, может быть, самое тяжкое испытание.— От его дыхания окно, перед которым он стоял, слегка запотело.— Необходимо безжалостно, любыми средствами искоренять кастовость. Нужна постоянная ротация кадров и гарантия права критики каждого, невзирая на авторитет и былые заслуги. Следует возродить ленинский рабочий контроль, а если потребуется, пойти дальше: разъяснить рабочему классу, всему народу, что у партии нет безграничной власти». На мгновение эта мысль поглотила его целиком.

Ходжа вернулся к столу и продолжил чтение документов.

«Отменить воинские звания... Очистить армию и рабоче-крестьянское государство от золотых галунов, лычек, старых нашивок. Останутся только солдаты, командиры и комиссары, как во времена Парижской коммуны и в годы партизанской войны. Сделать это непросто.— Энвер Ходжа на минуту задумался.— Градом посыплются звезды и звездочки, словно в метеоритную бурю. Для некоторых это будет настоящей трагедией. Мир померкнет... А может, и к лучшему?..»

Перечитывая материал, Ходжа красным карандашом делал на полях пометки. «Можно снизить еще!» — надписал он там, где значились оклады министров, заместителей премьера и самого премьер-министра, а также рядом с окладами президента республики и своим собственным.

«Оклады. Сколько сложностей ежегодно возникало из-за них». Перед его глазами проплывали обиженные лица, со следами старых ран, покрасневшие или побледневшие от стыда и унижения.

Ходже вспомнился разговор с одним заслуженным партизаном. «Разве за то я сражался, разве за то руку оставил в ущелье Кэльцюра и чуть было жизни не лишился около Залл-Хэрре и в горах Мокре,— возмущался он,— чтобы какого-то Наума Кнэтаси, бывшего в моем подчинении, ценили больше, чем меня?» — «Все, что ты сказал, верно,— пытался урезонить его Энвер Ходжа.— Но теперь-то Наум Кнэтаси — министр, и поэтому его зарплата...» — «Министр?! — не мог успокоиться партизан.— Значит, так теперь? Но всех министров мы стерли

с лица земли».— «Подожди, не горячись. Мы убрали их министров, а теперь у нас *наши* министры и *наше* государство».— «Наши министры, значит? Но раньше, когда трещали пулеметы, мы обходились без министров, и все было хорошо. А теперь жить без них не можем». Такие разговоры велись тогда часто — одна из проблем первых после Освобождения дней.

Был холодный ноябрьский день 1944 года. То тут, то там из-под руин извлекали трупы убитых. Из огромных окон здания бывшего муниципального совета Энвер Ходжа глядел на площадь Скандербега с разрушенным немецким бункером посередине, из амбразуры которого торчали искореженные орудийные стволы. Площадь была заполнена партизанами. Одни прохаживались, переговаривались, окликали знакомых, другие стояли кучками и что-то оживленно обсуждали. Временами по толпе, словно электрический заряд, пробегала волна возбуждения, и тогда все сразу приходило в движение. Впервые Государственный банк выдавал партизанам зарплату, и они с удивлением разглядывали бумажки зеленого и коричневого цветов, о существовании которых давно позабыли. Большинство из них считало, что с падением королевской власти исчезли и деньги. Но они выжили. Спрятавшись в надежных сейфах, в глубоких подвалах и кладовых государственных хранилищ, деньги спокойно дожидались своего часа, пережив все трудности, уцелев от бомб, атак и контратак. И теперь, явившись миру, они, будто в опьянении, шелестели в руках партизан — огрубевших, потемневших, худых — кожа да кости, а порой израненных, в окровавленных бинтах. Партизаны вглядывались в эти странные бумажки, подносили поближе к глазам, рассматривали на свет написанные на них буквы и цифры (многие грамоте и счету учились на полях сражений и по номерам батальонов). ХС 031579, SR 040028... — они передавали из рук в руки купюры, водили пальцем по цифрам, по-видимому что-то сравнивая, и переходили от одной кучки солдат к другой. Лица их выражали явное смущение, волнение, неприкрытую детскую радость, смешанную с почти мистическим страхом.

А на площадь прибывали все новые и новые отряды партизан. Энвер Ходжа долго еще стоял у окна и наблюдал за происходящим на площади, и, может быть, тогда у него зародилась мысль, что именно на этой огромной площади нанесен первый удар по революции. Но самое

страшное состояло в том, что он ничего не мог сделать, ничего не мог изменить. Там, внизу, у партизан, были деньги. Единственная возможность — притормозить этот процесс. «Нужно что-то делать, нужно непременно что-то делать,— думал он.— Что не удалось пушкам, сделают эти зеленые и коричневатые бумажки».

Ходже припомнился и другой эпизод. Дело было в том же здании бывшего муниципального совета. Двери его кабинета не успевали открываться и закрываться: входили и выходили связные. Изредка звонил единственный исправный телефон. Внезапно в кабинет вихрем влетел один из членов Временного правительства. «Товарищ Энвер, быстрее включай радио! — закричал он с порога.— Ты только послушай, что там творится». Энвер включил репродуктор. Из тарелки сперва послышался девичий смех, который оборвался, и потом женский голос произнес: «Внимание! Товарищи партизаны Третьего батальона, приглашаем вас сегодня вечером на танцы...» Последние слова заглушили смех, шум, веселая возня у микрофона. «А сейчас,— произнес другой голос нарочито серьезно,— послушайте марш Первой бригады... на зависть Двадцатой...» «Я с ума сойду...» — сокрушался член правительства. По радио грянул марш, но тут же смолк, и приятный женский голос сообщил: «Партизан Алюш Бетяри, вам надлежит прибыть в штаб бригады... Приехали родители из деревни». Потом снова раздался шум, шепот, смех. «Ты слышишь, что делается?» — возмущался член правительства. Ходжа согласно кивнул. Радиостанцию охраняли партизаны Второго батальона; несколько дней назад они отбили ее у врага. Девятнадцать человек погибло. И теперь оставшиеся в живых запросто использовали радиостанцию как им вздумается: переговаривались, травили анекдоты и сообщали, что в голову придет, благо репродукторы были разбросаны по всему центру: на площади Скандербега, на улице Дибры и на бульваре. «Обслуживающий персонал радиостанции,— сообщил член правительства,— пикнуть боится при партизанах, и те делают что хотят». Недавно бывших сотрудников радиовещания собрали со всего города и под конвоем доставили в здание радиоцентра, пустовавшее все девятнадцать дней битвы за Тирану. Бледные, перепуганные ночным стуком в дверь, они робко заняли прежние рабочие места и наладили работу студии, и уже в 16.00 самая опытная из дикторов, закутавшись от холода в

шаль, под контролем двух вооруженных партизан произнесла: «Говорит Тирана!» «Ты можешь громче, сука буржуйская?» — процедил сквозь зубы партизан и вырвал у нее из рук микрофон. Женщина подняла на него огромные, обведенные черной тушью, словно траурной лентой, глаза и испуганно захлопала ресницами. Он схватил микрофон и что было силы заорал: «Говорит Тирана! Говорит Тирана!» Все, кто в тот день слушал радио, говорили, что не разобрали ничего, кроме «ирау... ирау...», которое пронеслось в эфире, точно порыв ветра в горах. Энвер Ходжа впервые слышал о том, что случилось на радиостанции. Член правительства не уходил, ожидая указаний. Ходжа придвинул к себе телефонный аппарат и попросил соединить его со старшим диктором. Ответила, судя по серебристо-звонкому голосу, та смешливая девушка, веселые объявления которой они только что слышали. Энвер Ходжа назвал себя. Было слышно, как ее подруги, перебивая друг дружку, рассказывали что-то веселое и от души смеялись. Ходжа не помнил, что он сказал тогда юной партизанке: наверное, сделал замечание; может, попытался объяснить, что, став хозяевами страны, они должны помнить об ответственности за все происходящее в ней, что государственная радиостанция — дело серьезное, ее слушают во всем мире, и это вовсе не место для шуток и веселья, что... Он запомнил, как один за другим смолкли веселые голоса и в студии в конце концов установилась полная тишина.

Конечно, это был всего лишь маленький эпизод, немного грустный, словно написанный акварельными красками. Случай с деньгами — совсем другое дело. Вооруженные партизаны, охранявшие Государственный банк, недвижно стояли у колонн здания, точно у ног огромного сфинкса. Восторг первобытного человека витал над площадью. На улице Дибры показался первый партизан-покупатель. Он шел к площади Скандербега словно бы крадучись, согнувшись под тяжестью своей странной ноши — некого гибрида из кресла и стула, обтянутого вишневым бархатом, с медной инкрустацией, с витыми позолоченными ножками (имитация стиля мебели одного из Людовиков),— вещи явно бесполезной в хозяйстве, из тех, что в изобилии пылятся в антикварных лавках. Шея, плечи и руки партизана напряглись, изогнулись так, чтобы легче было нести дорогую ношу. Судя по тому, как скособочилась его

фигура, кресло было не из легких. Ходжа с болью смотрел на этого ставшего смешным и уродливым человека. Заполненная партизанами площадь, деньги в их руках, охрана в касках у колонн здания банка, украшенного барельефами, репродукторы и, наконец, партизан, слившийся в одно целое со своим стулокреслом,— все это сохранилось в памяти, как причудливая мозаика, которую время до сей поры не уничтожило и не обесцветило.

«Но то, что происходит сейчас,— с горечью подумал Ходжа,— ни в какое сравнение не идет с событиями первых послевоенных лет. Теперь все значительно страшнее: уже не отдельные люди, а целые государства, называющие себя социалистическими, воровато разбегаются в разные стороны со своими стулокреслами на плечах, размахивая деньгами, кредитными обязательствами, контрактами; а за обветшалыми прилавками, глумливо скаля зубы, стоят старые как мир ростовщики с записями долгов и процентов по ним.

Энвер Ходжа взглянул на часы. В час дня прибывает самолет немецкой авиакомпании, на котором возвращается на родину албанская делегация, участвовавшая во встрече стран Варшавского Договора. В Тиране ее ждали с особым нетерпением, так как на одном из заседаний рассматривался вопрос о будущем военной базы во Влёре, и в первую очередь о подводных лодках и крейсерах. «Они намерены эвакуировать базу,— подумал Ходжа.— Любому вооруженному человеку, перед тем как сдаться, предлагают сложить оружие. Вот и Албанию хотели бы лишить ее древнего грозного оружия — Паша-Лимана. В вопросах кредитов и денег у них вековой опыт, а с оружием похуже — тут первенство за нами».

Энвер Ходжа придвинул только что отпечатанный текст вечернего выступления и углубился в чтение.

«...албанский народ! Наши бывшие друзья отвернулись от нас. Мы остались одни, совсем одни, как это бывало уже в нашей истории в 1460-е[1] и 1860-е[2] годы...»

---

[1] Время освободительной борьбы албанского народа под руководством Скандербега, когда соседние европейские государства намеревались организовать антитурецкий «крестовый поход». Однако эти планы не были осуществлены, и албанцы сражались одни против жестокого завоевателя — султана Мехмеда II.

[2] Период антитурецких восстаний и зарождения национально-освободительного движения в Албании.

Этих слов не было в тексте и быть пока не могло. Затаившиеся в глубине его сознания, они время от времени пытались прорваться наружу, но безуспешно. Ходжа знал, что вечером, слушая его выступление, сотни тысяч албанцев зададутся вопросом: неужели и в самом деле блокада? Более информированные попытаются уловить в его интонации намек на то, какой будет блокада — полной или частичной?

— Блокада будет.— Ходжа не заметил, что произносит эти слова вслух, а про себя продолжал: «Блокада будет полной и по-средневековому жестокой... Там, в зоне затопления, обнаружена могила коня, благодаря которому был перекрыт источник, снабжавший осажденную средневековую крепость питьевой водой... А о блокаде... Можно не сомневаться. Будет. Впрочем, уже две недели страна живет в условиях настоящей блокады». И в ту же минуту его воображение нарисовало другую картину: фрагменты какого-то похода, отблески солнца на копьях, знаменах, гербах социалистических стран, на эмблеме Варшавского Договора. Сверкая, они призывали к крестовому походу, чтобы освободить... но что? Могилу Карла Маркса? Но она не здесь, а на севере, в Лондоне, эти же двигались в противоположном направлении, к центру Европы, а потом на юго-восток. Именно там могила... коня.

Отдельные фрагменты этой картины возникали в его воображении и раньше, однако только сегодня, 21 января, в полдень, в просторном кабинете, расположенном на третьем этаже здания Центрального Комитета, перед ним во всей своей беспощадной обнаженности встал вопрос: неужели они отважатся на агрессию?

К трем часам пополудни журналисты добрались наконец до окрестностей Тираны. Южная дорога раскисла от воды, поэтому они ехали медленно. Налипшая на колеса джипа грязь проехала вместе с ним не одну сотню километров, миновала многие города и теперь бесстрашно приближалась к столице. Путешествие было, надо сказать, не из легких.

Глядя на телефонные провода, тянувшиеся над вспаханными полями кооперативов и ферм, Бесник испытал жажду чуда: почему бы этим проводам, пролегающим над бескрайней средой человеческого обитания,

не возвысить до своего уровня передаваемые по ним слова? По этим проводам пришло к нему Занино «поздно». Порой Беснику казалось, что с Заной случилась непоправимая беда, однако о возможности появления третьего человека думать не хотелось. Мысль об этом казалась ему попросту абсурдной.

В начале четвертого Бесник добрался до дома. Вся семья была в сборе, будто ждала его. Мира радостно бросилась брату на шею, а Рабо, как всегда, засуетилась по хозяйству: что за радость без накрытого стола. Бэн не дичился, как прежде, а сидел за столом на равных. «Даже голос у него изменился»,— одобрительно отметил Бесник. Виктор говорил, что на заводе им довольны. Отец чувствовал себя намного лучше. Все вроде бы налаживается.

— Телефон работает? — спросил Бесник и удивился собственному вопросу, так неожиданно и некстати он прозвучал.

— Работает,— коротко ответила Рабо. Обычно она говорила: «тебе звонили с работы», «тебе звонила невеста» или «тебе никто не звонил», а на этот раз просто: «работает». Рабо не могла не заметить, что Зана давно перестала им звонить.

Отец расспрашивал об ущербе, нанесенном стихией. Рабо затопила колонку с водой, чтобы Бесник помылся с дороги.

— Свари-ка нам кофе, дочка.— Струге нравился кофе, который варила Мира.

Бесник почувствовал, как хорошо и уютно дома.

— Не исключено, что прорыв плотины произошел не без участия советских,— сказал Бесник.— Они объявили нам блокаду. Там, в Москве...

Серые глаза Струги потеплели, а лицо порозовело от удовольствия. Впервые сын сам заговорил о Москве. Струга повернулся к Мире, разливавшей кофе, и тихо сказал:

— Об этом, дочка, ты никому не должна рассказывать.

— Конечно, папа.— Мира села на диван, опершись подбородком на сжатые кулаки, и приготовилась слушать.

— Там, в Москве,— продолжал Бесник,— нам угрожали напрямую.

Зазвонил телефон. Из редакции сообщили, что Беснику надо быть на торжественном заседании по случаю

годовщины со дня смерти В. И. Ленина. Ждали выступления Энвера Ходжи.

Бесник попросил Миру приготовить темный костюм и белую рубашку. Телефон снова зазвонил. На этот раз спрашивали Бэна. Взяв трубку, он несколько раз присвистнул от неожиданности, а потом положил ее и, ни к кому не обращаясь, произнес:

— Нашим студентам, приехавшим из Советского Союза, выдают их зимние пальто. Ну и дела!

Бэн надел куртку и выбежал на лестницу. Бесник слышал, как он спускается, прыгая через несколько ступенек. «Наверное, кроме работы на заводе, в жизни брата произошло еще какое-то радостное событие»,— подумал он.

— Мальчик мой,— запричитала Рабо, и глаза ее увлажнились.

— Ты о чем? — удивленно обернулся Бесник.

— Бэн принес первую зарплату,— сообщил Струга и многозначительно показал глазами на сестру: не беспокойся, мол, ничего страшного не произошло.

Рабо открыла ящик буфета, где хранились квитанции об уплате за квартиру и свет, и достала оттуда свернутые трубочкой деньги.

— Всю зарплату принес,— с гордостью похвастала Рабо.— Еле сунула ему в карман пятисотку[1]. Никак не хотел брать.

Струга взглянул на старшего сына, как бы спрашивая: мог ли ты мечтать об этом?

— Мальчик мой любимый,— снова запричитала Рабо, пряча деньги в ящик буфета.— У меня рука не поднимается тратить их,— сказала она, с укоризной глядя на брата и племянника. Рабо считала их виновными в том, что ее бедный мальчик вынужден работать на заводе. Она не желала понимать, что ее малыш вырос и стал мужчиной.

Слушая сестрины стенания, Струга только посмеивался. Бесник задумчиво смотрел на Миру, гладившую его рубашку. Он быстро оделся и вышел на улицу. По сравнению с разрухой, царившей в районе наводнения, городские улицы и здания на них выглядели основательно и надежно. Бесник пересек площадь Союза и вышел на улицу 28 Ноября. Его внимание привлекла

---

[1] Купюры в 500 лек, упраздненные в период реформы в середине 60-х годов.

группа зевак, с интересом рассматривающих новую вывеску. Бесник тоже остановился. Еще вчера висевшую здесь — «СОВЕТСКАЯ КНИГА» заменили новой — «ИНОСТРАННАЯ КНИГА». «Осторожно, стекло! — кричал рабочий, стоя на верхней ступеньке прислоненной к стене лестницы. Бесник обратил внимание, что вывески на баре «КРЫМ» тоже нет, но новой пока еще не повесили.

Он взглянул на часы и заспешил к центральному бульвару. У первого же перекрестка на огромном стенде, установленном здесь несколько дней назад, появился гигантский плакат, изображающий рабочего, крестьянина, солдата и студента. Они крепко держались за руки, а посередине на уровне их груди была броская надпись: «МЫ ЕДИНЫ И НЕПОКОЛЕБИМЫ!»

Перед входом во дворец, где проводилось торжественное заседание, стояла бесконечная вереница служебных машин. Бесник предъявил журналистскую карточку и вошел в здание. В коридорах толпились люди. «Побыстрее, товарищи, побыстрее»,— поторапливал кто-то. Бесник прошел в зал. Все места были заняты. Темные пиджаки, белые рубашки, покрытый красным сукном стол президиума, за ним — спинки пустых стульев на фоне знакомого прищура устремленных в зал ленинских глаз.

Матовые лампы люстры освещали головы сидящих в зале. Внезапно наступила тишина, а спустя секунду зал взорвался аплодисментами. В президиуме появился Энвер Ходжа, за ним — другие члены Политбюро. Лицо Ходжи было суровым и озабоченным. Он поднял руку, как бы останавливая аплодисменты, и сел. За ним места в президиуме заняли другие члены Политбюро. Отсутствовала лишь женщина, чьи портреты еще вчера висели повсюду. В зале установилась напряженная тишина. Энвер Ходжа начал свою речь. Знакомый тембр голоса, знакомые интонации — и непривычная тишина. Бесник почувствовал, как он, помимо воли, вновь возвращается в Георгиевский зал Кремля. Так бывало уже не раз, особенно ночью во сне, когда бесформенные, бестелесные фигуры-фантомы обступали его. «Чего они ждут, застыв, словно надгробные камни? — подумал он, просыпаясь в холодном поту.— А ведь наверняка чего-то ждут. Ждут с неутомимым упорством. Не зря же уставились на пустую трибуну. Глаз отвести не могут. Время проходит — они ждут: может, спустя сорок или

сто сорок лет, когда трибуна совсем зарастет травой, Энвер Ходжа наконец вернется, поднимется на нее и проникновенно произнесет: «Друзья! Братья по оружию! Я вернулся к вам. Простите меня».

В зале раздались аплодисменты. Бесник мысленно переводил долетавшие до него фразы. Вдруг в голове мелькнуло, что его могут исключить из партии («Но за что?.. Нелепица какая-то...»), его, который переводил Первому секретарю ЦК АПТ в один из сложнейших моментов в жизни страны.

«Правда, я несколько напутал с древнерусским,— подумал Бесник,— но переводить там было очень трудно... Труднее, чем античные трагедии. Случись это год назад, при нормальных отношениях, никто бы и внимания не обратил. Если бы моя ошибка послужила причиной наших разногласий там, в Москве, меня немедля исключили бы из партии, но... в Москве все рухнуло, разрушилось до основания задолго до этой злополучной встречи. Полный разлад был неминуем. Остались сугубо формальные связи и отношения да несколько протокольных фраз, напоминавших обрывки телефонных проводов на чудом уцелевших железобетонных столбах. Тем не менее опасность быть исключенным из партии существует,— правда, теперь уже за другое... Абсурд какой-то! — решил Бесник. Но чем больше он думал об этом, тем менее абсурдной казалась ему эта мысль.— В фундаменте образовалась трещина, и ее невозможно заделать. Земля уходит из-под ног... Произошло что-то непоправимое...»

Зал вновь взорвался аплодисментами. Глаза Ходжи сверкнули гневом. Бесник продолжал мысленно переводить. Его трясло как в лихорадке. «Столы составлены каре. Леденящий взгляд холодных глаз, бородка клинышком на У-образном лице Ульбрихта. Жиденькая бородка Хо Ши Мина, черная испанская шаль с кистями...» Бесник почувствовал — еще немного, и он начнет переводить вслух. «Я болен,— подумал он.— У меня температура. Наверное, я простудился, когда ездил в район наводнения...» Наводнение началось с маленького пустого квадрата в верстке первой полосы газеты. А с чего начался разрыв с Заной? Как появилась трещина между ними? «Слишком поздно, Бесник»,— вспомнил он слова Заны и готов был скептически хмыкнуть.— Да пускай все летит к чертям собачьим, если она не понимает того, что происходит. К черту! Все к черту! Пус-

кай твердит свое упрямое «поздно». Раздались аплодисменты. «Слишком поздно,— сказал Энвер Ходжа в памятную «ночь черных «ЗИМов».— Я больше не приму никого. Слишком поздно!» Свет фар последнего «ЗИМа» скользнул по снегу. Лязгнули железные ворота, закрывшись за последним ночным гостем. «Неужели она не понимает,— с обидой подумал Бесник,— что нельзя привязывать столь значимые слова к повседневным делам... Ничего не знает, ни о чем не ведает. Верно в народе говорят: деревня полыхает, а дева косы заплетает... Нет... нет и нет. На нее это вовсе не похоже. Есть, наверное, в том и моя вина. Я должен был помочь ей понять драматизм сложившейся ситуации. Почему я не сказал ей тогда: «Зана, я вернулся из настоящего... ада. Я потрясен. Я был в самом эпицентре событий. Понимаешь? В эпицентре. Земля разверзлась там, где меньше всего этого можно было ожидать, явив миру ямы, трещины, расщелины. Над ее поверхностью сгустились пары серной кислоты. Дыхание перехватило. В глазах потемнело. Земной шар содрогнулся от того, что произошло». Знай она об этом, может, не стала бы связывать свое «слишком поздно» со всякой ерундой и мелочными телефонными обидами. Смех, да и только».

В то же время в одной из аудиторий электроинженерного факультета продолжалась выдача пальто студентам, досрочно вернувшимся из Советского Союза. Бэн, Макс и Саля направились туда. Всю дорогу Макс, который только что приехал из северных районов освоения целинных земель, взахлеб рассказывал о поездке. В институтском зале стоял невообразимый гомон. Три огромных деревянных ящика были уже пустыми, четвертый только что вскрыли. Председатель «Албимпорта», задерганный, с усталым лицом, отошел в сторону и закурил сигарету. Двое сотрудников, по-видимому его помощники, вынимали из ящика пальто, одно за другим, и показывали студентам. На одежде не было ни меток с именами или адресами владельцев, ни каких-либо других опознавательных знаков. Упакованную в семь ящиков одежду доставили в Дуррес с сопроводительной квитанцией, в которой значился только общий вес груза — 1257 кг. Владельцы одежды должны были сами опознать свои вещи. В аудитории, помимо студентов, вернувшихся из Советского Союза, собралась толпа

молодежи: одни пришли за компанию, другие — просто так, из любопытства. Всякий раз, когда из ящика извлекали очередное пальто, в зале поднимался невероятный шум: свист, смех, шутки, выкрики — по-албански и по-русски. Толпа восторженно оживала, если на одно пальто претендовали сразу двое и начиналось опознание или если владелец не спешил признать свою вещь и сотрудник «Албимпорта», точно модельер, начинал расписывать покрой, фасон воротника, материал подкладки. На минуту в зале устанавливалась напряженная тишина, которую внезапно нарушал чей-нибудь запоздалый крик: «Мое! Мое!», отчего толпа приходила в восторг. Студенты, благополучно получившие свои пальто, протискивались к выходу: одни — опустив голову и ни на кого не глядя, другие — весело улыбаясь, но были и такие, которые готовы были посмеяться и пошутить вместе со всеми. Одни несли свои пальто на руке, другие — набросив на плечи, а некоторые растерянно разглядывали их, помятые и скомканные, словно обнаружили на некогда прекрасном лице первые морщинки.

— Я же говорил, что будет потеха,— сказал Саля, потирая от удовольствия руки.

— Чье это пальто? — опять спросил демонстратор. Шум уже утихал, точно шипение разъяренной кошки перед прыжком.— Чье это пальто, ребята? — повторил он.

Впервые и на третий его вопрос никто не отозвался. Зал затих в ожидании. Время шло, он крутил пальто во все стороны, вопросительно глядя на представителя «Албимпорта». Глаза присутствующих загорелись нетерпением.

— Минуточку,— махнул рукой представитель и подошел к пальто. Он сунул руку в один карман, потом в другой и что-то достал. Это был обыкновенный носовой платок. Потом он еще раз пошарил в карманах. По аудитории пробежал шумок. Наконец он вынул клочок бумаги и поднес к глазам. Зал замер.

— Д-1-22-29,— медленно прочитал представитель «Албимпорта».

— Да это же Лида! — раздался чей-то голос, похожий на сдавленный вопль. Студент с красным шарфом на шее, расталкивая всех, бросился к открытому ящику.— Лида... это Лида... у Центрального телеграфа...— бормотал он, глядя широко раскрытыми глазами на

представителя, словно хотел убедить его в том, что это действительно она.

— У-у-у-у,— загудела толпа.

— Собственное пальто не узнал, а телефон помнит,— бросил кто-то.

— Любовь...

— Нет больше у тебя Лиды, браток.

— Отняли Лидочку,— рассмеялся стоящий рядом парень.

— Можешь оплакивать свою Лиду,— сказал ему кто-то почти в самое ухо.

Студент взял пальто и ушел бледный, растерянный, с бисеринками пота на лбу.

Демонстраторы открыли следующий ящик. Раздача пальто продолжалась до позднего вечера.

Бэн, Марк и Саля, возвращаясь домой, обратили внимание на то, что на баре «КРЫМ», куда они частенько забегали за сигаретами, появилась новая вывеска: «ВОЛГА». Ребята дружно расхохотались.

— Что за идиоты?! — воскликнул Бэн.— Не могли придумать другого названия.

В последнее время его ни на минуту не покидало хорошее настроение. Работа на заводе ладилась, и, кроме того, ему позвонила Ирисия.

— Сегодня у меня первая зарплата,— объявил он.— Приглашаю.

Саля восхищенно взглянул на приятеля. Они вошли в маленькое кафе и заказали пиво.

— Сегодня рабочим нашего завода выдавали оружие,— сказал Бэн.— Так решили вчера на митинге.

— Это из-за Советского Союза? — спросил Саля.

— Наверное. Хотя прямо об этом не говорят. На заводской крыше установили зенитки.

Изумленный Саля прищелкнул языком.

Когда друзья вышли на улицу, Макс продолжил рассказ о Людьэт-э-Зэза, где мужчины повязывают голову платком, поэтому кажется, что они возвращаются домой из поликлиники. Бэн и Саля даже присвистнули от удивления. На площади Союза дул пронизывающий ветер.

— Ну, вот и зима,— сказал Бэн.

— Земная ось пришла в движение,— подхватил Саля, вспомнив народное присловье о наступлении зимы.

Все дружно подняли воротники.

— В то время, когда сопротивление мятежных Бушати и Али-паши[1] было сломлено...— долетели до них слова проходившего мимо мужчины, беседовавшего со своим спутником.

Саля прикрыл ладонью рот, чтобы не рассмеяться.

— Слышали, что сказал этот придурок? — расхохотался он, когда мужчины отошли от них подальше.— Я не помню, что ел вчера, а они рассуждают об Али-паше.

— Я заметил, что люди любят поговорить об истории, особенно вечером,— сказал Макс.

Вернувшись домой, Бэн заметил подозрительный блеск в глазах тетушки Рабо. Он нарочно не обратил на это внимания, но Рабо сама подошла к нему и, протянув желтый листок бумаги, тихо сказала:

— Повестка вот... Тебя в армию призывают.

Первое, что бросалось в глаза,— жирным шрифтом напечатанное слово «приказываю», потом две печати и длинная-предлинная подпись.

Мира хлопотала по дому. Бэн продолжал разглядывать росчерк на повестке.

— Вот и выросли наши мальчики, Рабо, стали настоящими мужчинами.— Струга сидел, как всегда, на кухне.— Один сражался там, в Москве, с Хрущевым, а другой будет защищать Паша-Лиман. На-ка, выпей и ты рюмочку ракии.

Свирепый ветер трепал театральные афиши: сначала оборвал края, а теперь подбирался к цифрам, указывающим начало спектаклей, к фамилиям авторов и названиям пьес.

— Итак, повторное сопротивление Албании было сломлено,— продолжал высокий мужчина, обращаясь к своему спутнику.— Задумывался ли ты когда-нибудь, почему это произошло?

Тот пристально взглянул на него, как это получается, когда смотрят не прямо в лицо, а сбоку, но ничего не ответил.

---

[1] В конце XVIII — начале XIX в. Албания фактически была под властью феодальных правителей из домов Бушати (Шкодринский пашалык на севере) и Али-паши Тепелены (Янинский пашалык на юге), которые выступали против безграничной власти Османской империи. Эти полунезависимые пашалыки сыграли в истории страны прогрессивную роль: они боролись с феодальной раздробленностью, способствовали росту самосознания албанского народа.

— Во времена Скандербега Албания тридцать лет подряд успешно боролась против турецкой супердержавы,— продолжал рассуждать высокий.— А тогда Османская империя находилась в зените своей военной славы. Чем же объяснить, что тридцать с небольшим лет спустя, когда звезда Порты катилась к закату, вооруженное сопротивление самых крупных в истории Албании пашалыков не увенчалось успехом и закончилось трагически?

Ветер сорвал наконец пол-афиши и стремительно погнал ее по улице.

— Как ты думаешь, почему? — повторил вопрос высокий.

Его спутник улыбнулся.

— Ты лучше меня знаешь, почему. Продолжай. Я слушаю.

— Ты прав. Я давно занимаюсь этими проблемами — и пришел к выводу, что второе великое сопротивление Албании потерпело неудачу лишь потому, что ни Карамахмуд Бушати, ни Али-паша Тепелены, никто другой из крупных феодалов того времени не годились в лидеры Албании, и она их отвергла.

— Это верно,— согласился с ним его спутник.— Они были всего лишь великими одиночками.

«Отрубленная голова Али-паши[1] в начале февраля была доставлена в карете султанского курьера в Константинополь...» Высокий вспомнил прохладные светлые залы Исторического архива, где работал несколько месяцев, собирая материалы для книги о философии непокорности албанского народа. В многочисленных папках были собраны материалы о различных формах и методах борьбы турецкой администрации с малейшими проявлениями свободолюбия албанцев, завоеватели стремились выкорчевать из сознания народа самое идею неповиновения. Это была целенаправленная система отуречивания, которая включала в себя все, от прямого насилия до вытравления из памяти родной речи, чтобы воспрепятствовать развитию живого албанского языка. Человек как бы погружался в наркотический сон: раз,

---

[1] В 1820 г. Порта перешла к открытым формам борьбы с мятежным пашой. Начались военные действия. Султанские войска за два месяца оккупировали весь Янинский пашалык. Али-паша вместе с солдатами укрылся в Янинской крепости, которую туркам удалось взять лишь в январе 1822 г. Через несколько дней, 5 февраля, Али-паша был схвачен и вероломно убит.

два, три... дёрт[1]... пять... о-ох, а, бэ, вэ... что, что... что такое?.. И наконец — проваливался в черную бездну. Весь этот процесс основательно документирован в императорском архиве османов, в то время как в Историческом архиве собраны совершенно иные материалы — о методах сопротивления народа захватчикам.

Не спеша, припоминая эти тексты, высокий мужчина, будто разговаривая сам с собой, тихо произнес:

— И теперь, как мне кажется, Албания бросила миру самый грандиозный вызов...

Спутник исследователя архивов, не отрываясь, смотрел на него.

— Какая зима нам предстоит! Слышал, что говорили парни, которых мы обогнали: «Земная ось пришла в движение»?

— Все пришло в движение,— согласился спутник высокого мужчины, а про себя подумал: «Ось коммунизма пришла в движение». Вслух высказать эту мысль он не решился, поэтому повторил: — Все пришло в движение.

Ветер со свистом гулял по улице Баррикад.

---

[1] четыре (*тур.*).

Часть четвертая Паша-Лиман

Глава XX

7 февраля в 10.00 группа археологов, работавшая на раскопках античного Орикума[1], получила приказ прекратить все работы и немедленно покинуть район раскопок. Приказ был напечатан на двух языках — албанском и русском — и подписан с албанской стороны командующим военно-морской базой Паша-Лиман, а с советской — представителем командования Варшавского Договора генералом Железновым.

Археологи спешно собирали инструменты и упаковывали снаряжение. На машины, крытые брезентом, они погрузили каменные плиты с древними письменами. Их еще не успели почистить, и поэтому римские, византийские и турецкие надписи едва различались под слоем земли и грязи. Вполне возможно, что некоторые надписи сделаны на норманнском языке, но, чтобы разобраться в этом, нужно было время. Приказ свалился как снег на голову,— раскопки амфитеатра только начинались.

— Что за спешка, ей-Богу,— недовольно бурчал начальник партии, мечась возле машин. Его взмокшая без

[1] Местечко в окрестностях Влёры, рядом с которым велись раскопки античного г. Орик, основанного в VI в. до н. э., в свое время порта на Адриатическом море. Главная археологическая достопримечательность — амфитеатр на 500 зрительских мест, построенный в I в. до н. э.

единого волоска лысина округлой наготой демонстрировала полное отчаяние.

Порой он прекращал беготню: возможно, его осеняла какая-то идея, но, по-видимому, он тут же отбрасывал ее,— и снова начинал метаться около машин. Начальник уже предпринял кое-какие практические меры: без согласования с командованием базы он отправил в Тирану две срочные телеграммы, надеясь, что центр отменит столь странное решение военных властей. И вот результат — новый приказ: археологической партии велено немедля, в течение четырех часов, покинуть район раскопок, которые, к несчастью, велись на территории военно-морской базы. Археологи понимали, что при таких обстоятельствах всякие возражения бессмысленны.

Моросил назойливый дождь. Один из грузовиков набили доверху, и шофер закрывал его задний борт.

— Плиты второй галереи будем брать? — спросил кто-то.

Ответа не последовало.

Сильва Краснити, единственная женщина в археологической партии, смотрела то на расстроенного шефа, то на рабочих в испачканной одежде, насилу поднимавших тяжелые куски мрамора.

У машины гурьбой вертелись дети. Они разговаривали и по-албански, и по-русски. «Наверное, дети офицеров, служащих на военной базе». Сильве вспомнился приказ, напечатанный на двух языках. Она краем уха слышала об охлаждении отношений с Советским Союзом. Что-то подобное говорила ей и сестра Ана во время последнего приезда в Тирану, но Сильва не придала ее словам особого значения, так как не видела связи между охлаждением отношений и археологическими раскопками.

«Охлаждение...— Пожалуй, в сотый раз она посмотрела на высокого бледнолицего археолога, который наблюдал за погрузкой и по временам что-то кричал.— Нервничает,— отметила Сильва.— Ждет, что появится она... русская красавица».

Когда они ездили в зону наводнения, Сильва чувствовала, как он рвется домой, на базу. Сейчас он нервничал и здесь. Это проявлялось и в его походке, и в жестах, и в голосе, читалось в его серых глазах и даже запечатлелось на грязной одежде.

Вблизи грузовиков кучкой стояли полные женщины с сумками в руках, но Елены Грачевой среди них не было. Наверное, придет попрощаться в последний момент...

Сильва смотрела на мрачные скалы, окружавшие удлиненную бухту, которая образовалась в результате древних геологических процессов. Казалось, будто море рванулось вперед, обнажив зияющую рану на теле земли. С немилосердной болью отломилась часть суши, а земля так и не залечила эту жуткую рану. Окруженная с обеих сторон водой, отколовшаяся часть суши скалистым мысом врезалась в море. Редкие чахлые деревца да осенние цветы, которые в народе называют старушечьей травой,— пожалуй, единственное, что хоть чуточку скрашивало унылость голых скал. В самой глубине бухты размещалась военно-морская база. Вход в нее с моря надежно прикрывал остров Сазан, вечный страж бухты. Со стороны суши подходы к базе преграждало болото, простиравшееся от античного амфитеатра.

Порой Сильве чудилось, что именно здесь — конец мира. Недаром же более двух тысяч лет в этой бухте располагается военная база. «Паша Лиман, Лиман Паша,— она произнесла про себя это странное название.— Все равно что сказать: генерал Лиман». Ее шеф утверждал, что это самая древняя военно-морская база в мире. Ровесники Паша-Лимана давно разрушены, а он стоит. Тот факт, что еще римляне для своих воинов и их близких построили в Орике амфитеатр, говорит об огромном значении, которое они придавали этой базе и ее гарнизону. Византийские императоры строили вблизи базы пляжи, а в средние века Паша-Лиман стал форпостом османов, где они готовились к походу на Европу. Холодный ветер гнал по воде бронзовую рябь.

— Треснутую плиту грузить? — крикнул рабочий с одного из ярусов амфитеатра.

— Нет-нет, эту не надо. Грузите другую,— ответил ему чей-то голос.

«Через два часа — всему конец.— Сильва следила за рабочими, которые осторожно, боясь поскользнуться, несли к грузовику кусок античной колонны.— Через два часа,— повторила она про себя, но никакого облегчения от этого не почувствовала.— Через два часа мы уедем, а русская останется здесь, за колючей проволокой, под охраной топкого болота и сторожевых постов... Ну и

что? Какое это имеет значение? Все равно он будет вспоминать только о ней».

«Почему ты все принимаешь всерьез? — часто выговаривала ей сестра Ана.— Главное в любви — избежать личных драм. Не понимаю, почему людям нравится все драматизировать. Я, например, ненавижу драмы ничуть не меньше скупости. В конце концов, любая драма — это не что иное, как скудость души».

«Легко сказать: не драматизируй,— горько усмехнулась Сильва.— Но какой амфитеатр может обойтись без драмы?» А настоящая драма между тем лежала у нее под ногами и дожидалась своего часа. Она началась с того момента, когда был расчищен второй ярус амфитеатра. Среди людей, собравшихся поглядеть на находку, была и она, русская красавица с печальными глазами.

Сильва не помнила, кто из них заговорил первым, но приметила, пока шла расчистка третьего яруса,— он был словно бы не в себе. На четвертом ярусе его глаза непривычно заблестели. Пятый ярус стал для Сильвы роковым. «Легко сказать: не драматизируй»,— горько усмехнулась она. Как-то Сильва спросила сестру, правду ли говорят о ее связи с писателем Скендером Бермемой, но та лишь пожала плечами.

Сильва тяжело вздохнула. Туман, нависший над серой поверхностью моря, навевал тоску и одиночество. У края болота возвышался надмогильный памятник Старого паши, как называли здесь древнюю турецкую могилу. Камень с высеченной на его вершине чалмой походил на огромную голову. Сильва никогда не видела более скорбного памятника. Тоску навевали и могила, и солончаки вокруг, и особенно надпись на плите на старотурецком языке: «В этом последнем своем жилище, на краю владений ислама, близ моря и проклятых земель неверных, нашел свое вечное пристанище раб Аллаха и падишаха, адмирал Мирахор Джевдет Оглы-паша, командующий вечной военной бухтой. Да пребудет душа его в покое праведном!»

Молва гласит, что, согласно последней воле усопшего, все гарнизоны в течение более трехсот лет поддерживали огонь в светильнике на его могиле. Они верили, что священный огонь ислама виден всем народам Европы. Огонь погас в январе 1913 года, спустя несколько недель после ухода последнего турецкого гарнизона из Влёры.

Сильва записала эту легенду, чтобы рассказать друзьям в Тиране. Но теперь у нее пропало желание даже вспоминать о ней.

Грузовик, крытый зеленым брезентом, остановился у входа в казарму. Весь день прибывали машины с новобранцами. На базе что-то происходило.

Сильва взглянула на часы. Оставалось не более пятидесяти минут их пребывания здесь, на территории базы, согласно последнему приказу, написанному на двух языках.

Очередной грузовик с новобранцами из Тираны неторопливо полз по горной дороге, притормаживая на крутых поворотах, в сторону Влёры. На одном из поворотов машину остановил человек, закутанный в гуну[1], с серым капюшоном на голове.

— В Паша-Лиман? — спросил незнакомец.

— Туда,— ответил шофер,— но это военная машина, уважаемый.

Незнакомец приложил руку к уху, чтобы лучше расслышать, что говорит шофер.

— Военная? — переспросил он.— А кто теперь не военный?

Шофер рассмеялся и махнул рукой, соглашаясь подвезти его. Незнакомец подобрал гуну и легко взобрался в кузов машины. Новобранцы с интересом смотрели на пополнение.

— Как поживаете, сынки? — спросил незнакомец.

В ответ раздался нестройный хор голосов.

— В этом капюшоне он похож на куклуксклановца,— шепнул парень, сидевший напротив Бэна.

Новобранцы засмеялись. Человек снял с головы мокрый от дождя капюшон, и все увидели пожилого крестьянина с выгоревшими волосами и светлыми, почти прозрачными, глазами на изборожденном морщинами лице, которое напоминало кусок обожженного солнцем поля.

— Куда направляетесь, сынки? — снова спросил незнакомец.

— В Паша-Лиман,— ответил один из новобранцев,— на военную базу.

[1] Плащ, накидка с капюшоном из козьей шерсти.

Крестьянин обвел ребят недоверчивым взглядом и тяжело вздохнул.

— Что, не внушаем доверия? — задиристо выпалил один из парней.

Незнакомец пожал плечами и улыбнулся.

— Из Тираны? — помолчав, осведомился он.

— Да.

Старик вздохнул.

— Чувствую, не внушаем мы ему доверия,— не унимался тот же парень.

— Отец, хочу спросить тебя,— обратился к крестьянину другой,— что получится, если еж женится на змее?

Бэн подался вперед: где-то он уже слышал эту байку. Старик сделал вид, что не понял вопроса.

— Ни за что не догадаешься,— продолжал шутник.— Так и быть, скажу. Получится два метра колючей проволоки.

Все рассмеялись.

— Послушай-ка, сынок,— усмехнулся крестьянин.— Ты, верно, грамотный больно, школу закончил и там выучил про то, как ежи женятся на змеях. Я про то, конечно, не знаю, а вот про колючую проволоку могу рассказать. Этими вот руками и ногами продирался я сквозь нее, ясно тебе? — Крестьянин снял с себя гуну.— Я продирался сквозь нее, когда мы в двадцатом году сбросили Италию в море. Вместе с Селямом Мусаи[1], ясно тебе? Эта колючая проволока до сих пор там, на Паша-Лимане. Вокруг базы, ясно?

— Прости, отец, я не хотел тебя обидеть,— смутился новобранец.

— Да чего там. Хорошо, если понял,— отмахнулся крестьянин. Шея у него покраснела, будто кто огнем опалил.

— Но ты нас тоже малость обидел,— вступился за товарища другой новобранец.— Кому понравится, если тебе не доверяют?

Крестьянин пытливо посмотрел на него.

— Конечно, обидел,— настаивал тот.

Крестьянин передернул плечами.

---

[1] Селям Мусаи (1860—1920) — народный герой Албании, активный участник национально-освободительной борьбы начала века против итальянских оккупантов.

— Да не обращайте на меня, старика, внимания,— сказал он примирительно.

Человек он, по-видимому, был вспыльчивый, но отходчивый, зла на людей не держал.

— Закуривай, отец,— предложил парень, протягивая пачку сигарет.— Как звать вас, уважаемый?

— Белюль Дёномази.

Парень чиркнул спичкой и дал крестьянину закурить.

— Скажи-ка, джа[1] Белюль,— обратился к нему еще один новобранец,— ты вот смотришь на нас и небось думаешь: куда им, сосункам, защищать военную базу?

Крестьянин покачал головой. Бэн вспомнил фразу, брошенную отцом: «С такими патлами только базы и защищать».

— Э-эх, бесенята,— ласково промолвил крестьянин.

Ребята рассмеялись. Ссоры как не бывало. Крестьянин, однако, заявил, что не верит в современные средства защиты, что особенно его раздражают радары, которые он видел однажды в документальном фильме,— мол, детские игрушки, да и только: ветер подует — крутятся.

— Радио и телефон на войне тоже лишние,— сказал он убежденно.— Телефон — чтобы шуры-муры разводить, а война — дело серьезное.

Парни хохотали до слез.

— Вы слыхали, конечно, про Селяма Мусаи, который схватил пушку за ствол? — спросил крестьянин.

— Знаем-знаем, в школе проходили,— раздались голоса.

— А вот я, Белюль Дёномази, видел это собственными глазами. Селям Мусаи никому не звонил по телефону и не спрашивал, можно ли хватать пушку за ствол. И книг никаких не читал, чтобы узнать про это. Нет, нет и нет! Он попросту бросился к пушке, схватил ее за ствол, чтобы пригнуть к земле, и погиб, закрыв телом огнедышащее дуло.

Пораженные парни переглянулись.

— Так все и было! — сказал крестьянин, окинув слушателей гордым взглядом.

Дождь тем временем прекратился. Небо казалось усталым.

---

[1] Уважительное обращение к пожилому мужчине.

— Видно, здорово допек тебя этот телефон, если ты его так возненавидел,— сказал сидевший рядом с крестьянином новобранец, чтобы поддержать беседу.

— В самую точку попал,— согласился крестьянин.— Телефон не для мужчин. Говорил я как-то по этому аппарату со своей старухой, от внука из Тираны, когда в гости к нему ездил. «Белюль,— сказала она мне,— что с тобой случилось? Какой-то голос у тебя странный, точно муха жужжит. Прошу тебя, Белюль, не звони мне больше по телефону. Я плачу от жалости, когда слышу тебя».

Парни дружно расхохотались.

— По телефону слово мужчины не имеет никакого веса,— продолжал крестьянин.— К примеру, скажут по телефону: «Иди в атаку, Белюль Дёномази!», а я и с места не двинусь, хоть готов броситься на врага в любую минуту. На это пищанье у меня один ответ: «А пошел бы ты прочь, вонючка, если командирские приказы отдаешь этаким голоском!» Так я не могу воевать.

— А для любви, значит, телефон годится? — не унимался новобранец.

— Для этого он и придуман, сынок. Только для любви.

— А вот и Влёра! — выкрикнул кто-то.

На горизонте в самом деле показались город и море. Крестьянин взглянул на открывающуюся панораму, и глаза его сощурились, превратившись в щелочки, будто хотели спрятаться под бровями. От его прежнего вида осталась лишь улыбка, да и то едва приметная, будто след от царапины на камне.

И вдруг он запел:

Влёра, за тебя я горд —
Ты в Европе первый порт.

Со стороны это могло показаться смешным, но ребята не засмеялись. Только один тихо вымолвил:

— Ну, это ты уж хватил, джа Белюль.

А он продолжал петь, ни на кого не обращая внимания. Шоссе шло теперь вдоль берега моря. Небо, скалы, море — все было серым. Старик закончил песню и с минуту сидел молча, склонив седеющую голову, словно отдыхая после тяжелой работы. Вдали показался остров Сазан.

— Эх, Влёра, Влёра,— горестно вздохнул старый крестьянин, натягивая на голову капюшон.— Кто только

не стремился захватить тебя?.. Остановись-ка, друг,— крикнул он шоферу,— я здесь сойду.

Грузовик притормозил. Крестьянин спрыгнул на землю и помахал новобранцам рукой.

— Всего вам доброго, сынки.

Грузовик заурчал в ответ.

— Помните, Влёра у нас только одна...— прокричал им вслед старый крестьянин.

Он еще что-то кричал, но машина набрала скорость, и слова его растаяли в серой дымке зимнего дня.

Шоссе лентой стлалось в глубине бухты вдоль берега моря. Ребята притихли, с любопытством разглядывая голые скалы. Холодало.

— Вот и база,— произнес кто-то.

— Где?

— Вон там, вдали.

— Да-да, точно.

Справа было бескрайнее море, а слева — мертвое болото. Дорога теперь шла по длинной земляной гряде. То тут, то там среди неподвижно застывшей топи торчали редкие стебли камыша. Грузовик подбрасывало на рытвинах и ухабах.

— Ндаль! — раздался резкий окрик, и тут же другой голос повторил приказ по-русски: — Стой!

Машина остановилась.

— Разве советская охрана тоже есть? — шепотом спросил кто-то.

— Конечно. База общая.

Шофер вылез из кабины и предъявил двум караульным в касках документы. Они подошли к заднему борту и строго оглядели новобранцев.

— Калёни! — сказал один.

— Проезжайте! — повторил другой.

Грузовик двинулся дальше. Вдали показалось несколько красноватых сооружений.

— Смотрите, крейсеры!

— Нет, это грузовые суда.

— А подлодки где?

— Их отсюда не видно. Наверное, стоят где-нибудь в глубине бухты.

И снова пропускной пункт, и снова караульные в касках. Наконец добрались до места. Кто-то откинул задний борт, и новобранцы один за другим стали спрыгивать на землю. Неподалеку стояли два крытых брезентом грузовика. Вокруг них суетились какие-то

люди, гражданские и военные. Они с любопытством посматривали на новобранцев.

— Из столицы,— сказал кто-то.

Раздался привыкший к командам голос. Новобранцы оглянулись, а те, кто успел присесть, вскочили на ноги. Голос показался Бэну знакомым.

— Пополнение из Тираны? — строго спросил подошедший офицер.

Бэн посмотрел на него, и их взгляды встретились. Это был Зэлькин муж.

— Бэн?! — удивленно воскликнул он, обнял родственника и, не снимая руки с его плеча, отвел в сторону.— Как ты? Как отец?

— Нормально,— ответил Бэн.— Нельзя сказать, чтобы очень, но так...

— Облучается?

— Несколько дней назад его положили в больницу.

— Вот как?! — озадаченно протянул Зэлькин муж, не отрывая глаз от запыленных сапог. Потом, вскинув голову, он стал расспрашивать Бэна о других родственниках. Разговорившись, они не заметили, как ушли довольно далеко.— Вот это и есть база,— заключил он.

Бэн покрутил головой по сторонам, но ничего примечательного не увидел: сплошная серая масса. Он представлял себе базу несколько иначе.

— А где же подводные лодки? — разочарованно спросил Бэн.

— Увидишь. Сейчас все увидишь.— Обняв Бэна за плечи, Зэлькин муж повел его по территории базы.— В том здании находится штаб. Чуть дальше — ремонтная мастерская. Там — «дорога в никуда». Так ее прозвали, потому что она никуда не ведет. А эта, по которой мы идем, называется Береговая улица номер один. По ту сторону от нее, видишь маленькие домики скандинавского типа, живут советские. Они называют их «финскими домиками». А дальше — дома наших офицеров. За ними начинается болото, которое отделяет базу от материка. А красноватое здание слева — наш клуб. По субботам там бывают танцы — до полуночи.

— Танцы?! — удивился Бэн.

— Да,— мрачно сказал Зэлькин муж.— Танцуют весь вечер, будто бы ничего не случилось.

Пейзаж, только что казавшийся Бэну мертвым, вмиг приобрел ореол окружавшей его таинственности. «Танцуют»,— мысленно повторил он.

— Ты, возможно, кое-что слышал, но все же знай, что первые дни вас будут инструктировать... ситуация сложная.

— Да, слышал,— подтвердил Бэн.— Мне Бесник рассказывал.

— Положение здесь тяжелое,— повторил Зэлькин муж.— Будь осторожен, возможны провокации... А вот и подводные лодки. Видишь? На этих — смешанные экипажи, а на тех, что подальше,— на данный момент экипажи только советские. Те два огромные судна — плавучие базы. Там, дальше,— флагманский корабль. Видишь? Все другие корабли идут следом за ним. Водолазный катер. Плавучий док. Торпедные катера. Другие надводные суда. Часть из них стоит за островом, поэтому отсюда не видна.

— Только эти подводные лодки? А других нет? — спросил Бэн.

Зэлькин муж расхохотался.

— А других нет? — передра́знил он Бэна.— Здесь базируются самые современные подводные лодки. Это же наимощнейшая военно-морская база Средиземноморья.

Изумленный Бэн уставился на родственника.

— У Италии нет и половины того, что есть здесь, в Паша-Лимане,— с гордостью заключил Зэлькин муж.

Бэну вспомнился старый крестьянин Белюль, который набросил гуну на колючую проволоку.

— Но что поделаешь,— посетовал Зэлькин муж, огорченно качая головой,— внутри яблока завелся червь.

Никогда еще это знакомое с детства выражение не производило на Бэна столь сильного впечатления. «Внутри яблока завелся червь...» Он хотел было спросить, неужели нельзя ничего поправить, но, вспомнив ночной разговор с Бесником, передумал.

Они вернулись к группе новобранцев. Археологи все еще возились возле своих грузовиков. Завернутый в целлофан мраморный барельеф лежал на земле.

— Вот и археологи уезжают.— В голосе офицера прозвучала тревога.— На базе введено чрезвычайное положение.

Начальник археологической партии, промокший насквозь, бегал вокруг машин, не зная, за что взяться.

— Куда девать барельеф с гладиаторами? — спросил кто-то.

— Постарайтесь погрузить его на одну из машин,— сказал начальник партии.— И не ждите от меня указаний. Действуйте!

Машины стояли с включенными моторами. Рабочие пытались поднять барельеф с земли.

— Нашли античный театр,— сказал Зэлькин муж,— прямо на краю болота.

Одна из машин двинулась в путь. Небольшая толпа людей, все это время с любопытством следившая за погрузкой, расступилась, пропуская ее.

— А кабанью голову куда девать? — крикнул кто-то из рабочих, стукнув при этом по стеклу кабины, в которой сидел начальник партии.

— Нам она не нужна,— отмахнулся он.— Кто хочет, тот пускай и берет.

— Что за кабанья голова? — спросил Бэн.

— Мне кажется, они нашли окаменевшую голову дикого кабана,— пояснил Зэлькин муж.— Осталась здесь, наверное, со времен боев гладиаторов с дикими животными.

Отправился в путь и второй грузовичок. Кто-то помахал ему вслед рукой.

— Все гражданские уезжают,— вздохнула какая-то женщина.

— Вы приехали, они уехали — жизнь,— философски заметил Зэлькин муж.

— Чего? — спросил по-русски мужчина с красным лицом и блуждающим взглядом.

— Ничего,— тоже по-русски ответил Зэлькин муж и положил руку на плечо Бэну.— Инженер, отличный специалист по подводным лодкам,— сказал он о краснолицем мужчине,— только пьет сильно. И сегодня уже успел набраться.

Инженер медленно вращал зрачками, точно искал, с кем бы поговорить, но люди расходились по домам.

— Елена Михайловна! — радостно воскликнул он, завидев приближавшуюся женщину.— Как поживаете, драгоценная? Вы, как всегда, неотразимы — и, как всегда, опоздали.

Она равнодушно взглянула на него, продолжая мурлыкать незнакомую мелодию. Женщина в самом деле была очень красива, но какая-то сонная — спящая красавица, да и только.

— Уехали? — удивилась она, взглянув на часы.— А что так спешно?

— Уехали,— подтвердил инженер.— Оставили вот несколько ям да плит с древними письменами и уехали.

Женщина посмотрела на ямы и расчищенные ярусы амфитеатра.

— Сцена готова,— театрально склонился перед ней инженер.— Можем сыграть трагедию.

— Какую трагедию? — вяло переспросила женщина.

— Трагедия у вас под ногами. Разве не видите? — произнес он громко и торжественно.

Но она совсем не слушала его, продолжая мурлыкать все ту же мелодию.

— Никто тебя понять не может в ужасной этой пустоте,— продекламировал он трагическим голосом.

— Вы серьезно, Сергей Галактионович? — спросила женщина, наконец обратив на него внимание.

Инженер посмотрел на собеседницу, и в его серых затуманенных глазах вспыхнула лукавая искорка.

— Почему вы на меня так смотрите? — спросила женщина.

Инженер разразился безудержным смехом.

— Елена Михайловна, дорогая моя,— закричал он, будто только что ее приметил,— вы... вы... Зачем вы здесь? Скажите, объясните, что держит вас в этом аду? Вам надо уехать. И немедленно. Далеко.— Инженер приблизился к ней почти вплотную. Почувствовав запах перегара, женщина брезгливо отстранилась от него.— Скоро мы начнем, как спруты, рвать друг друга на части.— Он угрожающе задвигал челюстями, показывая, как это будет выглядеть.

Женщина с ужасом смотрела на него.

— Это правда? — только и вымолвила она.

Ее вопрос вызвал у него новый приступ смеха.

— Елена Михайловна, дорогая Елена Михайловна,— забормотал он, удаляясь нетвердым шагом,— вы здесь... это недоразумение. Недоразумение,— закричал он, обернувшись.— Не-до-ра-зу-ме-ни-е. Вы слышите?

Дикий кабан всегда страшен в ярости, но и у него есть уязвимое место: кабаны не могут крутить головой и оборачиваться. Только это и спасало гладиаторов от смертоносных клыков зверя. «Ну, а если кабану все-таки удавалось...» — Бэн ворочался с боку на бок: никак не мог заснуть. В голову лезла всякая ерунда.

— Не спится? — посочувствовал сосед справа.

— Нет,— признался Бэн.
— Мне тоже,— сосед тяжело вздохнул.— Ты из Тираны?
— Да.
— Я с юга. А вы сегодня приехали?
— Ага.
— Мы здесь уже три дня.
В казарме было холодно. Бэн попытался получше закутаться в одеяло.
— Вам уже рассказали о сложившейся обстановке? — спросил сосед.
— Пока нет.
— Завтра, наверное, расскажут.
— А вам? — спросил в свою очередь Бэн.
— Рассказали.
— И что? Какая обстановка?
Сосед поерзал, устраиваясь поудобнее.
— Положение тяжелое,— сказал он, помедлив.
— Сигарета есть?
— Нет. Но есть немного ракии. Хочешь?
— О-го,— удивился Бэн.— Где такое дают?
На соседней койке послышалась возня.
— Бери. Дед сунул в сумку, на дорогу.
Бэн нащупал в темноте руку, подающую ему маленькую бутылочку, откупорил ее и отхлебнул.
— Спасибо,— поблагодарил он, возвращая бутылочку соседу.
В ответ послышалось легкое бульканье: по-видимому, сосед тоже отпил несколько глотков.
— Я плохо сплю,— признался он.
На минуту воцарилась тишина. Бэн не знал, что сказать, о чем поговорить с ним. В глубине казармы послышалось сонное бормотание. С улицы доносился шум морского прибоя. Спать совсем расхотелось.
— То, что происходит сейчас на базе Паша-Лиман, напоминает мне один случай из жизни нашего села,— заговорил сосед.— Хочешь, расскажу?
«Тоже мне Шехерезада»,— подумал Бэн.
— Если не интересно, то могу и...
— Да почему же? Рассказывай!
Сосед снова заерзал в постели.
— Это странная, почти невероятная история,— начал он издалека.— Речь пойдет о мине,— сказал он и замолчал, ожидая, вероятно, реакции соседа. Но Бэн

молчал.— Может, тебе осточертели истории о минах? — В голосе рассказчика проскользнула обида.

— Знаешь что,— не выдержал Бэн,— хочешь рассказывать, рассказывай, а...

— Какой ты нетерпеливый, однако.— На соседней койке опять послышалась возня, а затем бульканье.— Еще глоточек?

— Потом.

— История о мине,— произнес он многозначительно.— Как-то вечером крестьянин из нашего села увидел в прибрежной воде мину. Это была огромная морская мина, которую он принял за бочонок с оливковым маслом.— Рассказчик заговорил быстрее, боясь, что Бэну надоест его слушать.— В тот год оливки не уродились, и на селе ни у кого не было ни капли масла. А с бочонком масла можно целый год прожить припеваючи. Но это была мина. Просто крестьянин принял ее за бочонок с маслом. Тебе не надоело?

— Что ты выдрючиваешься? — разозлился Бэн; рассказ начал занимать его.— Если задумал завести меня, предупреждаю всерьез, не получится. Не хочу больше слушать.

Сосед примолк. Бэн подумал, что он и в самом деле не произнесет больше ни слова. Однако спустя некоторое время с соседней койки раздался тихий голос. Казалось, что парень разговаривает сам с собой. Бэн решил не проявлять интереса к рассказу, а сосед ни разу не спросил, слушает он его или нет. Его голос звучал задушевно и таинственно, точно он рассказывал сказку. Слушая его, Бэн представил огромную черную плавучую мину, которая колыхалась на волнах. «Не меньше полбочонка масла будет,— решил крестьянин.— Полный бочонок давно бы затонул, а этот плывет. Хвала Аллаху, что хоть полбочонка есть!» Он зашел в воду и стал подталкивать мину к берегу. Она послушно плыла в нужном ему направлении. Трудности поджидали крестьянина на берегу. Тогда он побежал домой и поведал о находке жене и детям. С наступлением ночи вся семья отправилась за «бочонком». Мина лежала там, где он ее оставил, только чуточку накренилась набок. Они попытались подкатить ее к дому, но мешали какие-то шишечки, похожие на рожки.

Всю ночь они проканителились с этой миной и только к утру доволокли ее до дома. И там еще немало потрудились, чтобы вкатить мину в дом. В конце кон-

цов справились. «Как же открыть бочонок?» — ломал голову крестьянин, примеряясь и так, и этак. Заметив винтики, стал их раскручивать, потом приподнял острым ножом какую-то пластинку, думая, что это крышка. И — увидел маленькие механизмы с разноцветными циферблатами и подрагивающими стрелками. «Тик-так, тик-так...» — отмеряли они. «Мина!» — сообразил наконец крестьянин, схватил маленькую дочку на руки и, мгновенно выскочив из дому, помчался вдоль села прочь, оглашая округу воплями: «Мина! Мина! Спасайтесь!» То, что произошло потом, описать невозможно: крики, хлопанье дверей, топанье ног. Село вмиг опустело. Все сбежались к старой мельнице и стали судить-рядить: что делать — в село вернуться и разделить вместе с ним беду или обустроиться где-нибудь в горах, подальше от греха, и там дожидатся избавления. Большинство селян сходилось на том, что если суждено погибнуть, то уж лучше в своем доме. Виновник, заваривший кашу, места себе не находил, а глаза его так и кричали: «Простите, люди добрые! Это я во всем виноват. Я вытащил черта из моря и приволок в село». К вечеру люди поодиночке потянулись к своим домам. Сперва самые смелые, потом те, что жили на краю села, и наконец — женщины с детьми. Печалью в сердце отозвалась безрадостная картина возвращения под родной кров. Ворота жалобно поскрипывали. Оконные ставни тихонько прикрывались. Люди перешептывались друг с другом, будто боялись потревожить задремавшего хищного зверя. К ночи все разошлись по домам, и только семья крестьянина, притащившего мину, устроилась на ночлег у родственников. Их собственный дом опустел — в нем поселилась мина. Никогда в селе не было так тихо, как в эту злополучную ночь. Не слышно было женских голосов у колодца, звона кувшинов, наполняемых водой. Колодец стоял неподалеку от дома, где затаилась мина. В тот вечер впервые в истории села за водой пошли мужчины. И пошли они к дальнему источнику, что в двух часах ходьбы от села, и вернулись в полночь смертельно усталые. Женщины, пока их не было, от страха, места себе не находили. «Случилось что?» — обеспокоенно осведомились крестьяне, ходившие за водой. «Нет. Пока нет. Нам казалось,— торопливо говорили женщины,— что она вот-вот разорвется. От страха и ожидания аж в ушах звенит».— «Вода далеко, очень далеко».— «Что же делать с нашим колод-

цем?» — беспокоились женщины. Так прошла первая ночь, которую село провело с миной. Страшнее гостя здесь не бывало. Наведывались в разное время бандиты, убийцы, турецкие гонцы, следовавшие в Паша-Лиман, беглые каторжники, гадалки — кого только не было, но они не шли ни в какое сравнение с нынешней гостьей. Жизнь в селе стала невыносимой. Дом с миной и сельский колодец возле него постепенно приходили в запустение: никто не решался приблизиться к ним. По вечерам старики рассказывали внукам сказки о страшной кучедре[1], которая украла воду, и о смелом юноше со звездой во лбу, который ее победил. «А когда придет смелый юноша со звездой во лбу убить мину?» — допытывались дети. Об этом мечтали все. Люди устали ходить за тридевять земель по воду. Их извели тревожные сны. Женщины хотели по-прежнему встречаться у колодца, чтобы, пока кувшины и ведра наполняются водой, немножко посудачить, а мужчинам хотелось свободно разгуливать по селу. Очень надоел им хищный зверь, засевший в центре села. Крестьяне вновь собрались на совет и порешили покончить с миной навсегда. Но как? Вышел один смелый юноша и сказал, что он готов вытащить мину из дома и сбросить ее в море, но односельчане воспротивились. «Нельзя пускать его,— рассуждали они.— И сам погибнет, и село подорвет». Наконец кто-то вспомнил, что живут на свете добрые волшебники, которые умеют управляться с минами. Зовут их «женеры». Вот и решил сход найти такого волшебника. Конечно, не за «спасибо». Собрали деньги, каждый дал сколько мог, и снарядили в город трех односельчан, из тех, что попроворнее. Сели они на ослов и отправились в путь. От их маленького села далеко было до любого населенного пункта, не говоря уж о больших городах, где только и можно найти «женера». Лишь спустя две недели вернулись посланцы домой, но «женера» привезли. Он гордо восседал на осле, снисходительно поглядывая по сторонам. На голове у него была широкополая шляпа, а в руках — сумка с инструментом. Старики смотрели на него с уважением, девушки с обожанием, они разом влюбились в него. А для ребятишек он был юношей со звездой во лбу, который непременно победит кучедру. Мужчины со-

[1] Персонаж албанских народных сказок. Обычно страшная старуха, олицетворяющая враждебные человеку силы.

шлись в кофейне. «Непростое это дело, ума требует большого и знаний,— сказал «женер»,— но мне оно по силам, и я спасу ваше село». Он велел рано утром всем до единого покинуть село и уйти к старой мельнице. «Я привык работать один»,— гордо заявил он. Говорил «женер» низким красивым голосом, который вселял надежду. Наступила ночь, последняя ночь с миной. Ни один человек в селе не сомкнул глаз. Последнюю ночь проводили они вместе — хищный зверь и охотник,— затем — смертельная схватка. Утро выдалось холодное. «Женер» плотно поел, выпил крепкого кофе, а потом, заложив руки за спину, проследил, все ли крестьяне ушли из села. Никто не видел, как он открыл ворота, как пересек двор и вошел в опустелый дом. О том, что произошло дальше, можно только догадываться. Напрасно ждали люди, когда задымится труба на доме с миной,— условный сигнал, что дело сделано. Только к вечеру «женер» с изможденным и желтым, как воск, лицом появился у старой мельницы, где его с нетерпением ждали крестьяне. «Ничего не получилось,— сокрушенно сказал он, отирая со лба крупные капли пота.— Я не знаю этого вида мины, с такими я никогда не имел дела.— Люди оцепенели.— Я испробовал все, что умел. Простите меня. Я хочу вернуть деньги, но боюсь, что дома их уже истратили. Мы небогаты...» — «Не надо нам никаких денег,— запротестовали крестьяне.— Ты работал — и деньги твои». «Женер» сел на осла, которого пришлось взять в долг, и при полном молчании крестьян покинул село. Его широкополая шляпа еще долго маячила на главной улице, а потом и она скрылась из виду.

Дни текли своим чередом, зима была в самом разгаре. Для защиты от дома с миной некоторые вырыли убежище. Уезжая, «женер» предупредил, что мина очень мощная, и посоветовал построить защитные сооружения. Еще он сказал, что для большей безопасности хорошо бы по всем улицам прорыть траншеи и передвигаться только по ним. Спустя некоторое время село походило на укрепленную прифронтовую полосу с улицами-траншеями, по которым, пригнувшись, пробегали крестьяне. А время шло. Трое парней подались в горы, к партизанам, ушел с ними и один из сыновей того крестьянина, что принял мину за бочонок с маслом. Стал собираться в город его старший сын. Сказал, что пойдет учиться разряжать мины, а когда выучится,

вернется в село. С тем и ушел. Поговаривали потом, что видели его в одном из дальних городов. Был он выпивши в компании женщин легкого поведения и опустившихся актеров, с которыми гулял в кабаках и кофейнях. Вскоре о нем забыли. «Никто, видно, не избавит нас от этого чудища,— сокрушались крестьяне.— Знать, на роду нам написано жить с миной до скончания века».

Война их не пугала, о ней упоминали мимоходом, как о чем-то само собой разумеющемся. Может, поэтому в селе редко произносили слово «воевать», а чаще говорили «стрелять», а то и просто: «побили греков» или «побили сербов». Крестьяне сражались с греками, гнусавыми австрияками, в 1920 году с итальяшками, когда Чечо Керосин поджег цистерну с горючим (отсюда и прозвище), но с таким коварным врагом, как мина, воевать не доводилось. А подлость его заключалась в том, что он мог напасть на них в любую минуту. В постоянном напряжении жили они до октября 1944 года, пока в село не пришли партизаны. Странная картина предстала их взору — повсюду рвы, заграждения, траншеи; трубы домов вроде бы дымятся, а людей не видно. Сначала партизаны решили, что это укрепленный вражеский бастион, и залегли в осаде, направив дула пулеметов на село. Больше часа продолжалась осада. Разъяснил недоразумение крестьянин, который первым вышел из дома и направился к мельнице. Тут все село сбежалось встречать освободителей, однако не на главную улицу, как того требовал обычай, а на ту, что проходила подальше от центра. «Где мина? — спросил пожилой партизан. Ему тотчас показали дом.— Немедленно уходите из села. Я обезврежу ее». На фуражке у партизана была красная звезда, но люди уже не верили, что от проклятой мины можно когда-нибудь избавиться. Однако за село ушли все до единого, как тогда, во время приезда «женера». Партизан обезвредил мину спустя часа три: вдруг из давно остывшей трубы заструился голубоватый дымок. Крестьяне бросились в село. Партизан сидел на камне возле колодца и курил сигарету. Люди стали его обнимать, целовать, наперебой предлагая угощения: бюреки[1], жареное мясо, ракию, вино, варенье, мед. Засуетились и старухи, размахивая скалками, точно саблями. Партизан, одна-

[1] Слоеные пироги с начинкой.

ко, от всего отказался, признавшись, что чертовски устал, и попросил только сварить кофе покрепче. Кофе он пил неторопливо, маленькими глотками, прикрыв при этом глаза. Казалось, что уже много лет он не пил крепкого кофе. Крестьяне заходили в дом посмотреть на мину. В доме царила мертвая тишина, словно там был покойник. Мина была разобрана, и ее разноцветные детали — провода, винтики, гайки, какие-то блестящие трубки — аккуратно лежали на полу. Ребятишки с восхищением смотрели на обессилевшие когти кучедры, на ее раздробленные челюсти и густую черную кровь, которая, как им чудилось, вытекала из трубок. Хозяин дома, притащивший чудище в село, приблизился к мине и склонился над ней. «Издохла,— сказал он, облегченно вздохнув.— Сердце не стучит». Как ни упрашивали крестьяне партизан погостить у них подольше, они через час двинулись в путь. Впопыхах никто не сообразил спросить, как зовут партизана. И лишь когда отряд покинул село, крестьяне опомнились и бросились за ним вдогонку. Да разве на ослах догонишь!

С той поры минуло много лет. Однажды в село мимоходом заехали фоторепортеры. Услышав рассказ про мину, они написали об этой истории в газете. Но имя партизана им узнать тоже не удалось. Все помнили, что было ему около сорока лет, что он любил крепкий кофе. Но в Албании очень многие люди любят кофе.

— Ты спишь? — спросил сосед.

— Нет,— ответил Бэн.

— Я думал, ты уснул.

С минуту оба молчали. Бэн не был уверен, что прослушал рассказ соседа от начала до конца, а не домыслил кое-что в полудреме сам.

— Но чем же похожа история про мину на то, что происходит здесь, на базе? — поинтересовался Бэн.

— Пожалуй, ничем,— задумчиво произнес сосед.— Разве что начала схожи. Создавая базу, мы ведь тоже думали о благе.

— А разве это не так?

— Поначалу так и было, а сейчас нет. Да, я совсем забыл, что вам ничего еще не разъясняли.

— Но в истории с миной люди убегали от опасности, а мы, наоборот, собираемся тут все вместе.

— Это правда. Собираемся. Даже слишком спешно. И все со звездами во лбу.

— Что-то я тебя не пойму,— сказал Бэн.

— А что тут непонятного? Может, ты думаешь, что я рассказал этот случай с тайным умыслом?

— Я не из таких,— обиделся Бэн.

— Вспомнился он мне, вот я и рассказал. Черт с ним! Забудем!

— Да я ничего,— буркнул Бэн.— Что ты горячишься? Выпил лишнего?

— Это ты пьян, а не я! — обозлился сосед.

— Эй вы там, утихомирьтесь наконец. Всю ночь бормочете, как старые бабки,— раздался сонный голос.

На мгновение установилась тишина.

— Послушай,— первым заговорил Бэн.— Ты не обижайся. Ничего плохого я не хотел сказать.

Сосед молча вздохнул.

— Дай мне отхлебнуть ракии,— попросил Бэн.— Может, засну.

На соседней койке послышалась возня, парень, по-видимому, искал бутылку и спустя минуту протянул ее Бэну.

— А что же будет с базой? — спросил Бэн.

— Не знаю,— ответил сосед.— Может, поделим поровну.

— Это труднее, наверное, чем уничтожить ее вовсе? — рассуждал Бэн.

— Конечно.

— Эй, замолчите вы когда-нибудь? — послышался все тот же сонный голос.

— Спокойной ночи,— прошептал сосед.

— Спокойной ночи.

«И у всех у нас звезды во лбу»,— мысленно повторил Бэн слова соседа. Потом ему вспомнилась улица Дибры, почему-то в дождь. Девушки. Огни реклам. В памяти всплыли надписи на мраморных плитах у раскопанного археологами на краю болота амфитеатра, рядом с казармой. «Бэнус Стругус,— подумал он.— Римский воин Бэнус Стругус. Арбаан Стрёг, норманнский воин. Турок Бэн Асчер». Он представил, как усталый возвращается с базы Паша-Лиман на улицу Дибры, в их маленький уютный бар. Все рады его приходу, обнимают, перебивая друг друга, спрашивают: «Что ты? Как ты? Чем тебя угостить?» — «Я зверски устал, сварите мне кофе покрепче»,— говорит он. А вокруг базы и на ее территории ежи женятся на змеях. Играет музыка. Колючая проволока вперемежку

с холодным дождем. Крестьянин Белюль Дёномази бережно набрасывает гуну на пары новобрачных. На могилу Старого паши падают мертвые чайки. «Я зверски устал,— мысленно повторил Бэн.— Я прибыл с базы Паша-Лиман. Вот мои товарищи: первая койка справа, вторая, третья, ряд коек слева. Шеренга. Юноши со звездами во лбу. А вот надпись на моей плите: «Арбэн Струга. Погиб за Родину в Паша-Лимане в 1961 году». Музыка. Воспоминания... Вечность».

Глава XXI

Была суббота. По улочкам базы бродили солдаты. То тут, то там навстречу им попадались женщины, дети, офицеры. Слышалась албанская и русская речь.

— Я думал, что здесь не бывает суббот,— сказал один из солдат своему спутнику. Они шли по «дороге в никуда».

— Везде, где есть люди, бывают и субботы,— рассмеялся тот.

По Болотному бульвару взвод солдат направлялся в клуб. У двоих из них были музыкальные инструменты.

— Смотри-ка, оркестр! — удивился солдат, будто увидел призрак.

Представитель командования Варшавского Договора генерал Железнов пребывал в состоянии сильного раздражения. Из клуба доносилась музыка. Он встал из-за стола и нервно прошелся по кабинету. «Что за порядки?! — возмутился он.— Никаких уставов. Кто разрешил? Музыка, женщины... И это называется военная база?! Бардак какой-то!»

На заседании штаба он уже говорил об этом, но результатов никаких. Помощники пропускали его замечания мимо ушей, а ему не хотелось критиковать своего предшественника в их присутствии. Он прибыл на базу три недели назад и, хотя многое ему здесь не нравилось, считал неудобным начинать свою службу с выговоров и разносов.

Он сел за стол и вновь перечитал тексты вечерних радиограмм. Две из них были получены из Москвы и требовали срочного ответа. Он перевел взгляд на висевшую на стене карту базы: береговые укрепления, зе-

нитные батареи, склады горючего, арсеналы оружия, укрепления острова со стороны материка.

На столе перед ним лежало короткое донесение о прибытии пополнения вместо тех советских солдат, которые отбыли на родину. Албанцы также обновили часть своего личного состава. Теперь ему предстояло отправить в Москву короткое сообщение об обстановке на базе. Срочно. Радиограмма была подписана главнокомандующим Объединенными вооруженными силами государств—участников Варшавского Договора маршалом Советского Союза Гречко. «Обстановка на базе...— подумал генерал Железнов.— Легко сказать».

У него действительно не было полной ясности, что происходит в верхах. В Тиране начались переговоры с албанцами о базе во Влёре, но о деталях генералу ничего не сообщили. А получаемые им донесения были слишком противоречивы. Он, например, не знал, как поступать в этой ситуации: удерживать базу за собой или же оставить ее. Не знал он точно и о намерениях руководства. Как человек военный, генерал предпочел бы иметь четкий приказ: «Удерживать базу при любых обстоятельствах!», или «Захватить базу!», или «Уничтожить базу!».

В радиограммах содержались столь туманные формулировки, что их можно было отнести к любому из трех возможных вариантов приказа. А из последнего сообщения следовало, что их, похоже, интересуют все варианты одновременно. Сам он предпочитал самый трудный и опасный — захват объекта. База во Влёре была одним из мощных укрепленных форпостов социалистического лагеря и единственным на Средиземном море. Потеря его из-за предательства албанцев значительно ослабила бы военную мощь соцстран, поэтому его следовало удержать во что бы то ни стало или же отобрать силой. Генерал не понимал, о чем философствуют хитрые бюрократические лисы на переговорах в Тиране. Из их донесений ничего нельзя понять — сплошной бред. «Почему они не скажут прямо, что делать?» — негодовал генерал. Он был готов, если потребуется, захватить базу силой. В свое время он брал проклятые Зеловские высоты в Германии. Генерал не ведал страха.

«Страх...— Он снова взглянул на карту.— С такой мощью самый трусливый генерал станет храбрецом.

С нашими подлодками легко прорвать оборону Италии. Потом с юга можно так куснуть Францию, что содрогнется вся Европа». (Он вспомнил, что так, из-под брюха, волки хватают за ляжки зазевавшихся кобыл.)

«Вся Европа...— повторил он про себя.— Если бы не эти рохли из Министерства обороны, которые неизвестно о чем болтают на своих переговорах в Тиране. Только и думают, чтобы уйти отсюда. Всю жизнь они мечтают слинять с поля боя,— подумал он невесело.— Оставить базу... Чего проще? Забрать подлодки, другие суда и уйти. Неутешительное решение. Более того — позорное решение. Весь вопрос в том, кому это выгодно? В прошлом году американцы требовали от нас уничтожить базу во Влёре; это было условием переговоров».

Накануне отъезда в Албанию он встречался с министром обороны. Малиновский, указав рукой на карту Европы, сказал: «Понимаешь, что значит для нас военная база во Влёре? — И, выдержав паузу, добавил: — Раньше ракеты, нацеленные на Испанию и Гибралтар, мы размещали в Германии, а теперь здесь. Во Влёре можно разместить ракеты, направленные на Суэцкий канал». «Гибралтар и Суэцкий канал...— подумал тогда Железнов.— В моих руках будут ключи от Европы».

«Теперь они готовы оставить Влёру,— рассуждал генерал.— Невероятно! Это же равносильно самоубийству».

На столе лежала папка рапортов, служебных записок, жалоб, напоминаний, нот в связи с участившимися стычками между албанскими и советскими военнослужащими.

«Занятие для канцелярских крыс»,— зло сплюнул генерал, принимаясь за донесение руководству. Он написал короткое сообщение, в котором изложил свою точку зрения по каждому из трех вариантов решения вопроса. Генерал указал, что сам он предпочитает захват базы силой, и обещал сделать это быстро и с минимальными потерями. «Если они прикажут оставить базу... сделать это будет легко.— Генерал задумался.— Очень просто... На большей части подлодок и судов экипажи только советские, на остальных — смешанные. С первыми проблем не будет, а со вторыми... Хотя и это не преграда». Он подумал и торопливо приписал: «Вы-

вод с базы всех подводных и надводных судов особых трудностей не составит». Генерал подумал, как обрадуются министерские чиновники, когда прочитают эти строки. «Вот он, оптимальный вариант!» — воскликнут они. Бешеная злоба исказила его лицо. Хотелось еще приписать: «Уход с базы невозможен», но врать он не привык. Генерал зачеркнул слово «особых» и сверху вписал: «серьезных». Трудности, конечно, будут, и немалые. Он понимал это. Генерал подошел к окну. Из клуба доносилась танцевальная музыка — с этим миром он распрощался давным-давно.

В окне кабинета албанского командующего зажегся свет. Железнов представил сухощавое, удлиненное лицо албанского офицера, уже семь лет командующего базой. «Он тоже сегодня трудится, склонившись над картой,— подумал генерал.— Наверное, и его раздражает музыка. Может, он размышляет о том же, о чем и я, с той лишь разницей, что радость и победа одного — огорчение и поражение для другого, и наоборот. Сегодня мы оба походим на пикового короля с игральной карты: вверху голова одного, внизу — другого. Мы связаны общей судьбой и составляем некое двуединство — две стороны одной медали. В последнее время по этому принципу живет вся база. Рядом с каждым албанцем — его русский дублер, а рядом с русским — албанец. Подводные лодки, КПП, караулы, склады, штабы — всюду двуглавые существа, дублеты как в домино. И во главе этого почти мифологического комплекса — двуглавое руководство: генерал Железнов и албанский командующий».

Сложности, конечно, неизбежны. В час икс двуглавые существа с молниеносной быстротой могут вцепиться друг другу в глотку. «В час икс,— мысленно повторил генерал.— В час разъединения».

О бесстрашии албанцев ходят легенды — это первое, что сказали генералу в Министерстве обороны, когда он пришел на инструктаж. Но и ему, генералу Железнову, отваги не занимать. Поэтому именно его, а не кого-то другого прислали во Влёру.

Прислали его... Никогда не забудет он торжественного приема в Кремле накануне совещания восьмидесяти одной партии. Его давно не приглашали на правительственные приемы. «Забывают героев,— подумывал он.— Никому мы стали не нужны». Карьера его

катилась к закату. В душе поселились пустота и жгучая обида. В голову лезли стариковские мысли о смерти, надгробии, некрологе. «Тогда они вспомнят обо мне, но будет уже поздно,— мстительно думал генерал, а потом начинал себя жалеть: «Прошло твое время, генерал, прошло. Нет больше Зеловских высот, нет и удачи...» И вот неожиданное приглашение в Кремль. Тогда он ни о чем еще не догадывался. Радость переполняла его. Сияние золоченых люстр вмиг рассеяло тоску. Там генерал впервые узнал, что самая маленькая страна социалистического лагеря выказала свою непокорность и готова отделиться от блока. Он вспомнил, как смеялись его коллеги, бросая косые взгляды в сторону группы приглашенных на прием албанцев. «Посмотрим, как это у них получится»,— гоготали они. Спустя три дня его вызвали в Министерство обороны. «Железнов,— сказали ему,— мы направляем тебя в Албанию. Положение там сложное. Ты должен спасти базу, которую вырывают у нас из рук».— «Головы не пожалею, а базу не отдам!» — воскликнул он решительно и самодовольно. Закончились в его жизни Зеловские высоты, теперь судьба уготовила ему испытания в Паша-Лимане. Дважды его удача представала в виде гор. Громадные взгорбленные существа, они могли стать для генерала и славой, и погибелью, и несмываемым позором. Железнов взглянул в окно, за которым виднелась темная линия горизонта. «Паша-Лиман...— мысленно произнес он.— Интересно, каким был турецкий генерал, что ушел отсюда, оставив потомкам свое имя (оно и по сей день витает над горами), уполз, точно змея, оставляющая свою кожу?»

На столе среди многочисленных папок лежала «Подборка материалов о военно-морской базе Паша-Лиман», составленная на двух языках. Генерал не раз пролистывал ее, но углубляться в детали не хотелось. В папке были собраны копии документов тысячелетней давности. Например, решение римского сената о переустройстве завоеванной базы Орикум в опорный пункт для будущих походов на восток. Сообщение о прибытии Цезаря в штормовую ночь и его знаменитые обращенные к рулевому слова: «Не бойся, ибо ты везешь Цезаря». Донесения о распрях албанских князей с Византией из-за базы. Фирман Высокой Порты с печатью могущественного султана Сулеймана об учреждении

военной базы Паша-Лиман во Влёре, то есть главного лимана в завоевательной политике османов, и много других, самых различных по содержанию документов: императорские указы о назначении и смещении командующих, реестры товарных поставок, рапорты об инцидентах, сведения о погоде (температура, направление и сила ветра). Хроника базы с начала XX века: сообщение о визите Муссолини, донесение о минировании базы немцами в 1944 году, решение командования Объединенных вооруженных сил Варшавского Договора о превращении морской базы в форпост социалистического лагеря в этой части земного шара. На этом подборка материалов по истории Паша-Лимана заканчивалась.

Железнов отложил папку в сторону. Ему показалось, что он наконец понял, почему ему не хотелось читать эти материалы. Раздражение вызывал возраст базы, которая была более чем на тысячу лет старше Кремля. К раздражению примешивалось еще и чувство неуверенности. Железнов взял со стола «Подборку» и поставил в шкаф, зная наперед, что никогда больше не возьмет ее в руки.

Вечерние сумерки, стерев береговую линию и границу болота, быстро затушевывали окрестности. Музыка продолжала играть. «Древнее Кремля, древнее основы русского государства». Внутри у него что-то оборвалось. Железнову почудилось, что он находится за пределами обычных представлений о мире. Он как бы заглянул в потустороннюю историю, в мир теней, туда, где о русских еще никто ничего не ведал. Он оказался совсем один в этом странном мире, где нет Кремля, а значит, и равновесия. Один неосторожный шаг, и можно столкнуться во тьме с мифами.

Железнов покрутил головой, словно бы отгоняя прочь наваждение. Годы, проведенные в стороне от активной жизни, размягчили душу. К тому же от скуки он много читал. Железнов остановился перед картой базы и попытался отвлечься от нахлынувших мыслей. Постепенно он возвращался к реальным событиям дня и вновь стал обдумывать неизбежность конфликта, этапы его развития, необходимое время и потери, возможную реакцию мировой общественности.

«Паша-Лиман, Паша-Лиман...» — повторил он несколько раз непривычное русскому слуху албанское название. Пожалуй, это его последняя зима в этих мес-

тах. Весной, когда зазеленеет трава, у гор будет новое имя: Лиман Железнова или просто — Железново. «Вот оно, будущее название! — чуть было не воскликнул он.— На века!»

Шагая прямо по лужам, Бэн держал курс на звуки оркестра. Окна клуба были ярко освещены. Желтые пятна света, отражаясь в лужах, напоминали золотые украшения, небрежно разбросанные вокруг,— воплощение невысказанной печали. Бэну вспомнились железные ворота женских общежитий, перед которыми никогда не просыхали лужи, незатейливая бижутерия световых бликов, оркестр в глубине здания за спиной старого привратника.

Он приблизился к окну первого этажа и заглянул в помещение, где танцевали. Запотевшие, мутные стекла искажали фигуры людей; казалось, они двигались внутри липкой, постоянно изменяющейся массы. Бэну смертельно захотелось в Тирану. С болота повеяло сыростью. Бэн отошел от окна и побрел вокруг здания, ища вход.

В клубе было тепло. В коридорах, на лестнице, ведущей на второй этаж, толпились офицеры, солдаты, кое-где женщины. Через открытые двери зала виднелись танцующие пары. Бэн прошел в небольшую комнату рядом с танцзалом, где был бар. За столиками и возле стойки посетители пили кофе и коньяк. Здесь тоже были женщины. Бэн подошел к стойке и стал ждать своей очереди. Он еще не решил, что взять. Из-за музыки и царившего вокруг оживления, от которого он уже успел отвыкнуть, Бэн чувствовал себя не в своей тарелке.

— Коньяк будешь?— спросил его кто-то на ломаном албанском языке.

Бэн обернулся. Рядом стоял русский солдат, большеглазый и веснушчатый, в лихо сдвинутой набок пилотке.

— Только сигареты,— ответил Бэн.

— Сигареты?— разочарованно протянул русский.— А я думал, ты возьмешь коньяк.

— Нет, я не пью.

— Я тоже не пью, но сегодня решил напиться. Ты спросишь, почему?— Он надвинул пилотку на самые брови.— А просто так.

Бэн только хмыкнул, вспомнив предупреждение о возможных провокациях.

— Хотя, если по правде, причина, конечно, есть.— продолжал русский.— Получил сегодня письмо.— Он сунул руку в карман и вытащил помятый листок бумаги.— Из Москвы. Любимая пишет. Обычное письмо... «Дорогой Юрочка, как я скучаю по тебе...» и так далее... «Вернешься, милый, пойдем с тобой в Нескучный сад, я обниму тебя, поцелую крепко-крепко...» и так далее... В общем, все в порядке, браток, но сердце не обманешь... Что-то тут не так. Прочитал я это письмо от начала до конца и понял: предала меня моя Танечка. Потому и пришел сюда. Решил напиться. Что?

Бэн молча пожал плечами. Русский залпом осушил рюмку.

— Изменяют они, браток, изменяют. Еще Плеханов говорил: «О, измена! Имя тебе — женщина!»

Бэн рассмеялся.

— Почему у вас вывели из Политбюро женщину?— вдруг без обиняков спросил русский.— Жен-щи-ну... Как моя Танечка...

Бэн от удивления раскрыл рот. Он и не предполагал, что провокация может быть столь явной и грубой.

— Не знаю.— Он снова пожал плечами.

— Как это не знаешь?! Знаешь — только говорить не хочешь.

— А если и так? Не хочу, и все!— резко ответил Бэн.

— Но почему?— не унимался веснушчатый солдат.— Вот спроси меня о нашем Политбюро, и я, что знаю, скажу. Ну?

— Нет.

— Спрашивай — и увидишь. Все расскажу.

— Да зачем мне ваше Политбюро?

— Конечно, оно тебе ни к чему,— согласился русский.— Просто, если уж зашла речь... Вот спроси меня, например, о Булганине — скажу все как есть. Крутить не стану, расскажу откровенно.

— Какое мне дело до вашего Булганина?

— Но это же к слову. Не хочешь о Булганине, спроси о Маленкове или о... Кириченко.

— Делать мне больше нечего, как думать о вашем Кириченко,— разозлился Бэн.

— Можно о Молотове. Надеюсь, ты не будешь отрицать, что он фигура значительная.

— Не хочу,— ответил Бэн.

— Но почему?

— Не хочу, и все!— отрезал Бэн.

— Не хочу, не хочу! — передразнил его веснушчатый солдат.— Ты думаешь, что я заговорил с тобой с умыслом? Зря, браток, зря. Заблуждаешься. Минутами у человека возникает желание поговорить по душам. Э-эх! О чем с тобой говорить? Я слышал, мы скоро уходим. Это правда?

Бэн в ответ лишь плечами пожал. «Хватит!— решил он.— Слишком много он себе позволяет!» Бэн огляделся, ища, куда бы деться от назойливого собеседника. В это время к стойке подошел высокий худой мужчина. Он тихонько напевал:

Москва, Тирана, Лос-Анджелóс
Объединились в один колхоз.

— Ах, объединились?— ехидно заметил кто-то из стоявших у стойки бара.— Стало быть, объединились? Ерунда какая-то!

Человек, произнесший эти слова, повернулся к Бэну, и тот узнал в нем специалиста по подводным лодкам. Он был сильно пьян.

— Ерундой я не занимаюсь,— ответил высокий мужчина.

Бэн отошел от стойки, так и не купив сигарет. Он остановился у пустого столика с пепельницей, доверху наполненной окурками. Было шумно. В соседнем зале смолк оркестр, и в бар устремилась новая волна людей. Среди них Бэн узнал и ту красивую русскую женщину, которую видел в день приезда на базу. Оглядев равнодушным взглядом присутствующих, она встала у серого пластмассового столика, низко опустив голову с копной великолепных каштановых волос. В соседнем зале вновь зазвучала музыка. Бэн вспомнил о сигаретах и вернулся к стойке. Веснушчатый солдат стоял на том же месте. Бэн ждал своей очереди, повернувшись к нему спиной, что было совсем не лишним. Краем глаза он приметил, как солдат буквально вцепился в инженера. Судя по выражению лица последнего, встреча не доставляла ему удовольствия.

— Я сказал — нет, и точка! — резко оборвал он солдата. — Меня интересуют вопросы поважнее, чем твой Кири-Кири-Кири-ченко. Смешно!

— Что за черствые люди, — вздохнул солдат.

Бэн продвинулся наконец до середины стойки и оказался рядом с инженером, который с трудом обвел бар мутным взглядом.

— Смешно! — повторил инженер и презрительно скривил губы.

— Пачку сигарет, — сказал Бэн, протягивая деньги.

— Что здесь происходит? — бормотал инженер, разговаривая сам с собой. — Один говорит по-албански, другой — по-русски. Вавилонская башня, да и только.

— Башня, твою мать, — буркнул веснушчатый солдат и нетвердым шагом удалился из бара.

Инженер начал тихо напевать:

Великий российский писатель
Лев Николаич Толстой
Не кушал ни рыбы, ни мяса,
Гулял по усадьбе босой.

Бармен заметил наконец Бэна и взял у него деньги.

— Ты думаешь, что в Лабиринте и на самом деле было чудовище? — спросил инженер, ни к кому не обращаясь. — Право, смешно! Я инженер, и меня не проведешь выдумками о разных там минотаврах. Не было никакого Минотавра. Лабиринт — здание, внутри которого была сооружена плавильная печь для меди. Тайну ее хранили свято. В то время способ плавления меди был таким же секретом, как сегодня изыскания в области атома. Все работавшие в Лабиринте исчезали бесследно. Объясняли просто: «Их съел Минотавр». Вот так все было. Мне рассказывал один хитрый грек. Не веришь? Твое дело. Нет-нет! Прошу вас. У всего есть свои пределы. Вот и Елена Грачева... Прекрасная Елена Михайловна. Елена Менелаевна Агамемнова. Виновница страшной войны. Дорогие женщины героической Трои, от имени Комитета советских женщин передаю вам горячие поздравления... ваша борьба... ваш пример воодушевляет, и т. д., и т. п. Да знаем мы все это! Вопрос в другом: как выбраться из этой ловушки? Зачем, если жена ушла из дому, объявлять войну? Скажи, почему? Предположим, Никита Хрущев похитил жену у президента США или, наоборот, президент похитил жену у советского лидера. Что же, теперь всем странам Варшавского Договора объявлять войну?! «Дорогие

женщины героической Трои...»— это, право, смешно. Очень смешно. Что бы мы ни кричали здесь, нас никто не услышит. Переговоры... Переговоры... Переговоры... Ты скажешь, подводные лодки нужно поделить. Но как? Разве база бисквитный торт, который можно резать на куски? Что? Чьи подводные лодки?— спрашивал инженер и сам же отвечал: — Ничьи. Затопить их в море — и конец. Пускай ими командует капитан Немо. Сколько раз вам объяснять? Сколько раз вам объяснять, что Антей страдал от гипотонии. Не раз на дню он приникал к земле, чтобы набраться жизненных сил. Эту прописную истину знает любой участковый врач. Идиоты! Все мы погибнем в этой ловушке.

Небо, в течение недели затянутое облаками, внезапно расчистилось, будто готовилось к воскресенью. Море, не желая от него отставать, украсилось белыми пенистыми волнами, приятно ласкающими глаз. Но хорошая погода стояла недолго и снова испортилась. Небо заволокло тучами. Исчезла легкая пенистая рябь на поверхности моря. Теперь — и к морю, и к небу вернулось их обычное состояние, они стали равнодушными и чужими. Это было первое утро, когда все новобранцы — и албанцы, и советские — получили несколько часов для отдыха. Береговая улица № 1, Болотный бульвар, Театральная улица (так назвали улицу, проходившую рядом с раскопками амфитеатра), территория между заставой и болотом наполнились молодыми голосами и беззаботным топотом ног. Бэн с товарищами шел по Русскому поселку. На террасах деревянных домиков играли дети.

— Смотрите, Елена Грачева,— сказал один из новобранцев.

Женщина сидела у окна и глядела на улицу. Казалось, что бушующее в крови красавицы пламя поблескивает в глубоких и лучистых глазах. Но вот она приметила солдат, и блеск в ее глазах сменился испугом.

— Ты говорил, что целовался с ней,— обратился Бэн к товарищу, с которым познакомился два дня назад,— а она даже не посмотрела на тебя.

— Здоровьем матери клянусь,— вспыхнул новобранец.— Может, не помнит?

Бэн усмехнулся.

— Она меня даже обняла.

Бэн искренне рассмеялся.

— Здоровьем матери клянусь,— горячился парень.— Вижу, что не веришь. Я бы тоже, наверное, не поверил. Правда, она была словно во сне. Глянула на меня огромными испуганными глазищами, потом обняла и поцеловала. Она была такая... теплая и как будто во сне. Здоровьем матери клянусь!

Два дня назад он рассказывал Бэну, как однажды Елена Грачева окликнула его из окна своего дома и поинтересовалась, может ли он починить телефон. Он сказал, что может, хотя ничего в телефонах не смыслил. Потом они якобы стояли у испорченного телефона и целовались.

— Да будет болтать-то!— оборвал его Бэн.— С тобой все ясно.

Парень покачал головой, как бы говоря: «Я тебе душу открыл, а ты...» Навстречу им шла группа советских солдат. Когда они поравнялись, и албанцы, и советские сделали вид, что не замечают друг друга.

— Новобранцы, как и мы,— сказал кто-то, когда советские прошли мимо.— Приехали дня три назад.

— У них без конца идут собрания,— добавил другой.

— Вчера я видел среди них парней, похожих на татар.

— Наверное, калмыки.

— Это правда, что в Тиране девушки одни ходят в кафе?— неожиданно спросил новобранец из Скрапара[1].

— Как это одни?

— Ну, их никто не сопровождает.

— Конечно, правда,— улыбнулся Бэн.

— Это хорошо,— вздохнул новобранец из Скрапара.

— Пойдемте к амфитеатру,— предложил кто-то.

По дороге к амфитеатру Бэн рассказал товарищам, как провалил вступительный экзамен на актерское отделение. Получилось смешно, и парни долго смеялись. В амфитеатре они походили по расчищенным ярусам, вокруг арены, залитой водой, а кое-кто даже забрался под каменную арку, где раненым гладиаторам оказывали медицинскую помощь. Двое солдат безуспешно искали окаменевшую голову дикого кабана, которую оставили здесь археологи, но ее, наверное, уже кто-то «на-

[1] Небольшой горный район на юге Албании.

шел». Ребята побродили по краю болота, дошли до могилы Старого паши, а затем поспешили к клубному бару за сигаретами; один из парней принес проигрыватель, и в зале, где с субботы еще не выветрился табачный запах, играла музыка.

Когда они возвращались в казарму, Бэн услышал, что кто-то его зовет:

— Арбэн Струга! Кто знает, где Арбэн Струга?— кричал щуплый белобрысый паренек.

— Это я,— сказал Бэн.

— Тебе телеграмма там, в казарме,— сказал солдат и отвел глаза в сторону.

Бэну словно бы нанесли короткий удар, от которого у него сердце оборвалось, и ноги сами повели его в казарму. Он стал рыться в груде писем и открыток, которые только что принесли с почты. Паша-Лиман, Паша-Лиман, Паша-Лиман — было написано на конвертах. Вот она! Бэн взглянул на телеграмму и побелел как мел. Он догадывался о содержании телеграммы, но в глубине души все же теплилась надежда: «А вдруг не то». Маленькие, подслеповатые от старой телеграфной ленты буковки безжалостно сообщали:

«УМЕР ОТЕЦ ПОХОРОНЫ ЗАВТРА БЕСНИК».

Бэн держал телеграмму перед глазами, словно ждал, что буквы вот-вот придут в движение. Но они замерли, окаменели. Навсегда. Он умер, и ничего нельзя поправить.

Мимо проносились забрызганные грязью грузовики, повозки, поезда, стога. Сидя в кузове машины и безотрывно глядя в одну точку, Бэн не замечал, что ветер пробирал его до костей. Он чувствовал, что все его существо, раздавленное внезапно свалившимся на него горем, будто заледенело. Виски сдавила тупая боль. Минутами Бэну казалось, что ветер разметал части его тела по бескрайним просторам и вряд ли голова, руки, глаза когда-нибудь сойдутся вместе. Позади оставались маленькие города и поселки, названий которых он не знал и, похоже, никогда не узнает.

Он добрался до Тираны в четверть четвертого пополудни. Город был для Бэна чужим. Люди куда-то спешили — кто в кино, кто в кафе. Он пробирался сквозь толпу пешеходов, запрудивших улицу, и чувствовал, что

ноги не держат его. К тому же подошвы армейских сапог, подбитые железными гвоздями, скользили по гладким плитам тротуара.

Перед домом Бэн увидел два автобуса, несколько автомашин и чуть подальше — большой черный микроавтобус с непривычным названием «Катафалк». Возле машин крутились дети. На лестнице, в подъезде стояли люди. Бэн не смотрел на них, но чувствовал их скорбные взгляды, слышал тяжелые вздохи. Не поднимая головы, он пошел по ступеням вверх. Две... три... четыре... Ноги едва слушались его. Возле распахнутых дверей квартиры тоже толпились люди. Завидев Бэна, толпа расступилась, давая ему дорогу. В коридоре он столкнулся с Мирой. На голове у нее была черная повязка.

— Бэн! — пронзительно вскрикнула она и бросилась к брату.

Щеки Бэна стали мокрыми от ее слез. Мира была бледной как полотно. Бесник тоже. Он обнял Бэна и увел в комнату, где собрались только мужчины. Все, что происходило дальше, Бэн помнил смутно, как в легком тумане.

Сначала комната была полна рук, которые тянулись к нему. Потом Бесник сказал, что надо подойти к тете Рабо, и он подошел. Гроб стоял поперек гостиной, перегородив ее пополам. Рабо обняла племянника и заплакала. Женщины, сидевшие возле нее, громко запричитали. Среди них была и Зэлька. В дверях появился Бесник. Он что-то сказал, но Бэн ничего не понял. Бесник подошел к брату, обнял его и снова увел в комнату к мужчинам. Там царила тишина. Запах табака и крепкого кофе, негромкий разговор успокаивающе действовали на взвинченные до предела нервы Бэна. Кто-то протянул ему сигарету, он машинально взял ее и закурил. Многих пришедших на похороны людей Бэн видел впервые. Только сейчас он заметил, что сидит во главе стола рядом со старшим братом. Сироты. Краем глаза он снова увидел черную повязку на голове Миры и чуть было не разрыдался. На душе сделалось пусто и невыносимо противно. Вдруг он с удивлением обнаружил, что в комнате течет неторопливая беседа. Это представлялось Бэну невозможным, диким.

— Обильные дожди побьют всходы. Хорошо бы недельки две постояла сухая погода.

Бэн не верил своим ушам. Он обвел собравшихся недоуменным взглядом, посмотрел на Бесника. Но ни-

кто и не думал нарушать течение этой странной беседы.

«Сумасшедшие! Смеют говорить о какой-то погоде, когда... когда...» Бэну хотелось встать и уйти, но это было выше его сил.

Разговор о пшенице прервался с приходом новой группы людей. Сидевшие за столом гости потеснились. Из соседних комнат принесли стулья.

— Проходите сюда, товарищ министр,— услышал Бэн чей-то голос.

— Но как же это произошло?— выражая соболезнование, спросил какой-то мужчина Бесника.

— Такая болезнь,— отозвался Бесник,— хотя мы не думали, что... так быстро...

«А я ничего не знал»,— подумал Бэн.

— Вы лечили его?— обратился кто-то к мужчине с растерянным выражением лица.

— Да,— ответил он.— Облучали...

— Насколько мне известно,— заметил министр,— ваша клиника получила новую аппаратуру...

— Верно,— подтвердил врач.— Три месяца назад.

— И какие же результаты?

«Какие результаты?»— повторил Бэн, и в его голове молнией сверкнула черная линия гроба, стоящего в соседней комнате.

Человек в черном костюме с траурной повязкой на рукаве подошел к Беснику и шепнул что-то на ухо. Бесник взглянул на часы. Врач и министр продолжали разговор о техническом оснащении клиники. Мира и Зэлька принесли кофе. Бесник снова посмотрел на часы. Мужчина с траурной повязкой подал ему знак. Бесник согласно кивнул. Все стали подниматься из-за стола. «Так скоро?!» —ужаснулся Бэн. Кто-то взял его за плечо и сказал:

— Иди и ты с нами.

Бэн с мужчинами оказался в комнате, где стоял гроб. Теперь он все понял: он вместе с ними будет выносить гроб с телом отца. Женщины, сидевшие вдоль стен, тоже поднялись. Бесник первым взялся за металлическую ручку гроба.

— Возьми с другой стороны,— услышал Бэн чей-то шепот.

Он прошел вперед и сделал то, что велели. Другие мужчины встали за ним и Бесником. Гроб оторвался от пола.

— Разворачивайте сюда,— засуетился человек с траурной повязкой.

Женщины громко зарыдали и запричитали. Все черные одежды слились в одно огромное черное пятно. Бэну показалось, что ноги его попали в капкан и не сдвинутся с места. Мужчины с трудом развернули гроб. Края его едва не касались стен. Кто-то случайно задел телефон, и он взвизгнул надрывным, почти человеческим голосом. Наконец гроб медленно выплыл на лестничную площадку. За дверью стояла стена женского плача. Когда гроб спускали по ступенькам вниз, он стал неожиданно тяжелым, и кое у кого подкашивались ноги. На минуту Бэну даже показалось, что покойник хочет увлечь их всех за собой вниз, в пропасть.

Наконец лестница кончилась, и гроб вынесли на улицу. Из окон дома смотрели десятки глаз. Машины ждали с включенными двигателями. Гроб установили на катафалк. Поминутно хлопали двери легковых автомобилей, кто-то что-то громко говорил. Бэн стоял с суровым, окаменелым лицом. Он подумал, что надо бы вернуться к тете Рабо, но кто-то взял его за плечо и почти силой втолкнул в одну из машин. Никого из сидевших там людей Бэн не знал. За стеклом соседней машины он увидел Миру с черной повязкой на голове. Траурный кортеж тронулся.

Город из окна машины казался Бэну огромным аквариумом: толпы пешеходов двигались по тротуарам, автобусы на остановках дожидались пассажиров, справа и слева проплывали вывески кафе, аптек, сберкасс, киноафиши, расписания автобусов, которые едва можно было разглядеть в тусклом свете медленно угасавшего дня. Траурный кортеж двигался среди сонма цифр и слов, которые уже никогда не понадобятся старому Струге. Позади осталась улица Энгельса. Машины по загородному шоссе подъехали к городскому кладбищу № 2.

Некоторое время кортеж медленно двигался по территории огромного кладбища, потом остановился. Захлопали дверцы машин. Бэн увидел длинную, окруженную невысокими горами долину, красота которой успокаивала не затухающую в сердце боль. Бэн вспомнил, что где-то неподалеку, возможно на противоположном склоне горы, находилась усыпальница королевы-матери, которую отец взорвал в 1944 году. «Если бы он не сде-

лал этого,— подумал Бэн,— то навеки стал бы соседом старой королевы».

Бэн заметил, что все куда-то пошли, и скоро перед ним выросла стена спин. Бэн пристроился за ней. «По-видимому, впереди находилась...» Бэн не хотел думать об этом. Обрывки фраз разлетались во все стороны, словно щепки при рубке леса: «...товарищ Струга... ушел от нас... войну... коммунист... потому что... всегда на передней линии борьбы... незабвенный...»

Прощальные слова были сказаны, но стена спин не сдвинулась с места. Там, впереди, происходило нечто такое, с чем Бэн не сможет примириться никогда. Никогда! Он почувствовал движение толпы, потом до него долетели слова: «...другой сын... второй сын...» Его искали, и Бэн шагнул вперед. Люди заметили его и расступились, давая дорогу. Бэн увидел желтое, как воск, лицо брата, смотревшего вниз. «Могила»,— догадался Бэн. Какой-то человек, склонясь над ней, что-то делал, остальные помогали ему. «Опускают гроб»,— мелькнуло в голове. Потом Бэн увидел, как Бесник нагнулся, взял горсть земли. Сверкнула белая манжета рубашки.

— Брось и ты прощальную горсть,— раздался чей-то шепот у самого уха Бэна.

Бэн тоже наклонился, взял горсть мокрой, холодной земли и бросил в могилу. Комья земли гулко ударялись о крышку гроба. «Что я делаю?!— Бэну показалось, что он слишком небрежно бросил землю.— Надо спуститься и поднять ее!»— пронеслось в голове. Но тут десятки рук потянулись к земле и стали делать то же самое. Но и это еще не все. Спустя минуту над могилой мелькнуло нечто плоское, равнодушное, металлическое. И это «нечто» стало спешно забрасывать могилу землей. Кладбищенские могильщики с лопатами в руках делали свое дело.

Через четверть часа все разошлись. Над свежим холмиком установили временную табличку с надписью: «МОГИЛА № 34592. ДЖЕМАЛЬ СТРУГА. 54 ГОДА». Бледный свет уходящего дня был виден только на горных плато; он будто нарочно цеплялся за их вершины. Его отблески походили на клочья белой шерсти, которые оставляют овцы, когда спускаются по склону, поросшему колючим кустарником.

Внизу, у подножья гор, раскинулся город. Там уже зажигались первые огни, и казалось, что город находится где-то далеко-далеко. Отрешенным взглядом Бэн скользнул по табличкам на соседних с отцовской могилах. Он никак не мог свыкнуться с мыслью, что там, в городе, у них будут те же соседи, а у отца отныне соседи совсем другие. Случайные и вовсе не знакомые, они навсегда вместе поселились здесь. Два-три века Струга пролежит рядом с ними. А может, и дольше, если город не начнет расстраиваться в эту сторону. Возможно, пять-шесть веков, а может, и тысячелетия.

Глава XXII

С похорон друзья и знакомые, по обычаю, пошли на поминки в осиротевший дом семьи Струги. В коридоре, в комнатах было много людей. Теперь Бэн сидел рядом со старшим братом в гостиной, где собрались только мужчины. Он все еще был в длинной солдатской шинели, забрызганной в дороге грязью. Вернувшись с кладбища, Бэн хотел переодеться в гражданскую одежду, но в квартире переставили мебель, и найти что-нибудь подходящее не удалось. Мужчины пили кофе, курили сигареты и вели неторопливую беседу. Среди них Бэн заметил Кристача. Он курил и задумчиво глядел под ноги. «Может, у них все наладилось»,— подумал Бэн, но тут же вспомнил, что на похоронах не видел ни Заны, ни Лирии.

— Когда тебе возвращаться?— тихо спросил Бесник.

Это был первый вопрос, который он задал брату за весь день.

— Завтра.

— Обстановка там... сложная?

— Да.

— Я кое-что знаю от Зэльки.

— Он сильно мучился?— спросил Бэн, меняя тему разговора.

— Да. Несколько раз спрашивал о тебе.

Бэн не знал, что сказать.

— За тебя очень тревожился,— продолжал Бесник.— Он слышал о ситуации на базе.

— Не удивительно. Среди его товарищей было много офицеров. Наверное, они ему кое-что рассказывали.

— Может быть.

В комнату вошли новые люди. Они по очереди подходили сперва к Беснику, а потом к другим родным и близким покойного выразить соболезнование. Кто-то показал на Бэна и тихо произнес:

— Это его младший сын.

Вспоминая о последних днях жизни отца, Бесник время от времени смотрел в сторону доктора, который сидел в дальнем углу комнаты. Вскоре выразить соболезнование Беснику пришли его коллеги; был среди них и главный редактор. Он сел рядом с министром, и они продолжили беседу, начатую до похорон.

Пришли Скендер Бермема с женой и несколько мужчин, которых Бэн видел в их доме. Вошел пожилой офицер и, по-партизански вскинув вверх зажатую в кулак руку, приветствовал всех. В Паша-Лимане Бэн слышал, что скоро отменят все воинские звания и возродят старое партизанское приветствие. В коридоре Бэн приметил Макса, который не решался войти в комнату. Бэн вспомнил, что видел его вместе с Салей и Дистрофией на кладбище: они стояли в сторонке, и лица у них были какие-то насупленные. Не желая того, он опять вспомнил, как стучали комья земли по крышке гроба, и закусил губу, чтобы не расплакаться.

— Служишь во Влёре?— спросил его кто-то.

Бэн молча кивнул. Он не знал, куда деться от участливых и сочувственных взглядов. Мужчины, сидевшие напротив, говорили о политике.

— Скажите, сынки, что у нас за проблемы с Советским Союзом?— обратился ко всем сразу старик с болезненным, испещренным прожилками лицом.

Все переглянулись. Министр продолжил разговор с главным редактором. Кто-то закашлялся.

— Э-э, сынки, что молчите? Здесь все свои, все партийные,— не успокаивался старик.— Чего переглядываетесь? Иль от нас, стариков, прячете ваши секреты?

— Что вы, уважаемый. Это не так.

— Выходит, что так.— Бледное лицо старика пошло красными пятнами.— Скрываете от нас правду. Ничего, скоро все уйдем, как он ушел... Может, тогда и пожалеете, да поздно будет...

Бесник не сводил глаз со старика. В последние дни жизни отца он подолгу беседовал с ним, рассказывал о переговорах в Москве, в лицах изображал отдельные сцены этой драмы. Он понимал, что пройдут годы и разрыв с Советским Союзом станет фактом истории, но не перестанет быть государственной тайной, доверить которую он мог только одному человеку — отцу, дни которого были сочтены. Бесник видел, что откровенный разговор о событиях в Москве доставляет старому партизану истинное удовлетворение. Сам он никогда не касался этой темы, никогда не вынуждал сына к разговору, но искренне радовался, когда Бесник сам начинал его. Слушая, отец не прерывал сына и не просил пояснить или уточнить детали — не хотел ставить Бесника в затруднительное положение. Он лишь минутами прищелкивал языком, выражая свое отношение к тому или иному поразившему его эпизоду. «Какой скрытный»,— говорил он, например, о Микояне. Отцу нравилось рассказывать об армянине, с которым он познакомился много лет назад во Влёре, в порту. «Вот такие они все,— усмехнулся он.— Себе на уме, как евреи».

Старик с болезненным лицом сердито оглядел присутствующих.

— Нет, уважаемый,— повторил знакомый голос.— Это вовсе не так. Дело не в том, что мы что-то скрываем от вас, а в том, что мы сами толком ничего не знаем.

— Об охлаждении отношений с Советским Союзом и всем социалистическим лагерем знает каждый дурак,— буркнул старик.— Я спрашиваю,— как обстоят дела сейчас?

Мужчины опять переглянулись: о том, как идут дела сейчас, они тоже не знали. Министр и главный редактор могли знать, но они были увлечены беседой. Печать молчала. В обществе создавалась видимость внешнего спокойствия и благополучия.

— Я видел много русских у гостиницы «Дайти», поэтому и спросил,— пояснил старик.

— Я тоже,— поддержал его кто-то.— В эти дни в Тирану приехало много советских. Может быть...

— Неизвестно,— засомневался кто-то.

— Все может быть,— подтвердил другой.

— А я видел много советских военных. Двое из них, если не ошибаюсь,— адмиралы.

— Хотя иностранные специалисты от нас уезжают.

— Разве тут можно что-либо понять?— вздохнул кто-то.

Они еще немного поговорили на эту тему и пришли к выводу, что как бы там ни было, а на горизонте появились просветы: в печати — ни слова о разрыве отношений, кроме того...

— Я слышал, что адмиралы прибыли для переговоров о базе... — Человек, произнесший эти слова, осекся, почувствовав, что сболтнул лишнее, и попытался конец фразы произнести так, чтобы никто ничего не разобрал.

«Они ни о чем даже не догадываются,— удивился Бэн.— Работают в министерствах, в центральных ведомствах и не понимают, что вода в казане закипает: на поверхности — гладь, а со дна — бурлит». Бэн вспомнил первый субботний вечер на базе, веснушчатого русского солдата и слова подвыпившего инженера: «Как бы нам всем не погибнуть здесь», которые он повторял неоднократно. «А они ждут, что все образуется»,— Бэн взглянул на сидевших в комнате мужчин. Речь опять зашла о зерне. Теперь стала более понятна история о пшенице и... мышах.

За окном послышался глухой шум.

— Кажется, дождь,— сказал кто-то.

«Дождь... — содрогнулся Бэн.— А он там совсем один. Под дождем. Без всякой защиты. Вода просочится сквозь землю, скопится на крышке гроба и будет медленно проникать внутрь, где лежит он. Дождь... А они все говорят и говорят...» — Бэн почувствовал невероятную усталость: мысли в голове путались.

Еще не рассвело, когда Бэн вышел из дому. На улице, застланной туманом, было холодно и сыро. В некоторых окнах уже горел свет, но эти световые полосы скорее искажали, чем прочерчивали улицу. Бэн шел по пустынной площади Союза, прислушиваясь к мерному звуку собственных шагов. Гулкое эхо множило шаги его солдатских сапог, делая их похожими на сигналы из других миров. Мысль о том, что нынешнее утро уже не имеет никакого отношения к отцу, обдала его холодом, будто тоже явилась из другого мира, где время едино и не знает деления на дни, ночи, вечера, времена года. Такова и смерть — нечто огромное, темное, неразделимое. Одним словом — вечность. Вдалеке в предрассветной мгле сверкнули окна бара «Крым». По старой па-

мяти Бэн решил заглянуть туда. За столиками сидели съежившиеся от холода люди и пили кофе. Один из посетителей курил трубку и читал газету, непонятно где купленную в такой ранний час.

— Ничего нет?— спросил его низкорослый мужчина.

— Нет,— коротко, не поворачивая головы, ответил человек с газетой.

Бэн заказал кофе. Вошел полицейский и тоже заказал кофе.

— «Нет», видите ли,— пробормотал низкорослый.— Целый час читает и ничего не вычитал.

Он взглянул на Бэна, как бы ища поддержки, и безнадежно мотнул головой. Бэн отпил кофе.

— Газета в такую рань...— В голосе низкорослого, который краешком глаза наблюдал за читавшим, слышалось удивление и недовольство.— Не понимаю...

Мужчина с газетой спокойно посасывал трубку.

— С утра настроение испорчено,— опять буркнул низкорослый.

Бэн, чтобы не вступать в разговор, отвернулся к окну. Там, в предрассветной мгле, шли первые автобусы. Сонно мигая сигнальными фонарями, они направлялись к центральному бульвару. Бэн расплатился и вышел из бара.

Около одиннадцати часов Бесник зашел в здание горкома партии, чтобы сдать партбилет отца. В приемной сидели посетители.

— Первый секретарь сегодня не принимает,— отвечал кому-то сотрудник канцелярии.— У вас что, товарищ?— обратился он к Беснику.

— Я... вот... сдать партбилет.

— В связи со смертью?

Бесник молча кивнул и, встретив сочувственный взгляд, добавил:

— Отец...

— Примите мои соболезнования, товарищ,— произнес сотрудник и, указав рукой в сторону лестницы, добавил: — Пройдите на второй этаж в комнату номер одиннадцать.

Инспектор по кадрам пролистал партбилет, внимательно рассмотрел маленькую фотокарточку и перевел взгляд на Бесника.

— Отец?
— Да.
— Примите мои соболезнования, товарищ.
Бесник молча склонил голову.
Инспектор раскрыл толстый регистрационный журнал и записал: имя — Джемаль, фамилия — Струга, год рождения, год смерти и номер партийного билета.
— Распишитесь вот здесь, пожалуйста,— сказал он, пододвигая журнал к Беснику.
Бесник расписался.
— Еще раз примите мои соболезнования,— повторил он, заметив, что посетитель не уходит.
Бесник выдавил из себя некое подобие улыбки (что, мол, поделаешь?) и, кивнув на прощание, вышел из кабинета.
В воздухе ощущался запах снега. На бульваре рабочие красили скамейки и железную решетку.
Бесник шел и думал, что через несколько дней партбилет отца передадут в архив Центрального Комитета, где положат в один из сейфов рядом с другими документами, партийными билетами, особо важными протоколами (возможно, он окажется по соседству с материалами Московского совещания), и там будет вечно гореть маленький огонек пламенной души Джемаля Струги.
И снова, как несколько недель назад, Бесник подумал, что когда-то и его партбилет так же сдадут в архив и тогда они встретятся с отцом, как встречаются в небе звезды.

Бэн весь день на попутных машинах добирался до места службы. На базе он узнал, что в воинских подразделениях объявлена тревога.
— Что случилось? — спросил он, войдя в казарму.
— Не знаем,— сказал дежурный.— Тревога. А ты где пропадал?
— Ездил в Тирану.
— Шутишь?
— У меня отец... умер.
— О-о, прости, друг.
Обступившие его солдаты примолкли.
— А все-таки — что здесь происходит?— первым нарушил молчание Бэн.
— Что? Мы сами толком не знаем. Объявили тревогу.

— Сейчас тебе надо поспать,— сказал дежурный.— В двенадцать ноль-ноль твоя очередь заступать в наряд.

— Бюрократы... победили-таки...— бормотал генерал Железнов. Он никак не мог смириться с текстом радиограммы, которая пришла два часа назад и в которой содержался приказ подготовить подводные и надводные суда к уходу с базы Паша-Лиман. Точное время сообщат дополнительно. В радиограмме подчеркивалось, что вывод судов следует осуществить — либо с применением силы, либо внезапно и скрытно. Железнову надлежало быть готовым к обоим вариантам. «Скрытно,— поморщился генерал.— Этого еще не хватало, чтобы уходить тайком, как разбойники. Чего только не придет в голову этим чинушам из министерства»,— усмехнулся он.

Перед генералом лежала карта базы. Следовало хорошенько подготовиться... к отходу.

«Мы отыщем новую Влёру,— подумал он, глядя на карту.— Будем ходить по Средиземному морю, как евреи по пустыне, но найдем пристанище. И все же пора начинать подготовку. Необходимо предусмотреть любую мелочь, которая может возникнуть в момент разрыва. Акцию по захвату подводных лодок и судов со смешанными экипажами следует провести молниеносно. Хотя вполне возможно, что албанцы сами уйдут с советских судов. В конце концов, они должны радоваться, что лодки Советского Союза, который они считают своим врагом, уходят из их территориальных вод. Хотя... — Генерал задумался.— Будь моя воля, я бы отсюда не ушел. Никогда!»

Зазвонил телефон. Он поднял трубку и пару минут внимательно слушал.

— Что такое?!— наконец не выдержал Железнов.— Какой еще западный генерал? Это исключено!

— Но его видели здесь,— сообщил взволнованный голос.— Его видели сегодня утром.

— Капитан Шкурин, ваша информация имеет чрезвычайное значение,— сказал Железнов уже спокойнее.— Все уточните и немедленно — ко мне.

— Слушаюсь!

Железнов снова встал из-за стола и в задумчивости прошелся по кабинету: «Западный генерал в Албании. Это в корне меняет ситуацию. Страна, входящая в Вар-

шавский Договор, принимает натовского генерала, не уведомив об этом своих партнеров... Невероятно. Если это так, то албанцы сами подписали себе приговор. Ни о каком уходе тогда и речи быть не может».

Смеркалось. Генерал попытался представить себе текст радиограммы, о получении которой мечтал все эти дни: *«Герою Советского Союза А. А. Железнову. Необходимо занять базу при любых обстоятельствах».* Свой ответ он заготовил давно: *«Головой отвечаю за операцию. Железнов».*

«Только бы информация капитана подтвердилась»,— подумал он с надеждой.

Генерал сел за стол и стал просматривать сообщения о морально-психологическом состоянии персонала на базе. Это были записи разговоров, всякого рода сплетни и пересуды, которые циркулировали среди албанцев и советских. «Я коммунист, ты — нет,— читал он без особого интереса,— но нас объединяет подводная лодка... Влёра — последний островок албано-советской дружбы... Хочешь, я расскажу тебе о Кириченко?.. Мы оказались на этой базе как в западне, из которой вряд ли выберемся... Как это произошло, что мы так сцепились?.. Дорогие женщины героической Трои...»

«Опять этот сумасшедший инженер,— недовольно поморщился генерал, откладывая папку с сообщениями в сторону.— Из его бесконечных монологов невозможно что-либо понять. Все мы здесь погибнем...» — передразнил он инженера.

В дверь постучали.

— И что?— Железнов уставился на помощника, появившегося на пороге.

— Сведения не подтвердились, товарищ генерал.

— Как?! Нет никакого западного генерала?

— Был... но это... Это совсем не то, что мы подумали...

— Капитан Шкурин!— В голосе генерала зазвучали металлические нотки.— Ты что же, шутки надумал шутить?

Капитан вытянулся по стойке «смирно».

— Никак нет, товарищ командующий!

— Докладывай!— буркнул генерал.

— Западный генерал прибыл с миссией, не имеющей к нашим делам никакого отношения. Он... он разыскивает останки своих солдат, погибших на территории Албании во время второй мировой войны.

— Зачем?— удивился Железнов.

Капитан пожал плечами.

— Его сопровождает священник.

— Меня не интересуют священники!— отрезал Железнов и повернулся к капитану спиной.

«Значит, вывод судов состоится,— решил он, когда офицер вышел из кабинета.— По одному из двух вариантов: открыто, с применением силы или, на худой конец, тайно, как разбойники. Хорошо, что они не настаивают на втором варианте».

Сперва сама мысль об уходе с базы казалась ему абсурдной. Но уход уходу рознь. «Уйти следует достойно,— думал генерал.— По крайней мере открыто. По крайней мере... — Голова клонилась на грудь. Он засыпал. В последнее время спать удавалось только урывками.— По крайней мере не тайком... Герой Зеловских высот... по крайней мере... ведет подготовку к отходу... по первому варианту, по первому варианту, по первому... самую мощную базу в Средиземноморье... оставить... по крайней мере открыто... базу... по крайней мере... подводные лодки, рассекая волны... поплывут подводные лодки, рассекая пену... следом за ними, за Железновым, устремятся, пустятся вдогонку... по второму варианту устремятся... ся-а-а-а... Медузы, осьминоги, голубые киты... поплывут голубые киты... будут кричать: «Ловите его! Ловите! Он... украл... подводные лодки. Поплывут...»

На Болотном бульваре и на Театральной улице в некоторых окнах горел свет, как, впрочем, и на двух этажах штаба. Остальная часть базы была погружена в кромешную тьму, но именно к ней был прикован взгляд крестьянина Белюля Дёномази. Спустившись по горному склону к самой границе базы, он наблюдал за красными, синими и зелеными огоньками, таинственно мерцавшими вдали. Старику казалось, что они перемигиваются, подсмеиваясь над ним. «Где-то там, среди этих огней, стоит и он — радар. У-у-ух!» — с ненавистью выдохнул Белюль Дёномази.

Два дня назад в сельской кофейне зашел разговор о базе. Рассказывали самые невероятные вещи, и постепенно комната наполнялась тревогой. Сначала старик не котел вмешиваться в беседу. Еще с прошлой пятницы он затаил на военную базу обиду: он тогда прибли-

зился к проволочному заграждению, а охрана грубо прогнала его прочь. Старик вернулся в село мрачнее тучи. Грудь теснила обида. «Слышать не хочу больше о Паша-Лимане»,— твердил он. Но позавчера в кофейне снова велись тревожные разговоры. Ночью старик долго ворочался — никак не мог заснуть. Вдруг до него донесся старинный женский плач. Он тряхнул головой, чтобы лучше слышать, но плач прекратился так же внезапно, как и начался. И тогда он понял, что это ему пригрезилось.

Забеспокоившись, старик решил посмотреть, что там делается; он встал, молча оделся, накинул на плечи гуну и вышел из дома. Ночь была холодная и ветреная. Часа два он спускался по склону горы, пока не добрался до колючей проволоки. А в ушах звучал все тот же старинный женский плач:

Сестра, подниматься на битву пора —
Пашу захватили чужие, сестра...

Несколько раз старик хотел вернуться назад, но что-то удерживало его. «И зачем меня понесло сюда?— бормотал он себе под нос.— Охрана меня прогнала. Пускай защищают базу эти мальчишки из Тираны.— Но тут же спохватился: — Захватят нашу базу». Именно эта мысль угнетала старика и не давала ему покоя.

Синие, желтые огоньки мерцали вдали. «Обманут ребяток эти огоньки, и проворонят они базу»,— снова подумал он. На память пришла история с итальянскими прожекторами во время битвы за Влёру в 1920 году. Он впервые столкнулся тогда с использованием прожекторов во время боя. Первый вспыхнул на равнине Тишбарза. «О дьявол!— вскрикнул Канан Алимеркоя.— Дьявол ослепил меня!»— И повалился на землю, прикрыв ладонями глаза. Когда Канан поднялся, чтобы опять идти в бой, он был будто бы не в себе, и первая же пуля сразила его. «Закрывай глаза, ребята! Не робей!— крикнул Селям Мусаи.— Это всего лишь электрический свет». И они прорвались с закрытыми глазами сквозь колючую проволоку. Он вспомнил, как Селям Мусаи схватился за ствол пушки. Во время атаки эта пушка много бед натворила. Селям Мусаи ростом не вышел. Сперва он, приподнявшись на цыпочки, ухватился рукой за ствол, словно за шею дикого скакуна. Но ствол был горячим, и он тотчас отдернул руку и стал дуть на обожженные пальцы. Потом он снова

ухватился за ствол обеими руками и стал клонить его к земле. В него посыпались пули из окопов, и он погиб.

А Шатё Браништи колючая проволока вонзилась прямо в грудь, и он никак не мог освободиться от нее. «Набрасывайте гуны на проволоку,— кричал сзади Зигур Лелюа,— и ползите!» Но Шатё уже изрешетили пули. Там же погибли Ден Дёномази — родственник Белюля, Насе Ардири, который пошел на войну с ножницами, и сам Зигур Лелюа, бесстрашный командир, учивший других, как уберечься от пуль.

Колючая проволока была совсем рядом. Когда в тот раз охранник гнал его отсюда, Белюль презрительно крикнул: «Сопляк! Через такую проволоку я переползал, кинув на нее свою гуну, когда тебя и в помине не было». Но солдат направил на него автомат и строго приказал: «Назад! Иначе буду стрелять!» Большего оскорбления Белюлю Дёномази никто никогда не наносил. От обиды потемнело в глазах. «Стреляй, сопляк! Стреляй!» — выкрикнул он, распахнув полы гуны. Солдат только усмехнулся. Белюль отошел от заграждения вконец обиженный. Тогда-то он и поклялся, что больше даже не взглянет в сторону Паша-Лимана. Но сегодня ночью нарушил клятву, одолев двухчасовой путь, чтобы разузнать, что же происходит на базе. Ночь. Кругом — ни души. К этому краю он всю жизнь испытывал особое чувство, даже обида не смогла заглушить его.

«Священная земля войны,— часто думал он.— Она предназначена для войны, и только для нее. Бесконечно длинное побережье, но именно здесь она свила себе гнездо.— Белюль с уважением относился к войне, считая, что, коль скоро за морем есть другие державы и королевства, войны не избежать.— Так было и так будет. Раз есть война, ее надо уважать».

Белюль считал себя человеком удачливым, так как всю жизнь провел в долине рядом с Паша-Лиманом, в окружении гор, полого спускающихся к морю. На их живописных склонах среди золотых стогов виднелись церквушки и мрачные стены монастырей. Земля здесь плодородная, всего хватает: и лесов, и полей, и дичи. Но вблизи логова войны природа была беднее и суровее. За базой простиралось гнилое болото, про него ходили жуткие легенды и истории. Старики говорят, что в лунную ночь второго месяца осени нельзя оглядываться на болото, если не хочешь увидеть двуглавых су-

ществ, которые копошатся в зарослях камыша. Днем у края болота, у могилы Старого паши, надрывно кричат выпи.

Он помнил, как в 1952 году территорию Паша-Лимана расчистили от немецких мин и передали сельхозкооперативу села Дукат. Руководство кооператива распорядилось засеять свободные земли пшеницей. Старики возражали. «Эта земля создана для войны, а не для посевов,— говорили они.— Не обижайте землю». Но правление настояло на своем, и в Паша-Лимане появился трактор. Работал он два дня, а на третий плуг врезался во что-то твердое. Люди взялись за лопаты и нашли голову бронзового воина, словно проросшую в земле. Все село сбежалось поглазеть на этот дурной знак. Торчавшая из земли голова с крылышками на каске походила на огромный вилок капусты, какие в этих местах называют «капустная башка». Она будто предостерегала людей: «Уходите отсюда прочь, да побыстрее, эта земля родит только смерть». Но кооперативное начальство и на сей раз не отступилось от своих намерений: поле вспахали и засеяли. И снова оправдались слова стариков. Не уродилась на этой земле пшеница. Чрево ее было бесплодным. Лишь несколько хилых колосков, появившихся раньше срока, колыхались на ветру. «Чистое уродство»,— качали головами старики, глядя на жалкие всходы. И, не стерпев надругательства над землей, они вырвали эти колосья с корнем. С той поры предначертанный судьбой порядок жизни на этой земле более не нарушался. И снова земля лежала в запустении, как две тысячи лет назад. В ту пору, когда поля вокруг колосились и плодородили, эта болотистая и забытая Богом земля ждала своего часа. И он наступил. Однажды рано утром сюда пришли люди с ранее невиданными здесь приборами. По всей крахине полетела весть, что Паша-Лиман снова станет военной базой. На радостях Белюль Дёномази пировал всю ночь. «Будут у нас свои пушки и крейсера,— ликовал он.— С Италией покончим раз и навсегда». Два раза в неделю спускался Белюль в долину посмотреть, что делается в Паша-Лимане. Издали он наблюдал за машинами и людьми, беспрерывно сновавшими от побережья к горам и обратно. Вскоре заасфальтировали старые дороги, укрепили столетние фортификационные сооружения; повсюду расставили знаки — запретная зона — на двух языках: албанском и русском. У Белюля поубавилось

радости, когда он узнал, что база будет принадлежать Албании и России. «Разве нельзя сделать ее только нашей?» — спросил он как-то вечером, в сельской кофейне. Но потом успокоился, узнав, что после установленного срока база перейдет в единоличное распоряжение Албании.

Зеленые и синие огоньки то загорались, то гасли в районе прибрежных гротов. Колючая проволока была совсем рядом с Белюлем. «Отберут у нас базу, как пить дать, отберут,— в сотый раз повторил он про себя.— Надо что-то делать... как тогда... как тогда...» Для себя Белюль решил: «Если замечу хоть какой-нибудь намек на то, что советские хотят захватить базу, немедля подниму на ноги все село, без всяких там обращений к правительству. Соберу народ, как тогда... О, храбрые мужи, кидайте гуны на проволоку — и вперед, на штурм базы! Селям Мусаи схватился с пушкой, а я, Белюль Дёномази, схвачусь с радаром. Страшный небось этот радар, но я поборюсь с ним — не оробею». Он представил, как во время схватки радар будет увертываться и хитрить, то зажигая, то гася огни, но Белюль знал, что скажет ему: «Брось свои штучки! Не виляй передо мной, как курва задницей, конец тебе!» И они опять сойдутся в смертельном поединке. Он представлял себе эту схватку как нечто сверхъестественное: пучки огненных искр, красно-зелено-синие полосы, белые светящиеся брызги, нечеловеческие звуки, мерное тиканье часового механизма сопровождается лучами, которые, скрещиваясь, ломаются, освещая черное небо.

Позже люди сочинят о нем песню:

Белюль, горжусь тобой недаром.
Храбрец, ты счеты свел с радаром...

Ибо сложит он свою голову в неравной борьбе. Радар, умирая, нанесет ему последний, смертельный удар. Но Белюль не знал, как он это сделает, как не мог представить свое тело после смерти.

Ему казалось, что раны, нанесенные радаром, должны походить на светящиеся на теле точки и тире, на лучики, огоньки и маленькие загадочные блестящие пятнышки. «Как же так, Белюль?— удивленно спросят его жена и товарищи.— Мужчины наши погибали от пуль, а где ты нашел свою смерть?» И уже сейчас он страдал от мысли, что не сможет никому сказать: «Послушайте, друзья, и ты, жена, послушай. Я совершил это не ради

похвальбы и не ради славы. Я тоже желал бы умереть от пули, как все наши, но мне выпала иная доля, и я принял ее».

Время перевалило за полночь. Бетонный причал был освещен двумя мощными прожекторами. Бэн чувствовал, как веки наливаются свинцом,— бессонные ночи давали себя знать. Ритмичный шаг двух пар сапог напоминал мерное тиканье часов. Второй часовой, напарник Бэна по наряду (Бэн мысленно окрестил его Иваном), повторял его движения. Сначала они шли навстречу друг другу, а дойдя до определенного места, расходились, затем вновь сходились. И так всю ночь.

По обе стороны причала виднелись черные тела четырех подводных лодок, полупогруженных в черную воду,— ни звука, ни огонька. Но Бэн знал, что на каждой лодке несут службу четверо вахтенных: двое албанцев и двое советских; ни на секунду они не спускают глаз друг с друга. В руках каждого — оружие. Их главная задача — не допустить на лодку пятого, который сможет изменить соотношение сил в свою пользу. Оба часовых, Бэн и Иван, тоже следили, чтобы не появился пятый. Бэн знал, что справа, между старинными укреплениями и берегом, был другой причал, чуть дальше — третий, а в море стояли на якорях надводные суда. И везде одна и та же ситуация. Все продублировано: мотористы, инженеры, капитаны, вахтенные. Когда спал один, должен был спать и его дублер; просыпался один — просыпался и другой; они действовали, как сиамские близнецы: оба в одно время ходили в туалет, ели, чистили оружие, разминали затекшие руки и ноги.

Глаза Бэна и русского часового на секунду встретились. «Он стал моей тенью,— подумал Бэн,— две ноги, две руки, одна голова, одна винтовка с десятью патронами и один расчехленный штык. Его десять пуль и тускло поблескивающий штык предназначены для меня точно так же, как мои пули и мой штык — для него». Потом Бэн стал размышлять о том, что они связаны с русским солдатом невидимой нитью: если один вдруг побежит, другой должен преследовать его, крича: «Стой! Стрелять буду!» Если бегущий остановится, повернется, подвернет ногу, направит свой штык на противника, другой должен сделать то же самое столь же быстро, хладнокровно и жестоко, а если потребуется... нанести удар.

«Нанести удар...— Бэн чувствовал, что сделает это.— Таков приказ, и я его непременно исполню. Без раздумий и колебаний. Я ударю его — свое подобие, свою тень...» И лишь на мгновение в глубине души шевельнулось робкое сомнение: «А не являюсь ли я сам его тенью?»

Бэн встряхнул головой. На мокром от дождя бетоне их движущиеся тени постоянно меняли свои размеры и очертания: они то становились огромными великанами, то вдруг превращались в крошечные пятнышки.

Глава XXIII

Утром за причалом, где стояла на приколе первая группа подводных лодок, неожиданно появилось грузовое судно. Чуть дальше — другое. Оба старые, громоздкие, с обветшалыми и местами рыжими от ржавчины боками. Все на флоте считали, что эти старые посудины отслужили свое и давно отправлены на заслуженный отдых. Однако сегодня рано утром они как ни в чем не бывало вошли в залив.

Скромные труженики моря с наспех подновленными бортами, сплошь украшенными забавными надписями — дело рук корабельных острословов,— они медленно шли мимо современных надводных и подводных судов, оглашая округу хриплым гудком, похожим на рев быка на рассвете. Еще совсем недавно их появление осталось бы незамеченным, но сегодня все изменилось. Безучастные к происходящему вокруг, они лениво покачивались в центре залива, и никому в голову не приходило подсмеиваться над ними, вспомнив их прежние обидные прозвища. Напротив, людям казалось, что это вовсе не те рядовые труженики моря, любимцы базы, к которым все давно привыкли и относились чуть-чуть свысока, а неведомые морские чудовища, поднявшиеся из морских глубин. Даже рыжие подтеки на залатанных бортах напоминали ручьи засохшей крови, которая вытекла из ран, нанесенных этими чудовищами друг другу. Они были порождением страха, у которого, как известно, глаза велики, и казались морскими драконами, допотопными ихтиозаврами, которые чудом уцелели и лишь сегодня явились на свет Божий.

— Как думаешь, они могут помешать выходу подводных лодок из залива?— спросил кто-то на берегу.

— Думаю, что их цель не столько помешать, сколько задержать лодки до тех пор, пока...

— Что пока?

Подобные разговоры велись на побережье повсюду.

В 9 час. 30 мин. албанский командующий базой потребовал встречи с генералом Железновым. Спустя полчаса двое командующих встретились. Не успели они и сопровождавшие их офицеры занять свои места, как албанский командующий, глядя в упор на советского генерала, без обиняков спросил:

— Железнов! Ты задумал уйти?

— Что такое?— возмутился генерал, но взгляд собеседника выдержал.

Албанец улыбнулся. Сопровождавшие его офицеры застыли на местах.

— После стольких лет дружбы,— продолжал албанский командующий,— нам не так просто будет расстаться.

На минуту улыбка на его осунувшемся и бледном от постоянного недосыпания лице сменилась откровенной неприязнью.

— Не понимаю,— пожал плечами генерал.— Ничего не понимаю.

Все продолжали стоять.

— Железнов,— решительно произнес албанский командующий,— если ты на самом деле задумал уйти, силой или скрытно, я буду считать тебя дезертиром и открою по тебе огонь.

— Как ты смеешь говорить со мной в таком тоне?— процедил сквозь зубы генерал. Лицо его исказила злоба.

— Я повторяю. Если ты попытаешься уйти, я посчитаю тебя дезертиром и предателем и буду стрелять, пока вас всех не уничтожу.

— Я отказываюсь вести беседу в подобном тоне!— заявил генерал Железнов и направился к выходу. Сопровождавшие его офицеры проследовали за ним.

«Это уж слишком,— без конца повторял он про себя.— Чаша терпения переполнена». Генерал вошел в кабинет, презрительно взглянул на словно бы дремавшие перед окном грузовые суда и набросал текст очередной радиограммы. Он извещал Москву о прямой угрозе албанской стороны. И когда он дописывал последние слова, в голове зазвучала военная музыка.

В 10 час. 15 мин. береговые батареи Карабуруна и

острова Сазан получили приказ стрелять без предупреждения вплоть до уничтожения по любому судну, которое попытается выйти за пределы Паша-Лимана. База была объявлена на осадном положении.

Время неумолимо бежало под безымянным почти доисторическим небом, тяготевшим к эпохе мамонтов. Начиная с обеда по базе поползли слухи. Говорили, что поступило несколько приказов, что некоторые из них отозваны, что ожидается окончание переговоров в Тиране и что потом... и потом... неизвестно, как будут развиваться события дальше. «Если подводные лодки начнут бой в этом узком месте, то последствия могут быть катастрофическими»,— говорил один мужчина другому, указывая рукой на развалины амфитеатра, будто лодки стояли там. «Не думаю, что дело дойдет до этого,— отвечал тот.— Хотя... хотя... Разве кто думал, что все так обернется».

К вечеру на базе заговорили об обоюдном уничтожении: «Потопим друг друга в этом скрытом от посторонних глаз районе, и о трагедии никто никогда не узнает». Наступил вечер. В окнах обоих штабов до ночи горел свет. В полночь желтоватая луна осветила на время казармы, болотную топь, превратив лужи в россыпь блестящих монет государств, которые давно исчезли с лица земли.

Наконец забрезжил рассвет. В то утро многие советские солдаты решили не бриться. Настроение у них было подавленное: одни не хотели бриться, пока не выйдут из окружения; другие впадали в апатию; третьи пребывали в состоянии душевного подъема и упивались музыкой стихов, которые напишут поэты... о том, как в далекой Влёре под звездным небом Адриатики спит вечным сном солдат, а школьницы, склонив над тетрадями милые головки, настрочат сочинения о героях. Многие, однако, понимали, что вокруг них сжимается невидимое кольцо.

Была суббота. После обеда подул резкий ветер. Ближе к вечеру в пустом клубе заиграл оркестр. Темнело. Обе стороны в одно и то же время начали менять караулы.

Албанские новобранцы шли в наряд, четко печатая шаг и распевая старинную песню:

Или станет Влёра нашей,
Или станет пепелищем...

— Я не хочу умирать,— говорила Елена Грачева мужу, который на одну ночь вырвался домой после многодневной вахты на подводной лодке.

Все дни вынужденной разлуки он сильно тосковал по ней, по ее телу. Страсть подогревалась удушающим жаром моторного отделения, обострившейся опасностью и постоянным чувством ревности, которое, как субфибрильная температура, не покидало его никогда, если он оставлял жену на берегу. После ночи бурной любви они испытывали ощущение странной опустошенности.

— Успокойся, Леночка, успокойся,— тихо повторял он.

— Ты слышишь эту песню? Слышишь, о чем они поют?— испуганно спрашивала она.

Песня, удаляясь, затихала.

— По поводу этой песни был сделан официальный протест, но они уверяют, что ее пели их отцы еще в двадцатые годы.

— Или станет пепелищем... — повторила она чуть слышно.— Мне страшно. Ты видел, какая луна сегодня?

За окном быстро светало.

— Пора идти,— сказал он, поднимаясь.

Елена стояла у окна, провожая мужа тревожным взглядом. Он шел по пустырю в сторону моря. Она ясно ощутила всем своим существом, как бесконечно дороги ей и его длинная серая шинель, и он сам — родное дыхание, голос, лицо; да, уже много лет они связаны одной судьбой. Внезапно Елене почудилось, что она видит не мужа, а лишь его тень, которая вот-вот растает в утренней мгле, и в тот же миг она ясно ощутила под сердцем частицу его самого и, осененная догадкой, прижалась щекой к холодному стеклу — его ребенок! Окружающий мир перестал для нее существовать, и ей безумно захотелось спать. Ни с того ни с сего, однако, она вспомнила, что ребятишки на базе называют ее Еленой Прекрасной, и сейчас, в предрассветной мгле, ей казалось, что в этом нет ничего странного. Ведь она, женщина необыкновенной красоты, живет на военной базе. На память ей пришли слова инженера подлодок, сказавшего однажды, что в мире нет ни одной женщины, которой не хотелось бы стать поводом для любого конфликта, пускай самого незначительного. «В каждой женщине есть что-то от Елены Прекрасной,— говорил он,— поэтому, как бы ни была велика разница

между тумаками, которыми обмениваются разгневанные мужчины, и военными действиями двух противоборствующих сторон, всегда причиной конфликта служит женщина».

Елена начала зябнуть и завернулась в плед. Глядя из окна на залив, она подумала: может, и вправду этот конфликт возник из-за нее и сейчас, возможно, подводные корабли приготовились к бою в морской пучине; чудовищно длинные стволы орудий вздыбились и напряглись от возбуждения, снаряды жаждут извергнуться наружу. В ее мыслях преобладало мужское начало, чувственное и устремленное к ней, к ее телу. Потом в сознании Елены вновь мелькнула мысль о беременности, правда, сейчас она не связывала ее с мужем. Эта мысль существовала как бы сама по себе и словно бы плыла в воздушном пространстве; плыла легко, свободно, вступая в контакт с тяжеловесными незрячими, но всемогущими существами, ибо они были неотъемлемыми составляющими войны.

Бэн опять нес караульную службу у причала. В нескольких шагах от него ходил тот же веснушчатый русский парень. Это походило на дурной сон. Время смены караула давно прошло, но никто не сменял их. Из клуба доносилась музыка. «И зачем играть оркестру в такую ночь?» — думал Бэн, отойдя в сторону от своего поста. Русский синхронно повторил его движение. Бэн повернул голову направо. Русский сделал то же самое. Потом русский повел плечом, поправляя ремень винтовки, Бэн невольно повторил его движение. Одним словом — сиамские близнецы. Бэну почудилось, что русский, желая обыскать его, тянет руку к его плечам, ногам, бокам. Он физически ощущал, как голова русского приближается к его лицу. «Все! Хватит! — решил Бэн.— Как же мне избавиться от тебя, чертов двойник?» Он сменил шаг, но напарник тотчас сделал то же самое. «Нет, невозможно вырваться из этого заколдованного круга»,— снова подумал Бэн. Он не спал почти двое суток и чувствовал, как вялость, сумрачность и апатия напарника густой клейкой массой обволакивают его. Бэн замахал руками, но тщетно. Русский шел прямо на него. «Повернусь и выстрелю первым»,— решил про себя Бэн и отступил на шаг. Русский, однако, тоже сделал шаг назад. Бэн взял себя в руки, сообразив, что

дурацкие мысли лезут в голову от чрезмерной усталости. На лбу у русского выступил пот, глаза помутнели, но Бэну казалось, что он все еще надвигается на него и что они с ним — одно двуглавое существо, подобное тем, что обитают на болоте и зовутся Арбэниван или Ариванбэн. А может, Ивбэнаран или Иваранбэн. «Как же все-таки от него отвязаться?» Бэн в сердцах даже сплюнул. На минуту он представил себя в операционной, где хирурги острыми блестящими скальпелями отделяют от него русского. Медсестры дали ему наркоз. Но вдруг они превратились в джазовую группу, которая поет:

Или станет Влёра нашей,
Или станет пепелищем...

Бэн, очнувшись, понял, что задремал на посту. Задремал и его русский напарник. Бэн двинулся вперед, и русский, мгновенно очнувшись, тоже пошел вперед. Все повторялось сначала.

Это была ночь двойников. «Сегодня все может начаться»,— сказал кто-то в четыре часа пополудни. Теперь уже не дознаться, кто отдал приказ оркестру играть до полуночи, но только он работал на базе без дублера. Незабываемая ночь. Четвероногие и четверорукие существа, похожие на индийского бога Кришну, метались по базе, как в апокалипсическом сне.

«Отчего мы так связаны по рукам и ногам?— удивлялись албанцы.— Задумывался ли кто-нибудь, чего будет стоить эта наша дружба? Теперь и рады бы развязаться с ними, да не тут-то было». Русские с надеждой всматривались в окна своего штаба, где горело электричество, которое, освещая землю, вырисовывало на ней причудливые старинные гравюры. «О чем он там думает?— мучились они вопросом.— Что намерен делать?»

А Железнов готов был дать бой. Он только ждал приказа — прорвать заграждения противника — и был уверен, что такой приказ придет с минуты на минуту. Операция не займет много времени: захват подводных лодок со смешанными экипажами — минутное дело. На худой конец, если албанцы все-таки захватят часть лодок, он молниеносным броском под градом снарядов

прорвется с остальными в открытое море. В отместку, напоследок, можно сжечь Влёру. Генерал все продумал, все рассчитал. Если в последний момент судьба отвернется от него и прорыв осуществить не удастся, он, точно дикий зверь, вернется сюда, и тогда в этом узком заливе грянет такой бой подводных титанов, в сравнении с которым другие морские сражения покажутся детской забавой. Да, Зеловские высоты надо брать заново.

Опустив голову на сжатые кулаки, Железнов сидел за столом и ждал радиограммы из Москвы. Часы показывали 3.30. Через два часа рассветет.

Мысль о том, что это утро может стать последним в его жизни, лишь на минуту завладела его сознанием. И снова он был там, у выхода из бухты, где дула орудий ждали его уже много часов подряд.

Радиограмма пришла на рассвете. Генерал почувствовал, как у него вмиг похолодели руки. Он пробежал глазами текст — и не поверил своим глазам. Написанное можно было назвать одним коротким словом, расставив его по всему тексту вместо точек.

— Позор!— воскликнул генерал, повернув побледневшее лицо к помощнику, который принес радиограмму.

Он жаждал славы, а ему уготовили позор. Утром на базу прибудет советско-албанская комиссия и разделит флот. «Позор! Упрямство албанцев одержало верх,— думал генерал, с трудом веря в происходящее.— Министерские чинуши отступили. Позор! Флот будет поделен. Позор! Отдадим половину судов. Позор! Ни слова о захвате и даже об уходе. Даже об уходе!» — мысленно подчеркнул он.

До сей поры генерала возмущало лишь то, что его вынуждают уйти скрытно, но теперь... «Не будет никакого ухода!— хотелось крикнуть ему во весь голос.— Даже ухода... скрытного... тайного...» Наконец он понял всю нелепость и пагубность принятого там, наверху, решения. «Не подчиниться приказу.., Пистолет.., Дуло к виску...» — молнией пронеслось в мозгу. Но вдруг он обмяк, и его агрессивность сменилась полной апатией ко всему происходящему. Мир заполонили огромные губки, похожие на горы Паша-Лимана и медленно катившиеся вниз по склонам гор. Генерал опустил голову на стол и впервые за несколько последних сверхнапряженных суток заснул.

Комиссия прибыла в Паша-Лиман в 11.00. Формальности не заняли много времени: все было предрешено на переговорах в Тиране. Советская сторона сделала короткое заявление, в котором подчеркивалось, что удержание силой части советских военных кораблей есть акт насилия со стороны Народной Республики Албании, который не способствует развитию дружественных отношений между двумя странами. В заявлении албанской стороны отмечалось, что вероломный захват Советским Союзом части албанских военных кораблей есть акт насилия, который ослабляет оборонную мощь социалистического лагеря и наносит ущерб дружбе между двумя странами. Заявления сторон зачитывались при полной тишине зала; затем был подписан протокол о разделе флота. Генералу Железнову все это время смертельно хотелось спать. В протоколе было зафиксировано число подводных и надводных судов, которые принадлежат каждой из сторон.

Сразу после подписания официальных документов были расформированы совместные экипажи, и команды обеих сторон заняли закрепленные за ними протоколом суда. При этом, конечно, не обошлось без инцидентов: были взаимные оскорбления и угрозы, порча корабельных вентиляторов, а один повар даже изрезал на куски знамя противника. По каждому факту стороны обменивались официальными протестами, которые оставались без внимания и ответа,— одним словом, немое кино.

Покидая подводные лодки, советские офицеры трогательно, едва сдерживая слезы, прощались с ними.

К полудню в доки были отведены старые грузовые суда, сослужившие свою последнюю службу. А в час дня советские военные в полном походном снаряжении вступали на свои суда; в три часа за ними последовали гражданские лица — служащие, женщины, дети,— они напоминали толпу беженцев во время стихийного бедствия. Жены и дети албанских офицеров, собравшиеся на берегу, с любопытством следили за ними.

— Смотрите! Елена Прекрасная!— крикнул чей-то малыш, показывая на Елену Грачеву.

Она испуганно обернулась и заспешила к лодке. По морю перекатывались древние как мир волны, и Елене показалось, что она на самом деле покидает наконец Трою. Следом за ней неуверенной походкой шел инженер. Он был, по обыкновению, пьян и что-то бормотал себе под нос. Прежде чем сесть в лодку, он остановил-

ся и, сорвав с головы меховую шапку, трижды поклонился могиле Старого паши.

В 16.00 эскадра советских военных кораблей направилась к выходу в открытое море. Холодное солнце огромным красным оком наблюдало за ними с линии горизонта. Подводные лодки первыми миновали онемевшие от удивления стволы орудий, стерегущих выход из бухты. Стоя на мостике последней лодки, генерал Железнов неотрывно глядел на удалявшиеся горы Паша-Лимана. Когда судно поравнялось с фортификационными укреплениями острова Сазан, генерал не выдержал — у него будто что-то оборвалось внутри,— и он украдкой смахнул набежавшую слезу.

Солнце пурпуром окрасило огромную пенистую волну. Казалось, море мучительно страдает от геморроя. База походила теперь на раздробленную челюсть, в которой осталась только половина зубов.

Часть пятая
Держава и супердержава

Глава XXIV

Марк робко вошел в мастерскую по ремонту радиотелеаппаратуры. Четыре дня назад он сдал сюда радиоприемник, который начал барахлить: шум сменялся свистом, поминутно пропадал звук. «Нашел время сломаться»,— ворчала старая Нурихан. В последнее время она тоже начала сдавать: участились приступы астмы, мучила бессонница. Приемник был старый, но хороший, фирмы «Филлипс», выпуска 1936 года. Четверть века проработал он без всякого ремонта, и вот нá тебе: сели лампы, и дыхание его ослабло.

Как и четыре дня назад, на длинных столах мастерской громоздилась разнообразная аппаратура, которая, точно толпа безумцев, вразнобой кричала, бормотала, скрипела. Около нее суетился красивый и весьма вежливый молодой человек.

Марк вышел на улицу, пристроил «Филлипс» к седлу велосипеда, и им вновь овладел привычный страх. Ему казалось, что кто-то непременно остановит его и спросит: «Отчего это у вас вдруг испортился приемник? Почему лампы сели? Почему конденсаторы из строя вышли и сгорели сопротивления? И это в такое время... Как вы им пользовались?» И Марк мысленно готовил ответ: «Слушали, как и все, концерты, обзоры столичных новостей, программу «Радиопочта», музыку Бетховена, Листа, Баха, АФП...»

Марк торопился домой. Он знал, что обрадует мать исправным приемником. «Сколько дней без вестей,— вздыхала Нурихан каждое утро.— Нашел время сломаться».

Дома, кроме Мусабелы, который последнее время дневал и ночевал у них, была еще Хава Фортузи с мужем. Ее так и распирало от новостей. Старая Нурихан внимательно слушала, приставив ладонь к уху. Гостья рассказывала, как советские подводные лодки ушли из Паша-Лимана и прошли через воды Скандинавии. Она слышала об этом вчера ночью по радио. Все западные радиоголоса только об этом и говорили. Весь мир уже знал, что советские подводные лодки ушли из Влёры. Корреспондент АФП, француз, который был сначала в Тиране, а потом в Москве, вел репортажи из Скандинавии.

— Всюду, словно Божье благословение, появляется этот корреспондент,— захлебывалась от переполнявшей ее радости Хава.

— Так, так,— кивала Нурихан, не отнимая ладони от уха.

Эти новости, даже с бóльшими подробностями, она узнала час назад от Мусабелы, но делала вид, что слышит их впервые.

Мусабелы, подтянутый, как всегда, элегантный, с маленькими подернутыми инеем усиками, внимал Хавиной болтовне с большим вниманием. Позолоченная цепочка от часов, свисавшая из маленького жилетного карманчика, тускло поблескивала, удивительно сочетаясь с блуждающей по его лицу улыбкой.

— Теперь у них нет флота,— рассуждал Экрем Фортузи.— Теперь им не удержаться. Конец неизбежен.

— Ты так думаешь?— спросил Мусабелы, желая вызвать собеседника на откровенный разговор.

— Ну конечно. Паша-Лиман был их гордостью. Теперь он, как дикий зверь без когтей и клыков,— ни для кого не опасен. Путь для высадки десанта открыт.

— Неужели правда, что он больше не опасен?

— Я слышал, там не осталось и половины подводных лодок,— продолжал Экрем Фортузи.

— Но и половины вполне достаточно, чтобы натворить много бед, не так ли?

— Говорят, в магазине Рока Симоньака выкуплена накидка с регентскими знаками,— попыталась переменить тему Нурихан.— Неужели правда?

— А почему бы и нет?— вопросом на вопрос ответил Экрем Фортузи.— Мне кажется, все мы скоро встретимся у него в магазине. До встречи у Рока! Звучит как финальная фраза оперы, не правда ли? Au revoir chez Rok[1].

— Надо будет как-нибудь зайти к нему,— сказал Мусабелы.— Интересно посмотреть, хотя сам я ничего ему не продавал.

— Наверное, ты единственный, кто ничего не продал,— ехидно вставила Хава Фортузи.— Значит, не нуждался.

— Вовсе не поэтому,— возразил Мусабелы.— Просто у меня не было желания видеть свои пижамы на сцене Народного театра.

Все громко рассмеялись.

— Ты прав,— поддержала его Эмилия.— Все актеры, играющие героев из прошлой жизни, одеты в костюмы, купленные театром у Рока.

— Вот именно,— согласился с ней Мусабелы.— Я тоже об этом подумал, когда на одном из вечерних спектаклей в Народном театре увидел на сцене актрису в ночной рубашке женщины, имя которой я не могу произнести вслух.

— Ах, Мусабелы!— воскликнула Хава, заливаясь смехом.— Ты в своем репертуаре. Как я тебе завидую!— Она вздохнула, явно желая вернуться к прерванной беседе о выводе советских судов.— Одно время казалось, что они договорятся меж собой и не станут сводить счетов. По правде сказать, мне тогда стало страшно: неужели, думаю, все останется по-прежнему? Но, как видно, вода в казане начала закипать.

— Теперь их судьба предрешена,— пророчески заявил Экрем Фортузи.

— А знаете, что она нам нагадала тогда? — спросила Хава.— Помнишь, Нурихан?

Старуха молча кивнула.

— Про кофты, которые будем вязать.

— Кофты для тех, которые вас скинут. Прямо так и сказала.

Эмилия взглянула на свои пальцы.

— Интересно, что она говорит теперь их женам? — произнесла, ни к кому не обращаясь, Нурихан.

---

[1] До встречи у Рока *(фр.)*.

— Скорее всего, то же самое, что и вам,— ответил за всех Экрем Фортузи.— Теперь их черед поработать спицами.

— Жаль мне вас, сказала она тогда, будете всю жизнь, как пауки, плести свою паутину.— Хава тяжело вздохнула.

Марк внезапно подумал о Зане и никак не мог представить ее с вязальными спицами в руках. После того дня (хотя вряд ли его можно называть днем, скорее это был уродливый огарок времени) они не сблизились. Марк почему-то решил, что Зана и Бесник помирились. Он тяжело переживал это, мучился, страдал. Порой в предутренней истоме ему чудилось, как на пороге комнаты появляется Зана в ночной сорочке и говорит: «Марк, прости, я мучила тебя, теперь я принадлежу только тебе, все осталось как прежде, только я — другая. Я свергнута, как вы когда-то, как ты...»

— Специалисты продолжают уезжать толпами,— сообщил Экрем Фортузи.— Аэропорт буквально забит людьми.

— Поговаривают, что скоро в Дуррес прибудут китайцы,— сказала Хава.— Теперь они заполонят все.

— Сплетни, наверное,— заметила Нурихан.— Сейчас чего только не болтают.

— Западное радио сообщило, что скоро Албания станет маленьким Китаем в Европе. Так ведь, мама? — сказала Эмилия, глядя на Нурихан.

Старуха ничего не ответила: то ли не расслышала, то ли сделала вид, что не слышит.

— Чего только не передают по этому радио,— вдруг вымолвила она.

— Теперь всех засадят за изучение китайского,— предрек Экрем Фортузи.

В тюрьме он выучил русский язык и потом переводил деловые бумаги для «Агроэкспорта».

Все, кроме Нурихан, засмеялись. Морщины на ее лице были слишком глубоки, чтобы откликаться на каждую шутку.

— Радио Тираны ничего не сообщает об этом,— заметил Экрем Фортузи.

— И печать.

— Да, и печать. Сколько же времени будут они играть в молчанку?

В дверь постучали. Эмилия пошла открывать, и немного погодя в коридоре раздался удивленный возглас.

— Господин Фаик,— объявила Эмилия, войдя в комнату.— Господин доктор с супругой.

— Ну-ну, посмотрим, посмотрим.— Нурихан даже привстала от изумления. Доктор вошел первым. Он был в черном костюме, бледный, коротко стриженный.— Не верю своим глазам,— запричитала старуха, протягивая гостю руку.— Поздравляю. Поздравляю. Когда же это случилось?

— Вчера,— коротко бросил гость.— Кончился срок.

Он презрительно оглядел собравшихся, которые не считали нужным скрывать своего удивления. Взгляд его будто говорил: «Забыли, голубчики, какой у меня срок?»

Супруга доктора, маленькая, нервического склада женщина, присела на канапе.

— А мы уж подумали, что... возможно, тюрьмы открыли...— начала было Эмилия.

— Сро-о-ок! — громко и раздельно, точно на сцене, произнес нежданный гость.— И ничего другого.

На минуту все замолчали.

— Помню-помню,— прошуршала Нурихан.— Теперь вспоминаю.

— Я говорила вам,— робко заметила жена доктора,— что зимой его выпустят.

— А я думала... кто знает, может быть...— вновь попыталась вступить в разговор Эмилия.

— Я тоже,— перебила ее Хава.— Я подумала, небось дела у них плохи, вот и освобождают всех досрочно.

Доктор обиженно поджал губы.

— Ну как ты там? — участливо спросила Нурихан, выказывая почтение гостю.

— Как в тюрьме,— пожал он плечами. Его бледное лицо, короткая стрижка говорили сами за себя.

— А вы как? — осведомился он в свою очередь.

Все облегченно вздохнули и заговорили разом, перебивая друг друга. Они спешили поведать ему обо всем, поделиться с ним заботами, тревогами, рассказать о страданиях, выпавших на их долю, о конфискации имущества, преследованиях, оскорблениях, о безрадостной жизни. И чем больше говорили они, тем меньше он им верил. После рассказа о тяготах и болезнях, которые обрушились на них, его жизнь в тюрьме могла показаться сущим раем. Он, их негласный судья, слушал молча. Чувствуя свою вину, они стара-

лись не смотреть на него, не замечать его преждевременной седины. Это тяготило и раздражало больше, чем молчание. Ничто не может передать страданий узника, проведшего за решеткой пятнадцать лет, так, как его стриженая голова. Стоило взглянуть на нее, и уже казалось, что он укоряет: «Таким я стал по вашей милости». «Нет-нет, не по нашей,— кричали их глаза.— Все, что ты делал, ты делал в первую очередь для себя, а потом уж... Спору нет, ты и нам хотел помочь, но делал это только для себя, для себя... И не тряси теперь своей стриженой головой».

Его арестовали весной 1945 года во время нашумевших процессов по делу расхищения золота. Ежедневно газеты публиковали отчеты из залов суда. Группы молодых добровольцев с кирками и лопатами в руках каждое утро прочесывали кварталы Тираны в поисках припрятанного золота. Они осматривали подвалы, сады, пороги домов бывших богачей. Маршируя по улицам, они выкрикивали лозунги и распевали новую, только что сочиненную ими песню:

Наш отряд передовой, авангард!
Берегитесь, подлецы, он идет,
Берегитесь, буржуи, он идет.

А кое-кто последнюю строку переделал по-своему: «Берегитесь, Гобсеки, он идет».

Сам он золота не имел и все-таки целую неделю был главным «героем» «золотых судов» — так стали их называть с легкой руки лихого журналиста. Процессы шли один за другим и носили сенсационный характер. Сотни людей толпились у кинотеатра «Бригады», где шел суд над ними. Подсудимому предъявлялось обвинение в укрывательстве и нелегальной передаче за рубеж десятков килограммов золота, причем варварским способом — в человеческих трупах. В то время он работал патологоанатомом в военном госпитале, где в одном отделении лежали итальянские военнопленные, которые по состоянию здоровья не могли покинуть Албании. Многие из них умирали, и тогда их тела по требованию родных отправляли для захоронения на родину. Неизвестно, кому первому пришла в голову дикая мысль: прятать золото и драгоценные камни в трупах и контрабандой перевозить через границу. Врач отказался давать показания и называть имена людей, чьи драгоценности переправлялись в Италию. Как вы-

явило следствие, во время вскрытий он прятал в легкие, желудки, а чаще всего в черепные коробки трупов бриллианты, монеты, золотые слитки. Естественно, за большую плату. Получив вознаграждение, он сообщал владельцам драгоценностей фамилии покойников и точные адреса их семей. Золото, словно в сейфе из мертвой плоти, отправлялось в Италию, а хозяева драгоценностей знали, что оно надежно спрятано. Они думали со временем отыскать свои богатства. Варианты предполагались самые разные. Одни собирались бежать за границу, надеясь там найти сокровища по адресу, данному доктором (выкопать их либо втайне от родственников умершего, либо рассказав им все начистоту). Другие, более терпеливые, предпочитали сидеть дома и ждать падения коммунистического режима, а уж потом отправляться на поиски своего состояния. Но были среди клиентов и такие, которые радовались тому, что золото лежит в надежном месте — в земле, и не слишком задумывались над тем, как его получить назад, да и стоит ли вообще возвращать его домой. Их отцы и деды всю жизнь копили золото, держа его в тайниках, и это им казалось совершенно естественным; никто из них ни за что на свете не стал бы тратить свои богатства на повседневные нужды. А между тем бизнес расширялся, и врач часами не выходил из госпитального морга. После бриллиантов и золотых монет настал черед колец, браслетов, сережек, потом ожерелий, золотых ложек, подсвечников, сервизов. Кто знает, сколько бы еще продолжались эти «банковские перевозки», если бы однажды не произошел ужасный случай: то ли по небрежности санитаров, то ли по какой другой причине, при выносе трупов из морга один из них перевернулся на бок — и все увидели торчащее изнутри лезвие ножа. Картина была жуткой, не поддающейся описанию, словно явилась из кошмарного сна. Ни у кого в голове не укладывалось, как можно вонзить нож изнутри, а не снаружи. Казалось, будто смерть долго плутала вокруг, прежде чем прийти к человеку. Санитар, опустив носилки на землю, стоял как вкопанный и что-то бормотал, словно в помешательстве. Невесть откуда взявшийся сторож вытаращил от удивления глаза: «Такого еще не бывало!» Среди темных пятен крови что-то полыхнуло — золотой нож сверкнул и исчез, точно хвост кометы. Врача приговорили к смертной казни через повешение. Потом приговор смягчили —

повешение заменили расстрелом. Однако именно в то время Албания была провозглашена Республикой, и в дни всенародного ликования расстрел заменили пожизненным заключением. А потом — выборы в Народное собрание, начало строительства первой железной дороги, объявление войны безграмотности, национализация фабрик, аграрная реформа, разоблачение правых уклонистов. Благодаря шумным всенародным кампаниям срок заключения врача, определенный судом в 101 год, сократился до 15 лет. После процесса прямо из зала суда было направлено письмо «многострадальному итальянскому народу», которому предлагалось вернуть золото, по праву принадлежащее «многострадальному албанскому народу», но ответа не последовало. Спустя какое-то время прошел слух, что на кладбищах в Италии из вскрытых могил были извлечены полуразложившиеся трупы,— искали, судя по всему, золото. Между грабителями то и дело возникали стычки, порой доходившие до убийств. Сообщения в прессе о состоявшихся судах эти слухи подтверждали.

Марк не мог отвести взгляда от осунувшегося лица доктора. Нурихан расспрашивала его об общих знакомых, отбывавших срок в тюрьме.

— Несчастные,— вздохнула Хава,— они небось и не знают, что тут сейчас творится.

— Кое-что знают,— успокоил ее врач.

— Что именно? — спросила Нурихан.

Супруга доктора бросила на него настороженный взгляд.

— О происходящем... даже о подводных лодках,— процедил он сквозь зубы.

Жена недовольно фыркнула.

— Зачем тебе это надо? — толкнула она мужа локтем, не дав договорить.— Ты только что выбрался оттуда. Хочешь снова загреметь?

Наверное, в былые времена он покраснел бы до корней волос, но теперь его лицо утратило эту способность.

— Я не был политическим,— промямлил врач.— Я был обычным заключенным.

— Да-да, обычным...— хмыкнула жена.— Зачем тебе это надо? Ты лучше подумай... как устроиться...

Доктор обиженно поджал губы, лицо его исказилось от злости. В глазах жены сверкнули злобные искорки.

Марк тайком наблюдал за врачом и его супругой, не упустив и красноречивых взглядов, которыми они обменялись: их совместная жизнь, надо понимать, закончилась.

Марку стало невыносимо жалко себя. В памяти пронеслись воспоминания о Зане, ее упругом теле. Она мелькнула в его жизни, как упавшая с неба октябрьской ночью звезда, обжигающий свет которой никогда больше не коснется его. «Ты думаешь, что еще не все потеряно?..» — с надеждой спрашивал он себя. По утрам сквозь запотевшие стекла окон он наблюдал, как Зана идет на работу,— необыкновенно серьезная и сосредоточенная, а оттого еще более красивая.

Марк часто вспоминал тот вечер. И к его примитивному животному страху примешивались сказанные ею при их странном полусближении страшные слова (такими ужасными бывают порой только калеки): «Что вы приобрели... от этого раскола?..» Ему захотелось вскочить и во все горло крикнуть собравшимся в соседней комнате: «Да замолчите вы наконец! Выбросьте из головы безумные надежды! Ваши ожидания тщетны! Мы ничего не выиграем. Во всей этой истории мы ничего не приобрели... кроме одной-единственной женщины... да и то всего лишь на одно мгновение...»

— А те наверху как поживают? — спросила Хава Фортузи, чтобы поддержать затухающую беседу.

— Что-то загрустили в последнее время,— сообщила Эмилия.— Особенно их дочка. Ходит как в воду опущенная. По-моему, у нее с женихом что-то не ладится.

— Это который ездил в Москву переводчиком? — уточнила Хава.

— Да, с ним. Говорят, он там что-то напутал в переводе.

— Еще бы, какие нынче переводчики... Вот я помню французский лицей в Корче...— мечтательно вздохнула Хава.

— Слухи об этом дошли и до тюрьмы,— заметил доктор.

«Ты опять за свое?!» — супруга метнула на него злобный взгляд. На этот раз он его выдержал. «У-у, ведьма! Лучше уж там, в тюрьме, чем дома с тобой»,— отомстили ей его глаза.

— Тебе бы лучше вообще замолчать,— не выдержала она.— Раз и навсегда!

— Госпожа права,— попытался примирить их Экрем Фортузи.— Время такое, что лучше держать язык за зубами. Можно погореть.— И немного погодя добавил: — Зазря погореть.

Многоликая толпа запрудила улицу, разбрасывая по сторонам словесную шелуху. Минутами до Бесника долетали обрывки фраз, из которых ничего нельзя было понять. В половине пятого он наметил встречу со скульптором Муйо Габрани, которому заказал мраморную плиту на могилу отца. До встречи оставалось более получаса, и Бесник, коротая время, шел не спеша в бесконечном людском потоке, размышляя о людях вокруг себя. Кто они — студенты, девушки, спешащие на свидания, мебельщики, служащие министерств, кандидаты в члены партии, мечтающие сразиться с ревизионизмом, диабетики, маляры?

Крыши и стекла автобусов пригородных маршрутов были залеплены мокрым снегом: за городом погода тоже испортилась. Уже зажигались огни витрин, хотя на улице было еще довольно светло. Вечером, когда большие окна, словно глаза, загораются внутренним светом, люди за окнами мечутся, точно стайки вспугнутых рыб в аквариуме. Они что-то покупают, о чем-то говорят, с кем-то пьют кофе. Беснику захотелось отбросить свои тревоги и стать человеком как все.

Он отошел от афиши, и тут его рассеянный взгляд задержался на профиле мужчины, который показался ему знакомым. Он стоял поодаль, у соседней афиши. Бесник не мог припомнить, где его видел, но интуитивно почувствовал, что знает его давным-давно. Наконец он вспомнил.

— Йордан, как дела? — произнес Бесник довольно тихо, но человек расслышал и тотчас обернулся. Его брови от удивления поползли вверх.

— Сколько же мы не виделись?! — радостно воскликнул Йордан. На нем был модный плащ с коричневым меховым воротником.

— С тех самых пор,— улыбнулся Бесник.— Вы были за рубежом?

Йордан недоуменно посмотрел на Бесника.

— Нет, не был.

— Я думал, может быть...

— Нет-нет,— возразил Йордан.— Теперь на заседания СЭВа нас не приглашают.

— Ах да... конечно.

Заметив в руках у Йордана свернутый из книжных страниц кулек с лимонами, Бесник вспомнил их первую встречу в самолете рейса «Тирана — Москва» и разговор о конской чуме в Монголии.

— Теперь я работаю на киностудии в сценарном отделе,— сказал Йордан.— Немножко странно, не правда ли?

Бесник согласно кивнул, хотя и не слушал, о чем он говорит. Краешком глаза он пытался прочитать хотя бы строчку на страницах, в которые были завернуты лимоны. «...и тогда монголы в наказание...» — прочитал он и подумал: «Этого не может быть. Уж не сплю ли я?»

— Наше представительство при СЭВе закрыли,— продолжал Йордан.— А ты как поживаешь? Все в газете?

Бесник молча кивнул, искоса поглядывая на обертку.

«...Угедей, сын Чингисхана, приказал установить в степи 70 огромных медных казанов, в которых... три дня подряд... монголы живьем варили схваченных мятежников...»

— Как твоя невеста? Если не ошибаюсь, ее зовут Диана?

— Почти так,— усмехнулся Бесник, продолжая читать.

— Что тебя так заинтересовало? — перехватил его взгляд Йордан.

— Там... снова о монголах...— понизив голос, сказал Бесник, указывая на кулек.

— Ничего удивительного,— улыбнулся Йордан, разглядывая сверток.— Я покупаю фрукты и ягоды у одного и того же крестьянина. Да-да, ты прав. Смотри-ка... видно, эти страницы из той же книги.

Бесник готов был признать объективную закономерность. О чем бы оба ни заговаривали, они неизменно возвращались к морозной стране... чуме... монголам... мышам... Там их соединила судьба.

— Что слышно? — спросил наконец Бесник.

Йордан будто ждал этого вопроса. «Маг,— подумал о нем Бесник.— Оракул».

— Все развивается логично, по нарастающей,— начал Йордан.— Блокада теперь уже факт свершившийся. Уход подводных лодок — тоже. На очереди...

«Говори, говори,— мысленно подбадривал его Бесник, боясь, что он не произнесет более ни слова.— Не умолкай! Прошу тебя».

Йордан, казалось, с невероятным усилием разжал сомкнутые, как у каменной статуи, губы:

— Теперь на очереди...— Голос его стал чужим и мало похожим на человеческий.— Теперь на очереди... разрыв дипломатических отношений,— с трудом выговорил он.

— Разрыв дипломатических отношений,— эхом отозвался Бесник.

Они пристально смотрели друг другу в глаза. «Неужели дойдет до этого?» — недоумевал Бесник. Йордан перевел взгляд на витрины. Минуту они шли молча. У площади Республики они расстались, и, только пройдя полдороги, Бесник заметил, что пошел дождь. Редкие крупные капли, падая на мостовую, оставляли следы, похожие на гусиные лапки. Вдруг дождь зачастил и незаметно перешел в настоящий ливень. Бесник ускорил шаг и, чтобы окончательно не промокнуть, заскочил в первый попавшийся магазин. На него пахнуло стариной, нафталином и еще чем-то, похожим на запах, который оставляет прикосновение к старинной бронзе. Бесник встряхнул головой, сбрасывая с волос капли дождя, и в тот же миг его взгляд столкнулся с неотрывным, изучающим его взглядом продавца, который стоял, опершись руками на прилавок. Бесника поразили его глаза — пустые и холодные; казалось, их плохо прикрепили к лицу во время неудачной операции и слегка надрезали в уголках, что придавало лицу жалостливое выражение. Бесник собрался было сказать обычные для такого случая слова: «Какой ливень сегодня!» — но вовремя заметил, что в магазине, помимо продавца, есть другие люди, и они, похоже, зашли сюда не случайно, и привел их в магазин, в отличие от него, вовсе не дождь. Посетителей было четверо. Самый старый из них сидел в кресле напротив прилавка. Другие, одетые с иголочки, с холодным презрением манекенов взирали на нежданного гостя.

Бесник еще раз тряхнул головой и посмотрел в окно, как бы подсказывая продавцу, почему, собственно, он оказался в магазине.

— Какой ливень сегодня! — наконец не выдержал он.

Ему никто не ответил. Пожалуй, вовсе не Бесник помешал их беседе. По-видимому, они молчали и

до его прихода, но что-то, безусловно, связывало их. «Как только утихнет дождь, сразу же уйду»,— решил Бесник. Но дождь, как назло, зарядил еще сильнее. «Ну и погодка!» — мог бы сказать наконец кто-нибудь из посетителей, когда хлынул такой ливень, что помутнели оконные стекла, словно их поразила катаракта. Но все по-прежнему молчали, точно воды в рот набрали.

Бесник огляделся и только тогда понял, что попал в антикварную лавку. Не обращая ни на кого внимания, он подошел к витрине и стал рассматривать выставленные для продажи вещи: три перстня с зелеными камнями, какая-то одежда из черного штофа (нечто среднее между фраком и накидкой), старинная трость с серебряным набалдашником, театральный бинокль. Внезапно Бесник ощутил на себе пристальный взгляд и обернулся. «Буржуазия,— подумал он.— Как это я сразу не догадался?» В глазах у него вспыхнула ярость, когда он заметил, как у присутствующих заиграли желваки на скулах. Давно уже не испытывал он столь гадкого чувства. Никогда прежде, встречаясь с ними, Бесник не думал: «Вот они, буржуи!» А теперь... Вдруг его осенило: «Они смотрят на меня нагло, ибо осмелели. После стольких лет маскировки... И понятно почему».

Он склонился над витриной, и ему показалось, что его взгляд словно бы раздвоился: рассматривая выставленные вещи, он каким-то чудом видел, что происходит за его спиной. Перстни лучились холодным светом. Трость с серебряным набалдашником тоже. Бесника ничуть не удивило бы, если бы они вдруг ожили и отправились на поиски своих бывших хозяев, чтобы украсить драгоценностями их пальцы, их руки.

«А ведь они только этого и дожидаются,— подумал он, почти физически ощущая за спиной присутствие хозяев дорогих безделушек. Он вошел в магазин, ничего не подозревая, и оказался в ловушке.— Их руки... понимающие друг друга с полужеста, выдают истинные намерения своих хозяев. Еще минута — и они начнут стрелять, выставив стволы автоматов из карманов и разрезов старомодных фраков и накидок, в беспорядке висящих на бронзовых плечиках».

Бесник отвернулся к окну: как он ни старался скрыть улыбку, она, гордая и смелая, рвалась наружу.

Дождь кончился, и Бесник, улыбаясь, вышел на улицу Дибры. Он шагал уверенно, размашисто. Никто не догадывался, что мысленно он не шел, но бежал, пригнувшись к тротуару, а вокруг трещали автоматные очереди, звенели разбитые стекла. Теперь он знал, знал наверное, что будет делать в случае контрреволюции. Вот и сейчас, когда он проходил мимо отеля, в нескольких шагах от него бежал его двойник, его собрат, его тень, под градом пуль с оружием в руках бежал на определенную ему позицию. «Да, я побегу на свою позицию: в траншею, на баррикаду,— размышлял Бесник.— А если потребуется, погибну у ворот Центрального Комитета или около какого-нибудь другого объекта,— например, возле квартального совета; погибну молча, без слов, так же естественно, как и жил».

«Я — коммунист,— с гордостью думал Бесник, беспечно шагая по плитам тротуара, по сторонам которого пенилась вода. А там, где под пулями бежал его двойник, кипела и пенилась не вода, а кровь.— Да, я коммунист, и это внутреннее состояние человека, его суть, а не видимость. В мирной повседневной жизни проявляется лишь малая ее часть, надводная так сказать, краешек айсберга. И только в момент наивысшей для революции опасности коммунистическая убежденность проявляется всесторонне». Бесник представил себе унизанную перстнями руку, стреляющую в него, трость с серебряным набалдашником, указующую своим острием на его труп, и рассмеялся.

В нем теснились мысли, впечатления и фантазии. Он был убежден, что коммунист — это не специфическая группа крови или определенный набор генов, коммунист — это сумма поступков человека в той или иной конкретной ситуации. «Дайте мне точку опоры, и я сдвину Землю»,— говорил Архимед. Дайте коммунисту опасность, и вы узнаете, чего он стоит на самом деле! Бесник понял, что ему легче в час испытаний отдать за революцию жизнь, чем говорить об этом на собрании. И это открытие он сделал в хмурый, ненастный день. Он, конечно, мог бы и раньше осознать, как следует поступить, когда нет времени для раздумий, колебаний и выводов. И все же ему было приятно, что он понял это.

«А как бы поступил в час испытаний Рати?» — молнией сверкнуло в его голове, и Бесник вдруг решил, что сегодня ему дано право судить не только себя. Це-

лый сонм «Z» хаотично закрутился перед ним в диком танце. «Нет,— одернул он себя,— я не могу и не имею права судить других». Поняв, что слегка покривил душой, Бесник еще тверже и решительнее сказал себе: «Нет!»

«Я готов! — Он взглянул на часы.— Каждый сам перед своей совестью отвечает за свои поступки». Бесник чувствовал, что ему дан в удел терновый венец. Он прикоснулся к мокрым от дождя волосам и посмотрел на часы: время идти к скульптору. Мысли мало-помалу входили в нормальное русло, как река после весеннего половодья. Утомленный мозг машинально подсказал ему, что мастерская скульптора находится далеко от центра, в западной части города, и ехать туда надо с пересадками на двух автобусах.

В огромной мастерской было холодно. За окном виднелась теннисная площадка, огороженная железным забором. Сумрачный свет от окна усиливал ощущение холода.

— Садитесь сюда, поближе к рефлектору,— пригласил скульптор Бесника, указывая на ветхий диванчик, стоявший в углу.

Бесник сел, не снимая пальто.

— Когда я работаю, то не чувствую холода,— сказал Муйо.— Хочешь кофе?

— С удовольствием.

Хозяин включил кофеварку. Без пальто он выглядел гораздо солиднее и совсем иначе, чем на улице. Черный пуловер, пропахший табаком, низкий голос и тяжелое дыхание придавали скульптору богемный вид. Пока он колдовал над кофе, Бесник рассматривал скульптурную композицию, покрытую целлофаном. В мастерской повсюду стояли незавершенные статуи, заготовки торсов с железными прутьями вместо ребер, этюды, эскизы, на полках лежали куски глины.

— Это то же самое, что создавать мир заново,— сказал скульптор, разливая кофе по чашкам.— Чувствуешь себя то богом, то ничтожеством.

Потом Муйо показал гостю свои работы.

— Трудное у нас ремесло,— нет-нет да и прорывалось у него с горечью.— У меня много друзей среди писателей. Все они жалуются, как горек их хлеб. И все-таки, мне кажется, с нашим его не сравнить.

Бесник пожал плечами, не зная, что сказать.

Скульптор взял кусок глины и повертел его перед глазами Бесника.

— Глина, как видишь, мертва,— почти кричал он.— Ее можно мять и мять часами, днями, ласкать, как женщину, но она так и останется холодным куском грязи, каким была тысячу лет назад. Труп, да и только! Но в один прекрасный момент, когда ты меньше всего этого ждешь, она подает признаки жизни: робко улыбается, издает едва приметный вздох. Мнешь бесформенный кусок глины, чтобы удержать в нем зарождающуюся жизнь. Лишь бы не умерла.

Скульптор швырнул в угол кусок глины и показал свои ладони:

— Вот этими руками я могу задушить ее. Понимаешь? Этими руками...

Он точно сумасшедший бродил среди своих работ, закуривая одну сигарету за другой и отбрасывая их после двух-трех затяжек в сторону.

— Время! — воскликнул он, остановившись перед грудой глины.— Попробуй-ка в глине передать его неумолимый бег.

Он резким движением сорвал целлофан с композиции, стоявшей у него за спиной; тот шурша упал к ногам Бесника.

— Поцелуй,— объяснил Муйо.— Я назвал эту композицию «Поцелуй».

Бесник шагнул вперед, чтобы лучше рассмотреть ее,— юноша и девушка в порыве чувств тянулись друг к другу.

— Да-а...— только и смог вымолвить он.

На губах скульптора промелькнула ироническая улыбка.

— Она еще не готова...— продолжал он.— Мне стыдно, но почти месяц я не могу приступить к работе над ней. Она вне времени.

Бесник вспомнил Зану. «Наш поцелуй прервался»,— грустно подумал он.

— Время требует другой темы,— рассуждал Муйо.

— Это так,— согласился с ним Бесник.

Он хотел еще что-то добавить, но хозяин мастерской, повернувшись, направился к двум этюдам и поманил гостя за собой. Беснику показалось, что вылепленные головы ему кого-то напоминают.

— Узнаешь? — спросил скульптор, следя за взглядом Бесника.

— Мне кажется...— нерешительно начал Бесник,— в тот день на центральном бульваре...

— Точно, он и есть, крестьянин-горец,— радостно хлопнул в ладоши скульптор.— Ты помнишь, как я шел за ним буквально по пятам?

— Очень хорошо помню,— улыбнулся Бесник.— Его голова была повязана платком.

— В обычае повязывать голову платком есть, по-моему, что-то трагическое,— заметил скульптор, кивая на этюды.— Эти горцы и в мирное время чувствуют себя как на войне. Зимой и летом у них головы словно забинтованы после тяжелых ранений. Они помнят раны своих предков и гордятся ими.

Бесник наклонился, чтобы прочитать табличку под одним из этюдов: «Ник Укцама из Бьешкэт-э-Нэмура».

— Так его зовут,— пояснил скульптор.— Он в самом деле был из Бьешкэт-э-Нэмура.

— Но как тебе удалось затащить его сюда и уговорить позировать?

— Позировать?.. Об этом не могло быть и речи,— рассмеялся скульптор.— Мне повезло, что ни в одной из гостиниц на центральном бульваре не было свободных мест, и я пригласил его переночевать в моей мастерской. Здесь-то на скорую руку я и набросал его портрет. Вот этот.— Скульптор показал на одну из голов.— Спал он на диване, не раздеваясь. Хоть бы на ночь платок с головы снял: очень мне хотелось увидеть, как они их наматывают, но — увы! А рано утром, когда я пришел в мастерскую, старика уже и след простыл.

— Поразительно! — Бесник не отрываясь смотрел на голову старого горца.

— Ночью он, наверное, замерз, потому что завернулся в кусок пленки.— В низком голосе скульптора прозвучали печальные нотки.— Никогда в жизни в этой мастерской не было такого гостя. Он говорил не больше, чем вóрон Эдгара По, но утром, после его ухода, я почувствовал, что в комнате осталось нечто тревожно-драматическое.

Бесник продолжал рассматривать скульптурный портрет старика.

— Спустя несколько недель, когда до меня дошли слухи об охлаждении отношений с Советским Союзом, мне вспомнился этот обычай горцев повязывать голову

платком,— продолжал скульптор.— С той поры я не могу работать над композицией «Поцелуй».

Оба невольно посмотрели на скульптуру, которую хозяин уже успел накрыть целлофаном. «Это памятник мне»,— подумал Бесник.

— Что ты выставишь на предстоящей выставке? — спросил он.— Портрет горца?

— Думаю, что да,— задумчиво произнес скульптор, расхаживая по мастерской.— Хочу запечатлеть тревогу, которой пропитан воздух в наши дни. Понимаешь? Дух Прометея ощущается в каждом поступке, в каждом движении людей: как они слушают радио и даже как входят в магазин или выходят из него. Наверное, я говорю слишком путано, но ты поймешь. В этих днях есть нечто особенное, нечто... как бы это получше объяснить... своеобразная манера повязывать голову платком...

— Я понимаю тебя,— сказал Бесник.

Бесник сейчас в самом деле понимал Муйо как никто другой: разве не над его головой час назад, когда он бродил по улицам, свистели воображаемые пули; разве не на его лице, залитом кровью, играла улыбка. Еще не ведая о скульптурном портрете горца, он уже повязал платок на особый манер.

— Я тебя понимаю...— еще раз повторил Бесник.

— Вот и хорошо, вот и славно,— облегченно вздохнул скульптор.— Я в глине и камне обязан передать все, чем живут сейчас люди. Только вот сказать-то намного легче, чем исполнить. В сказках колдуны превращают людей в камни. Тебе не приходило в голову, что сказочные колдуны — первые скульпторы, а их дома, из которых суеверный человек выбегает с воплем: «Там окаменевшие люди!» — и есть не что иное, как первые мастерские.

Бесник заразительно рассмеялся.

— Забавно,— сквозь смех вымолвил он.

— Мы колдуны в искусстве,— продолжал Муйо.— Но я, кажется, тебя заговорил? Ты ведь пришел за могильной плитой?

— Да, как договорились.

— Прошу прощения, но я ее еще не закончил. Сегодня вечером, даю слово, она будет готова.

— Ничего страшного,— успокоил его Бесник.— Это не к спеху.

Скульптор пошел в угол мастерской и принес плиту из белого мрамора.

— Вот,— показал он.— Нравится?

На гладкой поверхности плиты между лавровой ветвью и пулеметной лентой крупными буквами была выбита надпись: «ДЖЕМАЛЬ СТР».

— Видишь, мне осталось сделать еще три буквы,— сказал скульптор.

— Хорошо, я зайду потом,— кивнул Бесник.

Уже вечерело. Теннисная площадка за окном постепенно теряла свои очертания. Бесник взглянул на часы. Виктор Хиля сегодня пригласил его на торжественный ужин по случаю годовщины свадьбы, и впору было поторапливаться.

— Ну, мне пора,— сказал он, прощаясь.

Скульптор проводил Бесника до двери. Сумерки придавали мастерской со статуями жуткий вид.

— Я хотел спросить тебя...— Муйо замялся, подыскивая нужные слова.— Как ты думаешь, в ближайшие дни опубликуют сообщение о разрыве с советскими?

— На этой неделе, думаю, что нет.

— Значит, разрыв полный?

— Выходит, что да.

Муйо взглянул на теннисную площадку — сетки уже не было видно.

— Хоть я и жаловался тебе на свою работу, но все-таки я счастливый человек, счастливый именно потому, что скульптор.

Бесник улыбнулся. Свет фар проезжавшего мимо дома автомобиля выхватил из темноты железную ограду теннисной площадки.

— Сейчас благодатное время для нас, скульпторов,— прощаясь, сказал хозяин мастерской.

Бесник заглянул в редакцию, чтобы узнать о последних новостях, но там никого не было. Он все еще не решил,— идти к Виктору или нет? В последнее время Бесник не бывал в гостях, чтобы избежать назойливых вопросов, почему он один и где она... Зана?

Виктор, словно бы догадываясь о его нерешительности, накануне позвонил и, напомнив о времени встречи, сказал: «Приходи непременно, иначе обижусь». Он отмечал сразу два события: годовщину свадьбы и новоселье. Недавно Виктор съехался с тещей, обме-

няв свою и тещину квартирки на одну большую трехкомнатную квартиру с хорошей кухней. Бесник слушал его с удивлением: квартирный обмен, приобретение мебели — ему казалось, что эти проблемы безвозвратно ушли из его жизни. «А ведь и у меня могли быть такие же заботы»,— подумал он.

Бесник поднялся в свой отдел. Стол, заваленный не разобранными с утра письмами, ждал хозяина, но Бесник не любил работать, когда в редакции было тихо и пусто. Он засунул письма в стол и вышел. В коридоре стояла непривычная тишина, порой нарушаемая длинными телефонными звонками,— в редакции никого не было.

Бесник спустился вниз по лестнице и, пожелав вахтеру спокойного дежурства, вышел на улицу. Проходя мимо галереи искусств, он неожиданно столкнулся с Дьаной Бермема, которую давно не видел. Отяжелевшее тело молодой женщины никак не сочеталось с ее легким характером и почти всегда хорошим настроением. Дьана шла не спеша и так же не спеша и тихо говорила, будто боялась кого-то разбудить. Они направились в сторону площади Революции, и Дьана оперлась на его руку. За разговором они не заметили, как дошли до автобусной остановки. О Зане не было сказано ни слова, но Бесник догадался, что Дьана знает об их разладе. Прощаясь, она обняла Бесника и поцеловала в щеку. Он ощутил легкий, едва уловимый запах дорогих духов и вспомнил, что его первое впечатление от знакомства с Заной тоже было связано с нежным ароматом духов. Тогда, помнится, он еще подумал, что никогда не полюбит девушку, у которой другие духи.

Сострадание, выказанное Беснику Дьаниным поцелуем, острой болью отозвалось в его сердце. «Она не просто знает, но знает что-то такое, чего не знаю я,— мелькнуло у него в голове.— И это «что-то» явилось неодолимым препятствием, помешавшим нашему примирению».

Прощаясь с ним, Дьана сказала: «Заходи как-нибудь вечерком». Дьанина фраза крепко врезалась в его сознание: так приглашают в гости только одиноких людей.

«И ни слова о Зане,— отметил Бесник.— Как давно мы не виделись с ней». После смерти отца Зана однажды заходила к ним, но когда Бесника не было дома.

«Она молча, точно тень, бродила по нашей квартире,— рассказывала ему Рабо.— А в глазах у нее все время стояли слезы». Именно в тот день он звонил ей из автомата. Это был их последний разговор. Стекла кабины запотели от духоты. Рядом с телефонной будкой кто-то дожидался своей очереди. Голос Заны то и дело пропадал среди треска и шума перегруженной в вечерние часы линии. «Не могу. Не могу»,— твердила она. «Что случилось? Почему?» — допытывался Бесник, а она упорно повторяла свое: «Не могу. Не могу». Довольно долго летели в околоземном пространстве, заполненном шумами, всевозможными сигналами, трескотней, жалобным посвистыванием, похожим на плач звезд, два прерывающихся голоса. А потом человек, ожидавший своей очереди, нетерпеливо застучал монеткой по стеклу кабины...

«Всего одна монетка, чтоб говорить с тобой...» — произнес Бесник строчку из стихотворения молодой поэтессы, недавно напечатанного в литературной газете. «И всего одна монетка, чтобы расстаться навсегда»,— подумал он.

После неудавшегося телефонного разговора Бесник видел Зану еще один раз — случайно, на улице, возле универмага. Их глаза на секунду встретились, и он понял, что отношение людей друг к другу прежде всего выдают глаза. Позже, вспоминая эту мимолетную встречу, Бесник решил, что в жизни Заны и впрямь случилось нечто непоправимое, о чем он, возможно, никогда не узнает. «Все. Не думать больше о ней! — приказал он себе.— С любовью покончено навсегда!»

Поскольку на вечер никаких других планов у него не было, Бесник решил все-таки пойти в гости к Виктору. Он шел по улице Али-паши, стараясь не пропустить поворота на Экспериментальную улицу,— с нее начинался новый микрорайон, где он никогда не был. Район застраивался, обживался и был довольно грязный: тротуаров еще не было и повсюду валялись кучи строительного мусора. В ярких фонарях, светивших из черной бездны неба, в красных огнях строительных кранов, в темноте близлежащего пустыря поселились тревога и неуверенность. Бесник вспомнил одно из первых свиданий с Заной: они вдвоем... на диване в доме его друга, из незашторенного окна видны точно такие же далекие огни, и он слышит ее дрожащий от волнения голос: «Я самая счастливая девушка в Албании».

«Я не должен думать о ней».— Бесник отмахнулся от воспоминаний и ускорил шаг.

Он насилу отыскал новую квартиру Виктора. Торжество было в разгаре.

— У нас — полный кавардак. Не обращай внимания,— извинялся Виктор.— Как, впрочем, и во всех моих делах,— рассмеялся он.— Кстати, а Зана почему не пришла?

Бесник молча пожал плечами. В квартире, как в любом новом доме, пахло масляной краской и клеем. Большой стол возле буфета был заставлен бутылками с пивом и тарелками с бутербродами. Из соседней комнаты доносилась музыка.

— Ого, сколько гостей! — воскликнул, не скрывая удивления, Бесник.

— Из гостей — только товарищи с завода, остальные — родственники. Ты же знаешь, сколько у меня одних только дядьев.

Виктор любил по поводу и без повода устраивать застолья и дружеские пирушки.

— Я познакомлю тебя с очень интересными людьми,— шепнул он Беснику.

Виктор был рад приходу друга и не скрывал своей радости. Он засуетился, не зная, как выказать дорогому гостю свое особое расположение. Бесник уселся на диване рядом с сердитого вида мужчинами.

— Это мои дядюшки,— шепнул ему Виктор.— Они непрерывно спорят по любому случаю.— Еще со школьных лет он подсмеивался над своей многочисленной родней.

Виктор издали показал Беснику тещу, над которой тоже частенько подтрунивал, но чувствовалось, что отношения между ними сложились хорошие.

Большинство присутствующих Бесник видел впервые. Он бросил равнодушный взгляд на женскую ручку, кокетливо облокотившуюся на спинку кресла. Тяжелый браслет и ярко-красный маникюр придавали ей властность. «Эта ручка любит повелевать»,— отметил он. В памяти всплыла витрина антикварной лавки с тремя дорогими перстнями.

У двери в соседнюю комнату, где топталось в танце несколько пар, стояли две девушки. Лицо одной — симпатичное, обрамленное красиво уложенными и скрепленными блестящей заколкой волосами — показалось Беснику знакомым. Девушка взглянула на него, и глаза

ее сверкнули смешливым вызовом. «Где я ее видел?» — мучительно припоминал Бесник.

А между тем дядюшки Виктора затевали очередной спор. До Бесника долетали обрывки фраз: «...клуб Петефи... ренегат Каутский...» «Если наши сыновья и даже внуки прольют кровь нашего классового врага, я могу спокойно умереть,— говорил один.— Наша страна в надежных руках. А иначе...» — «Нет! — возражал другой.— По-твоему, власть рабочего класса должна держаться на кровной мести?..» — «Отдохнули бы вы, спорщики»,— пытался урезонить их третий дядюшка, отличавшийся от всех щегольским видом.

— Не скучаешь? — за спиной Бесника возник невесть откуда взявшийся Виктор.

— Ничуть! — Бесник потеснился, освобождая ему место.

— Ты давно не был на нашем заводе,— сказал Виктор.— Мы построили новый корпус и без помощи советских. Просто чудо!

— А другие иностранные специалисты остались? — спросил Бесник.

— Три немца и один венгр. Но мы не очень-то им доверяем. После прорыва плотины Забзун...

«Плотина Сапсун — так говорил Косыгин». Бесник хотел рассказать об этом Виктору, но кто-то увел того в другую комнату.

Бесник подошел к двери, за которой танцевали. Был медленный танец, и он поймал себя на том, что рассматривает женские руки; они по-разному лежали на плечах партнеров. Раньше ему это и в голову не приходило. Он увидел руку с тяжелым браслетом на запястье: ее пальцы — то ли от ярко-красного маникюра, то ли оттого, что впились в плечо партнера,— казались окровавленными.

— Эх вы, мóлодежь-мóлодежь,— послышался за его спиной чей-то голос, нó Бесник не обернулся.— В сорок пятом и я мог бы танцевать, да не до танцев тогда было. Были дела поважнее.

— Какие же? — безучастно осведомился Бесник.

— Мерзопакостные.

Поворотившись, он нос к носу столкнулся с щеголеватым дядей Виктора. Накрахмаленный воротничок его белоснежной сорочки подчеркивал смуглую кожу лица и шеи. «В недавнем прошлом он, кажется, был министром коммунального хозяйства»,— вяло подумал Бесник.

— Не верите? — спросил он.— Никто сначала не верит...

Разглядывая танцующих, Бесник поймал на себе чей-то пристальный взгляд. Обладательницей пары любопытных глаз была та девушка, лицо которой показалось ему знакомым. Заколка, поблескивая, таинственно мерцала в ее волосах.

— В сорок пятом я занимался настенными надписями, в том числе и в общественных туалетах,— продолжал бывший министр.

Бесник с улыбкой взглянул на него.

— Печать — самая важная потеря свергнутого класса. «Бывшие» лишаются возможности пропагандировать свои идеи и начинают суетиться, нервничать, злиться и, наконец, идут на отчаянный шаг — выплескивают накопившуюся злобу на стены сортиров. Взял в руку карандаш либо мелок — и малюй в свое удовольствие на стенах и дверях все, что вздумается! Ругай новую власть, издевайся над ее промахами, провозглашай эмигрантское правительство. Вот чем я занимался в сорок пятом, когда вы танцевали, празднуя победу революции. Я исходил все улицы, не пропустил ни одной развалюхи, ни одной стены. Задыхаясь от вони, смрада и ненависти, я осматривал один сортир за другим, все записывал, анализировал, делал выводы. Ни один город нельзя понять до конца без сортирных словоизлияний. Стало быть, и я кое-что сделал для своего времени.

— Думаете, опять придется этим заняться? — поинтересовался Бесник, невольно задержав взгляд на сверкающих запонках его белоснежной рубашки.

— Не исключено! — коротко бросил он.— У каждого времени — своя черная работа, и кто-то должен ее выполнять.— И, внезапно обидевшись, отошел в сторону.

«Кто-то должен делать и черную работу...» — повторил про себя Бесник. Остановившись перед книжной полкой, он вскользь прочитал названия книг и фамилии авторов. Перед глазами снова возник знакомый профиль. Насмешливая улыбка исчезла с лица девушки. «Где же я ее видел?» — силился вспомнить Бесник.

— По-моему, мы где-то встречались? — отважился он и, укорив себя за то, что выбрал самый примитивный способ знакомства, готов был стушеваться, но приметил посерьезневшее лицо девушки.

— Да, мы на самом деле знакомы,— спокойно сказала она.— Вы не помните?

— Честно говоря, не припоминаю.

— В зоне наводнения... Я тогда...

— Ах да! — радостно перебил ее Бесник.— Вы та журналистка, у которой не работал магнитофон.

— А вы тот журналист, которому отказало чувство юмора! — в тон ему с иронией откликнулась девушка.

Бесник расхохотался.

— Тогда вы меня очень обидели,— заметила журналистка.— Помните?

— Мой товарищ говорил об этом. Поверьте, я вовсе не хотел вас обидеть. Хоть и с запозданием, но прошу у вас прощения.

— Я вас прощаю,— театрально кивнула она.

— Потанцуем? — предложил Бесник.

Она молча положила руку на его плечо. Их глаза встретились.

— О вас тут много говорят.— И она повела головой в сторону гостей, толпившихся в дальнем углу комнаты.— Вы и тот высокий блондин, с руками в карманах,— звезды сегодняшнего вечера.

— Вот как?! — поразился Бесник.— Что касается меня,— он задорно взглянул на нее,— это понятно. А кто тот, другой?

— Как?! Вы не знаете? — Теперь была ее очередь удивляться.— Это же специалист по трупам.

— Что вы сказали?!

Девушка рассмеялась, довольная, что ей удалось заинтриговать Бесника.

— Я сказала, что он специалист по трупам. У него весьма странная миссия. Он сопровождает какого-то иностранного генерала и священника, которые разыскивают останки...

— Да-да, я слышал...— пробормотал Бесник, пытаясь рассмотреть странного гостя.

Специалист по трупам выглядел моложаво; мягкие светлые волосы и бледное лицо молодили его.

— Говорят, с помощью линеек и прочих инструментов он определяет, кому принадлежат те или иные останки... Бр-р-р, какой ужас!— поморщилась журналистка.— Хотя это весьма любопытно.

— Да, профессия, прямо скажем, редкая,— отметил Бесник.

— А о вас говорили...

— Да? Чем же я заслужил такое внимание? — живо перебил ее Бесник.

— Вы...— Наклонив голову набок, она подыскивала нужные слова.— Вы ведь были... в Москве... во время того... совещания?

«Почему все в моей жизни связывается теперь с Москвой?» — Бесник почти физически ощутил, как улыбка сходит с его лица.

— Вы опасаетесь, что я спрошу вас о каких-то секретах? — сразу посерьезнев, спросила она.

— Нет-нет, я об этом вовсе не думал...

Ее взгляд, однако, словно бы настаивал: «Держите ваши секреты при себе».

Беснику показалось, что музыка закончилась, а вместе с нею и танец, но ошибся.

— Могу я задать вам деликатный вопрос? — проговорила журналистка.

Бесник кивнул.

— Из партии вас хотели исключить из-за какой-то ошибки там, в Москве?

— Нет,— возразил Бесник, помрачнев.— Это был сугубо личный вопрос.

— Надеюсь, вы остались в партии?

— Да.

Уперев взгляд в лацкан его пиджака, девушка задумалась. Ее глаза, полные губы были совсем рядом с его губами.

— Говорят, в самый ответственный момент переговоров,— она упорно смотрела на лацкан,— вы допустили ошибку в переводе, и после нее все пошло насмарку. Это сплетня? Да?

— Конечно,— холодно сказал он.

— А мне показалось... как бы лучше сказать... это любопытный факт.

Бесник не ответил. С минуту они танцевали молча.

— У вас есть телефон? — внезапно спросил он.

— Нет... но у моих соседей... А зачем вам?

Бесник пожал плечами.

— Хочу позвонить вам как-нибудь. Мы могли бы встретиться.

— Если позволите, я сама позвоню вам,— предложила девушка.

— Буду рад. Номер запомните?

— Да.

— Извините, но я забыл ваше имя.

— Пранвера.

— Очень приятно.

— А вас зовут Бесник. Не так ли?

Он кивнул. Музыка играла, не умолкая, но они в своем танце не продвинулись ни на метр, продолжая топтаться на одном месте.

— А кем вам приходится Виктор? — поинтересовался Бесник.— Родственником?

— Нет,— улыбнулась девушка.— Я познакомилась с ним на заводе, где часто бываю по заданию редакции. У меня там много друзей. На улице опять дождь,— добавила она, кивнув на мокрый плащ припозднившегося гостя.

Минутами взгляд Бесника невольно задерживался на пристроившихся в углу дядюшках Виктора. К ним подошли еще двое мужчин; один из них был в габардиновом плаще, какие обычно носят инструкторы парткомов, и в кепке. По их хмурым, сосредоточенным лицам было видно, что спор у них — в самом разгаре.

«Теперь они повылезают из своих нор, как грибы после дождя,— подумал Бесник.— Либералы и консерваторы, довольные ошибками друг друга, начнут подбрасывать хворост в разгорающийся костер вражды. Кое-кто использует создавшуюся ситуацию и придаст весомости своему злобному и агрессивному «мы», на несчастье людей сделает свою карьеру. Они начнут запугивать людей ревизионизмом точно так же, как когда-то пугали привидениями или ведьмами. Либералы же затянут другую песню. Они тоже считают, что время работает на них, и раздражение, накопившееся в обществе против советских и социалистического лагеря, они попытаются направить против революции».

— Недавно я слышала, что скоро печать решительно обрушится на советских,— нарушила молчание журналистка.— Это правда?

— Не знаю.

Девушка грустно смотрела мимо него, на специалиста по трупам. В комнате играла музыка. Из прихожей донеслись оживленные голоса, по-видимому, прибыли новые гости. Бесник отметил, что головы присутствующих дружно повернулись в одну сторону, и подумал: «Пришли те, кого ждали и кого знают». Глаза девушки мгновенно посерьезнели.

— Сестры Краснити,— сказала она вполголоса, и Бесник почувствовал, как острые ногти словно бы впились ему в шею, не давая голове повернуться, чтобы увидеть либо ужас, либо чудо.

Марк возвращался домой с репетиции около полуночи. Войдя в темный двор, он сразу отметил, что в комнате Заны горит свет.

На электроплитке его дожидался ужин. Он съел его не подогревая и, прежде чем лечь спать, заглянул в комнату матери. Нурихан редко ложилась раньше полуночи. На этот раз она сидела в темноте, прислонив ухо к радиоприемнику, и как бы слилась с ним в одно целое — «Нурихан-Филлипс». Зеленовато-синие отблески освещенной панели приемника удлиняли ее лицо, придавали подбородку крючковатую форму.

— Добрый вечер,— сказал Марк, но Нурихан не слышала его.

Он опустился в старое кресло и устало прикрыл веки. Марк на память знал расположение названий столиц на освещенном квадрате шкалы приемника. Столь мирное соседство столиц мира вызывало у него радостное изумление.

Нурихан наконец заметила сына, шевельнула губами в знак приветствия, но от приемника не оторвалась. Дикторы один за другим повторяли:

— Мы передавали последние известия... Сообщаем прогноз погоды на завтра... Мы передавали...

— Мне что-то нездоровится,— прошептала Нурихан.

Марк спросил, что ее беспокоит, но она не ответила. Дикторы читали очередную метеосводку. Зима лишь приблизилась к старым границам ледников и, не достигнув их, начала медленно отступать к югу. Караваны облаков, груженные снегом и градом, короба с громом потянулись к северу.

Люксембург, Париж, Братислава, Москва, Монте-Карло — дикторы один за другим прощались с радиослушателями и умолкали.

Спустя некоторое время она выключит приемник — огоньки погаснут, голоса и шумы смолкнут. Брюссель, Страсбург, Токио — весь мир замрет.

— Нездоровится мне,— повторила Нурихан.

Марк тяжело вздохнул. Иногда ему казалось, что страна находится на грани развала. Но надежда его угасала так же быстро, как и возникала. В последние дни она вновь окрепла. Ожидалось что-то из ряда вон выходящее.

— Рихард Вагнер,— объявил диктор,— «Сумерки богов».

Бесник вернулся домой за полночь. После смерти отца и ухода Бэна в армию квартира осиротела и как бы увеличилась в размерах. Вечерами в ней становилось невыносимо пусто. На электроплите стоял ужин, но Бесник к нему не притронулся. Он прошел в комнату, разделся и лег в постель. Покрутив ручку приемника, стоявшего у изголовья, Бесник убедился, что сводка новостей дня уже закончилась. Одна из станций передавала симфоническую музыку, кажется, Вагнера.

Бесник подложил руку под голову и стал слушать. Прошло достаточно много времени. Незаметно он оказался на огромном поле, где-то вдали скакал и ржал уставший конь. Пена срывалась с его губ и падала на землю. Постепенно все поле покрылось белым покрывалом. Бесник шел по снежной целине, едва передвигая ноги.

Глава XXV

Во вторник вечером по городу пронесся слух, что сегодня печать и радио открыто выступят против советских. До поздней ночи люди с нетерпением ждали очередных выпусков последних известий, и только когда диктор пожелал всем спокойной ночи, отправились спать, уверенные, что не все слухи подтверждаются. Однако уже на следующее утро первые полосы всех газет пестрели крупно набранными заголовками официальных сообщений о разрыве албано-советских отношений. Улицы, окутанные утренним туманом, оживленно гудели. Яркие окна баров и кофеен высвечивали силуэты пешеходов и городских автобусов. Раскрытые, полураскрытые, сложенные пополам и гармошкой, порванные и помятые, газеты походили на паруса мечущейся среди разбушевавшейся стихии шхуны. В речи, произнесенной на ответственном совещании в Кремле, Никита Хрущев обнародовал решение о разрыве советско-албанских отношений. Газеты жирным шрифтом выделили ту часть его выступления, где он резко критиковал ЦК Албанской партии труда и его руководителей, «продавшихся за тридцать сребреников империализму», а также раздел его речи с призывом к албанскому народу свергнуть руководство АПТ. На первой полосе газет было опубликовано Обращение ЦК АПТ к коммунистам и всему албанскому народу.

В нем давался отпор нападкам Хрущева на АПТ и содержался призыв к албанскому народу в этот трудный для страны час еще теснее сплотиться вокруг партии и ее Центрального Комитета.

В 10.30 на всех заводах, предприятиях, фермах, в министерствах, в университете, в средних школах Тираны состоялись короткие митинги, на которых зачитывали Обращение ЦК АПТ. В течение дня оно передавалось по всем радиопрограммам. В 15.30 впервые за пятьдесят лет радиовещание Тираны не транслировало программу Московского радио для албанских радиослушателей — ее заменили спортивными репортажами.

Назавтра большинство столичных газет в передовицах резко осудили позицию советского руководства и напечатали подборки писем трудящихся, которые приходили в редакции со всех крахин республики. В них трудовые коллективы, бригады кооператоров, матери героев, павших за свободу родины, известные писатели выражали поддержку генеральной линии партии и возмущение заявлением Хрущева. В тот же день на площади Скандербега был установлен первый гигантский плакат, призывавший албанский народ выстоять в суровой экономической блокаде, навязанной Албании странами социалистического лагеря. Вечером огромная толпа студентов и гимназистов Тираны стихийно собралась на демонстрацию протеста у желтой ограды советского посольства, охраняемого десятками полицейских. Через час длинная колонна рабочих столичных заводов под звуки революционных маршей медленно прошла мимо Центрального Комитета в сторону стадиона «Динамо».

На третий день, в пятницу, пропагандистская кампания, развернутая в печати, по радио и в других средствах массовой информации, достигла апогея. На всех площадях и перекрестках Тираны появились щиты с призывным вопросом: «Что ты сделал для борьбы с блокадой?» В течение трех дней, со среды до пятницы, пресса изощрялась всякими словами выразить отношение к советскому лидеру. Если в среду он официально именовался «товарищ Хрущев» (впрочем, несколько газет допустили фамильярное «Хрущев» или «Никита Хрущев», в том числе «Спорт», назвавший его просто «Никитой»), то уже в четверг почти вся пресса опустила официальное «товарищ», а некоторые журналисты напрочь «забыли» его имя и фамилию. Большинство же

величало его «господином Хрущевым», кое-кто «ревизионистом Хрущевым», а орган ЦК АПТ, газета «Зэри и популыт», первой назвала его «предателем» и «ренегатом». В пятницу уже половина газет называла Первого секретаря ЦК КПСС «иудой Хрущевым». Сатирический воскресный еженедельник поместил в специальном выпуске восемьдесят две карикатуры на советского лидера. В подписях к ним мелькали слова: «пьяница», «коротышка», «плешивый». В полдень того же дня остаток спецвыпуска был изъят из продажи, а главного редактора вызвали в Отдел печати ЦК АПТ для объяснений. Он вышел оттуда освобожденным от занимаемой должности, ибо «допустил публикацию эпитетов, указывающих на физические недостатки человека, что присуще буржуазной прессе, склонной к сенсациям».

В половине второго в редакции газеты, где работал Бесник, все бурно обсуждали происходящее. Отдел писем был завален почтой. Молодые журналисты — Бесник, Илир и другие — вызвались помочь коллегам разобрать обрушившуюся на них лавину писем. Многие письма поражали наивностью. Люди, испытывая обиду и гнев, возмущались предательством друзей («Нет страшнее предательства для албанцев!» — заметил, разбирая почту, Илир), но они не соотносили своих требований с реальной ситуацией. Они предлагали, например, наказать тех, кто обрекает страну на голод, а Хрущева отдать под суд и заканчивали письма словами: «Или мы — или Хрущев!»

Журналисты еще посмеивались над последней фразой последнего письма, когда дверь открылась и рыжеволосый администратор принес им новую кипу писем. Он высыпал их на длинный стол и молча ушел. Они разделили письма между собой и продолжали работу. Иногда кто-нибудь нарушал тишину, зачитывая интересную фразу, а то и все письмо.

Разбирая почту, Бесник думал, что через несколько дней обстановка изменится и они вернутся к своим привычным делам и темам. Он сядет за свой стол в экономическом отделе и погрузится в мир бесстрастных цифр. Они повернут к нему кругленькие головки и промолвят: «Наконец-то вернулся, голубчик! Принимайся за дело, и хватит болтать...» Вот уже много недель во всех отраслях экономики идет борьба с блокадой. Строители стали инициаторами почина. Их поддержали рабочие всех крупных заводов, потом почин подхватили

работники внешней торговли, строительных площадок гидроцентралей Севера, нефтепромыслов.

Сотни башенных кранов вытянули свои длинные шеи, словно что-то высматривали на горизонте. Беснику почудилось, что это стадо динозавров, застрявших в бескрайних болотах Австралии. «Независимость дорогого стоит!» Эта фраза нещадно использовалась всеми средствами массовой информации и стала своего рода Минотавром, внезапно появившимся у входа в Лабиринт. Наконец прояснился истинный смысл этого мифического образа.

— Вы собираетесь завтра на вернисаж? — спросил кто-то.

— Какие могут быть вернисажи в такое время? — послышался ответ.

Бесник пришел домой на обед позже обычного. Стол был уже накрыт, Рабо ждала его. Она никогда не садилась обедать без старшего племянника.

— Где Мира? — поинтересовался Бесник.

После смерти отца и ухода Бэна в армию он особенно болезненно относился к частым уходам Миры из дому.

— Пообедала и пошла гулять с подругой,— сказала Рабо.— Как же ее зовут? Никак не вспомню... какое-то очень трудное имя...

«Значит, с Ирисией,— подумал Бесник.— Целыми днями звонят друг дружке и пишут открытки Бэну».

— Подлить супу? — спросила Рабо.

— Спасибо, не надо.

Рабо поставила на стол сковородку с жареной рыбой и два куска положила на тарелку Бесника. Хотя рыбу он очень любил, есть не хотелось, может, потому, что утром выпил слишком много крепкого кофе. В конце обеда Рабо достала из буфетного ящика счета за квартиру и электричество.

— Надо бы заплатить сегодня, а то мы уже задолжали,— сказала она.

Бесник закурил и предложил сигарету Рабо. «Пожалуй, стоит предупредить Миру, чтобы впредь к обеду и ужину была дома»,— подумал Бесник.

Рабо поставила джезве с кофе на плиту. Когда она разливала кофе в чашки, Беснику показалось, что она хочет о чем-то спросить его, но не решается.

Из кухонного окна была хорошо видна красная черепица крыши соседнего дома. Над трубами кружились вороны. «Как я раньше не замечал, что на соседней крыше так много труб?» — поразился Бесник.

Рабо отпила несколько глотков. Откуда-то издалека послышался вой сирены «скорой помощи».

— Я хотела спросить,— начала она,— почему в последнее время не приходит твоя невеста?

Рабо никогда не называла Зану по имени — невеста да невеста.

Бесник стиснул до боли зубы, поставил недопитую чашку на стол и молча сидел, глядя мимо Рабо. Она тяжело вздохнула и немного погодя проговорила:

— Почему ты не скажешь, что произошло между вами? Или думаешь, что мне все равно? — В ее голосе прозвучала обида.

— Ну что ты говоришь?! — воскликнул Бесник и, не зная, что сказать, встал и отошел к окну. «Сколько же там этих труб? Четыре, пять... семь?» — считал он.

Рабо молча убирала со стола. Сперва тарелки, потом ложки, затем вилки и наконец кофейные чашки. «Сейчас она вымоет посуду и, устроившись со спицами на миндере, будет вязать чорапы[1] для Бэна». Бесник не раз говорил ей, что в армии не разрешают носить чорапы, но разве ее убедишь? Он украдкой взглянул на Рабо: лицо ее словно окаменело от огорчения и обиды. «Придет время, и я расскажу ей все»,— решил Бесник и, тихо ступая, вышел из кухни.

У себя в комнате он долго искал томик народного эпоса, изданный Институтом фольклористики, и, не найдя его, пошел в комнату Бэна, которую, после его ухода в армию, занимала Мира, но и здесь этой книжки не было. Бесник давно не заходил сюда, и многое здесь изменили руки Миры: кровать аккуратно заправлена, на полке ровными рядами выстроились книги.

Бесник пошел к себе и стал искать книгу в нижнем отделении шкафа, куда в беспорядке сваливались разные ненужные вещи. Перебирая их, Бесник находил то, о чем давно забыл или что считал потерянным,— например, переплетенную дипломную работу, трансформатор, неизвестно зачем купленный, старые книги, альбомы. Лежал там и «ФЭД-2». Осторожно, словно

[1] Носки домашней вязки из грубых шерстяных ниток; как правило, украшены национальным орнаментом.

реликвию, он взял его в руки. Он давно им не пользовался — с прошлого лета, когда с Заной отдыхал на море. Бесник в задумчивости разглядывал покрытый толстым слоем пыли кожаный футляр: «Неужели и вправду когда-то было лето?» Он хотел уже положить аппарат на место, но пальцы сами привычно расстегнули футляр — без него он выглядел еще массивнее. Бесник осмотрел неровную металлическую поверхность корпуса и объектив, похожий на чей-то недобрый глаз с таинственным прищуром, отсвечивающий холодной голубизной. На мгновение фотоаппарат показался ему сильно постаревшим, как механизмы прошлых лет — какие-нибудь допотопные автомобили или швейные машинки довоенной поры, отслужившие свой срок. О «ФЭДе» этого не скажешь — он сделан совсем недавно. Бесник повертел аппарат в руках, силясь понять причину его преждевременной старости, словно через косые линзы объектива проходила граница эпохи. Наконец он защелкнул футляр и положил аппарат в шкаф. Потом, перебирая книги и всякие вещи, засунул его подальше, чтобы он никогда больше не попадался ему на глаза.

В тот же день советский посол в Тиране обратился в МИД Народной Республики Албании с просьбой о немедленной встрече с министром иностранных дел для вручения ноты Советского правительства, в которой выражалось требование о немедленном прекращении албанскими средствами массовой информации пропагандистской кампании против советского руководства. В противном случае, говорилось в ноте, правительство СССР предпримет энергичные ответные меры. В ноте содержалась открытая угроза разрыва дипломатических отношений между двумя странами.

Через два часа Радио Тираны в своих дневных передачах гневно обрушилось на советских руководителей, назвав их «шантажистами», «авантюристами» и «цирковыми клоунами». Стало ясно, что пропагандистская машина набирает обороты.

В 17.30 того же дня состоялось открытие художественной выставки. На нем присутствовали член Политбюро, Первый секретарь столичного горкома партии,

министр образования и культуры, несколько членов ЦК, государственные и общественные деятели различных уровней, деятели литературы и искусства. Атташе по культуре социалистических стран с непроницаемыми лицами поглядывали по сторонам. Советский атташе блистательно отсутствовал.

Выставка занимала три зала. Фотокорреспонденты спешили сделать как можно больше снимков, и каждый старался по-своему — одни фотографировали экспонаты на фоне посетителей, другие — посетителей на фоне экспонатов. Группу государственных деятелей, которая медленно продвигалась от одной картины к другой, замыкали артисты, художники, музыканты, кинематографисты, работники министерства и правления Союза деятелей литературы и искусства. Они пожирали глазами члена Политбюро, который деловито осматривал картины и так же деловито что-то говорил министру. Последний согласно кивал головой, после чего толпа, сопровождавшая высокопоставленного гостя, шелестела вопросами: «Что он сказал? Что сказал?»

Постепенно прохлада залов наполнялась горячим дыханием толпы и шумом голосов. Авторы выставленных работ с пылающими от волнения лицами ревниво прислушивались к каждому слову высоких гостей, по-своему истолковывая их. Среди сотен устремленных на картины и скульптуры взглядов были равнодушные, презрительные, холодно-настороженные. То тут, то там слышалось: «Что за цвет?! Что за форма?!. Нет никакой композиции... Нашли время портреты девиц выставлять!.. Послать бы все эти картины...»

В толпе мелькнуло лицо Скендера Бермемы. Рядом с Бесником дружно рассмеялись актеры. Среди них Бесник узнал известную балерину В. В., которая год назад, после скандальной истории, развелась с мужем. Критик Ц. В., протиснувшись сквозь веселую компанию актеров, подошел к картине, выполненной в синих тонах. В его глазах читалось недоумение: «Зачем столько синевы?»

Скендер Бермема, заметив члена Политбюро, который остановился перед деревянной скульптурой, слегка отодвинулся в сторону, чтобы не мешать высокому гостю осматривать привлекшую его внимание скульптуру. Увидев Бесника Стругу, он вспомнил о своих эпических песнях. Все эти дни они не выходили у него из головы. Правда, пока это были только заготовки: газетные вы-

резки, афиши, пленки с записью последних известий, передаваемых по радио. Спустя время они сольются в одно целое и родится совершенно новое произведение — песенный дивертисмент. Бесник и Скендер стояли рядом, и оба слышали обрывки разговоров, которые велись вокруг.

«Вы полагаете, что весь репертуар следует пересмотреть?» — вопросительно прозвучал один голос. «Несомненно! И чем быстрее, тем лучше»,— подтвердил второй. «В создавшейся ситуации требуют обновления опера, драматический театр, кинематограф,— рассуждал первый.— Я считаю, что и многое другое тоже надо пересмотреть».— «Ты абсолютно прав. Советский образ жизни весьма обеднил нашу культуру».— «Думаю, стоит обратить внимание на опыт китайских товарищей»,— добавил первый. «Полностью с тобой согласен. Необходимо использовать опыт китайцев, французов, наконец, мировой опыт. Я против изоляции,— заявил второй.— Взять хотя бы синие тона на этой картине. Не кажутся ли они... анахронизмом?» — «Напротив! — возразил первый.— Теперь, когда мы избавились от советского диктата, надо покончить и с их жесткими порядками».— «Как покончить?! — изумился второй.— Я думаю, что при них как раз и не было должного порядка. Нам следует ужесточить правила и порядок».— «В таком случае мы никогда не поймем друг друга!» — с раздражением заключил первый.

Бесник едва удержался, чтобы не расхохотаться. «Наконец-то сообразили, что один бьет по гвоздю, а другой — по подкове,— вспомнил он народную пословицу.— Хотя некоторые идеологические установки какое-то время будут шорами на глазах литературно-артистической интеллигенции».

Продвигаясь по залу, Бесник заметил несколько радиожурналистов, которые брали интервью у художников, но Пранверы среди них не было.

Несколько минут спустя он с удивлением увидел двух заядлых спорщиков, которые, забыв о недавней ссоре, шли чуть ли не обнявшись и о чем-то мирно беседовали. Бесник прислушался. «Я бы пересмотрел не только современное искусство,— послышался знакомый голос,— но и все классическое наследие. Шекспир, Бетховен...» — «И Горький!» — перебил его второй. На секунду говоривший приостановился, но тут же, словно не заметив, что его прервали, стал развивать идею даль-

ше. «Не удивляйтесь,— продолжал он с апломбом.— Это веление времени. Я по этому вопросу собираюсь написать записку министру».

«Веление времени,— повторил про себя Бесник.— Время... В этом коротком слове заключены и необозримый простор, и порыв ветра, передаваемые гласными и согласными звуками. Время всегда чего-то требует. Но чего? — В ушах Бесника все еще звучали знакомые с детства имена: Шекспир, Бетховен...— Неужели и в самом деле они лишние в наше время?» Бесник придерживался другой точки зрения. «Именно сегодня они нужны больше, чем вчера,— размышлял он.— «Это должно прозвучать бетховенской симфонией»,— сказал Энвер Ходжа там, в Москве, в ночь перед выступлением на совещании, ставшим драматическим для социалистического лагеря. А позже в обледенелом вагоне поезда Ходжа заметил: «Мы были в гостях у Макбета...» Зато высокопоставленные функционеры думают иначе. Он, видите ли, собирается написать записку министру или заместителю премьера страны, а то и самому премьеру, предлагая все пересмотреть и перечеркнуть».

Совсем рядом Бесник услышал славянскую речь — чешскую или польскую. Беседовали атташе по культуре социалистических стран. Он внимательно посмотрел на них. «Неужели знамя культуры, гуманизма, благополучия, демократии, поклонения Шекспиру, Бетховену окажется в их руках,— с горечью подумал он.— Нас они будут называть ограниченными догматиками, а мы, как всегда, сначала растеряемся от этой шумихи. Они назовут нас догматиками, а мы действительно в некоторых вопросах останемся догматиками. Назло им! Лучше быть ограниченным, чем похожим на них. Надо буквально во всем стать их противоположностью. Вы поклоняетесь миру, благосостоянию, Шекспиру? Очень хорошо. А для нас это пустяки, и ничего более. Нас это не касается. Пока не касается! Пройдет время, и все поймут, сколь лживы те, кто размахивает сегодня знаменем демократии и культуры. Поклонники Шекспира засадят в тюрьму своих писателей; поборники мира (нас они будут пренебрежительно называть «поджигателями войны», какой абсурд!), эти так называемые миротворцы, наверняка нападут на какую-нибудь страну и захватят ее. Но пройдет время, и мы, избавившись от словесных иллюзий, излишней нервозности в атмосфере искусственно раздуваемых толков, поймем нако-

нец, что истинными догматиками являются они, что к Шекспиру и Бетховену они относятся не лучше, чем к нам, что милитаристская супердержава и есть самый ярый противник искусства, что...»

В этот момент установившаяся на миг тишина выставочного зала внезапно сменилась монотонным гулом. Бесник огляделся. В группе людей, переходивших от картины к картине, он увидел президента. Атташе по культуре социалистических стран впились в него глазами, пытаясь понять, является ли спокойное выражение его лица естественным, или это лишь маска искусного политика. Беснику показалось, что они пришли на выставку с единственной целью — убедить себя в том, что выставка задумана как демонстрация полного спокойствия и пренебрежения к происходящему. Вечером они сочинят радиограммы, зашифрованные тексты которых полетят над просторами византийско-татарской империи.

«Не могу больше работать в аэропорту,— жаловалась Скендеру Бермеме какая-то полная женщина.— Нет сил. Не могу,— твердила она.— Господи, что там делается! Вы слышали? Уезжают русские женщины, у которых мужья албанцы. Увозят детей. Расставания, слезы, проклятия... Что вы на меня так смотрите? Думаете, те глупости, что сочиняют писатели, и есть настоящая драма жизни? Простите, вас лично я не имела в виду».— «Ничего-ничего»,— успокоил ее Скендер Бермема.

Особенно много людей собралось у картины «Старухи Кэльцюры обмениваются итальянскими военнопленными». Одни говорили, что столь незначительный и в общем нетипичный для послевоенного времени факт не может служить темой для картины. Другие возражали. Бесник доподлинно знал эту историю. Все происходило в южных районах Албании сразу после их освобождения, где новую власть еще не успели провозгласить. По воскресеньям старухи Кэльцюры продавали на базаре яйца, кур, мелкий скот, а случалось, обменивались итальянскими пленными, которые, спасаясь, после капитуляции Италии, от преследования немцев, находили пристанище в домах крестьян окрестных сел и работали подсобными рабочими. На базарах же происходил обмен плотников на механиков, каменщиков на других специалистов, которых не хватало в разоренных войной селах. На переднем плане картины были изображены

сидящие в ряд старухи — сгорбленные, с натруженными руками и равнодушно-отрешенными лицами. Перед ними в самых разнообразных позах сидели пленные итальянцы в вылинявших гимнастерках. Подперев голову, они терпеливо ждали решения своей судьбы. Рассказывали, что пленные не знали горных троп и поэтому даже не пытались бежать, а за хлеб и кров готовы были признать любого хозяина. Внимание Бесника привлекли лица старух, походившие на древние скалы, изборожденные расщелинами. На облике старых женщин лежала печать веков и отрешенность от суетного мира.

Бесник продолжил осмотр выставки. И тут и там, но все реже и реже, сверкали фотовспышки, напоминая отблески молний идущей на спад грозы. Теперь шум стоял во всех трех залах.

«Скажите на милость, кто так повязывает платок?! Это же нарушение традиции!» — послышался недовольный голос из толпы, стоявшей кольцом около какой-то скульптуры.

«Да это же он!» — мысленно обрадовался Бесник, словно встретил старого знакомого. Среди любопытных глаз, энергично жестикулирующих рук, разноцветных галстуков спорщиков скалой возвышался бронзовый бюст горца Ника Укцамы.

«В традиции, не в традиции,— недовольно пробурчал Бесник.— Неужели не понимают, что пришло время всем нам повязать платки, как это делают горцы». Он долго смотрел на скульптуру, пытаясь преодолеть ощущение некоей ее театральности. Казалось, что ткань платка, которым обмотана голова горца, отрезана от театрального занавеса. «Может, он вовсе и не приходил в мастерскую к Муйо,— мелькнуло в голове Бесника,— а бронзовый бюст лишь плод творческой фантазии скульптора?»

Бесник пошел дальше. Литературно-артистический мир — особый мир, он подобен пенящемуся морю: отлив, прилив, шум прибоя, вода, соль. «В этой среде тоже предстоит борьба»,— рассуждал он. В толпе заметно выделялась голова, опушенная редкими белыми волосиками, в которых блестели капельки пота. Издали она походила на колыхающуюся на волнах медузу. «Эта синева мне явно не по душе»,— важно изрекла голова и исчезла в толпе. Бесник продолжал медленно, вместе с толпой, продвигаться к выходу, невольно слушая звучащие со всех сторон голоса. «Правда, что Т. Д. снова

едет за границу?.. Не думаю... Генеральная линия партии остается неизменной... Я попросил у него взаймы пятнадцать тысяч лек... Огромные гонорары... В настоящее время труднее всего в строительстве. Блокада ударила... Беременна?.. Прошу тебя, очень прошу... Бах... Кроме того...»

Бесник ушел с выставки около восьми часов. На улице заметно похолодало. На площади Союза только что установили огромный светящийся транспарант «НЕТ ШАНТАЖУ СО СТОРОНЫ СССР!». Бесник ускорил шаги, чтобы попасть в редакцию до начала первого радиовыпуска вечерних новостей, но перед окнами студенческого кафе ноги сами замедлили шаг, и он увидел за одним из столиков Миру, а рядом с ней долговязого подростка. От неожиданности Бесник остановился как вкопанный, но тут же быстро зашагал прочь. «Конечно, когда нет отца и Бэн служит во Влёре, у девочки появилось слишком много свободного времени,— подумал он.— А что, если звонила Пранвера,— пронеслось вдруг в голове,— и Рабо, которая сильно сдала в последние месяцы, приняла ее за Зану?»

Все материалы первого вечернего выпуска радионовостей были выдержаны в подчеркнуто резких тонах. Выпуск состоял из информации о проходивших по всей стране митингах и обзора писем трудящихся; явно чувствовался подтекст: таким образом давался ответ на шантаж со стороны Советского Союза. Через два часа было передано заявление Албанского телеграфного агентства, в котором уже открыто говорилось о шантаже. В письмах рабочих плавильного цеха завода № 3 Хрущев был назван «пугалом огородным». О базе во Влёре и выводе части подводных лодок из залива пока нигде не упоминалось. До поздней ночи Радио Тираны передавало старые революционные песни и марши. Сразу после них, в ночной сводке новостей, диктор взволнованным голосом возвестил: «Передаем «Открытое письмо ЦК АПТ советским коммунистам». В нем содержался призыв к трудящимся СССР свергнуть режим Хрущева.

Бесник проснулся от внезапно нахлынувшего щемящего чувства невосполнимой утраты. За окном не переставая шел дождь. «Зана,— мысленно произнес он.—

Почему все так получилось? — Еще не до конца проснувшись, он привычно встал с постели и, подойдя к окну, раздвинул шторы. Дождь лил как из ведра.— Почему мы разошлись? Почему?..» Боль утраты, рассеянная по необъятным просторам вселенской тоски, как чахлая растительность по унылой тундре, собралась в один жгучий комок, подступивший к горлу.

Бесник не знал, сколько времени простоял, чувствуя себя опустошенным, одиноким, осознав невосполнимую утрату. Порой ему казалось, что он почти забыл о Зане. И в самом деле, за делами он все реже и реже вспоминал о ней. Но вот одна такая ночь... с дождем... и...

Бесник слышал, как на помощь его разрывающемуся от тоски сердцу спешат слова утешения, всякого рода доводы, сомнения. Постепенно ощущение утраты, словно огромное всепожирающее чудовище, внезапно вырвавшееся наружу, стало утихать, пока не угомонилось вовсе, оставив в душе горький осадок.

Оцепенелый, он подошел к постели, лег и сразу же уснул.

— Что за мерзкий дождь! — громко проговорил дворник Рэм и отступил еще на шаг под козырек аптеки, но тотчас отодвинулся в сторону, вспомнив, что нарисованная на стекле змея находится как раз около его плеча. Он еще долго ворчал на дождь, но потом забыл о нем и принялся нехорошими словами честить Хрущева.

Рэм Хута, наверное, последним в Тиране узнал о разрыве с советскими. До официального сообщения в печати Рэм ни о чем не догадывался, а в среду и четверг, когда вся республика бурлила от возмущения, он весь день был дома. Накануне Рэм взял отгулы за работу в праздник, 11 января, и занимался хозяйством, благо жена и дочь уехали в Кавайю[1] на свадьбу. О случившемся он узнал только в пятницу за час до полуночи, когда вышел на работу. «Рэм, ты слышал? — подошел к нему Дул Тюкси.— Хрущеву-то конец».— «Помер?!» — испугался Рэм. «Хуже,— сообщил Дул Тюкси.— Предателем оказался».— «Да будет тебе!» — не поверил Рэм.

---

[1] Ныне небольшой город в центре западной части Албании. В XVII — XVIII вв.— один из административных центров страны.

Из всех иностранных руководителей, приезжавших в Албанию, Рэму больше всех нравился Хрущев. Нравились его простоватая внешность, солидная походка и особенно шутки, которыми он пересыпал свои выступления. «Душа человек!— говорил Дул Тюкси.— Отца напоминает, да будет ему земля пухом».

Рэм плотнее прижался к стене аптеки.

— Ну что, сукин сын,— громко выругался он, обращаясь то ли к дождю, то ли к Хрущеву,— целую неделю я гнул спину, сметая цветы, которые бросали тебе под ноги. Столько цветов для такого подлеца...

Рэм еще долго стоял в своем укрытии, пережидая ливень, и ворчал под нос. Дождь кончился так же внезапно, как и начался. Рэм подождал немного, пока с тротуара схлынет вода, и яростно замахал метлой. Он был явно не в духе. Клочья оберточной бумаги, использованные концертные билеты и приглашения на выставку, обрывки газет с названиями государств и их столиц, точно безумные, плясали под его метлой, напоминавшей космический вихрь, перед которым все теряет смысл и значение.

Рэм не испытывал уважения к газетам,— может, потому, что всегда видел их скомканными, разорванными, видел, как люди их пинают и швыряют на землю. Может быть, днем они и представляли для них какую-то ценность, но не ночью. С наступлением ночи, которую Рэм ставил намного выше дня, газеты теряли былую респектабельность и превращались в кучу подзаборной рвани. За всю жизнь дворник не прочитал ни одной газеты. Однако в ту памятную ночь Рэм изменил своему правилу и сделал то, чего раньше никогда не делал: он поднял с асфальта обрывок газеты. Вороватo оглянувшись, словно боялся, что кто-нибудь застанет его за этим постыдным занятием, Рэм попытался прочитать остаток заголовка. Там было именно то, что он искал,— имя Хрущева. Рэм читал медленно, по складам. Слова «лжетрибун Хрущев» он прочитал как «брехун Хрущев» и обрадовался, что все понял. Он сунул обрывок в карман и вновь энергично замахал метлой. Каждый взмах прибавлял ему злости. Вдали чернело массивное здание советского посольства. Перед железной оградой прохаживались полицейские в темных плащах. На одном из этажей горел свет. Рэм громко выругался, но раздражение не только не проходило, но даже нарастало. Безо всякой причины он набросился на метлу,

называя ее сукой, вертихвосткой, и, только пригрозив разломать ее на части, немного успокоился и снова принялся за работу. Его так и подмывало сцепиться с кем-нибудь, но вокруг, как назло, не было ни души. На городской башне пробило три часа. Рэм тут же обругал и башню, и часы. Затем его внимание привлекли мерцавшие в тумане окна бара «Крым». Секунду он боролся с собой, а потом, махнув рукой, решился на отчаянный шаг и отправился пропустить рюмочку в рабочее время, чего раньше тоже никогда не позволял себе.

В баре было несколько посетителей. Рэм оставил метлу у входа.

— Двойной коньяк,— сказал он сонной кассирше.

Рэм залпом опрокинул рюмку и огляделся. Какой-то человек дремал, опустив голову на стойку. Другой посетитель сидел за столиком возле окна и вяло потягивал кофе. Пол в зале был мокрым, и у Рэма неизвестно почему на глаза навернулись слезы. Он пошел к выходу и в дверях столкнулся с невзрачным человечком в мятой нахлобученной на самые брови шляпе, из-под которой поблескивали маленькие глазки. Незнакомец сперва уставился на Рэма, потом повел сморщенным носом и направился к стойке. Наклонившись над ней, он жадно втянул носом воздух. Рэм, не отрываясь, наблюдал за странным посетителем.

— Воняет мочой беременной змеи,— выдохнул незнакомец.

Коньяк ударил в голову, и Рэм перестал контролировать себя. Спустя минуту с руганью и угрозами они сцепились, схватив друг друга за грудки. Казалось, вот-вот прольется кровь. Неожиданно все закончилось миром: недавние враги, обнявшись, угощали друг друга коньяком и клялись в вечной дружбе под подозрительным взглядом бармена, который смотрел на столь трогательное примирение с таким же недоверием, как и на начало скандала.

Когда Рэм выходил из бара, стрелки городских часов приближались к пяти. Несмотря на это, уличные фонари были включены. Еле-еле пробивая толщу тумана, они высвечивали темные громады зданий. Вспомнив о коварстве Хрущева, Рэм снова наполнился злостью. За несколько метров до своего участка его охватило неодолимое желание поразмяться. Рэм ударил несколько раз метлой по асфальту, но этого ему показалось мало, и он стал громко ругаться, понося всех и вся. Проходя мимо

Центрального парка, дворник вспомнил, что именно там два года назад Хрущев посадил дерево. Рэм просто зашелся от злости:

— У-у, курва! Я покажу тебе, как сажать деревья!— И он бросился в парк.

Найти нужное дерево было минутным делом. Рядом с ним белела мраморная табличка. Рэм остановился перед деревом,— совсем маленьким, влажные листочки которого трепетно дрожали на ветру. На мгновение Рэму стало жаль беззащитное деревце, но, вспомнив, кто его посадил, он не колеблясь расстегнул ширинку, однако тотчас почувствовал, как чья-то тяжелая рука опустилась ему на плечо. Рэм вздрогнул и обернулся. Перед ним стоял долговязый полицейский в длинной синей накидке, которая делала его еще длиннее.

— Гражданин!— сказал он строго, не снимая руки с плеча Рэма.— Пройдемте со мной.

— А что я такого сделал?!— заартачился Рэм.

— Вы нарушили общественный порядок,— сказал полицейский, легонько подтолкнув его вперед.

— Что у нас за порядки такие, если поссать у дерева нельзя?!— возмутился Рэм.

— Именно то действие, которое вы собирались произвести, и является одной из форм нарушения общественного порядка,— сказал полицейский, подталкивая его вперед.

— Ты умеешь говорить по-албански? Понять тебя нельзя!

Полицейский уловил запах спиртного и поморщился.

— Иди-иди! Хватит пререкаться!— прикрикнул он, толкнув Рэма на этот раз посильнее.

— Ты чего толкаешься? Я хотел помочиться на дерево Хрущева — и все дела!

— Подобное действие в общественном месте запрещается в отношении любого дерева,— сухо сказал полицейский.

— Но это хрущевское дерево,— упирался Рэм.— Ты хоть знаешь, что он предатель?

— Иди, не разговаривай!— приказал полицейский.

— Да ты, оказывается, отсталый человек! Жаль, а еще в полиции служишь.

— Р-р-разговорчики!— не выдержал полицейский.

— Моча беременной змеи,— буркнул Рэм.

— Что такое?— изумился полицейский.— Что ты там бормочешь?

Но Рэм не удостоил его взглядом.

— Мое дело,— буркнул он.

Полицейский опять подтолкнул его вперед.

В полицейском участке быстро составили протокол, в котором был зафиксирован факт нарушения общественного порядка. Протрезвевший Рэм заявил, что полицейского он не оскорблял и «змеей» не обзывал. Этот эпизод в протоколе отсутствовал. Рэм считал, что теперь его должны отпустить, но дежурный офицер, задумчиво разглядывавший задержанного, почему-то медлил. Он никак не мог взять в толк, отчего еще три дня назад за подобное деяние можно было назначить самое суровое наказание, а сегодня — достаточно пожурить. «Разве законы и статьи изменились?» — напряженно думал офицер. Рэм стоя ожидал приговора и был не в состоянии понять, что невольно оказался в центре переплетения приводных ремней, которыми держится любое государство.

Офицер взглянул на часы и что-то отметил на листке бумаги. Полицейская машина повезла арестованного в столичное отделение полиции. Через зарешеченное окно Рэм наблюдал, как в утренней мгле, словно в безумном танце, кружатся фасады зданий, прохожие, гигантские памятники. «Да, Рэм Хута,— сказал он себе.— В этой истории пострадал пока только ты». От несправедливости Рэм заскрипел зубами и, ухватившись за оконную решетку, закричал:

— Долой Хрущева! Долой брехуна Хрущева!

Редкие прохожие оглядывались, провожая взглядом полицейскую машину, но Рэм не успел разглядеть их лиц, скрывшихся в тумане.

Глава XXVI

Над Тираной занимался рассвет. Столица просыпалась. Трудно было понять, кто кого будил: пригород, откуда с раннего утра подвозили в город молоко и овощи, или проснувшийся город, который заводскими гудками оповещал пригородные районы о начале нового трудового дня. Загородные рейсовые автобусы отличались от столичных заиндевелыми стеклами, похожими на заспанные глаза.

Открывались кафе и бары. Люди торопливо проглатывали бутерброды, оставляя на столах промасленные

листки бумаги, заменявшие салфетки. Другие выпивали кофе, высыпали мелочь на стойку и, выскочив на улицу, поспешно бежали по тротуару, пытаясь на ходу закурить. Между городскими автобусами, которые вереницами тянулись к центру, сновали загадочные и равнодушные ко всему окружающему автофургоны. Люди покупали в киосках газеты (но в утренней полумгле можно было разобрать только заголовки) и рассовывали их по карманам, чтобы прочитать позже. Но на первом же перекрестке, ожидая зеленый свет, они доставали их в надежде прочитать строчку-другую. Время от времени они вскидывали головы вверх, словно ища там проблеск света, но небо по-прежнему напоминало нависшую над городом цементную плиту, мрачную и тяжелую. Оно было устрашающим, как блокада.

За красным фургоном с номером «TR 17-55» через перекресток следовала крытая полицейская машина. Из ее зарешеченного окна слышались крики: «Долой Хрущева! Долой брехуна Хрущева!» Прохожие на перекрестке недоуменно оглядывались. Из окна фургона высунулась копна растрепанных ветром рыжих волос. Люди начали останавливаться, но машина на большой скорости промчалась мимо, и кое-кто вытащил из кармана смятые газеты. Заголовки были разные: *«Всеобщее возмущение шантажом СССР», «Нет иуде Хрущеву!»*. В подобной ситуации полицейская машина с арестантом, выкрикивавшим антихрущевские лозунги, выглядела нелепо. Если бы сидевший в ней человек кричал: «Да здравствует Хрущев!» — можно было бы понять его арест.

Движение на улицах становилось оживленнее. Туман постепенно рассеивался, и линия горизонта, местами проглядывая сквозь его толщину, казалась пунктиром. Городские часы пробили шесть раз.

Это время было катастрофическим для десятков тысяч снов, в спешке лепившихся из обрывков дневных впечатлений. Теперь они рушились. Люди с припухшими веками выбирались из-под их развалин, нетвердым шагом направлялись к холодильникам и открывали их. Внезапно вспыхивавший яркий, как в операционной, свет слепил глаза. Следы недавних сновидений сохранялись на лицах людей, даже когда они выходили на улицу.

Улицы заполняли автобусы. Машины, развозившие молоко, глухо звеня пустыми бидонами, спешили обрат-

но в пригородные районы. Все больше становилось мотоциклов, микроавтобусов, изредка проезжали легковые автомобили. На доске траурных объявлений кто-то приклеивал очередное оповещение: *«С глубоким прискорбием извещаем, что после непродолжительной болезни покинула этот мир наша горячо любимая мама НУРИХАН, 79 лет, оставив в безутешном горе детей своих и родственников. Похороны состоятся сегодня в 11 часов. Семья Крюэкурт».*

Человек, повесивший объявление, разгладил его ладонью, чтобы лучше приклеилось, и поспешно удалился.

Мимо прошел автобус, на пыльном боку которого кто-то написал: *«Адриана целовалась с Гентом».* Люди в автобусе словно окаменели от тесноты. Сквозь запотевшие оконные стекла буквы огромного плаката: «ЧТО СДЕЛАЛ ТЫ СЕГОДНЯ В БОРЬБЕ С БЛОКАДОЙ?» — выглядели чуть накренившимися набок.

Радио Тираны в это время суток передавало, как всегда, легкую музыку. Порой казалось, что ничего в мире не происходит, однако газеты в киосках мгновенно раскупались. Казалось, именно здесь, в этих невзрачных киосках, поутру рождается тревога, которая потом расползается по всему городу. По площади Скандербега к тяжелым украшенным бронзой дверям министерств спешили служащие. Рок Симоньак поднял железные жалюзи на оконной витрине и вошел внутрь антикварной лавки. «Необычный сегодня день»,— подумал он. В сумраке торгового зала царила мертвая тишина, укутанная в бархат старинной одежды. Мысль о том, что большинство ее владельцев давно умерло, заставляла его задумываться о вечном. Взглянув на витрину, Рок хотел было что-то поправить, но передумал. С минуту он задумчиво рассматривал набиравший силу людской поток. Из окна магазина был виден угол скверика, где с утра начали красить решетки.

«Да, день сегодня исключительный»,— снова подумал Рок. Проснулся он раньше обычного. С трудом подавив раздражение, которое порой накатывало на него по утрам, он вышел из дома. На этот раз он решил выпить кофе по дороге в магазин, чего раньше старался не делать. На улицах царил газетный ураган. Да еще эта пронесшаяся мимо полицейская машина, из которой кто-то громко крикнул: «Долой Хрущева!»

«Как это понимать?— размышлял Рок.— Везут в тюрьму человека, который выкрикивает антихрущевские

призывы. Можно подумать, что не о том же самом вот уже два дня подряд твердят дикторы радио и телевидения. А вдруг все переменилось?»

В кафе, как назло, не было никого из знакомых, чтобы порасспросить о последних новостях. Правда, у человека за соседним столиком из кармана пиджака торчала свежая газета, и Року удалось прочитать несколько строк: «...стойный отпор советскому шантажу. В трудные дни...» Но разве это информация?

Выходя из кафе, Рок заметил большой черный автомобиль, который на большой скорости подкатил к зданию МИДа и резко, словно в крайнем раздражении, затормозил у входа. Из него вышел человек, улыбающееся лицо которого Рок не раз видел на экране телевизора; сегодня он был мрачнее тучи. «Советский посол — в такой час!»— изумился торговец.

Синяя полицейская машина, автомобиль советского посла с развевающимся флажком на капоте, выкрик «Долой Хрущева!» и утреннее раздражение на самого себя — все разом пронеслось в голове Рока, словно прокручиваемая назад кинопленка. При всей хаотичности эти события, безусловно, были связаны между собой.

В стеклянной двери магазина показался знакомый силуэт Мусабелы.

— Доброе утро,— поздоровался он, входя.

— Утро доброе,— ответил Рок, удивляясь столь раннему приходу гостя.

Мусабелы нравилось бывать в антикварной лавке, где он просиживал часами, но так рано он никогда еще не приходил.

— Слышал?— спросил он с порога.— Умерла бедняжка Нурихан.

— Старая госпожа Крюэкурт?!

Мусабелы молча склонил голову.

Увлажнившиеся глаза Рока Симоньака невольно устремились к витрине, за стеклом которой лежали три прекрасных перстня. Они тускло поблескивали в маленьких коробочках, выложенных темно-вишневым бархатом.

— Я только что прочитал траурное объявление,— продолжал Мусабелы.— Написано не «умерла», а *«покинула этот мир»,* как писали в прежние времена.

— Вот, значит, как,— вздохнул Рок Симоньак.

— Они молодцы, что исполнили ее желание.

С минуту оба молчали, набивая табаком трубки.

— Я прочитал *«покинула этот мир»* и подумал, что все последние годы она жила в ожидании, что вот-вот власть переменится, но... — Из-за трубки во рту, которую Мусабелы раскуривал, последних слов Рок не расслышал.— Если не ошибаюсь, это ее перстни?— спросил Мусабелы, указывая рукой на витрину.

— Да.

— Она одна из немногих, кто не выкупил своих вещей,— заметил Рок Симоньак.

— Умная была женщина,— усмехнулся Мусабелы.— Раньше времени ничего не делала.

Острые буравчики его немигающих глаз впились в собеседника, но торговец никак не отреагировал на этот энергичный взгляд; в последнее время ему трудно было сосредотачиваться.

— Поговаривают о каком-то ультиматуме,— обронил Мусабелы.

Внезапно дверь с шумом распахнулась, и в лавку ввалилось двое мужчин в светлых годжупах[1]. Они продолжали громко разговаривать, словно были здесь одни.

— У вас нет больше иностранных специалистов?— спросил высокий мужчина с нагловатым лицом.

— По-моему, три или четыре чеха остались, но и они собираются уезжать,— ответил его приятель.— А у вас?

— Вчера уехал последний немец.

— Чего прикажете? — услужливо обратился Рок к посетителям.

Продолжая переговариваться, они спросили о лезвиях для бритья.

— У нас антикварный магазин,— пояснил торговец.— Мы берем на комиссию старинные вещи.

— А мы думали — галантерейный. Извини, товарищ.

— Ничего, бывает.

Посетители склонились над витриной, с любопытством разглядывая перстни Нурихан, будто никогда ничего подобного не видели. Из кармана одного из них торчала свежая газета. Рок Симоньак отметил, что она сложена точно так же, как у человека в кафе, и попытался разглядеть текст: «...стойный отпор советскому шантажу. В трудные дни рабочий класс, как никогда сплоченный вокруг партии и ее Центрального Комитета,

---

[1] Безрукавки из выделанной овечьей кожи. Носят обычно горцы.

взял на свои плечи всю тяжесть блокады, проявив тем самым...»

Случайно забредшие посетители вышли из магазина столь же развязно, как и вошли.

— Речь, значит, идет об ультиматуме?— вернулся к прерванному разговору Рок Симоньак.

Мусабелы окинул его весьма красноречивым взглядом: «Кто-кто, а ты, голубчик, раньше других узнаёшь обо всем».

Рок на самом деле обратил внимание на несоответствие между выкупом вещей и усиливающейся в стране антисоветской кампанией. Сначала он думал, что после заявления в печати о разрыве отношений с Советским Союзом все вещи будут выкуплены в течение суток, а он, как любил шутить Мусабелы, опять пойдет писать учебники по геометрии. Но, к его удивлению, происходило нечто обратное: выкуп вещей резко сократился. Были проданы две вазы с королевской монограммой, роскошное издание книги Фишты «Горная ляхута» с автографом автора и предметы церковного облачения, которые всегда пользовались большим спросом. Но это не шло ни в какое сравнение с тем, что было продано в первые дни ожидания перемен. «Может, опасаются привлечь к себе излишнее внимание?— подумал Рок, но тут же отбросил эту мысль.— Нет, дело, скорее всего, в другом». Поразмыслив, он решил, что причина кроется в самом факте опубликования заявления. Именно оно озадачило его клиентов, которые привычнее чувствовали себя в атмосфере слухов и домыслов, когда страх и надежда, добро и зло, казалось бы, завладели всеми и в то же время воспринимались ими как бы со стороны. Настораживал их и тот факт, что конфликт выплеснулся на страницы печати и что коммунисты не побоялись публично обругать Хрущева самыми бранными словами, которые до недавнего времени произносились шепотом и туманом расползались по всей стране; а теперь они были набраны жирным шрифтом и каждый может увидеть их и прочитать. После того, как гласность высветила эти слова, они уже не пугали людей.

Рок Симоньак чувствовал, что его клиенты потрясены, растерянны и разочарованы. Они ожидали бо́льшего от этой суровой зимы и боялись, что преждевременная радость может все испортить. «Еще одна несбывшаяся надежда, и я повешусь»,— говорил то ли в шутку, то ли всерьез один из друзей Мусабелы.

Вот о чем размышлял Рок Симоньак, стоя у окна и глядя на оживавшую улицу. Мусабелы сперва задумчиво рассматривал перстни старой Нурихан, потом тоже подошел к окну.

На деревянном заборе, огораживавшем стройку Дворца культуры, расклеивали новые афиши. Из дому вышел Скендер Бермема. Уже на лестнице он услышал, как в квартире опять зазвонил телефон, но возвращаться не захотел. Только что они с трудом вызвали такси — у Дьаны начались схватки. Часы показывали половину девятого. Реактивный истребитель совершал учебный полет в небе Тираны, оставляя за собой длинный белый хвост. Министр иностранных дел торопливо спускался вниз по лестнице МИДа. Он был явно чем-то озадачен. Завидев его, шофер быстро открыл дверцу автомобиля.

— В Центральный Комитет,— бросил министр.

До главного входа ЦК было рукой подать, но министр тем не менее приказал шоферу ехать быстрее. Секундная задержка вышла у единственного перекрестка. Перед ними проехал городской автобус, на запыленной стороне которого пальцем были выведены какие-то слова, но министр не обратил на них никакого внимания.

— Быстрей!— приказал он шоферу.

Не отрывая головы от подушки, Ана Краснити попыталась рассмотреть, который час, но в сочившемся сквозь приспущенные жалюзи утреннем свете цифры и стрелки часов, стоявших на комоде, приняли странную вытянутую форму. Наконец не выдержав, она взяла их в руку. Было 8.35. «Боже, как рано!— подумала она, снова закрывая глаза.— Тем более что сегодня выходной...» В пятницу вечером Ана дежурила в лаборатории и теперь имела право на законный отдых. На следующей неделе их институт будет работать в режиме «ЧП»: в одной из европейских стран обнаружен очаг холеры; подозрение падало на Югославию. Если оно подтвердится, то Институту иммунизации придется в течение нескольких дней вакцинировать миллионы людей. И это сейчас, когда иностранные специалисты прекратили работу. Остался всего один, да и тот был специалистом по черной оспе.

Ана припомнила вчерашние разговоры о холере, и сна как не бывало. Она открыла глаза. Перед ней, на столике у трюмо, лежал кусок мрамора, который Сильва привезла из последней археологической экспедиции в Паша-Лиман. Кроме мрамора, она привезла и очередную любовную историю, которая внезапно случилась с молодым археологом; история банальная, где на грош счастья («Я нужна ему только для времяпрепровождения!» и т. д., и т. п.). «С меня довольно!— не выдержала тогда Ана.— Мне до чертиков надоели твои вечные страдания...» (на языке вертелось: «твои театральные страдания», но она вовремя сдержалась). Сильва обиделась, Ане пришлось просить прощения у младшей сестры, и Сильва, умница во всем, кроме любви, не только простила ее, но и рассказала много интересного о Паша-Лимане и о последних находках археологов. По мнению Сильвы, вполне возможно, что советские, покидая Албанию, в суматохе и неразберихе прихватят фрески Онуфрия[1], так же как итальянцы в 30-е годы, уходя, разграбили Бутринт. «Неужели они способны до этого унизиться?!»— удивилась Ана. «А почему бы и нет? — вопросом на вопрос ответила сестра.— Когда читаешь их Илью Эренбурга, то думаешь: вот по-настоящему интеллигентный человек, однако интеллигентность не помешала ему во время краткого пребывания в Албании украсть картину Рембрандта». Пораженная Ана раскрыла рот: «Откуда эта чертовка знает о подобных вещах?» Заметив любопытство в глазах сестры, Сильва поведала кое-какие подробности странного двухдневного визита известного советского писателя. «Этого времени вполне достаточно для кражи картины»,— заключила Сильва.

Ана вновь закрыла глаза. В маленькой квартирке, обставленной со вкусом, было уютно и тепло. «Наверное, Фред, уходя, включил печку»,— подумала Ана, сбрасывая одеяло. Она заставила себя не думать больше о Сильве и, чтобы отвлечься, провела руками по упругим бедрам. «Пора подумать о ребенке,— шевельнулась в глубине сознания извечная женская мечта.— Малыш... — По лицу Аны скользнула блаженная улыб-

[1] Албанский художник XVI в., имевший европейскую известность. Его фресками расписаны стены церквей Албании, Македонии, Греции. До нас дошли иконы и фрески, выполненные самим мастером и его талантливыми учениками.

ка.— Крохотное существо, оно будет болтать маленькими ручками и ножками, беспрестанно ползать, что-то лепетать... Но тогда о прекрасной фигуре придется забыть. Некогда будет думать о форме, о диетах... Нет, не сейчас. Позже, немного попозже»,— решила Ана. Она легла на спину. Перед глазами возник силуэт человека в пальто с поднятым от холода воротником, который выходил с выставки изобразительных искусств.

Они познакомились несколько дней назад на ужине у Виктора. «Как же его зовут? Струга... кажется, Бесник... Да-да, Бесник Струга»,— вспомнила она наконец. Самое обычное знакомство: он взглянул в ее сторону, она приметила этот взгляд — спокойный, уверенный и чуть любопытный. Потом их познакомили. В итоге несколько ничего не значащих фраз — и все. Но уже тогда Ана почувствовала, что их пути непременно пересекутся. Со Скендером Бермемой она почти не встречалась. Вчера на выставке, потрясенный скульптурным портретом старого горца, он даже не обратил на нее внимания. Но Ана не обиделась — она умела быть великодушной. «У каждого своя голова на плечах,— сказал он однажды и, конечно, был прав.— Не надо ничего в жизни драматизировать». Именно он внушил Ане подобные взгляды на жизнь. Она снова подумала о Беснике, который показался ей привлекательным молодым человеком. Вообще-то, внешний вид мужчины не имел для Аны решающего значения, как, впрочем, и то, будет свидание иметь продолжение или нет. Главное — самой нравиться кому-нибудь, все остальное для нее было второстепенным, не достойным внимания, а подчас и раздражало ее, чего она всячески стремилась избегать. Но в жизни все получалось иначе, она влюблялась в тех мужчин, которые не желали этого понимать. Уверенная в себе и силе своих женских чар, Ана предпочитала процесс результату. Иногда она сама толком не знала: любит или нет, просто ей нравилось быть влюбленной. Тем более что, по ее мнению, настоящей любви давно уж нет в этом мире, она умерла вместе с рыцарскими романами. Порой Ане казалось, что она умеет управлять собственными чувствами, и все же ее одолевало состояние щемящего одиночества. Это случалось обычно, когда Фредерик начинал ревновать ее, ревновать примитивно до безобразия. Ведь его ревность, в отличие от ее любви, складывалась из мелочей: несуществующих имен, дат и надуманных фактов, и в борьбе с ней ее

нежная и возвышенная любовь увядала, ее место заполняла пустота. И Ане казалось, что, стань ревность Фредерика столь же безбрежной, как ее любовь, она вовсе не была бы ей в тягость.

— Бесник Струга...— мечтательно произнесла Ана.

На ужине у Виктора, еще до знакомства с Бесником, Ана случайно узнала, что он присутствовал на том драматическом совещании в Москве и допустил в переводе какую-то ошибку, за что едва не поплатился партбилетом. Ану всегда влекло к людям умным, со сложной судьбой. Скендера Бермему она полюбила в ту пору, когда печать обрушилась на него с суровой критикой за новую пьесу. Ана могла влюбиться и в поверженного в нокдаун боксера, который поднимался на ноги и из последних сил продолжал бой. («Только не нокаут! Только не это!»— молила она.)

На вечере у Виктора внимание Аны привлекли два молодых человека. У одного занятие, прямо скажем, невеселое — своего рода археология смерти, а другой был в Москве, где совершил какую-то ошибку, но в чем она заключалась, никто, в сущности, не знал. Ана тоже. В одном она не сомневалась: это была великолепная ошибка.

Ана опять закрыла глаза — вылезать из постели не хотелось. «Ты даже не знаешь, какое счастье тебя ожидает»,— подумала она. Мысль о том, что в одного из них она непременно влюбится, будила ее воображение. От переполнявших чувств ей хотелось плакать. Ана представила, как голова любимого будет лежать у нее на плече и она тихо скажет ему: «Отдохни, милый. Успокойся». Неописуемая нежность разлилась по ее телу.

Еще долго Ана пребывала в столь блаженном состоянии наедине со своей любовью. Наконец она встала и подошла к зеркалу. Расчесывая волосы и что-то напевая, она по привычке включила радио. Металлический голос диктора заполонил комнату: «...унизить наше достоинство. Не удовлетворившись суровой экономической блокадой, Советское правительство в последние дни усилило давление на Албанию».

С минуту Ана внимательно слушала, потом ей стало холодно, и она накинула на плечи кофточку. «Что-то произошло вчера или сегодня,— решила она.— Фредерик говорил о последнем серьезном предупреждении Советского Союза, своего рода ультиматуме. Наверное,

слышал от кого-то. «Все же это сверхдержава,— сказал он вчера вечером, ложась спать.— Хотим мы этого или нет, а считаться с ней придется».

— А вот и нет!— громко возразила ему Ана и с мстительной радостью подумала о человеке, который был в Москве; конечно же, он обо всем знает, и она его обязательно полюбит...

Голос диктора становился более размеренным: «...достойный отпор советскому шантажу. В трудные дни, когда...»

«Чего они добиваются?— недоумевала Ана.— Что же может быть еще... последнее предупреждение, ультиматум?— Мысли в голове смешались.— А что будет после последнего предупреждения... после полуночи?.. Наступит, вероятно, время теней... пустота...»

Расческа все медленнее скользила по волосам. «Что со мной?» — очнулась Ана и подумала, что в последние дни ее безошибочная интуиция подсказывала ей: «Пора. Пора поумнеть». Многое в жизни она делала зря, как бы играя с окружающим миром, четвертым измерением которого было зеркало. А несколько недель назад этот мир затрещал по всем швам.

«...никогда не позволит, чтобы ее рассматривали в качестве попутчика,— громко читал диктор.— За свою двухтысячелетнюю историю наша страна не раз оказывалась под европейским и азиатским имперским гнетом. Однако на ярость врагов она отвечала гневом народным. И новые кремлевские цари получат тот же ответ. Мы никогда не бежали от войны, навязываемой неприятелем, а воспринимали ее как вековую данность судьбы».

Дрожь прошла по телу Аны, и тотчас в голове молнией сверкнула мысль: село — в огне, а она... о своей красе. «Что я делаю? Чем занимаюсь?»— с ужасом подумала Ана, и расческа выпала у нее из рук.

10 час. 15 мин. утра. На центральных улицах особенно оживленно. Кафе не вмещают всех желающих. Счастливчики сидят за столами, на которых разбросаны газеты, курят, стряхивая пепел прямо на пол, так же заваленный газетами. По радио передают симфоническую музыку. Центральный бульвар продувается ледяным ветром. Скендер Бермема, поежившись, поднимает воротник пальто. В сквере работники службы коммунального хозяйства убирают остатки прошлогодней тра-

вы. Март стоит у порога, а весной даже не пахнет. Мимоза будто оцепенела. Кругом только и говорят об ультиматуме Советского Союза.

Судя по погоде, до марта, кажется, еще далеко. К тому же между концом марта и началом апреля бывают «три дня старух» — так называют в народе холодные дни на стыке двух времен года. В этом году, похоже, март выпросил у февраля в долг эти три дня пораньше, чтобы еще поморозить. «Интересно, какой срок дали советские?— подумал он.— А если отведенного времени не хватит? Где они возьмут его, чтобы заморозить все и вся? У какого средневекового февраля позаимствуют? А может, у января?»

Было холодно. Люди спешили в тепло, невзначай толкая друг друга, и даже не извинялись. По радио продолжали передавать симфоническую музыку. Министр иностранных дел стоял перед рабочим столом Энвера Ходжи и ждал указаний.

— Осталось не более тридцати пяти минут,— сказал Ходжа, взглянув на часы.— В одиннадцать часов они разорвут дипотношения, поэтому уже сейчас вы можете подготовить текст сообщения для радио и печати.

— Вы думаете, об этом следует сообщить немедля?— спросил министр.

— Думаю, что да. В первом выпуске дневных новостей.

Когда министр вышел, Энвер Ходжа вызвал одного из секретарей.

— На двенадцать часов соберите Государственный Совет обороны.

Секретарь застыл от неожиданности. Слова эти резанули слух. Гораздо привычнее и ближе были для него другие — Президиум Народного собрания, Политбюро, Секретариат ЦК, руководство Демократического фронта... в заседаниях которых Энвер Ходжа принимал участие, но Совет обороны... За все годы, что он работал в Центральном Комитете, Совет собирался один или два раза. Он даже не мог припомнить, кто в него входит. Государственный Совет обороны — в названии этого органа было что-то древнее и устрашающее.

Энвер Ходжа кивком отпустил секретаря, и тот бесшумно удалился. В огромном кабинете стояла такая необычная тишина, что казалось, ее можно услышать. Трубки четырех телефонных аппаратов словно склонили

головы и застыли в этой странной позе. На столе лежало короткое донесение военной контрразведки о передвижении войск Варшавского Договора. «Как могло случиться,— подумал Энвер Ходжа,— что приходится собирать Государственный Совет обороны, чтобы защищаться от социалистического лагеря?» Сколько раз, пролетая над территорией социалистических стран, он восхищался тем, что столь значительная часть земного шара принадлежит трудящимся. Поглощенный зрелищем, Ходжа забывал о покрасневшем азиатском лице Маленкова, своеобразном сигнале тревоги, тогда еще слабо мерцавшем на горизонте, а борьба за власть уже начиналась, и начиналась она в Москве.

Борьба за власть в высших сферах государства рабочих... Румянец на щеках Маленкова был предвестием глубокой раны на теле соцлагеря. Теперь этот лагерь кутается в окровавленный плащ свергнутого буржуазного строя. Проклятый плащ кентавра и его запоздалое возмездие. Страшную боль ощутила под этим плащом революция.

Энвер Ходжа оторвал взгляд от донесения и посмотрел на карту Албании. Закаленное тело двухтысячелетнего государства не расплывалось за века своего существования, а, напротив, сжималось, пока легкими не уперлось в скалы; вертикально вытянувшись вдоль побережья, оно вновь подвергается угрозам и зимней стуже.

«Варвары!» — с ненавистью подумал он.

10 час. 30 мин. Казалось, улицы не выдержат обилия людей и машин. Настоящий водоворот. Бесник, все утро разбиравший письма трудящихся, пошел выпить кофе, но, как нарочно, ни в одном кафе не было свободных мест. Бой городских курантов эхом отозвался в свинцовом небе. Бесник взглянул на часы. Несколько прохожих сделали то же самое. Еще вчера по Тиране распространился слух о каком-то ультиматуме, и Бесник невольно стал обращать внимание на людей, которые посматривали на часы. Откуда взялось такое количество часов? Наконец ему удалось выпить чашку кофе в маленьком баре. Радио передавало симфоническую музыку. Готовя кофе, бармен обсуждал с одним из посетителей результаты воскресного футбольного матча. Из бара Бесник направился к площади Союза. По дороге он

подумал, что если существует ультиматум, то должно быть установлено, когда истекает его срок. С раннего утра, когда городские часы начинали отбивать время и стекла его кабинета дрожали от их размеренных ударов, Бесник думал, что этот срок уже наступил.

Часы пробили одиннадцать. Возвращаясь в редакцию, Бесник приметил длинный черный автомобиль с маленьким трепетавшим на ветру флажком на капоте, который на большой скорости мчался к площади Союза. По сигналу полицейского автомобиль замер на перекрестке, и Бесник смог рассмотреть пассажира. Это был посол Советского Союза в Албании. Перейдя улицу, Бесник остановился и посмотрел, в какую сторону едет советский посол. А тот, взглянув на часы, вероятно, приказал шоферу поторопиться, но регулировщик все еще держал его на перекрестке. С параллельной улицы к площади двигалась похоронная процессия: черный катафалк и два автобуса. Беснику показалось, что за стеклом одного из автобусов мелькнуло знакомое лицо. «Да это же виолончелист, сосед Заны,— вспомнил он.— Наверное, умерла та старуха с рыбьими глазами». На минуту Бесник отвлекся от траурной процессии, проследив за машиной посла, которая поехала к бульвару Павших героев.

Министр иностранных дел стоял у огромного окна своего кабинета, выходившего на бульвар, и задумчиво смотрел на голые деревья, здание Радиокомитета с частоколом антенн на крыше. «Как медленно тянется время,— подумал министр в тот момент, когда в потоке машин показался черный лимузин с развевающимся красным флажком.— Прибыл!» — отметил он про себя. Автомобиль повернул к зданию МИДа. Министру припомнился вдруг случай с римским послом Корнелиусом Корунканусом, который прибыл к королеве Теуте вручить ультиматум Рима. Гордая королева вернула ультиматум, а когда разгневанный приемом посол попытался оскорбить ее, приказала его убить. «Теперь другой посол прибывает с ультиматумом, история повторяется,— подумал министр.— Наверное, уже поднимается по лестнице, тяжело дыша и отдуваясь. Правда, я не королева, но и он ведь... — Министр представил, как тихий, всегда невозмутимый шеф протокола набрасывается на лестнице на советского посла, пытаясь его убить, и едва

сдержал улыбку.— И вообще, все будет иначе, совсем по-другому...»

Посол вошел. Тщетно он старался придать глазам, щекам, губам выражение мрачной торжественности. Жирное лицо помимо его воли превращало благородный гнев в заурядную вспышку ярости. Министр встретил гостя стоя за столом. Он пристально глядел на посла, пока тот не спеша раскрывал папку и зачитывал ноту Советского правительства. В ней, в частности, сообщалось, что Советское правительно вынуждено прервать дипломатические отношения с правительством Народной Республики Албании. Нота заканчивалась словами о том, что вся ответственность за этот трудный шаг, не имеющий аналогов в истории дипломатических отношений между социалистическими странами, возлагается на правительство Народной Республики Албании. В ответ на советскую ноту министр сделал короткое заявление, в котором подчеркнул, что решение правительства СССР в одностороннем порядке разорвать дипломатические отношения, установленные между двумя коммунистическими государствами, есть акт беспрецедентный, единственный в своем роде и по-своему трагический для мировой истории и для истории международного коммунистического движения. Он покроет вечным позором правительство Советского Союза.

Как только министр произнес последние слова, посол повернулся и, не прощаясь, ушел. «Ну, вот, и с этим покончено»,— облегченно вздохнул министр.

11 час. 15 мин. Похоронная процессия с улицы Лорда Байрона повернула на Лесную улицу и двигалась в сторону кладбища № 2. В одном из автобусов ехала Хава Фортузи. Она смотрела в окно на редкие телевизионные антенны на серебрящихся инеем крышах и думала, что лучшее время для смерти — зима, точно так же как для любви — лето.

Министр иностранных дел снял телефонную трубку и набрал номер премьер-министра, чтобы проинформировать его об официальном разрыве дипломатических отношений с СССР. «Что-то произошло,— сообщил Илир Беснику, когда тот вернулся с пресс-конференции в кубинском посольстве.— Посольства социалистических стран жужжат, как потревоженные ульи»...

Хава слышала, как кто-то шепнул на ухо Экрему: «Что-то произошло...» «Бедная Нурихан,— подумала Хава,— ты так и не дождалась перемен. Надо же было умереть, когда они наметились»...

«Я сам видел, как около одиннадцати часов машина советского посла мчалась в МИД»,— сказал Бесник. Глаза Илира округлились: «Неужели разрыв дипломатических отноше...»

Хава толкнула в бок мужа: не болтай, мол, лишнего. «Теперь лучше помалкивать,— прошептала она.— Люди так озлоблены, что, не желая того, можно влипнуть в какую-нибудь историю»...

11 час. 35 мин. В одной из просторных палат тиранского родильного дома приходила в себя после наркоза Дьана Бермема, которой два часа назад сделали кесарево сечение. Из соседних палат доносились глухие стоны. Дьане мучительно хотелось вырваться из засасывавшего ее каучукового хаоса, чтобы приблизиться к молочно-белой сияющей поверхности, которая, скорее всего, была поверхностью планеты; над ней она только что родила несравненное чудо. «Еще немного, еще капельку,— подбадривала она себя, чувствуя, как на нее опять накатывают темные волны, готовые увлечь за собой в бездну вечности. Ей казалось совершенно естественным, что силы тьмы жаждут отмщения за тот несравненный свет, который она зажгла над миром. «Еще немного, еще капелюшечку,— беззвучно шептали побелевшие губы.— Еще...» Дьана прижалась щекой к подушке и почувствовала, как темные волны смерти скатываются с ее плеч.

Врач гладил ее по лицу.

Глава предпоследняя. Припев ко всем частям

Через оконные стекла в комнату лился полуденный свет — чистый и прозрачный. Тепло отопительных батарей, растекавшееся вокруг, действовало расслабляюще. Бесник взял часть почты из отдела писем в кабинет и устроился поработать в тишине.

Раньше ему не приходилось заниматься ответами на письма трудящихся, но за эти дни он так втянулся в работу, что приобрел к ней вкус. Порой Беснику казалось, что он выступает в роли некоего посредника между газетой и бурлящей толпой, язык которой он мало-помалу начинал понимать.

Перед Бесником лежали самые разные письма, порой поразительные по содержанию и форме. Чего только в них не было — изречения, пословицы и поговорки, баллады, размышления, предложения, зачины рапсодий. Эти письма выделялись из тысяч других, поступавших в газету ежедневно. В них чувствовался иной взгляд на мир. Они походили на героический эпос былых времен, жанр, в котором почти не пишут современные писатели.

Бесник в третий раз перечитал письмо двух стариков из отдаленного горного района Бьешкэт-э-Нэмур. Они требовали сжечь Кремль, чтобы смыть великий позор. Было в письме нечто такое, что удерживало от улыбки. «Народный эпос находится в состоянии летаргического сна,— сказал на днях скульптор Муйо Габрани.— Он просыпается только в годину великих испытаний». Бесник вспомнил Ника Укцаму, который вышагивал в тирте по центральному бульвару Тираны. Он, кстати, был из Бьешкэт-э-Нэмура, откуда пришло это письмо. Для стариков Кремль был самым обычным домом, в котором Хрущев предал Албанию. По законам горцев, дом, где совершено предательство, должен быть спален на глазах у всей деревни.

В некоторых письмах встречались баллады и песни. Особенно интересные Бесник откладывал в сторону.

Товарищ Энвер, куда ты идешь?
Опасен твой путь и далек.
В Москве тебя встретят ветер и дождь
И будет много тревог.

Товарищ Энвер, там пурга свистит,
Гуляет мороз по земле.
Царь-пушка на страже Кремля стоит,
Царь-колокол есть в Кремле.

Но ты, не страшась царей,
Дошел до кремлевских ворот
И, не спросясь королей,
Смело дальше идешь — вперед.

Бесник читал и перечитывал балладу неизвестного автора и не мог понять — в ней на самом деле было что-то незаурядное или она понравилась ему лишь потому, что он сам прошел этот зимний путь. Он вспомнил снег, толстым слоем лежавший на огромном стволе царь-пушки и верхней части царь-колокола. В перерывах между заседаниями многие делегаты гуляли по территории Кремля, крутились возле этих гигантов и с умиленным подобострастием вздыхали: «Когда же мы услышим твой голос, брат-колокол, и твой грохот, сестра-пушка?»

Бесник читал дальше.

За столом десятки партий...
Ты вошел, и за тобой —
Все почувствовали сразу —
Ход Истории самой.

— Ты куда идешь?— спросили.
Ты уста не отворил...

«Нет, дело тут не только в том, что он преодолел этот путь и вошел в кремлевские ворота,— подумал Бесник.— Все значительно серьезнее».

Зазвонил телефон, он поднял трубку:

— Алё, я вас слушаю.

«В народных балладах вселенское событие сжимается до чрезвычайного обобщения...»

Голос в телефонной трубке продолжал напористо вещать.

«Народный эпос как бы готовит то или иное событие к вечной жизни. Мавзолей времени ждет, но событие, прежде чем оно будет увековечено в нем, должно быть забальзамировано...»

— Да, я вас слушаю,— в третий раз повторил Бесник.

«Эта необычная метода позволяет перерабатывать огромную информацию: миллионы слов, бесед, идей, газетных статей, митингов, радионовостей, плакатов и т. д., и т. п...»

— Да-да,— автоматически повторил он в трубку, прижатую к щеке, хотя мыслями был все еще в одной из баллад.

«Подобно старому мастеру, призванному на помощь, эпос готов избавить событие от боли, очистить от тлена...»

— Алё, да-да...

«...сделать способным устоять при любой непогоде».

Бесник положил наконец трубку, а глаза уже читали другое стихотворение, похожее на первое.

Все в Варшавском Договоре,
Только лишь одной страны
С нами нет. Сестры родимой.
В этом нет ее вины.

Самой младшей нет сестрицы
Среди братьев и сестер.
Без нее не полон дом наш
И не весел разговор.

Беснику показалось, что он уловил один из элементов тайного ритуала бальзамирования. Это приспособление сложных явлений к народному пониманию на бытовом уровне. В результате — государства могут говорить и спорить, как женщины: «И не стыдно тебе, СССР, так позориться?! Великая страна, а на такую подлость пошла». Бесник снова перечитал стихотворение, в котором чешские или болгарские крестьяне сильно смахивали на лябов[1]. Прием был тот же: нарушивший клятву Кремль — это дом, где совершено предательство; социалистический лагерь низводится до размеров рядового села, которое, чтобы смыть позор, должно взять зажженую хворостину и поджечь опозорившийся дом. И нет ничего странного, что в народной балладе Чехословакия просит взаймы у Венгрии щепоть соли, а Польша возводит напраслину на Монголию.

Большинство баллад было посвящено совещанию в Москве.

Зал Георгия многое видел,
Был свидетелем всяческих драм,
А теперь тут раскол Коммунизма —
И больно, и горестно нам.

Телефон звонил беспрерывно, но Бесник не обращал на него внимания. За окном кабинета — бурлящие улицы, последние известия, газеты, посольства социалистических стран, афиши, музыка Бетховена, а здесь — тишина. Чувствовалось, как событие, готовясь лечь кир-

---

[1] Так называют жителей Ляберии, этнического района в юго-западной части Албании.

пичиком в фундамент нации, преодолевало область межгосударственных и межпартийных отношений. Являясь продуктом второй половины XX века, оно постепенно входило в мировую историю.

Бесник вспомнил об упражнениях Скендера Бермемы в жанре эпоса и открыл ящик стола. Несколько дней назад писатель прислал ему пакет с просьбой высказать свои суждения о его новых опытах. Два из них, написанные прозой и довольно витиеватым стилем, напоминали балладу «Товарищ Энвер, куда ты идешь?..». Тот же мрачный Кремль с башнями, окутанными туманом. У ворот несут сторожевую службу царь-колокол и царь-пушка. Несомненно, кто-то пересказал ему эту балладу. Кроме эпического фона и рефренов, Скендер Бермема написал песенный запев, который очень понравился Беснику: «Собирайтесь все сюда! Вы, мастера, строители крепости Розафат, прервите работу, отложите в сторону тяжелые молотки. Ты, Костандин, славный герой народной баллады, восставший нынче из могилы, останови своего коня. Замрите, пляски, утихомирьтесь, родные и близкие, остановитесь, караваны, смолкните, шумные народные празднества. Вы, кандидаты в члены партии, проходящие испытательный срок, отложите в сторону заботы и дела. Подойдите все сюда и послушайте, что случилось с Албанией...»

«Подойдите, чтобы понять, что произошло с Албанией»,— повторил про себя Бесник.

«С Албанией что-то случилось.— Бесник оторвал взгляд от написанных страниц.— Албания вновь носит под сердцем нечто великое. Так уже бывало не раз в ее долгой жизни. И это всегда связывалось с глобальными переменами. Ее кровь, ее жилы, юмор, нервы, глаза, морщины, как и все остальное,— напряжены. Так происходило от века, когда в ее многотрудную судьбу вторгались сверхдержавы. При столкновении с ними возрастали дух сопротивления и значимость Албании, хотя тело ее порой сжималось в комок».

Бесник продолжил чтение писем:

Зима — какой никто не видел прежде,
И с каждым часом непогода злей,
И гаснет на глазах звезда надежды —
Звезда Кремля померкла для людей.

В памяти всплыли сборы в Москву. Он увидел себя как бы со стороны в зале ожидания аэропорта в то

октябрьское утро: провожающие, среди них Зана; а потом табло с надписью «No smoking!»[1] в салоне самолета и, как в стекле волшебного фонаря, исчезающая панорама тиранского аэропорта.

Зимний путь в зимнюю Москву и самолет, летящий среди облаков. В эту минуту Бесника вовсе не удивило бы появление вместо самолета белоснежного коня с развевающейся на ветру белой гривой.

Он продолжал читать письмо. Время от времени его собственные мысли узкой лентой воспоминаний накладывались на написанные строки. Неожиданно он вздрогнул: две строки имели прямое отношение к нему.

Толмач скверно переводит —
Русский плохо знает он.

«Это же обо мне»,— едва не вскрикнул Бесник. С минуту он сидел неподвижно, будто окаменев. Он казался себе мелкой песчинкой в сверкающем и пенящемся океане. «Это обо мне»,— повторил он, словно боялся, что эти две строчки исчезнут в океанской пучине. Ощущение чуда, которое испытал Бесник, увидев в народной балладе строки о себе, что редко бывает при жизни, сменилось восхищением теми, кто способен возвысить человеческий дух.

Бесник не помнил, сколько времени он просидел над балладой. Две строчки ее так и лежали перед ним на столе, как две отломанные ветки, которые океан народного эпоса прибил к его берегу. Несколько раз коллеги заглядывали в кабинет, чтобы пригласить его на обед, но он отказывался. Наконец Илир буквально силой вытащил его из-за стола.

— По всему видно, они разорваны,— сказал Илир, когда они спускались по лестнице.

— Что разорвано?— переспросил Бесник.

— Как что? Дипломатические отношения, конечно.

— А-а,— равнодушно отреагировал Бесник, словно речь шла о чем-то весьма незначительном.

Илир удивленно посмотрел на друга.

А Бесник мысленно был еще там, за рабочим столом, заваленным письмами. Илир что-то говорил, но он не слушал его. «Ни одно значительное событие в жизни народа не происходит вдруг,— размышлял Бесник.—

[1] Не курить! *(англ.)*

И к этому противостоянию Албания начала готовиться давно. Может быть, даже очень давно».

— Еще час назад никто ничего не знал,— продолжал Илир,— хотя суета в посольствах социалистических стран настораживала.

«Подготовка началась сто, четыреста, а то и тысячу лет назад,— продолжал размышлять Бесник.— Еще тысячу лет назад Албания заложила основы новой генерации людей, которые смогут принять на свои плечи тяжесть грядущих испытаний».

Глава XXVIII

В понедельник с 12.00 до 14.00 Радио Тираны передавало симфоническую музыку. Несколько раз передачи прерывались и диктор объявлял, что через несколько минут будет передано важное правительственное сообщение.

Официальное сообщение о разрыве дипломатических отношений между Советским Союзом и Албанией было передано в 14.00.

Бесник только что распрощался с Илиром и шел домой. Он все еще был под впечатлением баллад, словно под наркозом. Проходя мимо кафе, он заметил, что около радиоприемников толпятся люди, и понял: передают сообщение о разрыве дипломатических отношений. Сразу после официального сообщения прозвучал «Интернационал». Бchampionship Беснику показалось, что люди перестали смотреть на часы. Наручные часы, напоминавшие рыбьи головы, круглые и холодные, точно умерли. «Время,— произнес про себя Бесник.— Вре-мя...» Свист ветра становился невыносимым. Он зашел в маленькое кафе, чтобы послушать выступление премьер-министра, о котором Радио Тираны оповестило час назад. Десятки людей, сгрудившись у стойки вокруг приемника, молча слушали выступление премьера: «...перед нами было два пути. Первый — путь неповиновения, полный шипов и рытвин, и второй — путь полного подчинения, устланный коврами, под которыми скрывались те же шипы и те же рытвины. Мы, как вы знаете, выбрали первый путь...»

Недалеко от дома Беснику встретилась длинная колонна молодых людей в военной экипировке, которые направлялись, по-видимому, на учения в район старого

гражданского аэродрома столицы. Уже несколько дней рабочим заводов Тираны раздавали оружие, теперь дошла очередь до студентов.

Рабо и Мира ждали его за обеденным столом. По радио продолжали передавать симфоническую музыку.

— Ты уже слышал? — спросила Мира.— Мы разорвали дипломатические отношения с Советским Союзом.

— Знаю,— буркнул Бесник, проходя в ванную.

Рабо строго взглянула на племянницу: «Неужели ты можешь сообщить ему что-то, чего он не знает?» После неудавшегося разговора о Зане она все еще была на него обижена.

Как всегда, Бесник закончил есть первым и, не поднимаясь из-за стола, закурил. Он мельком наблюдал за Мирой, которая, как ему казалось, в последнее время стала больше уделять внимания правилам поведения за столом.

— Бесник,— обратилась к нему Мира, положив вилку на краешек тарелки,— ты придешь послезавтра к нам на спектакль?

С минуту он помолчал, пытаясь вспомнить, о каком спектакле идет речь, а потом согласно кивнул.

Улица, ведущая в Ринас[1], была запружена машинами. Прошло не более трех часов с момента объявления о разрыве дипломатических отношений с СССР, а они уже мчались на аэродром. На мокром от дождя взлетном поле толпы пассажиров ждали прибытия самолетов не только из Москвы, но и из Берлина, Будапешта.

В таможенном зале стоял многоголосый гул. Уезжали нефтяники, геологи, слависты, реставраторы икон, военные, византологи, дипломаты. Многие возмущались досмотром вещей; отирая пот, струившийся по лицу, они требовали начальника аэропорта и представителя посольства. Таможенники спрашивали каждого, везет ли он золото, албанские монеты, оружие, геологические карты, фотопленки, произведения искусства. Тех, кто вызывал подозрения, они тут же досматривали.

На воротах советского посольства появилось объявление на русском и албанском языках, в котором сооб-

[1] Место в пригороде Тираны, где расположен аэропорт.

щалось, что отныне все вопросы советских граждан, временно остающихся на территории Народной Республики Албании, будут разрешаться посольством Чехословацкой Социалистической Республики. В подвале жгли документы, которые невозможно было вывезти в Москву. Пока шифровальщик занимался расшифровкой последней радиограммы, трое посольских служащих спешно демонтировали на террасе здания радиоустановку и мощные антенны. Шел дождь. Движения людей в темных капюшонах на фоне проводов и металлических конструкций издали напоминали сигналы тревоги из безвозвратно уходящего прошлого, сигналы, которые не поддаются никакой дешифровке.

«Как долго тянется день»,— подумал Марк, прислонив виолончель к стене у входа во Дворец культуры. В другое время он вряд ли пришел бы на репетицию в день смерти и похорон матери, даже если бы это была генеральная репетиция. Но сейчас, особенно по пятницам и субботам, было слишком опасно привлекать к себе излишнее внимание. Несмотря на уважительную причину, Марку не хотелось обострять отношения с администрацией в канун концерта. Он пришел, по обыкновению, первым. Чтобы не разрыдаться от жалости к себе и своему незавидному положению, он, закусив губу, смотрел на улицу, которая походила на оголенный нерв,— жизнь повсюду била ключом. «А она теперь под землей, в царстве холода»,— тоскливо подумал Марк. Всю зиму стояли холода. «Бедная Нурихан, какой жуткий день выбрала ты для своей смерти»,— прошептал кто-то на кладбище, когда могильщики сбрасывали промерзшие комья земли на гроб. Марк отошел подальше. «Что за день она выбрала для смерти...» — эти слова можно было толковать по-разному. День разрыва отношений с Советским Союзом был бы для нее благом. Старая Нурихан ждала его всю зиму. Она мечтала увидеть этот хаос. Доживи Нурихан до сего дня, она, наверное, взяла бы клюку и тоже вышла на улицу, чтобы убедиться, что происходящее — не сон. Однако улицы бурлят без нее — она в царстве теней. Вдруг среди прохожих Марк увидел Зану и не сводил с нее глаз. Она вышла из книжного магазина напротив и, как ему показалось, что-то искала и, по-видимому, нашла: она решительным шагом направилась к стоявшим невдалеке

служебным машинам. Шофер открыл дверцу, и Зана скрылась в машине отца. Марк почему-то облегченно вздохнул. Автомобиль медленно двинулся в сторону перекрестка. Марк обратил внимание на толпу людей, стоявших перед белыми листками объявлений, которые кто-то продолжал расклеивать на стеклах витрин. Рядом просигналил красный фургон. Марк оглянулся и, увидев шофера, вздрогнул: знакомая копна рыжих волос беспорядочно развевалась на ветру. Марку показалось, что глаза шофера буквально впились в виолончель, которую он не успел заслонить своим телом. «Вот ужас-то!»— мысленно содрогнулся он, провожая взглядом фургон со знакомым номерным знаком «TR 17-55», похожим на могильную плиту, проплывающую над толпой прохожих. Марк вспомнил о надгробии на могиле матери. «Весной, когда земля освободится от зимнего покрова, на ней зацветут ее любимые желтые ромашки. Какой длинный нынче день,— снова подумал Марк.— Тяжесть дневных событий сродни бремени женщины на девятом месяце беременности. А что это за объявления, которые собрали столько людей?.. Разрыв... Разрыв... Разрыв... Всюду ощущались его болезненные следы. И все же день сегодня довольно странный,— размышлял Марк.— Перед похоронами один из знакомых, пришедших проводить мать в последний путь, рассказал, что видел рано утром на улице полицейскую машину, из которой арестованный кричал: «Долой Хрущева!» Все недоуменно покачали головами. «Сегодня лучше держать язык за зубами»,— заметила Хава Фортузи. А у меня вообще нет языка,— подумал Марк.— Так и живу, как немой». Он опять взглянул на толпу, читающую объявления, не решаясь подойти и посмотреть на них. «У меня нет языка, но глаза пока еще есть, черт возьми!»— убеждал он себя. Но ноги точно приросли к земле.

ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ ТИРАНЫ

В случае воздушной тревоги будет произведено затемнение города. Всем гражданам необходимо спуститься в бомбоубежища, а в отсутствие таковых укрыться в подвалах зданий...

Возвращаясь в редакцию, Бесник остановился у одного из многочисленных объявлений, около которых собирались толпы любопытных. Прочитав текст до конца,

он увидел жирно набранную подпись: *«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ОБОРОНЫ»*.

«Откуда взялся этот Совет?— подумал Бесник.— Давно о нем ничего не слышали, впрочем, как и о воздушной тревоге. А когда подобные мероприятия все-таки случались, то объявления о них не развешивали по стенам и стеклам витрин. Людей оповещали через квартальных активистов, чтобы не создавать излишней нервозности и паники».

Бесник чувствовал, как люди, стараясь подойти поближе к объявлениям, толкают его со всех сторон. Уже темнело, и строчки сливались — трудно было читать. Он отошел в сторону, уступив место мрачному человеку в длинном, похожем на шинель, пальто. Подходили все новые и новые люди, некоторые из них нетерпеливо спрашивали: «Что там?» Какой-то старик в широкополой шляпе, тыча палкой в объявление, с раздражением говорил жене, тучной женщине: «Наш дом относится к этому параграфу».

«Теперь по всей стране люди толпятся у таких объявлений»,— отметил Бесник. Неожиданно на глаза ему попался человек с виолончелью; он робко двигался ему навстречу. «Да это же сосед Заны»,— Бесник узнал музыканта. Чуть раньше он видел мельком и Зану, сидевшую в машине отца,— копна темных волос с бронзовым отливом, огромные задумчивые глаза. «Когда-то я тонул в бездне этих глаз»,— подумал Бесник и сделал вид, что не замечает ее.

Сосед Заны подошел к белевшим в сумерках объявлениям. «Небось радуется теперь»,— усмехнулся Бесник и вспомнил, что утром, часов около одиннадцати, уже видел его в траурной процессии. «Что за суббота выдалась — конца ей нет»,— удивился он. Вблизи старого здания Государственного архива показалась колонна демонстрантов, потоком бурлящей магмы она устремилась к центру. «Вот до чего довели нас эти писатели!»— проворчал человек в полувоенном пальто. Повернувшись к объявлениям спиной, он скрылся в толпе.

Московское радио передало сообщение о разрыве дипломатических отношений во второй половине дня по европейскому времени и утром по местному. Информа-

цию и пространное заявление Советского правительства торжественно зачитал Левитан, который выходил в эфир крайне редко и только в особо важных случаях. Именно он сообщил в свое время о начале войны, победе советских войск под Сталинградом, зачитывал резолюцию Информбюро коммунистических и рабочих партий по И. Б. Тито, информировал о кончине И. В. Сталина, о предательстве Лаврентия Берии, вступлении в 1956 году советских войск в Венгрию. В редакции, в отделе информации, группа журналистов собралась у радиоприемника. Бесник появился, когда шла передача из Москвы: «За почти полувековую историю своего существования Советский Союз привык к проискам мировой реакции. После нажима и бесконечных угроз, Албания вероломно нанесла нам удар...»

Бесник представил на миг миллионы русских людей, с грустью слушающих эти слова. Голос диктора то усиливался, то затухал от эфирных помех. Это был стон Евразии.

С наступлением сумерек в Управлении дипломатических служб МИДа зазвонил один из трех телефонов. Обычно по субботам здесь никто не дежурил, но эта суббота была особенной, и все сотрудники, включая начальника, находились на своих рабочих местах.

— Алё,— поднял трубку начальник управления.

С минуту он рассеянно слушал, потом, видимо заинтересовавшись, плотнее прижал трубку к уху. Звонил советник посольства одного африканского государства, недавно аккредитованного в Тиране. Он довольно бегло говорил по-французски. Советник несколько раз извинился за то, что вынужден снова беспокоить «господина директора» по вопросу размещения посольства его страны, вопросу, который, как хорошо известно «господину директору», не решен из-за отсутствия свободных зданий в столице, и пользуется случаем напомнить «господину директору», что теперь такая возможность имеется... Сделав секундную паузу и переведя дыхание, советник еще раз извинился, что беспокоит «господина директора» именно в такой день... но, рискуя вызвать недовольство, поскольку хочет извлечь для себя выгоду из несчастья другого, он все-таки берет на себя смелость сделать «господину директору» предложение от имени

своего правительства передать за полмиллиона долларов только что освободившееся здание.

— Речь идет о здании,— журчал в трубке голос советника,— которое освободилось как раз сегодня... именно сегодня... Излишне было бы напоминать вам, господин директор, что я имею в виду здание бывшего советского посольства,— закончил он.

Начальник управления на мгновение потерял дар речи, но, вспомнив, что протокол обязывает дать ответ, выдавил из себя:

— Я записал вашу просьбу, господин советник.

Бесник работал, когда в его кабинет ворвался Илир.

— Старина, пойдем посмотрим, что делается на улице,— предложил он.— Что-то ты мне не нравишься, совсем зачах.

Бесник и сам понимал, что чертовски устал. Они прошли через задний двор, где размещался гараж, и вышли на улицу Деятелей «Рилиндья»[1]. Навстречу им двигалась колонна рабочих. Пожалуй, это были те самые демонстранты, которых Бесник встретил несколько часов тому назад. Над головами тысяч людей раскачивался лес лозунгов, плакатов, транспарантов. Бесник подумал, что они лучше многотомья слов объясняют душевное состояние народа. Он прочитал лишь некоторые из них: «НЕТ ШАНТАЖУ СССР!», «ХРУЩЕВ, ТЫ КТО: ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ИЛИ ЦАРЬ?», «УЛЬТИМАТУМ МОСКВЫ — НА СВАЛКУ!», «ПОЗОР!!!». Беснику показалось, что от скопления гневных слов вот-вот разразится гроза с громом и молнией. Вдруг он услышал: «Товарищ журналист! Товарищ журналист!» — и почему-то сразу решил, что обращаются именно к нему. Обернувшись, Бесник увидел море смеющихся глаз. Лица большинства людей были знакомы ему. «Где я их видел?»— пытался припомнить он.

— Не можете вспомнить, где мы встречались?— пришел ему на помощь человек с редкой растительностью на голове.

---

[1] «Рилиндье комбетаре» («Национальное возрождение») — культурное движение албанской интеллигенции во второй половине XIX в., сыгравшее заметную роль в формировании идеи национально-освободительной борьбы албанского народа против турецкого владычества.

— Ну конечно же!— радостно воскликнул Бесник.— Вы с завода Фридриха Энгельса. Из плавильного цеха, если не ошибаюсь.

— Точно. А мы не раз тебя вспоминали,— сказал пожилой рабочий.

Бесник и Илир сошли на мостовую и присоединились к плавильщикам. То тут, то там зазвучали песни. Одна, вторая, третья...

— Вспоминали тебя,— повторил рабочий.— Мы все вместе узнали о случившемся — и то были потрясены, а каково было тебе там, одному? Ты ведь раньше других узнал об этом.

— Славный ты парень!— хлопнул его по плечу маленький крепыш.

Демонстранты возвращались по улице Баррикад. Из окон и с балконов домов сотни тиранцев наблюдали за этим мощным людским потоком.

Мира договорилась встретиться с ребятами из школьного драмкружка у входа во Дворец культуры. Они хотели пойти в антикварный магазин и на собранные в складчину деньги купить какие-нибудь вещи для послезавтрашнего спектакля: монашескую косынку для Миры, лампадку или что-то еще для парня, который играет роль епископа. Вместе с Мирой пришли Ирисия и Макс Бермема; они уговаривали ее сходить с ними на генеральную репетицию концерта. Мира рассеянно слушала их, а сама все думала о мальчишках из драмкружка, которые запаздывали,— а у них были деньги на покупки.

Люди спрашивали лишние приглашения. У входа несколько раз промелькнул человек с виолончелью, и Мира хотела было спросить его о лишнем приглашении, но не решилась. «Кажется, он живет в том же доме, что и бывшая невеста Бесника»,— подумала Мира, но не могла вспомнить, как его зовут.

Подошли другие девочки, не было только мальчишек.

— Наверное, репетицию отменят,— сказала одна из девочек, кивнув на объявления, перед которыми постоянно толпились люди.

— Что значит разрыв дипломатических отношений?— спросила другая.

Подруги пожали плечами, только Мира нашлась:

— Закроют посольства. А что еще?

— Вот и наши мальчики!

Мартин с двумя приятелями — все трое долговязые и угловатые — энергично протискивались сквозь толпу. В руках они держали какие-то странные предметы, от которых люди сперва шарахались в стороны, а потом с любопытством на них оглядывались.

— Ой! — разом вскрикнули девочки, когда ребята подошли поближе.

Странными предметами оказались уродливые маски. Они размахивали ими перед девчонками, как бы оправдываясь за опоздание.

— Знаете, — сказал один из них, запыхавшись, — в случае мобилизации мы решили записаться в отряд борьбы с вражеским десантом.

Стеклянные глаза масок равнодушно смотрели в землю.

— А мы? — спросила Мира.

— А вы станете, наверное, медсестрами.

Мира познакомила мальчишек с Ирисией и Максом.

Глаза ребят лихорадочно блестели.

— А вот и наша Дистрофия! — воскликнул Макс, указывая головой на долговязую девочку, пытавшуюся, по-видимому, добыть лишнее приглашение на концерт. — Знаете, как называют ее теперь наши мальчишки? Общий кризис капитализма и ревизионизма.

Девочки натянуто рассмеялись. Толпа жаждавших попасть на концерт все прибывала. Ребята отправились в антикварную лавку. Люди удивленно оглядывались на странные маски в руках парней.

Бесник делал обзор писем трудящихся, когда раздался телефонный звонок — вызывали к главному редактору. Он догадывался о цели вызова, и не ошибся.

— Я знаю, что ты занят, — начал главный, — но...

Он обвел рукой заваленный бумагами стол, словно говоря, что и у него работы не меньше. Как Бесник и предполагал, в связи с разрывом советско-албанских дипломатических отношений срочно требовалось взять интервью у рабочих ночной смены. Материал необходимо подготовить до полуночи, чтобы опубликовать в утреннем выпуске газеты.

На улице по-прежнему было холодно. Бесник застегнул пальто на все пуговицы, поднял воротник и ускорил шаг. «Давление и шантаж со стороны Албании...— передразнил он диктора Московского радио.— Какая чушь! Даже не смешно».

На улице Баррикад, на площади Союза — повсюду белели листки объявлений Совета обороны. Кто бы мог подумать, что все так обернется? Подозрительность и взаимная неприязнь росли с катастрофической быстротой. Сначала людей интересовало лишь одно: наступит ли охлаждение в отношениях между двумя странами? Потом, когда холод сковал землю, они обеспокоились: будет ли блокада? Но когда блокада стала реальностью, многие еще надеялись, что до разрыва дипломатических отношений дело все-таки не дойдет. А теперь люди впервые открыто заговорили об агрессии. Казалось, что на их глазах появился на свет и с невероятной быстротой начал расти хищный зверь — с когтями, клыками и ядовитым жалом.

От Аэроагентства в сторону площади Скандербега медленно двигалась новая колонна вооруженных людей.

В который раз за этот день Бесник отрывался от работы с письмами, чтобы выйти на улицы города. Сперва он чувствовал себя не в своей тарелке. Да это и понятно: сказывался резкий переход от времени, застывшего в эпосе, к живой жизни. В такие минуты вспоминается теория относительности Эйнштейна.

Глядя через оконную витрину на беспрерывно мелькавшие силуэты прохожих, Рок Симоньак с тревогой думал о том, что никогда его магазин не был столь чужим и бесполезным для этой улицы. За весь день, кроме Мусабелы и советского специалиста, который очень спешил и хотел побыстрее продать расшитую украинскую рубашку, в магазин никто не зашел. Время от времени его точил червь сомнения, и Рок начинал ругать себя, что открыл сегодня магазин.

Пока Мусабелы разглагольствовал о похоронах старой Нурихан, Рок, вспоминая узоры на украинской рубашке, никак не мог решить, правильно ли он поступил, отказавшись ее купить. Безошибочное чутье Рока, которому он доверял и которое не подвело его в 1944 году, на этот раз молчало.

— Похороны были тихими, будто собрались одни глухонемые,— продолжал рассказ Мусабелы, посасывая трубку.— Людей можно понять: любая неосторожная, прилюдно брошенная фраза могла быть истолкована как выступление на митинге.

Торговец согласно кивал, хотя слушал его болтовню вполуха. Внезапно взгляд Рока устремился на стеклянную дверь и застыл в ожидании. У входа в магазин остановилась компания школьников и рассматривала табличку на двери. Заметив их, Мусабелы осекся на полуслове и замолк. Наконец, дверь открылась, и в магазин вошли две школьницы.

— Это комиссионный магазин старых вещей?— спросила одна из них.

Рок Симоньак молча кивнул. Девочки казались вежливыми и немножко застенчивыми, но за их спинами его острый взгляд успел различить силуэты ребят.

— Извините, пожалуйста, но нет ли у вас монашеской косынки или чего-нибудь в этом роде?— спросила одна из них, слегка покраснев.

В это время вторая девочка не могла оторвать глаз от витрины с перстнями, холодно мерцавшими на своих бархатных ложах.

— Монашеская косынка, говорите?

— Да-да,— хором ответили девочки.

Рок Симоньак и Мусабелы, не глядя друг на друга, подумали об одном и том же. Однажды старая Нурихан пророчески изрекла: «Нечего радоваться тому, что здесь бывают выжившие из ума старики и старухи. Настоящая радость придет в твой магазин, Рок Симоньак, когда его начнет посещать молодежь».

Торговец ушел в подсобку, а Мусабелы с интересом наблюдал за девочками.

— Ну, что там? Вы скоро? — спросил один из ребят, заглядывая в приоткрытую дверь.— Есть что-нибудь?

Когда Рок принес косынку, вся компания была уже в лавке. Ребята вертели в руках маски, предлагая девочкам примерить. Было шумно и весело. Пока девочки расплачивались с торговцем, мальчишки, перебрасываясь шутками, рассматривали витрину.

— А может, у вас есть лампадка или епископская шапочка?— спросил Мартин.— Я играю роль епископа в школьном спектакле.

— Нет,— холодно отрезал Рок Симоньак.

Шумная гурьба молодых людей с масками в руках,

походившими на искаженные ужасом отрубленные головы, вывалила на улицу.

«Какой страшный и жестокий театр,— подумал Рок.— Какое жуткое разочарование!» Он взглянул на Мусабелы. Тот стоял бледный и растерянный.

«Ты будешь играть для них,— сказал себе Марк, направляясь на сцену.— Будешь играть для этого таинственного и непонятного тебе мира, наполненного светлячками ламп и страхом, мира коммунистических идей, который огромным амфитеатром развернется перед сценой, так что в необозримом море голов не различить слушателей, сидящих в последних рядах галерки. И ты, загнанный в угол страшного треугольника, будешь играть на своей виолончели до тех пор, пока не свалишься бездыханным».

Бесник пересек площадь Союза и направился к стоянке такси. По дороге он попытался сформулировать вопросы, которые задаст рабочим ночной смены, но поймал себя на том, что не может сосредоточиться. За день он выпил слишком много крепкого кофе, и кровь бешено стучала в висках, мешая собраться с мыслями.

По улицам все шли и шли колонны. «Наверное, самолеты на Москву, Берлин и Будапешт уже улетели»,— подумал Бесник. Стоянка такси была совсем близко. Рядом с Бесником, едва передвигая ноги, ковыляли две старухи в черных одеждах. Следом за ними плелись еще три черные тени. «Старухи из Кэльцюры»,— содрогнулся он, невольно замедляя шаг. Теперь они шли чуть впереди него. Казалось, что они по зову предков явились из глубины веков и теперь упрямо двигались к какой-то им одним известной цели. Бесник ощутил горечь во рту: «Варвары! Они вынуждают нас ожесточаться!» И тут же подумал, что не надо было пить много кофе. Он ускорил шаг, почти побежал к светившей табличке «ТАКСИ». Внезапно справа, из района окраинных улиц, раздался рев. Сначала он звучал глухо, словно из опущенной к земле пасти дикого зверя, потом стал нарастать, усиливаться и наконец превратился в душераздирающий вой, охвативший весь город. Бесник приостановился, но тут же поспешил к спасительной,

как ему казалось, табличке «ТАКСИ». Однако не успел он сделать и нескольких шагов, как табличка, а вместе с ней и вся улица погрузились в полный мрак.

— Тревога! Тревога! — крики раздались сразу с нескольких сторон.

В одну минуту улица замерла, однако постепенно начала приходить в себя: послышались голоса, топот ног, какой-то шум. Одно за другим гасли окна кафе, баров. На глазах Бесника исчез, словно его корова языком слизнула, светящийся циферблат городских часов. Вслед за центром в темноту погружались остальные районы города и пригороды. В одном из жилых домов слабо засветилось окно, и тут же раздался окрик:

— Немедленно погасите свет!

Какой-то человек требовал, чтобы граждане поторопились в ближайшее укрытие. Улица быстро затихала. В гулкой темноте Бесник потерял ориентацию. Неожиданно из тьмы вынырнула машина с притушенными красными огнями (наверное, полицейская). В их слабом свете лица редких прохожих напоминали застывшие маски — маски из плоти и костей. Кровавые отблески скользили по лицам-маскам, прочерчивая места возможных ран. «И у меня на лбу тоже прочерчен такой знак»,— подумал Бесник.

Из полицейской машины сыпались суровые приказы: «Освободите улицу! Тревога!»

На мгновение фары высветили статую, бронзовое лицо которой представилось Беснику искаженным нестерпимой болью.

Сирена продолжала выть. В центре несколько окон еще оставались освещенными, но скоро и они погасли. Кромешная тьма окутала город. Черное небо будто поглотило землю. Теперь в поднебесье смешалось все: купол пантеона, вопль отчаяния, вздох облегчения, стон, разочарование, прощальный крик разлуки.

«Вой, вой сколько вздумается»,— сказал Бесник сирене. Ему показалось, что он — единственный участник этого поднебесного спектакля, но, увидев рядом с собой подрагивающий огонек сигареты, понял, что стоит вместе со всеми, кого тревога застала на улице, под навесом крыши.

«Я ждала твоего звонка,— услышал он тихий женский голос.— Целый день ждала».— «Я не мог позвонить,— так же тихо оправдывался мужской голос.—Ты же знаешь, что за день выдался сегодня».

Бесник попытался рассмотреть говоривших, но в темноте ничего не увидел, кроме горящей точки сигареты. Казалось, что внутри у него внезапно засветилось нечто неуловимое, что можно сравнить лишь с невидимым излучением, исходящим от книжной страницы, карты, грани камня, полотна пейзажа, человеческого лица. Это была сама история. Ее обнаженное тело, теплое, живое, незабальзамированное, медленно расползалось по улицам и площадям города. Протяни руку — и ощутишь его.

«Я переживаю момент истины,— подумал Бесник.— Скоро сирена смолкнет, лава застынет, но посетившее меня озарение останется.— Он закрыл глаза.— Вот и прошла эта долгая, суровая зима». Вой сирены то усиливался, то затухал, словно перекатывался по растревоженному пространству. «И эта зима миновала»,— повторил он про себя, но ему почудилось, что он сказал это вслух. Усталость и напряжение последних месяцев навалились на него. «Я ждала твоего звонка. Целый день ждала»,— всплыли в памяти слова незнакомки, сказанные в темноте, и все его существо, словно разбуженное ими, встрепенулось: «Зана!» Он потерял Зану. В суровые зимние дни Беснику порой казалось, что его жизнь бесславно закончилась. Но, пожалуй, все происходившее было всего лишь испытанием на прочность. История, живая и созидательная, твердо стоявшая на ногах, доказала обратное. Она как бы говорила: «Читайте меня, читайте и перечитывайте в эти дни. Сейчас я правдивее, чем когда-либо». Народ выдержал испытание. Пройдя через боль, нравственные и физические страдания, он не просто выжил, но и обрел второе дыхание: белая птица в черном хаосе неба.

Испытания остались позади. Потери черными отметинами зияли на его могучей груди, но это были знаки доблести и славы, которые возвышают любой народ. «И на мне сказалась эта потеря»,— подумал Бесник, ощутив непривычный покой — нечто светлое и возвышенное. И это вполне естественно — в бесчисленной армии Коммунизма он был рядовым коммунистом середины XX века; на его долю выпал шанс взять на свои плечи часть тягот своего тревожного времени. Вой сирены, казалось, достиг самых дальних уголков поднебесья. «Я ждал тебя весь день,— прошептал Бесник.— Я ждал тебя целую вечность».

В начале марта, после долгих ураганных зимних ветров с дождем и снегом, каких не было с сентября прошлого года, тысячи людей вышли на крыши домов и террас, чтобы поправить искореженные стихией телевизионные антенны.

Пожалуй, за всю жизнь людям не довелось пережить столько перемен, сколько в эту суровую зиму. Может быть, поэтому им подумалось, что от чрезмерной работы в непогоду железные стержни антенн непременно должны погнуться. С ними, однако, ничего не случилось. Люди, спускаясь с крыш, удивленно покачивали головами: «Да, суровая зима выдалась в этом году».

Послесловие

24 октября 1990 года Председатель Президиума Народного собрания Албании, Первый секретарь Албанской партии труда Рамиз Алия был неприятно удивлен сообщением, что самый крупный албанский писатель Исмаиль Кадаре (р. 1936) стал невозвращенцем. Обласканный властями баловень судьбы, возведенный партийными идеологами в классики литературы социалистического реализма, Кадаре не только отказался покинуть гостеприимную Францию, куда поехал читать лекции и где изданы многие его произведения, но и обратился к первому лицу своей страны (неслыханная дерзость!) с открытым письмом. В нем Кадаре утверждал, что в Албании ничего не меняется, что народ продолжает жить в условиях постоянного нарушения гражданских прав, что страна движется к катастрофе и что руководство не в состоянии отрешиться от архаичных и абсурдных концепций, приближающих столь трагическую развязку. «Ввиду невозможности существования в республике легальной оппозиции,— заявил писатель,— я избрал путь, которым никому не советовал бы идти».

Власти отреагировали незамедлительно, как это и должно было быть в тоталитарном государстве. 25 октября партийная группа Союза деятелей литературы и искусства исключила Кадаре из рядов АПТ, а на сле-

дующий день вывела из руководства Союза. Официальная власть ославила писателя, обвинив в предательстве интересов народа, в антипатриотизме, проявившемся в том, что он якобы покинул Родину в трудный для нее момент. Однако гражданства его не лишили и наказанию не подвергли. Более того, совершенно неожиданно было предано гласности заявление профессора Г. Пашко, который на правах доброго друга писателя заверил албанскую общественность в порядочности и благородных побуждениях И. Кадаре, приглушив тем самым обывательские слухи о далеко идущих целях писателя, а именно — о стремлении повторить путь Вацлава Гавела — «от диссидентства к президентству». Союз писателей выступил с заявлением о творчестве Н. Кадаре и оценил его как «золотой фонд» албанской литературы. Многие органы печати в январе 1991 года отметили 55-летие писателя. В Албании были изданы его новые сочинения — роман «Чудовище» и журнальный вариант книги воспоминаний «От декабря до декабря».

Да, времена изменились. С конца 1990 года Албания встала на путь демократии, расставаясь с тоталитарным прошлым. Как во всех бывших социалистических странах, старый строй умирал в конвульсиях, унося жизни молодых людей, выходивших на мирные демонстрации или безоглядно бросавшихся через границы, стремясь покинуть родную страну, ставшую им злой мачехой. Красивейшая, богатая природными ресурсами Албания, низведенная бездарными правителями до положения нищенки, стоящей с протянутой рукой у приоткрытых дверей в Европу, в течение многих лет находилась в изоляции от цивилизованного мира, которая в результате событий, описанных в предлагаемом читателю романе «Суровая зима», еще более усугубилась. Это не первая книга И. Кадаре, переведенная на русский язык. В 1989 году журнал «Иностранная литература» опубликовал одно из лучших его произведений — роман «Генерал мертвой армии».

«Суровая зима» — роман политический, повествующий о назревании конфликта в советско-албанских дипломатических отношениях и их разрыве. Тщетно, однако, искать в нем исторической достоверности. Ее в книге нет. И. Кадаре, безусловно, знает, что дипломатические отношения Албании с Советским Союзом были прерваны в декабре 1961 года, а не весной 1961, как

следует из текста романа. Да и его герой — генерал Железнов, направленный на военно-морскую базу стран Варшавского Договора во Влёре (на самом деле там был не сухопутный генерал, а адмирал В. А. Касатонов), не мог не знать, что решение о ликвидации базы было принято на заседании Политического консультативного комитета Организации стран Варшавского Договора весной 1961 года вопреки желанию албанцев, а не в одностороннем порядке советскими военными буквально накануне ликвидации базы.

Невольно вспоминается фрагмент одной из последних книг И. Кадаре «Приглашение в творческую лабораторию». Он описывает встречи со старейшим албанским поэтом, писателем и переводчиком Лясгушем Порадеци, добившимся всеобщего признания в предвоенный период, но так и не вписавшимся в литературу социалистического реализма. И. Кадаре подолгу беседовал с этим наивным старцем, чья бурная фантазия, разыгравшись, перехлестывала границы здравого смысла и воспаряла над жалкой действительностью. Однажды уличенный младшим другом в несколько вольном обращении с датами и фактами, Лясгуш с укоризной посмотрел на него и сказал: «От кого угодно я мог бы принять упрек, но только не от тебя. Ты же поэт и потому должен знать, что время находится здесь (и он коснулся пальцем лба), а голова поэта устроена совсем иначе».

С хронологией и фактами, особенно советской действительности, в романе И. Кадаре не все в порядке. Да он и не стремится к точности, присущей летописцу. Ему важно создать представление о ситуации, а не скрупулезно реконструировать ее. Читатель посмеется над фантазией автора, который заставил, например, кремлевского гардеробщика, подслушавшего разговор о международном скандале в верхах и возмутившегося несправедливостью коммунистических лидеров, допущенной в отношении албанцев, сбегать в буфет и пропустить для успокоения души рюмочку-другую. И здесь, и во многих других московских зарисовках интересно увидеть, как мы со стороны воспринимаемся человеком, знакомым с нашей тогдашней жизнью (И. Кадаре стажировался в Литературном институте в Москве) и осознанно ставившим знак различия между простыми людьми, сочувствовавшими слабому и обиженному, и

оторвавшимися от народа правителями. Так, при всей ходульности образов советских в Албании, автор пытается придать генералу Железнову черты живого человека, героя Великой Отечественной войны. В этой фигуре угадывается реальный прототип. Им мог бы быть генерал А. И. Родимцев, дважды Герой Советского Союза (Испания, Сталинград), советский военный атташе в Албании в 50-е годы, пользовавшийся большим уважением албанцев, а к моменту разрыва советско-албанских отношений уже вышедший на пенсию. И. Кадаре заставляет генерала Железнова размышлять над тем, почему он должен играть в общем-то постыдную роль, недостойную его славного героического прошлого.

Благодаря 30-летнему запрету на албанскую тему в печати и жесткую цензуру тех коротких заметок, которые традиционно приурочивались к Дню освобождения Албании, читатель практически ничего не знает об истории советско-албанских отношений, истории дружбы и вражды. В Албании эта тема освещалась, но в препарированном партийной пропагандой виде, что нашло отражение и в романе. Поэтому коротко попытаемся рассказать о том, что было на самом деле.

События, изложенные в романе, охватывают период с середины 1960 года до марта 1961-го. Тогда единство социалистического лагеря, созданного после второй мировой войны жесткой рукой И. Сталина, получило самый сильный удар: Мао Цзэдун, провозгласив универсальность своего учения, выдвинул лозунг — «Ветер с Востока одолевает ветер с Запада» и призвал под свои знамена недовольных авторитарными, в духе пресловутого «культа личности», замашками Н. Хрущева. Албанцы стали одними из первых перебежчиков. На совещании руководителей коммунистических и рабочих партий в июне 1960 года в Бухаресте глава албанской делегации Х. Капо, член Политбюро ЦК АПТ и один из ближайших друзей Первого секретаря ЦК АПТ Энвера Ходжи, не поддержал советское предложение об организации коллективного обсуждения и осуждения руководства Китайской компартии, чем привел почти в шоковое состояние делегацию КПСС во главе с Н. Хрущевым.

Началась «разборка». Лучшие умы советской компартии (Суслов, Косыгин, Микоян, Андропов и др.) пытались понять, почему лидеры такой маленькой и

бедной страны, клявшейся еще год тому назад, во время официального визита Н. Хрущева в Албанию, в вечной дружбе, пошли на предательство. Не договорившись с ними, они стали прибегать к методам экономического давления, задерживая ранее согласованные кредиты и поставки. Так, советская сторона отказалась выделить дополнительное количество зерна, в котором нуждалась перенесшая жестокую засуху Албания. Однако в результате унизительных для албанцев переговоров положительное решение все же было найдено. Узнав о количестве требуемого зерна, Хрущев (а по некоторым свидетельствам — Микоян) сказал: «Так и быть, дадим — у нас мыши больше съедают».

Затем в Москве в ноябре 1960 года было совещание 81 коммунистической и рабочей партии, на котором китайцы, оставаясь в тени, «подставили» Э. Ходжу, спровоцировав его на выступление против идейно-теоретических постулатов КПСС. Доклад дружно заклеймили все присутствующие, ибо прекрасно понимали происхождение высказанных Э. Ходжей суждений. А польский лидер В. Гомулка одной фразой перечеркнул все его теоретические выкладки, заявив, что из всего Марксова наследия Э. Ходжа усвоил лишь одно слово — «марксизм».

Усердие албанского руководства было вознаграждено. В феврале 1961 года Пекин решил выделить Албании кредиты на сумму 112 500 000 инвалютных рублей, что значительно превышало кредиты Советского Союза за все предыдущие 15 лет. Внутренняя албанская пропаганда пустила тогда в оборот присловье: «Великий Китай поголодает один день — Албания будет сыта целый год».

Началась ожесточенная полемика между КПСС и АПТ. Н. Хрущев, не рискуя тогда выступить против крупнейшей компартии Востока, решил ославить ее косвенно, «наказав» строптивую Албанию. Лидеров АПТ ругали за «грехи» Мао. Вслед за взаимными обвинениями в антимарксизме последовали личностные оскорбления. Так, на одном из международных совещаний в Москве на высшем уровне Н. Хрущев, заметив отсутствие обоих албанских лидеров — Первого секретаря и премьер-министра,— задумчиво изрек, глядя в упор на тогдашнего главу делегации, секретаря ЦК АПТ по идеологии Рамиза Алию: «Скоро товарищ

Ходжа будет присылать вместо себя свои штаны». А в октябре 1961 года на XXII съезде КПСС, где антиалбанская линия соперничала по эмоциональному накалу с антисталинской, из стенограммы заключительного заседания пришлось исключить наиболее одиозные выражения в адрес «клики Ходжи — Шеху».

Оппоненты в Тиране не остались в долгу перед «старшим братом». На торжественном заседании 7 ноября, посвященном 20-летию со дня основания АПТ и 44-й годовщине Октябрьской революции, Э. Ходжа более половины доклада посвятил личности Н. Хрущева, осуждая его за создание культа собственной персоны, за неоправданные претензии на роль зодчего победы над фашизмом, за примирение с югославским ревизионизмом, за антимарксистские взгляды вообще. Не менее энергично отбивался от нападок «хрущевцев» и премьер-министр. На одном из партийных форумов, призывая к объединению всех сил в борьбе против шантажа врагов, Мехмет Шеху выступил с предупреждением: «Кто затронет наше единство, получит один ответ от нашей партии и народа: плевок в лицо, удар в нос, а если понадобится, то и пулю в лоб!» Отголоски этих распрей нашли место на страницах романа «Суровая зима» в настроениях уличной толпы.

В романе полностью отсутствует эпизод о том, как албанское руководство разыгрывало «китайскую карту» и какие отнюдь не бескорыстные расчеты сближали двух новых союзников. Ко времени написания романа албано-китайский союз практически распался. Поэтому благородным идальго, образ которого кажется сегодня несколько шаржированным, выглядит Э. Ходжа, как бы в одиночку боровшийся за независимость Албании и против советской блокады и ее организатора Н. Хрущева.

Читатель вправе спросить, нужны ли сейчас, в начале 90-х годов, политические романы из давно ушедшей в небытие действительности? Думаю, нужны, хотя бы потому, что это и наша история, это рассказ о сталинской модели казарменного коммунизма, растиражированной во многих странах,— модели безжизненной, неприемлемой как для огромной России, так и для маленькой Албании.

Бытует мнение, что написанием откровенно конъюнктурных политических романов Исмаиль Кадаре как

бы завоевывал себе право на свободное творчество и относительную независимость суждений. В какой-то степени это действительно так. Кадаре прощалось многое. Но кто из творческой интеллигенции в условиях административно-командной системы не платил ей дани? Кто безгрешен? Таких были единицы.

Несомненной заслугой И. Кадаре является то, что он сумел достаточно смело написать о явлениях албанской действительности, одно упоминание о которых в то время грозило тюрьмой или ссылкой (например, рассуждения о границе, разделявшей рядовых членов партии и руководство на «мы» и «они»). Наконец, он резко критикует высшую партийную и государственную власть, оторвавшуюся от народа, предавшую традиции национально-освободительной борьбы, погрязшую в заботах о собственных льготах и привилегиях. Все это было бы воспринято как неслыханная дерзость, если бы он не обличал эту власть устами самого Энвера Ходжи. Кстати, в 1991 году в ходе борьбы со льготами и привилегиями факты бесконтрольных трат государственных средств на содержание партийной номенклатуры были обнародованы. Первое место в списке занимало многочисленное семейство Ходжи, которое и после его смерти в 1985 году пользовалось полным набором благ.

В 1991 году острой критике подвергалась внешняя политика коммунистического правительства, которое трижды упустило шанс и не обеспечило подлинной независимости Албании. Оппозиция считала, что каждый раз, когда разрывались отношения — с Югославией в 1948 году, с СССР в 1961 году, с Китаем в 1978 году,— возникала возможность выхода Албании из состояния изоляции с перспективой многостороннего международного сотрудничества, свободного от идеологических догм. Одним словом, с социалистическим экспериментом в стране можно было покончить давно — раз и навсегда. В романе эти идеи высказывают бывшие буржуи — старушка Нурихан и ее друзья. Ностальгические воспоминания о дореволюционной жизни, когда все было, занимают значительное место в книге. Проклятия в адрес коммунистов, которые всю жизнь им отравили, перемежаются с изъявлениями радости по поводу раздоров «наверху». Причем, им, «бывшим», вполне реальной видится перспектива сотрудничества (после разрыва с Москвой) с Западом. Все эти рассуж-

дения можно было бы записать в актив «буржуев», если бы не один маленький штрих. Рабочий Виктор, размышляя о тех же событиях, наивно удивляется: если даже советские отошли от коммунизма, то нам-то зачем за него держаться?

И еще одно: И. Кадаре слишком часто помещает главного героя Бесника, да и других персонажей романа, в обстановку уютных кафе, домашних застолий, заставляет их засматриваться на яркие витрины магазинов, богатых новогодних базаров, ходить по ярко освещенным улицам столицы, вести себя весьма свободно в личной жизни, раскованно и даже рискованно. Одним словом, маленькая, с чертами типично балканского города Тирана предстает как бы в западном обличье, с западным укладом жизни. Простим автору это отступление от правды. Он рисковал многим и в этом случае, рисуя столицу такой, какой она не была ни в 60-е годы, ни в какие-либо другие.

Дело в том, что к середине 70-х годов, когда вышло второе, доработанное издание романа, завершилась инициированная Э. Ходжей кампания по искоренению в Албании влияния буржуазной идеологии и культуры. Кафе переименовывались в «эмбельторьи» (сладкарницы), вредными пережитками прошлого объявлялись хождение в гости и многолюдные семейные праздники. В 1973—1975 годах прошла полоса репрессий, начавшаяся с преследования деятелей культуры, обвиненных в преклонении перед Западом, и закончившаяся расстрелом министра обороны, якобы возглавившего группу «врагов народа» — агентов империализма и ревизионизма.

Исмаиль Кадаре писал яркие картины жизни, сидя в мрачной Тиране, томящейся в атмосфере страха и подозрительности. Именно после разрыва с Советским Союзом официальная партийная пропаганда до абсурда раздула миф о «внешней опасности», об Албании — крепости, осажденной со всех сторон врагами, о ревизионистско-империалистической блокаде. Именно с середины 60-х годов в обстановке военного психоза в Албании началось сооружение многочисленных бункеров и дзотов для защиты страны от вторжения врага с моря, с воздуха и с суши. Мрачные памятники пущенным по ветру народным деньгам, они черными провалами бойниц зияют и сегодня в горах, уродливыми

черепахами расползлись по полям и морскому побережью. Обычная политика диктаторских режимов...

С позиций нынешнего дня и с учетом изменений, происшедших и у нас, и в Албании, роман И. Кадаре воспринимается по-иному, чем 10—15 лет назад. Это отнюдь не конъюнктурный политический роман-однодневка о том, как поссорились идеологические близнецы товарищ Энвер с товарищем Никитой, а выдержавшее испытание временем психологическое исследование состояния общества периода тоталитаризма, во многом созвучное нашим проблемам. Я считаю, что так и надо воспринимать роман «Суровая зима», подтверждающий, что нивелирующий каток социалистического реализма бессилен перед истинным талантом, каковым является албанский писатель Исмаиль Кадаре.

Н. Смирнова

Содержание

Исмаиль Кадаре
К 13 Суровая зима: Роман: Пер. с албан. И. Ворониной и В. Модестова / Послесл. Н. Смирновой.— М.: Худож. лит., 1992.— 571 с. (Политический роман).
ISBN 5-280-01963-1

О конфликте между СССР и Албанией, закончившемся разрывом сначала дипломатических (1961 г.), а затем всех других отношений, нашему читателю известна только официальная точка зрения одной стороны. Роман Исмаиля Кадаре (р. 1936) дает возможность посмотреть на эти события и их главных участников — Н. Хрущева и Э. Ходжу — глазами албанцев. Что это? Исторический роман, политический детектив, повествование о любви на фоне сложной международной обстановки? И то, и другое, и третье... Одним словом, «Суровая зима» И. Кадаре — роман, переведенный на многие языки и принесший автору всемирную известность.

К $\frac{4703010100-224}{028(01)-92}$ КБ-20-83-1992

ББК 84.4Ал

ПОЛИТИЧЕСКИЙ РОМАН

Исмаиль Кадаре

Суровая зима

Заведующая редакцией
А. Севастьянова
Художественный редактор
Е. Ененко
Технический редактор
Л. Синицына
Корректор
Т. Сидорова

ИБ № 6629
Сдано в набор 30.03.92. Подписано в печать 02.06.92. Формат 84 × $108^1/_{32}$. Бумага типографская. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 30,26. Усл. кр.-отт. 30,87. Уч.-изд. л. 32,3. Тираж 50 000 экз. Изд. № V-4234. Заказ 3000.

Ордена Трудового Красного Знамени издательства «Художественная литература» при участии фирмы «Компа». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Издательско-полиграфическое предприятие «Правда Севера»
163002, Архангельск, пр. Новгородский, 32.

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

в 1992—1993 годах

выйдут в свет

исторические романы

ГЕНРИКА СЕНКЕВИЧА

ПОТОП В 2-х КНИГАХ

ПАН ВОЛОДЫЁВСКИЙ

КРЕСТОНОСЦЫ



